



КОЛОМЕНСКИЙ АЛЬМАНАХ



Литературный ежегодник

Орган творческого объединения писателей Коломны

ИЗДАЁТСЯ КОМИТЕТОМ ПО КУЛЬТУРЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОЛОМНА

ВЫХОДИТ С 1997 ГОДА

2016

ВЫПУСК
ДВАДЦАТЫЙ

СОДЕРЖАНИЕ

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

НИКОЛАЙ ГУМИЛЁВ

СТАРЫЕ УСАДЬБЫ. СТИХОТВОРЕНИЕ5

НАМ 20 ЛЕТ!

ВИКТОР МЕЛЬНИКОВ

ЛИТЕРАТУРНЫЙ КРЕМЛЬ7

ПРОЗА

ОТЗЫВЫ ДРУЗЕЙ..... 13

ВЛАДИСЛАВ ЛЕОНОВ

О ВОЙНЕ, О РОДНЕ, ОБО МНЕ. Повесть .. 25

ЕКАТЕРИНА РОЩИНА

ПРЯНЫЕ ЛАНДЫШИ. Повесть 107

РОМАН СЛАВАЦКИЙ

ПРОГУЛКА. Рассказ 139

СЕРГЕЙ МАЛИЦКИЙ

СИТО. Рассказ 151

СЕРГЕЙ ШВАКИН

ПЯДЬ ЗЕМЛИ. Рассказ 163

МАРГАРИТА ЛУКАНИЧЕВА

БАЛЕТНЫЕ ТУФЕЛЬКИ. Рассказ 175

ПОЭЗИЯ

АЛЕКСАНДР ФЁДОРОВ
ПИМЕНОВ. Рассказ 187

ВЛАДИМИР ПРОНСКИЙ.
ДВА РАССКАЗА 197

ИАНА КАН
Я ПОЮ С ВЕТРАМИ В УНИСОН 209

АЛЕКСАНДР ОРЛОВ
ГОРОДА РОССИИ 217

АННА АНДРОНОВА
НА ПЕРЕПУТЬЕ ЛЕТА И ЗИМЫ..... 225

ВИКТОР МЕЛЬНИКОВ
СИЛУЭТЫ..... 231

КАРИНА СЕЙДАМЕТОВА
СОН-ТРАВА 239

КСЕНИЯ НАГАЙЦЕВА
ТЫ ПОВЕРИШЬ..... 247

МИХАИЛ БОЛДЫРЕВ
АКВАРЕЛЬ ВДОХНОВЕНИЯ..... 253

НАТАЛЬЯ КРАСЮКОВА.
И БЫЛА СКАЗКА... 259

НАДЕЖДА НИКОЛАЕВА
РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА 265

ЛИДИЯ ПЫШКИНА
МАМИНА ПЕСНЯ 271

АЛЕСЯ ГЛИНКА
СКАЗКИ ВОЛЧЬЕЙ ПЕРЕПРАВЫ 275

ТЕАТР

ГАЛИНА ГОРЧАКОВА
ТЕАТР КАК ЗЕРКАЛО И ТРИБУНА 281

ОЛЬГА ВЕЧЕРОВСКАЯ
В ЧЁМ СИЛА ТЕАТРА КУКОЛ? 295

ВОЗВРАЩЕНИЕ К ДОСТОЕВСКОМУ

НАШЕ НАСЛЕДИЕ

РОДИМАЯ СТОРОНА

ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ
ДОСТОЕВСКИЙ: ОТ ПОЛИТИЧЕСКИХ
СТИХОВ К ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПРОЗЕ 305

ФЁДОР ДОСТОЕВСКИЙ
МУЖИК МАРЕЙ. Рассказ 331

ДМИТРИЙ ГРИГОРОВИЧ
СМЕДОВСКАЯ ДОЛИНА. Рассказ 339

ЕВГЕНИЙ ЛОМАКО
НАСЛЕДИЕ БЛИСТАТЕЛЬНОГО ВЕКА 353

НИСОН ВАТНИК
КОЛОМЕНСКИЙ ГИМНАЗИСТ –
БУДУЩИЙ УЧЁНЫЙ 365

АНАТОЛИЙ КУЗОВКИН
ИЗ КРЕСТЬЯН – В ПОТОМСТВЕННЫЕ
ДВОРЯНЕ 377

ЛИЛИЯ СОЗА
1914-й... ВОЕННОПЛЕННЫЕ
В КОЛОМНЕ 385

ВЛАДИМИР ТИМОФЕЕВ
ЖИЛЬЦЫ ДОМА ЛАЖЕЧНИКОВА 395

ВАЛЕРИЙ ЯРХО
ЗАМЕТКИ ПРОЕЗЖЕГО КОРНЕТА..... 405

АНАТОЛИЙ КУЗОВКИН
КОЛОМЕНСКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ
КАЛЕНДАРЬ..... 423

ПОЗДРАВЛЯЕМ!



У НАТАЛЬИ МАРКЕЛОВОЙ – ЮБИЛЕЙ!

Любому творческому человеку важна поддержка. Даже самый крошечный проект требует значительных усилий. Но ценнее финансовой и организационной помощи для художника – Понимание.

Не формальное чиновничье «руководство», а тонкое понимание психологии творца, понимание масштаба его таланта, понимание важности для автора явления в свет его творений — вот что особенно необходимо!

Коломне в этом смысле повезло. Культуру города возглавляет не просто грамотный руководитель, а профессионал высокого уровня. Дорогого стоит, когда человек знает, что такое сцена, что значит умение покорить зрителя, сколько трудов нужно положить для творческой победы.

Дорогая Наталья Валерьевна!

Коломенские поэты и прозаики помнят, что без Вашего понимания, без Вашей поддержки издавать наш альманах было бы трудно, может быть, даже невозможно. В дни Вашего большого юбилея примите искреннюю сердечную благодарность от творческого сообщества Коломны! Никаким невгодам не разрушить нашей дружбы! Никаким февральским ветрам не победить сердечности литературной Коломны! И любую метель одолеет лепестковое пламя наших цветов!

Коллектив редакции

НИКОЛАЙ СТЕПАНОВИЧ ГУМИЛЁВ

(1886—1921)

СТАРЫЕ УСАДЬБЫ

Дома косые, двухэтажные
И тут же рига, скотный двор,
Где у корыта гуси важные
Ведут немолчный разговор.
В садах настурции и розаны,
В прудах зацветших караси, —
Усадьбы старые разбросаны
По всей таинственной Руси.
Порою в полдень льётся по лесу
Неясный гул, невнятный крик,
И угадать нельзя по голосу,
То человек иль лесовик.
Порою крестный ход и пение,
Звонят во все колокола,
Бегут, — то значит — по течению
В село икона приплыла.
Русь бредит Богом, красным пламенем,
Где видно ангелов сквозь дым...
Они ж покорно верят знаменьям,

Люби своё, живи своим.
Вот, гордый новой поддёнкою,
Идёт в гостиную сосед.
Поникнув русою головкою,
С ним дочка — восемнадцать лет.
«Моя Наташа бесприданница,
Но не отдам за бедняка».
И ясный взор её туманится,
Дрожа, сжимается рука.
«Отец не хочет... нам со свадьбою
Опять придётся погодить».
Да что! В пруду перед усадьбою
Русалкам бледным плохо ль жить?
В часы весеннего томления
И пляски белых облаков
Бывают головокружения
У девушек и стариков.
Но старикам — золотоглавые,
Святые, белые скиты,
А девушкам — одни лукавые
Увещеванья пустоты.
О, Русь, волшебница суровая,
Повсюду ты своё возьмёшь.
Бежать? Но разве любишь новое
Иль без тебя да проживёшь?
И не расстаться с амулетами.
Фортуна катит колесо.
На полке, рядом с пистолетами,
Барон Брамбеус и Руссо.

1913

Колонка редактора

ЛИТЕРАТУРНЫЙ КРЕМЛЬ

Сгорелась двадцатая свеча «Коломенского альманаха», собравшая вокруг себя, как и прежде, поэтов и прозаиков, литературоведов, историков, художников. И надеемся, её огонь согреет сердца наших читателей своим теплом, озарит их светом добра и любви.

В «Коломенский альманах» войти, как в таинственный кремль... Его двадцать выпусков, двадцать тысяч томов, словно крепостные стены, охраняют многовековую культурную историю нашего города — воздушные башни стихов, широкие площади романов и повестей, таинственные улицы исторических исследований, короткие переулочки рассказов и эссе, многокрасочные проспекты изобразительного искусства. Тени вымышленных героев и силуэты реальных людей, дома и пейзажи, преображённые фантазией писателя, исторические трагедии и триумфы — всё переплелось и жительствоует в этом удивительном пространстве!

Вот уже девятое столетие Коломна стоит на скрещении двух славных рек — Москвы и Оки. Здесь, в узловом центре московской обороны, не раз проливалась кровь защитников Отечества, собирались общерусские рати для защиты от вражеских полчищ... Но здесь же находился один из центров формирования отечественной культуры. Тут написаны «Задонщина» и «Сказание о Мамаевом побоище», созданы шедевры русской иконописи.

Труды древних летописцев продолжали историки Нового времени: Г. Ф. Миллер и Н. М. Карамзин. Эпоху Просвещения у нас ознаменовали Н. И. Новиков и его соратник — поэт и переводчик Василий Протопопов.

Всероссийскую славу принёс Коломне святитель Филарет (Дроздов), Митрополит Московский и Коломенский, величайший проповедник и церковный иерарх своего времени. Но коломенцы гордятся ещё одним замечательным именем. Здесь в 1790 году родился Иван Иванович Лажечников, которому суждено было стать родоначальником нового жанра нашей литературы — русского исторического романа. До сих пор его труды дают мелодику и ритм коломенской прозе!

Хотя «коломенский текст», духовный образ города составляют не только произведения литераторов, но и загадочное облако легенд и преданий, осеняющее наш край. А коломенские легенды впервые стал собирать Н. Д. Иванчин-Писарев. Разве удивительно, что его книга «Прогулка по древнему Коломенскому уезду» нашла своё место на страницах альманаха?

Его дело продолжил выдающийся богослов, общественный деятель и философ Н. П. Гиляров-Платонов. Среди многочисленных его трудов нашлось место и воспоминаниям «Из пережитого», где Коломна рубежа XVIII–XIX веков со всеми её легендами и рассказами предстаёт необыкновенно живо.

И тянется эта тропинка за Оку, в соседние Зарайские земли, в имение Достоевских — Даровое. Да, формально Зарайский уезд в былые времена вообще не входил в Московскую губернию, а числился за Рязанью. Но духовная история не признаёт административных границ. Тысячами нитей «коломенский текст» связан с Поочьем — от глубокой древности и до наших времён.

Много раз Достоевские проезжали коломенской дорогой, останавливались в городе и окрестностях. В Успенском Брусенском монастыре трудилась родная сестра няни юного Фёдора. Разве могли Достоевские миновать эту кремлёвскую обитель? Зарайские рощи, парк в Даровом, помнящий детские игры будущего гения, образы здешних крестьян... Всё это расширяет пространство «коломенского текста», включает в него окружающие земли не по географическим или административным признакам. Недаром коломенские филологи с такой заботой относятся к Даровому и к его благоустройению!

А от Достоевского тропинки разбегаются дальше. То к Александру Куприну, который связал Коломенский кремль с Чернореченским лесничеством, то в соседнее Черкизово-Старки.

Шервинские приобрели черкизовскую дачу в 1892 году, но настоящую литературную славу древнее село снискало в 1930-е годы благодаря гениальному переводчику Сергею Шервинскому. По соседству жили его друзья — поэты и переводчики Александр Кочетков, Вера Меркурьева. У Шервинских гостили Брюсов, Ахматова, Пастернак, Лозинский. У Меркурьевой — Марина Цветаева. Ахматовская мелодия пронизала всю коломенскую поэзию, её отзвуки до сих пор слышатся на страницах «Коломенского альманаха».

А в 1917 году в Старках венчался Борис Пильняк. Это ещё один из творцов «коломенского текста». Удивительный феномен нашей литературной истории! Ведь Пильняк — не коломенец по рождению. Он приехал сюда молодым человеком, здесь встретил революцию и написал первый в России роман о революции — «Голый год». С тех пор практически все его крупные вещи и масса рассказов посвящены нашему городу или навеяны коломенскими впечатлениями.



Первая редколлегия «Коломенского альманаха». Слева направо: А. Н. Курганов, О. С. Королёва, В. С. Мельников, Р. В. Славацкий, К. Г. Петросов, А. И. Кузовкин, Н. В. Бредихин

Хотя век XX не исчерпывается Пильняком! О Коломне писали Куприн, Чайнов, Соколов-Микитов, А. Н. Толстой. Альманах заново познакомил читателей с «коломенскими страницами» этих авторов. Образ Коломны, ими созданный, вдохновляет современных писателей.

А Лажечникову, Достоевскому, Пильняку посвящаются целые разделы, в которых историки и филологи публикуют материалы об их жизни и творчестве.

* * *

Несмотря на все испытания, революции и войны, литературная жизнь Коломны никогда не прекращалась.

В середине XX столетия ведущим литератором города был поэт-фронтовик Александр Кирсанов. Песни на его стихи звучали по всему Союзу на многомиллионную аудиторию. А в Коломне он руководил литературным объединением «Зарница», из которого вышло немало одарённых сочинителей.

В 70-е годы нашим ведущим поэтом стал Олег Кочетков, автор десятка поэтических книг; публикации его стихов в периодике не поддаются подсчёту. Лирике Кочеткова свойственны проникновенный патриотизм и гражданственность, которые так характерны для русской классической школы, в том числе — и для стихов И. И. Лажечникова. Кочетков долгое время работал в аппарате Союза писателей, где отвечал за работу с молодыми поэтами. Он и в Коломне организовал литературное объединение «Зелёные цветы», которое составило эпоху в поэтической летописи нашего края. Именно Кочетков определил поэтическое развитие Коломны в 1970-е годы. Заслуги его перед литературной историей города невозможно переоценить.

Кстати, Татьяна Башкирова вышла как раз из кочетковского объединения. Героиня её проникновенной лирики — истинно русская женщи-



На презентации первого номера. Выступает В. С. Мельников. За столом соратники: М. Г. Абакумов, О. С. Королёва, К. Г. Петросов, Ю. Д. Колесников, А. Н. Курганов, Р. В. Славацкий

на, тихая, скромная, душевно чистая, совестливая, умеющая искренне и целомудренно любить. Незатейливая мелодия отчего простора, примет милого края, родной Коломны постоянно звучит в поэтических раздумьях нашей землячки...

10

ВИКТОР МЕЛЬНИКОВ

А на рубеже 80-х и 90-х литературная жизнь Коломны во многом определилась авторитетом Валерия Королёва. «Московский коломенец», он приехал сюда из суетной столицы, чтобы на коломенской земле обрести вторую родину и получить вдохновение, которое полною мерой даётся здесь талантливому человеку. Именно тут во всей красе оформился писательский дар Королёва, здесь были созданы его лучшие произведения. Он продолжил традицию творческого объединения, заложенную его предшественниками. Сегодня его именем названа Центральная городская библиотека.

Так уж получилось, что основные королёвские работы опубликованы после его кончины... Он не дожил до начала альманаха. Но именно его рассказы и повести открыли альманах и на протяжении многих лет появлялись на страницах ежегодника, послужив камертоном коломенской прозе. Мы все бесконечно обязаны ему!

По-своему взглянул на жизнь коломенского края Владислав Леонов, который в числе первых коломенцев стал профессиональным писателем. Многим читателям запомнилась оригинальная проза Николая Бредихина.

И всё-таки в «застойные» времена литературная жизнь Коломны во многом оставалась скрытой. Примером тому — талантливый прозаик Михаил Манюшкин. Эпическая серия его исторических романов осталась неопубликованной. Лишь в конце жизни он был принят в Союз писателей и увидел свои произведения напечатанными, да и то не все...

Нынче всё по-другому! В Коломне сложилось творческое объединение профессиональных писателей. В нашу организацию входят также Владимир Мирошниченко и Сергей Швакин. Целую эпоху в коломенском краеведении составили произведения Анатолия Кузовкина.

Вообще краеведение — настоящий «конёк» альманаха. Занимательные археографические детективы Валерия Ярхо раскрывают нам тайны XVIII

и XIX столетий... Каждый из них всегда становится настоящим украшением номера.

А ведущий коломенский фантаст, конечно же — Сергей Малицкий. Его увлекательные романы-фэнтези расходятся по всей России многотысячными тиражами. Естественно, что и на страницах альманаха он занимает почётное место.

Если же возвращаться к поэзии, то здесь нельзя не упомянуть Николая Суворова, Евгения Кузнецова, Нину Соловьёву... Жить в Коломне и не быть поэтом — невозможно!

Сегодня в полной мере раскрылся талант Михаила Мещерякова — коломенского путешественника, романтика и барда. Будто умелый художник, накладывает Михаил своей волшебной кистью слой за слоем самоцветные краски, удивляя читателей и радуя.

Многим запомнились строки Михаила Болдырева, Татьяны Кондратовой, Вадима Квашнина — лучшего певца «коломенских окрестностей».

Есть и плеяда молодых поэтов: Екатерина Устинова, Ксения Нагайцева, Карина Сейдаметова, Михаил Прохоров... И особенно можно отметить Наталью Красюкову.

Она поэт молодой. Стихи её всегда искренни и эмоциональны, тема любви в них выстрадана, звучит гордо и оптимистично. Наталья умеет найти простые, доходчивые слова и образы для выражения своих чувств, и читатель, проникая душой в её строки, невольно попадает под обаяние её лирической героини — женщины со сложным внутренним миром, чуткой, умеющей любить по-настоящему.

Отдельная глава нашей истории — череда литературных переводчиков. Первая половина XX века прошла под знаком поэтов «черкизовского круга»: Сергея Шервинского, Александра Кочеткова и Веры Меркурьевой. Эта традиция была продолжена трудами профессора Айзика Ингера, переводчика Свифта и Голдсмита, и Бориса Архипцева, известного своими блестящими переводами англоязычной поэзии, в особенности — Эдварда Лира.

* * *

Ещё один важный социальный момент присутствует в нашем альманахе — это защита высокой литературной коломенской традиции. Во многих подмосковных городах господствует, увы, совершенно некритичное отношение к литературному творчеству земляков. Муниципальные издания тонут в опусах напористых дилетантов, а то и прямых графоманов. Наш литературный кремль держит оборону — эту агрессивную и крикливую публику даже на порог не пускает. Отсюда — высокий авторитет альманаха в литературном мире России, множество литературных наград и восторженных отзывов как в среде критиков, так и коллег-писателей.

Особое место в коломенской литературе занимает Роман Славацкий. Невозможно определить его «литературную специальность». Он достиг вершин мастерства и в поэзии, и в художественной прозе, и в литературоведении, и в драматургии. Он ведущий специалист по церковной истории Коломны. Им опубликованы десятки книг самых разных жанров. И все его поэтические работы, повести, исторические исследования так или иначе связаны с родным городом. Но самым выдающимся произведением Романа

Славацкого стала «Коломенская трилогия» («Записки музейщика», «Мемориал», «Чёрные корабли»), которая не просто оживила историю древнего города, но воскресила его легенды и сказания. Не зря Славацкого называют «инкарнацией коломенского текста». Он не просто собрал в своей памяти древние предания, труды историков и писателей. Он преобразил этот материал и на его основе создал свой мир: живой, объёмный и многоцветный.

* * *

Двадцать лет пролетело, протекло речною водой, просверкнуло по коломенской земле. Но стоит нерушимо, как прежде, кремль «Коломенского альманаха».

Резерв альманаха пополняется молодыми авторами. И здесь важно не упустить, поддержать, вселить уверенность: да, твоя строка нужна читателю! Где-то, может, и не совсем получилось — ничего, в следующий раз будет лучше.

«Коломенский альманах» собирает вокруг себя тех, кому дорого слово о Коломне, слово о России, кто стремится сохранить традицию коломенского текста. Прозаики, поэты, историки, искусствоведы, краеведы создают этот коломенский текст, а щедрые душой друзья и помощники альманаха помогают воплотить на его страницах Слово, без которого — истинно — не может быть у нас ни Памяти, ни Надежды.

Двадцать томов на книжной полке — это сотни имён. Исконные принципы нравственного воспитания, правильные интонации, мастерский уровень материалов, осмысление уроков истории, эстетическое наслаждение — вот те краеугольные камни, на которых базируется сборник.

Круглые сутки из теле- и радиоэфира, со страниц газет и просторов Интернета в наше сознание несётся огромное количество нужной и ненужной информации. Грязный, неуправляемый поток волочит камни, мусор, обломки того, что разрушил на пути. Но над бушующей стихией от берега, с которого начинается формирование сознания, в страну познания, мудрости и обретения истины ведёт подвешной мост из книжных страничек. Лёгкий, воздушный, кажущийся нереальным над грозной мутью — но при этом самый прочный и надёжный.

Всё дальше и дальше расширяется окоём «Коломенского альманаха». На его страницах публикуется проза и поэзия авторов из самых разных уголков России и стран ближнего и дальнего зарубежья. И в нём мы видим не только литературно-художественный ежегодник, славный своими литераторами и живописцами. «Коломенский альманах» — это мощный социальный, просветительский проект, целая эпоха в культуре современной Коломны, феномен, вызывающий интерес и уважение в литературном мире всей страны.

Двадцать лет — возраст дерзаний, первых свершений, надежд и творческих поисков. Счастливого тебе пути, «Коломенский альманах»! И если его читатели не перестают гордиться тем, что им посчастливилось жить в таком славном древнем городе, как Коломна, — смеем надеяться, что в этом есть заслуга и нашего издания.

Виктор МЕЛЬНИКОВ

ОТЗЫВЫ ДРУЗЕЙ

Валерий ШУВАЛОВ,
*руководитель администрации
городского округа Коломна*

Вот уже два десятилетия «Коломенский альманах» неизменно сопровождает жизнь города. Много событий произошло за это время не только в Коломне, но и во всей России. Происходили социальные сдвиги, менялась экономика и политика, но, несмотря на все испытания, альманах оставался самим собой, поддерживая в каждом выпуске высокую планку литературного мастерства.

Он связывал коломенскую художественную традицию с творчеством лучших представителей регионов России, ближнего и дальнего зарубежья. Каждый раз читателей ожидали открытия и находки из нашей литературной истории, из летописей коломенского края, встречи с художниками — признанными мастерами или же живописцами, только начинающими свой путь.

В этом умелом сочетании прошлого и будущего и состоит, наверное, самая суть литературно-художественного ежегодника.

«Коломенский альманах» стал одним из символов города. Не только коломенцы поддерживают это издание, но и оно «держит» город, став его надёжной духовной опорой.

Поздравляю редколлегию «Коломенского альманаха» и его читателей со знаменательным юбилеем! Ждём новых выпусков и новых открытий!

Алексей МАЗУРОВ,
*ректор Государственного социально-гуманитарного
университета, депутат Московской областной Думы*

Дорогие коллеги!

История «Коломенского альманаха» неразрывно связана с нашим вузом. Не секрет, что большинство его авторов — либо выпускники исторического и филологического факультетов КГПИ, либо сегодня занимаются исследовательской и преподавательской деятельностью в нынешнем университете. Естественно, что этот ежегодник нам очень дорог и по-человечески близок.

«Коломенский альманах» — издание очень заметное не только на просторах Коломны, Подмосковья, но и всей России. У него своё лицо, свой круг авторов, своя планка качества. И очень важно, что на его страницах появляются взвешенные материалы, далёкие от вульгаризации и способствующие просвещению читателей.

Хотел бы пожелать альманаху процветания и открытия новых дарований. Авторам, публикующимся в альманахе, — дальнейшего творческого

совершенствования. И, конечно, — благодарных читателей, для которых и создаётся «Коломенский альманах»!

Владимир БОЯРИНОВ,
*председатель Московской городской организации
Союза писателей России*

Дорогие коллеги!

Вот уже несколько лет слежу за вашим альманахом и каждый год убеждаюсь, что очередной его номер — лучше предыдущего. Трудно в России найти литературно-художественный ежегодник, который смог бы потягаться с коломенским и по качеству полиграфии, и по уровню текстов.

Удивляет редкая сбалансированность композиции. Здесь так сочетаются поэзия, проза, история и литературоведение, что ни одна часть не «перетягивает» в свою сторону. Напротив, каждая струна поддерживает общую мелодическую гармонию.

Причём альманах не замыкается в своей «местечковости», что, увы, встречаешь иногда в похожих изданиях. Нет, вы публикуете не только коломенцев, но и литераторов из самых разных регионов России. Но их материалы подобраны таким образом, что не выбиваются из общего настроения и поддерживают характерный «коломенский стиль».

14

Хочется выразить особую благодарность администрации Коломны за поддержку уникального в своём роде издания! От лица московской писательской организации поздравляю редколлегию альманаха с юбилеем! Желаю вашим авторам новых творческих открытий, а коломенцам — любить и оберегать свой альманах — драгоценную жемчужину в литературном ожерелье Московии!

Вячеслав ЛЮТЫЙ,
*председатель Совета по критике
Союза писателей России*

«Коломенский альманах» — примечательное явление русской провинции. В нём есть все благородные признаки столичного издания, верного традиции отечественной словесности — когда профессионализм и нравственные устои литературного таланта неразделимы, а снобизм Садового кольца кажется пошлой и совершенно недопустимой интонацией. Одновременно на страницах альманаха, словно объёмный отпечаток реальности, присутствует вольный дух необъятной и многообразной русской земли.

Самые разные грани истории и современности отражены здесь в прозе и публицистике, поэзии и архивных текстах, драматургии и живописи. Полнота этой благородно изысканной объёмистой книги в мягком переплёте содержательна и многоцветна. Прошлый выпуск был посвящён 225-летию замечательного русского писателя Ивана Лажечникова. Названная тема скрепила материалы почти 500-страничного тома, охватившего,

кажется, все литературные жанры. И это произошло по одной важнейшей причине — в Лажечникове органично и неразрывно сосуществовали талант и лучшие качества просвещённого русского человека, личность которого была всегда верна Богу и Отчизне.

Этот пример кажется внутренним светом коломенского издания. Стоицизм и творческая принципиальность его редакции, и в первую очередь — главного редактора Виктора Мельникова, проявляются в авторском активе альманаха, в его гостеприимности по отношению к писателям других регионов. Сегодня подобная широта литературного характера драгоценна, ибо русский человек должен стремиться к единению со своими соратниками — по духу и роду, по вере и нравственному долгу.

Поздравляю редакцию с выпуском издания, в котором прошлое и настоящее не спорят, но взаимно поддерживают друг друга — ради будущего, ради процветания отчей земли и высокой жизни нашей литературы.

Алексей ВАРЛАМОВ,
*и. о. ректора Литературного института
имени А.М. Горького, главный редактор
журнала «Литературная учёба»*

Уважаемые коллеги!

Поздравляем вас с 20-летним юбилейным выпуском альманаха. На протяжении многих лет вы даёте вашему читателю возможность познакомиться с новыми именами в литературе, открыть для себя современный литературный процесс.

Слово, вечно несущее добро и память уходящих событий в литературном произведении, становится настоящим памятником истории, которое раскрывается на ваших страницах. Запечатлённые эмоции, мировоззренческие концепции, отсылки в прошлое и будущее читатель может всегда найти, раскрыв ваш журнал.

В наше время «толстые» литературные журналы переживают второе рождение, пока ещё не «хождение в народ», как это было раньше, но новое движение вперёд. Ваш литературный альманах, выходящий для своих читателей в двадцатый раз, несёт в себе часть той мощной истории литературы, которая продолжает не топить наш общий корабль. Мы желаем вам процветания и доброго, настойчивого читателя, а Литературный институт продолжает образовывать начинающих литераторов, чтобы талантливых, интересных, разных авторов у вас было больше. Спасибо за многолетнее сотрудничество!

Станислав КУНЯЕВ,
*главный редактор журнала
«Наш современник»*

Поздравляю создателей и авторов издания «Коломенский альманах» с юбилеем!

Сила России, в том числе и величие русской литературы, всегда черпались из провинции. К счастью, в наше время именно в провинции осталось проникновенное слово, чистота помыслов и отсутствие меркантильности в творчестве. По крайней мере, хочется так думать. И именно таким представляется мне «Коломенский альманах».

Хочется пожелать процветания, но это процветание произойдёт вряд ли скоро. А вот стойкости и вдохновения желаю от всей души, искренне. Пусть каждый номер альманаха несёт читателям свет и надежду!

Владислав АРТЁМОВ,
главный редактор журнала «Москва»

Дорогие друзья, собратья!

Поздравляем «Коломенский альманах» с юбилеем! Журнал «Москва» связан с вашим ежегодником многолетним творческим сотрудничеством. Становление альманаха проходило на наших глазах. И сегодня ваш древний город Коломну уже невозможно представить без его литературного символа.

Двадцать лет прошло... И каждый из них отмечен замечательной книгой! Сколько же нужно сил, терпения, таланта, преданности делу, чтобы выдержать этот многолетний путь, не устать, не сойти с верной дороги! Только самое лучшее, что рождает коломенский край, украшает ваши страницы.

16

Благодаря альманаху Коломна по-новому засияла не только в своём Подмосковье, но и в стране. Им восхищаются и по достоинству ценят любители и знатоки литературного русского слова.

Пусть и впредь все произведения, опубликованные в вашем альманахе, остаются необходимыми, востребованными и любимыми! А редколлегия вашей желаю не только успехов в творчестве, но и русского упорства, которым держится наша провинция, да и вся Россия!

Юрий КОЗЛОВ,
главный редактор журнала «Роман-газета»

«Коломенский альманах» по праву относится к самым популярным и качественным периодическим литературным изданиям страны. Коломна — это город, где происходили многие драматические события в истории России, где, можно сказать, решалась её судьба, где определялось её будущее. В «Коломенском альманахе» почитают за честь публиковаться не только местные литераторы, но и прозаики, поэты, критики, литературоведы со всей России. «Коломенский альманах» — это уникальное издание, где, как в капле воды, отражается современный литературный процесс, открываются новые имена, обсуждаются насущные вопросы, волнующие граждан страны.

Редакция и редколлегия «Роман-газеты» поздравляют «Коломенский альманах» с юбилеем, желают главному редактору, сотрудникам и авто-

рам этого прекрасного издания творческих успехов, новых литературных открытий, а главное — уверенности в своих силах и правильности избранного пути!

Мы с вами!

Марина САВВИНЫХ,
*главный редактор журнала «День и ночь»,
г. Красноярск*

Есть в России места намоленные, города и предместья, до такой степени пропитанные народной памятью, что, кажется, сам воздух там «звенит от пенья аонид». Вот и Коломна... Разве может русский дух, сосредоточенный в каждом деревце и былинке, в каждом камне мостовой, в каждом кирпичике кремля славного подмосковного городка, не являться в слове, искусном и добром, в мысли высокой, в устремлении сердечном?! Конечно, явится и просияет непременно! «Коломенский альманах», юбилейный номер которого ныне представлен читателям, — прямое того подтверждение. В годы смутные, шатающиеся, требующие от думающего человека сосредоточенные для выбора верного пути, альманах выполняет свою подвижническую работу с завидным артистизмом и качеством. Редколегия и многочисленные авторы литературного журнала «День и ночь», издающегося в Сибири, поздравляют единомышленников и содейтелей с юбилеем и желают ещё многих и многих ярких выпусков, талантливых авторов и читателей, неизменного благорасположения небес и щедрости меценатов!

Сергей ШОКАРЕВ,
*главный редактор историко-краеведческого
альманаха «Подмосковный летописец», г. Москва*

Уважаемый Виктор Семёнович!

Поздравляю Вас с выходом юбилейного, двадцатого выпуска «Коломенского альманаха» — одного из старейших и наиболее авторитетных литературно-краеведческих альманахов Подмосковья. На протяжении столетий Коломна являлась крупным центром литературной и художественной культуры и просвещения, и «Коломенский альманах» достойно продолжает местные культурные традиции. Его отличают разнообразие жанров и единство общей идеи. История и культура коломенского края на страницах альманаха предстают как важная часть истории и культуры России, а через историю Отечества красной нитью проходит коломенский след. Хочу особо отметить краеведческую составляющую альманаха, публикующего ценные исследования по местной истории, которые открывают её малоизвестные страницы и дают богатую пищу для размышлений о судьбах былого.

Желаю «Коломенскому альманаху» творческого долголетия, новых авторов и интересных статей, читательской поддержки и взаимного инте-

реса, а коллективу сотрудников, чьими трудами создаётся это прекрасное издание, — здоровья, удачи и успехов в их благотворной деятельности.

Алексей ШЕВЕЛЁВ,
главный редактор журнала «Подвиг»

Вершины современной литературы «делаются» в изданиях, первоначально рассчитанных на провинциального читателя, «малых» литературных журналах. Именно в них в большей степени, чем в нескольких столичных монополистах-законодателях, происходит масштабный и методичный, кропотливый труд отбора, оценки провинциальной прозы и поэтических антологий, совершаются огромные, по нашим временам, усилия публикации — «упаковки» достойных, современных произведений, передачи их читателю и книжным издательствам. И только потом их ждут причисление к современной классике на университетских кафедрах, экземпляры в картоне на международных книжных ярмарках. Вы действуете в верном направлении, о чём говорит, например, то, что пьесы авторов, увидевшие свет в «Коломенском альманахе», ставятся на театральной сцене.

Желаем «Коломенскому альманаху», ведущему литературному изданию Подмосковья, коломенским писателям продолжать свой труд, оставаясь надеждой для талантливых литераторов, предметом их первого удовлетворения от собственного труда, трамплином в литературе. Издательство «Подвиг» будет радо предоставить коллегам свои страницы.

18

Виктор ОРЛОВ,
*заслуженный художник России, член живописной
комиссии Всероссийской творческой общественной
организации Союза художников России*

Дорогие друзья!

С глубокой древности, со времён Феофана Грека, Коломна была выдающимся художественным центром. И в наше время русская традиция здесь не только не угасла, а укрепилась. Имена Михаила Абакумова, Геннадия Сорогина и других замечательных мастеров кисти навсегда вошли в летопись отечественного искусства.

«Коломенский альманах» прекрасно соответствует высокому культурному уровню города. С первых же номеров на его страницах появились подборки, иллюстрирующие художественное пространство родного края — от шедевров иконописи до современных мэтров и молодых участников международных коломенских пленэров.

Нынешний, двадцатый выпуск не стал исключением.

И мы сердечно поздравляем коломенцев с их значимым юбилеем. Пусть «Коломенский альманах» и впредь остаётся зеркалом не только литературы, но и искусства — на благо Подмосковья, на благо всей России!

Диана КАН,
поэт, член Союза писателей России

Замечательный журнал! В руки приятно взять. Читать интересно. Смотреть — глаз радует. Выпускать из рук неохота. Виктор Семёнович, Вы такое большое дело делаете не только для литературного процесса Московского региона, но и всей России. Такой альманах не зазорно на стол Президенту положить. А вот так задаться вопросом — много ли на сегодня таких изданий литературных, которые будут интересны далее литературного корпоративного круга? Немного! Очень немного! И это беда современного литпроцесса. А «Коломенский альманах» интересен и писателям, и читателям. Респект Вам, Виктор Семёнович!

Юрий ГЕРЛОВИН,
*председатель правления ТО «Лира»,
Штутгарт, Германия*

Уважаемый коллега, господин Мельников!

Хочу от имени своих товарищей по творческому объединению «Лира» и, конечно же, от своего тоже поздравить Вас с двадцатилетием Вашего детища — «Коломенского альманаха». Фрагменты из Вашей книги «Восковые печати», помещённые в шестом выпуске нашего литературного альманаха «Встреча», показали, насколько близки наши литературные взгляды, и были с большим интересом восприняты нашими авторами и читателями.

Будучи составителем литературного альманаха, я знаю, насколько непростое и хлопотное это дело. Поэтому ещё раз искренне поздравляю Вас с серьёзным юбилеем Вашего издания, желаю Вам и Вашим коллегам-авторам успехов, здоровья и творческой радости от полученных результатов.

Галина ШАРОНОВА,
*генеральный директор
ГУП МО «Коломенская типография»*

Мы горды тем, что из 20-летней жизни «Коломенского альманаха» последние семь неразрывно связаны с нашей типографией. Ежегодник стал знаковым для всего города, и, конечно же — для Коломенской типографии тоже.

Что скрывать — работа над ним не только увлекательна, но и сложна. Ведь высокое художественное качество альманаха требует и соответствующего оформления. И бумага, и фотографии, и репродукции, и печать должны быть высочайшего уровня.

Главный редактор издания Виктор Мельников не просто частый наш гость. Когда печатается альманах, он становится практически нашим постоянным сотрудником. Результатом этого вдохновенного совместного труда становится ежегодник, вызывающий восхищение читателей не только своим содержанием, но и достойным оформлением.

Желаем редакционной коллегии «Коломенского альманаха» и его главному редактору долголетия, творческих находок, новых талантов! Оставайтесь верными своей любви к Коломне и её людям!

Елена ПАРАМОНОВА,
*директор коломенской городской
библиотеки им. В. В. Королёва*

Уважаемый Виктор Семёнович!

Коллектив нашей библиотеки поздравляет Вас с юбилеем! «Коломенскому альманаху» — двадцать... Два десятка лет, как под его обложкой литературная Коломна обрела свой дом. Два десятка лет творческих поисков, неустанных трудов, высоких стремлений. А также радостей, огорчений, ссор, обид, прощаний навсегда, воссоединений, великих открытий, новых проектов, тысяч публикаций, рождения талантов. И главное — любви. Любви к литературе, к художественному слову, к родной земле, к землякам-коломенцам. За эти годы альманах стал литературной купелью многих начинающих авторов, помог им вырасти до уровня профессиональных поэтов и прозаиков.

В фонде нашей библиотеки «Коломенский альманах» — давно незаменимая и необходимая книга. Читатели и библиотекари с искренним нетерпением ждут каждого выпуска альманаха для чтения, для работы, для исследований. Коломенцы справедливо и точно называют главную книгу года «энциклопедией коломенской жизни».

Желаем членам редколлегии и авторам новых интересных публикаций и осуществления самых смелых творческих замыслов!

Живи, «Коломенский альманах»! Продолжай быть необходимым Коломне, радуй читателей, пополняй наши библиотечные книжные полки!

Аркадий АРЗУМАНОВ,
*директор муниципального музея-заповедника
«Коломенский кремль»*

Дорогие друзья, коллеги!

Если собрать все статьи, за двадцать лет опубликованные в альманахе сотрудниками музея или исследователями, которые пользовались его помощью и материалами, то получится список, наверное, на целую книгу. Поэтому я не буду перечислять публикации, тем более что это дело почти невыполнимое.

Просто скажу, что «Коломенский альманах» — это родное для музея издание, в каждом номере которого есть частица и нашего труда.

И что можно вам пожелать в год юбилея? Наверное, того, чтобы духовная и творческая связь между музейщиками и писателями по-прежнему сохранялась нерушимо. Защита и приумножение коломенской традиции — это важнейшая задача ежегодника. И я надеюсь, что наша дружба навсегда останется частью этой благородной традиции!

Алина ЧАДАЕВА,
поэт, прозаик, литературовед,
г. Москва

Уважаемый Виктор Семёнович!

Прочла 19-й номер «Коломенского альманаха». Поняла, что интеллектуальная столица России — город Коломна. И это — не преувеличение, а трезвая и искренняя оценка. Альманах — культурный манифест, всеобъемлющая программа сути родинолюбия. Применила это слово взамен затасканного «патриотизм».

Ещё впервые переступив незримую черту Вашего города этой весной, я почувствовала совершенно необычную атмосферу Пространства и Времени, древний вечный Космос.

Страницы альманаха рассказали мне о том, что в этом Граде живут вневременные люди.

И Иван Лажечников всё ещё пишет свои реальные фантазмагии в духе и жанре исторического реализма, его творения можно открывать заново, можно прикоснуться к стенам его дома.

Художники Коломны дружески переговариваются с Кустодиевым, будто пишут свои городские пейзажи в непреходящей, радостной, многоцветной — Руси-России... И с поленовскими «Двориками», сохранившими в Коломне скромный уют земной непритязательной обители. Геннадий Сорогин, Михаил Абакумов, Сергей Циркин — живописцы особенной стати, видящие за историческими, казалось бы, декорациями Святую Русь во всём целомудрии и полноте этой идеи.

График Василина Королёва изумила меня ещё ранее, когда вместе с Романом Славацким перевоплотилась в античного мастера, расписывающего килики, в строгого геометра архитектуры... В альманахе у неё — иное, женственное лицо, её иллюстрации самоценны, линии почти незримы. Нежность прикосновения — взглядом, кистью ко всему, чего коснётся этот удивительный художник.

А как разнообразна поэтическая палитра! Лишённая и тени провинциализма, представленная в альманахе поэзия — разноголоса, многотемна. Поэты, а их много, знают слово выстраданным, не проходным, не дежурным.

К сожалению, я не успела познакомиться с прозаическими произведениями. Прочла лишь Ваши «Русские сны». Горячая, большая тема... Братоубийственный раскол Украины страшен прежде всего потому, что гражданская война разводит семью по разные стороны баррикады. Всё это уже было, было: и «незалежная Украина», и покинутая пахарями земля... Рассказ этот — незавершённая трагедия. То ли ещё будет... Сегодня в сводках с украинских фронтов мы видим как бы продолжение рассказа и готовы верить вместе с героем, что безумие всё-таки остановится.

Замечательно и разнообразие материалов в альманахе. Взять хотя бы «дежурный» вроде бы жанр — поздравление с 80-летием Митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия. Внутри «малого акафиста» — мысль, объединяющая людей, являющих собой, на мой взгляд, спасительную силу России, где бы они ни жили: «...важно ощущение культуры как общего дела».

Из стихотворения Романа Славацкого, посвящённого юбилею Митрополита, тронули тёплые и точные слова: «Душа Коломны, словно панагия, / Скрывается на сердце у него...»

Многая лета Вам, создатели и авторы уникального «Коломенского альманаха»! И — поздравление с умудрённой зрелостью!

Надежда НИКОЛАЕВА,
поэт, г. Москва

12 сентября в Коломне состоялась презентация нового — 19-го выпуска «Коломенского альманаха».

Мне посчастливилось поклониться этому городу за его благословенную землю — древнейший Оплот, Колокол и Храм земли русской, которая рождает и притягивает талантливых художников, поэтов, писателей, литературоведов и краеведов. А также отдать почтение создателям, издателям и спонсорам «Коломенского альманаха», поддерживающим традиции единства слова и дела, заложенные великим русским просветителем Николаем Ивановичем Новиковым.

Имя Н. И. Новикова для меня теперь органично связано с именем организатора и редактора этого альманаха — поэтом и писателем Виктором Семёновичем Мельниковым, чей вклад в дело создания и процветания «Коломенского альманаха» трудно переоценить — низкий ему поклон за его титанический патриотический труд, без которого не было бы такого содержательного журнала.

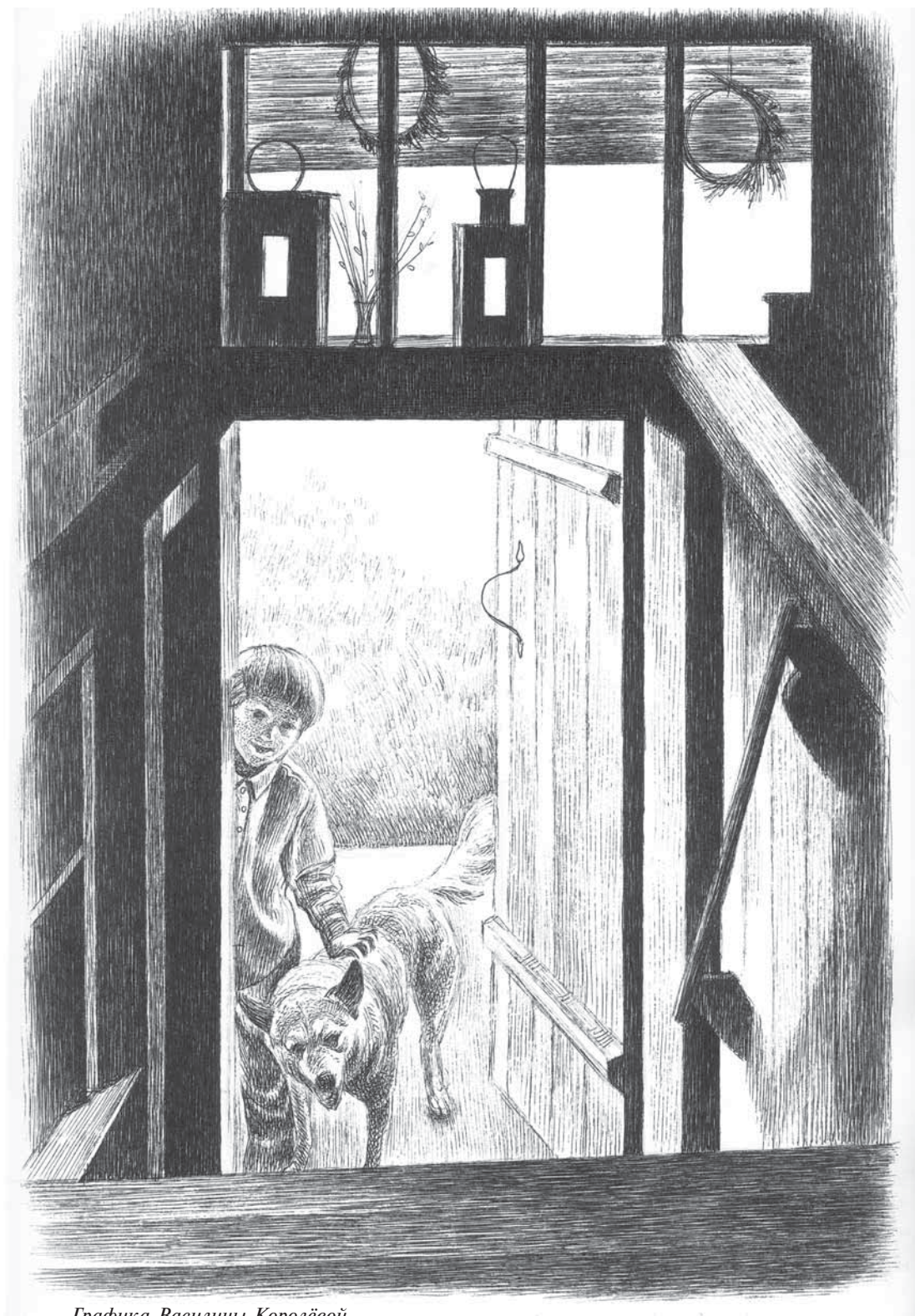
На страницах «Коломенского альманаха» уживаются и проза, и поэзия, и драматургия, и музыка, и живопись, и публицистика, и краеведение... Представлены авторы, каждый со своим лицом, своими откровениями, но объединённые единой целью — сделать нашу жизнь чище, лучше, возвышеннее, светлее, познавательнее.

Красной нитью в альманахе скрепляется историческое прошлое и наша современность, звучит неповторимый коломенский текст! Очень дорого то, что, наряду с бережным отношением к ныне здравствующим авторам, здесь свято чтится память многих современных, уже ушедших авторов, отдаётся дань их таланту путём публикации лучших произведений.

Спасибо всем авторам и друзьям «Коломенского альманаха», с которыми посчастливилось встретиться в реальной жизни: Виктору Мельникову, Татьяне Башкировой, Роману Славацкому, Михаилу Болдыреву, Карине Сейдаметовой, Александру Сахарову! Спасибо Коломне за её гостеприимный творческий дом! Это, наверное, что-то сродни дому Волошина по возможности творческого общения... Спасибо за ощущение сопричастности большой творческой дружной семье...

Проза





Графика Василины Королёвой

Владислав Леонов

О ВОЙНЕ, О РОДНЕ, ОБО МНЕ



Владислав Николаевич Леонов родился в 1935 году в городе Коломне. Окончил Литературный институт им. А.М. Горького. Работал в газете «Коломенская правда». Автор многих книг и публикаций: «Грачи мои, грачики», «Хозяин морковного поля», «Сбереги мою лошадку», «Мамин сын», «Грушевый чертёнок» и др., которые неоднократно переиздавались массовыми тиражами. Печатался в «Коломенском альманахе».

Член Союза писателей России. Живёт в Москве.

Повесть

Перед войной

Е какое самое распрекрасное место на свете? Конечно, то, где ты родился, где твоя родина. Ну, скажем там, Париж, Москва, пустыня Сахара или русская печка в Дашках-вторых. Я родился в милой подмосковной Коломне, ещё в то далёкое довоенное время. Спасибо маме и папе, а ещё — доктору, который принял меня в этот мир. Спустя годы, увидев как-то на скамейке в коломенском скверике седенького старичка с газетой, мама трепетно шепнёт мне, уже взрослому парню, пятиклашке: «Это сам Пётр Степаныч, который тебя принимал». Этот процесс я, естественно, не помню.

О первых годах моей жизни тоже не могу ничего внятного сообщить. По словам родителей, я сильно орал, был, видимо, чем-то недоволен, хотя на снимке выглядел счастливым — такой толстый, почти квадратный голый карапуз с живыми глазками. Детский врач поставил мне диагноз «рахит» и выписал кучу таблеток. Дед Андрей, бывший красный комиссар, выбросил эти таблетки, обложил заочно врача и запретил накрепко пеленать ноги младенца, как было тогда принято, чтобы вырастали эти ноги прямыми и стройными.

Бабушка Дуня тихонько сказала на это, что деда, видно, не пеленали, вот он и стал кривоногим. «Для кавалериста это очень удобно!» — отбрил дед и посо-

ветовал бабушке лучше помолчать. Говорят, с тех пор я перестал вопить и радостно болтал вольными ногами. Говорят ещё, что меня, первого в семье внука, после этого ещё сильнее полюбили все мои родные, особенно юные дядьки — Гриша, Володя и самый младший мой дядя — пацан Миша, которого очень потешало его звание. Миша с удовольствием возился со мной, первым прибежал посмотреть, как я просыпаюсь, первым однажды схватил со стола любимую дедову чайную чашку, подставив её под мою утреннюю струю, и ему первому я тогда улыбнулся. Мама, правда, с этим не согласна.

Мишу я уже помню, как и запах тёплой пыли на русской печке, на которой мы с ним возились. Помню и кошку-мурлыку, её Миша пеленал, как ребёнка, и, помирая от смеха, баюкая, носил по комнате. Кошка смотрела зелёными глазами, её мордочка с острыми ушками забавно торчала из одеяльца.

Чем кормили меня в то время — не знаю. Должно быть, пичкали манной кашей, потому я после долго не мог видеть её, противную.

Когда мы потом переехали в Егорьевск, городок тихий, весь в лесах, я уже начал бойко ходить, что-то соображать и запоминать. Знал, что папа Коля работает на заводе, а мама Аня всё время дома, со мной. Запомнил, как одевали меня жарким летом во что-то вроде майки вместе с узкими трусами, которые натирали все нижние места, потому, проклятые, и запомнились.

Хуже всего было зимой, когда на голову ребёнка напяливали сперва платок, на платок — шапку, всё это накрепко завязывали, вдобавок воротник меховой шубейки так стягивали шарфом (мама звала его «кашнэ»), что дышать, ворочать головой и просто ходить было невозможно. Да ещё и валенки с галошами тянули вниз. Мальчишки тыкали в меня пальцем: «Гляди, гляди! Водолаз! Со свинцовыми ботинками!» Позже, увидев такого водолаза в кино, я вспоминал себя, несчастного.

Но самая ужасная пытка — это стрижка в парикмахерской ручной тупой машинкой. Было и ещё немало всякого разного нехорошего. Так что раннее детство, которое называют золотым, не всегда солнечное и свободное. Взрослые нависают над нами серыми глыбами, заранее зная, что мы хотим, и, не спрашивая ребёнка, одевают его во что положено, кормят, как им нужно, и со словами «боже, какой ты грязный!» трут ему розовые щёки наслюнявленным платком. Поэтому не очень-то я любил одеваться, давиться домашней едой и с улицы частенько притаскивался к доброй нашей знакомой тёте Гриппе, ласковой, с ямочками на щеках. Она жила этажом пониже и не ворчала, что ем я «сухомятку»: хлеб с маслом и сахарным песком. А в общем-то, в довоенные годы о еде мне как-то не думалось, тем более еда была, аппетитом я не отличался, скоро вытянулся и оставался долгие годы тощим.

Были и хорошие дни, когда приезжал в гости мой подросток Миша. Один приезжал, на поезде или с дедом и водителем Сашей на легковой чёрной машине «эмке», за которой бежали мальчишки нашего двора. Дед был директором на каком-то там ремонтном или моторном заводе в Коломне, и я никак не мог его представить в этой важной пузатой должности — он был сухощав, быстр, черноволос и на прозвище Цыган не обижался.

Таким же шустрым и черноглазым был и мой Миша. С ним мы ходили куда хотели, ничего не боялись, даже парикмахерской, в которой Миша тоже садился в соседнее кресло, тоже мучился, но не подавал виду и корчил мне рожи. Он-то и сказал маме, что «девчачий платок такому взрослому парню надевать очень стыдно, да и шапку нечего завязывать — не сахарный, не растает!»

Я подрастал, мир помаленьку стал расширяться. Начал я к нему приглядываться, себя в нём ощущать. Спасибо «дяде», платок с головы сброшен, шапку перестали завязывать, проклятое «кашнэ» за диваном валяется. Мама устала твердить, что я босяк, а мне, босяку, так-то было хорошо, так-то встало. Особенно после дождя, когда разрешалось всю шлёпать по тёплым лужам! Летом ходил я в старой рубаше, древних брюках и сандаликах. Так было удобней бегать, прыгать и валяться. И мама, выпуская меня в свет, уже не предупреждала: «Смотри не испачкайся!»

Появились друзья — народ в большинстве босоногий, плохо одетый, с которым во дворе и на заросшем лопухами пустыре рассуждали мы обо всём — о Красной Армии, о боевых конях, о полярниках, лётчиках, о бедных девчонках, которые не могли писать, как мы, на заборы и столбы, а присаживались подальше в кустиках.

Не говорили мы только о взрослых — существах скучных, вечно занятых своими непонятными делами. Женщины где-то работали, а дома стирали, штопали, ходили в магазин, бранились на кухне. Мужчины утром шли на свою работу, вечером играли во дворе в домино, выпивали, курили или, как Васькин отец, спали на пустыре в лопухах. Они, эти взрослые, забыли, что мы уже давно не дети, а как и прежде, сюсюкали, присаживались передо мной: «Ух ти, какой хоросенкий! Конфетку хочешь?» Дружки мои издали только похрюкивали в кулак. Мама строго запрещала брать что-то у незнакомых. Эта рябоватая тётка Фрося хоть ох как знакома всему двору, да не хочу я её конфетку замусоленную! И её, красавицу, с синяком под глазом, видеть не желаю!

Весь двор знает, что «поучил» Фросю собственный муж Степан. За то, что отлупила она своего сына Ваську: тот ключ от комнаты опять потерял. Орал лохматый Васька по-хитрому — возвышал голос до вопля только тогда, когда открывалось окно и высовывалась рассерженная моя мама. Она стыдила Фросю, Васька умолкал, глядел невинными светлыми глазками, а мама потом дома долго ещё возмущалась:

— Как можно детей бить! Битьё, что, поможет ключ отыскать?!

Меня родители пальцем не трогали и ругали редко. Даже когда я устраивал молчаливый бунт и не хотел ложиться спать, сидел в темноте на холодном кожаном диване. До сих пор слова «Пора спать!» или: «Пора в город Храпов!» вызывают кислое чувство обречённости.

Жили мы, как я теперь понимаю, в коммуналке — всегда была перед глазами одна наша комната, в ней спали, ели, в ней я на своём горшке сиживал. На кухне ничего интересного — вечные соседи, керосинки и кастрюли. Гостей туда не приглашали, только приходили незваные мужики тараканов травить. Взрослый унитаз я освоил позже, до того пользовался горшком, на нём можно было посидеть, поразмышлять.

В ванной стирали бельё, умывались над раковиной, мылись кто где мог. Папа после работы в «чугунке» принимал душ в цеху, хотя всё равно

от него пахло жжёным железом. В баню я сначала ходил с мамой, там, сидя в тазу («шайке»), брезгливо разглядывал голых тёток. Принцесс среди них, всклокоченных, точно не было. Вряд ли Золушка сверкала дырой на чулке, как та же Фрося. (Хотя если побегать от принца в одной хрустальной туфельке...) Да и принцев в нашем дворе тоже не водилось. Мужики все серые, скучные, с жёлтыми зубами, а то и вовсе без них. Все работали на одном заводе.

Самые красивые люди — мои папа и мама. Папа больше молчал и, когда что-то не понимал, ещё больше «выпуливал», как говорила мама, свои большие карие глаза. В выходные дни он ходил в светлой рубаше, светлых брюках и белых ботинках. «Инженер», — слышал я шипенье Фроси. Да, папа был инженером, и мама им очень гордилась. Инженеров тогда было мало, а всё печники, стекольщики, точильщики ножей и ножниц — они ходили по дворам и кричали: «Печки ложим!», «Стёкла вставляем!», «Ножи точим!» Эти хоть что-то делали, смотреть на их работу было приятно. Я мог часами стоять возле будки сапожника. Как ловко резал он кожу, как, взяв в рот мелкие гвозди, потом с пулемётной скоростью всаживал их молотком в сапог!

Но самым интересным человеком был безносый старёвщик. Не тем интересен, что безносый, а тем, что возил он в своей телеге, запряжённой старой клячей, разные нужные вещи: пугачи, стрелявшие пробками, мячики на резинке, разноцветные очки, книжки с картинками и много другого добра. Всё это можно было обменять не за деньги — за кости, тряпки и старые галоши. И хотя мы потихоньку пели про мужичка: «Кости, тряпки и галоши! Обдирала я хороший!», но ходили за ним толпой, предлагая ему старую бабушкину кофту, собачьи кости со свалки, драные сапоги.

Бесстрашный Васька махал новыми пахучими галошами. За них он получил замечательный чёрный револьвер и пачку пробок, набитых спичечной серой. Добрый Васька давал пострелять всем нам и даже большому парню Боре, который и отобрал его оружие: малолеткам не положено. И, кстати, галоши воровать из дому грешно. С Борей не поспоришь — человек он известный, связан, говорят, с местной шпаной, ходит в клёшах, загребая ими пыль, и в кепочке с пуговкой, смотрит вприщурочку. Даже его необычная фамилия — Шкарбан — вызывала у нас уважение. Он чем-то так напоминал мне Мишу — наверное, «ухваткой», как говорила баба Дуня.

— Чёртов ребёнок, куда галоши девал? — уже кричала из окна Васькина мать, грозя красным, распаренным кулаком. — Иди, иди-ка, аспид, сюда!

Пошёл Васька, вздыхая и заранее утирая слёзы. Поглядел на его согбенную спину Боря, пронзительным свистом остановил мальчишку, потом, положив локти на подоконник, долго нашёптывал что-то Фросе; та сперва сердито отмахивалась, потом засмеялась и захлопнула окошко. Васька оторопел, шмыгая мокрым носом: умел же Боря разговаривать с женским полом! А Боря, проходя мимо, небрежно бросил через плечо:

— Иди, мать обедать зовёт. Не тронет, не бойся, аспид.

Любил я выходные дни, когда родители собирались со своими друзьями, брали вино, еду, брали детям ситро, брали красный коломенский патефон, ящичек с пластинками и уходили в ближний лес — пить, разговаривать, смеяться. Сначала по традиции все слушали «мальшовские»

пластинки: про мороженое, про рассеянного с улицы Бассейной,— их читал Маршак, следом звучали боевые песни, уже для нас, больших ребят: про красную конницу, трёх танкистов, потом патефон ублажал взрослых всякими там: «Ночь светла», «Прощай, мой табор», «Под крышами Парижа», «Дождь идёт», «Расставание». В общем, сплошное утомлённое солнце и печальная луна. Эта тяготи́на не для нас — мы носились по поляне, ловили майских жуков, девчонки собирали свои цветочки-василёчки. Было весело, дышалось вольно, спалось потом мёртво.

Сказки на ночь мне не рассказывали. На мои просьбы мама, как раньше бабушка Дуня, отвечала, не отрываясь от швейной машинки: «Рассказать тебе сказку, про свинью-лупоглазку? Рассказать другую, про свинью голубую»? Я перебивал: «Расскажи про утку — она улетела в будку!». И ложился в родительскую постель в ожидании папы. Папа будет рассказывать случаи из своей юности: как рыбу они с дедом ловили, а подцепили шуку с бревна, которая таскала их по всей речке, вспомнит о своей юности, об учёбе в институте, о товарищах, в честь одного из них, рано умершего, он и назвал меня Владиком — именем несоллидным, малолетним каким-то. (Позднее, когда я стал уже взрослым, то переименовался в дядю Славу: «дядя Владик» — это как-то не очень...)

Все свои рассказы папа всегда заканчивал вагранками, мартенами да домнами. Эти самые домны я представлял себе в виде огромных горячих и дымных громадин, из которых льётся металл. А что делает инженер? Точильщик точит ножи, сапожник шьёт сапоги, а инженер? Бумажки, что ли, пишет? А металлург металл варит? В кастрюле? Так и спросил однажды папу, прикинувшись бестолковым. Он посмотрел на меня своими большими тёмными глазами и сказал со вздохом:

— Завтра утром я тебе что-то покажу. А пока проваливай в город Храпов.

Утром мы пришли куда-то на край города, протопали через какие-то ворота. Потом в тесной будке паровозика без тендера проехали в огромный цех, полный станков, звона и скрежета. Пахло горячим машинным маслом. Люди были маленькие, а станки — большие. Нам с папой кивали, улыбались. Меня покатали, как на карусели, на каком-то большущем станке, который так и назывался — «карусельный». В модельном цехе мне показали ярко раскрашенные модели, папа сказал, что по ним отливаются металлические детали разных нужных машин и, не дожидаясь моих расспросов, повёл меня в свой чугунолитейный цех.

Я мало что углядел в дыму и чаду чугуны, помню только, как видел в синем глажке печи бурлящий металл. Меня провели куда-то наверх, надели на глаза очки с синими стёклами, через которые я, ошалев от внезапного восторга, наблюдал, как, озарив весь тёмный цех до самого потолка, выбрасывая миллионы искр, льётся в ковш золотой поток. Видно, был я такой разволнованный, что все литейщики, глядя на меня, потом смеялись, вытирая с лица грязный пот. Это были совсем другие взрослые люди, которых я раньше не знал. Это были настоящие взрослые люди, умелые и смелые.

Я стал кричать папе (говорить нормально в шуме и грохоте было нельзя), чтобы подарили мне что-то на память — хоть вон ту сизую великолепную железку.

— Нельзя,— наклонился к моему уху не тот глазастый любимый папа Коля, а строгий начальник цеха товарищ Николай Иванович, — нельзя, парень, руки обваришь.

Тут только я обратил внимание, в каких тяжёлых непрожигаемых шляпах, робах и рукавицах трудятся литейщики. Могли бы и мне такие перчаточки подарить. Я немного покривился, но долго обижаться не стал. Тем более что в воротах цеха кто-то из чумазых рабочих сунул мне в карман настоящие чугунолитейные очки с синими защитными стёклами. И пожал мне руку своей горячей шершавой и могучей ладонью. Я сказал ему «Спасибо!» Он в ответ улыбнулся, и только теперь я узнал Васькиного отца, совсем не того, который дрался с женой и спал в лопухах.

Дома я разглядел подарок. У меня уже были танк, самолёт Валерия Чкалова, плюшевый медведь, десять оловянных солдатиков, совсем детская игра «Репка», но таких настоящих рабочих очков не было ни у кого из наших ребят. Я походил в них по комнате, заглянул в синюю кухню, намылился было на улицу, но мама сказала, что уже вечер и на дворе и так почти темно. Спорить с ней я не стал.

С мамой мы тоже хорошо дружили. На всю жизнь запомнились светлая солнечная комната и мама, молодая, красивая, с пушистыми тёмными волосами, сидит за машинкой и вышивает цветы, напевая: «Сидели две птички, ростом невелички». Я для этого вышивания рвал в палисаднике анютины глазки — их мама особенно любила. С мамой я ходил на рынок, в магазины, где она покупала мне мороженое.

Особенно интересными были походы накануне новогодних праздников. Тут уж мы раскручивались на все сто. Бусы, всякие там шарики нам были неинтересны, покупались: папанинская льдина с домиками и зимовщиками возле них, самолёт, на котором наш герой Валерий Чкалов летел через Северный полюс, белые медведи, дирижабли, смешные клоуны, красные звёзды, светофоры, спортсмены, девушка с серпом и снопиком пшеницы, много ватных ярких фруктов и овощей. Дедов Морозов, помнится, мамы делали сами: собирались у соседей, клеили, красили, снабжали красноносых весёлых стариков бумажными мешками с подарками. Эти мешки мне долгое время хотелось развязать и поглядеть, что в них. Неужели только вата? Однажды Васька разрезал один такой мешок, ничего в нём не нашёл, только схлопотал по затылку от Фроси. Моя мама покачала головой, а грузчица Фрося быстро сказала, поглядев на свои ладони-лопаты:

— Я ж легонечко.

Ей доставалась работа грубая — «принеси-подай». Моя мама шила костюмчики для ёлочных кукол. Она вообще очень любила шить, и лучшим подарком для неё была швейная машинка. Когда папа притащил её к какому-то празднику, сбегались ближние и дальние соседи. Машинка была тогда такой же роскошью, как и патефон. «Богатенькие!» — с завистью говорила про нас Фрося.

С этой машинкой пришли и нехорошие дни: мама теперь норовила и себя, и папу, и меня «обшить». А чего меня-то обшивать! Всё у парня было. В праздники почти все ребята, да и многие девчонки ходили в матросских костюмчиках, очень уж детских и марких, а в обычные дни я прекрасно обходился всегдашними штанами и рубахой.

Мама же и в будни одевалась не в серое, как тётка Фрося, а в светлое — белые носочки, туфельки, беретки. В праздники добавлялись бусы, осенью она щеголяла в резиновых сапожках на каблукке, в котиковой (не из котов!) короткой шубке, в такой же шапочке. Однажды к этому наряду добавилось нечто особенное...

Мы с мамой часто уезжали на мою родину, в Коломну, где жила наша многочисленная родня. Особенно радовали меня встречи с Мишей, который начинал уже говорить баском. «Во, голос, Владьк, ломается». Другие мои дядьки тоже были людьми интересными. Дядя Гриша — самый светловолосый из всей дедовой горюновской родни. Его боялась местная шпана, был он в деда Андрея — жилистый и гибкий, первым в драку не лез, но когда его или друзей задевали — берегись, удар у дядьки железный, хоть боксом никогда не занимался, и работал не грузчиком, а с чертежами, и пальцы у него были музыкальные.

У дяди Гриши была уже семья — жена и сын Витька, мой двоюродный брат, с которым мы потом крепко сдружимся. А пока он ещё маленький и неинтересный.

Спокойный, в бабушку Дуню, другой дядя, Володя, после школы учился в коломненском аэроклубе и уже летал на планере. На плечах у дяди Гриши я доехал однажды до поля, над которым летали эти диковинные бесшумные птицы. В тишине слышались голоса из кабин. Планеры приземлялись с лёгким свистом и шуршанием. Из кабины одного из них вылез дядя Володя в лётном шлеме и очках. Он подошёл к нам, обнял меня, поцеловал, надел мне на голову свой тёплый шлем с очками и тут же погрозил пальцем неугомонному Мише, который уже сидел в его кабине.

Таким я запомнил дядю Володю. Но самым любимым был мой Миша, худенький, живой, черноглазый. Хотя «дядя» к пятнадцати годам и вытянулся, но остался таким же выдумщиком, заводилой, озорником, с которым не соскучишься. Он учил меня играть «в ножички», «в чижику», «в городки», он по секрету всему свету объявил, что тоже станет лётчиком, что высоты не боится, и лез то на крышу, то на тополь. В тот мой приезд Миша вдруг решил:

— Делаем скворечник! — Я удивился: ведь лето идёт, у скворцов уже птенцы, кто в нём жить-то станет? — Пока воробьи, а весной поглядим! — пресёк все разговоры дядя и взялся за работу. Руки у него золотые, как говорил дед, и пилить, и строгать, и красить — всё могут. Я едва успевал подавать молоток да гвозди. Сколотили ладный птичий домик. Миша полез на липу, которая росла прямо под окнами его двухэтажного дома, приладил — получилось хорошо, красиво.

— На поезд опоздаем! — испугалась мама.

Миша молчком подхватил наши сумки с подарками, и мы помчались. Успели!

Поздно мы вошли с мамой в свою комнату и, включив свет, замерли в удивлении: наш кожаный диван был устлан газетами. Мама осторожно приподняла край газеты и отскочила: на неё глядела оскаленная звериная морда.

— Это тебе подарок ко дню рождения, — сказал папа, входя.

Подарок был великолепен: здоровенный лис, вернее, его чучело с острыми зубами, рыжими глазами и огромным рыжим хвостом. Пока

папа рассказывал, как ещё зимой сам застрелил лиса, а егерь Кузьмич сделал чучело, мама живо накинула этот великолепный воротник себе на плечи — хвост доставал до каблуков. Мама была краше принцессы, и мы с папой смотрели на неё во все глаза.

Потом во дворе, в магазине, на рынке на маму так же смотрели люди, а мальчишки норовили дёрнуть лиса за хвост. Боря Шкарбан, встретив как-то маму с лисой, отступил на шаг и картинно приложил руку к сердцу. Маме это очень понравилось, она качала головой, приговаривая: «Мальчишка, а понимает». Долго-долго этот лис ездил с нами по стране. Когда обтрепался, из хвоста сделали шапку, а спинку подкладывали под ноги, если сильно дуло в окна в долгие зимние вечера в далёком казахстанском посёлке...

И вот я наконец вырос! Семь лет скоро — не шутка. В баню с папой хожу, моюсь, себя и мужиков остро разглядываю, сравниваю. Сравнение не в мою пользу. Есть надо, поправляться, мощнеть. На груди у немногих пожилых мужчин крестики. На нас с папой и на ребятах нет. Васька носит крестик, мальчишки в бане смеются: «Что-то он тебя от битья не спасает!» Из бани выходим втроём, распаренные, довольные. Тётка Фрося навстречу:

— Откуда топаем?

Отвечаю небрежно:

— С отцом в баню ходил.

Васька хмыкает, а папа наклоняется ко мне:

— Лучше говори «с батей», так солидней.

То ли сам я стал «солидней», то ли взрослые оказались не такими уж взрослыми — с нами вон в футбол гонять взялись, все клумбы помяли, но нас они начали замечать. Дворник шланг давал — клумбы развороченные поливать, печник попросил песочку в раствор добавить. Лохматый Васька к мороженщику с его тележкой подошёл, поглядел невинными глазками:

— Помочь, дяденька? Попробовать могу — не скисло чего.

Тот грудью на свои банки упал:

— Иди ты, знаешь, куда! В парикмахерскую или...

Васька укоризненно покачал лохмами. Во дворе наши взрослые не выражались. Ребята тоже не рисковали, хоть давно понимали смысл всех отборных словечек. Народ у нас рабочий, жаловаться к родителям не побежит — сам может за ухо оттрепать или подзатыльник влепить.

От взрослых я узнавал много нового. Как-то увидел плечистого Васькиного отца с маленькой лопаткой и большой корзинкой. Васька тащил ещё одну корзинку, поменьше. За грибами, что ли, собрались? Жалко, косу не взяли. Видно, эту насмешку прочитал дядька Степан в моих глазах. Кивком головы позвал за собой. Мы прошли через ближний лесок на какое-то поле с грядками.

— Картошка, — сказал Васька. — Копать умеешь?

Я и есть-то картошку не больно любил — это тебе не пирожное, а где она растёт и как её копать?.. Взял лопату, попробовал — не получилось. Васькин отец вывернул лопатой куст, показались крупные картофелины. Васька бросился их собирать. Я ему помогал. Заинтересовался. Стала получаться и копка. Скоро наполнили обе корзинки. Свою, большую, дядька Степан нёс ненатужно, молчком, Васькину, маленькую, мы тащили

вдвоём с пыхтением и кряхтением. Эту корзинку Степан велел отнести к нам — мне плата за работу. Мама, увидев мои измазанные коленки, корзинку с картошкой, подняла бровь, а, выслушав мой рассказ, как-то грустно вздохнула:

— С первым трудовым днём тебя.

А Васька добавил серьёзно:

— С первой получкой.

В это же время случилось у меня главное потрясение — книги. Сперва мама читала про трёх поросят, потом принялись мы за русские народные сказки. Это тебе не «свинья-лупоглазка»! Одолели «Волшебника Изумрудного города», и пошло-поехало! На дни рождения ребята дарили друг другу книги. Пока родители пили и закусывали, мы разглядывали картинки и пересказывали то, что нам прочитали мамы, от души прибавляя истории собственного сочинения.

Однажды мне подарили книжку Маршака. Я замучил маму, которая прочитала мне её раз сто от «корки до корки», и скоро я знал наизусть все стихи, сказки, песни и загадки из этой книжки. Начал потихоньку осваивать буковку за буковкой, и они как бы оживали передо мной, складывались в слова. Это было так удивительно и волшебно! Мама, правда, не одобряла: всему своё время, в школе читать и писать научишься, пока гуляй на свободе.

Как-то Валера, сын тети Гриппы, уже школьник, негромко, с запинками прочитал мне «Песнь о вещем Олеге». Эта песнь так меня потрясла, что я заставил пацана читать её ещё и ещё, повторяя про себя каждую строку, пока не одолел её быстрее ученика. И когда на каком-то семейном празднике соседские дети, зачем-то летом, спели, как в лесу родилась ёлочка, которую мужичок-дурачок срубил, когда рассказали стихи про зайчиков и белочек, вышел я и врзал «Вещего Олега» так, что все рты раскрыли. Валера отдувался и таращил глаза.

— Гений! — сказала тётя Гриппа. — Далеко пойдёт.

А её дочка Юлия, моя ровесница, обняла меня и серьёзно пообещала выйти «за такого умного» замуж. Васька пропел: «Тили-тили тесто, жених и невеста». Ну, совсем дурачки глупые!

Книги как-то «повзрослили» меня, отдалили от других ребят, с которыми стало неинтересно носиться по улицам и вопить. Я полюбил сидеть где-нибудь на скамейке и смотреть картинки, складывать буквы в звонкие слова. Иногда отрывался от страниц и затуманенно взглядывал на людей, сидящих, проходящих, скучающих, книжки не читающих, и жалел их, бедных.

Вон тот же Боря Шкарбан. Каким бы он стал, если ещё б и с книжками дружил. А то идёт грустный, носком ботинка по песку чертит, слово какое-то пишет. Ну-ка, что там? Шевелю губами. Выходит: «Эмма». Ага, понятно: ещё один «тили-тили-тесто».

Эта взрослая красивая девочка с чёрной длинной косой недавно поселилась в нашем доме на втором этаже. Дом наш невеликий, скоро Фрося, а за ней остальные узнали, что зовут девочку Эмма Фокина, отец её — главный инженер завода. Живут они в отдельной квартире, с телефоном, и (надо же!) имеют домработницу Валентину. Прям прежние буржуйские времена! И катаются все, даже домработница, на велосипедах — цирк

да и только! Васька, впервые увидев Эмму с велосипедом, открыл рот и остолбенел.

— Ворона влетит,— засмеялась девочка. — Хочешь прокатиться? На.

Васька рот закрыл, обошёл её вокруг, повздыхал и сказал задумчиво:

— Кататься не умею. Нет этой штуки. Дай, что ли, хоть за косичку дёрнуть.

— Ну, дёрни,— разрешила она, чем очень удивила мальчишку: дёргал он девчонок и убегал от них, разъярённых, со всех ног, а эта черноглазая...

Подошёл Васька и не дёрнул, а ласково погладил косу, потом подержал её на ладони и спросил Эмму, как она такую тяжесть носит. Девочка засмеялась, наморщила нос и погладила мальчишку по лохматой голове. Васька глаза прижмурил и притих: ну, кто его когда гладил, все только по затылку норовят.

Боря Шкарбан видел эту картину, головой качал, но подойти тогда не решился, только стал ходить задумчивый, свою кепочку с пуговкой снял, русые волосы причесал, потихоньку даже курить начал. Почему — ему понятно. Вот и пишет ботинком заветное имя: Эмма. А как по-уличному будет? «Эмка»? Как дедову машину кличут? Чудеса.

Заметил Боря меня, присел рядом, повздыхал. Спросил вдруг, а у моего Маршака что-нибудь лирическое есть? Я ответил прямо, что любовных стихов у этого поэта нет, за ними нужно бы к Пушкину обратиться. Боря поглядел на меня своими серыми пронзительными глазами и сказал печально:

— Умный ты парень, трудно тебе будет.

— Конечно,— сказал я,— дуракам легче.

Девочка с косой появилась в нашем дворе, как принцесса среди серенького люда. Наши мелкие девчонки ходили за ней толпой, а дочка тётки Гриппы Юля рассказывала мне, какая Эмма особенная: не задаётся, не гордится, а, хоть лучше всех и чище одета, нос не задирает, дружит с ними, книжки им читает на пустыре, про животных рассказывает, какие они хорошие, добрые. У неё есть умный кот Вася, пушистый, толстый, с бантиком на шее. Он гуляет с Эммой, далеко от неё не отходит и милостиво разрешает всем погладить себя. А Васька, такой чудак: не только гладит, но и целует кота в его усатую морду, а сам всё на Эмму поглядывает.

Отец Эммы тоже человек интересный. Во-первых, проходя мимо, со всеми здоровается, даже со мной, малолеткой. Как-то вечером ко мне на скамейку подсел, поинтересовался, что я почитываю. Так и сказал: «почитываю». Я ответил, что почитывать пока не очень могу, всё больше посматриваю. Он весело рассмеялся, хоть ничего смешного не было, погладил меня по голове, спросил, чей я, такой смышлённый, буду. Узнав фамилию, обрадовался:

— Вот как здорово! Я закончил тот же Институт стали, что и твой папа Николай. Теперь вместе на одном заводе трудимся. Великолепно. Так что мы с тобой почти родня. Заходи в гости.

— Спасибо за приглашение.

Он ушёл, а я подумал, что этот человек, и верно, будто родня моя. Свойский какой-то. Чем-то похож на деда Андрея, только молодого — такой же жилистый, быстрый, черноглазый, с такими же чаплинскими усиками. Только дед никогда со мной так по-доброму не разговаривал,

больше посапывал, помалкивал и на свой моторный завод ходил пешком — нечего зря казённый транспорт гонять. Отец Эммы на свой завод ездил на велосипеде. Фрося снова была недовольна: директор, а как мальчишка, ногами дрыгает.

Как-то, в начале июня, когда в скверике у дома над цветами гудели шмели, к моей скамейке подошёл Боря Шкарбан и спросил вдруг меня, засунув руки в карманы и глядя равнодушно в сторону:

— Слушай, Владислав, если бы тебе нравился один человек, что бы тогда сделал? Ну, как бы ей сказал? Не подойдёшь ведь, не брякнешь: «Мадам, я вас страстно люблю». Смешно, правда?

Я представил себя в таком смешном положении и подумал: слава богу, что мне до этих вещей ещё далеко. А вот Боре в самый раз. Только тут как-то по-другому нужно подойти, по-умному. Скажем, мороженым угостить иль попросить велосипед покататься, упасть, заохать, она пожалеет, может, поглядит по голове. Попытался связно объяснить свою мысль, Боря грустно засмеялся и сказал, что он «эту версию проработает».

На другое утро он подошёл ко мне бледный, встревоженный, на себя не похожий. Может, и вправду, с велосипеда свалился, а она не пожалела?

— Ну, проработал версию, Борь?

Он посмотрел куда-то мимо меня и начал отрывисто говорить, часто нервно сплёвывая под ноги. Я понял только одно: ночью приехали на «эмке» какие-то военные и арестовали мать и отца Эммы.

— За что? Они, что ли, жулики какие? — ошарашенно спрашивал я, вспомнив, как совсем недавно так душевно разговаривал со мной этот хороший человек, похожий на молодого деда Андрея.

Из подъезда показалась Эмма, посмотрела на нас и пошла вдоль стены, медленно и неуверенно, как больная. Тётя Гриппа поманила её из окна, что-то сказала, потом, выбежав, увела девочку к себе. Я никогда не видел, чтобы полная, спокойная, улыбчивая тётя Гриппа так бегала и испуганно оглядывалась.

А потом примчалась на велосипеде домработница Валентина, весёлая и румяная. Потасила велосипед в подъезд. И почти следом за ней во двор въехала чёрная «эмка». Боря как-то хищно пригнулся, сузил глаза. В окнах забелели женские лица. Из машины выскочили трое военных, побежали в тот подъезд, из которого недавно вышла Эмма. Через малое время выбежали обратно на улицу, злые и потные.

Молоденький, очень курносый, весь какой-то начищенный, наглаженный военный, посмотрев в нашу сторону, свистнул и поманил пальцем. Кому это он? Пока я раздумывал, молоденький подошёл к нам и каким-то не своим, хриповатым голосом крикнул Боре:

— Когда зовут, надо подходить!

— Я не пёс, чтобы бежать на свист,— ответил Боря.

— Фамилия! — сорвался на мальчишеский тонкий голос военный, и рука его потянулась к кобуре нагана.

Боря ответил нехотя, как-то лениво и дурашливо:

— Шкарбан.

— Немец? Откуда? — отрывисто спрашивал военный, и светловолосый Боря так же лениво-дурашливо отвечал, налегая на первый слог:

— Цыган. Местный.

Молоденький никак не хотел отпускать Борю, думал, сопел, старался делать зверское лицо, никак ему это не удавалось. Он быстро оглянулся.

Его товарищи нетерпеливо топтались у машины, уже и дверцы были распахнуты, а молоденький всё не унимался. Вытаскивал из кармана фотографию Эммы, требовал:

— Где данная гражданка скрывается? Кто спрятал? Адрес! Отвечать! Быстро!

— А-а,— протянул Боря,— тык, это, ушла она, понимаешь ли. Рано утром. С сумкой ушла. В ту сторону.

И махнул рукой куда-то, в сторону ближних сосновых лесов.

— Так? Он не брешет? — неожиданно уставился на меня курносый военный.

Я отрицательно помотал головой, ничего не понимая. Знал, что врать взрослому нехорошо, но и сказать правду о тётке Гриппе этому начищенному до блеска человеку я не решился. Военные ещё немного потоптались у машины, вытирая пот со лба, говорили о чём-то и уехали, сердито хлопнув дверцами. Когда пыль рассеялась, Боря крепко пожал мне руку и сказал:

— Молодец, мужик!

Я спросил его, за что их арестовали? Они же хорошие люди. Боря ответил не сразу, и ответ его ничего мне не объяснил:

— За то и арестовали. Вырастешь — поймёшь. И знаешь, парень: чем меньше будем о них болтать, тем лучше.

И верно: мало кто вспоминал о Фокиных, хоть мне страшно хотелось узнать, куда пропала красивая Эмма. Мама с папой как-то заговорили о ней, но, едва я вошёл, они сразу замолчали, и лица у них были какие-то встревоженные. Забегал я к тётке Гриппе, будто за хлебушком с маслом, и Эммы в их комнате не находил. Подмечал: тётя Гриппа что-то слишком весёлая, Валера, наоборот, больно серьёзен для своего возраста, а Юле вообще не было дела до наших взрослых тайн — она тащила меня поглядеть на новую куклу Марусю.

Очень беспокоилась о девушке домработница Валентина, всех спрашивала, все пожимали плечами. А тётка Фрося плечами не пожимала, она этим могучим плечом так толкнула Валентину, что та упала прямо на цветы в скверике. Не ругалась, поднялась, отряхнула платье и нехорошо посмотрела на Васькину мать.

— Сволочь, напялила чужое платье,— сказала негромко тётка Фрося, когда домработница ушла.

Война

Новость, новость! В город приехал цирк! Мы с мальчишками бегали смотреть, как ставили громадный шатёр, выгружали из машин какие-то таинственные ящики, как из кабины выкатился маленький пожилой человек с собачонкой в руках, показал нам язык и скрылся. Скоро открылась касса, и тот же человек, но уже без собачонки, закричал нам бабьим голосом, высунувшись из круглого оконца кассы:

— Налетай, шпана!

Мы кинулись по домам за деньгами. Билеты купили, наверное, все жители из домов нашего двора. Мальчишки разглядывали эти розовые листочки, каждый выучил наизусть свой ряд и заветное место, откуда завтра будет видно всё-всё.

Спать легли поздно, проснулись с рассветом: кто-то стучал молотком под окнами. Мы высунулись на улицу. На столбе какие-то дядьки прилаживали громкоговоритель.

— Включай радио! Война! — крикнули они нам.

Папа сунул вилку в розетку. Чёрная тарелка захрипела, забулькала, но в это время на всю улицу, собирая полуодетую толпу, загремел репродуктор.

Что там говорилось по радио, я не помню, но запомнил, как всё вокруг вдруг изменилось: лица людей окаменели, в растерянности они смотрели друг на друга. Папа вышел в рабочей одежде и побежал трусцой на завод. За ним вдогонку поспешили дядька Степан и литейщик Захар, суровый муж тёти Гриппы. В толпе путались мальчишки, которых матери, как сговорившись, начали испуганно звать зачем-то домой, высунувшись из окон.

— А как же цирк? — спрашивал всех Васька.

А цирк уехал... Да что там цирк! Началась совсем другая, невесёлая жизнь. Папа пропал на заводе. Мама бегала на почту — звонить в Колонну, но очередь к телефону была непробиваемая, а в телеграмме разве обо всём расспросишь? Про всех несчастных разве расскажешь?

* * *

Только потом я узнал, как в это, самое страшное для страны утро, в далёкой рязанской деревне Дашках-вторых родилась моя будущая жена, шестой ребёнок у матери. Как вскоре её отца забрали уже на третью, после Гражданской и Финской, войну, с которой он так и не вернулся...

А у нас солдаты с винтовками зашагали по улицам. Везде развесили плакаты со страшным Гитлером, которого колет штыком наш боец. В подъездах, на чердаках и у домов появились ящики с песком, на красных щитах повесили клещи и лопаты — бороться с «зажигалками», которые немцы будут сбрасывать с самолётов. Про эти бомбы рассказывали жителям военные. Они же учили нас надевать противогазы на случай химических атак фашистов. Противогазы были нам велики, они пропускали воздух, стёкла очков у них запотевали. «Ничего, — успокаивали нас военные, — всем подберём по размеру, потом».

Женщины нашего дома клеили и шили воинские петлички, осваивали шитьё боевых, о двух пальцах, перчаток, недоумевая, для чего они: война-то к осени кончится, разобьём гада.

Вечерами во дворе было темно. Фонари не горели, окна домов завешивались тёмными шторами для маскировки. Патрули ходили по улицам, следили, чтобы свет не пробивался сквозь шторы. На оконные стёкла мы с мамой клеили белые полоски бумаги, чтобы их не выбило взрывной волной. Все окна в домах были в белых крестах. Во дворе вырыли бомбоубежище — длинную глубокую щель, прикрытую досками и засыпанную сверху песком. Уже дважды ревели сирены воздушной тревоги. Раз мы с мамой опускались в щель, там было темно и пахло свежей глиной. Мы

сидели на дощатых скамейках, под ногами прыгали лягушата. Кто-то громко сказал, что надо зажечь свечи. Свечей не оказалось. Маленький ребёнок просил пить, кто-то прошептал: «Тише!» Как будто немецкий лётчик мог нас услышать. Где-то вроде бы прогудел самолёт, и наступила тишина. После отбоя все вылезли на волю и долго шурились на солнышко.

Больше мы с мамой в бомбоубежище не спускались: папа сказал, что где-то бомба попала в такую же щель и похоронила всех заживо. Папа приходил усталый и какой-то недоумённый. Он ничего нам не говорил, чем занимается и что делает. Однако Боря Шкарбан разъяснил нам, что «немец прёт», скоро будет здесь и надо уходить в партизаны. Он ещё рассказывал, что на станции стоят эшелоны со станками — это завод готовится к эвакуации куда-то за Урал. Васька заявил, что ни в какие партизаны он не пойдёт, а лучше поедет «экуироваться».

Я не очень-то верил Боре, мало ли что наплетут! У нас же есть наша Красная Армия, её конница, есть танки и самолёты. Они дадут жару этому Гитлеру. Так я думал, сидя во дворе на старом сучковатом бревне и распевая потихоньку песню, недавно услышанную:

В бой за Родину, в бой за Сталина!
Боевая честь нам дорога!
Кони сытые бьют копытами.
Встретим мы по-сталински врага!

Пел и видел, как за низким забором во дворе школы строятся наши красные бойцы с винтовками, с гранатами и с какими-то длинными штуковинами, которые несли по два человека. Это, как мне объяснил потом Боря, были противотанковые ружья. А несли их бойцы истребительного батальона. Перед строем ходил командир с кобурой на ремне. Один боец показался мне знакомым. Я подошёл к забору, встал на мусорный ящик, чтобы лучше всё рассмотреть. По команде «Разойдись!» все и разошлись. Кто на скамейку присел покурить, кто винтовку начал протирать тряпчочкой, кто гранаты прилаживать в подсумок, а какой-то боец пошёл прямо ко мне. Я испугался, узнав того, курного, который приезжал на «эмке» арестовывать Эмму, и хотел убежать, но военный остановил меня вопросом:

— Хлопец, ты местный? — Я кивнул. — Слушай, мил человек, передай маме, что я зайти не смогу. Пускай не волнуется, скоро вернусь. Так и скажешь, ладненько? Сейчас тебе адресок напишу. Погоди малость.

Вдруг заревела сирена. Бойцы, толкаясь, бросились в школу, кто-то залёг на земле, прикрыв голову руками. Над ними низко-низко и как-то очень неторопливо летел, порывивая мотором, немецкий самолёт с крестом на боку и свастикой на хвосте. Немецкий лётчик в шлеме и очках повернул голову и посмотрел прямо на меня. А может, мне показалось со страху — кто знает... Только через миг я уже мчался к дому, а за спиной послышался громкий, страшный треск пулемета...

Дальнейшие события помню как в тумане: народ бежит к школе, суматоха. Вокруг военные, женщины, врач. На его белом халате очень красная кровь. Тётя Гриппа и Фрося пытаются поднять кого-то в шинели, кто-то кричит: «Носилки, носилки!» Фрося плачет: «Да он мёртвый уже,

мёртвый». Я вижу лежащего на земле бледного курносого бойца, который хотел написать мне адресок матери. Васька тащит его тяжёлую винтовку: «Дядя командир, кому оружие убитого сдать?»

Вечером дома мы сидим испуганные и несчастные. Заглянул запыхлённый Боря, рассказал, как лётчик гонялся и за ним, стрелял, но не попал, собака. Показывал пулемётные гильзы, одну зачем-то подарил мне. Папа посмотрел: «Немецкая» — и велел выбросить её. Боря выбросил гильзы в мусорное ведро и ушёл.

— Господи! — приложила руки к щекам мама. Папа погладил её по плечу:

— На бога надейся, а сам не плошай. Давай собираться, родная.

Он всегда называл так маму: «родная».

Мама села посреди комнаты, обвела взглядом наши пожитки и заплакала. А мы с папой стали думать и гадать, как бы всё упаковать. Мебелишки у нас нажито было уже порядком: шкаф, комод, диван с полочкой, стол и стулья. Большая кровать с подзором — родителей, маленькая — моя. В чемодан мебель не влезет. Да к тому ж папа сказал, что взять с собой нужно самое необходимое. Мама вытерла слёзы и стала наваливать на диван с полочкой это самое-самое: швейную машинку, патефон с пластинками, лису, ёлочные игрушки, одежду, простынки, наволочки, бутылку кагора — лечиться от простуды, я положил свои четыре книжки и солдатиков. Плюшевый медведь пускай дом сторожит.

— Остальное я подвезу, потом, — тихо сказал папа.

Мама всё поняла и ни о чём не спрашивала.

Шли дни и ночи, без праздников и подарков. Правда, случилась одна неожиданная радость: приехал мой милый Миша. В тёмно-синей форме ремесленника. Прихлёбывая чай с довоенным печеньем, сообщал новости. Володя в лётном училище, Гришу недавно призвали. Где он, пока неизвестно. У деда отобрали машину, для фронта, для победы, на его заводе новый директор, военный, дед как бы в отставке. Он бегал в военкомат, требовал послать его на фронт. Не послали: не то здоровье, не те годы. Сидит теперь дома, злой и обиженный: с его-то боевым опытом да в тылу ошиваться! Бабушка плачет, успокаивает: да ведь, поди, кавалерии на этой проклятой войне уже нету, какие теперь тачанки, там танки солдатиков дают. Сам Миша трудится на паровозном заводе, выполняет военные заказы. Жалко, говорит, война скоро кончится, повоевать он не успеет, но надеется, что Гриша и Володя и без деда фашистов проклятых одолеют.

Обнялись мы все на прощанье, поцеловал меня Миша и ушёл, провожать не велел. Мы с мамой долго смотрели из окна ему вслед. Он только раз обернулся и помахал нам рукой.

— Господи, только бы война поскорей кончилась, — прошептала мама. — Только бы их живыми увидеть.

Я понял: это она о Володе с Гришей. И однажды одного из них мы увидели. Он осторожно постучался, вошёл, поставил в угол винтовку, снял шинель и шапку со стриженной головы, и только тут я узнал дядю Гришу. Мама бросилась целовать брата, суматошно расспрашивать, как он, где он и куда он, и что обо всех наших слышно. Дядя Гриша сказал, что Миша работает, шлёт Владу большущий привет, Володя летает, что все живы и здоровы, а он отпросился на полчаса, и его эшелон стоит под

парами. Наскоро выпил рюмку водки, стакан чаю с пряником, потрепал меня по голове, поцеловал и ушёл, гремя сапогами и оставив в комнате тревожный запах солдатской шинели. Мама посмотрела на меня, словно ища поддержки и утешения.

— Он вернётся, увидишь,— сказал я самое главное.

* * *

Была уже поздняя осень, падал первый снег, фашисты лезли к самой Москве, когда нас отвезли на станцию папины рабочие, четверо молодых, остриженных наголо парней. Погрузили в вагон наши вещи: большую плетёную корзинку с крышкой и замком, чемодан и узел с чернильной надписью «Анна Леонова». Мама, одетая в телогрейку, солдатскую шапку и валенки с галошами, стояла как сонная.

— Счастливо вам,— сказали грустные парни и пожали мне руку.

— И вам приятно,— отвечала им мама и поцеловала каждого на прощание.

Пора было и нам грузиться, но мама всё медлила, будто кого-то ждала, хоть папа и сказал, что провожать не придёт. Вот показалась тележка, которую везли тётя Гриппа, Валера и какая-то незнакомая, закутанная в платок девушка. Юля сидела на узлах. Подъехав, тётя Гриппа что-то негромко сказала маме, потом крикнула в двери вагона:

— Эй, гражданки, принимай багаж!

Гражданки и один гражданин, Боря, приняли вещи, потом за руки втянули в вагон нас с мамой, Юлю, Валеру, упитанную тётю Гриппу и девушку в платке, которая молча села в самый дальний угол. Тележку втаскивать не стали: некуда было втаскивать. Мы начали оглядываться и размещаться.

Вагон называли пульманом, он был большим, четырёхосным. Внутри нары в два ряда. Под нарами — багаж, на нарах — беженцы. Мы с мамой под самой крышей, рядом — Васька с тётей Фросей, тетя Гриппа с ребятами, много другого знакомого заплаканного люда. Нет мужчин, кроме Бори и нас, мальчишек, вокруг одни женщины. Посреди вагона стоит железная печка, сделанная из обычной бочки, труба выведена в узкое окошко. Рядом — бачок с водой, ящик с углем и дровами. Сумки с хлебом, какая-то крупа в мешке, в другом — картошка. Значит, с голоду не помрём. Керосиновый фонарь висит. «А спички-то у женщин есть?» — испугался я.

— У кого спички, братцы? — спросил вагонную полутьму и не узнал своего голоса — такой он стал хриплый, мужицкий.

Женщины зашевелились, Боря вытащил из кармана зажигалку, зажёл фонарь, стало посветлее, а лица людей на нарах сделались белее и гластее. Боря наклонился к девушке:

— А мадам чего сидит? Ждёт особого приглашения? Так ведь все места займут. Куда прикажете вас посадить?

Девушка нерешительно поднялась, стянула с головы платок, и я узнал Эмму, только без длинной косы.

— Ой, зачем красоту обрезала? — пожалел Васька. — Полезай к нам, Фокина.

Боря помог ей вползти на верхние нары. Эмма на коленках пробралась к тётке Гриппе, тихонько улеглась там и затихла. Люди вытянули шеи, вглядываясь.

— Чайник надо,— сказала мама. — По возможности большой.

Боря приложил ладонь к виску:

— Есть, мой генерал!

И выпрыгнул из вагона. На нижней полке тяжело заворочалась его мама, Валя, толстая и всегда больная.

Замасленный мужичок заглянул к нам, повертел головой в железно-дорожной шапке. Женщины свесились к нему со своих неструганных нар, наперебой стали кричать, все об одном: когда поедем и куда поедем. Мужичок пожал плечами: сведения, видно, были секретные. Зато Боря, гремя двумя вёдрами и бульбушущим чайником, влез, отдышался и сообщил, что эшелон перед нами вчера разбомбили в пух и надо ждать, пока там всё разберут и очистят.

Женщины испуганно притихли. Мама сказала, что лучше бы, конечно, проскочить ночью. А в щель вагонной двери и в узкие окошки уже вплывали, густели сумерки. Боря покрутил фитиль фонаря, в вагоне вроде бы сделалось чуть светлее, зато сумерки за оконцами ещё потемнели. Васька толкнул меня в бок:

— Надо печку топить, замёрзнем.

Фрося и мама принялись за дело. Мама не всегда носила котиковую шубку с лисой и сапожки на каблуках — она когда-то жила в деревне и с печкой управлялась свободно. «Ишь ты», — удивилась тётка Фрося, а мама уже командовала: ставь чайник, наливай воду. Фрося выполняла команды, печка загудела, люди потянулись к теплу.

— Сбегаю погляжу, как там дела, — сказал Боря, тётя Валя едва раскрыла рот, как сын растаял в полутьме. Через несколько минут вагонную дверь задвинули снаружи, состав сильно дёрнулся, стукнулись буфера, паровоз загудел, и мы поехали.

Раздался крик тётки Вали, и словно в ответ на этот крик, где-то рядом так бабахнуло, что, казалось, небо упало на крышу вагона. Застучали осколки, я от испуга не мог выговорить ни слова, только открывал рот. Мама схватила меня, прижала к груди и стала гладить по голове. Эта бомба ещё даст о себе знать. Сквозь шум в ушах до меня донёсся уже не крик, а истошный вопль тётки Вали. Она поковыляла к двери, стала дергать её, но ржавые ролики не поддавались. Паровоз набирал ход. Женщины подналегли, дверь закрипела, отошла, снег и ветер рванулись в щель, тётя Валя высунулась в темноту и стала звать:

— Бо-оря! Боренька! Бориска! Сыно-ок!

И другие женщины тоже начали кричать: «Боря!» И как будто сквозь шум ветра и стук колёс, издали, из безлунной темноты послышался слабый голос её сына. Мы проскочили какую-то разбитую станцию, освещённую заревом пожара, мелькнули упавшие с насыпи цистерны, танки, пушки, машины. Тётя Валя рыдала в уголке, женщины обнимали её, успокаивали.

Боря не был бы Борей, если бы через сутки на глухом полустанке не догнал наш стоящий, иссечённый осколками состав, выпрыгнув на шоссе из зелёной полуторки. Грязный и мокрый, он мягко отбил от объятий матери и заявил:

— Всё! Бомбить больше не будут! Прошу взглянуть на небо.

Над нами кружил родной, со звёздами на крыльях, ястребок. Он провозжал нас до той станции, где уже мирно светились окна. Мы кричали и махали лётчику, который вряд ли видел нас, но, сделав прощальный круг над эшелоном, полетел назад, туда, где рвались бомбы и снаряды, где под стенами Москвы боролись и умирали наши солдаты.

* * *

Мы уезжали подальше от Москвы, от войны и бомбёжек, а где-то в далёкой рязанской деревне на раскисшей дороге стояла нестарая женщина с кучей детишек, вцепившихся ей в подол, и с самой маленькой на руках. Это моя будущая тёща Анастасия Петровна (Настёнка по-деревенски) вышла навстречу отступающим красноармейцам, чтобы спросить, куда же ей податься — немец-то в соседнем селе. Небритый солдатик остановился на минуту, поглядел на десять ртов — и Настёнкиных, и её родни деток, из столицы привезённых на «вольные деревенские хлеба» и на одну бедную бабу оставленных, горько скривился: «Куда ж ты пойдёшь, мать? Зима, с голоду пропадёшь».

Немца, слава богу, отогнали, родственники домой вернулись, но детишек своих возвращать не спешили — всё некогда им было. Как выживали в деревне дети и тёща, об этом она рассказывать не очень любила. Соседи вспоминают, что была Настёнка на все руки мастерица: из картошки десяток «блюд» готовила, лепёшки невесть из чего пекла — жена помнит, что травой какой-то они отдавали. Она и валенки валяла при свете керосинового «моргасика», корову-кормилицу доила, в колхозе трудилась «за палочки» (за трудодни). И на всех едоков она была одна работница и защитница, солдатская вдова, которой и плакать-то времени не было.

* * *

А мы уезжали в неизвестность подальше от Москвы, от войны, и нас было много, и все помогали друг другу. Конца-края, казалось, не будет этому путешествию, где каждый день приходилось думать о еде или хотя бы о кипятке. Наши запасы были давно съедены. На долгих стоянках уже не женщины, а бабы, злые и отчаянные, в платках и в валенках, в драных рукавицах, бежали на станцию, добывать еду, воду, уголь из паровозного тендера. Приносили кто что достанет, обменяет, вырвет, выторгует. Делили добычу, первый кусок — детям. Есть хотелось всегда, но не плакали даже самые маленькие. Несколько раз доставалась нам гречневая каша с мясом, которой делились с нами солдатики воинских эшелонов. А однажды, когда мы с Васькой во время долгой стоянки болтались у поезда, разглядывали паровоз, беседовали с машинистом о жите-бытье, какой-то военный повар, поманив нас пальцем, подвёл к своей пахучей кухне и подарил по новенькому котелку с кашей и по алюминиевой ложке.

— Чтобы память осталась,— сказал он с горькой улыбкой.

Память осталась надолго.

Или был случай, когда Боря приволок целый мешок подсолнечных семечек. Не рассказывая, где стащил такое богатство, поставил мешок на

тёплую печку: «Налетай!» Целую неделю мы грызли эти семечки, заглушая голод, весь пол был заплёван шелухой, её подметали, бросали в печку, она хорошо горела, но быстро сторала.

Нам с Васькой смешно было смотреть, как Эмма «кушала» эти семечки, не плевалась шелухой на пол, очищала тонкими пальчиками, ноготочками, которые, не в пример нашим, чёрным, были всегда на удивление чистыми, хоть умывалась девочка, как и все: из кружки над ведром. А уж про её «хождение в туалет» можно анекдоты рассказывать. Это ведь дело обычное, житейское: дети — в ведро, взрослые на стоянках — под вагоны, в кусты. Если прижмёт кого на ходу, несли ведёрко в тёмный угол, за драную шторку. Сперва самые стеснительные просили «не обращать внимания», потом просить перестали — попривыкли. Все, кроме Эммы: всегда она краснела перед «этим делом». Завидовала нам, мальчишкам: вам, дескать, не так сложно.

Она понемногу приходила в себя. Частенько вечерами, когда к нам наверх приползал Боря, мы вели долгие разговоры — про жизнь, про войну, про будущее. Старались не вспоминать старое. Только однажды Васька спросил, где же теперь его тёзка кот Вася. Боря резко прервал его: он, дескать, вместе с домработницей Валентиной, наверно, фрицев дожидается, только не дождётся.

— Он русский кот! — привскочил, ударился головой о крышу Васька, скривился, почесался и закричал: — Он Эмку ждёт, Фоку!

Я по глупости рассказал про убитого молодого военного, который тогда Эмму искал и который не успел написать мне адрес матери.

— О маме вспомнил, гад,— зло сказал Боря.

Эмма на это тихо проговорила, что она каждую минутку маму вспоминает и, может, даже умерла бы от таких воспоминаний, если бы не тётя Гриппа, которая не велела плакать, а только ждать и верить, что родители вернуться.

— Конечно, вернуться,— успокоил Боря. — Война кончится — и вернутся. Придут, а Эмка Фока вся зарёванная.

— Спасибо, ребята,— чуть улыбнулась нам Эмма. — Постараюсь не плакать и косу отращу — пускай Василий дёргает.

Васька обнял девушку, запросто, по-дружески. Боря крикнул и полез вниз, ворча, что печка не топлена, народ замерзает, а истопники чёрт-те чем занимаются. Истопники, это мы с Васькой и Валерой, стали заниматься делом: выгребли золу из железной печки, положили кусочек картона, малость замасленной бумажки, где-то подобранной, сухие ветки, щепочки. Боря всё это подпалил, а когда железная бочка раскалилась и загудела, насыпал сверху уголь, благо было его у нас много — паровозы-то углем питались. Голодный народ потянулся к теплу.

На какой-то станции запыхавшийся, заснеженный Боря притащил в вагон газету. Глаза его, без обычного прищура, были широко открыты и, казалось, сверкали серым огнём. Он сдёрнул с головы шапку и замахал ею. Русые волосы его растрепались. Зашевелилась его больная мама Валя, спросила сына, что там такого напечатано, Берлин, что ли, взяли?

— Лучше! — закричал Боря на весь вагон. — Фашистов от Москвы отбросили! Говорят, на тыщу километров! Бегут они, танки бросают, пушки, сами дохлые валяются в сугробах!

Фрося встала на колени у горячей печки и стала креститься. Тётя Валя сказала буднично:

— Домой собирайтесь, бабоньки.

Если бы она знала, сколько ещё дней и ночей нам до родного дома, от которого мы уезжали всё дальше и дальше. И всё чаще и тревожнее люди гадали: куда везут, где жить придётся.

— Говорят, в землянках, — вздыхала тётя Валя, на это её сынок, прищурив глаз, отвечал серьёзно:

— Да нет, слышал я, возводят для нас терема каменные, туалеты мраморные с вёдрами золотыми.

Мы пододвигались к Боре поближе: «Расскажи про терема, Борь». И уж плёл он, плёл такую весёлую чушь, что тётки ругались, что врёт безбожно, однако слушали и в конце сказки дарили автору сухарик заветный или последнюю горсть семечек.

Иногда выпадали такие длинные перегоны, такие долгие остановки, что говорить было скучно, смотреть в потолок тошно, валяться на жёстких нарах противно, а думать о папе, который зачем-то остался дома, особенно тяжело. Спросил как-то Борю про папу, тот сурово ответил, что, видимо, так нужно, так требует военная обстановка. Требует, наверное. А тут вон печка прогорела в нескольких местах и безбожно чадила, и это подливало горечи в нас, полуголодных.

— Жалко, картишек нету или шахмат на крайний случай — сыграли бы на вылет, — громко сетовал Боря, заложив руки под голову и болтая ногой.

— На вылет это как? — загорелся Васька, приподнимаясь на локте.

— Это просто, — объяснял Боря, глядя в сторону, — проиграл — тебя за руки, за ноги и из вагона на мороз. Хочешь?

Васька с сопением отвернулся. Он, если спрашивали серьёзно, чаще говорил правду и глядел беззащитными светлыми глазами.

— У меня есть картишки-то, — зашевелилась Фрося, доставая откуда-то колоду, — сыграем в «дурачка»? Не боишься?

Боря сел возле печки на ящик, на другом ящике лихо раскидал карты с таким видом, будто всю жизнь играл в дурачка. Народ приподнялся на локтях. Боря проиграл три кона подряд. Сказал, что карты меченые, и больше играть в дурачка не захотел.

— Детская игра. Вот если б в очко, — равнодушно поднялся он, глядя в мутное оконце.

Фрося усмехнулась. С треском повела большим пальцем по колоде:

— Садись.

Проиграл Боря и в очко. Долго изумлялся, проверял карты. Спросил, наконец, пересиливая себя, где это «уважаемая Ефросинья» так передергивать научилась. Я удивился, спросил, откуда это у Фроси такое дореволюционное, крестьянское имя. Васькина мать как будто опала лицом, вспоминая.

— Эх, милый ты мой, побывал бы ты там, где я сосенки необхватные валила, снегом умывалась, кору жрала.

Сказала всё это Фрося и полезла на свои нары, которые, как я потом узнал, у неё были не первые.

— А мы в Гражданскую войну лебеду в деревне ели, — неожиданно произнесла моя мама, не любившая вступать в чужие разговоры и во-

обще много говорить. Наступила тишина. Даже Боря приумолк, правда, ненадолго. Скоро опять послышался его звонкий беззаботный голос, распеваящий:

Когда я был мальчишка,
Носил я брюки клёш,
Соломенную шляпу,
Штилеты без галош.

— Господи, Боря. Что бы мы без тебя делали? — сказала моя мама, и Боря живо ответил вопросом на вопрос:

— А заметили вы, тётъ Ань, что Бога мы стали чаще поминать? С чего бы это?

Так мы и ехали, с пустыми животами, с лёгкими разговорами, с умными беседами. Когда поезд останавливался, Боря, женщины и Эмма первым делом выскакивали узнать — надолго ли, потом бежали добывать еду, подлезая под составы, падая и скользя на замёрзшей моче. Тогда особенно хотелось есть. Я знал, что у мамы в сумке, под тряпками на нарах, пряталась заветная банка малинового варенья. Ничего никогда не брал без спроса, а тут бес попутал, вытащил банку, сам поел, ребят угостил, оставшиеся полбанки засунул подальше в тряпки. От сладкого заболели животы.

Мама с трудом взобралась по лесенке в вагон — она ушибла коленку, пришла пустая и потому очень сердитая. Не спросив, хочу ли я есть, налила из чайника на печке горячей воды, достала сухари и, подумав, вытащила банку варенья. Поглядела на неё, на меня. Я ничего лучшего не мог придумать, как спросить:

— А варенье разве не испаряется?

Мама отвесила мне подзатыльник, душа моя облегчилась, я занял, больше для порядка, а ехидная Фрося тонким голоском сказала:

— Это тебе за вареньице. А аспида я сама накажу.

На это Васька ответил, что он тут ни при чём: ему давали, он брал. Фрося обняла сына, потрепала его по лохмам и сказала, что в такой голове скоро всякое может завестись. Мама заметила, что лишний раз постричь ребёнка не так уж трудно.

— Да стричь не успеваешь! — рассердилась Фрося. — Обрастает мигом, аспид!

Васька только хмыкнул.

* * *

В конце пути я всё чаще стал думать о папе. Как он там один-то? Голодный, небось. И что делает? Об этом папа рассказывал уже позже. Его команде, оказывается, был дан секретный приказ: если немцы прорвутся — завод взорвать и уходить в партизаны, в леса, где в тайных местах было оружие, провизия, взрывчатка. Папа в кабинете главного инженера устроил свой штаб. Его верными помощниками были проверенные лейтшики, среди них — Васькин и Юлин отцы, Степан и Захар. Охраняли все цеха, но главным объектом была электростанция.

Мой мирный тихий папа повесил на стене автомат и карту, на которой флажками отмечал передвижение немецких и советских войск. На другой стене крупно написал мелом номер нашего эшелона и каждый день спрашивал о его судьбе, крутя ручку полевого телефона. С замиранием сердца ждал ответа, вздыхая с облегчением, когда всегдашний суховатый голос кратко сообщал: эшелон номер такой-то проследовал пункт такой-то. Всё нормально. Но однажды тот же голос сначала испугал папу: человек отчаянно кричал:

— Слушай, друг! Немцев от Москвы гонят! Гонят сволочей! Бегут они, бегут! А поезд твой миновал опасную зону, он уже за Муромом. Поздравляю!

Папа рассказывал, как трубка выпала из его ослабевших пальцев, как он потом созвал своих вооружённых парней, сообщил им радостную и долгожданную весть. Васькин отец принёс спирт, который берегли для дезинфекции инструмента и будущих перевязок, все выпили за победу и за скорое возвращение их семей домой. Однако это возвращение затянулось на многие месяцы...

* * *

Мы всё тряслись на своих нарах, часто останавливаясь, пропуская воинские эшелоны с танками, пушками, теплушками, санитарные поезда с красными крестами на вагонах. На каком-то разъезде, где наш состав стоял несколько суток, мы увидели в окнах вагона напротив бледные худые глазастые лица детей. Подошли разузнать, кто такие и откуда. Женщина в белом халате ответила из двери непонятно: это ленинградские блокадники. И тут же замахала руками на подоспевших с хлебом местных бабушек:

— Нельзя, нельзя им сразу много хлеба — помрут!

Тронулся поезд с детишками, а мы с Васькой долго глядели друг на друга: разве можно помереть от хлеба? Это же ХЛЕБ! Потом уж узнали всё про блокаду и блокадный хлеб, и про смерть голодных от лишнего куса...

Кончились леса, пошла заснеженная степь. Нас одолели вши, и на какой-то станции неровным строем, почёсываясь, мы зашагали в санпропускник. Нашу одежду прожарили, самих отвели в баню, дали мыло и частые гребешки, вагон протравили чем-то вонючим — заходить в него можно было не сразу.

Мы стали чистенькими, но всё равно дети чесались. У многих начался жар, заболело горло. Утром в вагон забрался нерусский узкоглазый доктор, послушал нас, заглянул в рот и определил нашу болезнь: корь. Нужна госпитализация. Мамы подняли бунт: одних детей не оставим, кладите вместе с ними и нас! Доктор пощурил свои глазки, хотя щуриться было уже некуда, вздохнул и сказал:

— Сейчас будет транспорт. Из Кустаная.

«Вот куда нас занесло, — подумал я, — и города такого не слышал». А ещё подумал, что многого я ещё не слышал и не видел. Но ничего. Жизнь-то только начинается. Главное, рот не разевать, всё запоминать. Наш поезд поехал дальше, а мы сидели в каком-то тёплом домике с печкой и ждали, когда же подъедут машины из Кустаная, лучше бы, конечно,

легковые. Светило низкое солнце, хорошо было видно, как на дороге завихрился снег, появились какие-то тени, превратившись в верблюдов, меж горбов сидели люди. Верблюды шли медленно, остановились под нашими окнами и сразу покрылись инеем. Люди пошли к нам в домик греться.

— Разве тут Африка? — оторопело пробормотал Васька. — И как же мы на них, горбатых, заберёмся?

— Это не ваш транспорт, — сказал наш доктор, — ваш вон бежит.

По степи мчались низкие лошадки с санями. Возницы в каких-то диких шапках и полушубках лихо осадили лошадок у самого крыльца. Ресницы у людей и животных были заиндевелые.

— И какой тут больной есть? — весело спросил с порога узкоглазый широколицый возница. — Давай садись, что ли.

Нас усадили в сани на сено, укутали пахучими шубами, возницы — щуплые мальчишки что-то крикнули по-своему, и лошадки побежали, помахивая хвостами и взмётывая копытами снег.

Кто лежал в больнице, тот скажет, что это невесёлое дело. А вы, после драных лохмотьев на нарах, лежали в тёплой палате, на чистых простынях, вымытые и остриженные? Вы кушали, а не хватали жадно, манную кашку с жёлтым пятном растаявшего сливочного масла? Вам, сопливым, говорили доктора и сестрички «вы»? А лечились ли вы порошком красного стрептоцида? А были рядом с вами любимые мамы? А смотрела на вас тревожным и ласковым взглядом красивая Эмма, которая, как маленькая, тоже заболела детской болезнью? Нет? Тогда вы никогда не сможете понять, что такое счастье. А если ещё вдобавок вы выздоравливаете, то это счастье вдвойне. Вместе слушаем по радио последние известия, вместе горячо обсуждаем их. Потом остриженный наголо и совсем неузнаваемый ушастый Васька просит меня «почитать чего-нибудь весёлое из Маршака». И мама, и Юлия с Валерой, и Эмма с тётей Гриппой, и Фрося в чистом халате тоже ко мне подсаживаются, ждут. Прочитать? Пожалуйста! Хоть Маршак в багаже уехал, но память-то мне на что? Вспоминаю первое, что пришло на ум:

Апрель, апрель! Звонит капель,
Ручьи бегут в Фонтанку.
Как пёстрый кубарь, карусель
Вертится под шарманку.

Потом объясняю Ваське про шарманку. Про речку Фонтанку рассказывает мама: она была в Ленинграде, ещё в том, довоенном. А теперь там блокада, голод, смерть.

Я спрашиваю узкоглазых сестричек про тутошнюю жизнь, они смеются: жизнь как жизнь, сам увидишь. А война? Они вздыхают: война — плохо, брат на войне, отец на войне. Скорей бы всё кончилось.

Кончится всё ой как нескоро. Нас выписали, пожелали больше никогда не болеть и на таких же лошадках отвезли в далёкий посёлок Тогузак Кустанайского зерносовхоза.

Хорошо запомнился этот двухэтажный длинный дом, коридор, двери по обеим сторонам. На одной двери висит замок. Какой-то начальник, наверное комендант, отдаёт маме ключ:

— Заходите. Замок не запирается. Ваша комната. Тут с вами, правда, ещё одна жилочка будет. Роза звать. Тихая такая. Если что надо — скажете. Ну, устраивайтесь

Мама сняла замок. Мы вошли в маленькую холодную комнату с одним окошком. Сразу увидели наши вещи: корзинку без замка, чемодан и узел с надписью «Анна Леонова». В углу — кирпичная печка, ящик, наверно с углем, закрытый крышкой. Рукомойник на стене, под ним — ведро. На шнуре лампочка без абажура. Три голые железные кровати стоят у стенки, одна на другой, четвёртая — за какой-то тряпочкой вместо ширмы. Эта прикрыта солдатским одеялом и сверху маленькая подушечка с цветочками. Из мебели две табуретки и длинный-длинный стол.

— Только покойников на него класть,— сказала мама. — И вещи теперь растащили.

В дверь потихоньку постучали, я испугался почему-то: за дорогу отвык, видно, от стуков. Мама открыла. В комнату вошёл Боря Шкарбан. Без прищурочки своей обычной, сероглазый, причёсанный.

— Добрый день! С приездом! Вещи ваши все целы, только ребята кагор выпили, просят извинения. Сейчас расскажу, как тут и что, где хлеб покупать, где картошку и крупу дают, куда ходить менять. — Увидев удивлённо поднятую мамину бровь, пояснил поспешно: — Ну, там масло, яйца, сахар, мясо, другое что, чего в магазине нет — их нужно менять у местных. На тряпки всякие, на вещи. — Боря вытянул из-за спины котелок, открыл крышку, запахло варёной картошкой. — Ну, устраивайтесь, если что надо — мы тут через дверь обитаем. Да, печку растапливайте кизяком — он в ящике. Спички на подоконнике.

И как испарился, даже спасибо не успели ему сказать. Мы с мамой заглянули в ящик — поглядеть на кизяк. Это были кирпичики из навоза и соломы. Однако горели они хорошо и не очень пахли. Позже от того же Бори я узнал, что из этих кизяков, в которые добавляют глину, казахи строят небольшие дома и сараи. В комнате стало теплей, окна запотели. Мы поели картошки, и я попросился погулять — отвык от улицы-то. Мама махнула рукой, понуро сидя за «покойницким» столом.

Я спустился на первый этаж, вышел на занесённый снегом двор. Вернее, это был не двор, а заснеженное неласковое пространство без людей и собак. Напротив нашего дома стоял такой же, только обнесённый колючей проволокой, за которой лениво похаживал немолодой часовой в белом полушубке с винтовкой на плече. Он посмотрел на меня, а я — на него. Он поманил меня рукой, я подошёл к проволоке. Часовой снял рукавицу, полез в карман полушубка, вытащил и подал мне кусок сероватого сахара с крошками махорки. Мама не велела у незнакомых... А где они, знакомые, с сахаром в карманах!

— Спасибо вам.

Мы шагали рядом, только по разную сторону колючки. Он спросил:

— Видать, недавно прибыли?

— Только что с поезда.

— Ты, парень, особо не шути,— серьёзно предупредил он меня и зашагал дальше, так же неторопливо похрустывая снегом.

На том мы и расстались. Я вернулся домой, нет, не домой! — дом остался в другой, мирной жизни, я вернулся в чужую комнату с длинным

столом и чужими запахами. Здесь уже было много народа: тётя Гриппа с ребятами, Эмма, Фрося с Васькой, тётя Валя с Борей. Тётя Валя сидела — не могла долго стоять на опухших ногах. Другие женщины убирались, мыли полы, накрывали стол простынёй вместо скатерти. Боря командовал и указывал и вывалил на нас все здешние новости. Пока мы тащились в теплушке, здесь, в степи, первые эшелоны давно разгрузились и первые рабочие уже начали трудиться чуть ли не под открытым небом, они выпускали огнёмёты для танков. Он показал пустые огнемётные гильзы и даже настоящий порох, похожий на желтоватые макароны.

— Это что ещё за игрушки! — рассердилась Фрося. — Убрать немедленно, а вы, дамочки, воду берегите, здесь вам не водопровод. Парни, — обернулась она к нам, — вот вам ведро — и дуйте за водой. «Куда, куда?» — на улицу!

Мальчишки все сразу посмотрели на Борю. Но он возился с печкой, шуровал кочергой. Пришлось тащиться нам, малолеткам. На улице было не так темно, светила полная луна. Женщины с вёдрами стояли в очереди около саней с обледеневшей деревянной бочкой с дырой. На ней возвышался старикашка местного вида с черпаком на длинной ручке, которым он ловко набирал воду, разливая её по вёдрам. Был он молчалив и суров. Мы получили свою порцию ледяной воды, дотащили её на второй этаж, обливая ступеньки и валенки. Женщины поставили чайник, положили на стол тонко нарезанный хлеб и посетовали, на меня не глядя, что съедено всё варенье. Я молчком достал кусок каменного сахара, сдул с него крошки махорки. На вопросы, что это и откуда, ответил: места надо знать. Сахар расколотили на мелкие кусочки, пили чай больше «вприглядку». В разгар чаепития мама вдруг заохала и принялась меня целовать, обнимать — явление в те дни нечастое.

— Владька ты мой! — бормотала она. — Твой день рождения сегодня! Семь лет! Господи, да разве мы так бы его встретили ТАМ!

Женщины стали меня поздравлять и, как у них принято, целовать и обнимать. Боря молчком убежал куда-то, через пару минут явился с круглым сухим кустом в половину его роста. Объяснил, что это — перекати-поле. Осенью по степи ветер его катит, семена рассыпает. Это вот перекати подкатило к нам под крыльцо, он его мне дарит: пускай стоит, дом украшает. Я выдрался из женских объятий, поставил круглый куст на серёдку стола, вытащил из нашей громадной корзины патефон и пластинки:

— Боря, заводи! Гулять, так гулять!

Пластинка закрутилась, музыка была весёлая «приоритная», а женщины приуныли и не спешили танцевать и плясать. В самый разгар такого веселья в дверь будто мышка заскреблась.

— Заходи, чего там! — крикнула Фрося.

Вошла худенькая черноволосая женщина, очень молодая и красивая. Она была одета не по погоде — в осеннее пальто и туфельки. Мы сразу заметили её покрасневшие опухшие глаза. Она держала в руке какую-то серую бумажку. Сказала, обращаясь сразу ко всем и ни к кому в отдельности:

— Муж мой, Серёжа, он танкистом был... Его танк сгорел...

Я понял, что это наша жиличка Роза, про которую днём говорил комендант. Она повозилась за своей занавеской и притихла. Женщины

переглянулись. Никто не пошёл за ней. Все быстро разошлись, а мы с мамой стали укладываться спать. Поставили поближе к печке две кровати, постелили на пружины какое-то барахлишко из узла, под голову приспособили нашу одежку, чем-то накрылись, но уснуть долго не могли, ворочались, вздыхали. Ко мне тихонько подошла босая Роза с маленькой подушечкой в руках.

— Возьми думку, удобнее будет.

И сама подложила подушечку под мою голову.

— Спасибо, — сказал я. — Думка — это чтобы думать?

Роза грустно улыбнулась и скользнула на цыпочках за занавеску. Мама встала и пошла за ней. Они долго о чём-то говорили. Думка приятно пахла чем-то нежным, довоенным, навевая спокойный сон.

Так и жила у нас Роза, тихо, как мышка. С утра куда-то уходила, вечером возвращалась на свою кровать. На вопросы мамы насчёт чая поспешно отвечала: спасибо, сыта. Потихоньку, не сразу, стала привыкать к нам, иной раз даже садилась пить чай с нами, но обязательно со своим хлебом. О себе ничего не рассказывала, больше меня спрашивала о жизни и вообще. Когда я вспомнил о немецком самолёте, она побледнела и приложила ладони к щекам. Роза не походила на других женщин, которые всё знают и всех учат, она умела слушать. Я поначалу никак её не называл: на «тётю» она, молодая и худенькая, никак не тянула. Сказал однажды «Роза» и осёкся. Она ласково посмотрела на нахала:

— Ну и правильно, Владислав, так и зови меня, мне приятно.

Зима на речке Тогузак

Зимы здесь холодные, ветреные, сараи перед домами заносит до крыши. Единственную дорогу — от дома невесть куда — так заметает, что водовоз не всегда может добраться до реки на лошади. Он, по колено в снегу, пешком каждый день продирается к берегу, расчищает и пробивает застывшую прорубь. Если этого не делать, лёд над прорубью станет каменным и непробиваемым. Заводские ребята предлагали взрывать лёд, но старик отказался: «Зачем рыба пугать, а?» Приходится нашим женщинам брать санки, ставить на них вёдра и самим пробираться к реке по протоптанной узкой тропинке.

В один солнечный день я и Васька упростили матерей взять нас с собой «по воду». Согласились даже санки с вёдрами везти. Правда, через полчаса езды по такой «дороге» нас самих пришлось везти вместе с вёдрами и ломом.

Речка оказалась узкой, заросшей по берегам кустами, под которыми и чернела прорубь. Наверное, там били ключи, мудро решили мы с Васькой. Моя мама и Фрося набрали вёдра, поставили их на санки и тут же сели обе в снег. На их лицах был ужас. Мы оглянулись и замерли. Несколько волков неспешно отрезали нам дорогу домой. Они казались, скорее, весёлыми, чем злыми, только очень уж здоровенными. Их жёлтые пронзительные глаза с интересом смотрели и на нас.

— Ну, чего уставились? Кыш отсюда, — прошептала Фрося и погрозила ломом.

Волки немного отступили, и женщины изо всех сил потянули санки, расплёскивая воду. Звери всё так же безмолвно и лениво пошли рядом с нами вдоль тропки, изредка поглядывая на нас и, как мне почудилось, облизываясь. Неожиданно показалась лошадь водовоза. Старик сидел на громыхучей бочке и кричал что-то. Волки нехотя отстали и трусцой, след в след, потянулись к ближним заснеженным кустам.

— Он играет, ему скучно, — сказал старик, подъехав, — вчера наша баба пугал. Ты не бойсь, он сытый, он барана скушал.

— Что ж не стреляете! — рассердилась Фрося, вытирая пот со лба. — Развели скотинку! Сейчас он сытый, а завтра, когда голодный?

— Раньше стрелял, теперь охотник на войне — немца стреляет, — вздохнул водовоз. Посмотрел на Фросю, хмыкнул: — Не стой, пожалста, замёрзнешь, красный женщина.

Не красная — багряная была Фрося, а мама блеее снега. Какие были тогда мы с Васькой, об этом мой рассказ умалчивает. Но эти волки ещё долго хитро скалились в моих снах. Только Розе я по секрету рассказал, что едва не описался от страха.

Больше мы «по воду» не просились. Дел и без этого было много. Каждый вечер, когда заключённых из соседнего барака вели с работы, мальчишки подбегали к колючей проволоке с варёной картошкой в котелках, с остатками супчика, куском хлеба. Люди за проволокой, молодые и не очень, потихоньку, озираясь, подбегали к нам, подставляя консервные банки, котелки, миски. Надо было успеть высыпать, вылить им еду, пока охранники не заругались. Они, как мне казалось, ругались больше для порядка, а тот, пожилой, который подарил мне сахар, вообще делал вид, что его это не касается. И нам не было никакого дела до того, кто эти заключённые в ватниках и шапках, в военном и гражданском — это были люди, и им очень хотелось есть.

Первой у проволоки всегда оказывалась Эмма, одетая в очень просторное пальто тёти Гриппы, с картошкой в котелке. Высыпав её в подставленную консервную банку, она не уходила, а долго вглядывалась в худые лица людей. Однажды к ней подошёл тот, пожилой охранник, тихо спросил:

— Своих ищешь? Как фамилия?

Эмма приложила котелок к груди:

— Фокины...

Охранник покачал головой:

— Фролов есть, Фёдоров, Фельдман, а Фокиных нету. Ну, не стой, не стой тут, иди от греха, милая. Бог даст, найдутся твои.

Иногда заключённые убегали, тогда их искали по сараям и нашим комнатам, уезжали на санях в степь. Некоторых беглецов привозили обратно, иных, как рассказывали нам большие парни, просто закалывали в степи штыками. Наверное, парни ввали. Потом как-то незаметно всё пропало — колючая проволока, охрана, заключённые. В бараке, в котором они жили, поселились рабочие нашего завода. Туда же ушла и наша тихая жиличка Роза, «чтобы не мешать вам». Она подарила маме ту самую красивую бархатную расписную подушечку со своей кровати, которая называлась странно: «думка». Меня она просто обняла и поцеловала в губы. Я был горд и смущён: ведь это — первый поцелуй женщины. Скажешь

Ваське — обхохочется. Розину кровать вынесли куда-то, и в комнате стало пустовато и скучновато.

У Розы в танке сгорел муж, конечно, молодой и красивый, как она сама. А скоро и другим нашим женщинам, и молодым и не очень, и даже совсем некрасивым, стали приходиться похорошки — самые страшные бумажки на свете. То одна, то другая тётка каталась по столу головой, дико голосила или, что ещё страшней, молча смотрела в стенку круглыми сумасшедшими глазами. А Роза никогда не плакала на людях, только иногда я слышал, как она тихо всхлипывает за своей ширмочкой-тряпочкой. Все мы, большие и малые, сжимались в комок, когда по утрам раздавались шаги почтальона по нашему бесконечному коридору, и напряжённо следили, в какую дверь он постучится и какое лицо у него будет — весёлое или угрюмое.

Но мы всё-таки были детьми и поэтому, как все дети на свете, играли. Конечно же, в войну. Магазиновых игрушек не было. Сами, как умели, изрезав пальцы, мастерили самолёты, пушки, танки. Мои оловянные бойцы были нарасхват, все мальчишки просились ко мне поиграть в настоящих солдатиков, вместо которых они использовали старые ролики с электрических проводов, счастливицы имели стреляные винтовочные гильзы.

В погожие дни, когда не было бурана, мамы уходили в аулы менять на мясо, масло и сало сшитые ими из простыней и покрашенные телогрейки, пиджаки мужей, наручные часы, кофты, ботинки — всё, что сохранилось от ТОЙ жизни. Мы были предоставлены сами себе: носились по посёлку, катались с горки кто на санках, кто на автомобильном крыле. Я упал с этого крыла, глубоко порезал себе нос. Как всегда, кто-то увидел, кто-то смазал йодом рану, сунул в руку хлеб с маслом, чтобы полегчало.

В другой раз мы бродили в степи возле разобранных тракторов. Я снял варежки и ради интереса сунул пальцы в застывший нигрол. Руку моментально сковало морозом, надевать же варежки было жалко — замараешь! Так и побегал, подвывая от боли и страха, в дом. Мамы не было, но я попался на глаза тёте Гриппе. Она окунула мою грязную лапу в ведро с водой, а когда пальцы начали стигаться, бережно отмыла их от нигрола, пояснив, что руки важнее любых варежек. Помнить её слова всю жизнь помогают мои руки, которые мёрзнут теперь даже при малом морозе.

На Новый год мы с мамой нарядили своё перекати-поле, ёлок тут не найти днём с огнём, за сотни вёрст вокруг — одни кусты, снегами занесённые. Повесили бусы, папанинскую льдину, шарики, светофоры, кусочки ваты набросали на густые ветки, посадили в вату зайца с лисой, авось не подерутся.

— Главного нет, — сказала мама. Это она насчёт Деда Мороза — не влезал дед в корзину вместе со своим мешком и палкой. — Я про отца нашего, — пояснила мама, — все давно уж вернулись, а он...

«Не все вернулись — многих уже убили», — подумал я и от грустных дум решил проветриться на улице. На первом этаже шумели ребята. Сейчас я к ним выскочу! Животом на перила, как мы всегда делали — и... Не пойму, как это случилось: пуговицей за что-то зацепился или поспешил, только полетел я вниз. До сих пор помню это падение: холод в груди, шум в ушах и ожидание удара о цементный пол. Удара не почувствовал. Только дальше всё как во сне. Какой-то человек несёт меня на руках, кричит:

«Ты живой? Где живёшь?» Вижу маму, её слёзы. Да живой, живой я, подумаешь, пролетел один этаж, сейчас встану! Встал, сделал шаг, другой, закружилась голова, сел на кровать. И проспал, как умер, весь Новый год.

Очнулся от папиного весёлого голоса:

— Всё спите! Так и гостей проспите!

«Папа», — хочу я сказать, а губы не слушаются. Мама и папа смотрят на меня с испугом. Папа в рваном пальто, вместо пуговиц — медная проволока. На боку — санитарная сумка с красным ярким крестом.

— Это я по совместительству санитаром в эшелоне служил, — неловко пытается рассмешить меня папа. — В солдаты не гожусь — только в санитары.

А мама вдруг кричит на него: где его носило, где он был, когда мы тут все переживали и мучились. Он только таращит свои большие глаза и бормочет что-то про последний эшелон, про станки, которые нужно было отправлять. С последним он и приехал.

Потом приходил доктор, тоже из местных, смотрел меня, слушал, сказал, что переломов и ушибов нет, а нервный срыв произошёл не сразу, не сегодня. Мама вспомнила ту бомбу, которая так напугала меня в поезде.

— Всё может быть, — покачал головой доктор. — Теперь ему нужен покой, речь постепенно восстановится.

Но я ещё долго заикался после того «полёта», особенно когда волновался. Поэтому стал меньше разговаривать, а больше слушать и, когда научился понемногу читать, предпочитал стихи — они короче и укладывались в речь ровнее. Толстые книжки просил на первых порах читать маму. И читала она, бедная, подаренную мне кем-то хрестоматию для старших классов. Первый же рассказ, «Челкаш», был хоть не для семилетнего мальчишки, но я запомнил многое и особенно конец. Этот Челкаш очень напоминал мне дядю Гришу, который теперь бьёт проклятого врага.

С папой жизнь наша стала налаживаться. Те же, остриженные наголо парни втащили в комнату папин стол из его рабочего кабинета, а наш, «покойнический», по просьбе мамы вынесли в коридор. Попили чаю, сказали спасибо и поднялись. Я пригляделся, и мне показалось, что парни всё-таки не те, которые грузили нас в Егорьевске. Спросил про тех, других. Парни виновато потоптались в дверях. Сказали, что Пашка воюет, а Петро пропал без вести, и ушли. А папа добавил, что из его цеха уцелело меньше половины, остальных уже перемолола война.

Мы начали разбирать ящики его стола. Как будто папа напихивал в него всё впопыхах: игра «Репка» — зачем она взрослому парню? А моё старенькое пальто? Оно же мне на нос не полезет. Папа сбивчиво рассказал, как стоял он в растерянности посреди растрёпанной комнаты и вдруг увидел в шкафу это пальтишко. Подумалось: «Как будто Владьку оставляю». Вот и взял.

— Правильно сделал, — похвалила его мама, и он вздохнул облегчённо.

«А медведя не взял», — пожалел я старого друга и тут же приказал себе: не раскисать! Не до медведей теперь, хоть и плюшевых и таких тёплых.

Вот коллекция — это здорово. Я раскрыл её, с удовольствием посмотрел на жуков, больших и маленьких. Раньше в середине коробки красовалась прекрасная бабочка с голубыми крылышками. Но со временем голубая пыльца с них слетела, крылышки стали прозрачными и грязными. Бабочку выкинули, осталось пустое место.

Я знал, что эту коллекцию собирал гимназист Ваня Марков, которого убили царские солдаты в 1905 году в Коломне во время демонстрации революционных рабочих. А коллекцию подарила мать Вани моему деду Андрею, старому большевику, участнику борьбы с басмачами в Туркестане. Мне иногда кажется, что Туркестан тот далёкий, наверное, очень похож на наш Казахстан, только без снега. Я как будто вижу деда на лихом коне с саблей в руках. Он и сейчас боевой старик: если что не по нему — держись! Бандитам, видно, здорово от него доставалось! Только баба Дуня может его усмирить: «Чего, чего развоевалси, остынь-ка». Бабушка неграмотная, поэтому и говорок у неё остался деревенский: «пойтить», «уйтить», «надыть». Дед церковноприходскую школу окончил, дальше жизнь его учила. С дедом мама переписывается. В каждом дедовом письме для меня обязательно Мишин рисунок: то фриц с голым задом убегает по снегу от Москвы, то сам Миша с молотком в руке и надпись: «Наш труд — удар по врагу!». Дед регулярно и кратко (с его образованием не больно распишешься) сообщает нам о коломенских делах, соблюдая все правила цензуры: «Григорий воюет, Владимир летает, Михаил работает на заводе, продукция идёт та же и другая». Та же — это паровозы, другая — видно, что-то военное. Видели мы с ребятами такую «продукцию» и у нас, когда на буксире проволокли с полигона мимо дома сгоревший немецкий танк. Хорошие огнемёты делают наши отцы.

За окном заревело, я прилип к стеклу. Наш танк, только без башни и с широкой лопатой впереди, расчищал снег, нагребая большую горку. Полить её водой — обкатаешься. Только где воды набрать? Папа, заглянув мне через плечо, сказал, что летом водопровод проведут, воду будут из речки качать — в дома, в баню. Хватит в корытах да в тазах мыться, вшей разводите. В первую же очередь надо туалет выгребной строить, не нужно будет вёдра использовать да за сарай бегать зад морозить. Лучше ведро, чем котелок, которым я до недавнего времени пользовался: очень у него края острые, впиваются. Вёдра выливали в большую яму за сараями, что с ямой будет весной — представляю.

Танк поехал чистить дорогу, мама копалась в ящиках, с удовольствием осматривая каждую вещь.

— Па, а можно с тобой на завод, как тогда? — спросил я, тщательно подбирая слова, чтобы не было в них шипящих да свистящих — они трудно выговариваются.

— Конечно, можно, — не сразу и не очень уверенно ответил он. — Можно и ребят захватить.

Васька всегда готов, Валере некогда: он в школе упущенное навёрстывает. Борю я приглашать поостерётся: во-первых, парень работает в магазине грузчиком, устаёт, а во-вторых, стоял сейчас Боря в коридоре возле окна с красивой Эммой и что-то ей смешное рассказывал. Эмма вежливо улыбалась и по привычке как бы откидывала назад за плечи роскошную косу, которой уже не было. Свои короткие волосы она прятала под косынку и была похожа на тётеньку с плаката, которая подносила палец к губам: тихо, мол, враг подслушивает. Васька крутился следом, он, вижу, очень хотел бы развеселить печальную «Фоку», да остерегался. Его недавно Боря оттаскал за ухо, уши у стриженного мальчишки сразу под руку попались. Ваське вздумалось при ребятах закрывать:

— Парни, как расшифровать РСФСР? «Ребята, Смотрите, Фока Сопли Распустила! РСФСР!»

Распустить сопли пришлось ему самому. Поэтому он сейчас, увидев меня, потянул за рукав подальше от Бори.

Мы прошагали по расчищенной танком дороге к каким-то деревянным сараям с трубами и слепыми окошками. Толстые провода провисали на железных столбах. Папа открыл чмокнувшую дверь, и нас обдало гарью. Кругом всё дымилось, искрилось и булькало. Папа велел идти за ним следом и ничего не хватать. Какие-то люди в брезенте двуручными ковшами разливали металл в формы. Мальчишка в телогрейке, похожий на моего Мишу (мне многие казались на него похожими — скучал по нему), жарил на железном листе пшеничные зёрна. Папа не раз приносил мне их в кармане, зёрна были очень вкусные, и я всё просил принести ещё.

— Мишка! — услышал я окрик того, «сахарного», охранника. — Где твоё место?

Мишка, затолкав горсть зёрен в рот, умчался в дым и гарь. Охранник сидел на перевернутом ящике с палкой в руке вместо винтовки и пыхтел, отдуваясь. Не жарко было в «литейке», ветер гулял по цеху, а дышалось тяжело. Мы с Васькой выбежали из сарая, еле отплевались чёрным. «А где же огнемёты?» — вертел я головой.

Папа вечером объяснил, сколько надо потратить времени и сил, чтобы получился этот огнедышащий дракон, пожирающий немецкие танки. Он вытащил было из кармана горсть жареных зёрен. Я замахал руками и с трудом выговорил, что не нужно больше носить никаких зёрен — мы же не голодные. Папа не удивился, только внимательно посмотрел на меня и сказал:

— Мы-то не голодные, — потом подумал и добавил: — Завтра попрошу военных полевую кухню с кашей привезти.

Молодец, папка, догадался! А вот насчёт того, что сыну играть во что-то нужно, никак не поймёт. Война — войной, а играть-то хочется. А игрушек-то нету. Начал к папе подлизываться: всё-таки люди заводские вон какие штуки делают, неужели никакой игрушки смастерить не могут? Папа слушает невнимательно, хмурится, видно, опять какие-то нужные детали не подвезли. Детали эти прилетают к нам на самолётике «У-2», который, к нашей радости, садится прямо в степи и катит на лыжах к заводу. Встречать его бежим всей оравой. Лётчик сердито машет нам рукой из своей открытой кабины — куда вы лезете! А мы уже тут, мы впереди самолёта. Парни в дымной одежде выбегают из цеха, принимают от лётчика какие-то длинные штуки, завёрнутые в масляные тряпки. «Что это?» — гадаем мы. Лётчик как-то ответил небрежно: «Колбаса!» Колбаски бы сейчас неплохо отведать. Вчера вон достал где-то Васька жмых (выжимку такую из съедобных растений, семян, ей скотину кормят) — с голодушки этот жмых тоже хорошо пошёл.

Самолёт недавно прилетал, значит, детали эти длинные привёз, чего же тогда папа нахохлился?

— Игрушку, говоришь, — вдруг как очнулся он. — Игрушку, игрушку...

И принёс однажды, вытащил из кармана застывшую серебристую отливку:

— Вот тебе лошадь.

Я что, совсем дурачок? Разве не вижу, что это металл из ковша выплеснулся, стал браком, похожим, правда, на лошадь. «Хоть бы в модельный цех сходил», — подумал я вслух. И папа сходил в модельный и принёс мне деревянный грузовик с кабиной, колёсами и кузовом. Колёса крутились, а в кузов влезали все мои солдатики. Ребята обзавидовались, по-собачьи смотрели в мои глаза: «А мне можно такой же?» Я поговорил с папой, вместе с ним подумали, что можно сделать, и решили мудро: у модельщиков полно обрезков фанеры, дерева. Пускай это будут детали, а уж собирать из них военную технику станем мы сами. Тем более наш длинный стол стоит у окна в коридоре, на нём можно целый сборочный цех разместить. Только бы с инструментами помогли. Помогли и с инструментами. Скоро дело закипело, на столе появились фанерные танки и самолёты. Подходили местные ребята, сперва робко, а потом всё смелей просились «поработать». Мы живо перезнакомились с ними, они трудились очень серьёзно и иногда приносили нам варёную баранину с рисом. Вкуснее я ничего не едал.

Однажды какой-то Джамбул или Тимур, точно уж не помню, принёс кусок гудрона: «Может, надо, а?» Васька стукнул по гудрону молотком, отлетел блестящий осколок. Васька поглядел на него, попробовал на зуб и вдруг зажевал с удовольствием.

— Сера, — сказал непонятное местный мальчишка. — Дай мне, а?

Какая сера, почему сера? Казахи вроде не курят, а жуют что-то, откусывая от плитки, — может, серу? Так и жевали мы гудрон все вместе, хотя мамы пугали нас: вы знаете, из чего это делают? Издохлых кошек! Нашли чем пугать!

Мы мастерили военную технику, а наши отцы в своей дымной чугунке, кроме военной продукции, ухитрялись отливать ещё и мирную — ложки, кастрюли и сковородки. Посуда была тяжёлая, но такая необходимая. А когда папа принёс двуствольное охотничье ружьё, я было подумал, что и его отлили местные цеховые умельцы.

— Отлили, — сказал папа, разламывая ружьё и глядя в стволы. — Только в Туле. Там отличные оружейники, фрицам от их изделий крепко достаётся. — «Изделиями» именовали отцы и свою продукцию.

Так папа сделался охотником. Не от скуки, чтобы пострелять, не от безделья, а от безысходности, чтобы семью прокормить. Хоть была у нас на столе картошка, каша пшённая, иногда борщ или щи без мяса, но кушать хотелось всё равно, а щи да каша надоедали. Один раз мама накормила нас с папой тыквенной сладковатой кашей. Сначала было вкусно, мы ели и похваливали, а потом от переедания очень мучились. С тех пор каши этой мне и за тысячу рублей не надо! И папе тоже. Даёшь мясо!

Собралось их, новых охотников, несколько человек, где-то раздобыли старые ружья, сами вытачивали патроны. Пороха было навалом, только нашим мамам приходилось эти пороховые макароны тереть напильником в порошок. Часто порох нагревался и вспыхивал, пугая женщин. Дробь тоже делали сами: сперва нарезали свинцовую проволоку на квадратики, потом эти квадратики обкатывали в чугунных круглых жерновках, как размалывают зёрна в муку. В свободную минутку выбрались отцы в степь на самодельных лыжах. И в первый же день своей охоты папа принёс двух зайцев, а могучий дядя Степан притащил за хвост целого волка. Из него

потом сшили Фросе меховые сапоги под названием пимы, от которых шарахались, поджав хвост, все собаки. Зайцев и особенно волка было жалко, может, он тоже поиграть пришёл, а его и убили. Папа неумело свеживал добычу, дробь падала в ведро. Одну тушку разрезали на три части и отдали тёте Вале, тёте Фросе и тёте Гриппе, другую мама потушила с капустой в самодельной утятнице.

— Сходи за Розой, пока горячее, — сказала вдруг мама, и я полетел. Встретил Розу в коридоре соседнего барака, пропахшего какой-то кислотиной, задыхаясь и заикаясь от волнения, передал приглашение на ужин с тушёным зайцем.

— Иду, иду, успокойся, — быстро ответила она. — Никогда не ела зайца, особенно тушёного.

Не ели, а смолотили бедного зайчишку папа, мама, Роза и я. Было необыкновенно вкусно, только иногда кто-то хватался за щёку и выплевывал смятую дробинку.

Зима тянулась бесконечно. Особенно грустно было, когда завывали метели, все самолёты и танки были сделаны, игры переиграны, книги пересказаны, провода порваны, радио молчало, свет не горел. Я бродил по комнате, думал о солдатах, о дяде Грише и дяде Володе, которые страдают на этой проклятой войне.

Мама, видя мою кривую физиономию, толкнула меня легонько в плечо:

— Помнишь, как мы весну ускоряли?

Вспомнил! Это Миша нас научил, славный мой Миша! Вот такой же грустной зимой срезал он тополиную ветку, поставил её в бутылку с водой, и она зазеленела в самые морозы! Только где они, тополя-то? Стоят у школы какие-то длинные, свечками, на российские раскидистые не похожие. Мама сказала, что это пирамидальные тополя, от слова «пирамида». Я оделся, схватил нож и побежал. Хорошо, что снегу на школьном дворе полно, и он уже хорошо закаменел, я достал до нижней ветки, почиркал ножом, но она, промёрзшая, не резалась, тогда я сломал её и потащил домой. Мы с мамой отогрели ветку, нашли какую-то бутылку столетнюю, помыли, налили в неё воды и поставили наше растение — пускай зеленеет, весну ускоряет.

И она зазеленела и ускорила! Зима как-то быстро закончилась. Закапало с крыш, осели снега, яма за сараями запахла и задымилась. Солнца прибавилось, мы шлёпали по первым лужам и ждали настоящей весны. И она не пришла — она вломилась. Сразу забурлили и превратились в реки ручьи, смывая зимнюю грязь. Освободилась дорога, быстро высохла и стала тёплой, а потом — пыльной. Река разлилась по степи, затопив кусты и овраги с овечьими костями. В сараях заревели быки, заблеяли бараны, куры выбежали на волю, заорали петухи. Мама сбросила свою телогрейку, надела котиковую шубку, правда, без лисы — куда с ней пойдёшь-то, разве что в кино, в десятый раз посмотреть старую военную кинохронику или «Сердца четырёх», что совсем уж ни к селу ни к городу в такое время. Новые фильмы про войну пока не завезли.

Наша ветка обогнала весну и первой пустила корешки. Мы с мамой набрали земли в мой котелок (я уже обходился ведром) и посадили туда ветку — расти и развивайся!

Степь тюльпанная, степь полынная

Солнце сожгло снег как-то очень быстро. Степь ожила, зазеленела, запахла горьковатыми травами, тёплой землёй, а потом до горизонта покрывалась жёлтыми невысокими тюльпанами. Наши мамы и девчонки рвали их под неодобрительные взгляды казахов, ставили в банки и кастрюли. Цветы в неволе быстро никли и блёкли. Приходилось их выбрасывать — зачем тогда рвать? Мы с друзьями целыми днями пропадали в степных просторах. Заблудиться было трудно: в посёлок вела одна дорога, бархатная и тёплая от пыли, и мы, босиком убегая по ней в даль неведомую, иногда оглядывались на наши дома. Если крыши начинали тонуть в зеленоватом мареве, значит, пора возвращаться. Ещё можно было ориентироваться по столбам, что шагали себе вдоль дороги, уменьшаясь и пропадая вдаль.

Степь была полна жизни: появились табуны лошадей, отары овец, оберегаемые молодыми и очень суровыми всадниками, им помогали собаки. Под ногами бегали зелёные и серые ящерицы, сновали толстенские полёвки, стояли жёлтыми столбиками суслики над своими норами. Птицы носились над головами, а у самого солнца, расправив крылья, нарезал неспешные круги орёл. Только тарантулы прятались в норках, закрывая их вход паутиной. Иной раз в молодых ковылях проскальзывала змея, и мне вспомнился вещий Олег, который так бездумно наступил на череп своего коня, за что и поплатился.

Я и теперь не пойму, что нас спасало в этой дикой степи, но никто не был ужален и укушен. А ведь мы руками ловили кусачих зелёных ящериц, садились на корточках рядом с лежащей и шипящей гадюкой, разглядывая её серые узоры и быстрый язычок. Мы знали, что змея боится быстрых движений и, нагруженные такими знаниями, подходили к ней плавно, с улыбкой на дрожащих губах. (Один бы я ни за какие конфетки не пошёл бы, но в коллективе разве можно прослыть трусом!)

На свежем воздухе всё время хотелось есть, и мы пробовали всякие травы — горькие, кислые, сладковатые. Бог милował — никто не отравился. В сквере возле клуба росли клёны, на стволах которых выступала клейкая смола. Попробовали и обрадовались — сладкая. Так все стволы и облизали. Что за клёны, что за смола? Что-то подобное выступает на стволах наших вишен и слив.

Часто бегали мы на речку, которая быстро вошла в свои невысокие берега, оставив много мелких луж. В лужах плескались глупые щурята, заплывшие сюда ещё по большой воде, мы их ловили десятками и в рубахах таскали домой на жариво. Казахи, по нашим наблюдениям, к рыбе были равнодушны. У них своя еда: бараны да овцы, у которых возле хвоста висел солидный мешок жира — курдюк. На курдючном пахучем жире мама как-то пожарила картошку — никто не ел. Мяса хватало и местным жителям, и местным волкам. По всем оврагам валялись обглоданные волками овечьи кости.

Казахи спокойно резали баранов на глазах у своих детей: те, привыкшие, смотрели равнодушно и жевали гудронную серу. Мы с Васькой, пробегая мимо, отворачивались: тошнило от крови, и спешили к ребятам под чистое небо, в густую траву на берегу нашей узенькой речки. Самые смелые первыми полезли в холодную быструю воду, Васька, пересили-

вая дрожь в синих губах, заверял, что «водичка тёплая, а под ногами песочек», и совал ладони под мышку. Потихоньку и я полез в «тёплую» воду — сперва по колено, потом — по пузо. Течение несло, ключи били по ногам, но я устоял. С каждым днём вода делалась всё теплее и теплее, мы заходили всё глубже и глубже, так и добарахтались «по-собачьи» до манящего другого берега.

Однажды отцы, мой и Васькин, взяли нас с собой на охоту. Шею мы закрыли белыми платками, чтоб не заели комары, воротники пальтишек подняли и шагали полусонные на восход, чтобы попасть, как говорили охотники, «на утреннюю зорьку». Дошли до туманного озера, уселись в кустах: мужчины впереди, мы позади, чтобы не мешаться. Пахло свежей водой, свежей травой. «Только тихо!» — предупредили нас. Какое там «тихо», когда лягушек слышно за версту! Звенели комары, трещали стрелы, кричали утки — сперва осторожно, как бы пробую голоса, а потом как заголосили со всех сторон, из всех кустов! Как начали выплывать из тумана, шлёпаться откуда-то сверху, чуть ли не нам на голову. Мы забыли про комаров, а наши охотники — про ружья. Утки были разные — сероватые, коричневатые, почти чёрные, а селезни блистали на солнце всеми красками радуги, клювы у них были розовые, красноватые, жёлтые, щёки — изумрудные. Они кружились над своими подружками, плавали вокруг или шлёпались прямо на них. Шум стоял великий и какой-то радостный.

— Проснулись, что ли, — тихо сказал дядя Степан, поднимая ружьё.

И вдруг слёзный дрожащий голос Васьки:

— Не надо, пап!

Дядя Степан недоумённо пожал плечом и прицелился. Васькин крик раздался вместе с первым выстрелом. Потом грянул второй, потом мой папа добавил сразу из двух стволов. Дробь ударила по птицам, по воде. Селезень забил разбитым крылом.

— Мой! — кричал в восторге дядя Степан. — Бей, Николай Иваныч!

Ещё две утки упали, едва взлетев, одна, крикая, поковыляла в кусты. Папа выстрелил ей вслед. Полетели перья.

Мужики верёвкой с грузом доставали из воды добычу, возбуждённо-радостно приговаривая:

— Лысуха! Шилохвость! Кряковая! Фу, чирок попался. Вась! Гляди, какая богатая добыча! Всем соседям хватит мяса!

Васька, ссутулив плечи, смотрел на замолчавшее озеро, по которому плавали пух и перья, расплывалась кровь. На убитых уток он не взглянул. Да и что на них, измочаленных дробью, глядеть!

На охоту мы с ним больше не ходили, да нас никто и не приглашал. Уток, правда, Васька кушал, но с большим удовольствием наблюдал, как радуются соседи, когда мальчишка приносит им прилётных, ещё не откормившихся на будущих осенних хлебах, лысух и шилохвостей. Щипать дичь было нелегко. «Тяжёлое перо, — говорил папа. — Зато мясо вкусное». Мама сначала сердилась, что все пальцы поломала и блохи какие-то утиные по рукам ползают. Потом смеялась: «Такую кряковую нам бы в ту теплушку!»

Одну из уток я обязательно носил Розе. Мама притворно хмурилась: сама пусть попробует пощипать своими пальчиками! Но щипала и свеже-

вала и давала мне уже готовую тушку: сварить-то и сама сможет! И сварить, и зажарить могла Роза, могла и слушать внимательно и участливо мои новости, от которых отмахивались другие. Новости были невесёлые: мой тополь завял, листья облетели, растёт в котелке какая-то трава. Выдернуть бы, да жалко. «Не выдирай», — сказала Роза.

Жизнь в далёком посёлке постепенно налаживалась. Появилось самое необходимое: водопровод в доме, отремонтированная баня в посёлке, уличный кирпичный туалет на десять персон с дверцами и известными двумя буквами. Правда, внутренние побелённые стены туалета взрослые ребята изукрасили рисунками на известные интимные темы, так что мы, малыши, рано познакомились с этой стороной жизни. А когда рисунки закрасили чёрным, всё, что ещё было непонятно, нам объясняли взрослые шпанистые хлопцы. Причём объясняли это с кривой улыбкой, сплёвывая, как будто воспоминания о былых победах были им противны. Научили нас с Васькой блатным частушкам, но мы, люди опытные, пели их только за сараями.

Боря Шкарбан редко появлялся в нашей компании: он работал на тракторе, подвозил в прицепе картошку и капусту в магазин, снабжая знакомых мальчишек бесплатными продуктами. Ему выдали взамен дырявых крепкие солдатские ботинки и нормальные брюки вместо старых обтрёпанных. Теперь-то, с ботинками и трактором, он, как мы думали, мог спокойно ходить рядом с красивой Эммой, за которой раньше Боря тащился следом, пыльный и несчастный, исподтишка грозя кулаком нам, любопытным. Девушке было не до ухаживаний, она работала в местной библиотеке, в которую мы с ребятами часто наведывались. Книг было немного, детские, с картинками мы быстро пересмотрели, мамы нам их перечитали, одолеть толстые взрослые тома сил пока не хватало. Вот понравилось мне название — «Мёртвые души», схватил с полки. Думал, интересная штука, про мертвецов и призраков, но Эмма вздохнула:

— Книга замечательная, но ты поймёшь и оценишь её несколько позже.

«Когда же будет это “несколько?” — гнал я, чудак, время, мигом осваивая подаренную мне на какой-то праздник книжку детских стихов про бычка, который идёт и качается. Сами стихи малышовские, зато читались они легко и запоминались сразу, как и блатные частушки. Но, чувствовал, что на бычке далеко не уедешь, надо брать судьбу за рога, одолевать что-то громадное, серьёзное. Пытался втолковать это маме, она пожимала плечами, говорила, чтобы не торопил жизнь, не спешил, что нечего сейчас забивать ребёнку голову — вот пойду в школу, тогда и научусь всему — и читать, и писать, и философствовать. Успеет ещё ребёнок потрудиться на своём веку. Нельзя бежать по лестнице слишком быстро — задохнёшься.

Про такие разговоры я рассказал Эмме. Она задумалась и дала мне тонкую книжечку:

— Попробуй это прочитать. Что будет непонятно, я объясню. Этот писатель и «Мёртвые души» сочинил, и в этой книге много чего страшненького.

Название мне понравилось: «Вий», сразу видно, что вещь таинственная, волшебная. А фамилия писателя вообще изумила. «Гоголь!» Мама мне

сбивала когда-то из яиц гоголь-моголь. Помню, что очень вкусно было. Папа про гоголя-утку говорил. Мама про Борю как-то сказала: «Ишь, ходит гоголем». Писатель с такой разносторонней фамилией должен и сочинять что-то необыкновенное. Сел я в нашем коридоре на подоконник, начал читать, бормоча и потея. Не заметил, как Боря подошёл, послушал моё «чтение», мягко отобрал книжку, уселся рядом со мной и негромко, понятно, стал читать так, как будто со мной разговаривал сам необыкновенный Гоголь. Подошли мальчишки, наши и местные, слушали, затаив дыхание. Эмма шла из библиотеки, остановилась у стеночки и так смотрела на Борю, что я от души поздравил его и немного позавидовал.

С тех пор мы с Борей подружились ещё сильнее. Как-то, увидев меня с очередной книжкой в коридоре, он подсел ко мне и начал вдруг рассказывать о своей жизни, о маме Вале, которую он так любит, что и передать не может, что до смерти боится Боря только одного: помрёт родимая, с кем он останется, куда пойдёт? Мне до слёз стало жалко Борю. Поспешил его утешить:

— Приходи к нам. У нас утка жареная.

Боря грустно улыбнулся:

— У нас ещё от той кусочек остался. Пойдём лучше к нам, у меня там такая книжица есть — читаешься. И Вале будет повеселей лежать. Потопали!

А куда мне торопиться. На улице редкий в этих местах дождик, ребят не видно. Тут хоть к тёте Вале толстой, больной и неинтересной пойдёшь. Она сидела на железной кровати под одеялом. Со мной поздоровалась так просто, будто только не месяц назад, а вчера меня видела. И пока Боря кипятил чай, она начала говорить про дальние страны, про пиратов с деревянной ногой, про остров пирата отдельным голосом. Я даже рот открыл. Это тебе не бычок, который всё качается. Валя устала, отвалилась на подушки.

— Вот я тебя, Влад, и заинтересовала, но тут только начало романа, а дальше ох как всё интересно закручено-заверчено. Сам прочтёшь или маму попросишь. Я раньше целые монологи читала, мне так аплодировали, а теперь... — и она развела руками.

Притащив домой толстую, потрёпанную книжку, я спросил маму, что такое монолог. Она объяснила: это когда один человек со сцены что-то читает наизусть. Я сказал, что ей тоже придётся читать вот эту хорошую книжку. И мама вечерами читала её и осилила всю, от корки до корки, переживая вместе со мной и с сожалением закрыв книжку на последней странице. А потом велела отнести больной артистке Вале мармелад собственного маминого изготовления. Мама варила сахарную свёклу, выпаривала её, потом густую массу подсушивала и ровненько, аккуратно, как всё она делала, разрезала на квадратики. С ними можно было и чай пить, и просто так с хлебом есть. Конечно, сначала я носил их на пробу Розе, она хвалила мою маму и сказала, что и её родная, когда была жива, тоже умела хорошо готовить. «Родная» — это слово часто я слышал от папы. Тёте Вале сладости особенно понравились — ела, пальчики облизывала, а Боря, попробовав кубики и сказав спасибо, положил их на тарелку, прикрыл газеткой и куда-то понёс. Мы с Валеи переглянулись, всё поняв.

— Разные они, — сказала мама Бориса, — она девочка избалованная, интеллигентная, музыкальная.

— А он хороший, добрый, — ответил я, и толстая Валя заплакала.

Папа как-то вечером сказал: «Завтра все на картошку». С утра перед домом собрались наши заводские и местные. С мешками, вилами, лопатами, корзинами — кто что нашёл. Дядя Степан на телеге, Боря на своём тракторе с прицепом, полным картошки. Картошку насыпали в корзины, погрузили на транспорт, лопаты и вилы вскинули на плечи и пошли. Роза тоже хотела взять лопату, Фрося отняла. Так и шагала Роза по пыли в своих туфельках всепогодных. Рядом попевала Эмма, которую Боря напрасно рвался подвезти. Эмма только махала ему рукой, дескать, дойду, не беспокойся. Я представлял ровное вспаханное поле, грядки и колышки, а увидел вздыбленные пласты целинной земли, мышиные норы и убегающих в панике таранулов и полёвок.

— Боронить бы надо, — сказала тётя Фрося. — Куда ж тут картошку бросать — не взойдёт.

Женщины негромко загудели, поддерживая Фросю. Какой-то коренастый местный начальник объявил, что боронить некому, да и бороны все на севе, спасибо, что такую землю дали. Дядя Степан посмотрел на папу:

— Может, наших пацанов приобщить? Разом вскопают.

Но папа отрицательно покачал головой:

— Какие они копальщики на таких харчах. Давайте побросаем картошку поровней, присыплем её, польём, авось взойдёт — земля-то вон какая жирная.

— Земля у нас очень жирная, — подтвердил плечистый начальник, снял пиджак, рубаху, обнажив сильные жилистые руки и взвалив на плечо корзинку с картошкой, посмотрел на Фросю: — Пойдём, кидать будешь.

Фрося подошла, взяла в руки картофелину и с размаху бросила её под земляной пласт, переплетённый старыми корнями каких-то растений. Подбежали местные детишки, одетые в какие-то казахские жилетки и тюбетейки. Начальник что-то сказал им по-своему и поставил корзинку на землю, чтобы ребята смогли дотянуться. Они тоже начали бросать картошку, получалось у них так ловко, что коренастый заулыбался, прищурил узкие глазки и посмотрел на нас, пришлых.

Мы с Васькой и другими ребятами не захотели отставать. Ударились в работу и наши, привычные ко всему (кроме мышей) мамы, даже Роза не отставала, откуда у неё силы, у такой дамы в туфельках! Она не отпрыгивала, когда мыши так и норовили вскочить людям на ноги, не взвизгивала, как другие женщины. Местные ребята над ними вежливо посмеивались, а тутошние девчонки, в маленьких шапочках, со многими тонкими косичками, с ожерельями из монет, только приседали и хихикали. Потом по приказу начальника побежали к реке дружной позванивающей толпой. Скоро вернулись обратно, доложили начальнику о чём-то, и тот покивал одобрительно.

К вечеру, когда мы, пропылённые, закончили посадку, от реки приехала пожарная машина и стала поливать наш общественный огород. Мы побрели домой, мужчины подались на свой завод, Боря поехал ставить прицеп, усадив всё-таки в кабину усталую Эмму, а дядя Степан повёз на склад пустые корзинки. Все были уверены, что потрудились зря — не прорастёт через эти пласты картошка.

Всё лето мы с ребятами бегали смотреть наше поле. Сначала чуть ли не каждый день, потом всё реже, потом и вовсе забыли про картошку: дел и без неё было много. Мы наблюдали, как быстро меняется степь — становится сухой и какой-то ржавой, в трещинах. Лишь местами заросли седого ковыля красиво переливались волнами да цвели какие-то кустики, похожие на моё растение в солдатском котелке. Только моё уже отцвело, и появилась одна сочная тёмно-фиолетовая ягода, похожая на смородину. Знать бы, съедобная она или нет. Позвал Ваську. Он недолго ломал голову — сорвал ягоду и съел. Почмокал губами:

— Сладенькая.

— Ой! — только и мог я сказать.

Васька меня успокоил, затаив:

— Если что — схороните меня под ракитой. Кстати, что такое «раки-та»? И ещё кстати: я эти кустики у речки видел и в овраге тоже. Помнишь? Только там они без ягод.

Что такое раки-та, нам было наплевать, важно другое: что такое в котелке и в овраге растёт? Васька предложил сорвать один куст и показать дома. Сорвали, показали. Васькина мать сказала, что это паслён, как картошка, помидоры, табак и белена — одно семейство. «Вот те раз! Откуда она всё знает!» Васька побледнел и пролепетал:

— А это есть-то хоть можно?

— Белену, что ли? Не знаю, не пробовала. И чего вы ко мне привязались, полы лучше бы вымыли!

Мы удрали в степь, сели на горячую землю, призадумались. Или Васька мало съел этого паслёна, или отравил ещё не подействовала. Вот будет ему «раки-та»! И в степи как-то мрачно стало. Навалилась жара. Куда-то исчезли овечьи отары и конские табуны — видно, где-то спасались от зноя. Пропали ящерицы, суслики и птицы, только орёл всё кружил возле злого солнца, словно осматривал с высот свои владения.

— А всё-таки вкусная ягода у паслёна, — стал рассуждать Васька, — а если вкусная, разве может она быть ядовитой, как белена, эту я в жизни пробовать не буду!

Когда паслён созрел в степи, Васька уже смело, на глазах мальчишек, слопал целую горсть черноватых крупных ягод. Ели и мы следом за ним. Сладковато, но не фонтан, как говорится. На том и успокоились и пожалели, что у меня в котелке вызрела только одна ягода. Васька сказал, что надо подождать следующего года, тогда, конечно же, ягод будет мешок. Следующий год — это так долго для мальчишек, это как вечность. Но подождём.

Однажды ночью мама подскочила в тревоге к окну: широко горела степь. И тут же в дверь сильно постучали. Кому стучать? У папы ключ, да мы и не запираемся до его прихода. Мама, накинув кофточку, босиком побежала открывать. Вошёл коренастый картофельный начальник, спокойно сказал, чтобы не сильно волновались, огонь до картошки не дойдёт.

— А до нас? — спросила мама, и мужчина так же невозмутимо ответил, что и до нас не дойдёт — у речки, как всегда, остановится, дальше ему еды нет, одна земля и камень. Всё здесь люди истоптали.

Я вспомнил табуны лошадей и бедных курдючных овец, спросил про них. Он коротко объяснил: скотину ещё раньше перегнали туда, где трава и вода, и пошёл дальше — успокаивать выскочивших в коридор людей.

Вдруг мы услышали какой-то пугающий хрип, влетевший с улицы в распахнутое окно. «Громкоговоритель!» — понял я, вспомнив, как его устанавливали вчера на столбе у клуба. Стало тревожно на сердце: что хорощего можно ожидать от громкоговорителя в ночи. Потом послышался очень знакомый сильный женский голос:

— Граждане, внимание! Никакой паники, огонь до посёлка не дошёл, спите спокойно. На фронте без перемен, последние новости будут сообщены утром. До свидания. У микрофона была Валентина Шкарбан.

Тут я совсем успокоился и даже порадовался за тётю Валю: может, там, у таинственного микрофона, ей полегче будет, и болезни отступят, как фрицы от Москвы. И люди будут её слушать, можно и музыку включать, боевую, военную: «Смелого пуля боится, смелого штык не берёт!» Мама посмотрела на меня с удивлением:

— Чего распелся? Спать иди. Завтра пойдём картошку подкапывать.

«Картошку?» Значит, она всё-таки пробилась к свету. Поди усни теперь. Я стал представлять, как пойдём мы с мамой копать картошку, только почему она сказала «подкапывать»? Хотел спросить, но тут же уснул.

Утром на картошку вышли все обитатели дома — и приезжие, и местные, с детьми, лопатами и корзинками. Все в рабочем, даже девчонки-казашки сняли свои звонкие монеты с шеи. Смелые эти девчонки. Чуть где увидят играющих наших ребят, тут же подбегают, присаживаются на корточки, смотрят, удивляются. А то за рукав дёрнут: «А это что?» А это, девушка, у нас «расшибалка» или, попроще, «расшибец». Ставишь монетки друг на друга «решкой» и лупишь по ним плоской круглой битой и забираешь те, которые на «орла» перевернутся. Тебе попробовать? Валяй! И ведь пробовали, шустрые, и получалось. А когда наши парни в шутку предлагали им оторвать один царский рубль с шеи и поставить на кон, девчонки махали руками: нельзя! Как их понять? Вот и теперь идут с нашими мальчишками, самая смелая лет пяти спрашивает у Васьки, что такое «ясноокая»? Стоп! Где это она слышала? Ведь только мне и по «страшному секрету» читал эти стихи Боря:

Эх ты, степь моя, степь широкая.

Эх, любовь моя ясноокая.

Я тогда похвалил их, и Боря засмутился, сказал, что и ей понравилось. Васька же, мигом что-то сообразив, не моргнув, отвечает:

— Ясноокая-то? Ну, дурочка значит, балда стоеросовая! — И как бы сам с собой бормочет: — Какая же она ясноокая? Черноглазая. Эх, зараза я, черноглазая. Смотри, Владька, песня получилась!

Девчонка с недоумением смотрит на Ваську, уже опять хорошо заросшего, и отходит в недоумении. А я подумал, что это Васька со своими чистыми глазами больше похож на ясноокого.

Наконец дошли до нашего поля. Женщины встали в оцепенении. Среди пластов вывороченной весной земли буйно и невпопад разрослись зелёные, сочные кусты. Коренастый начальник сказал, что картофель ещё не совсем созрел, поэтому подкапывать надо осторожно, чтобы не повредить соседние посадки. Мама дала мне лопату, я поднатужился,

вывернул пласт вместе с картошкой и гнездом тарантула. Недовольный паук побежал спасаться под другим кустом. Женщины, с опаской ступая, окружили меня, заохали. Картофелины были крупные, ядрёные, одна к одной, без мелочи.

— Да её всю копать пора! — радостно сказала Фрося, и ей ответил коренастый начальник:

— Через неделю можно.

Он поманил пальцем ребят, повёл их на самый край поля, где в лопушистых листьях лежали зелёные арбузики. Неужели успели созреть? Почему такие маленькие? Эти вопросы мы задавали, пока ели арбузы, которые разрезал нам казах. Таких сладких я никогда после не ел. Это уже потом папа, приходя с охоты с утками и арбузами, пояснил, что климат тут особенный, с холодной снежной зимой и очень жарким сухим летом, поэтому и спешат вызреть всякие плоды, только толстеть им некогда — зима на носу.

* * *

Мы и не заметили, как проскочило лето и настала осень с ветрами, которые погнали по степи шары перекасти-поля. Степь стала голой и пахла горьким дымом и польнёю. Картошку мы выкопали и поставили в мешке в самый холодный угол. Война снова и снова напоминала о себе похоронками, сводками информбюро, фильмом «Секретарь райкома», который мы, мальчишки, смотрели много раз, сидя на полу перед самым экраном — все стулья в зале занимали взрослые. Мы выходили из клуба здорово оглохшие, с вытаращенными глазами: ведь перед нами в двух шагах ревели динамики и лица врагов были огромные и страшные. Мы знали про далёкий Сталинград, про Одессу и Севастополь, про разбитые города и сожжённые деревни: перед фильмом крутили военную кинохронику, в фойе вывешивались свежие газеты с фронтовыми снимками, а каждое утро громкоговоритель у клуба сообщал последние известия. В бурю связь пропадала, и тогда известия своим сочным звучным голосом читала актриса Валентина Шкарбан. И каждый день, в одно и то же время, в любую погоду шёл по длинному коридору нашего чужого дома похудевший, уже без улыбки, почтальон, как вестник чьей-то очередной гибели. Пронеси, дяденька почтальон, мимо нас эту чёрную весть.

В один прекрасный день, как пишут в сказках, тётя Валя сообщила на всю округу: «Сегодня в четырнадцать часов в школе будет проводиться запись в первый класс детей из эвакуированных семей. Дети могут прийти самостоятельно или вместе с мамами и родственниками. Не забудьте свидетельство о рождении». Самостоятельно — значит, одному, без мамочки. Это понятно: люди мы взрослые, сами до школы как-нибудь доковыляем. А «четырнадцать часов» — это сколько же?

Поразмыслив, я направился прямо к тёте Вале. Она сидела в своей будочке перед столом и что-то читала про себя, наверное, очередную сводку с фронта. Дочитав, обернулась ко мне. Я поздоровался. Она, кивнув, спросила:

— Сколько тебе лет, Влад?

— Скоро восемь.

— А четырнадцать часов — это сколько? — задала она неожиданный вопрос, который мучил меня.

— Сам не знаю... Думаю... э-э-э...

— Иди и подумай, а потом самостоятельно приходи в клуб. В четырнадцать ноль-ноль!

И это «ноль-ноль» меня как по голове стукнуло. Вспомнил, как в кино военные обязательно говорят: «Атакуем в десять ноль-ноль», а не как штатские: «Приду в два или в три с чем-то». Давай, давай, Влад, думай. Цифр у нас на часах двенадцать, так? А если дальше считать, что получится? Тринадцать — это час, четырнадцать — это два... Два! Точно!

В два часа (вот вам!) я сидел на первой парте вместе с Васькой, за нами разместились Фрося, тётя Гриппа с Юлей. В общем-то, заводских мальчишек и девчонок было больше половины класса. Местных совсем мало. Они, одетые по-праздничному, скромно сидели подальше от доски. Ребята коротко подстрижены, девчонки с мелкими косичками, в ярких цветастых платьях и ожерельях из монет. Мы с Васькой зря за такую большую парту уселись — нас из-за неё, наверно, плохо видно. Наши и местные мамы разместились на задних местах. Учительский стол пустовал, и было очень любопытно, какой учитель за него сядет. А ну как строгий и громогласный.

Открылась дверь, и вошла Роза. Я даже вскочил от радости:

— Здравствуйте, Роза!

Она приветливо улыбнулась мне:

— Здравствуйте, ученик Леонов! Здравствуйте, товарищи ученики. Нет, нет, не кричите мне ничего в ответ. Ученики приветствуют учителя, вставая. Как это сделали ваши мамы.

Ребята быстро вскочили, крышки парт грохнули. Она ласково оглядела нас и сказала своим мягким, совсем не учительским голосом:

— Садитесь. — Крышки снова загрохотали. — Уселись? Вот и хорошо. Давайте знакомиться. Меня зовут Роза Фёдоровна. Запомнили? Повторите, так, правильно. Теперь называйте свои фамилии. Не все сразу, начнём с первых парт.

Она посмотрела на меня, я вскочил и закричал:

— Леонов! — И совсем тихо: — Владик. Восемь лет. Скоро.

— Хорошо. Владислав Леонов, семи с половиной лет от роду. Так и запишем.

Девчонки и мальчишки вставали по очереди и с помощью мам, бабушек или сестёр записывались в первый и единственный класс не помню какой, но очень маленькой школы. Оказалось, что трое ребят уже начинали учиться в Егорьевске, да не доучились — уехали в нашей теплушке так далеко от родной школы. Придётся начинать заново.

— Снова будете, братцы, писать крючочки и палочки! — весело крикнул Васька, Фросин сын, у которого была такая нужная фамилия — Солдатов. Роза ответила странно:

— Начнём мы, братцы-кролики, с внешнего вида. Поднимите руки, кто из вас сегодня умывался, чистил зубы, а может, и в парикмахерскую ходил?

Мы переглянулись в недоумении. Нерешительно поднялись и тут же испуганно опустили три грязные ладони.

— Понятно. Дорогие родители и родственники, прошу вас остаться, а эту прекрасную лохматую молодёжь мы пока отпустим, — сказала Роза Фёдоровна.

Мы ломанулись в дверь, едва не снеся её с петель: нужно было поскорее поделиться впечатлениями о школе и учителе. В школьном дворе, под пирамидальными тополями, мы наперебой стали перечислять, какие возьмём с собой вещи, самые нужные для учения. Набиралось немало: тетрадки, буквари, чернильницы, карандаши, ручки, пеналы, перочинные ножи, а главное — новые портфели, в которые всё это можно запихнуть. На портфели нажимали девчонки: одни хотели жёлтенький, другие — чёрненький.

Васька не принимал участия в яростном обсуждении: он ползал на коленках, кого-то преследуя. Поймал, поднялся, отозвал меня в сторонку и разжал ладонь, по которой ползла очаровательная гусеница — толстая, зеленоватая, с яркими жёлтыми пятнами по бокам, с большой головой и с острой, загнутой кверху пикой позади. Васька гладил гусеницу. Он вообще был большой любитель животных: таскал в дом ужей, мышей и сусликов, которых в сердцах выпихивала потом за дверь Фрося, и живность разбегалась по коридору, пугая мирных граждан. Куда он гусеницу денет? Фрося и так на него сердится. Она ещё не знает, что у Васьки за ящичком с кизяком в уютной норке живёт паук Федыка и он кормит его кусочками мяса — мух ему тоже жалко. А тут ещё гусеница, пускай и самая красивая. Васька рассеянно спросил, что там за ор. Я ответил: портфели делают, кому чёрный, кому красный, тебе какой?

— Зелёненький, — ответил Васька, глядя гусеницу по спинке. И вдруг сунул её мне в руку. — Дарю! У меня всё равно её раздавят. Народ глубоко несознательный.

Мы побежали ко мне и поместили гусеницу в жестяную коробку из-под довоенного зубного порошка, которая среди других необходимых вещей, лежала в санитарной сумке, положили ей туда листьев, всякой травки и закрыли. Васька подсказал, что надо пробить гвоздём дырочки, чтобы животное не задохнулось. Мы так и сделали, а потом спрятали коробочку с дырочками в самый прохладный угол за мешок с картошкой. Я уже знал, что из гусениц получаются бабочки. Дома, ТАМ, я как-то попробовал, но из гусеницы вывелись какие-то мушки. Послежу теперь за этой, буду кормить, весной на волю выпущу — или бабочку, или что там получится.

Букварь с картинками

Мама пришла с собрания не в настроении, вытащила из-под кровати санитарную сумку с красным крестом, которую привёз папа, и стала намывливать крест. Но краска, предназначенная для полевых условий, держалась намертво. Тогда мама просто зашила крест зелёной тряпкой. Отрезала от сумки ремни и пришла две ручки. Всхлипнула в кулачок:

— Вот тебе и портфель, Владик, зелёненький, давай сюда тетрадки, ручки, пенал.

Пришёл папа, и мама рассказала ему, что ничегошеньки в этой школе нет — ни портфелей, ни тетрадей, ни бумаги, ни ручек, ни чернильниц,

ни пеналов. Нашлись где-то на складе грифельные доски с грифелем, их и раздадут. Прямо как в сказках Андерсена! У местных ребят остались кое-какие довоенные запасы, поделятся. Но на всех не хватит. Папа сказал, что надо бы ехать в Кустанай или ещё куда. А вообще-то, может, пока повременить ему годочек... Мама рассердилась не на шутку:

— Ну, давай он ещё год будет пауков по степи гонять! Учебников не будет — он учителей послушает, запомнит. Память у него отличная. Парень он неглупый, вон какие книги читает. Многие, Роза говорит, буквы ещё не знают, восьмилетние-то!

«Кому им помочь-то, — подумал я, — отцы воюют, матери работают». Видно, и папа про то же подумал, сказал грустно:

— Парень неглупый, пускай учится. Есть кому и помочь. С чего начнём, сын?

— Пап, помоги мне с часами разобраться.

* * *

Начались сборы Владика Леонова в первый класс, не помню какой школы, что в далёком посёлке на степной реке Тогузак. В бывшую санитарную сумку много чего могло бы влезть, а класть-то пока нечего: мама из розовой бумаги сшила две тетрадки по русскому языку и арифметике. Разлиновала их в клеточку и в косую линейку. Пришила на кусок материи кармашки для букв и стала эти буквы вырезать из плотной синей бумаги. Папа готовил сто палочек для счёта. Я же пока осваивал грифельную доску, эту небольшую прямоугольную пластину из какого-то чёрного камня, вставленного, как снимок, в деревянную рамку, и грифель — белую каменную палочку толщиной и длиной в карандаш. Нарисовал на доске упавшего человечка и коня перед ним. Мама взглянула: что это за чёрточки и палочки? А это из песни «Там, вдали за рекой», это боец молодой, он пони головой и честно погиб за рабочих. Но разве женщинам такая песня интересна? Эмма и старшие девочки поют про то, как на позицию девушка провожала бойца, как они простились на ступеньках крыльца. И как далеко за туманами виден был огонёк в её окошке. Хорошая песня, только жалостливая. Мама сказала, чтобы я не чертил зря доску и не портил грифель. А папа добавил, что доска — это хорошее изобретение: решил задачу неверно, стёр и снова написал. «И опять неверно», — хмыкнул я.

Сумка поменьше заполнялась. Первыми были карандаш и ручка с пером. Их выдали каждому и велели очень беречь — других не будет. Ручка и карандаш одиноко лежали в пенале, который сделали специально для меня парни из модельного цеха, а папа торжественно вручил мне. Пенал был большой, тяжёлый и единственный во всём классе. Такой же редкостью была бронзовая чернильница с завинчивающейся крышкой, которую выточили токари. Я носил её в школу, хотя первые недели мы, неумехи, писали только грифелем на грифельных досках и карандашами в тетрадках, пока «почерк не наладится». Она была в мешочке, но чернила всё равно протекали и мазали мне руки. Васька таскал чернила в бутылке и тоже вечно мазался. Тогда он разлился и налил вместо чернил сок красной свёклы: можно и писать, и пить эти «чернила».

Роза Фёдоровна (для нас просто Роза) стала совсем своей — не ругалась, заниматься с ней было очень интересно.

Она в первый день поздравила нас с началом нашей новой школьной жизни. Похвалила, что все явились аккуратными и подстриженными.

— А зубы чистить нечем, — сказал Васька, — ни тебе порошка, ни щётки зубных.

Роза взяла с доски кусочек мела, раскрошила его в порошок, насыпала в свой чистый платочек:

— Осталось намочить и, пожалуйста, чистите зубки. Зубной порошок — такой же, по сути, мел, только более чистый.

Потом, не давая нам времени на удивлённые охи и ахи, рассказала о грифельных досках. Их, оказывается, делали из горных пород сланца, такого минерала, грифель тоже из сланца. А раньше грифельную доску называли аспидной, значит, чёрной — так назывался этот минерал. Васька поднял руку:

— А меня мамаша тоже аспидом называла. «Ах ты, аспид такой! Опять ключи потерял!»

Все засмеялись, а Роза пояснила, что аспид — это ядовитая змея, так называли злых людей, и она думает, что Солдатов Василий к таковым не относится.

— Не! — замотал Васька стриженной наголо головой. — Давайте работать!

Он не мог сидеть без дела, этот Васька: ему хоть камни ворочать, хоть змей по степи гонять, хоть бумагу марать! Мы, к его неудовольствию, начали опять выводить палочки и крючочки. Для начала Роза разлиновала, как положено, классную доску, на ней парни и девчонки по очереди стали строить кривые заборы из кривых палочек.

Через немалое время дело дошло у нас и до букв, которые я давно знал. Мозолистые руки наших ребят, привыкшие к камням и палкам, плохо ладили с мелом, и на доске появлялись весёлые кривобокие существа, отдалённо напоминавшие А или У. Все смеялись, всем было весело, и тогда Роза вдруг спросила, кто какие песни знает, тут же добавляя поспешно: «Только хорошие!» С чувством я спел про умирающего моряка с Ордынки, который просит хирурга отдать сыну когда-нибудь его бескозырку. Девчонки же, даже местные, конечно, пели про пареньку и родной огонёк, Васька — про море, которое раскинулось широко. Мы уже не смеялись, стали серьёзными, можно заниматься дальше. С каждым днём буквы рисовались у нас всё лучше, ровнее, мы уже с удовольствием выписывали их карандашом в тетрадях и грифелем в аспидных досках.

Преуспев в письме, приступили к чтению. Самые шустрые уже без запинки читали целые слова. Потом пошли предложения, с этим стало сложнее. Единственный букварь мы видели лишь издали, а все эти «мама мыла раму» Роза крупно писала на старых газетах яркой красной краской («губной помадой» — объяснили нам девчонки), и мы читали их вслух, потом по одному допускались к букварю. А картинки в букваре смотрели на переменах по очереди. Кстати, девчонки же заметили, что Роза никогда не красит губы, потому что она и так красивая. Открыли Америку!

Помню, как Роза отдала букварь моей маме, и мама, сшив толстую тетрадку, стала вечерами аккуратно и крупно переписывать в неё все

буквы и тексты из букваря. Вместе с ней с такими же самодельными тетрадками и с одним настоящим букварём с картинками работали весёлая тётя Гриппа, суровая Фрося и красивая Эмма. Боря Шкарбан, взглянув к нам, тоже захотел помочь, но всё время норовил сесть поближе к Эмме, заговорить с ней, прикоснуться невзначай локтем, и женщины выставили его в коридор. Я предлагал нарисовать картинки, но мама сказала, что без них будет лучше. Так и повелось: днём в школе мы «работали», как говорил Васька (а за ним и Роза) по настоящему букварю, вечером я нёс его домой для переписки, а утром снова относил в школу. Дело у женщин шло быстрее в метельные дни, когда занятия для первоклашек отменялись и букварь был целиком в их распоряжении с утра до ночи. Старшие парни доходили до школы на ощупь, по натянутому на столбах канату.

И вот в один прекрасный день наша прекрасная Роза торжественно вручила четырём лучшим ученикам четыре новых рукописных букваря, каждый — на пять человек. Самым лучшим оказался букварь, переписанный мамой, все «пятёрки» захотели учиться именно по нему. Я тоже тянул руку, но нам достался букварь, неровно переписанный Фросей, а старшим над ним был назначен совсем не отличник Васька Солдатов. Это было обидно, но не смертельно. Постепенно все утихомирились, и занятия продолжались.

Однажды на первом уроке Роза взяла мою сумку и показала ребятам, как правильно и аккуратно содержать школьные принадлежности. Когда, похвалив меня за чистоту и прилежность, она отдала мне сумку, в ней, к своему великому изумлению, я обнаружил настоящий букварь с картинками. Поняв, что учительница по ошибке положила заветную книжку не туда, я начал было открывать рот и подниматься, но вдруг увидел, как Роза приложила палец к губам и сделала большие глаза. Это был приказ: «Молчать!» Я был потрясён и обрадован. Мысли в голове путались. Роза, как ни в чём не бывало, продолжала нараспев читать нам текст, написанный на газете, ребята, тоже нараспев, повторяли. Все, кроме меня и Васьки. Я сидел и чувствовал, как горят мои уши. Васька молчал и косился на меня. Какую-то девчонку дёрнуло спросить звонким голосом:

— А по букварю с картинками мы работать будем?

Роза, вспыхнув, притворно вздохнула:

— Ох, братцы-кролики, куда-то я его сунула и не помню, куда. Думаю, что найдётся. А пока поработаем по букварю, который сделала для нас мама Владислава Леонова.

Она умоляюще посмотрела на меня, этого взгляда я не мог уже вынести, встал кособоко с букварём в руке и сказал, чувствуя, как проклятое заикание снова одолевает мой непослушный язык:

— Роза Фёдоровна! Вы его по ошибке мне п-положили, с-случайно.

— Молоток! — громко сказал человек с боевой фамилией Васька Солдатов.

Роза Фёдоровна (теперь она для меня чужая Фёдоровна, а не своякая наша Роза!) взяла букварь и быстро вышла, наклонив голову.

— Ну заболела у человека голова, пошла уксусом виски тереть, — сказал Васька и хлопнул меня по плечу.

Вечером к нам пришла Роза. С порога, в лёгком засыпанном снегом пальтишке, кинулась ко мне, обняла и заплакала. Мама, которой я всё рассказал, тоже стала всхлипывать и повторять:

— Как же ты, как же, Роза, ты в туфельках! — И совала ей в руки валенки, которые папа вчера раздобыл где-то для мамы.

Потом мы втроём пили чай с домашним мармеладом. Роза (ладно, пускай будет опять просто Роза!) сидела в маминых валенках и говорила, что ей никогда не было так тепло и уютно. Я вылез впереди взрослых и брякнул, почти не запинаясь:

— А вы переезжайте опять к нам, веселее будет!

Роза поцеловала меня в обе щёки и пообещала «крепко подумать». Когда она ушла, я сказал маме, что неплохо бы Розе и телогрейку какую добыть. Мама молчала и как-то очень внимательно и ласково смотрела на меня.

* * *

Ну почему зимой время тянется медленно, а летом летит, как стрела, хотя и дни летом длинные — набегаешься досыта, а всё равно дня на игры не хватает. А зиме конца-края не видно. Вот мы уже и читает кое-как можем, и считать научились, и пишем чернилами, и многое о жизни местной узнали — о людях, нравах, обычаях, о народном поэте Джамбуле. О поэте это хорошо, но вот зачем казахи лошадей едят и молоко кобылье пьют, «кумыс» называется? Многие травы уже знаем, а про паслён сами Розе рассказать можем — какие цветочки, какие ягоды и в каком котелке у Леонова он растёт. Роза предупредила, что совать в рот всё подряд опасно, особенно в незнакомых местах. Васька сказал на это, что мы не сразу едим, а помаленьку, не дураки, чай. Если не померли — значит, съедобное. Я вспомнил про тыквенную съедобную кашу, но говорить о ней не стал.

Однажды Роза раздала нам новые тетради в клеточку и в косую линейку. Мы их осторожно открывали и исследовали. Внутри тетрадей (а не тетрадок!) были промокашки, синие и розовые. Мы начали меняться промокашками, ссориться, пока Роза нас не помирила: девочкам положено розовое, мальчикам — синее. На передней обложке тетрадей был нарисован боец с гранатой, на задней обложке тетради по арифметике — таблица умножения, а тетради по русскому языку — красивые прописи. Васька поднял руку и спросил, когда будем работать с этими тетрадями и учить эти таблицы. Роза сказала, что спешить — людей смешить, прежде нужно аккуратно подписать, чья это тетрадь.

— И промокашка! — дополнил Васька и тут же написал на своей синей промокашке крупно: «Солдатов Василий!».

Роза посмотрела и одобрила Васькин почерк, только попросила промокашки оставить в покое, а писать на тетрадях, и не так крупно, как написал Василий Солдатов. Так появились у меня мои первые настоящие, а не сшитые мамой из розовой девчачьего цвета бумаги, тетради по русскому языку и арифметике, подписанные собственноручно. Васька уже ёрзал и потрясал ручкой, готовый к работе. Роза велела отставить пока ручки и взяться за карандаши: будем писать диктант. Васька скривился,

писать он любил — на доске, на заборе, на стене, и не обращал внимания на ошибки, но диктантов терпеть не мог.

— А можно я на аспидной доске? — попросил он, доставая из парты всю исписанную и изрисованную грифельную доску. Роза не разрешила. А велела открыть тетрадь по русскому языку и начала диктовать, напомнив, что имена собственные пишутся с большой буквы:

— Здравствуйте, бабушка (вставьте имя бабушки) и дедушка (имя дедушки). Отчества не надо, слишком официально получится. Кстати, у некоторых у народов нет отчества.

Васька добавил:

— А у кого есть — не обрадуешься: у нас в деревне был дед Акапердий, так какое же у его детей будет отчество — смех один.

Народ захохотал — ему бы только повод дать. Роза немного рассердилась, сказала, что всякие имена бывают, например, Акакий, и нечего свои выдумывать. Васька кинулся было спорить, вот и уши у него покраснели, но Роза сразу стала Фёдоровной и прекратила все разговоры.

Я принёс домой целое письмо бабушке Дуне и дедушке Андрею, исправленное лёгким карандашом Розы. Мама читала, как хорошо всё у нас, какая хорошая погода и как все здоровы и веселы, чего и им желаем. Письмо переписали чернилами на бумагу, мама добавила что-то своё, и пошло оно, быстрокрылое, полетело по белу свету. И через какой-то месяц пришёл ответ, отдельно мне и отдельно маме. Маме писал дед, а мне — Миша! Я читал его в уголке, прикрываясь ото всех локтем. Миша писал «грамотею Владику», что работает он на заводе, что всё у него хорошо, что все живы-здоровы, а Гриша и Володя бьют проклятых фашистов. Иные строки были наглубоко зачернены тушью, даже на свет ничего нельзя было прочитать. «Военная цензура, военная тайна», — сказала мама, как будто я ничего не понимаю. Хотя было бы очень интересно узнать, на каком фронте бьёт фашистов дядя Гриша и в каком небе летает и бомбит врагов дядя Володя.

Целый вечер я был счастлив. Ходил по длинному коридору, раздумывал, что напишу Мише. Рассказать хотелось так много — про школу, учёбу, Розу и Ваську, про степь и тюльпаны, про курдючных овец и кумыс, про уколы от всех болезней, про таблетки от паразитов, которыми нас замучили врачи, но на всё ни умения, ни сил, пожалуй, не хватит. Это уже не письмо, а письмище получится, да так ли интересно будет Мише читать про таблетки и уколы?

Я так раздумался, что не заметил, как налетел на человека, который стоял в полутёмном коридоре. Ойкнув, поднял голову. На меня смотрел наш коренастый «картофельный начальник», как его звала Фрося. Он был в гимнастёрке, с медалью на груди. Какая это медаль, я не разглядел, только увидел, что стоит он на одной ноге и с костылями под мышками. Другой ноги у человека не было. Мы постояли, посмотрели друг на друга и пошли в разные стороны. За моей спиной тихонько постукивали, поскрипывали его костыли. Я был ошеломлён: когда же это всё случилось, почему так быстро и вдруг? Только осенью он командовал на поле и кормил нас арбузами, а уже зимой — фронт, фашисты, нога. «Так и с каждым может быть!» — испугался я за родных и чужих — за всех наших. И теперь не знал, о чём буду писать своему Мише.

Дома мама перебирала какие-то вещи, наверное, собиралась менять. Давно мы не видели молока и масла, а яйца я только вспоминаю. Папа обещает принести весной утиные. Я походил по комнате, уроки все сделаны вплоть до рисования — нарисовал я свой паслён, весь в ягодах, в красивой вазе. Пока он что-то чахнет в котелке, весны заждался. Вспомнил про коробку с червяком, достал её из-за похудевшего мешка с картошкой, осторожно приоткрыл крышку. Мой красивый червяк из сухих листьев и паутины сплёл себе в уголке что-то вроде кокона. Ладно, спи, весной поглядим, что получится.

Дождались! Весна-красна пришла, такая же, как и прошлая — бурная, быстрая, торопливая, с пенными ручьями, бегущими к разбухшей реке. Снова всё живое зашумело, закудаhalо, замычало, заблеяло. Солнце растопило снега в один миг. Потянулись стаи уток и гусей, расцвели тюльпаны, золотые зайчики запрыгали по партам, маня нас на волю. Ожил и зацвёл мой паслён. Всё в этом краю спешило жить и радоваться. Растрёпанный, заросший за зиму Васька прибежал ко мне домой с выпученными глазами:

— Выпускай! Где она?

Я достал коробку открыл, и Васька горячо задышал мне в щёку. Распластав во всю коробку голубые, с яркими жёлтыми пятнами крылышки, в ней сидела большая бабочка.

— Ого! — наклонилась над коробкой мама. — Такая в нашей коллекции была. Как раз там место осталось.

— Никакой коллекции — только на волю! — крикнул Васька, вырвал из моих рук коробку и встряхнул её.

Бабочка выпорхнула, заметалась по комнате и, не обращая внимания на мой паслён, стала биться в оконное стекло. Васька распахнул его, и бабочка с голубыми крылышками вылетела на волю. Васька, глядя вслед мечущемуся между крышами сараев голубому огоньку, вдруг перекрестил окно, забормотав быстро-быстро:

— Лети, лети, бабочка! Лети, лети далеко, живи, живи долго на радость всем!

— Господи, а ещё будущий пионер, — только и сказала мама.

Васька посмотрел на неё каким-то странным затуманенным взглядом и пробормотал:

— Пойду Федьку на волю выпущу, пускай гуляет.

С этого дня Василий Солдатов перестал таскать в дом зверят, хоть было их вокруг нас полным-полно. Присядет Васька на корточки, посмотрит на шустрю ящерку, вздохнёт и пойдёт своей дорогой. Какому-то пацану, очень любознательному, недрачливый Васька дал крепкого пинка за то, что мальчишка оторвал у ящерицы хвост и любовался, как тот извивается на ладони.

— Чего ты! — орал мальчишка — Ей же не больно!

— Зато нам больно, людям! — отрезал Василий Солдатов.

Бумажные погоны

Шли дни, месяцы, и ничего не менялось в степи: летом жара, зимой холод и метели. Летом мы уходили всё дальше и дальше от дома. На

тракторной свалке, где я приморозил пальцы, ребята находили среди кучи железного хлама подходящие колёса, прилаживали их на толстую проволоку и катили по пыльной дороге. В далёкой степи мы видели конские табуны и редкую осторожную птицу дрофу, большую, как страус. Мы катили свои колёса мимо полигона, на котором горбились обугленные немецкие танки, и часовой за колючей проволокой кричал, что тут запретная зона и он будет стрелять без предупреждения, «ежели шо!».

Зимой мы учились, а после уроков катались возле дома по льду, кто на чём: на какой-нибудь железяке, на автомобильной шине, на старых санках, на глиняных замороженных ледянках. Коньков у нас не было, ещё летом я нашёл где-то за сараями один старый конёк непонятного названия. Боря сказал, что это «английский спорт» — толстое тупое лезвие с креплениями. Я прилаживал его на валенок и вжаривал, отталкиваясь одной ногой. После этого я долго не мог привыкнуть к двум конькам и всё норовил оттолкнуться вторым.

Иногда в клубе устраивали детские утренники. Со сцены раненые фронтовики как-то неловко и скучно рассказывали не про героев и победы, а про бомбёжки и артобстрелы, иногда вдруг обрывались на полуслове и уходили за занавес курить. Зато наши повзрослевшие ребята с жаром пели: «Смелого пуля боится, смелого штык не берёт». Я не люблю петь в куче, сижу себе в зале, слушаю.

— Сейчас у наших автоматы, — склонился ко мне одноногий «картофельный начальник».

«И огнемёты», — вспомнил я киножурнал: на экране очень здорово наши выкуривали фрицев из разбитых домов и подвалов.

Неожиданно певцы на сцене закашлялись, вытянули шеи, что-то разглядывая в зале. Я обернулся. По проходу шёл военный в погонах! Все мы знали, что золотопогонники — это белые, это враги. А тут такие же, золотые! Военный прыжком взлетел на сцену и что-то коротко сказал, из-за шума я не услышал его слов, только смысл ухватил: теперь в нашей Красной Армии будут погоны. Скоро в каком-то журнале мы их внимательно разглядывали. Солдатские были так себе, простенькие, а вот офицерские, генеральские, со звёздами — это просто чудо! Были, оказывается, и полевые погоны, чтобы вражеские снайперы не разглядели красных генералов и маршалов. Большие мальчишки в коридоре на нашем длинном столе вырезали из бумаги и раскрашивали только яркие парадные погоны.

— Иди сюда, боец! — приказал мне один из них, видно, главный. На плечах его рубахи красовались жёлтые погоны с одной большой золотой звездой. — Маршальская, — гордо сказал он, — а это, — кивнул на своих подчинённых, — полковник и подполковник. Хочешь быть майором?

Я будто в зеркале увидел себя — лохматого, в старой куртке, в портках, повадавших все ямы и заборы, и в майорских бумажных погонах на плечах. И куда я в них пойду? Люди скажут: что это за липовая бумажная армия! Отказался, покачав головой. Как раз мимо шёл почтальон и улыбался мне. В руке он держал письмо — не гражданский конверт, а настоящий солдатский треугольник. Забыв сказать спасибо, хватаю письмо и скорей к маме! Раскрываю, читаю сам карандашные поспешные

строки: «Дорогой Владик! Здравствуй! Скоро буду на фронте бить проклятых фашистов. Не скучай, учись хорошо. Привет маме. Крепко тебя целую. Твой дядя Миша».

А чего же мама плачет? Ведь живой он, Миша, которого я никак не представляю солдатом в погонах и с автоматом. И дядей его, худенького и ушастого, тоже не представляю. Тут же сажусь писать ответ. Стараюсь рассказать о главном и по-военному коротко: «Здравствуй, дорогой дядя Миша! Спасибо за письмо. У нас всё в порядке. Учусь хорошо. Начал собирать военные марки, уже набрал десять штук с танками и самолётами. Если у тебя есть военные марки, пришли, пожалуйста, мне. Буду очень рад. Твой племянник Владик».

Мама тоже что-то писала, длинное и печальное, судя по её лицу. Мы сложили письмо треугольником, приклеили марку, а посылать-то некуда! В Мишином письме не было обратного адреса. Мы с мамой вертели его так и сяк, пытались рассмотреть штемпель — не рассматривается. Побежали к Боре. Он прочитал Мишину весточку, тоже повертел со всех сторон, подумал и сказал, что, по его мнению, дядька мой едет в эшелоне, а куда, на какой фронт — это военная тайна. Нет даже номера воинской части или полевой почты.

Скоро появились и то, и другое. В следующем письме Миша сообщал мне, что учится на связиста, в доказательство нарисовал эмблему этого рода войск — крылышки и золотые молнии. Это письмо я храню до сих пор. Миша очень извинялся, что военных марок у него нет, и прислал обычные, мирные, какие были и на нашей почте.

— Тебе больше всех пишут, — сказал однажды казах почтальон, подавая мне сразу два треугольника — от Миши и дяди Гриши, и это были первые слова, которые я от него услышал. — Всё в порядке, да?

Спасибо ему за добрые весточки. Пока всё было в порядке, но каждое новое письмо мы с мамой ждали с тревогой. И с ещё большей тревогой мы думали о дяде Володе, от которого ни нам, ни деду — ни слова. Что с ним, где он? Как-то в степи я осмелился спросить у прилетевшего на «У-2» лётчика, очень ли страшно быть пилотом на войне. Он, прихрамывая, прошёлся возле своего фанерного самолётика, повернул ко мне обгоревшее безбровое лицо, сказал нехотя:

— Это меня под Курском... Там половину моих друзей...

Спасибо, успокоил, называется.

Больше ничего ни у кого не спрашивал, только ждал и верил во всё хорошее, и степь стала надоедать, и дорога бесконечная не манила, и ребячьи игры не прельщали ученика, перешедшего в третий солидный класс. Как быстро летит жизнь! Как хочется читать, а книжек нету, а в маленькой библиотечке я уже всё перерыл.

Как-то осенью папа заговорил о скорых переменах в нашей степной жизни: поползли слухи о переезде. Это меня не очень обрадовало: опять теплушка, печка, вши? А как же школа? И куда едем? И почему, если переезд, то обязательно по холоду? Нельзя, что ли, весной, когда тюльпаны цветут, бабочки летают и жить хочется?

— Опять барахлом трясти, — вздохнула мама. — Давай оставим всё — и лису обтрёпанную, и шубу мою, молью съеденную.

— Оставим, родная, — не спорил с мамой папа.

— Патефон возьмём, — сказал я, и со мной не спорили, только мама добавила, что будет подо что с голодухи плясать.

— Почему же с голодухи, — неуверенно возразил папа, — домой ведь едем, на родину.

На родину... Я тут же вспомнил русскую печку, Мишу, скворечник на дереве под окном и очень захотел в мою Коломну, которую, в общем-то, в целом-то и подзабыл.

В дверь постучали — этот вкрадчивый негромкий стук мы уже знали: почтальон. Не с толстой сумкой на ремне, не с цифрой пять на медной бляшке, не в синей форменной фуражке, как у Маршака, а в валенках с галошами, в шапке, в старом пальто и только с двумя письмами в сухой руке. Он улыбался, он принёс хорошие вести, плохие обычно были запечатаны в серые казённые конверты, от одного вида которых люди падали в обморок. Мы от души сказали ему спасибо, напоили чаем и еле дождались его ухода — сразу кинулись читать письма. Сперва треугольное — мне от Миши. Письмецо очень короткое, будто писал впопыхах — наверное, в окопе, под огнём врага. О себе очень кратко — жив, здоров, бьёт фашистов, обо мне больше — как здоровье, как учусь, что читаю, скучаю ли по родному краю. И в самом конце: «Я очень по тебе скучаю, племяш. Раста большой, живи счастливо. Твой дядя Миша».

Потом мама стала читать письмо от деда Андрея. Сначала, как обычно: «Здравствуйте, дорогие наши Владик, Нюра и Коля!». Мама пробежала дальше письмо глазами и вдруг не своим, а каким-то тонким жалобным голосом сказала:

— Убили нашего Мишу...

Потом она лежала на кровати, я поил её водой, а она не могла сделать глоток — вода выплёскивалась вместе с плачем. Я никак не мог понять, как же это случилось. Вот оно, Мишино письмо, от живого Миши, а вот — дедово. Когда же всё успело случиться? Мама наконец вытерла полотенцем опухшее лицо и поднялась. В голове моей эта весть никак не умещалась. Нет, этого не может быть, чтобы был человек, был Миша, мой Миша, и вдруг нет его. Так не бывает!

— Мама, может, без вести пропал или в плену!

Она, сразу постаревшая, покривила губы:

— Мишка и в плену! Горюновы не такие. Ты почитай, почитай, что дед пишет.

А дед Андрей писал, что о Мишиной гибели сообщил его командир лейтенант Петров. Он писал о геройской смерти Михаила Горюнова под Брестом, писал, где его и похоронили, что орден Славы будет передан родителям героя, что за товарища друзья отомстят проклятому врагу.

— Простите, мы не ко времени...

Это неслышно вошли Боря и Эмма. Я сразу понял всё. Боря был наголо острижен, с вещмешком на плече, Эмма подобрала волосы под тёмный платок. Они могли бы ничего не объяснять: все мы знали, что такое солдатская стрижка. Мама спросила:

— Когда?

— Быть на сборном пункте завтра в двенадцать ноль-ноль! — слишком весело отрапортовал Боря. — Транспорт уже ржёт под окном! — И, сбив весёлость, попросил «Анну Андреевну присмотреть тут за Валею».

— Я присмотрю — тихо сказала красивая Эмма.

Мы простились как-то скомканно, как всегда бывает при внезапном и горьком прощании. Боря обнял меня, поцеловал куда-то в ухо, потом они обнялись с мамой, и Боря сказал, что она сегодня особенно прекрасна. Мама молча покивала головой и пошла провожать их до двери. Я выбежал на улицу. Боря и Эмма сели в телегу, накрылись какой-то старой шубой, казах что-то крикнул, лошадка понеслась — на далёкую станцию, на сборный пункт, а дальше — туда, откуда не все возвращаются.

Дома рыдала мама. «А мы ему про Мишу и не сказали», — подумал я, но тут решил, что правильно сделали: пусть человек идёт на войну спокойным. Вечером вернулась Эмма, строгая, без слезинки, прошла прямо к тётке Вале.

Харьков — Москва — Коломна

К очередному переезду народ начал готовиться заранее. На лошадях и грузовиках подвозили к станции вещи, уголь, печи-буржуйки, дрова, продукты. «Зачем столько всего? Ведь домой едем?» — думал я, избегая слова «эвакуация». Но всё как раз походило на тот, первый военный год, с суматохой, неразберихой и страхами: куда везут, зачем? И, как тогда, собираются одни женщины и мы, мальчишки. Мужчины спешно отправлены с первым эшеленом, с первыми станками. Даже Бори не было с нами, а совсем больную тётю Валю заботливо опекала Эмма.

Накануне папиного отъезда у мамы с папой был крупный разговор. Мама резко спрашивала, почему он не едет с нами — опять в партизаны собрался или ещё куда? В ответ одно и то же:

— Ну что ты, родная, куда я без вас? Вот там чуть устроюсь и тут же вас встречу. Ты только не волнуйся. Бери самое необходимое, а остальное наживём.

А чего у нас «остального», когда и начального не было? Я представил, каково сейчас папе: тут работу наладил на пустом месте, теперь ещё куда-то ехать нужно, там налаживать. И никто толком не скажет, куда и когда на этот раз двинется наш «бабий эшелон», как назвал его Васька Солдатов. Ничего не поделаешь — война, нужно секреты хранить, пока фашистов не разобьём. Свои вещички собрали быстро, у нас с мамой всё та же корзинка с замком, чемодан и узел. На этом узле и сидим, ждём. Вот и состав подали. Погрузились, ждём и сидим.

По первому снежку пришли какие-то военные и сказали: «Будьте готовы!» Я, как будущий пионер, отвечал, что всегда готов. Васька ничего не отвечал, он пошёл в нашу теплушку устанавливать печку. Его не пустят в пионеры — он ходит с крестиком под рубашкой. Фрося вздыхала: «Тяжко тебе будет, аспид ты мой», но ругаться на упрямого сына не стала, сама, как мы перешёптывались, была верующей. Печку он установил, делать было уже нечего, и Васька заскучал. А когда прождали мы ещё день и другой, мальчишка весь истомился. Предложил мне «пробежаться» в посёлок, проститься с прежней жизнью. Мама, поглядев на скучающий народ, лениво бродящий уже далеко от эшелона, разрешила.

Как раз к посёлку по какому-то делу грузовичок собрался. Узкоглазый водитель любезно пригласил нас в кабину — если что, сказал, он и обратно доставит. Это уж совсем здорово. Запихнулись мы с Васькой, прижались, чтобы не мешать водителю, поехали!

Примчались быстро. Пока машина грузилась, мы с Васькой в последний раз пробежались по посёлку, за которым всю дымил завод, вспоминая, что и как тут случалось: пальцы морозили, с лестницы вниз летели, бабочку на волю выпускали. Где-то Васькин паук Федька по степи гуляет. Потом посмотрели друг на друга и поняли: дураки мы, дураки! Главное позабыли! Мы здесь грамотными стали, хороших людей повстречали, а самых любимых тут горько оплакивали. Даже сейчас у меня защипали глаза.

— Знаешь, Вась, какой у меня Миша был — человек!

— И Боря ничего не пишет,— вздохнул Васька, и мы с ним почувствовали себя взрослыми, много пережившими людьми.

У опустевшего барака стояла Роза, она придет, потом, с остальными, чтобы сейчас «не стеснять никого». Странная женщина. Мы душевно с ней простились, пожелав друг другу счастья и здоровья.

— И большой любви! — брякнул Васька, и она улыбнулась.

А я взял Розу за тонкую ладошку и неожиданно для себя забормотал:

— Роза, Роза! Да как же вы тут одна, безо всех! Поедем, поедем с нами! В кабинке, а мы с Васькой в кузове! Поедем, а!

— Точно! — закричал Васька. — Вперёд, Роза Фёдоровна!

Она заколебалась, но тут далеко-далеко вроде послышался тонкий гудок паровоза. Мы встрепенулись: наш поезд! Нам посигналил грузовик, казах водитель высунулся из кабины:

— Садись быстро, ваши уезжают!

Мы втиснулись к шофёру, и он погнал по степи, только пыль и первый снег полетели за нами серо-белым длинным облаком. На пригорке мы увидели наш эшелон с двумя маленькими паровозами — спереди и сзади. Один был, как мы потом узнали, основным, другой — толкачом. Он разбегался и толкал наш поезд так, что чайники летели с печек. Пока что паровозики мирно пыхтели паром, а люди поспешно заталкивали в теплушки всё, что не успели ещё занести. Скоро у путей возле маленькой станции остались чья-то рубаха на верёвке, дырявое ведро и наспех сколоченный дощатый туалет. Мама и Фрося махали нам руками и что-то кричали. Их заглушил тонкий гудок основного паровозика. Мы выскочили из кабины, я махнул рукой водителю:

— Спасибо!

И услышал в ответ:

— Доброй дороги, брат!

Мы не сразу полезли в свою теплушку, первыми посадили женщин, потом уж неспешно взобрались сами по деревянной лесенке в вагон. И как раз вовремя: состав так сильно толкнуло, что мы с Васькой едва не улетели под нары. Чёрт бы их побрал — эти нары, этот толкач и весь этот скучный переезд неведомо куда.

Мы с Васькой рассказали маме и Фросе про Розу. Эмма рассердилась на нас: глупые мальчишки, почему женщину не забрали, а потом заплакала, сказала сквозь слёзы, что сами-то они хороши, только о себе

и думают. Тётя Гриппа её успокоила: она на первой же станции сойдёт и привезёт эту Розу, притащит её силой в наш вагон.

— И я сойду! — сказала Фрося.

— И я! — заявил Васька, на что его мама ответила:

— А кто с бабами останется, аспид?

И ведь сошли! И ведь привезли они Розу, смущённую, но счастливую. Уж и обнимала она нас с Васькой, уж целовала — до сих пор приятно вспоминать...

* * *

В Кустанае простояли несколько суток, пока пропускали какие-то очень важные эшелоны. Я взял с собой тетрадку — буду вести дневник, как все важные люди, чтобы потом вспоминать и рассказывать внукам. Первая запись была краткой: число, год и — «Поехали!!!». Следующую запись, в Кустанае, я выводил долго. Кроме числа и года, в дневнике значилось: «Сегодня умерла тётя Валя. Вечером она захрипела и прошептала: “Боря”. Эмма побежала искать врача или хоть кого, а мама сказала: “Здесь душно. Мы вынесем тебя на воздух”. Тётя Валя ответила: “Нет, вы вынесете меня туда”». Дальше я писать не стал — было уже темно, а фонарь коптил. Но я и так всё запомнил. Как пришли какие-то люди в синих халатах, положили тётю Валю на носилки, с помощью наших женщин спустили её вниз и унесли куда-то. Потом нам сказали, что тётя Валя умерла.

— Но как же? Мы же здесь? Как же хоронить? — спрашивала этих незнакомых людей мама, и ей отвечали, не грубо, а как-то равнодушно, что похоронят, что их, таких, много было, и никто поверх земли не остался.

— Вот свидетельство о смерти, передайте родным.

Мама в растерянности взяла бумагу, сунула в карман. Эмма сидела на нарах как неживая, смотрела в одну точку. Как бы такое свидетельство и про неё не сочинили. Эмма, очнись!

Состав сильно толкнули, и мы поехали. Очень медленно, рывками, Фрося успела спросить у этих людей, куда следует наш эшелон. Один ответил:

— В сторону Харькова.

Мы с Васькой долго лежали в молчании в полутьме теплушки, которую мотало из стороны в сторону. Васька сказал, что это очень странно, когда люди умирают так вдруг, и в мирное время, а не на поле боя. Я с ним согласился: в нашем бараке никто за эти годы не помер, хотя все жаловались на болезни и слабость. Фрося успокоила:

— Вот погодите, кончится война, как посыплются.

Значит, едем в Харьков? Харьков так Харьков! Я записал это в дневнике. А потом, когда за полуоткрытой дверью вагона замелькали сторевшие станции, закопчённые печные трубы на почерневшем снегу, женщины притихли и только вздыхали. А я записал:

Едем мы в Харьков из города дальнего,

В тот городок загнала нас война.

А по дороге мы видим развалины —

Сёла, деревни сожжены дотла.

А города Харькова вообще не было — вот там развалины, так развалины. Только окраины как-то уцелели с маленькими домиками и садиками. И пахло дымом, гарью похуже, чем в папиной «чугунке». На какой-то разбитой станции нас выгрузили, вещи повезли куда-то на склад, нам велели «пока где-то устраиваться до завтра». Завтра обещали жильё. Помаленьку к вечеру все разъехались. Остались мама и Фрося. Ваську успели затолкать в какой-то грузовик. Нашим женщинам велели «побачить жильё у тих хатках», показав на неблизкие дымы за холмиком. Мама уселась с сумками в сани, «хлопчику» возница велел посидеть пока тут, в станции, где есть хоть крыша. Потом, если устроятся, за «хлопчиком» приедут.

Хлопчик остался, огляделся. Было ещё светло, тихо, мирно. За станцией громоздилось что-то бесформенное. Я пошёл туда и, обогнув станцию, обер. Всё поле было завалено разбитыми самолётами, а за полем дымил какой-то заводик. Я полез через кресты, свастики и звёзды, забрался в фашистскую кабину, которая была закрыта и спасала от ветра. Не в таком ли самолёте летел тогда тот лётчик, кивнувший мне головой? Вот и долетался. Ну и я полетел! Начал дёргать какие-то рычажки, нажимать на педали, потом замёрз, проклял войну и Гитлера.

Когда стало темнеть, я услышал мамин голос. Боком начал вылезать из кабины, поскользнулся на ленте с остроносими патронами, выбрался и только тут почувствовал, что еле жив и голоден. Тот же возница довёз нас с мамой до чистенькой хаты, пояснив, что тут фрицы гостевали, потому хата и уцелела. А мне уж всё равно — фрицы или не фрицы. Пovalился на постель и уснул с надкушенной варёной картофелиной в руке. Проснулся от света. Мама и Фрося стояли надо мной, уже раздетым, с фонарём и что-то смахивали с одеяла.

— У, развели клопов, проклятые,— ворчала Фрося тихо, чтобы не разбудить меня.

Утром женщины ушли устраиваться в общежитие. А старенькая украинка, подарив мне на память серую монетку со свастикой, стала рассказывать про немцев, которые хозяевами жили здесь всю войну и спали с самыми красивыми тутошними девушками. Заметив мою брезгливую физиономию, она усмехнулась:

— Спали, а куда денешься, и рожали. Только боялись, кабы по-немецки дитё не забалало.

Мне захотелось поскорее уйти из этого домика, пропахшего чужим духом. Оделся, нахлобучил шапку. Старушка объяснила, что мне «всё по тропочке, всё прямо» и никуда не сворачивать, а то мин было полно. По тропочке так по тропочке. Вон сбоку и дощечка стоит. На дощечке два слова: «Мин нет». Напугала, наверное, старушонка, какие тут мины зимой, кого подрывать.

Однако шёл я точнёхонько по следочкам других. По бокам тропочки валялось припорошенное снежком барахло: немецкий ботинок, рваные варежки, разбитый винтовочный приклад, каска с дырой, доска, из-под доски торчал уголок книжки. Постоял, подумал. Ну, кто мину под книжку закладывать будет? Никто. Осторожно, по шажку подошёл к книжке, потянул за уголок, примёрзшая бумажная обложка и несколько страничек остались во льду, а серединка серенькой маленькой книжечки — у меня в руке. Спиной, по своим следам вернулся к тропочке, мельком посмо-

трел на первую страничку. Стихи. Название книжечки и фамилия поэта остались во льду. Бумага какая-то полупрозрачная, плотная. Ладно, потом прочитаем. Сунул странички в карман. Вон и Васька машет мне. Иду, иду!

Всего-то ночь да утро меня не было, а Васька встретил так, словно не виделись мы года два. Его переполняли новости, он тащил меня по разбитому заводу, у станков которого стояли тощие люди в шапках и телогрейках и работали так, как будто век не видали этих станков и этой синеватой стружки из-под резца.

— Из концлагеря! — шепнул мне Васька. — Их наши освободили. — Остановился у огромного грузовика, доверху заваленного одеждой. — А это от других пленных осталось, которых убили и сожгли. Люди берут, у которых ничего нету. Холодно.

Мне стало страшно, показалось, что одежда пахнет кровью и дымом.

Васька повёл меня дальше, я едва успевал за ним. Ну и что особенного в этом неказистом крытом грузовичке с окошками, возле которого со значительной миной остановился мальчишка. Долго терпеть не мог, раскололся:

— Душегубка. Машина смерти, изобретение фашистов. Видишь, окнато слепые, сквозь них ничего не видно. Сажали людей в кузов, выхлопные газы шли туда же, привозили на кладбище мёртвых. Чистота и порядок. Перевешал бы всех сволочей, изобретателей этих, покарай их, Господь!

Долго бродили мы вокруг запорошенных снегом корпусов. Я показал другу найденную книжечку без обложки. Это были стихи, все про Ленинград, про войну. Понятно, что боец воевал там. Васька неожиданно вспомнил:

— Тебя какой-то цыган искал. Где, говорит, Владик Леонов. Я не сказал, очень уж он чёрный, с усиками, как у Чаплина. Страшный такой.

А от какого-то сарая уже бежал на своих кавалерийских ногах мой дед Андрей. Обнялись, расцеловались. От дедова полушубка пахло поездом. Именно пассажирским поездом, а не теплушкой! Это я точно понял. Познакомил его с Васькой. Дед пожал ему руку и сказал, что парень очень похож на Мишу в молодости. Я понял: деду теперь всю жизнь суждено помнить Мишу в молодости, потому что старости у мальчишки уже не будет.

Дед отвернулся, набил трубку крепким табаком, закурил и сказал, не поворачиваясь, что нам нужно торопиться, поезд будет через два часа, вещи уже в автобусе. У сарая стоял и дымил по-чёрному старый автобус с выбитыми окнами. В автобусе сидела мама, махала мне. Васька оторопел:

— Какой поезд? Куда ехать? А я?

— Нам на родину, — сказал дед Андрей. — Хватит по чужбине болтаться. Отец уже на Колумзаводе, в своей «чугунке».

— А я как же один? — повторял Васька, чуть не плача.

— Я тебе письмо напишу! В Егорьевск! Мы ещё не раз увидимся! — поверил я, что именно так и будет. И не ошибся.

Я неловко обнял Ваську, поцеловал его в мокрую щёку и вскочил в автобус. Автобус заскрипел, я махнул рукой из разбитого окна, Васька стоял, понурился голову.

Автобус очень долго колесил по развалинам, объезжая воронки, проехал возле вчерашних моих самолётов и наконец остановился у станции,

на которой висело написанное свежей краской название: «Харьков». Фашистская вывеска валялась тут же в сугробе, и мужчина рубил её — видимо, на дрова. Автобус подъехал к багажному вагону, дед расплатился с водителем, и тот долго рассматривал советские деньги.

— Отвык, что ли? — сурово спросил дед, и водитель живо убрал бумажки в карман.

Потом мы с мамой и дедом нашли свой вагон, настоящий, пассажирский, с полками и сиденьями, только холодный, с замёрзшими окнами. В вагоне уже было много народа, больше военных, в расстёгнутых кителях, с медалями, орденами, и уже здорово краснолицых, видать, крепко хвативших. Они о чём-то жарко разговаривали, особенно горячился молодой лейтенант с медалью: «Как мы его саданули, как он побежал!» Седоволосый капитан с орденскими планками и нашивками, говорящими о ранениях, слушал его с едва заметной усмешкой, которую молодой всё-таки заметил и нехорошо выругался.

— Что же вы при даме-то, — укоризненно сказал ему капитан, вставая и пропуская мою маму в той же давнишней котиковой шубке. Он поднял меня, посадил на верхнюю полку. Мама с дедом уселись на нижних местах. Молодому лейтенанту с медалью не терпелось ещё поговорить и поспорить. Смерив презрительным взглядом дедову старорежимную шапку пирожком и его усики, которые носил не только Чаплин, он внятно пробормотал насчёт «тыловых крыс, которые жировали всю войну, пока другие проливали свою кровь». Тощий мой дед вскочил и сказал лейтенанту, что он ещё настоящего пороху не нюхал, что ему лучше заткнуться и старших послушать, которые тоже кое-что повидали.

Лейтенант открыл рот от такого напора, мама попыталась успокоить мужчин, но дед уже разошёлся, достал из кармана какую-то тонкую книжечку, раскрыл и сунул под нос лейтенанту, не давая ему документ в руки. Капитан вытянул шею, а лейтенант, скривясь, прочитал небрежно: «Горюнов Андрей Григорьевич...». И вдруг посмотрел на деда, как на чудо:

— В партии с восемнадцатого?!

Капитан встал и застегнул китель, а молодой никак не мог опомниться:

— Ты... Вы и Ленина видели?

Дед молчком сел на своё место, показывая, что он много чего видел, только знать это никому не положено. Молодой вытащил из-под столика бутылку водки, налил немного в стакан и совсем другим тоном предложил деду выпить за Сталина и скорую победу. Тут же на столике капитан порубал колбасу и хлеб, один бутерброд предложил мне, другой — маме. Она улыбнулась, взяла боевой нож капитана, отрезала тонкий кусочек колбасы и, отказавшись от водки, стала аккуратно кушать. Лейтенант и капитан смущённо смотрели на неё: моя мама в шубке была тогда ещё очень красивой.

Дед Андрей снял свой выдавший виды пирожок, залпом выпил водку и, не кривясь, покусал хлеб с колбасой. Потом сказал:

— А теперь за тех, кто не вернулся.

Выпили за мёртвых, молодой лейтенант всё хотел что-то сказать, дед улыбнулся ему:

— Ладно! Выпьем за то, чтобы ты и твои товарищи вернулись живыми и здоровыми. И поумневшими!

Потом сказал всем «спасибо за компанию», влез на верхнюю полку и уснул. Капитан покачал головой:

— Боевой старик.

— В Гражданскую воевал, — сказала мама, и капитан уважительно заметил:

— Оно и видно.

А молодой лейтенант всё приговаривал:

— Везёт же людям. Ленина видели.

Я лежал на своей верхней полке и листал найденную полукнижку. Стихи мне понравились. Каждый рассказывал какой-то случай: как ленинградского мальчика убило фашистским снарядом, как миномётчики нашли под взорванным крыльцом портрет глазастой курносой девочки и били врага за эту неизвестную девочку и за всех детей:

Пусть наши мины грозные
Летят к врагу свистя
И мстят за безмянное
Советское дитя.

Я заснул и видел во сне прекрасный город Ленинград и его корабли, которые бьют врага из грозных орудий. Проснулся, свесил голову. Внизу молодой лейтенант примазывался к деду: расскажи да расскажи, какой он, Ильич-то? Говорят, простой. Дед на это отвечал, что простыми только дураки бывают. На том разговор и заканчивался. Дед смотрел в окно на разбитую, истоптанную и выжженную нашу землю и часто выходил в тамбур курить, хотя папиросный дым слоями висел в вагоне.

Москва поразила меня людским морем и инвалидами, которые прыгали на костылях, катились на тележках или лежали на скамейках, оставив возле себя шапку с мятыми рублями и трёшками. Помрачневшие военные помогли нам выгрузить вещи из багажного вагона, проводили до зала ожидания, лейтенант расплатился с носильщиком, пожал деду руку, капитан отдал честь, и они поспешили по своим военным делам.

А мы остались в зале вокзала у своих вещей ожидать поезда на Колумну. Ждать пришлось долго, хотелось пить, я скулил, дед бегал по близким магазинам, стоял за билетами, а мама сердилась на меня. Мы и не заметили, как какой-то человек спокойно взял наш чемодан и понёс. Тут же из двери выбежал другой человек, вырвал наш чемодан и залепил жулику оплеуху, от которой тот едва не упал. Народ бежал туда-сюда, тащил свои вещи, катили на тележках безногие, никому не было дела до человека, укравшего чемодан, и до другого, который ударил вора. Тот, другой, нёс чемодан к нам, и мама привставала к нему навстречу:

— Гришка, откуда ты, господи, живой!

Она попыталась поцеловать брата, но тот отстранился и закашлялся, прислонив ко рту платок. Потом посмотрел на меня каким-то особенным тёплым и грустным взглядом, сказал, что я здорово вытянулся и очень осторожно поцеловал в щёку, почти не коснувшись её губами.

— Вы в отпуске? — спросил я дядю Гришу, вспомнив его боевой вид в шинели и с винтовкой. Он усмехнулся:

— Нет, я, брат, вчистую. А вон и дед бежит, поехали.

Когда шли к поезду, тёмное небо над Москвой озарилось разноцветными огнями, взлетели букеты ракет, где-то глухо бухали пушки. Я едва не упал, схватился за дядю Гришу, который тащил тяжёлую корзину:

— Это победа, да?

Он остановился, еле дыша и вытирая пот со лба:

— Пока ещё нет, это салют в честь возвращения домой Анны Андреевны и Владислава Николаевича. А салют победы мы ещё с тобой увидим. Обязательно.

Поезд подали очень поздно, народу на платформе набралось тьматьмущая, еле пробилась в вагон, где было тесно и душно. Мы едва разместились. Я сидел на корзине, прижатый к стенке какой-то бабой с мешком. Напротив, на скамейке, примостились дядя Гриша, дед и мама. Сквозь дрему я едва слышал их разговор, в котором часто звучали слова: «туберкулёз», «открытая форма», «на фронте». Мама спросила про Володю, дед ответил: никаких вестей. Я заснул, а колёса то стучали, то замолкали, и казалось, что ехали мы дольше, чем до Кустаная, и так же надолго останавливались.

— Паровоз опять меняют, — оповестила на весь вагон бабка-соседка, и это её «меняют» сразу напомнило мне бабу Дуню с её деревенским, неведомо откуда пришедшим говорком, который и в городе никак не выветривался. Может, теперь выветрился?

Забрезжило утро, мы наконец приехали и выгрузились на низенькой, словно ушедшей в землю станции Коломна. Дед заворчал:

— До Голутвина не могли дотянуть, черти паршивые.

Да, помню! «Голутвин» — так наша, конечная станция называется! И наша улица — Партизан, по-простому Партизанка, рядом с этой станцией. Мама часто вспоминала эти места, рассказывала про них. Я смотрел вокруг во все глаза, вспоминая довоенные картины. Лошадей с телегами, точно, не помню, это, наверное, вместо такси. Возница попробовал торговаться, но с дедом Андреем этот номер не проходит, поехали за ту цену, которую он назвал. Уселись, выехали на разбитое шоссе.

Ну, здравствуй, Коломна! Запоминай всё, Владислав Николаевич, ведь, говорят, первые впечатления держатся в памяти всю жизнь. Центральная и единственная главная улица — Октябрьская. От неё отходят улочки, переулочки, названия на табличках самые железнодорожные: Гендерная, Колёсная, где-то вроде была и Паровозная, точно не помню... Низкие двухэтажные домики, низ каменный, верх — деревянный. Какие-то почерневшие бараки. Сворачиваем. Переезд.

Выезжаем на нашу Партизанку. Вспомнил! Здесь мы с Мишей в чижика играли, окно соседям разбили. Домики одноэтажные, только в конце улицы — наш двухэтажный, а за ним — кирпичный, аж в четыре этажа, а потом — овраг, тоннель под железной дорогой, кучи мусора и замёрзшие, как бы помягче выразиться, в общем, отходы жизнедеятельности человека. Дед сказал: канализация и вода будут весной, когда земля отогреется. Пока так обходимся. Дедушка, дедушка! Знаю я, что такое туалетное ведро или солдатский котелок!

Вот и наш дом. Забора нет, видно, сожгли в печке. Входи, любой жулик! Двор, заснеженные булыжники, помойка у сараев. Деревянная

лестница, знакомый запах старого дома, второй, он же последний, этаж, дверь, обитая клеёнкой, кнопка звонка.

— Жми! — кивает мне дед, и я нажимаю.

Едва внутри зазвенело, как дверь распахнулась, и меня схватили, обцеловали, обмочили слезами. Баба Дуня. Она, конечно, постарела с тех, довоенных пор, только глаза остались такими же светленькими, только мокрыми. Тихонько высвобождаюсь, осматриваюсь. Бабушка смотрит на меня, как на чудотворную икону. Хотя я никогда не видел икон в нашем неверующем доме. Та же кухня с громадной русской печкой, на которой валялись мы с Мишей. У печки под лестницей — коньки, острые и длинные, как ножи. Их мы и называли «ножи».

— Это Мишины и Володины,— говорит баба Дуня, пытаюсь снова обнять меня, и дед сердитым голосом кричит ей:

— Мать, хватит тебе!

В дверь видна соседняя комната. Те же звонкие ходики с нарисованным мавзолеем, чёрная, из плотной бумаги, тарелка радио. В кухне у окна длинная лавка, сажусь на неё и вижу липу со скворечником.

— Живут в нём? — спрашиваю.

— Живут,— отвечает дядя Гриша. — Летом —скворцы, зимой —воробы. — Он сидит на маленьком стульчике спиной к горячей печке, хотя дома и так жарко. — Витька, чего брата не встречаешь?

Из комнаты выбегает, прихрамывая, невысокий шустрый курносый мальчишка и, пока меня раздевают, как маленького, с любопытством смотрит на старшего брата. Потом хватает меня за руку и тащит в большую комнату. Рывком выдвигает из-под дедовой кровати, покрытой тем же памятным лоскутным одеялом, корзинку с игрушками, вываливает на половичок какие-то сломанные грузовички, самолётики, патронные гильзы, половину немецкого автомата без затвора, попугая, кегли, дырявый мячик и ещё много чего ненужного, кроме, конечно, автомата. Тут же братец взахлёб сообщает, что «такого оружия у всех полно, а в сарае у деда даже пулемёт был, правда, дед его выкинул». Дед проворчал, что это не игрушки, что у вагонов с оружейным ломом надо ставить охрану. Витька сказал на это, что парни тащат не из вагонов, а из «чермета», куда битое оружие везут со всех фронтов на переплавку. Там и танки есть, и самоходки.

— Вот-вот, — сказал дед. — Их нам только не хватает — огород пахать.

Потом пришёл папа со своим извечным чугунолитейным запахом, опять охи, ахи, поцелуи, обнимания. Он моет руки и лицо под ручной-ником, прибитым к стене, вытирается и говорит виновато и невпопад:

— Ну вот, почти все и собрались.

Пока успокаивали бабушку, пока усаживались за стол, раскладывали московскую еду, мы с Витькой быстро наелись и стали перебирать его корзину, краем уха лова взрослые печальные разговоры. О том, что от Володи ни весточки, что Гриша тяжело болен. Простудился, когда с товарищем поздней осенью переплывал на каком-то хлипком плотике речку, а потом долго лежал в сырой глине, прикрывая пулемётным огнём высадку нашего десанта. Я подумал, что и мой Миша, может быть, так же, с тяжёлой катушкой телефонного провода, плыл по ледяной реке или бежал под огнём противника, налаживая такую необходимую связь.

Вот заговорили обо мне: отдавать ли парня сейчас, почти в середине учебного года, снова в третий класс, парень-то столько пропустил, не догонит.

— Догонить! — сказала баба Дуня, а Витька закричал, что нечего ребёнка в школу весной загонять, для этого осень существует. Пускай ребёнок поотдыхает, пока можно, намучиться ещё успеет! Дед своими цыганскими глазами заглянул мне в душу, словно ждал верного ответа. Когда я сказал, что догоню, он облегчённо вздохнул:

— Это по-нашему!

— Ладно, не бойся! — успокоил меня братец-второклассник, — я тебя поведу, всё тебе расскажу, со мной не пропадёшь! А в выходной город тебе покажу, все башни облазим!

Начались крики и маханье руками. Вспомнили все Витькины синяки и шишки, только деликатно никто не вспомнил о его сломанной когда-то ноге.

* * *

Начальную школу номер двенадцать помню хорошо. Это деревянное длинное одноэтажное здание стояло на территории кинотеатра, и по вечерам возле неё гуляли парочки и танцевали под звуки духового оркестра. Саму учёбу не запомнил, она давалась мне легко и не приносила тогда особых забот, чего не скажешь о Витьке. Учебники и тетради были настоящие, учиться по ним было одно удовольствие. И сумка у меня была самая модная по тем временам — боевая, полевая, офицерская, на барахолке купленная у какого-то безногого военного. Отдавал он её мне со слезами на глазах, за копейки, даже не отдавал, вручал, как боевую награду, приказав учиться только на отлично. «У нас иначе не бывает!» — сказал тогда дед. В этой сумке остались даже карта с какими-то значками и стрелками на ней, цветные карандаши и настоящий военный компас. Мой старый большой пенал в неё не влезал, да и не место ему среди таких вещей. После окончания третьего класса я всё искал на рынке того военного, чтобы отрапортовать ему об отличных оценках, но не нашёл.

В выходные братец показывал мне город, предупреждая, где можно ходить одному, а где только в куче. Лазили мы с ним и по разорённым церквям, и по разрушенным башням Коломенского кремля, где пахло туалетом и запустением. Потом, в Литературном институте, я вспоминал эту картину, когда писал курсовую работу «О чём молчат башни». Они, свидетели героических битв коломенцев с ордой, не хотели рассказывать о стыдной жизни последующей, о разрухе и забвении.

— Ничего, их восстановят, и будут они ещё красившее! — уже тогда верил мой братец, пробираясь в самую прекрасную башню кремля — Маринкину и показывая с высоты, куда мне можно ходить, а куда не стоит. Больше всего Витька пугал меня «монастырскими» ребятами, которые жили в старых монашеских кельях, кое-как приспособленных под жильё. Опасаться велел и «митяевских», из домов, что за Партизанкой. А перед Митяевом были ещё Ямки — дикий посёлок с ямами.

Витька страшил меня историями про банду «чёрная кошка», грабившую и убивавшую направо и налево, про мелкую шпану, которая сре-

зает коньки с валенок, шарит по карманам у касс кинотеатра. Мне не очень-то верилось во все эти истории, но я чувствовал, что народ стал озлобленным и готовым на всякие гадости. Особенно заметно это по чужим мальчишкам. Они то ножку мне подставят, то толкнут, то пуговицу оторвут, шапку на крышу школы забросят, в снегу изваляют. Лица у них злые, глаза сощуренные, острые, и ходят толпой. Витька говорит: их надо лупить поодиночке, только потом ещё хуже будет, если поймают. Лучше всего, конечно, кучей ходить или с пистолетом. Самого его не трогали — знали, чей сын Витька Горюнов, боялись отца. Скоро и ко мне перестали придирааться, когда узнали, что я — Витькин брат. Жить стало полегче.

— Что с них взять, — говорила мне бабушка. — Отцов-то поубивали, а матери на заводе с утра до вечера. Или вон семечками торгуют на переезде.

Семечками торговали женщины, а махоркой — инвалиды. Их было много, на улицах, на рынке, на станции — безруких, безногих, всяких.

Постепенно мы устроились. Заняли маленькую комнату, дед с бабушкой остались в большой, а в третьей комнате обитали подселенцы, рабочие с Коломзавода, муж и жена, люди молчаливые, тихие. Было тесновато и непривычно. После степной тишины я долго не мог привыкнуть к шуму поездов за окнами, в каких-то ста шагах от нашего дома, который дрожал, когда по рельсам шли тяжёлые составы. К паровозам я привык и даже полюбил их. Они казались живыми и, как люди, тяжело дышали на подъямах. Да и как не любить паровозы, когда Коломна была их родиной, и все наши работали «на паровозке», а каждое утро, после гудка, мимо дома, через наш неогороженный двор шли люди на завод, крыши которого, ещё размазёванные маскировочной краской, были видны из наших окон. Шли в основном женщины, подростки и старики, вроде моего деда.

Дед был на пенсии по состоянию здоровья, но все заводские дела знал и переживал за них. Ведь он ещё в восемнадцатых послереволюционных годах в лаптях ходил из деревни по льду Москвы-реки в свой цех, с тех пор ноги и застудил. Он и в первых субботниках участвовал, и воевал на Гражданской, да мало ли что пришлось ему пережить. Рассказывал дед о прошлом редко и неохотно, другой бы с трибуны не слезал.

Дед рассказал мне, что завод тоже эвакуировался в Сибирь, а в оставшихся цехах, на старых станках малолетки и старики ремонтировали танки, самоходки, выпускали детали «Катюш», точили снаряды, сваривали противотанковые «ежи». На Коломенском заводе были выпущены два бронепоезда с командой из местных рабочих. Так что, с гордостью говорил он, и мы фашистов громили.

Дед не сидел без дела. На нём — все мужские заботы. Каждое утро он прежде всего заглядывал в почтовый ящик, но тот пустовал. Письма от Володи опять не было. Ни жив, ни убит, ни пропал без вести. Про плен дед не думал. Боялся, что упал самолёт где-то в лесу и взорвался, и никто не найдёт могилу. Постояв у пустого ящика и повздыхав, дед шёл в сарай рубить дрова. Потом носил воду в дом, топил изразцовую печку-голландку торфом, по утрам выгребал золу и выносил её на помойку. Он и с ведрами туалетными управлялся лично. Кстати, его хождение в уборную было действием почти ритуальным. Дед надевал телогрейку, свой каракулевый пирожок, заматывал шею шарфом и с ведром шествовал в замороженный

туалет. Там сидел долго, курил, баба Дуня ехидно спрашивала через дверь, не отморозил ли он чего. Дед не находил нужным ругаться с женщиной. Больше доставалось нам с Витькой, когда мы возились на печке и бросались луковичками. Дед обзывал нас «шелудивыми и паршивыми», это было его самое страшное ругательство.

Самыми святыми были для него минуты, когда чёрный кружочек радиоточки передавал последние известия. Дед прислонял ладонь к уху, слушал. И упаси бог в это время помешать ему! Тем более, вести были хорошие, враг отступал, наши продвигались к Германии.

Мы с Витькой тоже не сидели без дела — помогали деду чистить снег во дворе, вытаскивать вёдра с золой, ходили в лавку за керосином, терпеливо отстаивали в очередях, когда «выбрасывали» мыло или масло или ещё какой-то дефицит: давали-то «на человека». И зорко следили, чтобы жульё не залезло к нам в пустой карман.

Правда, мелких жуликов «учили» на месте сами разъярённые бабы. С крупными бандитами из «чёрной кошки» мне близко сталкиваться не пришлось, хотя всё это существовало где-то рядом.

К нашим подселенцам приехала из Сибири их родная племянница, краснощёкая, высокая, с двумя большими чемоданами. Зачем приехала и что в чемоданах, нам было безразлично, ну прибавился ещё один человек на кухне, ну станет вонять ещё одна керосинка, делов-то!

Нам-то было безразлично, а другие, видать, по простоте души, интересовались, что приволокла «баба здоровенная». Особенно хотелось это узнать одному парню с чёлочкой из-под шапки. Он вертелся возле деда, который на переезде покупал у инвалидов махорку. Дед закурил, попробовал табак, одобрил и нехотя отвечал парню с чёлочкой, что в чемоданах кирпичи и гвозди. Парень стоял, соображая, потом крикнул вслед деду:

— Врёшь ты всё! Как же она это всё унесла? И зачем ей кирпичи?

— Должно, на продажу, — буркнул дед. — Продаст — корову купит.

Я потешался над глупым парнем, хотя и самому было интересно, что же привезла краснощёкая племянница. А привезла она, как выяснилось, домашние харчи: банки с солёными огурцами, помидорами, мочёные яблоки, варенье. Нас угощала от души, а подселенцы, озираясь, просили никому не говорить — мало ли что, люди всякие бывают. Вон какой-то под окнами ходит. Я узнал парня с чёлочкой, к которому подошли ещё двое и заговорили о чём-то, часто сплёвывая себе под ноги и украдкой бросая взгляды на наши окна. Дед сказал, что всё это ерунда, но в тот же день приделал к входной двери, в добавок к нынешнему, ещё один кованый крючок.

А ночью все услышали какой-то шорох за дверью. Подселенцы босиком на цыпочках прокрались к нам и шёпотом попросили спрятать их паспорта, чтобы бандиты не украли. Дед подошёл к двери, которую пытались по-тихому взломать. Папа прогнал всех из прихожей, мне велел лезть на печку, а сам встал перед дверью с ружьём в руках. Баба Дуня сказала, что надо бы из окна закричать, позвать народ, а я посоветовал папе зарядить оружие патронами с картечью, чтобы кучнее было. За дверью всё шуршали. Мне из маленького окошка за печкой хорошо была видна прихожая и папина тощая спина. Вот он взвёл оба курка, раздался щелчок,

и кто-то побежал вниз по лестнице, потом хлопнула уличная дверь. Мы, не включая свет, кинулись к окнам. Три тени пробежали по заснеженному тротуару и скрылись во тьме. Фонарей на улице не было, и взломщиков мы не разглядели. Дед откинул оба крючка, открыл дверь: внутренний, давно не действующий замок её был выломан.

— Спецы шелудивые, — усмехнулся дед. — Мои крючки открыть — это вам не по карманам шарить.

— Папа — сказал я, — у тебя двустволка, а их трое.

— А ещё приклад-то, — отвечал мой смелый папа.

В милицию мы не пошли, а в цехе папа рассказал товарищам, как он «на зайцев ночью охотился». Слушали сочувственно, особенно какой-то незнакомый парень с чёлочкой, который посоветовал в следующий раз стрелять через дверь. Я ходил и гордился папой, а он хвалил меня: вот какой молодец! Кто паспорта прячет, а кто советует, какими патронами заряжать.

Вечером мы отдали паспорта подселенцам, они от души благодарили папу и всех «за сочувствие» и угощали солёными огурцами. Пришли дядя Гриша с Витькой.

— Жалко, меня не было, — сказал дядя Гриша.

А бабушка посетовала, что такой хороший сон ей эти бандиты перебили. Я думал, ей Миша приснился. А она сказала, что видела шеночка, который к ней «так и ластился, так и ластился». И в этот самый момент кто-то по-хозяйски трижды позвонил. Краснощёкая племянница побледнела, папа встал, чтобы идти за ружьём, но бабушка смело, как будто ждала этих звонков, пошла к двери и распахнула её. На пороге стоял лётчик в заснеженной шинели. Старший лейтенант. Бабушка припала к нему и закричала:

— Шеночек ты мой ненаглядный, где же ты пропадал так долго?

Слёзный пир

Вечером у нас был пир. Подселенцы от души наложили чашку солёных помидоров и огурцов. Баба Дуня в честь такого праздника не стала возиться с вонючей керосинкой, а истопила русскую печь, напекла в ней ржаных лепёшек, приготовила топлёное молоко с жирной коричневой пенкой, нажарила картошки, которую собрали со своих соток. Их выделил завод, спасая от голода рабочих. Дед добыл из секретных закровов две бутылки водки. Дядя Володя дал нам с Витькой по прекрасной плитке шоколада, по половине которого мы слопали, остальные две половинки разделили на дольки и положили на стол.

Дядя Володя сидел в центре стола, пил водку, рассказывал о своих военных приключениях. Оказывается, он на грузовом планёре доставлял партизанам оружие и продовольствие. Потом вместе с ними жил в лесах, дрался с карателями, пускал под откос поезда. Мы слушали его, затаив дыхание. Краснощёкая племянница не сводила восторженных глаз с Володи, который вдруг надолго замолчал и через силу стал рассказывать про сожжённые деревни, повешенных местных жителей, малых детишек, пригвождённых вражескими штыками к земле.

Племянница побледнела, схватилась за щёки.

— Господи, господи! Разве это люди! — всхлипывала баба Дуня, а дядя Володя пил водку и почти не закусывал.

— Ничего, — говорил, хмелея, — зато потом мы им давали! Когда я в авиационный полк попал. Это после госпиталя. — Поперхнулся, посмотрел на бабу Дуню. — Да так, лёгкое ранение, ерунда. Знаешь, мам, как наши летуны говорили: грузим бомб, сколько возможно и сверх невозможного.

Дед заметил, что многовато сынок пить стал, раньше-то он в рот не брал. Дядя отвечал, что так уж получается. Собьют — друзья пьют за упокой, вернулся живой — все пьют за здравие. И обнял бабу Дуню:

— Обещаю вернуться только живым!

А я подумал, как в жизни всё переплетается: улица Партизан, Володя был у партизан, скорей бы появилась улица Победная.

Никто не спрашивал, на какой срок он приехал, словно опасались опять потерять его надолго. А дядя Володя потихоньку оттаивал в родном доме, заводил патефон и приплясывал под частушки. Мы с Витькой не отходили от него, рассматривали две его медали «За отвагу», орден Красной Звезды и ещё какой-то, видно, иностранный. Про Мишу не говорили, чтобы не расстроить, а он тоже молчал, чтобы не напоминать бабушке. Однажды, вытащив обойму из пистолета, дал нам с Витькой «пощёлкать».

— «ТТ», — определил братец, — хорошая машинка. А у нас тоже полно оружия, притащить?

Дядя сказал, что не надо, он устал до смерти от этого оружия, ему бы патефон и пластинки, и пивка хорошего. Когда пришла моя очередь «пострелять», я забрался на подоконник и начал «палить» по прохожим через стекло. Под «обстрел» попался знакомый парень с чёлочкой, ему тоже досталось. Он постоял в удивлении, потом побежал, пригнувшись. Беги, своим расскажи, какое у нас оружие!

Через десять дней дядя Володя собрался уезжать. Обещал теперь писать и приезжать часто, ведь скоро будет Победа. Я осмелился прочитать ему свой стих. Вообще-то начал писать стихи давно, но всё про весну, зелёные веточки, даже сказку «Вьюга» написал, учительница читала её вслух всему классу, всем понравилось. Но дяде Володе, боевому лётчику, хотелось сказать что-то другое. Вот что получилось:

Скоро будет нам Победа.
И тогда вздохнёт народ.
Только Миша не приедет,
Только Миша не придёт.

Дядя Володя потрепал меня по волосам, поднял под мышки, поцеловал и сказал, что он обязательно приедет или, в крайнем случае, придёт, и всё будет хорошо, и велел мне одеваться, чтобы проводить его до поезда.

Вся Партизанка всё знала про всех, каждый сосед норовил встретить дядю Володю по дороге и пожелать ему счастливого пути. Каждая соседка долго смотрела вслед, а инвалиды на переезде насыпали ему полный карман махры, хотя он и не курил. И это знали «партизанские», сказали:

«Друзьям отдашь». Некурящий дядя Володя вытащил из кармана пачку «Казбека», угостил инвалидов, с которыми когда-то Мишка и Гришка играли в футбол, те попробовали и сказали, что их махра «крепче забирает». Мы дошли до станции, дядя сел в вагон, махнул мне рукой, и поезд тронулся.

Я обернулся и увидел невдалеке своих «партизанских» мальчишек, которые, оказывается, потихоньку шли за нами, тоже провожая офицера на фронт. Спросили, буду ли я кататься сегодня. Буду! Всей гурьбой пошли к моему дому, там и Витька стоял, уже на коньках, прикрученных верёвками к валенкам. Я тоже мигом прикрутил к валенкам мои коньки, дутые «гаги». Вышел на улицу. Такой куче не страшны никакие чужие пацаны. Можно ехать хоть куда, лишь бы льда хватило. А во льду была тогда вся Партизанка, машины в те времена по ней ездили мало, и каждую мы ждали, притаившись за тополями. Это был верх отваги: успеть прицепиться за борт грузовика железным крючком и доехать до переезда или до проходных. Но напрасно мы прождали целых полчаса, а то и больше — грузовых машин не было, а за легковую даже отчаянный Витька не уцепится. Мы уже начали сами леденеть.

— А если нам через шоссежку махнуть? — предложил мой братец. — И к бабушке Анюте? У неё в погребке такие яблочки.

К бабушке Анюте мы с Витькой ходили часто. Это была моя вторая бабушка, которая жила с моим вторым дедушкой Иваном за шоссе, на улице Колёсной. Она никогда не отпускала нас без угощения, давала яблоки или вишни. Но Витька и я — это двое, а хватит ли у бабушки Анюты харчей на столько ртов? Отступить было поздно и позорно. Я сказал, пожал плечом, «поехали», и мы тронулись. Сперва скользили по льду до переезда, шагали через рельсы, потом скребли коньками по шоссежке, брели, согреваясь, по сугробам улицы Колёсной, и вот оно, крыльцо уютного домика с длинной ручкой звонка. Пока остальные переводили дух, Витька первым взбежал по ступеням и стал дёргать эту ручку. За дверью глухо задребезжал колокольчик. Через минуту послышалось: «Иду, иду!». И на крыльцо вышла маленькая круглолицая, как с картинки, старушка. Сразу заплескала ручками:

— Замёрзли, застыли, господа! Заходите скорей!

Краснощёкие «застывшие» прошли в сени, которых не видели многие наши парни. Одна дверь вела в комнаты, три другие — в чуланчики, где в ларях раньше хранились мука и крупы, а теперь — всякое барахло. Над дверью в комнате висела тёмная икона и горела лампадка. Я первым снял валенки с коньками и в носках прошёл в комнаты, за мной протиснулись мои товарищи, кто босиком, кто в драных носках. В доме было тепло, пахло яблоками. Я велел своим раздеваться и первым снял пальто и шапку, повесив всё это возле двери на вешалку. Мальчишки сделали то же самое, кое-как прицепив свои пальтишки.

— Садитесь за стол, я сейчас, — крикнула из крохотной кухни бабушка Анюта.

Мы уселись за полукруглый большой стол — кто на тонконогий, ненадёжный с виду диванчик, кто на старинные выгнутые стулья. Витька устроился в кресле, которое жалобно скрипнуло, предупреждая о своём возрасте. Ребята, спрятав под стол ноги, стали оглядываться. Всё в доме

было как из музея: диванчик, пузатый буфет, старинные часы, степенные, не похожие на быстрые ходики деда Андрея. Мальчишки даже испугались, когда часы пробили два раза, и звон долго ещё колебался в воздухе.

Я бывал у моих товарищей в их тесных грязноватых коммуналках с самодельными шкафами, со сбитыми неуклюжими табуретками и понимал, что они переживают сейчас. Смотрят испуганно, спрашивают шёпотом: а сколько комнат-то и где народ? Комнат было целых три, как и у деда Андрея. Из шестерых детей здесь живёт одна младшая, Соня, тихая, незаметная тётка моя, остальные девчата разъехались, а из двоих парней один, дядя Петя, воюет, другой, мой папа, вкалывает в «чугунке». Подселённых в частном доме нет. Тишина и покой.

Прошёл и вежливо поздоровался дед Иван, так похожий на папу. В соседней комнате шушрала страничками учебника его дочка, отличница Соня. В семье Леоновых все шестеро детей выучились, осталось Соне получить высшее образование. Семья-то большая, а «всего мужиков-то» — один дед Иван, молчаливый и кроткий человек с добрыми глазами. Он своими руками и дом построил, и сарай, и забор. Работал на Коломзаводе клепальщиком, кузнецом (от железного звона стал глуховат), потом мастером, успел по доносу побывать на допросах, лишиться зубов и потом вкалывал чёрт знает где, на соляных копях. О своих злоключениях он никому никогда не рассказывал, я гораздо позже узнал его историю от папы. Сейчас дед Иван трудится слесарем на заводе, и дома все работы на нём: летом траву корове косит, сено готовит на зиму. Скотина в сарае стоит, иногда по снегу гуляет. Бабушка Аня всеми командует и управляет и вкусно готовит из скудных запасов, угощая своих и чужих.

Соня вышла и как-то по-старинному негромко поздоровалась с мальчишками:

— Здравствуйте. Соня.

Мои пацаны что-то пробубнили в ответ. Соня улыбнулась и ушла в свою комнату. Если бы кто тогда знал, какая необыкновенная эта девушка! После ареста отца они с сестрой Татьяной поехали на приём к Всесоюзному старосте Калинину, он принял их, и деда освободили, сняв с него грозные обвинения. Это я тоже узнал очень-очень поздно, когда многие герои моего повествования уже ушли из нашего мира.

— Проголодались, небось! — приговаривала бабушка, ставя перед нами на стол полную вазу сушёных яблок и сухарики из чёрного хлеба. Спросила, кто будет мыть руки. Ребята замотали головами и вытерли ладони о рубахи.

— Приятного аппетита! — пожелала бабушка Аня и вышла, чтобы не смущать голодных.

Старинная ваза мигом опустела, от сухариков остались одни крошки, которые Витька собрал в ладонь и съел. Мы поднялись, хотя не хотелось уходить из тёплого дома, где так сладко пахло сушёными яблоками и веяло покоем и лаской. Витька посмотрел на тёмную икону, что висела в углу перед лампадой, и серьёзно сказал:

— Огромное вам спасибо!

И все мальчишки, пятясь из комнаты, тоже сказали «спасибо», на что бабушка Аня отвечала:

— На здоровье!

Когда мы оделись и обулись, бабушка Анюта сунула каждому в карман по яблоку — «на дорожку» и проводила нас на крыльцо, где было холодно и шёл снег.

— В дом, в дом идите, простудитесь! — испугался Витька, но она дождалась, пока конькобежцы сошли с крыльца и зашагали по сугробам.

Бабушка ушла, а мы ещё все оборачивались и увидели, как вышел дед Иван расчищать дорожку от дома.

— Вот сволочи! — сказал Витька. — Нажрались от пуза, а помочь старику не догадались.

Сытым домой идти не хотелось, кататься тоже. Мы уселись на деревянные ступени под большим портретом Сталина у переезда, это было наше место. Под Лениным обычно отдыхали парни с другого конца Партизанки. Доели яблоки, захотелось чего-то высокого. «Подвиг разведчика» мы уже по два раза смотрели, да и денег всё равно нет. Меня всегда выручала баба Дуня, отдавая из своего кошелёчка с шариками-защёлками последний рубль, но и кошелёчек был пуст, а просить у мамы не хотелось: она стала какая-то нервная, видно, из-за этих подселённых или «чёрной кошки», а, вернее, из-за денег и продуктов, которых вечно не хватало. Может, и дала бы, но сперва отругала бы за грязные руки или дырку на штанах.

— Расскажи случай, — попросили меня ребята, но все случаи, которые я рассказал или придумал — как в Харькове в самолёте труп фашиста обнаружил, как с дядей Володей жулика подстрелили из автомата, как в степи кобру ловили, как с папой волков били и на дрофе катались, — короче, всё уже было рассказано, а новое на ум не шло. Ребята наседали. Ладно, будет вам «случай». И я начал плести, как однажды рано утром зашёл в наш магазин, а там уже карточки отменили, и все прилавки завалены мылом, конфетами, колбасой, печеньем и мороженым. «Бери, говорят, всё так, задаром, денег по случаю нашей скорой победы уже не надо».

— И ты?! — встрепенулся Витька. — Целые карманы набил, да?

— Нет. Я проснулся и ничего не успел взять.

— Вот болван! — рассердился братец. — Я бы не растерялся! Я бы мыла целых пять кусков схватил и конфет «подушечек» карман!

Ребята посмеялись и разошлись задумчивые: наверное, представляли этот магазин — без карточек, очередей и давок за всем, что «выбросили» и что «дают».

Потом мне такие «случаи» рассказывали Леоновы, что вовек не забудешь: как тётя Таня, молодая учительница, приехавшая в Сибирь по распределению, вместо школы попала на лесосплав, по скользким брёвнам прыгала с длинным шестом, расталкивая заторы; как её подружки соскальзывали с этих брёвен в ледяную воду, и спасти их было невозможно. Как муж тёти Лёли в первые дни войны был убит, и ей прислали его окровавленный белый морской китель. Как дядя Петя с бандами на Западной Украине боролся, выкуривал их из схронов, как товарищи его подрывались на хитрых минах. И только тихий дед Иван ничего никому не рассказывал, не хотел, наверно, расстраивать.

Да и вообще весь народ бабушки Анюты был немногословен, но начитан. Я книги у Сони в этажерке все перечитал. Правда, они были без картинок, но зато интересные. Фамилии авторов я уже знал по школьным программам, а некоторых и до того, как, например, Гоголя. Его запомнил

не только из-за чудной фамилии, но и из-за рассказов про чертей и ведьм. Чехов нравился потому, что писал кратко и смешно. С Достоевским сложнее: фамилию-то запомнил, а вот «Преступление и наказание» читал с трудом, перескакивая все рассуждения и душевные метания, ожидая, когда же убийцу наконец поймают. Спросил про это Соню, она кратко, но доходчиво всё объяснила. «Умная», — зауважал я тётю.

Такая же умная была и тётя Оля, которую все звали почему-то Лёля. С её дочкой Тamarой у нас были хорошие, приятельские отношения: вместе рвали яблоки и малину в саду у бабушки Анюты, попробовали наш, русский, паслён — горечь несусветная. Сын тётки Лёли, Борис, с нами ни в карты, ни в лото не играл — слишком был взрослым. Судьба его трагична — попал паренёк под грузовую машину, катаясь на велосипеде. И машин-то было мало, а нате вам — попал. Вот тебе и «случай» проклятый!

Но это будет потом, а пока дети и внуки бабушки Анюты ещё живы, живут дружно, хоть и голодно, стараясь подарить друг другу радости. Тётя Лёля подарила мне книгу, с которой я не расставался всю жизнь, читал и перечитывал от корки до корки, с каждым годом делая всё новые и новые открытия. Это были избранные произведения Пушкина, которые я начал осваивать ещё до войны с «Песни о вещем Олеге», выученной в далёком сорок первом году. Спасибо судьбе и моим родным, что начал чтение с умных книг, а не с дамских романов. Да и книг в магазинах было мало, потому, каждая так и ценилась. Спасала небольшая заводская библиотека, которая тоже не изобиловала фондами. Поэтому каждую купленную или подаренную книжку я старательно устанавливал на моей этажерке, читал её, а самые яркие «случаи» пересказывал друзьям.

Не один, не два, а десятки раз перечитывал я найденную на заснеженной харьковской тропинке книжку неведомого ленинградского бойца. До сих пор многие стихи, может, и не совсем удачные, но очень искренние, помню наизусть. Иные читал Витьке, тот восхищался, говорил, что я сочиняю так же здорово. Если бы!

Запомнился Новый год на Партизанке. Вместо пыльного куста перекати-поля дед установил купленную им на рынке пушистую, только что срубленную ель. Мама разложила на кровати игрушки, которые поехали с нами по свету, и стала наряжать лесную красавицу. Нам с Витькой доверяла лишь «служить на посылках», подавая ей только картонные и ватные игрушки, за стеклянными каждый раз спускалась с табуретки сама. Ёлка истекала смолой, дышала, в комнатах запахло так, что подселённые высовывались, вертели головой и ахали. Им дали где-то другую комнату, и они уезжали от нас вместе с краснощёкой племянницей, которая грустно говорила, как ей жалко расставаться с нами. На это мама с табуретки весело отвечала:

— А уж нам-то каково!

Ёлку нарядили, приладили лампочки — большую редкость по тем временам, и стали ждать гостей. Из Егорьевска приехала тётя Гриппа с Юлей и Валерой. Они несли какие-то сумки, которые обещали раскрыть на Новый год.

— А Эмма? — спросил я, и Витька ехидно прищурился: это что ещё за Эмма?

Тётя Гриппа таинственно сообщила, что «эта гражданка тоже может в скором времени пожаловать». Когда же придёт это «скорое время?»

Спросил, что известно про Розу, и опять Витька прищурился: какая там ещё Роза, сколько женщин у старшего брата? Тётя Гриппа сказала, что Роза приехала с ними в Егорьевск, работает в школе, учит ребят и передаёт Владиславу Николаевичу большущий привет и огромное спасибо за всё.

— За какое ещё «всё»? — открыл рот Витька. — Что он там, в степи глухой, успел натворить?

Тётя Гриппа обещала рассказать «про всех наших» потом, после двенадцати — это будет подарком для всех.

Тем временем мама вымыла комнату подселенцев и ушла туда с другой «перемалывать новости», как выразился сердитый Витька. Сердитый потому, что сам нацелился поиграть в пустой комнате в войну. Можно, сказал, поиграть и в дедовой комнате, но там ёлка, под ёлкой дед у своего радио, а на печке нам уже не развернуться. Пришёл дядя Гриша (тоже с сумкой!), уселся в уголке, изредка покашливая в платок. Жена его где-то дежурила, да и вообще мы редко видели её. «Бойтся заразиться! С батей не спит», — пояснил мне грустный Витька.

Но вот наконец свершилось! Накрытый стол, на столе бутылки с ситро (маловато), конфеты в вазочке (совсем есть нечего), солёные огурцы, жареная картошка, рыжая селёдка, пирожки с капустой, соевые пряники (недавно у магазина продавали с лотка), какая-то зелень и краснень (салат, говорят), ещё что-то по мелочи, бутылки с водкой и вином не в счёт.

Ну, сели, устались на дедовы ходики с мавзолеем, радио, как на грех, заткнулось, и мы сверяли Новый год с ходиками. В двенадцать все вскочили, начали чокайся, загадывать желание, выпивать. Бабушка и мама поплакали. Дед сказал:

— Тихо, товарищи! Предлагаю выпить за нашу армию, за скорую победу и за возвращение всех воинов домой. — Посмотрел на бабу Дуню: — И чтобы всех павших героев помнил народ вечно!

— Так и будет! — сказал Витька, чокаясь с дедом. — А вы, граждане, долго нас томить будете? Скоро уж утро.

И женщины наконец-то раскрыли свои сумки. Тётя Гриппа подарила мне моего же, егорьевского, плюшевого медведя с шоколадкой в лапах. Сказала, что отдала его жильцы нашей бывшей комнаты и просили передать большой привет Владиславу Леонову. Я пожал плечами — откуда кому-то знать Леонова, да ещё Владислава?

— Боря Шкарбан,— только и сказала тётя Гриппа, и я сразу вскочил. — Его комиссовали после ранения, дали вашу комнату, где он с Эммой и живёт. Они тебе письмо прислали. А Васька с Фросей устно передают всем привет и всё такое, как водится.

Да, писаки они плохие, особенно Васька, лохматый добрый человек. Я взял старого плюшевого друга, отдал шоколадку Витьке, сам пошёл в пустую комнату и стал читать письмо, которое только мне и предназначено. Много в нём хороших пожеланий, много весёлых воспоминаний о нашей жизни в казахстанских степях. Писала, конечно же, Эмма, это её четкий, ровный почерк. Я тут же написал в ответ несколько строк: «Боря и Эмма! Спасибо за подарки! Ждём в гости. Прихватите с собой и Ваську. Адрес на конверте! Ваш друг и товарищ В. Леонов! Ей-богу, ждём!!!»

Отдал письмо тётке Гриппе, и у меня уже не стало такого интереса к другим подаркам, которыми одаривали нас родные: к конфеткам, орехам, зайцам, пистолетам, поцелуям, объятиям. Взрослые дарили друг другу всякую мелочь, с особым трепетом принималось мыло — и хозяйственное, и пахучее «туалетное». В нашем магазине за этим «туалетным» всегда давились. Оно и понятно: без мыла ни помыться, ни постираться.

Только у будущей моей тётки в деревне давки не было, потому что и мыла не было вовсе. Руки летом мыли цветком мыльником, а стирала Настёнка золой, замачивая её в воде и называя «щёлком».

Все взрослые с удовольствием рассматривали сероватые мыльные кушочки, а ребята — подарки. Только Валера с недоумением смотрел на свой игрушечный пистолетик, кем-то из наших подаренный. Витька в одной рубахе со свечкой сбегал в дедов сарай, притащил заиндевелую половину «шмайссера» и торжественно вручил Валере.

— А мне? — насмешливо сказала Юля, которой кто-то подарил куклу с бантиком на голове, и Юля небрежно держала её за руку.

Витька помялся, он не умел разговаривать с девчонками, но нашёлся, стервец:

— Вам, сударыня, я дарю своё сердце!

— Спасибо, это лучший подарок к Новому году! — серьёзно сказала Юля.

Завели патефон. Взрослые притихли, стали слушать музыку. Дядя Гриша бросил Витьке мяч, настоящий, футбольный, хоть с небольшой заплаткой, зато крепко накачанный. Мы пошли с ребятами в пустую комнату попробовать мяч. Тихонько поиграли в волейбол, не ведая, что пройдёт время, и мы с Витькой будем провожать нашу гостью, взрослую девушку Юлю, и покупать ей на станции Голутвин пирожки с повидлом. Поезд тронется, и Витька со вздохом признается мне, что ему так «нравится эта девушка».

— Ну и сказал бы ей, — пожму я плечами. А он ответит, что боялся «мне навредить». Чудной, хороший мой братец Витька.

Весна победная, гости чудесные

Весна в Коломну пришла бурная и торопливая. Вспухли на полях снега, и потекли ручьи по всем канавкам, набирая силу и сливаясь в мутные потоки. Хлынул такой поток в тоннель под железной дорогой, который люди превратили за зиму в отхожее место и назвали «трубой». Вода смыла всё, что натащил народ, и унесла в реку Москву, которая пенилась и шумела неподалёку от наших домов, разливаясь до горизонта. Понтонный разводной мост давно был привязан к берегу, а то пришлось бы его ловить на синей Оке, куда впадала грязная коричневая Москва-река. Рабочих на завод перевозили катером, бабок и мальчишек переправляли пьяные перевозчики на старых лодках, которые частенько переворачивались под напором волн и ветра.

Вода спадала, входила в липкие свои берега, оставляя на полях ил и коряги. Солнце пригревало, и мой город превращался в зелёную деревню, особенно заметную на окраинах. По Партизанке гуляли куры,

помеченные разными чернилами, пели петухи, а на Колёсной у бабушки Анюты паслись коровы, козы и гуси. Дед Иван свою бурёнку водил поближе к реке, где трава была погуще.

* * *

В эту же весну Настёнка из деревни перебралась в город, сняла там угол в частном доме на берегу Оки, перевезла детей. Младшая, Тонечка, стала жить пока у маминой сестры, а сама Настёнка устроилась уборщицей в детский садик. И ещё один подвиг на её счету. Тёща в то голодное время привела в город своё единственное достояние — корову. Именно привела, с зарёй шагая по лугам и перелескам, ночуя у совершенно незнакомых людей, таких же, как она, горемычных солдаток, которые и пускали и делились последним куском. Она привела свою драгоценную скотину к сестре, у которой жила Тонечка, с трудом затолкала в подвал двухэтажного дома; не привыкла корова спускаться по ступеням, жалобно мычала, прощаясь с солнышком. Настёнка выводила её пастись, благо по канавам росла густая трава, а потом — опять в подвал, в сырость, в запахи. И ведь не кричали соседи, не грозилась милицией, все понимали всех. Это весна меняла людей, или люди менялись в трудную годину — кто знает. Только со временем Настёнка за малые деньги продала свою корову на волю, в деревню, пожалев её и пожелав ей счастливой жизни. Расставание было горьким.

* * *

А у нас был праздник — пошла вода, оттаяла канализация, и дед теперь ходил в туалет без ведра, однако по привычке в телогрейке и шапке, шарф, правда, снял. Как приятно стало умываться над раковиной, чистить зубы, не экономить воду и не слышать дедовых ворчаній насчёт «гусей водяных, плескучих». Полным ходом заработали все заводские бани: мы с дедом любили ходить в железнодорожную, небольшую и чистую. Другой народ валом валил в коломзаводскую, где открылись парикмахерская и буфет с пивом и прохладительными напитками.

Помню пасхальные дни. Женщин с куличами, закрытыми чистыми тряпочками. Они шли мимо нашего дома по краю железной дороги к единственно действующей церкви в округе. Витька потащил меня в церковь «ради интереса», а не для молитвы. Если бы дед узнал, он бы нас изругал: не за то они боролись, чтобы!.. Тогда многие были атеистами. Это, наверно, выгодно: ведь безбожникам не так страшно ругаться, драться, воровать. В церкви было полно народа, в основном женщины. Они слушали попа, крестились, и лица у них были не такие озабоченные, как на улице, а ожидающие какие-то, смягчённые.

Отмечать пасху (мама говорила «весну») мы ходили к бабушке Анюте, только она умела печь такой вкусный кулич и готовить сладкую творожную пасху. Подавая вкусности на стол, торжественно предупреждала: «освящённая». Папа ел и похваливал, мама тоже хвалила, добавляя, что «надо бы побольше песочку». Дед Иван помалкивал, а мне и Соне хвалить было некогда — успевай челюстями работать.

Весна разрасталась. Ребята забросили свои коньки и лыжи и катались на самодельных деревянных самокатах с подшипниками вместо колёс по всем тротуарам Партизанки, где пока ещё остался асфальт: на главной дороге он был выбит вчистую. Триск стоял под окнами наших домиков, но к нему привыкли: ведь на таких же подшипниках передвигались на своих тележках безногие солдаты.

Хотелось бы мне посмотреть, как на наших самокатах мы проедем по пыльной казахстанской дороге! Витька тоже захотел самокат, на детском трёхколёсном велосипеде ему, такому парню, было уже совестно, да и колёнки упирались в руль. Мне самокат смастерил дед, а Витьке — дядя Гриша. И стояли они и смотрели из-под ладони, как мы осваиваем этот транспорт, частенько падая и кровавая колени и локти. Дядя Гриша тоже попробовал проехаться — получилось!

— У тебя же практика! — кричал Витька, морщась от боли в коленке.

— Конечно, — усмехался дядя Гриша. — Я на самокате за фрицами гонялся! Учись на этом ездить, подрастёшь — я тебе свой велосипед соберу. Нет, не сейчас! Сейчас ты до педалей не достанешь! И не ной. Точка!

Спорить с дядькой было бесполезно. Витька это знал и принялся с азартом осваивать самокат. Первым делом он приладил к рулю звонок от отца велосипеда и звонил по поводу и без, пугая местных девчонок, которые не очень-то пугались и грозились догнать и оборвать братцу «все уши». Зато двух чужих Витька действительно напугал.

В нашей бане был женский день, и шли эти девчонки, наверное, туда. Одна, постарше, с тёмными волосами, другая, совсем ещё маленькая, — с пушистой светлой головкой — ну прямо одуванчик на стройных ножках. Витька, приподняв самокат, подбежал к ним сзади и зазвонил. Одуванчик упал, ушиб колёнки, старшая девочка бросилась её поднимать, а она смотрела на нас испуганными голубыми глазами и не плакала.

Пока старшая гналась за Витькой, норовя огреть его сумкой по голове, я успокаивал светленькую, тихонько глядя её удивительно мягкие волосы. На девочке было старенькое, но чистое платьице и сандалики, как у меня в детстве, все запылённые. Колёнки у неё были не раз содраны: заживали, болячки отваливались, — это видно по белым пятнам на загорелых ножках.

— Ну что с него возьмёшь? Мальчишка! — говорил я ей, и она робко кивала.

А старшая, размахивая сумкой, сердито костерила всех «партизанских» дураков-парней, «которые не дают прохода».

Кто же знал тогда, что эта светленькая девочка через пятнадцать лет станет моей женой, с которой мы проживём не один десяток годков, лёгких и не очень, но, в общем-то, счастливых. Кто же ведал, что тогда увидеть её мне выпадет ещё только раз, зимой, когда из Коломны будут отправлять в Германию (а может, и в лагерь) пленных немцев, которые работали в городе, на заводах и стройках. Немцы шли в своих ненавистных шинелях и в русских шапках, таща какие-то пожитки. Один из них жестами попросил девочку с санками одолжить ему эти санки, чтобы довести до станции свои вещи. Девочка испугалась и побежала к дому. Я узнал её, чуть подросшую, но такую же тоненькую и светлую, с удивительно чистым взглядом голубых глаз.

— Испугалась? — спросил я, гадая, узнала она меня или нет. — Чего их теперь бояться? Они же пленные, без пушек, не такие страшные, как раньше.

— Да, они папу моего убили! Санки просят, а сами меня к себе утащат, в Германию! — неожиданно сердито отвечала мне она, видно, не узнав.

Но это будет потом, а сейчас мы с братом осваивали свои самокаты и до того доосваивались, что Витька ездил на них и по песку, и по камням, и в один памятный день проехали мы через весь город, дотарахтев аж до дедова картофельного поля. Там были уже все наши с тележкой, картошкой и лопатами. Раньше Витька поехал бы на тележке, но сейчас у него был свой транспорт, пускай крепко побитый и помятый, зато со звонком.

Было солнечно и тепло. Дед Андрей и дядя Гриша поднимали на лопатах комья вспаханной сухой земли (пауки и мыши из-под них не выбегали), а мама и мы с Витькой бросали в ямки картошку. Это называлось «сажать под лопату». Бабушку не взяли — пускай отдыхает. А папа, как всегда, был в своей «чугунке».

Вчера они с дядей Гришей долго разговаривали о заводе и новых заказах. Папа сказал, что велено ремонт танков, самоходок и прочей боевой техники прекратить, а все силы бросить на паровозы. «Конечно, страна разорена, железные дороги разбиты, нужны паровозы и паровозы, причём новые, мощные», — сказал тогда дядя Гриша и пожалел, что сам не сможет теперь работать, как раньше. А потом они с папой стояли у окна, из которого хорошо просматриваются все поезда, и рассуждали о том, что по этим поездам видно: скоро конец войне. То шли эшелоны с танками и пушками — на фронт, на фронт, а теперь всё больше битой фашистской техники — на «чермет», на «чермет», на переплавку.

«Да когда же будет эта победа? — думал я, бросая картошку за картошкой, — когда перестанут убивать и калечить? И дядя Володя ничего опять не пишет».

Вдруг на всех наших заводах — на Коломенском, Бочмановском, на бывшей «патефонке», на Шуровском цементном, что за рекой, толсто, тонко иль хрипловато заревели гудки, которые мы узнаём по голосу. Гудки были не утренние, не вечерние, не обеденные, а какие-то несвоевременные. И «кукушки» у депо подали тоненькие голоса, и грузовики на шоссе откликнулись. Дед и дядя Гриша бросили лопаты.

— Дождались, — сказал дядька, — а вон и мама бежит.

Пряником через поле бежала баба Дуня, размахивая руками. Подбежала, отдышалась и, плача, стала говорить одно только слово:

— Радио, радио!

Так встретили мы День нашей великой Победы, за которую заплачена такая неподъёмная, необъёмная цена. Перецеловались родные и соседи по соткам, сбросились по рублику, по три, женщин помоложе отправили в ближний магазин. Картошку всё-таки добросали, поле програбили и тут же, на травке, сели дожидаться посланцев. Пока те, задыхаясь и перебивая друг друга, не сообщили всё, что сказал и повторил репродуктор у магазина, дед Андрей разливать водку не стал. А выслушав, глубоко вздохнул и начал наливать в стаканы, кружки, чашки — во всё, что принесли с собой «на картошку» люди. Не забыли женщины и про мальчишек, которые обступили разложенные на газете селёдки и огурцы, и малые кусочки

чёрствого хлеба, и конфетки «подушечки», и соевые пряники, и ранний щавель с собственного огорода, и сидро в бутылках. А водка нам была неинтересна, хоть совсем она пропади.

Женщины выпили, закусили чем бог послал, всплакнули и запели: «На позицию девушка провожала бойца...» Дед Андрей и дядя Гриша слушали, глядя в землю. У бабы Дуни оказался такой молодой и чистый голос, что какая-то соседка по соткам сказала:

— Сердцем ты поёшь, женщина.

Я пригляделся: и действительно, никакая она не старушка, а пожилая женщина «со следами былой красоты». Это я вычитал откуда-то. Вот бабушка Аня — та бабушка: старенькая, шустренькая, добренькая. Баба Дуня не шустрая — степенная такая, не говорливая. Дядя Гриша нагнулся к моему уху:

— Знаешь, какие мы с ней до войны песни пели в два голоса — заслушаешься.

А дед Андрей вздохнул и добавил:

— А как Дуняша в хороводе плясала? До революции. Заглядишься...

Начались дни золотые. Во-первых — Победа. Потом — каникулы: мы с Витькой перешли в четвёртый и третий классы, кто с отличием, кто без двоек. Начали возвращаться солдаты с фронта, в основном молодые. Для них устроили в клубе вечер, на котором выступали школьники. Витька и я читали стихи про войну, девчата пели про любовь и верность. Потом в фойе все танцевали, и мне вдруг захотелось вот так же легко закружиться с той вон красивой девушкой, да Витька тянет на улицу: пойдём да пойдём, на самокатах прокатимся. Дались ему эти самокаты! То ли дело быть взрослым, героем, с орденами на груди и кружиться в вальсе с подругой. А самокат — это детство, глупости, слюни. Лучше уж книжку почитать!

С книгой хорошо сидеть у бабушки Аняты: там тихо, и никто под окном не кричит: «Владька, выходи гулять!» Недавно я разыскал в чулане у бабушки подшивку старых журналов с царями и священниками на первых страницах, с рассказами о катастрофах в середине и с рекламой духов, корсетов, юбок и причёсок в конце. Здесь я впервые прочитал про гибель «Титаника», с рисунками, рассказами спасённых и комментариями учёных. Одни писали, что дамы тонули из-за узких юбок, другие предполагали, что судно из-за большого давления не опустится на дно, а повиснет где-то посередине океана, третьи винили революционных бомбистов с их бомбами. Всё это было очень интересно, а ещё интересней были рассказы бабушки Аняты про «прежнюю жизнь», когда всё стоило копейки, а в лавке Василь Иванович отпускал всем и в долг, а детям давал даром леденцы. Бабушка помнила всех коломенских купцов, честных и порядочных, а совсем не таких, какими их рисовали потом злые люди. Когда рядом оказывался дед Иван, бабушка замолкала, а однажды сказала со злостью, глядя в его тощую спину:

— У, чёрт длинный.

Этих слов, этого взгляда было довольно, чтобы понять, как бабушка относится к деду. Но почему, за что? Особенно бабушка Анята залютовала, когда в сарае между стенками обнаружился клад с царскими бумажными деньгами и керенками. Она сказала только — «эх, отец, отец! Эти бы деньги, да в то время», и совсем перестала замечать деда Ивана, хотя

вовсе не он прятал эти сокровища. Всё объяснил мой папа: оказывается, бабушка Анюта любила другого человека, но его отец запросил солидное приданое. И тогда жадный папаша Анюты, богатый мельник, владелец маслобойки, недолго думая, выдал её, шестнадцатилетнюю, за Ивана, который брал бабушку без приданого, просто так, потому что любил. Вот она, любовь-то, что делает, проклятая! После этого я старался больше общаться с дедом Иваном, расспрашивать, о заводе, о работе. Но он вдруг стал вспоминать о деревне, о друзьях, с которыми учился в приходской школе, рыбачил, за грибами ходил, птиц ловил. Говорил, какой в деревне воздух, «густой и травами сдобрен». Я слушал и понимал, что совсем не знаю своего деда Ивана, фамилию которого ношу.

С дедом Андреем мы сдружились в работе. Вместе таскали торф в дом, разбивали модели, которые папа привозил с завода на дрова, вместе ремонтировали палисадник, помогали рабочим устанавливать долгожданный забор и ворота, у которых он велел поставить лавочку и первым уселся на неё, проверяя, крепко ли врыты столбы. И помаленьку дед начинал рассказывать мне «случаи» из своей боевой жизни: как с басмачами дрался, дезертиров расстреливал, с кулаками боролся, с лодырями на заводе воевал. Он ни на минуту не сомневался, что поступал правильно, во имя родины и во славу партии.

Вместе мы слушали радио и ждали Володю, который что-то совсем «завоевался». И он приехал, хотя щеночек бабе Дуне в этот день не приснился. Сказал, что надо ещё «кое-какие дела доделать и кое с кем разобраться». А пока он будет гулять и отдыхать целую неделю. И гулял, и меня брал с собой по всяким забегаловкам, называя каждую чайханой.

Раз пошли на Оку — моя любимая коричневая Москва-река, что в двух шагах от дома, его не прельстила. Познакомились с девушкой, взяла лодку напрокат, стали загорать и кататься. Они всё болтали, а я со скуки залез в воду и ехал, прицепившись за корму, болтая ногами в воде. Плавал я ещё неважно, но решил попробовать и отцепился от лодки. Дно-то достал, но вода оказалась мне по глаза. Видеть-то я видел, но орать «тону» не мог, да и не стал бы при даме, которая сидела ко мне спиной и загораживала дядьку. Я только подпрыгивал, хватал воздух и опять опускался. Так продолжалось до тех пор, пока дама не обернулась и не завизжала, увидев меня далеко от лодки. Володя мгновенно нырнул, обдав её брызгами, и поплыл ко мне. Когда вытолкнул меня на мель, я сказал, что нечего было спешить, я бы продержался. Дама сразу захотела «до дому». Мы, быстренько проводив её, приехали к себе, и Володя, молодец, ничего никому не сказал. Только налил мне пива, горькую отраву, и предложил выпить «за второе рождение». Да я и за третьё такую гадость пить не стал бы.

Володя уехал, но обещал быстренько вернуться.

Когда мы узнали о войне с Японией, то поняли, с кем Володя хотел разобраться, и очень забеспокоились: война-то, в общем, кончилась, зачем ещё какая-то Япония втёрлась?

Володя приехал не скоро, может быть, через год, под осень, и не один, а с женой и двумя грудными детьми. Всю встречу, с охами и ахами, мы с дедом Андреем пропустили, так как были в Москве на трофейной выставке. Но сначала дед поставил меня в длинную очередь к мавзолею.

Всё мне было в новинку: Красная площадь, застывшие часовые у дверей мавзолея, часы на Спасской башне и лица людей — торжественные, одухотворённые, такие я видел у киношных героев и у бабушек в церкви, куда Витька затащил меня на пасху «ради интереса». Интересы я не помню, а лица запомнил. В них надежда была, как и здесь. Помню, как спускались, поднимались по лестницам, и наконец, в мёртвой тишине, где слышно было только сдержанное дыхание людей и лёгкое, тоже, видно, сдерживаемое шарканье подошв, я увидел в неярком свете Ленина с рыжеватой бородкой. Дед Андрей позади меня засопел, и часовой у гроба грозно на него глянул. «Вы и Ленина видели?» — вспомнил я слова молодого лейтенанта в харьковском поезде. Теперь и я видел.

Потом мы пошли к матери Вани Маркова, уже старенькой и больной. Переночевали, а с утра поехали на выставку вражеского оружия и обмундирования. Ничего нового. Такие же пушки и танки, правда, разбитые, я видел на платформах возле нашего «чермета». Интереснее было прислушиваться к разговору военных, особенно очень молодых, которые в пух и прах громили плохие немецкие пушки и устаревшие танки.

— Которые до Москвы доехали, пока их ваши отцы не остановили! — рассердился дед Андрей, и зелёные воины притихли.

Дед тоже без особого интереса обежал половину выставки и заторопился домой. В поезде он всю дорогу молчал, наверное, вспоминал свою боевую молодость, бои в Бухаре, товарища Фрунзе, а может, и самого Сталина — кто его знает. Спрашивать в такие минуты не нужно, пускай сам растает и отойдёт душой.

Дома нас встретило столпотворение: плач двух младенцев, беготня с бутылками и сосками, чужая красивая женщина, дядя Гриша, Витька, мама и даже папа, что-то рано вернувшийся с работы. В комнатах расставляли стулья, стелили постели, хотя было ещё совсем светло. Дядя Володя сидел на кухне, нервно курил и был очень замучен всей этой суетой. Витька спросил про пистолет, но дядька махнул рукой: не до пистолетов ему, до вечера бы дожить.

Мы с Витькой, наскоро познакомившись с Володиной женой Татьяной, нашей новой тёткой, выскочили на улицу, схватили самокаты и сломя голову помчались по Партизанке, разгоняя редких возмущённых прохожих Витькиным звонком.

— Их женить пора, а они на самокатах, бугаи! — кричали нам торговки с переезда.

Витька хотел было ответить, но застыл на месте, резко затормозив каблучком. Навстречу шла странная компания: остроглазый парень в гимнастёрке без погон, с солдатским вещмешком на плече, черноволосая красивая девушка в беретке и высокий лохматый мальчишка, которого я сразу и узнал по этим лохмам и по детским глазам. Мы кинулись было друг к другу, но остановились, стыдясь таких телячьих нежностей. Только неловко пожали друг другу руки и сказали «привет!» таким тоном, словно только вчера разошлись по соседним домам. Витька наблюдал в сторонке за этой встречей. Я, как маленький, стоял со своим самокатом и смотрел то на Ваську, то на Борю, то на Эмму с хорошо заметным животиком.

— Твой? — разрубил неловкость Васька. — Дай прокатиться!

Да господи! Да бери его и забрось куда подальше, чтобы Боря и Эмма

не подумали, что взрослый Леонов остался таким же, каким приехал в Казахстан. Васька затарахтел подшипниками, Боря крепко пожал мне руку и сказал:

— Ты вроде в гости нас приглашал. Извини, что не сразу приехали — дела. Мы, собственно, за бумагами к Анне Андреевне.

Я сразу вспомнил полутёмную теплушку, людей с носилками, разговор про похороны тёти Вали и похоронную бумагу, которые дали маме.

Красивая Эмма, без девичьей косы, коротко и модно, как настоящая женщина, подстриженная, подошла ко мне и запросто, как старого друга, расцеловала в обе щёки. Витька завопил:

Идёт мадам с арбузом,
С таким огромным пузом,
А в пузе ребятишки
Играют в кошки-мышки!

Вмиг я узнал прежнего Борю, скорого на расправу — он ощерился и занёс кулак над Витькиной неразумной головой, Эмма вовремя коснулась его плеча и тихо сказала:

— Борис!

Боря выдохнул, постоял над пригнувшимся Витькой и спросил почти ласково:

— А по ха не хо?

На русском языке это означало: «А по харе не хочешь?» Витька понял, что гроза миновала, стал ласковым и беззащитным. Ответил:

— Да кто ж этого хочет? А ты где воевал?

Боря опустил плечи и сел на скамейку, только что прилаженную напротив проходных Коломзавода. Рядом присела Эмма. Я кинулся было расспрашивать, как они, да что они, да где они. Боря коротко отвечал: всё у них нормально, живут они с Эммой Шкарбан в нашей комнате, а в её квартире новые жильцы, какие-то военные.

— А как же эта, ну, которая Валентина? — вспомнил я весёлую домработницу на велосипеде.

Боря сурово ответил, что нету Валентины, сгнула Валентина. Осторожно взглянув на Эмму, я не стал уже спрашивать про её родителей. Она, умница, сама всё поняла, покачала головой, тихо сказала, что от мамы с папой ни письма, ни звонка, и встала, вопросительно глядя на меня. Ну, конечно, гостей надо вести к нам для отдыха и расспросов. Боре, ясное дело, хочется поскорее всё узнать о тёте Вале — как всё случилось, где её схоронили и что написали в той похоронной бумаге, которую впопыхах взяла моя мама. Но вести сейчас Борю и беременную Эмму в наш, ходивший ходуном, полный детского плача дом было никак нельзя.

— Может, к бабушке Аняте! — предложил догаливый братец, взваливая самокат на плечо.

И я повёл их на Колёсную улицу. Встречные люди уступали нам тротуар и долго смотрели вслед. В то время настоящая беременная женщина была редкостью, чаще в длинных очередях напирала ложные.

Вот и невысокое крылечко с длинной ручкой звонка, которую Витька

подёргал, и, как всегда, за дверью послышалось торопливое: «Иду, иду!» И вышла старушка, при виде которой гости незванные заулыбались и оттаяли.

Скоро мы сидели в тихой столовой за старинным столом. Васька смотрел на потемневшие иконы. Бабушка Анюта что-то готовила на крохотной, как пенал, кухне, а Боря с Эммой слушали Витькины байки про клад золотых монет и бриллиантов, найденный в коровьем сарае. Слышно было, как на кухне смеётся бабушка, и следом за ней посмеялись гости. Я сказал, что скоро придёт мама, и мы поговорим обо всём.

— И потом мы поедем, нам завтра рано надо, — переглянулся с Эммой Боря, но бабушка Анюта решительно сказала, что никуда ехать не нужно, а ночевать можно у неё — у Леоновых места хватит. Не как у Горюновых, где один на одном.

Витька доехал до наших, привёл мою маму, которая старалась не плакать и не огорчать Эмму в таком положении — молодая разревелась сама. Мама успокоила её и увела в другую комнату, пока бабушка Анюта ставила на стол тарелки щей из квашеной капусты, сухарики и яблоки. Глубокие старинные суповые тарелки стояли в мелких, как принято где-нибудь в Англии, отборные яблоки лежали в хрустальной вазе. Зря только, что невзрачные сухарики были насыпаны в такую же хрупкую вазу: не место им там.

Боря вынул из вещмешка банку тушёнки, кусок сала, полбуханки чёрного хлеба и два невзрачных яблочка, недавно купленных на рынке. Бабушка при виде этих фруктов покачала головой. Боря засмеялся и сказал, что лучше не было. Мама принесла завёрнутые в газету ещё тёплые ржаные лепёшки, которые так хорошо готовила баба Дуня в русской печке, и бутылку вина. Бабушка Анюта, заохав, побежала на кухню (она никогда не ходила неспешным шагом), вернулась с тремя бокалами и с кринкой молока, «только что из-под коровы, парное, полезное», и посмотрела при этом на Эмму, припудрившую покрасневший носик. Витька похмыкал, но ничего не сказал. Он уселся поудобнее на диванчике, рядом с Эммой, чтобы власть послушать взрослые разговоры и вставить свои необходимые комментарии. Боря налил вина бабушке, маме и себе, остальным — парного молока в стаканы.

Пока у них там шли разговоры, мы с Васькой, наскоро перекусив, ушли в комнату Сони, и мальчишка поведал мне о своих трудностях: в школе на него косятся за то, что крестик носит, говорят — какой же ты будешь пионер и комсомолец. Мать не ругается, отец тоже по-малкивает, но весь в раздумьях. Я посоветовал другу снять это, хотя бы временно. Наши вон пионеры из школы выходят — галстуки снимают на улице, а то парни митяевские дразнят: «пионеры из фанеры, а вожакий из доски!», а то и излупить могут. Да и по улице ходить в красных галстуках как-то неловко, это тебе не кино, не пионерские сборы. Васька сказал, что всё у нас для виду — галстуки, собрания, клятвы, обещания, а вера — она для души. И она постоянная, а не временная, в карман не засунешь.

— Вот ты летел со второго этажа, кто тебя спас? То-то!

Я почему-то вдруг вспомнил и прочитал наизусть Ваське стихотворение их харьковской книжки. О том, как шли солдаты на передовую.

А мать, что своего взрастила
И проводила на войну,
Украдкой нас перекрестила,
Припав к морозному окну.
Пусть люди мы иного сорта,
Иной летит над нами век,
И пусть ни в бога и ни в чёрта
Не верит больше человек,
Нам не забыть, как шли обозы,
Как нас крестила чья-то мать,
Как улыбалась нам сквозь слёзы,
Чтоб только вида не подать.

Васька долго думал, попросил меня прочитать ещё разок, потом сказал уверенно:

— Душевные были бы стихи, если выбросить один куплет: он какой-то суетный,— посмотрел на меня своим ясным младенческим взглядом, улыбнулся. — И ты человек душевный, только ещё несознательный. Бог даст — поймёшь. Я рад, что тебя встретил. Многого вспомнил.

— И я вспомнил. Как тебя Боря за уши таскал. Песни твои великолепные. Про заразу черноглазу.

Васька смутился, вздохнул:

— А ты хорошее вспоминай, хорошее. Как мы по степи гуляли, как бабочку на волю отпустили.

— Это я часто вспоминаю почему-то.

— Вот и хорошо. Сам-то пионером будешь? Галстук купил?

Купил я галстук, Васька. Попробуй не купи! Что дед скажет? Зря, что ли, он кровь проливал, мёрз и голодал! И потом, все же вступают, торжественное обещание дают. Только выполняют ли они обещанное? Вот так задуматься — голова трещит. Почему, спросишь себя, митяевские, монастырские мальчишки, парни с Ямок так кривятся на наши галстуки? Не фашисты ведь, свои, советские. А может, не в галстуках дело, а в нас, чистеньких, сытеньких, с мамочками? Ладно, сам разберись или при удобном случае с дедом потолкую.

Потом мы пили молоко с лепёшками. Потом гости переночевали, а утром мы с Витькой пришли их провожать. Васька сказал мне на прощание:

— Ты приезжай, не забывай.

Забыл. Каюсь. В суете, в беготне как-то постепенно стёрся его лохматый образ. Но, к счастью, суждено было встретить его через много лет, в смутное время девяностых, когда было у меня муторно на душе, и я, будучи в какой-то командировке, зашёл в скромный сельский храм близ Егорьевска. Там было удивительно тихо и спокойно. Женщина мыла полы, а седовласый бородатый старец в рясе, именно старец, а не дед или старик, вёл неторопливую беседу с каким-то пьяненьким парнем. Парень вдруг бухнулся на колени и запричитал, что теперь он многое понял и просит прощения у батюшки.

— Ты не у меня, Сергей, проси, а у Него, — указал старец на тёмную икону и закончил неожиданно: — Ты такое имя великое носишь — Сергей, стыдно его позорить.

Парень с великим именем ушёл, кланяясь и пятась, а старец пошёл ко мне, обдавая меня знакомым светом своих ясных глаз:

— Спасибо, что не забыл, Владислав Николаевич! Пойдём поговорим, что ли?

Мы обнялись с Васькой, он поднял руку, чтобы перекрестить меня, но застыл так. Я сказал, что крещёный, хоть и поздновато, и он осенил меня таким широким крестным знаменем, словно я святой или купец, на храм жертвующий.

Мы долго говорили с ним в его домике, где матушка Евгения и внуки, Михаил и Степан, ходили без топота, разговаривали тихонько, чтобы не мешать. Не о работе нашей, не о службе говорили, а, глядя на внучат, вспоминали своё, такое далёкое, казахстанское детство, которое, оказывается, накрепко засело в памяти. Вспомнили мы и бабочку с голубыми крылышками, и Василий сказал тогда, что это наше беззаботное детство улетало от нас навсегда, но его можно вернуть, и кивнул на своих внучат.

Он проводил меня до автобуса, на прощание прямодушно спросил, через сколько лет мы теперь увидимся. И я тоже честно ответил ему, что не знаю, но очень хотел бы.

В московском автобусе я всё вспоминал батюшку в старинной церкви, мальчишку Ваську Солдатова, и до боли жалко вдруг стало мне, что так быстро улетела голубая бабочка моего детства, оставив светлые воспоминания и боль за все глупости и жестокости, совершённые уже во взрослой, умной жизни...

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ОДИН ИЗ ТРЁХ ДОСТОЙНЫХ

Представитель Коломны вошёл в число победителей областной премии им. А. П. Чехова «Служение общему благу»

По сообщению портала «Подмосковье. Сегодня», эта премия ежегодно присуждается за творческие достижения в сфере сохранения и развития культурных традиций в Московской области, гуманизм, активную благотворительную и просветительскую деятельность. Номинантов наградили в Московском областном театре драмы и комедии в Ногинске.

На соискание премии в 2015 году была подана 21 заявка. Конкурсная комиссия выбрала трёх самых достойных победителей, каждый из которых получил денежную премию в размере 200 тыс. рублей. В их числе оказался профессор кафедры литературы ГСГУ (бывший МГОСГИ), доктор филологических наук **Владимир Викторович**, который на протяжении более 10 лет способствует возрождению усадьбы Достоевских в деревне Даровое. Его отметили за многолетний подвижнический труд и большой вклад в сохранение, изучение, распространение исторических и культурных традиций Московской области.



Екатерина Борисовна Рощина родилась и живёт в Москве. Окончила Московскую Академию печати. Работала редактором, копирайтером, журналистом. Традиционно любит «бумажную» книгу, а текст на экране планшета — не очень.

Сотрудничает с газетой «Вечерняя Москва»: ведёт рубрику «Житейские истории» и пишет о книжных новинках. Колумнистка. Составитель и редактор журнала «Детская Роман-газета».

Член Московского Союза журналистов.

Автор сборника рассказов и повестей «Щучья@ксань» и романа «Возвращайся по первому снегу».

Представленная здесь маленькая повесть «Пряные ландыши» — деревенская ностальгическая проза о печальном путешествии немолодой супружеской пары на хутор, где прошла их молодость, о трагическом столкновении их тихого уклада жизни «по старинке» с острыми проблемами современности.

Повесть

Екатерина Рощина

ПРЯНЫЕ ЛАНДЫШИ

Купание каурого коня

— **Í** у что, дед, запрягай. Сегодня поедем, — сказала Антонина Васильевна.

Дед Митяй тяжело вздохнул. Почесал затылок.

— Может, не надо, Тося? Полежать бы тебе ещё. Давай за Шишком схожу.

Шишком в Луговицах называли Петра Петровича Шишкова, старенького доктора районной больницы. Действительно похожего на лесного гномика.

— Нет, поедем. Пора. Мне сон был... Видение.

Румянцевы прожили вместе уже почти пятьдесят лет, и Дмитрий знал: спорить с женой бесполезно.

— Ну, раз видение...— вздохнул только. — Пойду к соседу, договариваться о машине. Витька вчера своего вольвятника чинил. Карбюратор опять... это... ну, в общем — засерело.

Антонина Васильевна поморщилась. Она не любила мусорных словечек мужа, до старости сохранившего весёлый характер. Хотя сама тоже могла вернуть неожиданное, чаще всего — переделанное, словцо. Многие деревенские старики теперь так делают. «Вольвятником» Дмитрий называл старенький джип «Вольво», который сосед Витька приобрёл по бросовой цене у попавшего к нему в долги клиента. Витька держал на въезде в райцентр, у Тверского шоссе, небольшой автосервис. Антонина Васильевна поджала губы:

— Я же тебе сказала: запрягай!
Дед Митяй взмолился:

— Поди плохо — на вольвятнике-то! Кожаный салон... Да где ж я тебе коня возьму? У нас в Луговицах не то что лошади, телеги не осталось!

Антонина умиротворённо прикрыла глаза. Она лежала на тахте. Вот так всю жизнь. Митяй её считает упрямой и недалёкой. А ведь она — умная.

— На хутор звони, Афанасею... он за мной приедет.

Антонина так и говорила — Афанасей.

— «Афанасей приедет», — передразнил Митяй, — оно, конечно... Да только на хуторе ни одна мобила не возьмёт. Не избрёл ещё Чичваркин мобилу для нашего хутора! Он теперь в Лондоне, Чичваркин! Вчера по телику показывали.

Довольный своей шуткой, Митяй хохотнул. Хотелось сбить пасмурное настроение жены. Верно, не изобрели. Антонина Васильевна вновь строго посмотрела на мужа:

— Клавке звони, почтальонше. Она сегодня пенсию на хутор повезёт, на велике. Она и попросит Афанасея Ильича.

— Афанасей за мной приедет, зачем-то повторила Антонина, напирая на слова «за мной», — Антонина со значением, понятным только им двоим, посмотрела на мужа. Дед Митяй опустил голову. Вот ведь хитрая бабка! Всё у неё наперёд рассчитано.

У них была такая договорённость с Антониной: когда один из них почувствует, что конец близок, то другой организует поездку туда, где всё начиналось. На хутор Пробужденье, когда-то населённый людьми и страстями, ныне — заброшенный среди разросшихся берёз и сосен. Собственно, не так уж и много времени прошло с тех пор, как цивилизация обделила Пробужденье, кинув линию электропередачи мимо хутора. А там и началось разрушение, вымирание. «Плюс электрификация всей страны» — из известной ленинской формулы вычли ту самую электрификацию — всё остальное стало неважно и ненужно. Люди перевозили свои хозяйства, детишек, даже избы в другие места, поближе к цивилизации. И хутора с удивительными поэтическими названиями: Пробужденье, Заря, Поляна, Жаворонки — оставались только в воспоминаниях. Да и не только хутора, целые деревни уходили, как невидимый град Китеж под воду. Интересно, что разрушение и забвение происходят очень быстро — за три-четыре десятилетия. Ну, пять.

Речка Хорловка петляла слишком сильно, прибавляя население по своим берегам. Вода — это жизнь. Это рыба, это богатый урожай, это напоенный и накормленный скот. Деревень по берегам Хорловки в начале прошлого века было много, двадцать — точно. А сегодня осталось всего шесть. Потому что уже упомянутая «электрификация» шла по прямой, не считаясь с изгибами и рельефами. Старики уезжать с насиженных мест не хотели. Держались за огородики и домишки до последнего. Молодёжь же уезжала легко и охотно. Расставалась с прошлым. Впереди, казалось, начнётся весёлая, счастливая, бурная жизнь. Одни подались в посёлки и деревни с ещё сохранившимися хозяйствами, другие — в областные центры. А самые бедовые и в большие города уехали: в Москву, в Питер.

Совсем опустел хутор Пробужденье два года назад, когда исчезли последние жители-мужики. Старики. Кто-то, впрочем, ещё оставался. Серьёзный и домовитый Афанасий Ильич Дмитриев. Ему-то и велела звонить Антонина. И его соседка, вредная старуха Александра Фуфырева, тоже

никуда не уехала. Звали её на местный манер — Ляксандра. По характеру Ляксандра была упёртой, жёсткой и негибкой. Покруче Антонины Васильевны. Бросить родной двор отказалась: «Проживи без электричества вашего». Так и жили Ляксандра и Афанасий, всеми заброшенные. Зато — на родных полях. Воду брали из родника, держали немудрёное хозяйство. Ляксандра — козу, кур, старую собаку Муху. Афанасий — каурого коня по кличке Баловень. Редко-редко заезжали к ним люди. Изредка заворачивала почтальонша Клава, порой просто так, поболтать, проведать, живы ли ещё хуторяне. Иногда тормозил на краю хутора грузовик Сашки Хрюна. Это было раз в месяц, по делу. Хрюн привозил, согласно заказу Ляксандры, продукты из Луговиц — районного центра. Всегда одно и то же: сахар, макароны, заварку «со слоном», спички. С пяток чупа-чупсов. Бабка, как дитё малое, любила «слатенькое». Так и говорила Хрюну, делая заказ: «Слатенького не забудь...» Не леденцы, конечно, не петушок на палочке эти нерусские чупа-чупсы, но всё-таки... Подсластить свою старческую горечь. Горечь одиночества. А может, детство вспоминалось. Люди так устроены: до самой последней черты хотят вернуться туда, где было весело, радостно и без анализов. И где не было больничных забот и тяжких дум. Ну, а где так было? Конечно, в детстве. Ещё Хрюн привозил две бутылки водки. Одну Ляксандра отдавала Хрюну: в благодарность за заботу. Другую — оставляла себе. На всякий случай. Вдруг нежданные гости. И на стол поставить нечего будет...

Афанасий Ильич, сосед Ляксандры, в своё время был зажиточным колхозником. У него и пчёлы водились, и корова. И яблоневый сад свой содержал он в порядке. Сейчас Афанасий Ильич работал для внуков. Жил для них, хозяйствовал. Был, можно сказать, оптимистом — видел себя в продолжении. Конечно, огорчался, что ни дети, ни внуки не захотели связать свою жизнь с деревней. Но считал: корни потом потянут. Всё дети поймут, вернуться к истокам. Не дети, так внуки. Те наезжали редко. «Дела у них, дела», — объяснял Ляксандре Афанасий Ильич, когда вечером собирались они после дневных забот посидеть на лавке, поговорить. Без живой души трудно. Без разговоров... А чего век вековали в одиночестве? Предлагала Ляксандра как-то, лет пять назад, Афанасию «вести совместное хозяйство». Но «то дело» уже не интересовало ни Афанасия Ильича, ни Ляксандру. А жить вместе просто для того, чтобы не быть одинокими, показалось глупым. У каждого — свои привычки и заботы, конь, да собака, да куры, да огороды. И ещё одно: очень Афанасий в глубине души боялся за наследство. Вдруг как помрёт раньше, чем Ляксандра, и останется тогда ей — и домик, и хозяйство. А надо передать внукам. Ведь они поймут когда-нибудь, что главное — в родной земле, и вернуться на хутор.

Афанасий Ильич приехал к Румянцевым в Луговицы рано утром. Был хмур и неразговорчив. Может, не хотел коня своего за десять вёрст гонять? Мало ли что Антонине привидится... От Ляксандры передал литруху козьего молока и десяток, показалось, тёплых ещё, будто прямо из-под несущкиной попы, белых яиц. «Это ещё что за подарки?» — поджала губы строгая Антонина. Афанасий пояснил: Ляксандра сказала — на дорожку. Улучив момент, когда дед Митяй вышел в сенцы за корзинкой, Афанасий Ильич сунул Антонине букетик жёлто-лимонных, на длинных ножках ландышей, уже слегка завядших и пожухлых. Антонина опустила

лицо в букетик, втянула тонкий и нежный запах, глаза прикрыла: «Наши... пряные!» Росли в окрестностях хутора Пробужденья такие — совсем не похожие на обыкновенные майские ландыши. Отличались тем, что сильно пахли. Аж голова кружилась. Потому и название им такое — пряные. А кто-то называл пряничными. И цветом крупных своих головок и широких листьев эти ландыши тоже отличались — нежная желтизна, переходящая в зелень.

Митяй этот момент уловил — уже вернулся с плетёной корзинкой. Опять хохотнул:

— Ровно как дети малые! Цветики какие-то, лютики... На восьмом десятке люди! Некоторые помирать собрались. А туда же — ландыши...

Была в его усмешке едва уловимая натянутость. То есть фальшивинка. Хорохорился, как сельский ухарь, дед Митяй. Все трое понимали, почему. Афанасий Ильич по молодости сильно ухлёстывал за Антониной. Влюбился. А досталась Тоська Митяю Румянцеву, плясуну и рукодельнику. Так их тогда звали: Тоська, Афоня, Митяй... Афоня потом женился на девушке из Далекуш, соседнего с хутором села. Дальше у каждого случилась своя жизнь. Ни хорошая, ни плохая, просто случилась. Чего уж теперь? А поди ж ты — ландыши. Видно, заноза-то в сердце оставалась. И свербела... И до старости дожила. Никто ведь толком про любовь так ничего и не знает: говорят, что после того, как дети пойдут, а потом ещё и вырастут, ничего от любви не остаётся. Только уважение и забота. Может, и так. Но вот тебе — пожалуйста: Афанасий ландышей с утра в лесу нарвал для Антонины, а дед Митяй — хвост распустил, как петух-производитель, и заходил кругами. А ведь все трое уже не просто на закате — у порога вечности.

На дорожку — так на дорожку! Антонина быстро, куда, казалось, и хворь подевалась, сварганила мужикам яишню. Сама завтракать не стала. Только попила козьего молока. Хорошее оказалось у Ляксандры молоко, не вонючее — козлятиной не отдавало. В корзинку положила платочек в синий горошек и коробку-теремок нерусских конфет «Рафаэла». Тоже подарки — Ляксандре, подружке-сопернице.

Выехали совсем рано. На траве лежала холодная роса, а в низинах клубился густой туман. Антонине всегда казалось, что он, этот туман, волшебный, и в нём скрыта сама тайна мироздания. Что люди появляются из тумана, уходят потом в такой вот туман, да и не просто люди — целые временные промежутки исчезают, растворяются в нём. Ещё девочкой придумала она себе такую вот сказку про туман. Потом за долгую свою жизнь как-то подзабыла, а под старость всё чаще вспоминала «былые времена» да людей, которые когда-то жили рядом, а теперь остались только в памяти. Фотографий-то мало было, наперечёт. Не то, что нынче.

Пока деда поправляли хомут на лошадке и брякали уздечкой — готовили «лошадиный транспорт», как в шутку называли телегу с запряжённым фырчащим конём цвета каштанов, Антонина сидела на лавке перед домом, вздыхала. Смотрела в туман... И видела там свою младшую сестру Катерину, утонувшую в реке полвека назад. Катерина застенчиво улыбалась и теребила в руках кончик длинной пушистой косы. Коса заплеталась красной шёлковой лентой. Её привёз в подарок из Питера Митяй. Всем трём сёстрам, чтоб не обидеть никого. И ещё — Шурке Фуфыревой. Ей — ленту синюю.

Когда-то лучшие подружки, Антонина и Ляксандра — тогда Сашенька, Шурка — жили по соседству. Антонина — невысокая, светленькая, очень гибкая. Могла сделать руки «кольцом» и пролезть ногами в это «кольцо». А уж работница просто сказочная. И певунья. Шурка, напротив, статная и какая-то очень степенная. Шаг ступит — ну прямо царевна хуторская, посмотрит — рублём одарит! Властная, спокойная и даже слегка горделивая. Работали целый день: и на сенокосе, и лошадей водили в ночное, и вышивали зимними вечерами. А летом, когда уже совсем смеркалось, на танцы бегали. Под гармошку плясали, пели частушки. Митька Румянцев отплясывал и с Тоськой, и с Шуркой. Афоня тоже где-то рядом крутился, да только застенчив был, как девушка. Не то чтобы набиться в провожатые — на танец пригласить не решался! А Митька провожал то одну, то другую. Не мог определиться. Жених он был завидный. Русоволосый, с мягкими пшеничными усами, глаза голубые, с прищуром. Невысокий и коренастый. И семья хорошая, зажиточная. На гармошке играл и ленты девчонкам дарил, и леденцы привозил из города. В город ездил регулярно: в Питере подрабатывал на стройках. Тогда город возводился не хуже теперешнего. До сих пор дома стоят, которые строил Митяй Румянцев. Каменные, века ещё простоят, на самом Невском проспекте есть такие дома во дворах. И целовался он, было дело, и с той, и с другой. Подружки ревновали. Каждая хотела Митьку себе захватить. Но не ссорились. Право выбора предоставляли ему, Румянцеву. А на Афоню Дмитриева Тоська внимания почти и не обращала. Куда ему до Мити Румянцева, красавца и балагура! Хотя Шурка не раз подружке нашёптывала в ухо: «Нет, ты глянй, Афоня-то — прямо сохнет...» Тоська понимала — хочет заветная подруженька лучшего женишка себе прибрать, сбивает её по ложному следу! Но Шурка чувствовала: у неё позиции сильнее, получит она в мужья первого парня на их хуторе. А Тоська лучше бы уж на Афоню переключилась. Шурка по деревенским меркам считалась девкой хорошей, была рослая, белокожая, в теле. И характер у неё лучше, чем у Тоськи: Шурка была уверенная и расчётливая, а Тоська — взбалмошная и крикливая. Думала Шурка, что победит. По всему выходило — склонялся Митяй к ней. Но вмешался случай, и карты разлеглись не в Шуркину пользу.

Семья у Тоськи — одни бабы. Мать Ульяна и три дочери: Ленка, Тоська, Катька. Катька, младшенькая, любимица, в свои шестнадцать лет расцвела красотой совершенно северной, холодной. Но случилась беда. Пошли сёстры и Шурка с ними загонять гусей. Гуси днём гуляли — паслись на лугу, на самом берегу реки, иногда и в воду заходили, плавали на мелководье. Гусей была целая стая. Как сейчас помнит их Антонина: серые, шипучие, а две гусыни белые, их берегли особенно. Речка Хорловка — коварная. Мелкая, но илистая. В ней водятся громадные, метровые, поросшие водорослями шуки. И снежно-белые лилии цветут. И петляет она, Хорловка, как змеюка, и хранит секреты и тайны, и водовороты, и даже какие-то донные ямы в себе прячет. Так вот, гуси — в воду, а девчонки — за ними. Стали их выгонять, да с песнями, да с шутками. И надо же — ступила Катька прямо в такую донную яму и вмиг провалилась с головой. Вынырнула, барахтается, глаза выпученные, аж страшно! Девки так и онемели. Совсем же берег рядом, тут бы сообразить да вытащить её на безопасную твердь, но они как в столбняке только смотрели на заплывающую Катьку. А та и утонула. Не откачали. Лежала Катенька на

берегу, вытянувшаяся в струну, рот открыт и глаза тоже — смотрят прямо в вечернее небо. И только гуси гогочут и хлопают крыльями по воде.

Дорога на хутор — не сказать, что очень далеко. До деревеньки Малые Броды — километров пять, потом — Броды Большие, село Коростелёво, а там уж и хутора пойдут. Большинство брошенные. А кое-где на хуторах такие же одинокие, как Афанасий и Ляксандра, старики свой век доживают. Домишки их заметить можно сразу. Пустые хаты стоят, тёмные от дождей и снегов, часто с заколоченными окнами, полынь и крапива — выше забора. А те, в которых ещё живут, дымки из печных труб по утрам в небо пускают. И стёкла в окнах — чистые и прозрачные, хотя и подслеповатые. Как глаза самих стариков, доживающих в одиночестве свой век. Так ведь бывает, пожилые люди признаются детям: «Задержался я на этом свете, зажился... Пора бы и прибраться». Правда, Афанасий и Ляксандра так не думали. А вот Антонину эти скорби посетили.

Афанасий сидел на передке — конём правил. Пока всё молчал больше. На расспросы Антонины отвечал односложно: «да» — «нет». Митяй тоже помалкивал. Прилёт в телеге, на руку опёрся — Афанасий бросил на дно пару навильников свежекошенного сена. Травинку покусывает, в бездонное небо смотрит. Сено пахнет чабрецом, мятой отдаёт. И с погодой повезло. День зарождался солнечный, тёплый. Прямо за Луговицами, как только дорога сделала поворот от церковной колокольни под горку, начинались поля. Когда-то они были светло-голубыми и оливковыми — от цветущего льна. А теперь заросли сиреневым иван-чаем. Тоже красиво. Если бы не треклятые борщевики по обочинам с белыми зонтиками ядовитых цветов, похожих на какие-то тарелки-локаторы. Зловредное растение в последние годы заполонило поля, которые нынче не тревожат ни комбайны, ни тракторы, ни прочие сельскохозяйственные машины. Антонина теперь часто думала про эти борщевики. Они казались ей «порешельцами неземных цивилизаций», про которые часто по телику рассказывали, по РЕН-ТВ. Так она произносила трудные для неё слова: «пришельцы» и «цивилизация». Она всё хотела расспросить про антенны борщевиков у Мишки Крота, трепача и обманщика. Он Антонине много небылиц рассказывал. А тут — какие небылицы? Борщевики-гиганты, натурально, «порешельцы», потому как порешили некогда богатые земли. Погубили.

Антонина смотрела во все глаза. Хотела среди зарослей иван-чая увидеть островки ландышей. Не каких-то майских, ранних, а своих — пряных. Афанасий душу растеребил. Но за Луговицами ландышей вообще никогда не росло. Неужели мать, когда Тоська была ещё в детстве, сказала ей правду: мол, пряные растут только у них, на хуторе Пробужденье, а больше нигде не растут?

Давно Антонина не покидала Луговицы. Несколько лет уж, пожалуй. Всё общение — ближайшие соседи, местный дурачок Мишка Крот да Маня Колобашка. Мишка Крот — дурачок дурачком, но хитрый. Умеет выманить из доверчивой Антонины себе то банку «закруток» — солёных огурцов из погреба, то какую-нибудь шапку деда Митяя или пачку чая «со слонем», что привозит из города Румянцевым их учёный сын. И не то чтобы выпрашивает, а начинает рассказывать небылицы. Антонина, по простоте своей, всегда верит. Вот, например: сидят они на лавке

перед румянцевским домом. Мишка Крот — худой, глаза навывкате, и зимой и летом в валенках и синих, вытянутых на коленках трениках. Спрашивает:

— Баб Тось, а ты знаешь, что председатель сельсовета Жуков слона на хозяйство закупил?

— Как это — слона? Это какого? Живого?

— Ну да, живого, с хоботом, с ушами. Слоны — они животные полезные. На слоне пахать просто: всё враз и перепашем, со слонотом.

— Иди ты... А чем его кормить — слона? Громадину такую...

— Слона кормить просто, он всеядный. Вот сено будет есть, а ещё борщевики. Борщевиков, видишь, сколь разрослось. Война борщевикам объявлена. Так слон может и топтать их, и жрать без утомления. Полезная, однако, скотина всесторонне.

— Врёшь ты, Мишка. А зимой куда слона-то? Он животный южный, ему тепло надо.

— А на зиму — в Тверь, в зоопарк будут сдавать. А чай со слонотом — знаешь?

Бабка Антонина рада, что знает, да — радостно кивает. Сынок привёз недавно чаю хорошего. Она, Антонина, чай «со слонотом» заваривает с мятой, с душицей. Волшебный чай просто!

— Покажи мне коробочку. Там слон ведь нарисован во всей красе. Хочу посмотреть — какой хвост у него. Не припомню. Как у лошади или как у коровы?

Тут Антонине и сказать бы: что за печаль тебе до хвоста слонотом? Но она послушно поднимается и тяжёлыми ногами шаркает в дом, достаёт пачку «со слонотом», идёт на улицу, где, покуривая, сидит нога на ногу деревенский хитрец Мишка Крот. Мишка пачку сразу хватать да рассматривать.

— Чего-то плохо видно! — А действительно уже смеркается. — К фонарю отойду, поглядеть.

И уходит, хоть Антонина уже заподозрила недоброе. Фонарь — как маяк в Луговицах. Прямо посередине села. Зажигает его каждый вечер Лёнька Пермьяков, Пермьяк, ну, если не напьётся, конечно. Примерно два раза в месяц фонарь не горит, и все знают: Пермьяк в эти дни даёт концерты. Ходит по деревне, бузит, сдвинув кепчонку на самый затылок. Сначала цепляется к жене, потом ругается с ней страшно. Выдёргивает колья из забора палисадника, кидает в окна своего же дома. Кричит: «У, гадюка, глазищи б тебе так и повыбил!» — имея в виду свою жену, толстую Нюсю. Поёт Розенбаума в вольном изложении.

Я помню, давно
Учили меня
Отец мой и мать:
Ловить, так ловить,
Давить, так давить,
Ипать так ипать.
Но утки уже летят высоко:
Летать, так летать,
Машу я им вслед сапогом...

Наутро Пермяк смурной, повинный. Петь не будет, а будет сначала чинить забор в палисаднике, потом — вставлять новые стёкла. Мастер он — штучный, руки золотые. Поэтому и фонарь ему доверили. Он его не только включает, но и «профилактику» делает, чинит, если что. А сегодня концертов пермяковских не было, и фонарь горит, и идёт, значит, умный дурачок Крот смотреть, какой хвост у слона на пачке нарисован. И, конечно, уже не возвращается. А Антонина ждёт его и потом начинает ругать, на чём свет стоит. Выходит на лавочку к ней и дед Митя, она ему жалуется на Крота, а Митя смеётся. Ну, Крот даёт! Ну и клоун. Успокаивает Митя Антонину и говорит, чтобы шла домой, ложиться. Уже вечерняя сырость. Для ног больных плохо... Он, Митя, привык за Антониной, как за маленьким ребёнком, ходить. Уж такой он, Митяй Румянцев, с молодости. Заботливый.

Тоська завладела Митяем как раз после того, как утонула сестра Катерина. Он как мужик ответственный стал помогать семье из одуревших от горя баб. И могилу рыть помогал, и с гробиком помог, и с поминками. Да и зацепился как-то за Тоськину семью — с сочувствием, с нежностью и заботой напополам была эта любовь. Где-то и утешил Тоську на сеновале. Потом, уже со счастливыми глазами, рассказала закадычной подруге Шурке Тоська: беременная она, мальчик будет — чувствует, что мальчик. Дмитрий поступил ответственно. И предложение сделал чин по чину, и женился. Ульяна, строгая, с всегда поджатыми губами, благословляла молодых иконой — именной. В золочёном окладе. Оклад — виноградные гроздья и листья. Из них выглядывают личики святых: Ульяны и Петра. Пётр, отец Тоськи, погиб в Первую мировую. И памяти о нём осталось — только серебряный помятый портсигар с непонятной монограммой и эти вот иконные лики. Ну и дочери, понятное дело. Елена да Антонина — обе Петровны. А Катерина Петровна утонула. Когда родился сынок, первенец, назвали Петенькой, в честь деда. Дмитрий не возражал, тем более что и второй сын скоро появился, Митька. После рождения Митьки-младшего Румянцевы стали подумывать о том, чтобы переехать из отдалённого хутора в сельский центр — Луговицы. На «большую землю», как здесь называли село. А книги «Малая земля» тогда ещё и в природе не было.

— Когда твоей-то из Москвы приедут?

Антонина не выдержала первой, начала расспросы. Чего молчать-то всю дорогу? Только телега скрипит да конь Баловень похрапывает. Ещё и слепни налетели, кружат над крупом лошади, норвят ужалить. «Боевые — одноразовые», — зовёт слепней Митяй. Он вообще шутник по жизни и балагур. Афанасий — тот степенный и не суетливый.

— Работают много. Потому и не едут. А как в той Москве жить? Ни воздуха, ни травинки. Вон смог этот ещё... — вздохнул Афанасий, — да и у нас сушь стоит. Не дай Бог, полыхнёт где...

— Ты, видать, из-за смога такой расстроенный к нам приехал, — съязвила Антонина. Всё-таки хотелось ей узнать причину плохого, с утра, настроения Афанасия Ильича.

— А ты, Тося, прям, как подружка твоя, Ляксандра, стала. По-простому слова не скажешь, — парировал Афанасий. Видать, обиделся. И больно, что случилось с ним крайне редко, прищёлкнул вожжами по крупу коня.

— Когда твои-то приедут? На Петров день приедут? — допытывалась с пристрастием Ляксандра, когда вечером садились они на лавочку.

У неё не было ни детей, ни внуков. Так что ждала Афанасьевых. В ожидании появлялся какой-то смысл. В ожидании и ещё — в любопытстве. Любопытство держит на земле. Не даёт потерять интерес к жизни.

Отвечал он ей так же, как ответил Антонине. Про занятость и про дым подмосковных пожаров. Ляксандра согласно кивала. И думалось: как там действительно люди живут-то, в этой Москве? Пыль и дым глотают. Жизнь в городе представлялась опасной и какой-то ненастоящей. Настоящее было здесь: в цветущих по весне яблонях, в золотых одуванчиках, заполняющих собой каждый малейший лужок, в особенных здешних ландышах, пряных и пряничных, в собаке Мухе, сладко зевающей и потягивающейся на солнце. В каждодневных привычных делах да в постоянном ожидании: почтальонки с пенсией, Сашки Хрюна на разбитом грузовике, детей и внуков Афанасия Ильича.

Связь с москвичами налажена не была. Письма бумажные как-то отжили своё, отошли. Их сейчас попросту перестали писать.

Раньше-то, конечно, почтальонка приносила целую сумку прессы: газету «Звезда» и «Сельскую жизнь», и две «Правды» — большую, государственную, и маленькую, местную — «Калининскую правду». Город Тверь тогда назывался именем всеоюзного старосты. И письма в сумке почтальона были. И открытки. А потом весь цивилизованный мир перешёл на письма электронные. Или хотя бы на эсэмэски.

Но на хуторе Пробужденье не было связи. И про электронные письма Ляксандра не знала, и не знал про них Афанасий. А если б рассказали — не поверил. Как это — письмо может дойти за доли секунды на любой конец света? Так не бывает.

Хотя компьютер Афанасию показывали — в районной конторе «Заготовка дикоросов». Он туда сдавал ягоду и грибы, собранные в борах за Далекушами. Надюха, ядрёная бухгалтерша, крутанула колёсико на чёрной «мышке». Она так называла пузатый, но аккуратный пластмассовый комочек, похожий на пирожок. С помощью «мышки» она и управляла компьютером. И на экране то ли телевизора, то ли диковинной пишущей машинки возникли и побежали картинки со строчками.

Чудны дела Твои, Господи! Афанасий подслеповато вглядывался в экран, заполненный маленькими картиночками с самыми разными лошадками.

Надюха сначала спросила его:

— Вот чего ты, Ильич, хотел бы узнать прямо сейчас?

— Прямо сейчас?! — недоверчиво переспросил Афанасий. Хотелось заносчивую Надюку с её «компьютером» срезать. — Хочу узнать, какой масти бывают кони! — с вызовом сказал Афанасий Ильич и слегка прищурился.

Надюка напечатала два слова — «масти лошадей». И на экране высыпались картинки: кони буланые, гнедые, в яблоках... И каурые там, конечно, тоже были. Один прямо как его Баловень. Только тот, на экране, был ещё каштановой. Просто какая-то рыже-палевая лошадь! Красивая.

Афанасий Ильич человек был земной, практичный и знал: главное — это земля и всё, что на ней рождается. Надо и за землёй ухаживать, и за каждой самой малой живой тварью, которая на этой земле уродилась.

Больше всего, кроме далёких московских детей и внуков, любил Афанасий Ильич своего коня. Каштановый, то есть каурый, Баловень был конём-трудягой. С ним Афанасий разговаривал, читал ему что-то из старых журналов: «Огонька» или «Роман-газеты». Когда-то давно выписывал, и теперь в сенцах, на самодельных грубых деревянных полках, стояли эти подшивки шестидесятых и семидесятых годов. Аккуратный Афанасий их собирал в своё время. А сейчас перечитывал. И себе, и Баловню. Показывал репродукции в «Огоньке». Баловень косил тёмным глазом и нервно вытягивал ноздрями воздух. «Тварь божия — она всё понимает», — пояснял Ляксандре Афанасий. И Ляксандра соглашалась.

— Афанасей, давай остановимся. Отдых надо дать ногам, — попросила Антонина.

Митяй сам уже видел, что бабке его совсем плохо. Ноги стали у неё за последние годы совсем никудашные: распухшие, с синевой и невероятно толстыми венами. И хоть сейчас не шла Антонина ногами, а ехала на «лошадином транспорте», они гудели, болели. Сели на обочине, в тенёк. Баловня тоже на холодке определили, у выросшей на опушке раскидистой липы. Конь стоял, пощипывал травку, хвостом отгонял быстро налетевших слепней и комаров.

— А всё через Маньку Колобашку вышла моя болезнь...

Антонина в сотый раз завела рассказ, который дед Митяй мог поведать сам, без запинки. Но на этот раз она рассказывала не Митяю, а Афанасию. Пять лет назад соседка её, бабка Колобашка, позавидовала Антонине. И тому, что она красавица и что старший сын вырос учёным, и главное, что зацвела у Румянцевых «пиона». В Луговицах так называли: пиона. В женском роде. Потому что — не может быть такая красота мужским именем названа. А пионы были удивительные, роскошные, тёмно-бордовые. Пусть и цвели они всего несколько дней, а потом осыпались яркими лепестками на землю. Вот и у Антонины «пиона» расцвела махровым цветом. А у бабки Колобашки «пиона» зимой вымерзла. Совсем. Только маленькие чахлые листочки торчали на месте недавно ещё большого куста. И надо же было Антонине пошутить: «Не хочет красота такая у ведьмы цвести». Кто же знал, что Колобашка обидится не на жизнь, а на смерть.

А может, всё и не так было. И никакая Колобашка не ведьма. Ведь столько лет рядом прожили, помогали друг другу по-соседски и вечерами на скамейке перед домом сидели да сплетничали, и даже колодец у них был общий. А тут из-за пионов пошла дружба прахом. Как-то ковырялась Антонина, тогда ещё бодрая и весёлая, у себя на огороде. Как сейчас помнит: на грядке с луком подросшим траву полола. И прилетела маленькая птичка-трясогузка. Прямо от Колобашкиного огорода. Прилетела и садится совсем рядом с Антониной. Антонина её отгоняет, а птичка только отбежит на тоненьких ножках, хвостом трясёт и головкой как будто кивает. Антонина опять на неё машет, снова птичка отбежит, снова кивает, как будто что-то сказать хочет.

— Вот через эту трясогузку Колобашка на меня болезнь и наслала, — подвела итог своему рассказу Антонина. Сделала вывод.

Попили водички, которую предусмотрительно захватил Митяй, передавая пластиковую бутылочку друг другу. Вода нагрелась на солнце, но всё равно живительная. Митяй не верит в Колобашкину порчу, в птичку-

трясогузку, в колдовские заговоры. Просто жизнь была такая — тяжёлая. И старость тоже оказалась тяжёлой. Неподъёмно тяжёлой... Солнце уже высоко. Печёт. Надо дальше ехать. Афанасий, молча слушавший рассказ Антонины, вдруг горько произнёс:

— Не через птичек и зверей наши хвори... они — твари божьи, пакудства не знают. А беды приходят от людей.

Не выдержал Афанасий Ильич, всё рассказал Антонине и Митяю. Стало понятно, отчего он таким сумрачным и неразговорчивым приехал утром с хутора. Рассказал, потому что с кем-то надо было поделиться своей бедой, нагрянувшей, откуда и не ждали.

В общем — дело было так. Недавно Афанасий Ильич дождался: приехал сын Сергей на джипе. Привёз Славика, младшего внука. Славик оказался парнем длинным, нескладным, рыжим, прыщеватым. Соседка Ляксандра сразу прибежала знакомиться. Любопытная. Но Славик на контакт не пошёл. И Ляксандре он не понравился. Не таким представляла она внука домовитого Афанасия Ильича. Совсем не был он похож ни на заделистого деда, ни на хмурого своего отца Серёгу, мелкого оптовика. Штаны у Славика расхлябанные какие-то, висят на заднице, верх приспущен так, что выглядывают нежные полупопия. Маленькие очёчки с жёлтыми стёклышками. В правом ухе — капелька серёжки. Бриллиант. Ровно у девки какой. На подбородке — жидкая бородёнка, клочок рыжеватой шёрстки. Руки худые, бледные, слабые. Длинными этими своими руками обрывал Славик листья с липы и бросал их на крыльцо.

— Ты зачем дерево-то терзаешь? — тихо спросил Афанасий Ильич. Славик только зыркнул на него злыми глазами. Ушёл в поля. Долго ходил-бродил, вернулся весь промокший от росы. Не знал, чем себя занять. Достал из рюкзака компьютер, портативный. Маленький такой и совсем плоский, как ящичек. Афанасий Ильич молча наблюдал, как Славик растягивал провод, подключал «мышку», тот самый «пирожок», которым бухгалтерша заготконторы, словно из воздуха, вызывала картинку лошадей.

— У нас тут эта... Связи нет, мобильники не работают.

Славик хмуро усмехнулся. Одной половинкой лица. Будто ощерился.

— Старик, эта проблема человечеством давно решена. Есть у меня одна маленькая штучка... Она и установит спутниковую связь.

Он достал из того же рюкзака плоскую штучку, она называлась «флэшкой», и воткнул её куда-то сбоку в чемоданчик. Компьютер, который Славик называл «буком», сразу то ли хрюкнул, то ли мяукнул, и маленький его экран замерцал неземным цветом. Опять, как и на «компьютере» бухгалтерши, по экрану побежали буквы и картинки. Афанасию Ильичу не понравилось, что Славик назвал его «стариком». Уж лучше бы дедом, если не нравится «дедушка». Не просто так привёз Сергей на хутор Славика. Оказался он наркоманом, пусть и с небольшим стажем. Не мог соскочить в своей Москве. Его боялись оставлять одного и запирали, и в клиниках лечили, и в Ташкент к какому-то знаменитому доктору возили, но ничего не помогало. Как только появлялись друзья-приятели, тут же Славик с резьбы срывался и опять по новой пускался во все тяжкие. И вещи из дома выносил, и даже гоп-стопом баловался. На семейном совете решили Славика отправить к деду Афанасию. У него

там ни «нарков» нет, ни «дурки». Воздух чистый, вода. Дед, опять же, правильный. Может, и Славик переломается там, человеком станет.

— Гнилой парень оказался. Москва испортила, — объяснил Антонине и Митяю дед.

Ага, Москва. Москва во всём виновата. И смог там, и деньжищи, и коррупция, и вот ещё эти «моркотики». «Моркотиками» называла Антонина наркотики.

Решил дед лечить Славика работой. Но Славик делал всё так, что приходилось переделывать. Говорил, мол, не приспособлен к сельской жизни. С кислым и унылым лицом полон гряды: оборвал сорняки, а корни все остались в земле. Косить начал — сломал косу. Как умудрился-то... И всё со вздохами, стонами, с ленцой. Утром вставать по первой росе не хотел. Спал до обеда и позже. Зато ночью не спал, колобродил. Тут на днях как-то случилось, что, когда радостно освободившийся от прополки грядок Славик торчал дома, приехал некстати Сашка Хрюн на своём грузовике. Привёз старикам «продзаказ». Ни Афанасия, ни Ляксандры как на грех дома не было. И напросился Славик с Хрюном в Луговицы. Луговицы — село большое. Точнее даже — посёлок, местный центр. Там есть и магазин, и бар, и клуб, и даже небольшая церковка. Но не церковка заинтересовала Славика. А «дурка». Новая компания нашлась быстро. Пошли выпивать. Славик быстро потерял контроль над собой. Не помнил ничего — что это за люди, что за мотоцикл... Помнил только, как шутил и щедро угощал новых знакомых, и как голову ему на тощее плечо укладывала толстая кудлатая баба с беззубым ртом.

— А что, и рожу от тебя ребёночка, ма-а-асквич! — смеялась она. Под глазом фиолетово цвёл синяк.

— Натаха, ты французскую-то косметику смой сначала! — вторил ей парень по прозвищу Поп. Намекал на синяк. Джентльмен.

— Не-е-е! — тянул Славик. — У меня в Москве девушка осталась, Иру-у-усик.

А сам уже приглядывался к арбузным грудям девицы, вываливающимся из застиранной майки. Смушал только беззубый, какой-то страшно вульгарный рот Натахи. «А что? Отдеру её, — блудливо подумывал Славик, — точно отдеру, у деда в крольчатнике!»

Афанасий Ильич, крме коня и кур, разводил ещё кроликов.

Славика всё казалось смешным и ярким. Жизнь набирала обороты. Пили водку, но хотелось другого... Где искать дозу — неизвестно. Понятно только, что дурное притягивает дурное. И будто не было для Славика долгого трудного лечения и потом — двух месяцев слабости и полного опустошения. И вновь дала о себе знать пагубная страсть, вновь его соблазнял весильный демон. Наконец не выдержал, спросил, когда вся компания была уже в крепком подпитии:

— Ребята! А дозу здесь достать можно?

Поп, как будто сразу протрезвел, холодными глазами посмотрел на Славика:

— Дозу достать можно. Деньги нужны. А пока могу предложить грибков-мохнашек. Или нюхни вот этого...

Поп достал пакетик с горсткой каких-то красноватых ягод. Славик опустил в пакет голову и втянул воздух. Раз, другой, третий... Знакомая

дрожь пробежала от шеи по плечам и к пояснице. Сразу потеплело в животе, затенькало в паху и в прямой кишке. Приход был. Конкретный.

Оказалось, весёлая гоп-компания Попа собирает в здешних лесах особые грибки — глюкогенные. Ну, варят их в котелках на кострах, а потом жрут ложками. Но главное даже не в этих «мохнашечках». Главное — в упругих красноватых ягодках, пахнущих остро и пряно. Покруче гудрона или клея «Момент». Гудрон Славик нюхал уже в десятом классе. А «Момент» — это вообще баловство. Для шестиклассек. Поп секрета не держал — всё рассказал про красные ягоды. В местных же лесах, оказывается, растёт какой-то особый ландыш. Все его называют пряным. Ну, а гопники и нарки окрестили волшебный цветок «пьяным». Ландыш колосится целыми полянами, растёт на высоких стеблях. И от обыкновенного ландыша отличается жёлто-зелёным окрасом цветка, долгим цветением и плодородностью. Красные ягоды, заменяющие «дурку», можно собирать круглое лето.

— У вас под хутором, прямо за плотиной, целые поля этого пьяного ландыша, — сказал Поп, — а в других местах он почти что и не растёт. Мы туда на мотоцикле ездим. Правда, перебирать с дозой нельзя — дико башка раскалывается. И быстро надоедает. Не торкает. А на траву настоящую денежка нужна.

Поп повторился и значительно посмотрел на Славика. Славик рассказ про пьяные ландыши запомнил.

Утром дед Афанасий собрался с Ляксандрой за малиной. Ходили всегда вместе, чтобы было веселее и чтобы был собирательский азарт. Решили взять и Славика. Тот сначала заартачился, но потом согласился. Башка действительно раскалывалась от вчерашней водки, а может, оттого, что догонялся ягодками. Рассказ Попа не забыл, хотя и плющило всю ночь. Кружками пил холодную воду, сидел на крыльце, курил сигарету за сигаретой. Под самое утро проблевался... Хотелось похмелиться.

С алюминиевыми ведёрочками пошли в лес. Дед своё ведёрочко привязал к поясу, чтобы собирать двумя руками. Он любил «брать ягоду». Ягода у него всегда была как на подбор — чистая, без листочков и червячков. Но собирал всегда долго. Главной ягодницей на хуторе считалась Ляксандра. Она ставила своё ведёрочко в приметном месте, а собирала ягоды в большую алюминиевую кружку. Потом ссыпала в ведёрко. Быстро она собирала, Ляксандра. Афанасий никогда не мог её обогнать... На ягодах Славик удивил. У Ляксандры ещё и половины ведра не набралось, а Афанасий со своей медлительной аккуратностью только-только дно закрыл. А Славик — вот молодец, оказалось, уже полный бидон набрал. Как начинающему ягоднику и явному аутсайдеру ему дали не ведёрко, а пятилитровый бидон. Но и это много. И вдруг начал Славик орать на весь лес: «Я уже всё! Набрал! Я — домой!» Ну, удивил внучок. Вот, оказывается, в чём его призвание. Приободрился дед Афанасий, посмотрел на Ляксандру с гордостью. Мой-то! Молодца. Порода всё-таки сказывается... На радостях отпустили Славика домой.

Старая плотина остатками торчащих из воды брёвен выходила почти к самому берегу. Речка здесь делала крутой поворот и перед перекатом образовывала плёс с глубокой заводью. Славик быстро сбросил сапоги и рубашку, скинул какие-то лоховские — с завязками на щиколотках — дедовские шаровары, со стоном и всхлипыванием плюхнулся в заводь. Немного полегчало — прохладная вода бодрила. Славик набрал воздуха

полные лёгкие, глубоко нырнул, а когда вынырнул далеко от берега, сразу же перевернулся на спину. Солнце било в глаза. И тут он увидел... О! Родимые! Ядовито-жёлтым углом, словно стая летящих пташек, ландыши вторгались в зелень прибрежной травы. Прямо на откосе перед плотиной. Славик не помнил, как выскочил из заводи. Тремя прыжками преодолел откос. Какая-то буйная радость охватила всё его существо! Он катался по траве, что-то гортанно кричал, зарывался лицом в цветы и, главное, рвал и рвал красные ягоды, запихивал себе в рот, жрал их прямо горстями. Пряные ландыши... они были, и правда, пьяными. И видения посетили Славика. О, какие это были видения!

Славик будто бы работает боссом на каком-то то ли космическом, то ли компьютерном предприятии. Он не быкует, не занимает на дозу у своего нового знакомого Попа, и вообще — он похож на Чичваркина. Славик носит рыжий ирокез, который ему категорически запретил носить отец. По офису он ходит в красивом костюме с атласным воротником и блёстками, но под пиджаком надета весёлая молодёжная майка. Опять же — как у Чичваркина. Все кабинеты, по которым ходит Славик в сопровождении охранников, полны молодых тёлок. Они улыбочивые, с рабочими ртами и большими буферами. Славика нравится, когда у девушек — рабочие рты и большие груди. И ещё, он точно знает, что если будет наезд на его бизнес, то он тут же уедет в Лондон. Как Чичваркин.

...И вот Славик идёт по Лондону, по какой-то знаменитой улице. Кажется, она называется улицей «Покатили». И навстречу ему идёт его любимая чернокожая модель Наоми Кэмпбелл. У Наоми тоже большие буфера. А уж рот-то какой у Наоми! Они садятся вдвоём в роскошный джип, водителем в этом джипе — Серёга. А дед Афанасий стоит на запятках джипа, как когда-то слуги стояли на запятках господских карет. Славик видел это в каком-то историческом фильме. Дед Афанасий держит в руках фонарь и кричит прохожим: «Дорогу — моему внуку, принцу Кентерберийскому! Дорогу!» И вот они разгоняются так сильно, что джип поднимается в воздух! И полетели, бля, полетели... Кэмпбелл шарит рукой в моднячих штанах у Славика. И вот она наклоняется...

Славик очнулся с опухшим от укусов слепней лицом. Опять дико болела голова. Под ногтями запеклась земля вперемежку с зелёными стеблями ландышей и раздавленными ягодами.

На хутор Афанасий Ильич и Ляксандра вернулись только часа в четыре. Жарища, мухи и слепни одолевают. Набрали-таки свои вёдрышки и Афанасий, и Ляксандра. Ляксандрин дом ближе. Афанасий с ней простился, пошёл домой. «Сейчас баньку сообразим... помыться после леса». Но Славки дома не оказалось. Уже сбежал куда-то. Афанасий попил холодного молока, переоделся, взял бидон с малиной — перебирать. Перебирать ягоду надо быстрее, потому что под собственной массой она даёт сок, портится. Надо её перебрать и засыпать сахаром-песком. А уже потом только варить варенье. Малиновое варенье — оно самое что ни есть лечебное. Зимой любую простуду вылечишь летней малиной. На большом столе расстелил газету, высыпал ягоды из бидона Славика. Получилось кружки две. Ягоды-то были только сверху. А под ними — ветки. Малиновых колючих веток, прямо с листьями, наломал глупый внук, набил ими бидон плотно-плотно. А сверху прикрыл ягодами.

— Ай да передовик!.. Паскудник... — аж застонал Афанасий. Горько ему стало. И за обман, и главное, за ту свою гордость перед Ляксандрой («Порода-то — наша!»). — Ну, подожди, вернись мне только,— шептал Афанасий.

Бросил ягоды. Перебирать не хотелось. Ни варенье целебное для внуков варить, ни даже думать о них.

«Сидят там, в своей Москве, совсем как звери стали», — думал Афанасий Ильич. Пошёл к Ляксандре. Сидели на лавке и долго-долго говорили о том, как изменилась жизнь. Как старику не приходится уже рассчитывать на своих детей и внуков. Как оказываются они не просто неподдержкой — откровенными врагами становятся, которых и любишь, и презираешь одновременно. Бездетная Ляксандра согласно кивала головой. «Чем таких, лучше никаких вообще», — думала она. Вслух не высказывала, но в глубине души радовалась. Потому что всё время считала свою бездетность чем-то вроде постыдного порока, неполноценностью какой-то. А сейчас — по всему выходило: правильно жизнь распорядилась. Нет, таких детей и не надо. Поэтому Ляксандра домой вернулась в приподнятом настроении. Налила Мухе остатки супа, и Муха благодарно поскуливала, заглядывала в глаза и стучала хвостом по чистому крыльцу. «Лучше никаких, чем таких...» — напевала Ляксандра.

И любопытство тоже в ней поскуливало и егозило, как Муха. Чем-то дело закончится?

Славик, однако, появился только на следующий день. Афанасий Ильич уже весь извёлся. Думал — запрягать Баловню и ехать в Луговицы, узнавать, куда парень пропал.

Заказывать звонок в город и вызывать Серёгу. Виниться, что не уберёт непутёвого. Но Славик объявился. С глазами какими-то оловянными, неживыми. С разбитыми локтями и коленками. Он был очень злой, этот Славик, и в нём проснулась какая-то невиданная доселе энергия и нежить. Как будто в дохлую, нездоровую Славикову оболочку вселилось нечто потусторонне-яростное. Даже голос изменился, стал из надтреснутого тенорка хриплым и глухим.

Дед Афанасий всё уже готов был простить Славику: и обман с малиной, и внезапное исчезновение. Главное — вернулся, живой. На мотоцикле привёз его какой-то парень. Крикнул что-то неразборчивое и уехал. Славица стряхнул на землю, как мешок. Но это был уже не Славик, внучок. Он поднялся, отряхнулся, на пошатывающихся ногах пошёл в дом. И новым своим, хриплым голосом стал требовать денег.

Все старики, особенно в деревнях, откладывают в укромное местечко свои «похоронные». Чтобы не закопали, как собаку. Чтобы — чинно-благородно, и крест поставили, и памятник, и цветничок был. И поминальный стол. Всё это стоит денег. Поэтому каждый мудрый старик готовит себе последний путь сам. И себя готовит. Мало ли что — как жизнь повернётся. И одинокая Ляксандра держит на чердаке свой гроб. Хороший, добротный, купила по случаю ещё десять лет назад. Сначала гроб пугал. А потом — привыкла Ляксандра к своему гробу. Все там будем, и иногда, не очень часто, поднималась Ляксандра по скрипучей лестнице на чердак, обмахивала чистой тряпкой пыль со своего гроба. Хозяйским глазом оглядывала — всё ли в порядке. В сам гроб положила она и пла-

тышко своё последнее, и белый платочек. И маленькую фотографию: свой портрет. На нём Ляксандра ещё молодая. Лет тридцати. Приезжал в деревню фотографических дел мастер. Всех снимал. Потом ретушировал. Делал «патреты». Женатым — «патреты парные». Муж и жена. Одна сатана. Одиноким — «патреты одиночные». На «патретах» все получались какие-то похожие друг на друга. С бровями врзлёт, с маленькими, чётко очерченными ротиками и чёрными, как провальными, глазницами. Не очень похожи были люди на свои «патреты». Скорее — какие-то фаюмские картинки получались, но в деревне не знали про фаюмские портреты. Знали: надо оставить после себя память.

Сейчас-то Ляксандра уже старенькая, поплёкшая, в платочке, повязанном низко, до самых бровей. Она достаёт «патрет» и долго-долго вглядывается в него. И представляет себя, молодую, уже именно такой, какой увидел её фотохудожник почти полвека назад. С густыми бровями, пристальным взглядом, трепетными ноздрями. И радостно Ляксандре, что такой она останется для потомков. Вот бабка Томка, например, из Луговиц. Не подготовилась. «Патрет» не заготовила. Прожила больше ста лет и отошла тихо, незаметно. Хоронить-то всё равно надо по-людски. Приехали какие-то дальние родственники — седьмая вода на киселе. Стали искать хоть какую-нибудь фотографию на крест. Нету! Нашли только один-единственный снимок. Там бабка Томка в окружении других колхозниц стоит на фоне трактора. Фотографировали для местной газеты году ещё в шестидесятом. Томка и там тоже немолода: сморщенное тёмное личико в белом платочке, лицо настороженное, губы поджаты. В руках коса-литовка. «Чисто смерть!» — определил Мишка Крот. Шутник. Но главное, вокруг стоят другие колхозницы, а перед ними лежит тракторист Лямушкин. Так снимали раньше: все стоят в два ряда, впереди — маленькие, сзади — высокие. А на переднем плане первый парень на деревне лежит, подперев голову рукой. Родственники сначала думали: вырезать, может, бабку Томку из общего снимка? А потом решили не заморачиваться и замонтировали фотографию как есть. Групповую. Так и получился на могиле у Тамары Николаевны Лукашиной коллективный портрет. Все обращали внимание — что за братская могила? Сначала показывали как местную достопримечательность. А потом приехала одна краля из Твери, дочь Нины Сорокиной, и заголосила: «Да это что же, мама, ты на чужой могиле делаешь-то! Это же плохой знак! Тебя бабка Тома с собой может затянуть на тот свет». Нина Сорокина, или Сорока, сначала отмахнулась, сказала — глупости-то не говори. А на душе неприятно стало. Вдруг как на самом деле затянет безобидная невесомая Томка в могилу к себе... Нина поделилась своими опасениями с почтальоншей Клавой, а уж та разнесла по всем окрестным деревням. Людей-то на фотографии было человек десять, пожалуй. Некоторые, правда, и так уже находились с бабкой Томой в одном измерении, но те, которые жили, стали опасаться. Закончилось тем, что крест на могиле Тома Лукашиной кто-то изуродовал: выламывая фотографию, металлические конструкции погнул. Ну и фотографию, собственно единственную Томкину, уничтожил. Кто сделал — так и не дознались. Думали на младшего сына тракториста Лямушкина. Он парень сильный, особенно когда выпьет лишнего. Так и не осталось от бабушки Тома Лукашиной никакого изображения. Только то, что в па-

мяти людской. Но на память особо полагаться не стоит. Ляксандра-то знала точно, что она, эта память, короткая. Поэтому своей фотографией просто гордилась. Такой вот она и останется в веках. Ну, не в веках, так хоть в десятилетиях...

И у такого предусмотрительного хозяина, как Афанасий, конечно, тоже были свои «гробовые» и «похоронные». Их-то и начал требовать этот новый, незнакомый Славик с оловянными глазами. Афанасий денег давать категорически отказался. И Славик снова пропал. Как будто его и не было. Только компьютер мерцал на столе. Славик забыл его выключить. А дед Афанасий не хотел даже и притрагиваться к волшебному, как музыкальная шкатулка, ящичку.

Телега ехала, тяжело поскрипывая. Каждый ухаб отдавался Антонининым оханьем и всхлипами. Асфальтовую дорогу до Луговиц не дотянули совсем чуть-чуть. Если от Твери ехать, то к Луговицам как раз от шоссе идёт хорошая грунтовка. Могли бы и асфальтом покрыть, и тянули уже, потому что депутат народного собрания Кошенков Илья Алексеевич был родом из этих мест. И окончил как раз Луговицкую среднюю школу, о чём написал в своих воспоминаниях. И учителей вспомнил, и председателя колхоза, и тех, с кем вместе учился. Хороший, говорят, человек был Илья Кошенков. Далеко шагнул. И малую родину не забывал. Ещё когда учился в школе, было понятно: нестандартный парень растёт, перспективный. Был в школе комсоргом, мог организовать и школьную постановку «Ревизора», и трудовой субботник на картофельном поле, и костёр. Молодёжь эти костры очень любила. Летними вечерами, после киношки в клубе, собирались парни и девушки на заветном месте у реки. Разводили там большой костёр и сидели, говорили обо всём на свете. Иногда — пели. Гармошки были уже не в почёте, и песни пели под гитару. Играл, само собой, Илюха Кошенков. Девчонки смотрели на него с восторгом и знали: придёт день — и уедет Илюшка из деревни навсегда. Так и произошло. Уехал, поступил в столичный вуз. И быстро продвинулся. Деревенские смотрели парад по телевизору и каждый раз надеялись увидеть на экране Кошенкова. Не на Мавзолее, принимающим парад, но хотя бы в толпе приглашённых. И оказались луговицкие жители правы. Увидели, увидели Илюху Кошенкова в телевизоре. Он стал депутатом и часто выступал. Запомнился тем, что мог и матюкнуться с трибуны, и обещал щедро, и делал тоже много чего. Бурный был человек, темпераментный. И книги писал. И митинги организовывал. И даже дрался с другими депутатами, отстаивая свои убеждения кулаками. Только потом, в лихие девяностые, завалили депутата. Оказалось, крышевал он чей-то бизнес. А что за бизнес — неизвестно. Опорочить человека хорошего каждый рад. Вот и навели тень на плетень, разоблачения всякие, расследования. А факт остаётся фактом: человек он был известный, видный и для Луговиц много чего сделал. И на церковь денег выделил. Восстановили и внутри, и снаружи. И службы вновь начались. И колокола повесили. Антонина ходила на службу часто. У них в семье в Бога веровали. И икона своя была — святые Ульяна и Пётр. Которой мать благословила Тоську и Митяя Румянцева на долгую и счастливую семейную жизнь. Икона висела в красном углу их дома. Митяй-то, конечно, над Антониной и её религиозностью посмеивался. Понятно, всю жизнь проходил в коммунистах. Даже после того, как в сорок

первом загремел в кутузку как враг народа, а потом неожиданно вернулся, в товарища Сталина верить не перестал. Он и в новые времена, когда партию разогнали, закопал на задах огорода свой партбилет. Некоторые жгли на площадях — сам видел, по телевизору показывали, а он — закопал. Антонина из сенец в подслеповатое оконце подсмотрела... Ну, это как в жизни получится. Одни верят в Ульяну и Петра, другие — в товарища Сталина. А потом приходится партбилеты в землю закапывать. Правда, случилось в жизни Луговиц, что и иконы жгли. И в щепки рубили. Антонина отцовскую икону, в окладе, сохранила. А главное, она считала — не надо мешать друг другу жить и верить.

Кошенков открыл в Луговицах бар, чтобы молодёжь там собиралась и культурно отдыхала. Не пивную открыл, а именно — бар. Как в цивилизованных странах мира. Правда, продавали там всё равно в основном пиво, но одно дело сидеть с ребятами в пивнушке и совсем другое — в баре. Чувствуете разницу? Антонина не была в баре ни разу.

Утром, когда проезжали с дедом через центр села, — дальше дорога резко сворачивала к реке, а потом уже, совсем простая, сельская, в рытинах и ухабах, тянулась вдоль Хорловки, — Митяй показал Антонине новый магазинчик. Назывался он незамысловато: «Лучшее у Томки».

— Это у какой Томки лучшее? У Лукашиной, что ли?! — удивилась Антонина.

— Ну, ты скажешь тоже! Томка Лукашина, что у ней лучшего-то было? — засмеялся дед. — У председателя невестку зовут Томка, Тамара. Ядрёная... У ней-то лучшего мно-о-о-го...

А Томка Лукашина, умершая пару лет назад всего, была старая-престарая беззубая бабка, всегда в платке. На поджатых губах какие-то фиолетовые наросты. Совсем невесомой была Томка Лукашина, а лет прожила — больше ста, последние годы в местной больнице. Больница не больница, может — дом престарелых. Или интернат, как сейчас называют. Интернат для стариков и немощных. Они там доживают свои годы. Вот Томка Лукашина «доживала» очень долго, и на то имелись причины: у неё были серьёзные надбавки к пенсии, а деньги эти интернату совсем не лишние. Вот и смотрели за Томкой Лукашиной, старухой, которая не знала, какой шёл год, какой месяц и как её зовут, как за королевой. Чуть головка старенькая закружится — тут же извольте нашатырь под нос. И вот жила Томка Лукашина, жила себе в интернате больше десяти лет. Лучшие, может, годы жизни прожила там. По крайней мере — самые беззаботные и сытные. А что? Ведь и заслужила! Хорошо бы так заботились о каждом старике в Луговицах. А может, и во всей стране. В Расее.

Так думала Антонина, сидя в телеге и склонив голову почти к самым своим большим коленям. А телега всё скрипела и скрипела, навевая думы о том, что давно уже прошло и чего не вернуть никогда. К чему уже нет возврата. Разве только что в тягучих — то светлых, то горьких — воспоминаниях. И Баловень всё пофыркивал и бежал резвее, потому что чувствовал дорогу к близкому дому.

В Луговицы Румянцевы переехали перед самой войной. Там как раз дом Тоська присмотрела добротный. Говорят, жил в этом доме местный зажиточный мужик. Жил, да перестал. Раскулачили. Время такое было: за хвост и в раскулачку. А дом по дешёвке купили Дмитрий и Антонина

Румянцевы. Митяй тогда уже был комсомольцем и местным заводилой. Таким же, как и Кошенков в новом времени. Вот ему как активисту и агитатору власти и продали дом раскулаченного. Не подарили, а продали, правда, за какие-то совсем смешные деньги. И спустя много лет Антонину эта мысль всё царапала. Мужика деревенского — такого же, как они сами — отправили куда-то в Сибирь, а они, значит, с Митяем отпраздновали новоселье на готовеньком... Мужик-то этот дом построил, заселил его... наверное, иконами, лавками и шкафами, живностью домашней. И детьми. И жена у него была, Настасья. Говорят — красавица. Чувствовала Антонина, даже сейчас чувствовала, когда прошли уже даже не годы, а целые десятилетия, несправедливость и собственную неправоту. Совесть — это ведь не пятистенок какой и не огород. Её за деньги не купишь и от властей в подарок не получишь.

В Луговицах и школа была хорошая, и колхоз большой, перспективный. Дмитрий уже ездил на заработки в Питер. Каждый раз привозил с заработков помимо денег подарки родным: платочки Тоське и её сестре, петушков на палочках — леденцы — сыновьям. А себе привозил монеты. Да-да, уже тогда начал он собирать свою коллекцию монет. Только не нумизматическая ценность была в этой коллекции для Митьки. Каждая монетка, каждый пятак хранил свою память, нёс информацию. Каждая монета — новый построенный дом, люди, с которыми там встречался. Митяй по-своему был образованным человеком того времени. Не университетами, а жизненной смёткой, природными способностями брал он новые и новые высоты. Видел, что сыновей надо воспитывать по-новому, обязательно образование дать хорошее. Учился и сам, где мог и как мог. Поэтому и знал, что обязательно надо переезжать с хутора Пробуждение, где жизнь постепенно (очень медленно) затухала. Ехать туда, где кипит жизнь новая, бурная, колхозная. Где электричество и школа, и клуб, устроенный в бывшей церкви. И старый помещичий дом, где теперь библиотека и для тёмных и дремучих старух деревенских открыли курсы повышения квалификации. То есть на самом деле — учат элементарной грамоте: читать и писать. Митяя давно заметили, предложили в колхозе хорошую должность бухгалтера. Трудодни учитывать и многое другое. Митяй о предложении думал, а между тем решил съездить ещё разок в Питер — построить очередной каменный дом. Там-то и случилась беда. Как-то руку засунул в бетономешалку — камушек из жидкого бетона вытащить, руку и засало. Еле вытащил, и — без трёх пальцев. После этого работник на стройке он стал никудышный. Уж как плакала, выла Тоська, целуя обрубленные пальцы. Плакала, да не знала, что рука эта покалеченная, может быть, спасла жизнь её мужу. Когда началась война, на фронт Митьку Румянцева не взяли именно по причине инвалидности. Хоть сам он и просился, и требовал, чтобы призвали. Не взяли. Мужики в колхозе тоже нужны были, хоть и покалеченные. И остался он чуть не единственным мужиком не только в Луговицах, но и во всей округе.

Время военное — страх, голод, надрывная работа. Тоська вкалывала не только за себя — за двоих. А может, и за троих. Такое время было суровое. Постоянно не хватало еды. Пекли лепёшки из горьковатой травы, добавляли чуть-чуть серой муки. Молоко, правда, было. Им и отпивались, но так хотелось хоть кусочка хлеба, хоть немножко мяса. Сыновья рвали

клевер и ели розовые головки — они были чуть-чуть сладковатые, а запахом так напоминали мёд! Летом ходили за ягодами и грибами. Как только вырастали яблоки, начинали их обрывать, хоть и зелёные, кислые, и несло с них, с этих яблок. Но это была еда... А Дмитрий помогал, чем мог. Бухгалтерствовал, но и бабьим полком руководил, и сам косил, и охотничал. В военное время много баб за ним бегало, за Митькой. Тоська тогда слёз выплакала море. До Шурки Фуфыревой доходили отдалённые сплетни, как караулила Тоська Митьку под окном Раисы Максаковой и как потом драла Тоська Раисину длинную косу и кричала матерные слова на всю деревню. Как разливали их водой. И как захаживал Митька к учительнице Валентине Фроловой, а та потом особо любила Румянцевых пацанов и «пятёрки» по математике Петьке Румянцеву ставила. Валентина Ивановна Фролова преподавала математику. А может, были это всё просто досужие сплетни и зависть. Потому что любовь у Румянцевых была самая настоящая и семья — на загляденье. Но о том становилось понятно, только когда подкрадывалось очередное испытание. И Румянцевы проходили его достойно.

Антонина украдкой, из-под прикрытых век, поглядывала на деда Митяя, своего мужа. А ведь и то сказать: по-прежнему — орёл! Из десятка, как у них говорили в деревне, не выкинешь. Вон как зорко всматривается в открывшиеся дали!

Митяй Румянцев хозяйским глазом оглядывал меняющийся за рекой пейзаж. Вот здесь были лучшие во всей, пожалуй, Тверской земле покосы. Трава, как шёлк, и вставал, бывало, весь колхоз плечом к плечу во время летней страды. Вдоль реки трава росла дружная, пахла клевером и мёдом. Давно здесь не был Митяй, а уж Антонина — и подавно. Когда-то Пробужденье окружали возделанные поля. Рожь, овёс, картошку сажали. Пахали и на лошадях, и тракторами. Луга выкашивали по нескольку раз за лето. А сейчас, без людской заботы, пахотные земли стремительно зарастали лесом и борщевиком. Сначала появился мелкий березняк. Кое-где поднялись одиночные изящные сосенки. Но в целом березняк этот напоминал заросли высокой травы да летом ещё был разбавлен цветущим иван-чаем. Иван-чай — растение высокое, растёт кучно, и березняк поначалу был даже не очень заметен в его плотном строю. А потом неожиданно маленьким и скромным стал лиловый иван-чай между вытянувшихся стройных берёз.

Но пришла другая беда — борщевик этот поганый, злобный и горький, которым начали зарастать сначала обочины, а потом и сами поля. Если коровы борщевик пожуют, молоко пить невозможно — горчило так, что скулы сводило и воротило с нутра. Вот так же, как постепенно зарастали поля, к Антонине подступали болезни и немощь. Она перестала проведывать закадычную подругу на хуторе, не хотела показывать ей свою подступающую старость, расплывшуюся фигуру, ставшую какой-то старушечьей. И сейчас с волнением Антонина ждала встречи. Боялась: а вдруг Шурка хороша по-прежнему? Вдруг время сыграло злую шутку и превратило одну подругу в старую жабу, а другую оставило чуть не королевшной с синей лентой в длинной косе? И, конечно, любопытство тоже разбирало Антонину: как там, на хуторе, одна-одинёшенька Ляксандра Фуфырева коротала свою жизнь?

А как она её коротала? День в заботах пролетал незаметно. Ляксандра привыкла к одиночеству. В свои восемьдесят лет обходилась без посторонней помощи, но была очень осторожна в быту, боясь нанести себе вред. Вот сломает, не дай Бог, ногу, что тогда? Помощи ждать неоткуда. Не позовёшь. И не так за себя беспокоилась Ляксандра, как за скотинку, зависящую всецело и полностью от неё. Кто выгонит на свежую траву козу, кто покормит старенькую Муху? Ляксандра, как ни крути, была богом этого места. Его хранителем. Вечером, управившись с хозяйством, выходила, по старой привычке, на скамейку возле своей избушки. Скамейка хоть и была вся прогнившая да почерневшая от времени, но небольшой Ляксандрин вес держала. Ляксандра отдыхала от дневных забот, о чём-то своём думала. Потом, когда солнце совсем уже клонилось к закату и в воздухе начинали звенеть первые комары, Ляксандра брала в руки палку, звала Муху и начинала свой обход по Пробужденью. Шаркала в неизменных резиновых галошах по зарастающей, но ещё заметной дорожке — когда-то это была центральная улица. Хутор Пробужденье раскинулся на взгорке. Где-то на вершине стоял некогда дом Антонины Комлевой, закадычной подруги. Сейчас от него, как и от многих других домов, остался один лишь развалившийся фундамент. По таким развалам да ещё по громадным старым берёзам можно было угадать местоположение бывших жилищ. Но Ляксандре не нужны были эти подсказки и напоминки. Она и так прекрасно помнила, где чей дом. Для неё хутор по-прежнему оставался населённым, если не людьми, то их призраками. И воспоминаниями. Ляксандра шаркала по направлению «снизу-вверх» и кивала каждой такой вот старой берёзе: здравствуй, Нина. Здравствуй, Тоська. Здравствуйте, Сычёвы. По деревенской традиции, возле каждого дома обязательно высаживали вдоль улицы берёзы и сирень. Сирень давно уже выродилась и куда-то исчезла, а берёзы вот остались вековыми стражами. И были для Ляксандры олицетворением соседей. Может, поэтому не чувствовала она одиночества — почти каждый день, если позволяла погода, Ляксандра обходила своих соседей-призраков и вела с ними беседы. Ляксандра и сама просмотрела тот момент, когда хутор зарос молодым леском. Как стеной. Правда, она не чувствовала от этого страха или отчуждённости. Наоборот — радовалась: зимой лес задерживал сильную пургу и ветер, а летом — по грибы по ягоды — ходить до Больших Бродов не приходилось. Пройдёшь совсем немного, и вот они, подберёзовики да подосиновики. Считай, во дворе растут. Муха тоже приладилась искать грибы и отмечала каждый из них громким визгливым лаем. Помогала Ляксандре в её тихой охоте. А лес к Большим Бродам был не такой светлый и юный, как их березняк, а тёмный, еловый и местами болотистый. И брали там клюкву и чернику. Попадалась и морошка. Морошка — ягода своеобразная, северная, яркочерная и очень полезная. Но морошка росла в глубине большебродовского леса. Там, где раскинулась гладь серебристого озера Белого. Ляксандра, когда ещё была помоложе, ходила на Белое и просто так, не за ягодой. Казалось, там замирает время, у этой воды, будто подёрнутой серебряной плёнкой. Даже от ветерка гладь не колыхнётся, и казалось, что не вода это, а, например, ртуть. Только вдруг стая диких уток срывается откуда-то с шумом, и тогда на несколько минут всё вокруг приходило в движение и наполнялось клёкотом сорок, треском веток в лесу, шорохами и хлопа-

нем крыльев. А потом, так же неожиданно, — снова наступала полная тишина. Ляксандра ходила на озеро Белое, проведать Устинью Полозову. Когда-то во время войны Устинья Полозова, получив похоронку на своего мужа, рыжего весельчака, стала выть и рвать на себе волосы. Потом кинулась прямо из избы в лес. Думали — прорывается, выплчется, со слезами и криками выплеснет горе. Но Устинья не вернулась ни вечером, ни на следующее утро. Нашли Устинью — утопленницу: приняло её озеро Белое. Не пожалела молодая ещё и красивая баба ни троих малолетних детей, ни старуху-свекровь. Детишек забрали в детский дом, свекровь умерла ещё до ноябрьских. А Ляксандре всё казалось, что Устинья жива, что дом её теперь — озеро Белое. Что стала Устинья Полозова русалкой. Ляксандра заглядывала в серебряную воду: она была чистейшей, но не прозрачной, и рассказывала Устинье все деревенские новости. Новостей, правда, было мало, но Ляксандра всё равно находила, о чём рассказать.

Вот здесь, у деревни Большие Броды, река Хорловка делает плавный изгиб. До хутора Пробуждение рукой подать. Да и озеро Белое — рядом.

Афанасий Ильич неожиданно остановил телегу.

— Афанасей, ты чего? Совсем немножко осталось. Поехали уж... — попросила Антонина. Она стала совсем бледной, лоб покрыла испарина. Но и Митяй уже спрыгнул с телеги.

— А ты куда, Митяй? Ехать надо!

— Да к реке подойду... Мне тут эта... Глянуть надо... — не закончил фразу Митяй. А зачем остановился, сам-то он хорошо знал. Просто вдруг почувствовал, как река позвала к себе. Хотела ему что-то очень давнее, но важное напомнить... Перед самой войной было дело. На дальнем лугу, у Больших Бродов, косили сено. Во время перекура оторвал шутник Митяй Румянцев от журнала «Огонёк» обложку с портретом Иосифа Виссарионовича. Обложечная бумага для самокруток неподходящая. Глянцевая и красочная. На самокрутки хорошо шла газетная, желтоватая и мягкая. Но и серединка «Огонька» тоже неплоха. Только бы — не обложка с краской. Так вот, оторвал Митька обложку и бросил в воду, прямо в неспешное течение непредсказуемой Хорловки. И сказал: «А этот пуцай поплавает». Кто знал, что из этого выйдет целое политическое дело? И кто донёс только, кто увидел в шутке «заговор против главы государства»? Приехали за Митяем Румянцевым на утренней заре. Из самой Твери. Сказали: «Есть сведения, что вы распространяете пасквили на самого товарища Сталина. Позволяете лишнее, так сказать. И есть подозрения, что возглавляете вы самый что ни на есть политический заговор».

Рыдала Тоська, рыдали и Петька с маленьким белокурым Митькой. Но забрали в «воронок» Дмитрия Румянцева и увезли. Тогда и сдружились по новой Шурка с Тоськой, потому что с «политическими» дружбу старались не водить, и клеймо — «жена врага народа» — разве вытравившись. Но Шурка, исполненная жалости и сострадания, и — чего греха таить — застаревшей, но не прошедшей любви к Митьке Румянцеву, как узнала, прискакала со своего хутора в гости к Тоське. Да так и осталась. Аж на две недели. Эти полмесяца вспоминала потом как новый виток дружбы и откровений. Тогда много чего рассказала ей Антонина о своей жизни, о том, как каждый год выкидыши у неё были от непомерной, тяжёлой работы. И каждый плод был — мальчик. Ни одной девочки. А уж как

хотела Антонина девочку! Просила у иконы своей семейной — Ульяны с Петром — дочку, помощницу. И был как-то выкидыш двойней. Мальчики опять. Рассказывала и о ревности своей, и о том, как Митька бывает суров и несправедлив, когда выпьет. И даже сказала, что вспоминал иногда, в подпитии, Митяй её, Шурку, и жалел, что не женился тогда на Шурке. «Вот,— говорил,— баба! — и не старится, а с каждым годом всё больше наливается, как спелое яблоко штрифель на ветке». Ревновала Тоська. Но потом, когда проспится, Митька — опять самый любящий и заботливый. И цветов полевых, бывало, нарвёт и в окно открытое кинет. Как совсем молодой парень своей невесте. Или на последние деньги купит конфет-подушечек — слипшихся, в каких-то крошках. Принесёт домой и скажет: «Пацаны, налетайте, но мамке сладкого тоже оставьте!» Очень он семью свою любил, Митяй Румянцев. Как теперь без него?! Плакали подруги вместе. А потом однажды, когда Антонина, стиснув зубы, почти преодолела горе, подошёл светленький, щекастый сынок Митька, младший Румянцев. И сказал: «Не плачь ты, мамка, по ночам! Папка через тридцать три дня придёт». Вот ведь чудо или блажь какая! Откуда он знал, пятилетний малыш, такую цифру? А ведь совпало. Через тридцать три дня ровно отпустили Дмитрия Румянцева. В колхозе нужен был каждый человек. Уже война подступала к самому порогу. Так что отделались лёгким испугом, можно сказать. Шурка больше в Луговицы к Румянцевым никогда не ездила. Только если по делам в сельсовет, но и то редко. Она не любила уезжать с родного хутора даже на день.

Дед Митяй сидел у воды, смотрел в светло-коричневые потоки. Антонина приковыляла, присела рядом. Афанасий Ильич распряг своего каурого, под уздцы повёл в воду — собрался испустить Баловня. Здесь, у Больших Бродов, была большая и тихая заводь. Местные называли её барской купальней. Когда-то на бугре стоял дом помещика Додонова. Дворовые люди устроили помещику деревянные мостки — знатную купальню. Чтобы, значит, ноги в жирном иле не возюкать и в траве не путаться, а с мостков — сразу в воду! С годами мостки погнили, и смыло их весенним ледоходом, талой водой Хорловки. А место осталось, очень удобное место. Главное — подход широкий. И самим искупаться в жаркий полдень, и коней отвести чуть ниже заводи, почти к самому перекату — водой чистой напоить, окатить из ведра, чтобы остудить лошадь в летний зной. Афанасий Ильич так и сделал.

Баловень всхрапывал — шёл поначалу неохотно.

— Что-то конь у тебя бздиловатый! — бросил ехидное словцо с берега дед Митяй деду Афанасею.

— Сам ты... Бздиловатый! — обиделся Афанасий Ильич. — Иди лучше ко мне, поддержишь его за уздечку, а я щёткой пройдуся. — Оказывается, знал, что придётся коня купать, взял с собой щётку.

Митяй охотно согласился. Дело привычное и любимое с раннего детства — купать коней. Дед Митяй быстренько снял хромовые сапоги, праздничные, одетые по случаю визита на хутор Пробуждение, скинул брюки и остался в семейных сатиновых трусах, по колено. С удовольствием полез в воду. Так и стояли они вдвоём, два деда, купали Баловня. Конь присмирел, он любил, когда его мыли. Митяй держал жеребца под уздцы, Афанасий тёр щёткой. Антонина на берегу, сквозь прикрытые веки

наблюдая за своими «парнишками», задремала. Солнце сильно припекало, но и прохладой тянуло от реки.

А деды вдруг взялись брызгать друг друга водой с ладошки, гоготали и делали радугу. Это такая известная забава деревенских пацанов, когда одной рукой подкидываешь воду, а другой — сильно бьёшь по струе и по брызгам. Вода разбивается в мелкую пыль, и кажется, прямо в руках мальчишек вспыхивает дугою радуга... Небольшая, но яркая и мгновенная. Баловня деды уже отпустили. И тот, выгнув палево-коричневую шею, взбрыкивал в заводи, делал стойку на задних ногах, взметнув тысячи брызг. Антонина увидела, что радуга вспыхивает и вокруг коня. Сладко защемило на сердце. «Ровно ребятишки малые...» — пробормотала она. Опять вспоминалось. Видно, такой сегодня ей выпал день. На самом закате жизни выдался день воспоминаний.

Жизнь шла своим чередом. Закончилась война. Выросли сыновья. Старший, Петька, уехал, стал уважаемым человеком в городе. И женился там, в Питере, и внуков подарил. Когда родился у Петьки Вовка, очень расстроилась Антонина. Так хотелось девочку, внучку — вместо неродившейся дочки. Маленькую, ясноглазую. Вовка был славным бутузом, неглупым, вдумчивым, но — совсем не озорник, не гармонист, как Румянцев-дед. Обычный, в общем, парень. Приезжал в деревню не часто — не любил. А потом родилась и внучка — Катька, и радовалось сердце Антонины. Потому что как только увидела её, крошечную, бледненькую, с тоненькими ножками и белесыми бровками, — тут же признала свою породу. И до страшного похожа маленькая Катька на утонувшую сестрицу Катерину. Такие же припухлые верхние веки, такие же дождисто-серые глаза. Северная питерская девочка деревню тоже полюбила и деда с бабкой. Петька привозил Катьку ещё в мае, а обратно, в город, забирал в конце лета или даже в начале сентября. Катька в детский сад ходить не любила, она любила жизнь привольную, деревенскую. Целыми днями пропадала в полях, собирала букеты, плела венки. Бегала с деревенскими ребятишками на речку. Дед с бабкой целыми днями работали на колхоз. Так Катька сама с речки прибежит, тощим гибким тельцем пролезет в дом, там, где лаз для кошек и куриц, и в курятник сразу попадает. Там найдёт свежее яйцо из-под несушки. Тут же разобьёт и выпьет. И — снова сыта и весела. «Катька-гнидка», — называл её дед Митя, а Антонина сердилась: «Какая тебе ещё гнида?!»

— Не гнида, а гнидка. Разницу понимай, Тоська. Это я любя. Смотри, какая у нас внучка прозрачная и бледная — ну чисто гнидка.

Катька-гнидка любила книжки. Привезла их из города целую сумку. Хоть и была совсем ещё маленькой и читала плохо, по складам, но тоненькие книжки знала наизусть: заставляла в своём городе родителей читать перед сном по десять раз одно и то же: и стихи, и сказки, и даже про японские обычаи какую-то книжицу любила. «Кокэси и Тако» называлась. В книжице рассказывалось про национальные японские игрушки: куклу Кокэси, кошку с поднятой лапой — символ счастья, японских воздушных змеев, которых дарят маленьким мальчикам на праздник будущих мужчин. Дед Митяй вырезал ей из липовой толстой ветки такую вот Кокэси. А потом показал, как увеличительным стеклом выжигать узоры на дереве. И Катька расписала свою деревянную куклу не хуже японского мастера.

Приезжала Катька в Луговицы набраться здоровья, а получилось так, что заболела. Она любила воду, Катька, и летом ей набирали воды в жестяную ванну и ставили на огороде. Катька сидела там часами, в этой маленькой ванне, и играла с какими-то самодельными корабликами из листочков и пассажиров-жучков. А земля тянула холодом. И через тонкое дно ванны глубокий холод пробрался в маленькое Катькино тельце. Дед с бабушкой не обратили внимания на появившиеся синячки под глазами у всегда бледненькой Катьки. Катька так же бегала по улице, кормила кроликов и кур, рвала букеты и рисовала письма родителям в Питер. А когда её забрали наконец в Северную столицу то сразу и положили в больницу. Лечили лошадиными дозами антибиотиков, не могли установить причину. Приходили разные доктора. Гадали — почки застужены? Сосуды не в порядке? Сердечко больное? Назначали новые и новые лекарства. А Катька угасала. И угасла. Как убивалась Антонина! Сразу постарела на двадцать лет. Казалось — жизнь кончилась и у неё. И, казалось, большего горя не может быть. Но получилось — бывает и хуже. Второй сын, Митька-младший, остался жить в деревне. Выпивал, как все. Не больше. Но и не меньше. В семидесятые годы в деревне стали пить как-то слишком люто. Митька работал трактористом. Как-то шёл домой, а было время зимнее, холодное. Упал около калитки, не смог подняться. Заснул. Когда нашли обморожившегося Митяшу, он был уже и сильно простужен, и главное, отморозил свои резвые ноги. А Митька был всегда очень весёлым и подвижным. В отца пошёл, только не было в нём румянцевской природной цельности и рассудительности. «Ванька-ветер» звал его отец. Целый день, бывало, Митяй-младший на ногах: то за грибами наладится, то на рыбалку. Был... Оттяпали Митьке ноги сначала по колено, потом — ещё выше. И стал Митька совсем другим. Не весёлым парнем с пшеничными волосами и тугими красными щеками, а мрачным и даже порой свирепым. Только Митяй-старший и мог с ним справиться в моменты такой вот необузданной ярости. Иногда — сидели, выпивали вместе. Вспоминали войну и как забрали Румянцева-старшего из-за портрета Сталина. Или — как было голодно, а теперь вот иди и покупай в сельмаге что хочешь — хоть хлеб, хоть стиральный порошок. Или вспоминали маленькую Катьку, рыбкой скользнувшую в небытие.

— А ноги, ну что ноги... отправим тебя, Митус, к брату в Питер. Вылечим. Протезы сделаем... — говорил отец.

Митька и верил, и не верил, что брат примет, что вылечат... и правильно не верил. Не вылечили. Не смогли. Ноги пошли портиться и дальше, и следующей зимой Митька-младший упокоился на тихом сельском кладбище. К тому времени уже вывели клуб из маленькой церквушки и даже принялись её реставрировать, чтобы вести там церковные службы.

На похоронах была вся, кажется, округа. Не только из Луговиц, но и из близлежащих деревень приехали. И Шурка приезжала. К тому времени стала она уже Ляксандрой — бесповоротно. Были и Митьки-младшего одноклассники, бывшие, конечно. Некоторые выбились в люди, некоторые — спились. Большинство — с детишками. И жалко было Антонине, что не успели сыграть свадьбу Митьке-младшему, благословить их семейной реликвией — иконой Ульяны и Петра. На похоронах, как водится, забыли, зачем собрались. Перепились, пели, кто-то принёс гармошку. С портрета

улыбался Митька-младший. Пшеничные усы, прищуренные глаза. Эх, какой парень! Казалось, он тоже присутствует на этом своём странном празднике. Может, смерть и похороны это и есть праздник? Освобождаясь от брэнного, земного. Может, это такой день рождения наоборот...

Так думала Антонина сквозь пелену слёз. И не собиралась, вроде бы, плакать, не хотела показать свою немощь перед стариками, да слёзы сами текли, не спросясь, по её морщинистому лицу.

И прошли годы. И десятилетия. И опять было много работы, да старость вдруг подкралась. С болезнями и немощами. Превратилась Антонина в старую-старую бабку, полную, грузную. Ходил за ней Митя Румянцев, как за больным ребёнком. Лечил, как мог. Крапивным венником хлестал — это помогало больной спине и отёчным ногам. Сам начал готовить, ухаживал за скотиной. За последние пять лет Антонина получила столько любви и нежности от мужа, сколько, бывает, и за целую жизнь не получает женщина. И всё он шутил и надеялся, что поднимется Тоська и пойдут вместе по ягоды, и поедут в гости к учёному сыну в Питер. Сын приезжал каждое лето исправно. Приезжал и внук Вовка, тот самый, первый внук. Стал Вовка мужичонкой-неудачником. Таксовал. Пётр был недоволен. Недочка, семьи нормальной нет. Ветер в голове у Вовки. Ураган. Дед с бабкой всё равно старались ему и яиц свежих сунуть, и первой клубники с грядки. А Вовка в один из приездов украл из красного угла икону Ульяны и Петра. И монеты дедовы прихватил, те самые пятаки, что он привозил из Питера, за строительство домов полученные. Обидно было старикам — не то слово... Но пережили. К материальному они уже не привязывались. Да, собственно, и никогда не привязывались... Было у них нечто большее. Совместные вечерние посиделки, когда багровое солнце закатывается за крыши луговицких домиков. Кошка Катька (тоже Катька!) придёт, трётся о ноги в галошах. Ноги все опухшие, плохие. Руки — в прожилках и венах буграми. А сидят старики, как молодые. Как когда-то, после танцев, сидели на берегу Хорловки. Так же звенят комары, так же невыносимо остро пахнет скошенной травой. И нет ничего лучше этих спокойных минут. Вся жизнь — в них...

Тут Антонину окончательно сморило. То ли жара склонила в забытьё, то ли воспоминания. И даже не совсем она уснула, а вроде как погрузилась в видение. Отчасти этот сон Антонина уже видела. Перед тем как засобиралась к подружке на хутор. Но только — отчасти. Первая часть сна была такая. Зелёная-зелёная гора, просто изумрудная. Залита солнечным светом. Как-то резко вверх идёт берег от речки. Да это же Хорловка, и на вершине горы — хутор Пробужденье. Тот самый, где всё начиналось. Ещё в самом начале этой долгой и трудной жизни, вот они все там.

Идут, взявшись за руки, молодые, сильные, полные энергии. Антонина и Дмитрий. И рядом маленький Митька бежит — пухлый, краснощёкий, весь какой-то пшеничный, и бежит на своих крепеньких ножках. И Катька маленькой серебристой рыбкой скользит между высокой травы, а на голове веночек из ромашек и васильков. В руках — букетик земляники. Она так собирала землянику, Катька, букетиками: рвала ягоды вместе с веточками и листочками. И Устинья Полозова с ними, ещё не утопилась в своём озере Белом. Потому что ещё не было ей похоронки, не было ещё войны. Все живы. Идут они все дружно вниз, к Хорловке, туда, где

Катерина — сестра гонит из воды гусей. Надо успеть помочь ей, пока солнце не село...

Спустились все вместе к реке, Катерину спасли и — ну купаться! Бабы, девки и дети — отдельно, мужики и парни — за кусты отошли. Взрослые женщины, замужние, полезли в воду прямо в сарафанах. А чего тут такого — на берегу за пять минут обсохнешь. Сарафаны — лёгкие, продувные, к телу так и льнут, груди и всё остальное облипают... Мужики, довольные, из-за кустов поглядывают, гогочут. А парни затаились поблизости — две девушки, Тоська и Шурка, полезли в воду нагишом. Что тут такого — всё равно ведь никто не видит?! Тоська в воде изгибается, прямо как русалка, только что по воде хвостом не бьёт... Шурка входит в воду спокойная, дебилая, груди двумя руками приподнимает, косу расплела. Мать Тоськи увидела девок, переполюшила: «Бесстыдницы! Ишь, чего удумали! Ну-ка мне — на берег!» Тоська выходит медленно, потому что знает: Митяй Румянцев на неё из высокой травы сейчас смотрит. И Шурка, довольная, смеётся и воду из косы отжимает: это ещё большой вопрос — на кого смотрел из травы Митя Румянцев.

А другая часть видения Антонины — тревожная, полная сомнений и беды. Да ведь точно так и в жизни было. Не всё — на голяк купаться, не всё — танцы и веселье, свиданки и сеновалы, душные под утро от поцелуев и любви. Горе рядом ходило и стучалось в дом. И неизвестно ещё, чего больше было — беды или счастья? Вторая часть сна Антонины такая. Снова та же гора, у реки Хорловки. Трава — зелёная-зелёная, но уже с какими-то жёлтыми клиньями-подпалинами и клочковатая, словно шкура бродячей собаки. И местами пожухлая, слежавшаяся, будто кто-то её топтал, катался спиной вдоль берега. Сушь. Воздух звенит от жары и зноя. Даже кузнечики не стрекочут. И слепни куда-то пропали. Хорошо бы сейчас дождя. Вверх по откосу идут, выстроившись в цепочку, мужики и парни. Они косят траву. Вжик-вжик! — мелькают в их руках острые косы. Вжик-вжик! — это уже говорят в руках косцов бруски-напильнички, которыми они правят косы-литовки, предварительно отерев лезвие пучком травы. Всё труднее и труднее становится косить, трава не ложится ровным валком под косой, мнётся комом, цепляет за ноги. «Эх, сушь-то какая! Только бы не гроза...» — с тревогой смотрит на небо Митяй Румянцев. Девки и бабы ворошат сено деревянными граблями, сгребают его в копны. Давно нет росы на лугах у хутора Пробужденье. Антонина тревожно думает: «Случись искра какая или молния, не дай Бог, ударит — полыхнёт снизу, и мгновенно огонь доберётся до хутора... Эх, эх! не быть бы беде...» Мать Антонины бросает грабли и кричит: «Икону несите, Ульяну и Петра!» Бабы и девки тоже грабли побросали, вторят ей громко и голосисто: «Крестный ход собирайте, крестный ход! Молиться будем...»

А иконы ведь нет уже, Ульяны и Петра, её Вовка украл и пропил. Так думает Антонина. Как же мы теперь, без иконы?! Ведь молиться-то надо! Можно, конечно, и без иконы молиться, Бог — он у каждого в душе. Но образ святой — нагляден, надо всем смотреть на тёмный лик в сиянии золотистого нимба. Родители наши смотрели и молились, и нам смотреть надо... и молиться. Чтобы спасти хутор Пробужденье.

И вот Антонина видит: по пыльной дороге идёт к сенокосчикам священник в жёлто-сливочной, прямо какой-то солнечной рясе. Правда, он слегка угловат и неловок, потому что он совсем ещё молодой, этот батюшка. И на затылке у него коса, собранная обыкновенной резинкой.

И борода ещё не густая, но зато глаза у священника голубые и пристальные. Это отец Андрей, он восстанавливал церковку в Луговицах и остался здесь жить навсегда. Хутор Пробуждение теперь тоже его приход. Отец Андрей учился где-то в Питере на художника-иконописца, а потом был рукоположен в священники и стал настоятелем луговицкого храма. В руках отец Андрей несёт икону. Ульяна и Пётр. И Антонина понимает: отец Андрей написал икону заново. Хуже она от этого не стала. Только оклад старинный пропал — кисти винограда и листья. И все люди идут навстречу отцу Андрею. Надо идти. Так положено. Не нами и даже — не нашими родителями. Нет у нас другого пути.

И вот — следующая картинка. Деревня. Дождь. Сильный, стеной! Где-то далеко грохочет гром. И дождь падает отвесно, и уже глубокие лужи, как маленькие озера, и по ним пляшут круги. «Это балеринки крутят свои юбочки», — так говорила внучка Катька про дождевые круги на лужах. И действительно, похоже на балеринок. «Танец маленьких лебедей».

И весь народ собрался и радуется дождю. Потому что — урожай спасён и засуха отступила. Ульяна и Пётр помогли, слава Богу. Бегаёт обалдевшая от радости ребятня; на крыльцо вышел древний дед Влас — он сто лет лежал на своей печке и, казалось, уже никогда не поднимется. А тут, гляди-ка, вышел на негнувшихся ногах, шуруется, смотрит на благодатный дождь. И гуси, целая дюжина, гогочут и радуются. Хлопают крыльями, вытягивают вверх шеи, громко кричат. Им кажется — сейчас полетят. Хотя куда им лететь, домашним? Дождь придаёт силы и уверенность. И гусям, и деду Власу, и ребяташкам, и девкам, которые, в намоченных своих рубахах, визжат и бегают по лужам. Как те дети... А дождь шумит по листьям, поит иссохшую, измождённую землю. Разверзлись хляби небесные, так это, кажется, называется.

Антонина чувствует эту тёплую, живительную воду; она течёт по лицу, а может, это не дождь, а слёзы? Очищающие и светлые. Всё будет. Жизнь будет продолжаться. Спасены...

Так думает Антонина. И просыпается.

Очнувшись Антонина с колотящимся сердцем. Ещё раз поняла: пора! Всё правильно она делает. Её время пришло. Скоро уже встретится она и с сыном, и с внучкой, и с сестрой, и с солдатской вдовой Полозовой. Почему только был там ещё и Митяй-старший?

— Запрягай, Афанасей, поедем, — попросила Антонина Афанасия Ильича. И совсем тихо сказала Митяю: — Сморило меня. Опять видение было... Как домой вернёмся, ты мне отца Андрея позови. Исповедаться хочу. И причаститься.

Дед Дмитрий вздохнул и махнул рукой:

— Всё бы тебе виденья! Ещё меня переживёшь. Попик этот, с косичкой... Раскольник какой-то.

— Не юродствуй. И не охальничай, — посуровела Антонина и губы поджала. В который уже раз за сегодняшний день.

Митяй знал, что с женой спорить бесполезно.

Когда приехали, деду Дмитрию показалось — Ляксандра их ждала, как будто знала, что приедут. Вышла в чистеньком платочке и крепдешиновом летнем платье. Совсем не по возрасту оделась. Стало понятно — готовилась к встрече с подругой. Обнялись, расцеловались. Не плакали. Ляксандра сухо сказала:

— Митяша, Афанасий, нам поговорить надо. Оставьте нас... А ты, Тоська, в дом проходи. Я чай с мятой заварила.

Румянцев ответил:

— Ну, мы пройдемся. Посмотрим, как тут...

А что смотреть? Вместо домов — одни воспоминания. Вот здесь был дом Антонининой матери. Вот здесь — большая берёза, с которой упал когда-то совсем ещё маленький Петька. Берёза ещё жива, хоть и покрыта вся грибом-чагой. А вот чей-то дом ещё не успел разрушиться. Стоит, смотрит пустыми, без стёкол, окнами. Дом с глазницами. Дмитрий пошёл по тропке, за хутор, к бывшей плотине. Да по дороге хотел завернуть ещё в молододой березняк — грибы проверить. Подосиновики и подберёзовики уже должны были быть. На базаре в Луговицах появились. Митяй всегда был хозяйственным — всё в дом, всё для семьи.

Афанасий Ильич Баловня распряг, насыпал ему овса вволю.

— Молодец, коняга, наработался, — сказал Афанасий Ильич и от себя сунул Баловню краюху хлеба, посыпанную крупной солью.

Была у него такая в хозяйстве — для засола рыжиков, лисичек и груздей. Конь взял хлеб своими замшевыми губами, благодарно скосил огромный, навывкате, глаз, боднул хозяина крупной головой.

— Ну-ну, не балуй у меня... отдыхай пока, вечером опять в дорогу... А может, заночует Тоська у Ляксандры.

Афанасий Ильич прошёл в дом. Славика не было нигде. Лишь в горнице светился огонёк на компьютере. «Вот ведь нерадивец какой, — сокрушённо подумал дед Афанасий, — даже прибуду свою выключить забыл! Это ж сколько она энергии сожрёт — по спутниковой-то связи?» Он подошёл к столу и тронул «мышку». Экран сразу оживился, сделался ярче, и возникли на нём буквы. Дед Афанасий нацепил очки. И невольно прочитал. Это было письмо какой-то Ирине Куколке — так она именовалась в графе «Кому» — от его внука Славика. То ли забыл его отправить Славик, то ли хваленая спутниковая связь на этот раз не сработала.

Славик писал Ирине: «Деревуха — мрак! Два дома осталось, остальные заколочены. Комары и слепни жрут с утра до вечера. Спасаясь только на сеновале — там можно зарыться в сено. А ночью сижу на крыльце. У моего деда Афоньки — во фрэндах бабка Александра. Все зовут её Ляксандрой. Деревенская сумасшедшая. Ночью бродит по хутору в резиновых галошах. Как привидение. И глаза — острые и колючие, как глянёт на меня, сразу сбежать подальше хочется. Я и сбегаю. В местном райцентре нашёл чувачков — с виду синяки, но в принципе деловые. Езжу к ним похмеляться. Когда возможность выпадет. Пешком ходить далековато. Научили меня жевать здешние ягоды красные, от ландышей. Торч есть, но с перебором башкец раскалывается. Это какой-то пипец. Еда в деревне тоже подходящая. Яйца из-под куриц такие жёлтые, что кажутся химическими. Ляксандра припёрла козьего молока. Я попробовал — чуть не блеванул. Конкретно — козлом воняет. Дед жрёт какой-то творог с молоком, он у него в сенцах, в чанах, киснет. Вместе с мухами и комарами. Он потом его через марлечку отжимает, разбавляет молоком и жрёт. И меня заставляет. Я понюхал и стал про себя деда Афоню звать дедом Воней. Правда, смешно — дедушка Воня! Тёмный и прижимистый. Думаю, что раньше он этой дурочке в галошах Ляксандре присовывал...» Афанасий Ильич дальше читать не стал. Во-первых, на душе

стало так гадко, как никогда в жизни не было. Дедушка Воня... Во-вторых, за спиной раздался скрип лестницы, ведущей на чердак. Славик спускался — морда опухшая то ли со сна, то ли с похмелья. Быстро метнулся в сенцы, загремел ковшиком в ведре с водой. Так же быстро вернулся.

— Ну что, Воня?! Чужие письма, значит, читаешь!

Афанасий Ильич замахнулся на внука кулаком.

— Мерзавец какой! Да я тебя — в бараний рог...

Но в бараний рог Афанасия Ильича свернул Славик, его родной внук. Получилось вот как.

На следующее утро после набега на ландыши и догонялок в баре остро встал вопрос с тем, как «поправиться». Проснулся на квартире у беззубой дамы с французским макияжем под глазом. Не мог вспомнить толком — было ли чего, не было? Но в паху подозрительно саднило. Вспомнил про деда. Созрел план. Рассказал о нём Попу. Поп ночевал на кухне, на раскладушке. И план поддержал. Решили ехать на мотоцикле. Поп вёз Славика напрямки, срезая дорогу, по ухабам и кочкам. Как заправский Шумахер. Славика подташнивало и лихостило. Хотелось быстрее вмазаться. Поп Славика на землю сбросил, крикнул: «Приеду вечером! Жди!» И уехал в свои Луговицы. Славик остался один — деда дома утром не оказалось. А когда услышал и увидел вернувшегося деда, просто озверел. Вот ведь гадина! Сидит здесь, старый гриб, в своём оазисе. Ягоды ему собирать... Чужие письма читает! Деревня вонючая. Злоба придала сил. Денег уже не просил, как сначала собирался, — требовал.

Дед, конечно, был возмущён. Со Славиком своими старческими руками справиться не мог. С таким вот Славиком: охваченным своей зависимостью, своей страстью. Афанасию было горько, но страха он не испытывал. Отвращение — да. Он понял, что проиграл. Вся жизнь оказалась ненужной, неправильно выстроенной. Что делать? Афанасию требовалась помощь. Он из рук Славика всё-таки вырвался и пошёл запрягать коня. Решил ехать в Луговицы, в бывший сельсовет. Там — связь с Москвой. Надо заказать разговор с сыном, объяснить, что не справился, не смог совладать с родным внуком. Пусть сын приезжает и что-то решает. Его охватило отчаяние. Страшное отчаяние и бессилие. Вывел Баловня, успокаивал, говорил что-то ласковое. Баловень казался родным и понятным, в отличие от демонического Славки. И вдруг дед замер. Он почувствовал этот злой, колючий, какой-то нечеловеческий взгляд внука. Внук смотрел на коня. Дальнейшее, со слов Ляксандры, было записано участковым милиционером Вишняковым Лёшкой, то есть Алексеем Викторовичем. Вишняков был человеком не очень грамотным, но усидчивым. Записал всё, как надо.

Протокол*

с. Луговицы, хутор Пробужденье, Тверской обл.

Записано со слов Фуфыревой Александры Викторовны верно.

Дата, подпись.

Мой сосед Дмитриев Афанасий Ильич ожидал в гости внука Славу (Вичислава? Станислава?) Сергеевича. Вичислав Сергеевич третьего

* В тексте протокола сохранена орфография и пунктуация оригинала (Авт.).

дня 19 июля с.г. уехал в село Луговицы когда Дмитриева А. И. не было дома (ездил за семьёй Румянцевых). Там Слава имел контакт с местным населением в лице Попова Н. Н. и его товарищей. Домой возвратился в состоянии нетрезвом агрессивном. Требовал материальных вложений. Дмитриев А. И. в средствах отказал. Произошла ссора. Дмитриев Вичислав Сергеевич требовал денег посредством пытания коня Баловня, домашнего животного. Конь был привязан к забору и оказывать сопротивление не мог. Дмитриев А. И. не мог противостоять также. Вичислав Сергеевич коня колот ножом большим разделочным (прилагается) и раскалённой кочергой прижигал (прилагается). Дмитриева А. И. бил и душил. Свидетельницы Фуфырева А. В. и Румянцева А. В. хотели застрелить Славу из ружья охотничьего, двуствольного (прилагается). Но в ружье не было патронов, а патронташ Дмитриев Афанасий Ильич спрятал в кладовке. Вичислав Сергеевич ружьё отобрал и прикладом ударил Антонину Румянцеву. Румянцева на какое-то время сознание потеряла и происходящего уже не помнила. Свидетель Румянец Дмитрий в это время совершал прогулку в окрестностях хутора Пробужденья и криков не слышал. Конь Баловень ржал и кричал, потом ослабел и упал. Дмитриев А. И. тоже умер, предположительно от сердца. Оказывать сопротивление не мог, на помощь позвать некого было, телефонной связи на хуторе Пробужденье нет. Дмитриев Вичислав Сергеевич совершил ограбление Дмитриева Афанасия Ильича, забрав гробовые денежные средства в неустановленной сумме. Потом совершил поездку на мотоцикле Попова Н. Н., который приехал около пяти часов вечера. Перед этим Дмитриев В. С. сидел на крыльце и ждал Попова Н. Н., согласно их предварительной договорённости. Больше я его не видела. Конь Баловень в больном состоянии изъят ветеринарным врачом села Луговицы Николаенко Л. А. Тело Дмитриева А. И. (труп) забрано сыном Дмитриевым С. А.

Куры забраны мной, Фуфыревой А. В.

Записано Вишняковым А. В.

Дмитрий Румянец так и не узнал, о чём говорили бывшие подруги. Может, Антонина просила прощения у Ляксандры. Может, рассказывала свою настоящую жизнь. У Ляксандры-то жизнь вообще мимо прошла. Да... Так бывает. «Прожила — как за пнём высралась», — говорила, помнится, Ляксандра. А может, просила Антонина свою подругу присмотреть за дедом. Кому он теперь нужен будет, считай, осиротевший старик? А может, перед лицом смерти всё становилось неважным: ревность, воспоминания. А было только сегодняшнее вдруг подкравшееся бессилие. И их примирение на фоне этой разрушенной, закончившей свое существование деревни — хутора Пробужденье. Кто теперь тебя помнит, кто о тебе знает? Но всё это оказалось ненужным и неважным. И этот разговор, и завещание одной подруги для другой.

Дмитрий Румянец волю жены исполнил. Пришёл молодой священник отец Андрей и уходящую из жизни Антонину исповедовал. Лежала она на тахте просветлённая и счастливая. Дед Митяй сам видел. Обмануть его уже трудно было.

После смерти Антонины Митяй Румянцев сам прожил недолго. Только месяц. Купил себе ящик портвейна «777» и пил, пил, не останавливаясь. «Нет мне больше жизни без моей Тосеньки», — плакал, пьяненький, слабенький. Своей искалеченной рукой наливал портвешка в гранёный стакан.

Каурый конь Баловень после пыток выжил, но полностью ослеп. Лёня Николаенко, ветеринарный врач, приспособил Баловню доставать воду из глубокого колодца в той самой конторе «Заготовка дикоросов», куда Афанасий Ильич некогда сдавал грибы и ягоды. Конь теперь ходит по кругу и вращает деревянный барабан, на который накручивается верёвка с полной бадьёй. На глазах у Баловня два чёрных матерчатых кругляша — такие выдают на самолётах «Аэрофлота» пассажирам дальних рейсов, чтобы они могли поспать. Продвинутая бухгалтер Надежда над Николаенко посмеивается. Заготорганизация — не хилая по местным меркам контора, а богатая. Чего проще, могли бы купить насос «Малютка» и качать воды сколько нужно. Но Лёня, молодой ещё мужик лет сорока, хватает Надю за крутые бока и шутит: «Знаю я вас, заготовителей дикоросов! Того и гляди — пустите коняшку на колбасу...»

Вячеславу Сергеевичу Дмитриеву прокурор из области просил назначить пять лет строгого режима. Но потом судья передумала и дала всего три года условно, раньше это называлось — «химия». То есть отработка на объектах народного хозяйства. Чаще всего — на стройках. Она передумала после того, как Серёга — сын Афанасия Ильича и отец Славы — несколько раз возил судью на своём джипе к переезду у Больших Бродов. Купались, ели шашлыки и орали песни. «И снова седая ночь...» Дело житейское. Оказалось, что Серёга и судья когда-то учились в одной школе, только в параллельных классах. И даже вроде как у них любовь намечалась. «Окончен школьный роман...» А теперь вот чувства вспыхнули с новой страстью. Другкам Серёга объяснял: «Нельзя ему на зону! Он оттуда законченным убийцей вернётся». Жена Серёгу Дмитриева простила. Сыночка спасал, что тут скажешь.

А Ляксандра, она жива и сегодня ещё. Живёт на хуторе Пробуждение. Живой памятник людям, которые когда-то там были. Любили, рожали детей, работали. Крепкая старуха оказалась. Со стержнем...

Из справочников

Ландыш майский — *Convallaria majalis*. Цветки ландыша майского собраны в одностороннюю кисть, после созревания из них образуются блестящие, шаровидные красные ягоды. Цветёт в мае — июне. Сердечные гликозиды ландыша майского оказывают избирательное действие на сердечную мышцу. Назначаются главным образом при неврозе сердца, часто в сочетании с препаратами валерианы и боярышника.

От автора

Поисковая система Яндекс на запрос «ландыш пряный» ответа не даёт.

ПРОГУЛКА

— **И** у и долго вы собираетесь тут сидеть?

Сварливый голос Кузьмича я узнал сразу. Подполковник Мазякин возник передо мной в жарком воздухе майского сквера на манер призрачного Коровьева из «Мастера и Маргариты». Но в отличие от Коровьева он был совсем небольшого роста и гораздо более материален, чем мне хотелось бы в данный момент. Узрев подземника, я сразу же усилил «стакан».

Интересный народ — подземники. Жаль только, что коломенцы о них ничего не знают. Хотя, может, и к лучшему. Согласитесь: не очень приятно ходить по земле и чувствовать, что у тебя под ногами — бездонная пропасть параллельного пространства.

Итак, я усилил «стакан».

Дело в том, что Кузьмич имел характерную для некоторых подземников черту, особенно — в подземной госбезопасности — копаться в чужих мыслях. И, что самое неприятное — в моих мыслях. Поэтому я довольно быстро освоил технику «стакана». Стоило мне мысленно надеть на себя некую прозрачную преграду, вроде как невидимый стеклянный сосуд — и тут же Мазякин практически утрачивал способность телепатии в отношении меня, грешного.

Научил меня этому мой коллега по госбезопасности, лейтенант подземной жандармерии Петя Кирдяпкин (у подземников тоже есть своя госбезопасность — куда же без неё). Петю мазякинская телепатия тоже достала, и он скоренько освоил приёмы психологической защиты. Из дружеских чувств он и меня научил этой штуке, за что ему хорошенько влетело от «гоблина»,



Роман Владимирович Славацкий — потомственный коломенец, родился в 1957 году. Поэт, прозаик, журналист. Заместитель главного редактора «Коломенского альманаха», заведующий отделом православной газеты «Благовестник».

Автор многих книг стихов, художественной и документальной прозы. Удостоен церковных, общественных и муниципальных наград.

Нынешняя публикация — продолжение повествований о таинственной жизни подземной Коломны. Первый рассказ из этого цикла опубликован в № 18 альманаха.

Рассказ

как мы за глаза называем подполковника. За эту поддержку я особенно благодарен Пете. Тем более что такая защита хорошо помогала не только от Мазякина, но и от обычных наземных сограждан. Теперь коломенцы, да и не только коломенцы, могли сколько угодно шипеть на меня и даже материться: я спокойно взирал на них, не шевеля ни единой фиброй своей загадочной еврейской души.

— Как вы мне надоели с этим вашим «стаканом»! — ещё более сварливо продолжил Мазякин, морщась всеми своими морщинами. — Да ещё сидите тут и бездельничаете!

— Ну, знаете, Василий Кузьмич! — с достоинством ответил я. — По моему, я не давал вам никакого повода разговаривать со мной в подобном тоне. Во-первых, несанкционированное вторжение в чужое сознание запрещено законом и подзаконными актами, в частности — Уставом жандармерии. Во-вторых, вы сами вчера вечером позвонили мне и приказали в одиннадцать утра быть в сквере Зайцева. И вот я уже десять минут сижу здесь и вовсе не бездельничаю, как вы изволили выразиться, а наоборот — жду ваших указаний.

Вообще-то тут можно усмотреть вопиющее нарушение субординации и даже некоторое хамство. Как младший чин, я, наверное, должен был вскочить перед старшим по званию и гораздо более многоопытным сотрудником и есть его глазами. Но благодаря своей редкой особенности — пресловутому ретроспективному зрению — я пользовался в «конторе» особым уважением. Даже такой авторитетный специалист, как начальник Третьей лаборатории полковник Васяткин, ценил меня и время от времени приглашал для консультаций.

Поэтому и Мазякин ценил мои таланты и не тиранил, как других — тех же Самошкина или Кирдяпкина.

— Умничаете, Рабинович? — подполковник уселся рядом со мной и «включил» гипнозащиту, судя по тому, что засевавший в трёх шагах кот шарахнулся налево, а стая жирных голубей — направо. Наведённый страх действовал не только на животных, но и на людей. А Мазякину, видеть, лишние уши были ни к чему. Он вдохнул и продолжил:

— А между тем нас ждут великие дела. Сейчас мы пойдём на рекогносцировку.

— В какую сторону, если не секрет? — вежливо и осторожно спросил я.

— Да какие могут быть секреты!.. К Воскресенскому храму... Огнём захватили?

— Угу. Портативный, на три заряда. Я его сзади засунул, за пояс.

— Какого хрена?! — вскипел Мазякин, поднимаясь, и я поднялся вслед за ним. — Когда я, наконец, приучу вас ходить на задания со стандартным оружием?

— Десятизарядный слишком тяжёлый, — оправдывался я, переходя улицу вслед за подполковником и направляясь к Ямской башне, — надо кобуру надевать подплечную, а значит, и пиджак, а я тогда подохну от жары.

— А от заряда в башку вы не боитесь подохнуть? Жарко ему... Честное слово, я когда-нибудь Кирдяпкину репу отверну за то, что он всучил вам эту дамскую пукалку и вообще портит вас всякими дурацкими придумками.

— Погибнуть от разряда, по крайней мере, почётней, чем от жары, — пробурчал я, но тут же исправился. — Впрочем, вы правы, Василий Кузьмич. В следующий раз обязательно стандартный возьму.

— То-то же... Хорошо ещё, что сегодня засады не будет... Я надеюсь.

От этих слов мне стало немножко нехорошо. А ещё хуже мне стало, когда мы, крихтя, поднялись через пролаз в стене справа от Ямской башни и взобрались на вал Димитрия Донского. С вала хорошо был виден перекрёсток улиц анафемы Болотникова и Казакова (Дворянской тож). На перекрёстке стоял поседель от времени Заколдованный дом, куда полгода назад я впервые попал на задание вместе с Мазякиным и при этом чуть не отдал Богу душу. Да... Если бы не Василий Кузьмич, схватил бы Рома Рабинович пару зарядов из вражеских огнёмётов — и пришли бы кранты юному бойцу невидимого фронта...

Подполковнику эти воспоминания тоже, видать, не доставили особенного наслаждения. Он молча подбородком указал другое направление, и мы пошли по тропинке направо, на Дворянскую.

Тут Кузьмич скептически посмотрел в мою сторону.

— Вы бы получше следили за своим внешним видом, Рома. Неплохо было бы, например, время от времени бриться и причёсывать ваши семитические кудри. Как вас Вера выпустила в таком виде?

— Сеструха в командировке. Я один, как перст...

— Тем более нужно следить за собой! Черноглазенький вы мой...

Про «черноглазенького» он подслушал у Верки и любил иногда позлить меня этим легкомысленным прозвищем.

Обмениваясь колкостями, мы прошли по Дворянской, отсвечивающей призраками ветхого деревянного ампира и старой багряной стеной Троицкого монастыря. Свернули налево, на Кремлёвскую...

Улица уходила вниз, к Москве-реке, а за Москвой-рекой вдалеке алела пряничная готика Бобренева монастыря. Но нам не нужно было на кремлёвский берег. Воскресенская церковь стояла ближе — между Успенским собором, похожим на древнего допотопного дракона, и Народным училищем.

Отважные школяры из сего училища в давние тысяча восемьсот мохнатые годы вступали в кулачные бои с «кутейниками», то бишь студентами из соседней Семинарии. Но кутейников было больше, и они чаще одолевали. Хотя, откровенно сказать, кому всё это теперь интересно? В Народном училище ныне располагались квартиры, а Семинария, которую мы только что прошли, вообще стояла руиной. Её почти что расселили, но не до конца, так она и торчала — и жить в ней почти никто не жил, и реставрация так и не начиналась.

Мы подошли к храму.

От улицы он отделялся своеобразной впадиной, обсаженной тополями. Здесь, к востоку от Воскресения Словущего, располагалось некогда кладбище. Одно из древних белокаменных надгробий рубежа XVII–XVIII веков сохранилось. На его замшелых боках виднелась церковнославянская вязь, но разобрать её было уже трудно...

Тем временем с белокаменного крыльца Воскресенского храма, как горох, раскатилась ватага юных спортсменов — воспитанников борцовского зала «Спартак». Весело матерясь, молодые борцы принялись гонять

футбольный мяч. Но мы с Кузьмичом направились не к ним, а к противоположной стороне — ниже к реке, на перекрёсток Кремлёвской и Дмитрия Донского: откуда Слоущенский храм казался особенно высоким.

У меня в этом месте всегда холодок бежал по спине. Что-то жуткое и зловещее наплывало здесь, где раньше стоял дворец великого князя и где когда-то по висаям переходам вступал в свой домовый храм Иван Великий с монументальной женой. И Грозный, похожий на неё, свою бабу — царицу Софью — да, Грозный таращился налитыми кровью глазами, окружённый опричниками, пьяными от водки и крови. И виделось, как торчит закопчённый храм посреди пожарища, в которое обратился дворец после Марины Мнишек.

Он и сейчас торчал, потемнелый от времени, как будто пожар был только вчера.

Мазякин поднялся от перекрёстка по груде пережжённого угля и подошёл к двери в крипту — цокольный этаж церкви, теперь больше похожий на подземелье. Он принялся чуть ли не принохиваться к двери, точно муравьед к термитнику. И я вдруг как-то особенно остро почувствовал, что он — не человек.

— Конечно, не человек, — подполковник обернулся, глядя на меня с брезгливой неприязнью. — Укрепите свой «стакан». Нас могут слушать.

Подземник ещё какое-то время что-то вынюхивал и выслушивал, искоса поглядывая по сторонам, потом вернулся ко мне. Взглянул на часы, засёк время и махнул мне рукой. Мы пошли назад по Кремлёвской и на перекрёстке свернули налево — на восток — в сторону Пятницких ворот. Зачем? Было непонятно. Кузьмич молчал и только поглядывал на часы.

Не доходя до проездной башни, мы остановились около Воздвиженской церковки, где теперь размещалась музейная мастерская. Потоптались на крохотном пятачке Воздвиженской площади между воротами, храмом и ампирным Домом Луковникова, возле колонн которого перешёптывались ахматовскими стихами сирень и шиповник.

Подземник пожевал губами, подвигал морщинами, ещё раз глянул на часы и сказал тихо:

— В одиннадцать у Воскресенского храма. Не опаздывайте. Нас ждёт следственный эксперимент — такая, знаете ли, прогулка. Надеюсь, после неё мы оба останемся живы.

Вечер догорал. Гребни Собора дыбились на фоне заката, и лишь золотые кресты вспыхивали янтарными огнями среди проступающих в темноте звёзд. А Воскресенский храм вообще превратился в зловещую тёмную груду, и лишь свет из окон соседнего Народного училища скупо озарял его.

Мазякин стоял на перекрёстке неподвижный, как варан, ждущий к ужину легкомысленного теплокровного зверька.

Узрев меня, он молча кивнул в сторону храма, и мы полезли по угольным отвалам к двери в крипту.

Кряхтя и бормоча про себя тихие мордовские ругательства, подземник принялся возиться с замком, позвякивая отмычками, быстро отомкнул его и заскрипел несмазанной железной дверью. Не успел я глазом моргнуть, как он втокнул меня в темноту и захлопнул дверь.

Достал фонарик и узким золотым лучом полоснул по древним закопчённым сводам.

— Ну? — глухо спросил он. — Что вы видите?

Я поднял голову, глянул наверх, и тут навалилось на меня. Да так, что я чуть не задохнулся от неожиданности.

Своды крипты будто исчезли. Сквозь них раскрылся и устремился в распахнутый космос сияющий золотом барочный храм, убранный ризами образов и резными скульптурами иконостаса. От этого внезапного золотого взрыва и высоты закружилась голова.

«Не то, не то...» — донёсся откуда-то со стороны голос. В мозгу что-то щёлкнуло, и я провалился в тёмный подвал. Своды сомкнулись, и в зыбкой тьме я увидел контуры оружейных ящиков, груды ядер, небольшие пушки и древние пищали.

— Возвращайтесь, — Мазякин толкнул меня, и наваждение пропало. — Засады здесь нет и не было. Никто из подземников сюда не лазил, и уже довольно давно, вот что я вам скажу. Идите за мной.

Он потащил меня к противоположной от входа стене. Я шёл, спотыкаясь, пока не почувствовал холод и мрак, как часто бывает при переходе в параллельное пространство.

Мазякин сверкнул фонариком по верхам. Мы стояли в начале длинной сводчатой галереи. Стены, пол и своды были выложены большемерным кирпичом. От них веяло стылým холодом... Местами на камне белели разводы селитры.

— Не обрушились, — констатировал Кузьмич, глядя на выгнутый цилиндрический потолок. — Хорошая кладка. 143

Он достал из бокового кармана пиджака потёртую пожелтевшую карту, пошуршал, потом сверился с компасом и молча махнул мне рукой.

Фонарь его светил сильнее, потому что подполковник содрал изолену, ранее сужавшую луч. Ленту он бросил на пол, но потом подумал, подобрал и сунул в карман. Здесь не стоило сорить и шуметь тоже не следовало.

Мазякин пошёл вперёд. Я за ним, глядя под ноги и спотыкаясь, поскольку света от мазякинского фонаря мне было недостаточно.

— Василий Кузьмич, не так быстро... — прошептал я, но тот лишь раздражённо отмахнулся.

Между тем проклятый коридор никак не кончался, и при этом время как-то вывернулось и растянулось. Казалось, мы идём подземным путём уже часами, хотя прошло, наверное, всего несколько минут.

И тут Мазякин остановился, так что я чуть не налетел на него.

Впереди была развилка.

Галерея делилась на три рукава. Прямо шёл теряющийся в темноте коридор. Оттуда слышалось какое-то журчание, как будто там, в глубине, текла вода.

Налево начиналось ещё одно ответвление, но оно было заложено кирпичом.

А направо тоже был ход, но какой-то странный. За аркой темнело, словно некий туман клубился, и такой плотный туман, что разглядеть сквозь него ничего было невозможно.

И тут произошло такое, отчего у меня мороз полыхнул по коже, а сердце окаменело и будто ухнуло куда-то вниз.

Из этого тумана вдруг раздался удар колокола, глухой и густой. Гулкий звук заполнил галерею, и медный голос ещё долго вибрировал, зыбля тёмное пространство и колеблясь в наших венах. А потом я услышал далёкое пение, вроде как молитвенное, но не похожее на обычное наше, а какое-то другое — монотонное, будто на греческий манер.

Зачарованный этим гулом и таинственным пением, я пошёл в тёмную арку и вдруг почувствовал, как левая рука заныла, точно в неё вцепились когти сфинкса.

— Стойте! — зашипел Мазякин, оттащивая меня назад. И в голосе его чувствовался явный оттенок ужаса.

— Почему? — не понял я. — Оттуда же звук идёт.

— В том-то и дело, что звук. Откуда он под землёй — вы не подумали? Мы находимся в подземелье где-то между Воздвижением и Пятницкими воротами.

— Это где храм провалился во время Батыева нашествия?!

— Похоже на то... Я сейчас уже ни в чём не уверен.

— И если я туда отправлюсь, то, значит, попаду в Тринадцатый век? Мазякин потряс у меня перед носом старой картой.

— Видите здесь шестиугольник? Знаете, что означает этот символ в подземной картографии? Мы находимся в «кратовой норе». А это такое место, где пространство и время смещаются. Это ловушка. Не факт, что вы попадёте в Тринадцатый век, а не ещё куда-то, и тем более не факт, что сможете вернуться. Так что давайте уйдём отсюда, да побыстрее!

И тут снова раздался удар нездешнего колокола.

А вместе с ним и туман под аркой за клубился, вздыбился и вдруг пропал. Звук ещё вибрировал в сумраке галереи, а там, где прежде была тёмная зыбь, открылась глазам старая кирпичная кладка, покрытая какой-то белёсой паутиной.

Подполковник глянул на неё расширенными от волнения глазами и перекрестился дрогнувшей рукой.

Мы припустили прямо по коридору чуть ли не бегом, пока не наткнулись на воду.

— Ах ты ж... Ну, конечно, здесь, под Пятницкими воротами, ров проходил: понятно, почему до сих пор вода течёт! Ну что, Рабинович? Придётся нам ножки замочить.

И Кузьмич пошёл через воду.

Ноги мы действительно замочили, но, в общем, оказалось на удивление неглубоко. Вода не доходила даже до колен, хотя рядом отчётливо слышался шум потока.

Довольно быстро мы перебрались через эту ледяную лужу и, отдуваясь, остановились на сухом месте.

— Хорошая кладка... — снова заметил подполковник. — Не обрушилась, хотя столько лет вода сочится.

— Послушайте, Василий Кузьмич... Я что-то понять не могу. Там, в этой «кратовой норе»... В ней же ведь тоже кладка была... А тут туман этот, и чувствуется, что сквозь него пройти можно.

— Какой же вы зануда, Роман! — вздохнул Мазякин, вытирая пот. — Просто профессиональный зануда. Я же сказал: здесь перехлёстываются время и пространство. Потому подземники и заложили галерею, и уже

давно заложили, я вам скажу. Но периодически происходят временные инверсии, и тогда образуется зыбь, через которую можно пройти. Но это ловушка.

— Ловушка? Значит, её кто-то поставил?

— Не думаю... Вероятнее всего, она сама образовалась, ну, как промоина в карстовой пещере. Но я не рекомендовал бы вам заниматься исследовательской работой в данном направлении. Ход заложили, по меньшей мере, двести лет назад. И те, кто это сделал, не глупее нас с вами были, уж поверьте. И вот что я вам скажу, Рома: чёрта с два я пойду ещё раз этим путём. Да... Однако нам пора двигаться дальше, мой любознательный юноша!

И мы двинулись, причём довольно бойко, так что я еле поспевал за Василием Кузьмичом. На все мои просьбы идти не так быстро Мазякин лишь отмахивался.

Наконец он ошутимо замедлил шаг.

Впереди виднелась некая преграда.

Мы подошли ближе, и я увидел, что это старинная деревянная дверь, сплошь окованная стальными полосами. Несмотря на холод и сырость, никакой ветхости в ней не замечалось. Дверь словно окаменела от времени. С нашей стороны она была заложена брусом, и, судя по слою пыли, его давным-давно не снимали.

Мазякин поставил фонарь на пол и взялся за брус. Но, как ни кричал подполковник, дерево не поддавалось. Я присоединился к Василию Кузьмичу, и мы таки расшатали запор. Брус пошёл вверх. Мы сняли его и с глухим стуком прислонили к стене.

Мазякин взялся за кованую ручку и с видимым усилием открыл дверь. Тьма стыла за ней. Не просто темнота, а именно тьма, наполненная злом.

Подполковник направил во мрак свет фонаря, а правой рукой достал огнемёт.

— Вот теперь, Роман, будьте крайне внимательны! Это очень серьёзно: от этого зависит наша жизнь. Так что включайте ваше чёртово ретроспективное зрение на всю катушку. Да, и огнемёт достаньте. И «стакан» свой уберите — я должен вас слышать! Поняли? Теперь идите за мной.

Мы стали потихоньку продвигаться вперёд по узкому коридору. И с каждым шагом сильнее нарастало у меня ощущение, что дело здесь нечисто. Две тёмные тени прокрались в моём сознании, и Мазякин тут же меня остановил.

— Я об этом догадывался! — с тоской прошептал мой начальник. — Я знал, что они сюда просочатся! И вот, пожалуйста... Они здесь были, значит, пытались пройти в галерею, из которой мы только что вышли. Однако им помешали. Не думаю, что деревянная дверь, пусть и окованная, их бы надолго остановила. Всё же что-то им помешало — не знаю что, но догадываюсь...

Мазякин сосредоточился и пошёл вперёд, крадучись, точно дикий кот на охоте. А я за ним, преодолевая некоторую дрожь. Ясно было, что дело не шутка.

Коридор никак не кончался. Рука у меня начала затекать от напряжения и от тяжести огнемёта.

Наконец мы увидели лестницу. Потёртые железные ступени поднимались под свод, за которым угадывался «переход».

— Где мы? — шёпотом спросил я.

— В подвале Дома воеводы, — ещё тише ответил Мазякин.

Я хорошо представлял себе этот древний особняк середины семнадцатого века, с толстенными стенами и прихотливой белокаменной резьбой наличников. Но в подвале был впервые.

Подполковник дал знак идти следом и миновал «переход» с крайней осторожностью. Вслед за ним и я, чувствуя привычную тьму и холод.

Мы оказались в каком-то закутке. Перегородка отделяла его от большой комнаты, откуда шёл свет и доносился бубнёж. Мазякин спрятал огнёмёт, я тоже. Вслед за сим подполковник включил всё своё обаяние и вышел на свет с лучезарной улыбкой. За ним я, разумеется.

Посреди комнаты, заставленной подрамниками и прочим художественным хламом, сидели за столом трое пьяных живописцев. Бородатые, облачённые в элегантно-бомжеватые обноски, они явно справляли некую печальную тризну, судя по стакану с водкой, поставленному на дальний угол дощатого стола. Стакан был накрыт ломтём чёрного хлеба.

Двое хмельных живописцев не выразили при нашем появлении какого-либо интереса. Они по-прежнему сидели, подперев кулаками буйные головы, грустно глядя на стоящую в центре тарелку с отварной картошкой, впрочем, уже остывшей.

Третий, более тверёзый деятель изобразительного искусства, коротко стриженный, с изящной русой бородкой, обратил в нашу сторону удивлённые светлые глаза.

— А вы откуда появились, господа?

— Мы тут проездом, из Луховиц, — не моргнув глазом, солгал Мазякин, — по делам. Но не могли не зайти в Дом воеводы... Мы были хорошо знакомы с Петром, а тут такая трагедия... Вот и зашли узнать обстоятельства.

— Из Луховиц? Ну, тогда понятно, почему я вас не помню. А обстоятельства... Да какие тут обстоятельства? Выпил Петя «палёной» водки и помер...

— Горби, мать его! — очнулся один из живописцев и прибавил длинное непечатное ругательство. — Устроил, паскуда, антиал... алкогольную — не выговоришь ни хрена, — кампанию! А хорошие люди из-за этого пачками мрут!

В знак согласия второй живописец очнулся, прибавил ещё более длинное и нецензурное выражение и заплакал.

— Вы присаживайтесь... — вздохнул блондин, с тоской глядя на пустые бутылки. — Правда, помянуть Петю уже нечем...

— Это не проблема, — отозвался Мазякин, доставая плоскую фляжку с коньяком. — Тут всем хватит по капельке.

Он поровну разлил коньяк в чайные чашки.

— Вечная память рабу Божию Петру! — прочувствованно рёк подполковник.

— Ну, давайте, не чокаясь, — вздохнул самый тверёзый.

Выпили.

И тут на меня накатило.

Я совершенно отчётливо увидел залитую закатным солнцем комнату. За дощатым столом сидел относительно молодой художник, весёлый,

кудрявый, с элегантной бородкой. Это был Пётр, которого мы сейчас поминали, — только живой. Напротив него сидели двое темников, похожих на людей, в защитной форме, и один наливал Петру водку в тот самый гранёный стакан, который сейчас стоял, накрытый куском чёрного хлеба.

Мазякин толкнул меня, и я очнулся.

Как раз и народ стал собираться.

— Вася, Дима, заберите еду, а то пропадёт, — сказал блондин.

Те, пошатываясь, разложили в два пакета картошку, бутерброды с докторской колбасой и солёные огурцы.

— Слушай, а тебя я припоминаю... — с пьяной сосредоточенностью сказал русоволосый. — Ты, вроде, в музее раньше работал, в Боевой славе?

— Ну да. А теперь в Луховицы перебрался. Нужда заставила.

— Это в «Гуановизир», что ли?

— Угу.

— Занудная контора. Я попробовал туда сунуться — отшили.

— Да, насчёт художества у них проблемы. Но зато платят хорошо, — уверенно лгал я.

Под разговоры мы вышли во дворик, за которым тянулся от реки Посадский переулок, озарённый редкими лампами холодного «дневного света». Через него хмурился облупившейся штукатуркой Дом Голубкиной.

Художники с трудом попрощались. Затем тронулись вверх по переулку: впереди шли, пошатываясь и держась друг за друга, Вася и Дима. Замыкал шествие преувеличенно твёрдым шагом третий, самый симпатичный и стойкий.

Мазякин подождал, пока их тени скроются за углом, и кивнул в сторону Дома воеводы.

Спотыкаясь в темноте, мы пересекли дворик и вернулись к древним палатам. Мазякин немного повозился с замком и отворил дверь. Мы вдругорядь протиснулись в деревянную прихожую, а потом в уже знакомую палату.

Подполковник включил свет. Ярko загорелась голая лампочка под потолком, и при ней стал особенно ощутим холостяцкий неуют мастерской.

— Василий Кузьмич, — прошептал я, — но зачем темникам было убивать Петра? Неужели вечно пьяный художник мог им чем-то помешать?

— Не будьте наивны, Роман! — с некоторым раздражением отозвался мой начальник. — Их не Пётр интересовал. С таким же успехом они могли опоить какого-нибудь Ивана. Им нужен был свободный доступ к «переходу», а через него в коридор, к той двери, которую мы сегодня разблокировали.

— А потом куда? В «кротовую нору», туда, за Пятницкие ворота, под Воздвиженскую площадь?

— Наконец-то вы начали соображать! — раздражённо заметил подполковник. — Давно пора было голову включить.

— Но это же опасно! Почём они знают, что эта «кротовая нора» не пошинкует их в мелкий салат?

Мазякин подвигал морщинами и глянул на меня крайне скептически.

— Пора бы вам понять, Рабинович, что темники не руководствуются логикой, по крайней мере — в нашем понимании. Они тоже обитают

в параллельном пространстве, но отличаются от подземников примерно так же, как неандертальцы от сапиенсов. Они одержимы идеей захватить эту часть параллельного пространства и с личной угрозой не считаются. У них сильно роевое сознание. Отсюда и пониженное чувство опасности. Теперь представьте себе, как подземные неандертальцы захватывают «переходы» и начинают жрать людей. Пространства перехлестнутся, и тут такая хиросома начнётся — мало никому не покажется.

— А темники этого не понимают?

— Они безумны. Как, впрочем, и люди.

Он с неприязнью посмотрел на меня.

— Вы вечно придумываете себе какие-то химеры и живёте в придуманном мире. Взять хоть этот Дом. Вбили себе в голову, например, что Димитрий Донской и Евдокия шли на свадебный пир подземным путём из Воскресенской церкви — сюда. Нет нужды, что храм построен спустя сто лет после венчания, а Дом воеводы — вообще в семнадцатом веке. Главное — сочинить «историю». И на кой вообще нужно им было бы идти в подземелье, когда проехаться поверху гораздо удобнее? Хотя с чего бы им ехать на Посад, когда рядом с храмом — княжеский дворец?

Мне стало обидно за людей.

— Но мы-то с вами сегодня прошли этим путём! Выходит, люди — не такие уж дураки, если знали об этом коридоре? Получается, кто-то из ваших незначай рассказал об этой дороге, и, следовательно...

Но тут Мазякин раздражённо отмахнулся. Похоже, сама мысль о каких-либо контактах между подземниками и людьми казалась ему кошунственной. Но со мной-то он общался?

— Только по необходимости, как разведчик, — ответил Кузьмич. — Да и привык уже. За время работы так обчеловечился — самому противно.

И тут он принялся осматривать комнату, как будто что-то ища. По стенам сплошным рядом стояли холсты на подрамниках. Из банок и кувшинов торчали кисти, отблёскивал бронзовым отсветом старинный медный закопчённый чайник, сиротствовал на столе стакан с водкой и ломтём хлеба. И всё это накрывал запылённый свод с пятнами паутины по углам.

В это мгновение наше следствие было нарушено самым неожиданным и омерзительным образом. Дверь в комнату бесшумно открылась, и в проёме оказались две знакомые физиономии: те самые темники, которые давеча поили художника отравленной водкой. Что-то отвратительно лягушачье было в их лицах, в этих вычурных глазах и прорезях ртов, искажённых сладкой улыбкой. Первый уже поднимал огнёмёт.

Благослови Бог Петю Кирдяпкина! Не зря он целый месяц натаскивал меня на быстрое обращение с огнёмётом. В одну бесконечно долгую секунду я успел мысленно заорать — «Сзади!», отчего Мазякин тут же сжался, выхватывая оружие из наплечной кобуры.

Но пока он его вытаскивал, мой огнёмёт словно сам собой прыгнул в ладонь и в мгновение ока снялся с предохранителя. Тут же раздались два щелчка, и два маленьких огненных шара попали первому темнику под горло и в пасть. А второй не успел даже прицелиться — я влепил ему два разряда между глаз.

Оба дорогих гостя свалились в дверном проёме безобразной кучей.

Подполковник застыл с огнём, ставшим уже бесполезным. Наконец убрал его в кобуру и прохрипел:

— Ну что ж, коллега... Похоже, мы с вами квиты. По всему выходит, вы мне нынешней ночью жизнь спасли.

Я не ответил. Меня всего трясло.

— Спрячьте-ка огнёт. И садитесь за стол. Вот так... Думаю, не будет кощунством, если мы помянем покойного Петра его же стаканом. В конце концов, это суеверие — наливать усопшему, тем более что он выпить не может, даже при всём желании. К тому же Пётр нам некоторым образом обязан — ведь вы за него сейчас отомстили. Так что пейте, не стесняйтесь.

Он пододвинул мне гранёный стакан. Я выпил водку, как будто это была водичка из графина, и автоматически закусил ломтём чёрного хлеба. Он малость подсох и похрустывал на зубах.

Кузьмича тоже потряхивало. Во всяком случае, рука его вздрагивала, когда он вытаскивал из кармана громоздкую штуковину, похожую на телефонную трубку. Вытянул антенну, принялся тыкать пальцем в потёртые кнопки. Трубка заквакала, и подполковник приложил её к уху.

— Самошкин? Немедленно подъезжайте с командой к Дому воеводы. Да, чем дальше, тем круче... У нас тут два трупа. Да нечего объясняться. Приедете — сами увидите.

Убрал трубку. Подошёл к мёртвым темникам. Стал их обыскивать, но ничего не нашёл, кроме двух жетонов, что были на шеях. Оборвав цепочки, взял жетоны и положил в карман. Потом сел за стол напротив меня, и мы минут 15–20 молча сидели, тупо глядя на пустой стакан. Было тихо. Так тихо, что уши ломило.

Наконец раздался шорох: машина подъехала.

В проёме двери показалась широкая румяная физиогномия коротко стриженного Самошкина, улыбающегося во весь рот. Правда, улыбка мгновенно исчезла, едва он увидел убитых.

— Скажите ребятам, пусть уберут в фургон. Неприятно будет ехать вместе с трупами, но что поделаешь.

Двое дюжих подземников взяли одно тело, потащили.

— Гипнозащиту наведите, — сказал подполковник.

— Я не очень владею этой техникой... — начал было Самошкин, но Кузьмич так на него посмотрел, что тот осёкся и повернулся к выходу.

— Стоять! — остановил Мазякин. — Водка есть? Давайте сюда.

— Только пиво, — грустно отозвался Самошкин. — И оно тёплое.

— Чёрт с вами: всё равно давайте.

Видно было, что младший жандарм с жалостью отдавал бутылку, но перечить он не осмелился. Достал из оттопыренного кармана поллитру «Жигулёвского», похоже — из Рязани, протянул подполковнику.

— Ступайте. Мы сейчас к вам присоединимся.

Пока подземники возились со вторым телом, Мазякин ключом открыл бутылку, пробку сунул в карман и присосался к горлышку. Оторвался не прежде, чем сосуд опустел.

— Никакой дисциплины, — мрачно произнёс он. — Сколько раз говорил Самошкину, что для НЗ нужно шкалик водки брать — как в стенку горох... В результате приходится пить эту гадость.

Неприятно поглядев на пустую поллитру, Мазякин спрятал её в боковой карман. Повернулся ко мне и глянул с неожиданным вниманием.

— Я ведь могу не только слышать мысли. Я чувствую их эмоциональную окраску. Когда вы сейчас крикнули мне «сзади!», вы ведь не просто сигнал подали. Вы обращались ко мне, как к родному и очень близкому человеку. А я ведь не человек. И вы всегда относились ко мне со скрытой брезгливостью. Да не спорьте — я всё знаю. И поверьте: мы относимся к людям с гораздо большей брезгливостью и даже с ненавистью. Нам есть за что вас ненавидеть, уж поверьте. Вы не представляете, как прекрасна была эта земля, когда мы жили и правили здесь! Как чисты и полноводны были наши реки, как величавы огромные храмы лесов... И этот божественный, ничем не осквернённый воздух, и светлое солнце — всё это принадлежало нам. Но пришли вы — и уничтожили наш народ, а остатки загнали под землю, в параллельное пространство, будьте вы прокляты! Но сегодня, Роман, вы крикнули мне, как будто я ваш отец или брат. Почему?

Я ошарашенно вытаращился на подземника.

— Не знаю... Может, я подсознательно благодарен вам за то, что тогда вы мне спасли жизнь в Заколдованном доме... Но это разумом не объяснишь. Почему-то в последнее время я почувствовал к вам странную симпатию. А почему — сам не понимаю...

Мазякин ещё раз очень внимательно поглядел на меня и покачал головой.

— Сам чёрт не разберётся в человеческом сердце. Ладно... Пошли на выход.

И выключил свет.

СИТО

Боль подползла незаметно.

Подползла.

Ползла.

Зла.

Зло.



Сергей Вацлавович Малицкий родился 12 октября 1962 года в Иркутской области, но проживает с самого раннего возраста в Подмоскowie. В 1983 году поселился в Коломне, там же сменил множество мест работы и занятий, пока не остановился на литературной деятельности.

В 2000 году издал книгу «Легко». С 2005 года увлёкся жанровой прозой. Неоднократно публиковался в «Коломенском альманахе».

Произведения печатались в журналах «Москва», «Полдень. XXI век», «Если», «Реальность фантастики», в сборниках рассказов издательств «Альфа-книга», «Амфора», «Астрель-Санкт-Петербург» и других.

С 2006 года по 2012 год в издательстве «Альфа-книга» вышли книги «Миссия для чужеземца», «Отсчёт теней», «Камешек в жерновах», «Муравьиный мёд», «Компрессия», «Арбан Саеш», «Оправа для бездны», «Печать льда», «Забавник», «Карантин», «Блокада», «Вакансия», «Пагуба». На этом автор останавливаться не собирается, пробует себя в классической прозе.

В 2011 году администрация города Коломны отметила его творчество медалью имени Ивана Ивановича Лажечникова.

Рассказ

Начала она стучалась в окно. Потом висела на занавесках. Сидела на тумбочке. Дышала в висок. А в середине зимы раскрыла ладошки и показала пальчики, каждый из которых отливал никелем, как лезвия на отцовском ноже. Точилка, отвёртка, ножнички, штопор, шило, открывашка, ещё что-то. Она долго рассматривала ужасные инструменты, цокала языком, облизывала тонкие бледные губы, пока не выбрала штопор. Затем радостно засопела, под села ближе, наклонилась и, капая слюной на горячий Нюскин лоб, стала вкручивать штопор ей в висок.

— Мама! — заплакала Нюська.

Андрей приезжал с работы усталый, разувался, быстро мыл руки и, спросив мать — «ну как она», — бежал на второй этаж, чтобы пощекотать Нюську колючим подбородком, посмотреть её рисунки, застегнуть крохотное самодельное платьице на фарфоровой кукле, подложить дочери под спину подушку и, может быть, даже полистать вместе с ней книжку. А на тумбочке в ряд коробки и коробочки, пузырьки и листочки, баночки, карандашные крестики и мелкие буквы. Винпоцетин... Триамтерен... Гидрохлоротиазид... Долусумин...

— Ну как ты?

— Хорошо.

Голос слабый, под глазами тени, но в глазах радость.

— Что там, пап?

— Сосед приходил, — улыбнулся Андрей. — Опять уговаривал продать наш дом.

— Зачем ему? — прошептала Нюська.

— Река, — пожал плечами Андрей. — Высокий берег. Простор. Нравится. Хорошие деньги предлагал.

— Ты согласился?

— Конечно нет, — прошептал Андрей. — Нам тоже нужен высокий берег и простор. На что тогда ты будешь смотреть в окно?

— А как же моя просьба?

— Вот ведь... — нахмурился Андрей и обернулся. — Ир! Почтальон был?

— В обед ещё, — донеслось снизу. — Каждый полдень эту макулатуру разносит!

— Так делись!

Пачка рекламных буклетов, цветных газеток и листовок легла на одеяло. Мебель, косметика, пицца, окна, эпиляция, электроника, садовый инструмент, удобрения, недвижимость. Ничего интересного.

— Вот! — Нюська вытащила глянцевого журнала. — Здесь!

— Дочь... — Андрей в замешательстве взъерошил выгоревшие вихры. — Ты видишь, какие тут цены? И это всё только первый взнос. Это ж не собаку завести.

— У меня аллергия на шерсть, — сказала Нюська. — И есть у нас собака. Джек у дома привязан. Ты забыл? А домовый не собака. Он как человек. Восемнадцатая страница. Читай.

— Ну что тут? — Андрей зашелестел журналом. — Ещё дороже. Почему я не домовый? А то всё моторы, колёса, ключи, домкраты... Жил бы где-нибудь за печкой и получал такие деньги. Красота!

— Ниже, — попросила дочь. — Видишь? Бесплатно. По обмену.

— Хочешь на меня поменять? — усмехнулся Андрей.

— Нет, — Нюська попыталась улыбнуться, но не смогла, боль выбралась из-за занавески и кривлялась на стуле за спиной отца. — Не на тебя. Просто. А вдруг?

Ночью Андрей и Ирина сидели на кухне и прислушивались, не смелится ли неровное дыхание наверху детским плачем.

— Одно и то же, — вздыхала Ирина. — «У вас родничок в три месяца закрылся». Нет, говорю, всё было в порядке. Вот карта. «Вы что-то не пролечили». Да всё мы пролечили. Все обследования прошли. Вот снимки, вот анализы. Нет ничего. Восемь лет прожили, на девятый навалилось. «Проверьте на порчу». Проверяли. «На колдовство». Весь дом оберегами завесили. Никакого толку. Боль есть, а причины нет. Ещё год такой жизни — посадим и печеньку, и селезёнку, и почки ребёнку.

— Может быть, и в самом деле переехать? — Андрей сдвигал пальцами край стола. — Сосед хорошие деньги предлагает. И на дом хватит в хорошем месте, и на лечение останется. Лет пять смогу не работать, буду рядом с дочерью.

— А потом? — Ирина начала раскачиваться с закрытыми глазами. Ребёнка на руках нет, а она раскачивается. Себя, что ли, укачивает?

Андрей не ответил, не нашёл нужных слов. Впрочем, ненужных тоже не было.

— Выписать, что ли, этого домового? — спросил после долгого молчания.

— Потом ведь не прогонишь,— отозвалась Ирина. — А захочешь удержать — не удержишь. В посёлке в восьми хозяйствах домовые. Я уж банников и овинных не считаю. Так вот, в шести — не видно, не слышно, а в двух — беда. Пьют, дерутся, кур гоняют.

— У нас нету кур! — оживился Андрей. — К тому же там хозяйева такие. Пьют и дерутся. Зато в шести других домах тишь да гладь. И дети не болеют.

— Тогда, может, лучше к этим сходить? — спросила Ирина. — Попросить на время?

— Брось, — опустил голову, упёрся лбом в столешницу Андрей. — Я с этого и начал. Они не хозяйева своим домовым. Кошку и то не удержишь, а ты про домового. Куда хочет, туда и пойдёт. Этот тайный народ — сложная публика. Возьми хоть лешего. Впрочем, ну его, пьянь лесную, ведьм возьми! Сколько их у нас? Три? Пройди мимо, попробуй только подумать, что она ведьма! Шума не разгребёшь потом неделю. А как, спрашивается, ещё её называть? У неё ж хвост!

— Что делать-то будем? — прошептала Ирина. Глаза её были сухи.

— Я уже позвонил, — сказал Андрей устало. — Сказали, что шансов мало, но они есть. Послезавтра приедет агент, посмотрит наши условия и даст ответ. Я буду дома.

— Тогда я хоть отдохну, в магазин схожу, — прошептала мать. — В обед самое тяжёлое время. Хоть на руки бери.

Агентом по домовым оказался домовый. Маленький, ростом меньше метра, он словно застрял между карликом и взрослым. Для карлика был слишком складен, для взрослого — головастый. На его чёрной визитке золотом было вычеканено много мелких букв и девять крупных — «Митундрий», но называть он себя попросил почему-то Дим Димычем. Агент приехал на детском автомобильчике с парой дополнительных аккумуляторов на пассажирском сиденье. Свесил ноги, выудил из-под сиденья резиновые сапоги и, сунув в них ноги вместе с ботинками, потащил из бардачка электрический шнур. В маленьком дорогом костюмчике, строгой рубашке и чёрном галстуке выглядел, как ребёнок на карнавале в costume мытаря, но голос имел низкий, как у простуженного мужика.

— Хозяин! — пробасил Дим Димыч. — Где хозяин? Есть розетка? Надо подпитаться, грязно у вас, завяз, пришлось посадить аккумуляторы.

— Сейчас, — выскочила на крыльцо Ирина, которая удержалась от похода в магазин ради важного визита. — Сюда! Вот сюда втыкайте!

— Отлично, — кивнул Дим Димыч. — Где хозяин-то?

— С дочерью, — улыбнулась Ирина. — Он сейчас. Зайдёте?

— В последнюю очередь, — махнул рукой Дим Димыч. — Сначала осмотрим периметр.

Весеннюю глину Дим Димыч месил долго. Оборачивался, поглядывал на хозяина дома, который шагал за ним неотступно, но вопросов не задавал. Подёргал штaketник на границе участка с соседом, постоял у поленницы дров, заглянул в баньку, в сарай. Понюхал компостную кучу.

Погладил Джека, который несказанно удивился подобной наглости. Сунул нос в почтовый ящик, прикрученный к калитке, неодобрительно помотал головой и присел на крыльцо.

— Вот что, — пробасил он, разминая в руках сигарету. — Шансов, я прямо скажу, немного. Плюс у вас только один — Ока. Вид красивый. За рекой лес. Значит, орехи, ягода, грибы. В реке — рыба. Русалки опять же, прости господи. Дом вроде бы тоже неплохой. Но уж больно новый.

— Десять лет ему уже, — заметил Андрей. — Вот этими руками построил.

— Молодец, — щёлкнул зажигалкой Дим Димыч. — Но место не намолено. Понимаешь, домовой, он... как гриб. Ему корни нужны. Корни деревьев. Мхи. Старина. Он ею дышит, понимаешь?

— Корни будут, — пообещал Андрей. — Принесу, посажу деревья. Мхи... Берег известковый, поверх извести — валуны попадают. Полно и с мхами. Обеспечу. Что ещё надо?

— Да ничего... — махнул рукой Дим Димыч. — Ладно, домовой у вас вряд ли будет, но я должен всё выполнить по инструкции. Слушай и заполни. Первое — он делает то, что хочет. Заговаривать с ним нельзя, трогать его нельзя, деньги ему платить нельзя, подарки дарить нельзя. Даже тряпочку какую. Обидится и уйдёт. Или напакостит. Потом всё равно уйдёт.

— А что же с ним можно делать? — не понял Андрей.

— Терпеть его можно, — объяснил Дим Димыч. — Он будет терпеть вас, если будет, а вы будете терпеть его. Единственно, что требуется сверх того, — раз в день стакан молока, лучше парного, но как выйдет, и лепёшку. Бездрожжевую! Но в руки не давать и в домик ему не пихать. Вот, на крыльце оставлять, он сам возьмёт.

— У нас нет для него домика, — растерялся Андрей.

— Будет, — пообещал Дим Димыч. — Вон доски лежат, кирпич вижу. Брёвна. Баньку хотели перебирать? Забудьте про баньку. Будет дом. Главное, ты не суетись. Пропадёт что — не волнуйся. Запомни, домовые не воруют, они берут. Иногда возвращают, иногда нет. Мой тебе совет: если случится чудо и это дело выгорит, лучший способ сойтись с домовым характерами — не замечать его. Совсем. Даже если он тебе на шею сядет — не замечай. И всё будет хорошо. Но стакан молока и лепёшку — будь добр.

— А как же деньги? — не понял Андрей. — Я видел, там везде такие суммы...

— Это не по нашей системе, — отмахнулся Дим Димыч. — Но если хочешь знать, то домовые — почти такие же люди. Как и прочая нечисть. Так ведь раньше говорили?

— Ну да, — погрузился Андрей. — Избирательные права, профсоюз, Гринпис, прописка.

— Нет у домовых никакой прописки, — хмыкнул Дим Димыч. — Живут, где хотят. А вот пенсия им полагается. Но это пока не твой случай. И поверь мне, приятель, если домовой где-то захочет жить, то это хорошее место.

— А здесь хорошее место? — спросил Андрей.

— Здесь? — плюнул на палец и притушил сигарету Дим Димыч. — Дерьмовое. Вот вид только. Никаких шансов. Пошли в дом.

- Зачем же в дом? — помрачнел Андрей. — Если никаких шансов?
— Инструкция, — развёл маленькими ручками Дим Димыч. — Пошли.

Он скинул сапоги и потопал внутрь дома. Заглянул на кухню, хлопнул дверью холодильника. Спустил воду в сортире, попил из крана в ванной комнате. Провёл пальцами по корешкам книг на стеллажах в гостиной и ступил на лестницу. Ступил и замер. Окаменел. Даже галстук начал распускать на груди. Удивлённо оглянулся на Андрея, спросил шёпотом:

- Что это у вас светится наверху?
— Свет? — пощёлкал выключателем Андрей.

— Нда, — вздохнул Дим Димыч и заскрипел по ступеням наверх. Бледная, замученная, исхудавшая Нюська спала на руках у матери. Та сидела на краю кровати и смотрела заплаканными, но уже просохшими глазами на маленького человека в дверях детской. Руки и ноги Нюьски свисали верёвочными концами.

— Вот так, значит, — кашлянул Дим Димыч и едва ли не со слезой оглянулся на Андрея. — Что ж ты, хрен тебя в грядку, тут устроил? Да как же... Ладно... Будет вам домовой. Через неделю. Не сомневайтесь. Обеспечу.

- Кто-то вроде вас? — растерялся Андрей.

— Какой же я домовой? — не понял Дим Димыч. — Обижаешь. Ты кто? Механик? Судя по дому, хороший механик. А я чиновник. А домовой — это состояние нутра. Понял? А я... Выкrest, можно сказать. В каком-то смысле.

— Больно? — Ирина смотрела на Нюську с укором. Хотела посмотреть с сочувствием, которое поднималось выше горла, давило на заплаканные глаза, а получалось с укором. — Это только боль. Нет никакой мерзости. Есть просто боль. Ты её просто так видишь. Где она сейчас?

- На шкафу, — прошептала Нюська.

Ирина оглянулась. Боль и в самом деле сидела на шкафу, свесив грязные ноги, и точила коготки. Сейчас действие таблетки ослабнет, и она начнёт вонзять эти коготки в Нюьскины виски. Но мать боли не видит. Ей кажется, что Нюська бредит. Может быть, она и в самом деле бредит?

— Понимаешь, — Ирина подыскивала слова. — Так вышло. Тебе она представляется грязной и злой девчонкой. Я говорила с врачом. Она сказала, что если бы ты думала, к примеру, о змее, то твоя боль представилась бы тебе змеёй. Это персонификация. Ты хочешь отделить боль от себя, а не представив её, отделить сложно. Понимаешь?

— Нет, — захотела мотнуть головой Нюська, но замерла от стонущей боли в затылке. И змея, которая свилась кольцами на шкафу, довольно зашипела. — Нет, — повторила Нюська. — Она не часть меня. Она — отдельно!

— Подожди! — вскочила Ирина, привлечённая шумом за окном. — Кто-то приехал.

У калитки стоял шотландец. Он был маленький, ростом даже меньше Дим Димыча, который и привёз его на своей машинке, но ничем не отличался от шотландца. На голову его была надета шапка-беретка с вороньим или чёрным куриным пером в ней. Под шапкой имелось округлое лицо с выдающимися вперёд скулами, дугами бровей и подбородком.

Уши торчали в стороны, как им и полагалось, нос был прямым и смотрел вперёд и вниз. Усы в этом смысле следовали направлению ушей. Под подбородком на фоне белой сорочки чернела бабочка галстука. Ниже начинался чёрный жилет, переkreщённый полосой пледа или платка, закреплённого на плече сверкающей заколкой. Ещё ниже имелся пояс, свисающий с пояса кошель и точно между поясом и острыми сухими коленями — клетчатый в складку килт. Чуть ниже имелись гольфы и башмаки со стальными пряжками.

— Вот, — пропыхтел Дим Димыч, вытаскивая на середину двора тяжёлый чемодан, перетянутый ремнями и застёжками. — Заказ прибыл.

— Почему он такой нарядный? — прошептала Ирина, которая замерла на крыльце.

— Шотландец, — пожал плечами Дим Димыч. — Брауни по-ихнему. Говорят, интересный экземпляр, но я ни бельмеса по-шотландски, он ничего по-русски. Я даже имени его не знаю.

— И как же с ним говорить? — спросила Ирина.

— Только этого ещё не хватало, — вытер пот со лба Дим Димыч. — Ни говорить, ни называть, ничего. Я предупреждал. Его нет.

— Что, и смотреть на него нельзя? — спросила Ирина.

— Да хоть обсмотришься, — вздохнул Дим Димыч. — Ну ладно, я поехал. Кажется, ему здесь нравится. Скажите, что вы его берёте.

— Что сказать? — не поняла Ирина. — Да и мужа нет, вы же с ним договаривались?

— Какая разница? — топнул Дим Димыч. — Он не вам будет служить, а этому дому. Ну так и говорите от имени дома. Скажите что-нибудь. Ну, не знаю... — почесал затылок агент. — Скажите о'кей, что ли.

— О'кей! — выдохнула, почти простонала в открытое окно Нюска.

Шотландец поднял голову, прищурился, просветлел, затем скорчил горестную гримасу, оглянулся на Дим Димыча, снова посмотрел на Нюську, вздохнул, кивнул и начал осматриваться.

— Нюска! — уже бежала Ирина в дом.

Весеннюю глину брауни месить не пришлось, потому как земля успела подсохнуть. Но он точно так же обошёл вокруг дома, не обращая внимания на Ирину, которая металась в доме от окна к окну. Подёргал штакетник на границе участка с соседом, постоял у поленницы дров, заглянул в баньку, в сарай. Понюхал компостную кучу. Сунул нос в почтовый ящик, прикрученный к калитке, неодобрительно покачал головой, подошёл к крыльцу, взял в руки выставленный хозяйкой стакан молока и лепёшку, понюхал, скривился, размочил в молоке лепёшку и вывалил угощение в миску к Джеку. После этого начал раздеваться.

Ирина отпрыгнула от окна и побежала по лестнице к дочери. Та сияла:

— Мама! У него синие трусы с белым косым крестом! Круглый животик и волосатая грудь! А хвоста нет!

— Нюся! — подошла к окну Ирина.

Брауни уже всовывал ноги в сапоги. На голову он натянул колпак, на себя надел холщовые порты и такую же рубаху почти до колен. Парадная форма аккуратно лежала на чемодане. Над чемоданом был пристроен чёрный зонт.

— Мама! — прошептала Нюська. — А где он будет жить?
— Не знаю, — как заворожённая следила за маленьким существом Ирина. — С ним нельзя говорить.
— Почему? — удивилась Нюська.
— Чтобы не спугнуть, — ответила Ирина.
Брауни, который скрылся за углом дома, вернулся с лопатой и ножовкой.
— Откуда у него ключи от сарая? — удивилась Ирина.
— Ты не читала о домовых? — захлопала глазами Нюська. — Ему не нужны ключи!

— Зато лопата ему нужна, — проворчала Ирина. — Зачем тебе лопата, малыш? Она длиннее твоего роста в полтора раза! Что?

Брауни опустил на одно колено, положил на него лопату и резво укоротил её рукоять наполовину. Затем поднялся, той же лопатой ловко расщепил обрубок на длинные щепки и начал отмеривать шагами и разметать квадрат прошлогоднего дёрна в паре десятков шагов от угла дома. Не прошло и минуты, как он вонзил лопату в землю.

— Что он делает? — спросила Ирина.

— Мне кажется, что он копает себе норку, — радостно предположила Нюська.

Уже ночью, когда прошёл этот суматошный день, в котором, опасливо крестя грудь, в почтовый ящик закинул очередную порцию рекламного мусора почтальон, и сосед принёс пару банок компотов, которые надо допивать, а скоро весна, и чего уж пропадать добру, и тоже застыл в удивлении у забора, и Андрей вернулся с работы и замер у калитки, не веря своим глазам, и брауни углубился в землю на пару метров, после всего этого с книжной полки сползла змея боли. Она заползла в постель Нюськи, стянула холодным хвостом её грудь и раскрыла зубастую пасть над её горлом. И в тот самый миг, когда Нюська готова была забиться в судорогах, в окно донёсся гнусавый писк каких-то дудок.

— Что там? — застонала Ирина, которая уже привычно сидела над дочерью, приготовив и водку, и тряпки, и лёд, и ещё что-то, чтобы сбивать температуру и уменьшать боль. — Он с ума сошёл? Что это?

Андрей на дрожащих ногах подошёл к окну, открыл створки, впустил в комнату весну и истошный вой дудок. В свете полной луны была видна глубокая яма и сидящий на её краю брауни. В руках он держал кожаный мешок с торчащими из него дудками и, надувая щёки и помогая себе локтями, извлекал из него что-то вроде гнусавой мелодии.

— Не останавливай его, — прошептала в спину Андрею Ирина. — Она спит.

Нюська спала первую ночь за полгода. Брауни играл на волынке часов до двух. Потом перестал. Андрей, который заснул, сидя в кресле в комнате дочери, выглянул утром в окно и бросился вниз. Брауни лежал на краю ямы на спине. По его лицу была размазана кровь, а под глазами виднелись такие же мешки, как и на лице Нюськи после всякой бессонной ночи. «Заговаривать с ним нельзя, трогать его нельзя», — вспомнил Андрей и бросился обратно в дом.

— Ир!

— Ну что ты кричишь? — улыбалась Ирина, потому что улыбалась стоявшая у окна Нюська. Впервые за долгие дни.

— Там...

— Сам посмотри, — посоветовала Ирина, раскладывая таблетки по порционным ячейкам.

Брауни уже очнулся и теперь перетаскивал к яме сложенный в углу участка кирпич.

— Значит, так, — решил Андрей. — Молоко он пить не стал, но ты всё равно выставь ему опять молоко и лепёшку. И посмотри там у себя в книжках, что любят шотландцы.

— Он же не простой шотландец! — заметила Ирина.

— Какой бы ни был, — засуетился Андрей. — Я на работу, но к обе-
ду вернусь.

— Почему так рано? — спросила Ирина.

— Думаю, что мне придётся взять отпуск, — ответил Андрей.

Нюська начала постепенно приходить в себя. Приступы случались всё реже, таблетки действовали всё лучше, хотя боль окончательно не уходила. Шипела где-то невдалеке. Но вольтка звучала каждую ночь. Правда, брауни уже не обливался кровью, хотя и лежал потом в изнеможении по нескольку часов. Он всё так же работал без отдыха, но ему помогал Андрей. Не подходил близко, не заговаривал, но делал то же самое, что делал и брауни. Выуживал из сарая доски и брус, подтаскивал брёвна и укладывал на траву возле ямы. Видел, что брауни катит со стороны реки замшелый валун, брал тачку и таскал эти валуны день за днём. Замечал, что брауни тащит на спине найденный в сарае мешок цемента, прыгал за руль и привозил из города два десятка таких мешков. Песок, гвозди, жёсть, стекло, дерево — всё шло в дело. И каждый день Ирина выставляла на крыльцо стакан молока, который вместе с лепёшкой неизменно доставался Джеку, стеклянный термос, наполненный горячим и сладким до приторности душистым чаем, ломти ржаного хлеба, блюдо с диковинным шведским блюдом — хаггисом и маленькую стопочку виски. Брауни съедал хаггис сразу, хлеб посыпал крупной солью и запивал горячим чаем во время коротких перекуров. А виски выпивал перед игрой на вольтке.

— Из чего это сделано? — пробовал Андрей на кухне затейливое блюдо, похуже на толстую, тёмную домашнюю колбасу, от которой Ирина отрезала очередной ломоть для разогрева.

— Ой, — махала она рукой и подмигивала Нюське, которая ещё медленно, но уже ходила по дому и как раз теперь заваривала в термосе чай. — Я и не думала, что когда-нибудь буду это есть. Тут и бараний рубец, сердце, печень, лёгкие, лук, сало, травы и ещё кое-что. Готовить мучно, но что-то во всём этом есть!

— А где ты всё это купила? — недоумевал Андрей. — Ты же всё время дома?

— А сосед? — улыбалась Ирина. — Помогает. И жена его приходила. Варенья принесла. Три банки!

— Дом больше не хотят купить?

— Нет, — радовалась Ирина. — Говорят, что всё, поздно хотеть. Если домовый корни пустил, поздно зариться. Говорят, что дом наш как будто светиться начал. И ещё смотрят на нашего брауни и хотят такого же.

- Такого больше нет,— бормотал с набитым ртом Андрей.
- Папка! — смеялась Нюська. — А ты не боишься, что от такой еды сам станешь маленьким шотландцем?
- Запомни, Нюся! — потряс вилкой Андрей. — Один брауни — хорошо, а два — ещё лучше!

На вторую треть апреля дело уже шло к завершению строительства. В вырытой яме, обложенной кирпичом, брауни устроил погреб со стеллажами и ящиками, сверху настелил тёплый, многослойный пол. Ловко собрал небольшой сруб, перекрыл его жестью, и вскоре из асбоцементной трубы над крохотной избушкой время от времени кудрявился дымок. Под самый конец апреля брауни дождался густого тумана, выбрал то место на усадьбе, где туман был гуще всего, и воткнул там в землю лопату, а под утро принялся копать колодец. Тут уж пошли в дело и оставшиеся от фундамента валуны. Вода оказалась на удивление близко. И как-то так вышло, что уж стенки колодца, а потом и сруб брауни и Андрей делали чуть ли не локоть к локтю. И ведь вроде бы не обменивались ни единым словом, ни даже взглядом.

— Спугнуть боюсь, — говорил Андрей поздно вечером за столом, где семья собиралась, как в прежние времена, втроём. — Народ, смотрю, как в цирк приходит. Сосед — ладно. Ты дала ему ту рекламу? А то чуть ли не со всей деревни. Домовых, правда, не видел, но и почтальон час стоял у ящика охал, и соседи по другой улице. Зачем вам колодец, у вас водопровод. Если бы я знал, зачем нам колодец? Значит, нужен.

- А что он? — спросила Нюська.
- Он говорил со мной сегодня, — прошептал Андрей.
- Что? — вытаращила глаза Нюська. — Что он тебе сказал?
- Если бы я понимал,— буркнул Андрей. — Утром... Утром он буркнул что-то вроде — «мэдаун мач»¹. Потом, когда мы насадили ворот и подняли первое ведро воды, сказал, кажется — «нах э рин ту»².
- Не понравилась вода, что ли? — не поняла Ирина.
- Мама! — обиделась дочь.
- Ладно, — покраснела Ирина.
- А вечером, — наморщил лоб Андрей. — Вечером он сказал «ойчи мач»³.
- А ты? — затаила дыхание Нюська.
- А что я? — развёл руками Андрей. — Я молчал. Трогать и разговаривать нельзя. Тут уж без проколов. Себе будет дороже. Слышишь? За стеной раздался голос волынки.

На следующий день приехал Дим Димыч. Он раскланялся с брауни, который вскапывал какую-то грядку возле своего домишки, присел на крыльце рядом с отцом, чуть приспустил на шее узел галстука.

- Обмен закончился? — с тревогой спросил Андрей.
- Брось, — махнул рукой Дим Димыч. — Ты ещё не понял? Домовой — сам себе хозяин. Или ты думаешь, что он просто так домик себе строил?

¹ Madainn mhath! — Доброе утро! (гаэльск. язык).

² Nach a rinn thu! — Молодец! хорошая работа! (гаэльск. язык).

³ Oidhche mhat! — Доброй ночи! (гаэльск. язык).

— Не знаю, — пожал плечами Андрей. — Всё-таки он из Шотландии, там горы. А тут равнина. Ну ладно, берег высокий, а так-то? Низина по сравнению с горами.

— Это да,— кивнул Дим Димыч. — Вот я из Мещёры. Так вроде уж сколько годков на должности, а всё одно тоскую. Хочется в болото, в сырость, в мягкие мхи. Ты знаешь, какая клюква у нас? Клепикский я. Слышал? Но вот ведь не еду. Долг. Хотя это ж тоже Ока...

— А у него-то какой долг? — не понял Андрей.

— А такой, который всякого за шиворот схватывает и поднимает, — понизил голос Дим Димыч. — Я что прибыл-то. Завтра майские начинаются. Так что этой ночью смотри в оба.

— А что случиться должно? — не понял Андрей.

— Ох, тяжело зрячему со слепыми, — поскрёб лоб агент. — А уж умному с бестолковыми ещё труднее. Запомни, человек, на всякую радость найдётся горе. На всякий цветок — тля. На всякое солнце — туча. На всякий родник — свинья придёт и всё изгадит. И ладно бы, горе не радость, тля — не каблук, туча — не могила, родник — не лужа. Пробьётся и выправится. Только не всегда так бывает. Иногда сходится такая мерзость и такой свет, что... хочешь не хочешь, а впрягаться приходится.

— Да о чём ты? — не понял Андрей.

— А ты не допёр ещё? — всплеснул руками Дим Димыч. — Упырь зашёл в округе. Из наших. Не из домовых, но из наших. Редкая пакость, но неизбывная. Может, и давно был. Прикусывал по чуть-чуть, оно и проходило. Мало ли, отчего недужится. Но он же как пьяница, если в ведро особенного поила наступит, пока не высосет, не отвалится.

— Ты сейчас о каком пойле? — оторопел Андрей. — О Ньюске моей, что ли? Какое она тебе пойло? Да и не допускал я никого до неё!

— Ты слушай меня, — прошипел Дим Димыч. — Вот ведь, ёлки-иголки, с ним домовой, хоть и бывший, разговаривает, а он зубами скрипит. Кому дочь родная, кому свет ясный, который раз в поколение выпадает, да не в каждый край одаривается, а кому дурман непреодолимый. Охота великая и сладость. И близко подходить не надо. Если сильна мерзость, будет дочь твою издалека вожделеть, свет её тянуть на себя. И ни порчу не найдёшь, ни упыря не сочтёшь, пока дочери не лишишься!

— Подожди, — прошептал Андрей. — Как это «не лишишься»? Всё же хорошо... Наладилось вроде... Завтра день рождения у Ньюски...

— «Наладилось», — передразнил отца Дим Димыч. — Ты доживи ещё до дня рождения. Хотя вот тебе и ответ. Завтра день Лели⁴ и Лады⁵. Вот чей отблеск может сиять на твоей дочери. Я ещё удивляюсь, как упыри со всей округи не слетелись. Хотя, может, он один и остался...

— Кто он? — прошептал Андрей.

— Никто не скажет, — вздохнул Дим Димыч. — Кто хочешь. Сосед. Жена твоя. Я. Ты сам, если память твоя перерывы лепит. Рыбак, что от реки идёт и глаз на твою дочь положил. Бабка, что дорогу перешла

⁴ Леля — богиня любви, возможно, искусственно созданный мифологический персонаж.

⁵ Лада — богиня любви, возможно, искусственно созданный мифологический персонаж.

и взгляд косой кинула. Неизвестно. Только тянется нитка в чёрную бездну, а разматывается-то не катушка, а дочка твоя. Этой ночью вся нечисть силу имеет. Так что... Приглядывай за своим брауни. Это ведь он ниточку-то от твоей дочери придержал, не даёт ей разматываться, он.

— А если бы его не было? — мрачно спросил Андрей.

— Тебе честно сказать? — поднялся на ноги Дим Димыч. — Сейчас бы я вот тут рядом дом рыл. И колодец. Хотя колодец не нужен. Водопровод же есть? А вот волынки у меня нет. Да уж, наслышан. Так что — толку от меня и не было бы, даже если учесть, что смерть-то мне не грозила бы. Очень плохая примета убить домового. Даже для упыря. Даже если он всё поставил на твою дочь. Всю свою гниль напруг!

— А что делать, если... — прошептал Андрей. — Если... что-то оборвётся?

— Старайся, чтобы не оборвалось, — буркнул Дим Димыч и стал спускаться с лестницы. Обернулся уже вниз. — Один способ есть. Ещё мой отец меня учил. Лет триста тому назад, если не раньше. Если всё пропало, делай невозможное, не ошибёшься.

Вечером снова подползла боль.

Встала горбатой чёрной тенью в углу. Растопырила кривые пальцы и замерла, словно изготовилась к прыжку. Но за окном загудела волынка, и тень стала таять, пока не обратилась пятном на обоях.

Андрей проснулся от крика Нюски. За стеной дома слышался треск. Ирина метнулась вверх, а Андрей выскочил на улицу. Домик брауни горел. Он сам лежал в двух шагах от крыльца. Андрей подскочил к дому, увидел разодранную в клочья волынку, бледного, с выступившей на лице кровью брауни, оттащил его в сторону, бросился к колодцу, плеснул воды на округлое лицо, на усы, на торчащие уши, на скулы, на щётку чёрных волос.

— Нюска задыхается! — закричала в окно Ирина. — У неё следы пальцев на горле!

— Толс⁶, — вдруг подал голос брауни, сел, вытер рукавом с лица кровь, посмотрел мутными глазами на отца и повторил. — Толс.

— Что делать? — прохрипел Андрей.

— Гриена⁷, — сказал брауни. — Гриена.

И вдруг вскочил на ноги и побежал к дому.

Он влетел на кухню маленьким вихрем, один за другим начал раздирать, отворять шкафы, разбрасывать кастрюли и сковороды, пока не выдернул откуда-то из дальнего угла деревянное сито-решето и побежал с ним по ступеням вверх, и Андрей не мог успеть за ним. Наверху Нюска с бледным лицом, без слёз, но с болью в глазах судорожно пыталась вдохнуть, и мать обливала её собственными слезами. Но брауни подставлял сито под слёзы Нюски, и что-то бормотал, и тыкал пальцем в свои глаза, и расчерчивал слёзы на своих щеках, и наконец из наполненных мукой глаз дочери выкатились две слезинки, и брауни кубарем покатился вниз по лестнице, и Андрей тоже побежал за ним.

⁶ Т-олс — зло (*гаэльск. язык*).

⁷ Гриена — возможно, кельтская богиня, соотносимая с солнцем.

Где-то в отдалении уже слышалась сирена пожарных машин, и, кажется, кто-то бежал по улице, гремели вёдра, мелькали какие-то тени, а брауни у колодца бил ладонями по краю сита, резал их в кровь, а потом наполнял сито водой. Подхватывал его и бежал. Вода вытекала через два-три шага, брауни возвращался и показывал жестами Андрею — лей воду в сито. И Андрей лил, и брауни снова пробежал несколько шагов и возвращался обратно с пустым ситом. И Андрей снова наполнял его, крутил ворот и наполнял, не обращая внимания на подставленные кем-то вёдра. Трещал забор под колёсами пожарной машины. Неслись крики:

— Дом пролейте, чтобы не занялось! Будку потом! Хрен с ней! Мальца держите с решетом! Ведро отнимите у хозяина! Обезумел!

Ладони брауни сжимали сито так крепко, что кровь текла из его ладоней, заливая плетение. И он проходил с каждым разом всё дальше и дальше, но вода вытекала, и он снова возвращался.

— Подожди, — остановил его Андрей, и шатающийся от изнеможения брауни, жмурясь от света фар, посмотрел на сито, которое он держал в руках, на окровавленные ладони, на свисающие с сита капли крови, и понял. Пробормотал что-то неразборчивое и быстрое, крутанул сито между ладонями, перевернул и начал размазывать по нему кровь.

— Быстрее, быстрее, — хрипел Андрей и тоже рвал края собственных ладоней зубами, а брауни продолжал размазывать, пока дно сита не обратилось в кровавое матовое зеркало. И тогда он прижал его к груди, обмяк и закрыл глаза. Андрей наполнил сито водой.

Подхватил брауни на руки.

Посмотрел на пылающий, проседающий дом домового и побежал не к нему, а туда, куда пытался бежать брауни. Вдоль забора. Мимо соседей и пожарных. Через шланги и опадающие искры.

До угла. Затем повернуть и вдоль другого забора за дом, мимо сарая и баньки.

Затем повернуть и опять вдоль забора до дальнего угла, где ещё слышен рёв машин, но уже не слышен крик жены, а слышен только хрип брауни, который опять повторяет слово «Гриена» и что-то частит быстрое и непонятное, словно молится. И опять повернуть, чтобы увидеть впереди колодец, где тени, вёдра, крики и откуда он начал свой бег. И добежать, и остановиться у колодца, упасть на колени, и ещё удивиться, что пришедший в себя брауни бросает в колодец окровавленное, полупустое, но не пустое сито.

И в тот же самый миг там, среди толпы, среди теней и крика, кто-то знакомый, кто-то частый и привычный, тот, кто появился у дома каждый день, опускал в ящик газеты и журналы, начал ломаться. Выворачиваться и лопаться, исходить гнилью, скулить и визжать, пугая людей, заставляя их разбегаться, пока не взорвался, как взрывается сухой дождевой гриб.

— О'кей, — прохрипел брауни и ударил отца по плечу. — Дуэн мач⁸.

И через внезапно накатившую тишину донёсся голос Ирины:

— Дышит!

Утром Андрей заказал машину и поехал за кирпичом.

⁸ Duine math — хороший человек (*гаэльск. язык*).

ПЯДЬ ЗЕМЛИ



Сергей Павлович Швакин родился в 1960 году в посёлке Пески Коломенского района. Вырос и жил в соседнем селе Черкизове. Потомственный железнодорожник. Железнодорожному транспорту (МИИТ, БАМ, Московская железная дорога) отдал более тридцати пяти лет. Ветеран труда. Награждён медалью «За строительство Байкало-Амурской магистрали».

Очерки и рассказы С. П. Швакина публиковались в журнале «Военно-исторический архив», в шестом и седьмом выпусках «Коломенского альманаха», в газетах «Гудок», «Московский железнодорожник», «Коломенская правда», вышли в свет его книги «Черкизово» (написанная в соавторстве), «Эхо прошедшей войны», «Ахтунг: топчу».

Член Союза писателей России.

Рассказ

И акануне Дня Победы Николай Иванович Фролов выступил на сельском митинге у братской могилы. Хорошо выступил, с душой, не по бумажке. Сам от себя не ожидал такого порыва. Думал: выйду, расскажу вкратце о войне, ну и — слава отдавшим жизни свои за ныне живущих! А вышло всё довольно складно, будто кто диктовал нужные слова. Даже уставшая от схожих однотонных речей и начавшая уже немного шалить молодёжь притихла, а некоторые бабы, да какие бабы — бабки, — всплакнули.

В свои восемь десятков Фролов выглядел ничего. Если недели три к вину не прикасаться, побриться, костюм надеть — то и совсем молодчина. Но молодцеватость Николаю Ивановичу была ни к чему. В субботу после бани выпивал он двойную наркомовскую, в воскресенье малость болел, но не похмелялся, чтобы вразнос не уходить, а в понедельник брался за свои нехитрые дела. И так до следующих выходных.

Дел у Фролова было немного, но в последние недели и они не делались. Решил Николай Иванович дом с участком на дочь переводить. Чтобы ей потом с бумажками не мучиться. И вот при оформлении выяснилось, что земли в его владениях на сотку больше, чем по документам. И как старик ни доказывал, как ни горячился, выход навязывали такой: или эту сотку выкупить, или взять в аренду. Знай Николай Иванович раньше о таком землемерном подвохе, то денег на эту злосчастную сотку скопил бы. Пенсию Фролов получал неплохую и всегда ею делился. То одному, то другому родственнику деньжат подкидывал.

Дочь сказала: пусть будет одна сотка в аренде. Но, убей, не понимал Фролов этих новых правил. На 49 лет, а дальше что? И хоть смеялась дочь, говорила: опять в аренду возьмём,— не хотел старик, чтобы наследники какими-то временными собственниками становились. Пусть и одной сотки, не в этом дело.

Когда попросил землемеров указать, где она, эта лишняя сотка, ещё большей стало. Спереди, слева и справа — соседские дома. Остаётся тыльная часть сада, она к полю примыкает. Вот там, пусть и на бумаге, отрезала безжалостно женщина из земельного комитета сто квадратных метров. Нет на них ни грядок, ни кустов, ни яблонь, только одинокий дуб возвышается. Николай Иванович вместе с этим дубом рос. Были когда-то одного роста. А теперь — поди достань до макушки! Пять лет назад осторожно, чтобы не повредить корни, вырыл старик возле дуба могилку, где похоронил верного пса Уголька. Любил Фролов посидеть у дуба, даже разговаривал иногда с деревом и покойным четвероногим другом. Дуб — ещё юноша, у него век долгий. А с чернявым Угольком, если собачий век с человечесим сравнивать, они ровесники были. «Пережил тебя хозяин,— обращаюсь к псу старик, а дубу, глядя его шершавые бока, шептал: — Внуки, правнуки к тебе приходять будут. Дай им силу... Расти вместе с ними».

«Чужой земли мы не хотим ни пяди, но и своей вершка не отдадим». Спроси у Николая Ивановича про указанные меры длины, не дал бы точного определения. Ясное дело: крохотные размеры. Но эти незамысловатые слова песни очень старику нравились, и жил он всегда своим, не зарясь на чужое. А тут такая петрушка. Дочь с зятем кредит на машину взяли, им самим бы выкрутиться. Внуки... У молодёжи деньги не держатся. На начало июня к нотариусу записаны а раньше чем к сентябрю денег не собрать. Фролов уж и у почтальона интересовался, можно ли за три месяца вперёд пенсию получить. Варька-почта глаза округлила: «Ты что, дядя Коль? А если...» Ну да. Всё правильно. Осталась у Николая Ивановича последняя надежда — Пётр, сосед-москвич. Мужик хороший и денежный, что не часто бывает. Только и он что-то на дачу никак не едет, хотя обычно к Первомаю подкатывал.

Девятого мая была пятница, но Николай Иванович решил график заведённый нарушить. За друзей-товарищей, глядишь, и «с прицепом» получится. А в субботу с воскресеньем болеть будем. Только вышел Фролов на двор щепы для банной печурки собрать, как услышал скрип калитки.

— Николай Иванович?! — обозначившийся гость так и расплывался в неестественной улыбке. — С великим праздником вас, с Днём Победы!

Ничего Фролов против одежды красивой не имел. Но, глядя на молодого человека в дорогом чёрном костюме со стильной полоской, с вызывающе ярко-жёлтым галстуком, почувствовал почему-то к незнакомцу недобрые чувства.

— Спасибо. Слушаю вас, — сказал он строго, даже немного с вызовом, как бы обозначая: я здесь хозяин, а ты, какой ни будь начальник, мне на моей заваulinке не указ.

— Хорошо, что мы вас отыскали, — залепетал, почувствовавши неожиданный барьер, гость, но, привыкший к подобным препятствиям,

с лёгкостью его обогнувший. — Вот так, значит, живут наши фронтовые герои.

Модный парень понимающе закивал головой, разглядывая почерневшие доски террасы, шифер в болотных разводах, треснувшую местами штукатурку.

— Нормально живём. Чего надо-то? — Фролов присел на дубовый чурбак, служивший раньше эшафотом для куриного семейства. После смерти жены Николай Иванович кур перевёл и использовал чурбак для рубки веток.

— Видите ли, Николай Иванович, — и, скороговоркой представившись Виталием, городской красавчик нарисовал примерно такую картину.

По какой-то там линии дружбы и сотрудничества приехали к ним в район немецкие друзья. Не то чтобы друзья... Бывшие противники. Они уже давно никакие не противники. Очень приличные люди. Хотят вот поглядеть на места былых сражений.

— В Музее боевой славы два месяца к их приезду готовились, материалы изучали. А они... Хотят с кем-то из участников войны пообщаться, по полям боёв пройти. Вот мне вас и рекомендовали.

«Понятно, — сообразил Фролов. — Не надо было на митинге варезку разевать. Рекомендовали!»

Озвучивать свои дальнейшие размышления по поводу приличных людей Николай Иванович не стал. Просто сослался на занятость и упёрся как бык: никуда не поеду.

Моложавый миротворец размеренно заходил перед Фроловым, выдавая порции увещаний о политическом положении, потом, поглядывая на сверкающий циферблат, прямо-таки заскакал перед хозяином, сбивчиво толкая вовсе непонятные вещи. Наконец, видимо, как последний аргумент, который держал на крайний случай, выстрелил:

— Они и денег обещали заплатить. Всего-то полдня с иностранцами по полям-лесам поболтаться! — последнее гость выдал с неприкрытым раздражением: чего, мол, мужик, кочевряжишься, по мне — так каждый день бы разъезжал, тем более что не бесплатно.

Скажи он это месяц назад, рассмеялся бы фронтовик: «А на что они мне, деньги?» Только за последнее время весь издумался Фролов об них, проклятых, и даже не поразился теперь столь непривычному обороту дел. Напротив, к собственному удивлению ухватился за меркантильное предложение, как за спасительную соломинку.

— И много заплатят?

Деловой визитёр расценил фразу как получение долгожданного приглашения:

— Да нормально заплатят, Николай Иванович. Говорю же вам: люди состоятельные. Вы бы передевались...

Фролов внимательно посмотрел на непрошеного гостя. Ему показалось, что он смахивает на иноземца. Лицо русское, говорит без акцента. Но в логике его слов, в жизненном подходе чувствовалось что-то чужое. «Может, шпион? — подумал было Николай Иванович, но тут же сам над собой посмеялся. — Ну, дожил. Кому я, старый пень, нужен?» А смахивающий на иностранца парень начал стыдить хозяина, что проделана

огромная работа на всех уровнях, а он, Фролов, чуть ли не срывает ответственное мероприятие.

— А других, что — нельзя позвать?

— Да каких других? Другие... Нет других, — гость опять посмотрел на часы. Он уже явно нервничал.

Терзаемый сомнениями, хозяин молча встал и направился в дом. Не любил Николай Иванович лишних разговоров. Сразу для себя решил: вилять перед германцами не буду — всё, как помню, расскажу. Чего себя корить? Не воровать еду.

Уже в доме, натягивая похоронный костюм, Фролов слушал инструкции, выкрикиваемые в открытую форточку:

— Николай Иванович, вы с ними поспокойнее. Война когда была... Всё, как говорится, быльём поросло.

— Не учи щуку плавать, — пробурчал вполголоса ветеран. Покосился на старый пиджак с внушительным набором наград. Снял с него лишь орден Славы и, аккуратно проткнув хрустящую материю, закрепил награду с левой стороны. Встал во весь рост перед зеркалом в гардеробе. «Тьфу ты, чучело!», полез за ножницами — срезать фабричный ценник, болтающийся на рукаве. А с улицы доносилось:

— Они уже давно войну осудили. Это скорее визит вежливости.

«Вежливости...» Фролов переместил в новый костюм носовой платок, ключи. Долго держал в руках перочинный ножик, затем положил его на подоконник — от греха подальше.

По дороге Виталий то и дело отворачивался от руля вправо, давая новые пояснения и рекомендации.

— Ты бы за дорогой глядел, — немного грубовато прервал его Фролов. — Дружбу с ними мне налаживать ни к чему, да и поздно уже. А просто поговорить... можно и поговорить.

Минут через сорок подъехали к местам, где осенью сорок первого подмосковная земля щербатилась от разрывов бомб, нарезалась линиями окопов, обрастала неуклюжими многопудовыми «ежами». На обочине у перелеска стоял микроавтобус. Водитель дремал за рулём. Чуть поодаль стояли пятеро мужчин и хрупкая девушка.

— Вот и приехали, — доложил, немного волнуясь, Виталий. — Вы общайтесь без стеснения, они уже здесь освоились. Настя переведёт.

Фролов вышел из машины и осмотрел немцев. Четверо из них были, как близнецы: средний рост, немного склонённые головы, одинаковые постные лица. Серые брючки, светлые ветровки... Словно почистившие пёрышки воробьи грелись на майском солнышке. А пятый был на полголовы выше, грузноват, в больших годах, но при этом подтянут. Спортивная куртка, волевое лицо... Если не орёл, то уж точно ястребок бывалый.

Сблизились.

— Курт Мюллер, — громко произнёс коренастый предводитель.

— Николай Иванович Фролов, — ветеран посмотрел в не по-старчески ясные голубые глаза бывшего противника и выразительно добавил: — старшина стрелковой роты.

Виталий заметил набежавшую тучку неприязни и тут же постарался её развеять:

— Мюллер — довольно распространённая фамилия в Германии. Он тому... совсем не родственник. Однофамильцы.

«Хрен его знает, может, и родственник, — проворчал про себя старик, — ты-то откуда знаешь?»

Остальные немцы тихо и невнятно представились, словно гурьбой пробормотали что-то.

— Вот и познакомились, — с неприкрытым облегчением выдохнул Виталий. — Николай Иванович, нам правее?

Фролов покрутил головой. До начала девяностых он ещё бывал здесь, рассказывая школьникам о сражении под Москвой. Потом, видимо, решили, что учебники, составленные толерантными людьми, освещают Великую Отечественную лучше участников боевых событий, и приглашать фронтовиков перестали.

— Давайте краем леса пройдем. Здесь недалеко. — Николай Иванович вяло повёл рукой вправо, вновь почувствовав сомнение: вправе ли он вести пусть и бывших врагов на землю, политую кровью его товарищей? В последние годы Фролов всё чаще задумывался о том, каким чудом ему удалось выжить в гигантской человеческой мясорубке. Ведь жизнь могла оборваться где-то здесь, за ближайшими деревьями. Не верил старик ни в какую мистику. Только не раз в газетных публикациях и телепередачах о битве за Москву вскользь, а то и напрямую говорилось о необъяснимых с точки зрения военной тактики результатах.словно гигантский исполин встал на защиту Москвы. Помог повернуть вспять превосходящую в боевом оснащении армию. Укрыл приписавшего полгода до недостающих восемнадцати ещё не видевшего жизни Кольку Фролова. Художественные фильмы про войну Николай Иванович не любил, а вот к документальной хронике относился с интересом. Иногда откровенно смеялся над ляпами не понюхавших порошу сценаристов, а над некоторыми материалами по долгу задумывался.

Начав войну необстрелянным пареньком, он вошёл в Берлин старшиной роты. Ему ли не знать войны? И вот, спустя десятилетия, не только зарубежные, но и доморощенные обозреватели замарывают подвиги, сомневаются в успехах сражений и порой уравнивают бойцов Красной Армии с нацистами. Да, люди — не ангелы. Были случаи недостойного поведения и у наших бойцов. Но звериных указов о жестоком поведении на чужой земле никто не издавал. Напротив, часто слишком жёстко поступали со своими нарушителями. А самое главное — не было у победителей той нечеловеческой лютости, которую показали фашисты. Словно сохранило небо в советских бойцах людей, помогло добраться до логова врага и не озвереть самим. И приходило на ум: раз новоявленные историки настолько не понимают истину или, понимая, всё же лгут, то новый фашизм не за горами. В Восточной Европе, в некоторых бывших союзных республиках уже поросль появилась. «А с немцами только за реставрацию Солдата прогуляться стоит», — успокоил себя Фролов, читавший на днях про восстановление бронзового памятника в Трептов-парке.

Шли по березняку. Вспомнив об отложенной бане, Николай Иванович поинтересовался:

— У себя в бане-то паритесь? Старые кости парком размять — милое дело. — И, кивнув на ветки, добавил: — Отличные венички висят. После Троицы милости просим.

Переводчица, немного покраснев, стала подбирать нужные слова. С минуту мучилась.

— Ты им объясни: до Троицы нельзя срезать, — попытался помочь ей старик.

— Я это знаю, — сухоотреагировала девушка и сбивчиво закончила трудно переводимую тему.

«Воробышки» даже не моргнули, точно не слыхивали о бане и вениках, а Мюллер закивал:

— Я, я-я-я. Баня. Хорошо!

«Хорошо. Хорошо в 43-м под Житомиром было, — в голове Фролова промелькнул забытый эпизод войны. В украинской деревушке, отбитой у немцев, его отделению удалось разжиться упаковкой новеньких полотенец и ящиком мыла. Впопыхах, покидая натопленную колхозную баню, фрицы побросали своё добро. — Веников вот только не было. И мыло — дрянь. Запах один».

Наконец дошли до давно заросших травой и кустарником окопных линий. Ничто не напоминало о страшной войне. Осыпавшиеся окопы почти сравнялись с землёй, бесследно исчезли сгнившие брёвна блиндажей. На местах, где вжимались в стылый грунт красноармейцы и ополченцы, ближе к осени будут собирать грибы.

— Вот где-то здесь, значит. Я родился неподалёку отсюда, после войны в родной дом вернулся. Когда фаш... когда война к Москве подошла, я ещё пацан был, — ветеран поправил седую прядь и начал неторопливо рассказывать о боевом крещении под Москвой, о лютых морозах, стоящих в ту пору, о погибших друзьях. И опять Фролову показалось, что кто-то помогает ему подбирать правильные слова, находить нужные мысли. Говорил он ровно и негромко, а когда замолкал, остаточным эхом звучали обрывки фраз по-немецки. Настя словно попала в унисон: не сбивалась, не мямлила.

«Воробьиная стайка» никак не реагировала на бойкий говорок переводчицы. А вот их не по годам бодрый лидер с жадностью ловил каждое слово. И когда Николай Иванович останавливался, а девушка немного переводила дух от быстрого словесного ручейка, Курт доводил до соплеменников свои воспоминания. Переводчица понимала, что говорит немец, но не понимала истинного значения и масштаба дней, всплывших в памяти вермахтовца. Фролов понимал лишь редкие слова, но и этого ему хватало, чтобы чувствовать лавину мыслей, вызванных воспоминаниями о той кровопролитной битве. Каждый свой монолог Мюллер заканчивал: «Нихт ферштее, нихт ферштее...» Постепенно это непонимание стало раздражать.

Вот проскочило: «Гудериан... панцергруппе... Нихт ферштее...» Ага. Про атаку танковой армии Гудериана плетёт. В одной из газет Фролов прочитал интересные вещи, основанные на воспоминаниях немецких танкистов. Им, казалось бы, удалось пробить советскую оборону, но внезапно передние машины стали разворачиваться. Ничто не мешало свободному передвижению: вперёд на Москву! Но отступили. Многие из оставшихся

в живых танкистов утверждали, что чувствовали необъяснимый страх. Наши военные специалисты, кстати, тоже поражались непонятному демаршу вражеской техники. Словно действительно нечто свыше развернуло безжалостных рыцарей «быстрого Гейнца» от врат столичных.

Немцы о чём-то заспорили. Было понятно и без переводчика, что упорно называются числительные, никак не укладывающиеся в определённые рамки. Наконец, один из спорщиков обратился к Насте, и она пояснила предмет возникших разногласий:

— Николай Иванович, вы сказали, что родились в 1924 году. Получается, что осенью 41-го вам не было восемнадцати. Так?

— Так. Только ты им объясни, что я сам себе шесть месяцев приписал. Был такой грех. Насильно меня на передовую никто не тащил, — старик, выслушав быстрый перевод девушки, на всякий случай для убедительности поводит сжатými пальцами правой рукой по левой ладони, словно надпись сделал.

Немцы закачали головами: «понятно», а один из «воробыиноного семейства» негромко задал короткий вопрос.

— А зачем? — перевела девушка.

Фролов почувствовал закипающую злость, но она быстро отступила. Ему даже стало чуточку смешно:

— Вот сидит кошка на коврикe, а к ней псина здоровенная подбегает. Хорошая кошка, да что кошка — котёнок, никогда своё место не уступит. Зашипит, а то и в морду вцепится. За свой уголок умри, но стой до последнего.

Переводчица, немного путаясь, довела философский ответ. Один лишь Курт понимающе закивал, остальные мелкими шажочками двинулись дальше, словно покидая неудобное место. Вышли на пригорок. С него хорошо были видны сросшиеся со столицей кварталы ближнего Подмосковья.

— А правда, что отсюда кремлёвские звёзды можно увидеть? — спросила переводчица по просьбе вновь заспоривших немцев, которых в чём-то пытался убедить их предводитель.

— В хорошую погоду можно, — слукавил фронтовик и сразу же осознал, почему это сделал. В той же газетной статье про танковый разворот говорилось, что военнослужащие фашистских частей, находящихся на крайних подступах к столице, уверяли: в ясные морозные ночи они видели звёзды Кремля. Дудки! Размечтались. Это они так в свою победу поверили, что бредить стали. Один какие-то огоньки увидел, другой тоже что-то разглядел, и начался массовый оптический обман. А теперь этот кабан пусть ещё раз позлится, что ушёл не солоно хлебавши от стен московских. Рядом стояли, только близок локоть, да не укусишь. Скажи спасибо, что ноги унёс.

Мюллер, вдохновлённый подтверждением, заговорил ещё напористей и стал показывать руками на то место, где в ночном небе якобы мерцала заветная цель. «Воробышки» посматривали в сторону столицы как-то робко, без энтузиазма.

«Давай, давай ври, — посмеивался Фролов, — чёрта лысого ты видел».

А «воробыиный вожак», закончив свою былль-ложь про рубиновые звёзды, опять сокрушённо добавил:

— Нихт ферштее...

И тут Николай Иванович не выдержал:

— Чего ты не понимаешь? Чего ты не понимаешь, сука?

В голове застрочили автоматные очереди, заскрежетали гусеницы танков, послышался срывающийся голос убитого в первой же атаке молоденького лейтенанта Лёвки Захарова: «За мной!»

— Вы в 41-м зачем пришли? Жизни наши брать? А мы свою пядь земли защищали, за нами правда была! Вы море здесь хотели устроить, в граните лютость свою увековечить!..¹

Старик уже не понимал, говорит он или кричит. «Воробьи» опустили головы ниже, словно нахохлились от порыва сильного ветра. Побледнел расслабившийся Виталий. Мюллер крепко взял за руку Настю, и она, было замолчавшая, обрывчато переводила напор фронтовика. А Николай Иванович выплеснул из себя всё, что казалось ему неправильным и несправедливым. Досталось не только присутствующим. Он вспомнил и продажных писак, искажающих войну, и политиков, шулерски подтасовывающих события и факты, и власть, растящую не ворошиловских стрелков, а любителей баварского пива. Зачем-то со злости вставил, что вовек бы не пришёл, если б с земельным участком не подкузьмили. Под конец всё же взял себя в руки и, как только мог спокойно, попрощался:

— Ладно. Поговорили. Я нах хаузе. Ауф видерзеен!

Широким шагом, почти по-солдатски, ветеран удалился от опешившего сопровождения. Через полсотни метров Фролов почувствовал, как сжимаются виски. Перед глазами замелькали чёрные точки. «Спокойно. Не хватало ещё грохнуть здесь», — старик убавил шаг и услышал, что его кто-то догоняет.

— Николай Иванович! — запыхавшийся Виталий выглядел испуганным. — Вы куда? Я вас привёз, я и обратно доставлю.

— Сам доберусь, — отрезал ветеран.

— Да что вы, в самом деле? Чего они такого сказали?

Парень тащился за Фроловым до самого шоссе, на которое вышли метрах в двухстах от микроавтобуса и машины Виталия.

— Я сейчас подъеду, — миротворец-администратор засеменял в сторону стоявшей техники.

А Николай Иванович поднял руку, и первая же легковушка мягко притормозила возле голосовавшего ветерана. Водитель даже вышел из машины и помог усесться. Село, в котором проживал Фролов, оказалось попутным. Мелькнуло растерянное лицо Виталия. До свидания, поле брани. Не обессудь, что всё так вышло.

— Хорошая у вас машина, — Николай Иванович похвалил плавно набравший ход автомобиль. — Какая марка?

— «Фольксваген», — чуть замешкавшись, ответил шофёр. — Народный автомобиль бывшего противника. Не обижайтесь.

¹ По замыслу Гитлера, на месте Москвы должно было образоваться рукотворное море. В центре планировалось воздвигнуть гигантскую фигуру германского солдата-завоевателя. Осенью 41-го для будущего монумента уже стали подвозить гранит. Впоследствии гранитные плиты пошли на облицовку домов в начале столичной улицы Горького.

— А чего обижаться? У меня дочь с зятем «Опель» купили. Раз германцы лучше технику делают...

— А вот в бою АКМ на шмайсер, наверное, не променяли бы?

— В войну АКМов не было. А из шмайсера стрелять доводилось, — ветеран был знаком с трофейным оружием не понаслышке.

— Ах, да, да... — молодой мужчина болезненно сморщился: как же я такую промашку допустил?

После оба замолчали. Как по заказу, автомагнитола негромко выдавала одну за другой старые военные песни. Водитель ехал не торопясь. Похоже, был рад, что в День Победы судьба подкинула в попутчики фронтовика-орденоносца. Фролов тем временем прислушивался не только к задушевному мелодиям, но и к сердцу, тревожной птицей забившемуся в груди.

— Вы уж простите, валидолчику не найдётся? — обратился он к шофёру.

— Должен быть, — хозяин авто достал аптечку, на ходу порылся и передал старику нетронутую упаковку.

Николай Иванович редко пользовался таблетками, не очень веря в чудодейственные силы фармацевтики, но сегодня, рассосав валидол, сразу почувствовал облегчение.

— Извините. Проголосовал, теперь с таблетками пристаю.

— Ну что вы! Мелочи какие. Разволновались, наверное, в такой праздник.

— Да. Встретил ребят и разнервничался чего-то. С войны не виделось.

Баню и двести грамм пришлось перенести на застолблённую для этого субботу. И всё же незадавшийся банно-праздничный день закончился нужной нотой! Приехал-таки под самый вечер московский Пётр. Он вначале даже испугался взволнованного голоса Николая Ивановича, ещё не обозначившего просьбу. Но когда Фролов пояснил свою головную боль, с лёгкостью согласился выручить соседа.

Утром, как договаривались, съездили в райцентр. С красивой сбербанковской карточки деньги благополучно перетекли на лицевой счёт, указанный в выписанной ранее квитанции. Николай Иванович даже усомнился в лёгкости проведения денежной операции. Но Пётр заверил его, что сейчас вся эта система надёжно работает. Так что за пару часов и обернулись. По возвращении домой Фролов пригласил соседа в баню:

— Часиков в пять приходи.

Пётр сначала стал отказываться: дел по горло. Но потом согласился. Дела делами, а попариться в баньке тоже нужно.

Едва Фролов начал новый подход к подготовке бани, опять дала о себе знать скрипучая калитка. И вновь показался всё тот же визитёр. Только теперь в джинсах и лёгком свитере.

— Ещё чего рассказать нужно? — ядовито встретил гостя старик.

— Николай Иванович, я извиняюсь. От лица администрации... — Парень начал сбивчиво говорить о том, что такие встречи всё же нужны, что чувство вражды необходимо погасить, что в Германии фашизм осуждают не менее, чем у нас.

Как и накануне, хозяин присел на порубленный чурбак. Он почти не слушал заученный текст, а вновь разглядывал Виталия. И совсем он не похож на иностранца. Просто взялся человек за навязанную роль и ис-

полняет её, как умеет. Ему даже стало жалко гостя. У него из-за вчерашней истории неприятности, наверное. Набросились на молодого человека: чего ветерана к встрече не подготовил?

— Отдохни, барабанщик, — остановил фронтовик уже уставшего молотить высокие слова парня. — Ты скажи: немцы-то как, не возмущались?

Виталий, почувствовав добрые нотки, ободрился и присел на брёвнышко рядом со стариком. Словно сбросив с себя неподходящую маску, он облегчённо затараторил:

— Нормально всё закончилось. Мне Настя рассказала, что, когда назад ехали, Мюллер своим целую лекцию прочитал. Вас настоящим русским солдатом назвал. Сказал: «Я понял, почему мы войну проиграли. Потому что такие люди, как Фролов, против нас бились». Сейчас... Секундочку.

Достав из кармана листок и ручку, парень начал писать:

— Московская область... Николай Иванович, скажите ваш точный адрес с индексом.

— Зачем такая бухгалтерия?

— Вы вчера про землю говорили. Мюллер сказал, что они сделают вам перевод.

— Разобрались уже с землёй. Не нужно никакого перевода, — старика взяла досада, что сболтнул лишнего.

— Да напрасно вы так. Они нас с Настей хорошо отблагодарили. А, говорят, перед герр Фролов мы в долгу...

— Передай немцам, что герр Фролов ни в чём не нуждается, — перебил Виталия Николай Иванович. — Скажи, что не так меня поняли. Я имел в виду... что земля эта сердцу дорога, ни за какие деньги её не купишь.

— Николай Иванович, да им эти деньги, как вам три копейки. Чего отказываться?..

Как ни уговаривал ветерана гость, старик был непреклонен. Чувствуя, что парень будет ещё долго донимать германскими посулами, Фролов поднялся, похлопал так же вставшего Виталия по плечу и двинулся в сторону калитки. Уже попрощавшись, добавил:

— А Мюллеру скажи: пусть не обижается. Мы с ним вроде как однополчане.

Заметив недоумение на лице Виталия, пояснил:

— На одном поле чуть кости не сложили. Целились друг в друга, стреляли. Но промахнулись... И слава Богу!

Попарились от души. А после бани, говорил это Суворов или не говорил, но все к чарке тянутся, на него ссылаясь.

Сосед, перенёсший серьёзную операцию, уже два года к вину не прикасался. Для него Фролов налил в графин колодезной воды. Получилось, что оба пили прозрачную жидкость. Один раз Николай Иванович и себе по инерции воды из графина плеснул. Волей-неволей вернулись в разговоре к земельной теме.

— Да можно было и в аренду взять. Ничего страшного, — москвич не был строго радикален в разрешении вопроса о спорной сотке.

— Петро, ты пойми: вот есть твоё, а есть напрокат взятое.

— Напрокат на день велосипед берут, — уклончиво заметил Пётр.

— Не скажи. Будет в голове сидеть: вот этот кусочек земли не мой. Ты же меня знаешь, я не жадный. Только тут другое... Чужое не бери, своё не отдавай.

— Иваныч, так у тебя никто отбирать и не собирается.

— Ты — как дочь прямо... Я на этой земле всю жизнь провёл, отец мой, дед, — чувствовалось, что Николай Иванович сильно недоволен непониманием важной для него и одновременно довольно простой истины.

— А при советской власти? Земля ведь собственностью не была, — мягко попытался найти подходящий аргумент Пётр.

— Не была... Так тогда никто и не задумывался об этом. Что внутри забора — то твоё.

— Тогда молодец. Защитил землю-матушку, — сосед понял, что Фролова не переубедить.

— И ты — молодец. Поддержал старика. Другой бы десять отговорок нашёл. Я пока вроде шевелюсь. Только вот... Если вдруг так... — Фролов сбился, не желая произносить «умру» и не находя слову нужной замены.

Пётр взял соседа за локоть.

— Иваныч, я понял. Тогда там мне местечко хорошее приглядишь. За эти деньги вроде риелтора поработаешь.

— Вроде кого?

— Ну... Разведчиком будешь.

— Пётр, я серьёзно.

— И я серьёзно. Да и чего ты себя хоронишь? Я сiju водичку пью, а ты, молодчик, сорокаградусную.

Помолчали.

— Может, расписку написать? — предложил Фролов.

— Всё, сосед. Кончили с этим. Мне не внапряг. Уеду только к середине октября. Так что не рвись.

— Спасибо тебе, Пётр Владимирович.

— Пойду я, Николай Иванович. Надо марафет после зимы наводить. На том и расстались.

Фролов убрал посуду, взял складной табурет и направился к дубу. Он чувствовал что-то похожее на состояние, возникающее после очередного боя. Ты уже не желторотый юнец — страх и робость давно забыты. Ты уже не вздрагиваешь от разрыва снарядов, не высовываешься попусту, а расчётливо, экономя силы и патроны, делаешь всё возможное, чтобы этот очередной бой был выигран. Но бой есть бой. И когда кровавая сутолока осталась позади, уже пущена по кругу фляжка на помин погибших товарищей, ты или замыкаешься в себе, или хочешь облегчить разговором огрубевшую душу.

Старик, расправив ножки походного сиденья, присел у едва заметного могильного холмика. Беззвучно шевеля губами, Николай Иванович доложил умершему псу о своей маленькой, непонятой, но очень желаемой победе. Затем, повернувшись к вновь зазеленевшему великану, уже во весь голос произнёс:

— Живём, дружище!

В свежем майском воздухе зарождались признаки скорого лета. Зарябили мушки-толкунчики, ещё не назойливо, а как бы пробуя голос, зажужжали первые комарики, зазвенели изо всех уголков голоса птичек-

невеличек. Ласковые лучи заходящего солнца гладили морщинистые щёки ветерана. На душе было спокойно. Будто выдернули из неё занозу. Будто вновь он, как стойкий терпеливый солдат, не дрогнув, не замаравшись, отстоял свою пядь земли.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!



МАСТЕР КОЛОМЕНСКОЙ ПРОЗЫ

Николай Бредихин — один из наших «аксакалов». Когда мы в 96-м году (Боже, как давно это было!) обсуждали возможность коллективного коломенского издания, кто мог подумать, что история нашего ежегодника растянется на десятилетия! С первых номеров «Коломенского альманаха» Бредихин был в числе самых активных сотрудников. Его новеллы становились украшением раздела «Проза». Здесь был опубликован и его фантастический роман «Полковник Вселенной».

С тех пор Николай переключился на «крупную форму». С одной стороны, мы рады его успехам, а с другой — относимся к ним не без ревности. Когда же наш автор вспомнит о жанре рассказа и даст в альманах своё очередное произведение?

Дорогой Николай Васильевич! В год твоего 70-летия мы вспоминаем о тебе с теплом и надеждой. Конечно, ты уже вошёл и в историю альманаха, и в литературную летопись Коломны. Но это не повод «почивать на лаврах». И мы уверены, что твои увлекательные новеллы ещё не раз оживят нашу прозу.

Пусть Господь благословит тебя и твои труды!

Коллектив редакции



Мargarита Андреевна Луканичева родилась в Коломне 22 июля 1998 года. Учится в 11 классе колывёвской школы № 17.

Увлекается фортепианной музыкой. Пишет стихи с 8 лет, прозу — с 12-ти. Постоянный призёр школьных, городских и областных поэтических конкурсов. Тематика произведений разнообразна: патриотические, лирические, философские размышления. В 2015 году стала победителем регионального творческого конкурса «Цветы Девичьего поля» в номинации «Проза».

Кроме литературы, серьёзно занимается изучением иностранных языков: английского и французского.

Мargarита — самый молодой автор «Коломенского альманаха» за всю его историю.

Рассказ

Мargarита Луканичева

БАЛЕТНЫЕ ТУФЕЛЬКИ

Н^транная судьба у поисковика! В основном, конечно, копаешься по лесам да болотам, кормишь комаров, находишь ржавое железо и поднимаешь воинов, давно погибших, а по сути — своих ровесников. Потому как тогда, в сороковых, им по большей части было столько же, сколько и тебе... Но иногда находки попадают в таких местах, где и не ждёшь.

В конце этого сезона записался я «подкалымить»: в бригаду коммунальщиков, что ремонтировали питерские крыши. И однажды в груде пыльного мусора наткнулся на маленький чемодан. Лежал он битый, поцарапанный, ручка наполовину оторвана, замки сломаны. Смахнул я пыль, крышку открыл. Один из наших подскочил: «Эй, братва! Гляди-кось — Васька клад нашёл!»

Подошли мужики, смотрят — а какой там клад...

Платье какое-то, истлевшее от времени, истёртые туфельки-балетки, а под ними — школьная тетрадка. Ветхие страницы плотно покрыты ученическим почерком, непохожим на наш, нынешний.

Бригадир рукой махнул: «Чего застыли, чего рты разинули? За работу! Подумаешь — хлам какой-то...»

Но это был не хлам. Это был дневник...

* * *

20 мая 1941 года

Потоки света брызгают в зал, просачиваются сквозь заляпанные оконные стёкла прямо в лицо, разливаются, за-

нимая своим упоительным невесомым светом всё пространство; мохнатые, махровые лучи соскальзывают со щёк, оставляя на них едва ощутимую тёплую метку, как мазок на девственно чистом холсте. Свет проникает на роговицу, заставляя ресницы смыкаться. И вот так, с закрытыми глазами, отрешившись от всего земного, я начинаю танцевать, танцевать, каждым движением изливая ту радость, которая бурлит во мне, просится наружу, ищет выход...

Сколько себя помню — танцую. Сначала выписывала ногами кренделя перед патефоном в коридоре коммунальной квартиры. Танцы были для меня сказочным действием. Картинки роем теснились в голове, словно разноцветные стёклышки калейдоскопа. И вот я уже воображаю себя принцессой, а коммуналку — сказочным замком. Я настолько погружалась в мир своих фантазий, что порой абсолютно забывалась, а ноги сами, как по волшебству, выписывали неумелые, на ходу придуманные самодельные па. Мама, наглядевшись на мои «художества», решила отдать меня в хореографическую студию. К слову, попасть туда было не сложно — тяжелее остаться.

Первый год занятий был скорее тренировкой, репетицией предстоящей работы. «Убрать животики», «выпрямить спинку», «плечи назад», «носочки тянем, тянем», «ручку плавно в сторону»... Это была черновая работа, и утомляла она не только физически: параллельно шёл ещё один, морально сложный процесс — «отсев». Приводила меня мама домой уже затемно, я опала на подушки, как осенняя листва на землю, и... ощущала зуд и жжение каждой клеточкой, каждой песчинкой своего тела. Ступни, казалось, были закованы в железную давящую и сверлящую боль. Приятное чувство для шестилетнего ребёнка, не правда ли? Естественно, что нагрузки выносили не все. Кто-то плакался родителям, и недовольные мамы со скандалом и визгом уводили дитятей из «этого вертепа», кто-то просто не появлялся на следующем занятии, кто-то заболел, не выдерживая натуги. А львиная доза учениц отсеивалась из-за слабой физической подготовленности, или не выдержав строгой дисциплины, или из-за того, что слишком долго усваивали шаги и позиции, или же по чёткому цензу массы тела и роста.

В итоге осталось всего несколько девочек, на деле доказавших, что танцы — цель всей их жизни, на пути к осуществлению которой преград не существует. Наш солидный состав именовался «младшей группой».

К нам, как к взрослым, прикрепили балетмейстера — мадам Мейхер. Почему мадам? Говорили, что Изольда Михайловна была немкой, но основательное, домовитое «фрау» ей никак не подходило — только «мадам»: гордая и величественная осанка, голова чуть откинута назад, лицо — почти неподвижное, застывшее в неизвестной науке ледяной маске глубокой печали и скорби... Только глаза, выбиваясь из холодного плена, горели тёмным огнём. Но когда Изольда показывала нам танец — она неузнаваемо преображалась: руки, ноги, лицо, каждый мускул жили мелодией. Говорят, что в юности она танцевала в Мариинском театре, но из-за травмы пришлось уйти со сцены.

Наверное, она была очень хорошим учителем. Требовательная и строгая, не позволяла себе роскоши ругать нас, маленьких неумех. Повышала голос на нас мадам лишь в крайних случаях и только по-французски. Для меня это было самое страшное: стоило мне услышать окрик: «Светлова!

C' est un désordre... Laissez les rêves en dehors de cette institution. Commencez enfin à travailler»¹ — и я подпрыгивала на месте чуть не до потолка, чем вызывала неудержимый смех других девочек.

К счастью, замечания на мою долю перепали редко. Не могу сказать, что я обладала выдающимися хореографическими данными, моё тело довольно непослушно, но я абсолютно не представляла своей жизни без танцев! Без музыки! Мне приходилось проводить за станком больше времени, чем моим одногруппницам. И в те редкие минуты, когда вся коммуналка засыпает крепким сном, мне удавалось порепетировать ночью на общей кухне. В полумраке я осторожно вытягиваю носок под струю бурлящей лунной дорожки, отсчитываю ритм и аккуратно скольжу по паркету, как по ледовой арене. Я становлюсь птицей, парящей в голубоватой лазури и поющей сладкую красивую песню, от которой дрожит сердце. Пару раз мой полёт прерывал папа, ругал за эти «полуночные выступления», сокрушался из-за моего здоровья («бледная! круги под глазами!»), но всё заканчивалось тем, что он хвалил меня за упорство.

По характеру я очень похожа на папу. Его интересует всё, что происходит вокруг, он готов помогать всем вокруг, всегда борется за справедливость. Я тоже, как и он, не могу скрывать своих чувств, улыбаться, когда хочется реветь. И хотя я фигурой, и лицом я очень похожа на маму, мне остаётся только завидовать её выдержке и умению сохранять спокойствие: она никогда не кипитится, не растрчивает себя по пустякам. А вот мой брат Мишка уже в четыре года был миниатюрной копией отца, весьма искусно сотворённой природой. Светловолосый и голубоглазый, курносый, веснушки, беспорядочно разбросаны по щекам... беззаботный и весёлый... Мишка. Он воспринимал всё, что происходит вокруг, с недетской серьёзностью. У нас с ним большая разница в возрасте, мне уже шестнадцать, но он мой самый близкий друг, который всё понимает и принимает меня такой, как я есть.

22 июня 1941 года

Это воскресное утро началось со странных звуков в нашей квартире. Сначала я ещё в полусне услышала мамин голос: «Может быть, это война?» И уверенный, какой-то слишком бодрый голос отца: «Ну что ты! У нас же мирный договор! Как можно! Хотя никто не может дать гарантий...» Мишка, услышав громкие голоса родителей, решил, что они ссорятся, и ударился в рёв. Я босиком пришлёпала на кухню, ничего не понимая. «Одевайся, — повернулась ко мне мама. — Что-то произошло важное. Объявили, что скоро по радио будет выступление Молотова».

У нас дома был радиоприёмник, но папа повёл нас на улицу. Возле столба с радиодинамиком собралась целая толпа. И вот послышался железный лязг включающегося радио. Из чёрного раструба донеслось: «Сегодня, в 4 часа утра, без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления войны германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбёжке со своих самолётов наши города...»

Какой-то ребёнок дёргает мать за юбку: «Мама, а что такое война?» Какой-то мужчина снял фуражку...

¹ Непорядок... Оставьте наконец ваши мечты и начинайте работать.

Сегодня мы пережили конец и начало! Конец миру, жизни, которую человек так хорошо знает и которую любит. И начало... войны. Нет! Этого не может быть! Это сон! Страшный сон! Ещё чуть-чуть — и я проснусь!

Прослушав страшное сообщение, люди не спешили расходиться. Они молча стояли возле столбов с динамиками, будто в надежде услышать другое сообщение, но каждый час диктор повторял одно и то же.

Дети, вначале испуганно жавшиеся к взрослым, начали играть, рисовали мелом на асфальте цветы, солнце, кораблики, прыгали через скакалку, и смех их развевался лёгким радостным звенящим ветерком по каждой улице Ленинграда.

25 июня 1941 года

Я не могу сказать, что моя жизнь изменилась сразу после объявления войны. Умом я ещё осознаю: что-то меняется, что-то должно страшно измениться. Вот-вот! Но я не чувствую войны! Я не вижу её своими глазами. Я не знакома со смертью, не смотрела в её жестокие бесцветные глаза! Я не умею терять и не знаю, насколько это может быть больно... Чувство, как от проходящего наркоза — понимаешь, что заморозка ещё держится, а тело уже принимает боль, капля за каплей вливающейся в тело. Но шок постепенно начинает проходить...

1 июля 1941 года

Сегодня мы проводили папу на фронт. Помню серые стены вокзала. Колючую, пахнущую чем-то сухим, терпким и солёным (из-за моих слёз?) папину шинель. Помню огромные, синие, как небо, папины глаза, в уголках которых скопились льдинки слёз. Помню Мишку, льнувшего бестолково к моей ноге. Мы простились. Папа крепко обнял маму, потом вгляделся в её лицо так, словно пытается заучить каждую чёрточку. Мама же глядит на него с невыразимой болью, но в глазах её нет ни одной слезинки, словно она разучилась плакать, словно все слёзы отхлынули от серой глубины её глаз и подступили жгучей волной к горлу, и она ничего не может сказать. Папа хватается Мишку, начинает крепко обнимать. Брат брыкается, бьётся пойманной рыбкой в твёрдых руках отца. «Пусти, батька! Пусти! Обмуслявил!» — звенит колокольчик Мишкиного смеха.

Поезд подошёл предательски быстро. Вокзал обволакивало пронизывающим, шумным, удушающим, плотным туманом пара, в котором тонут люди, теряя друг друга в озере сероватой пены. Состав уже тронулся, а отец всё стоит на подножке, стараясь отклониться от штор дыма и ещё раз взглянуть на нас. «Береги Маринку и Мишку!» — кричит отец маме.

Я посмотрела на маму: сквозь покров пушистых ресниц, словно сквозь дебри густого леса, пробилась одна большая голубовато-прозрачная слеза. Она была здесь, с нами, на вокзале, но душа её летела за поездом, хватала холодное железо поручней и снова летела за утопающим в тумане вагоном.

— Марина! Папа на работу? Ведь вправду? Он скоро приедет? Скоро? — дёрнул меня за юбку брат.

— Наверное... — выдохнула я, изо всех сил стараясь задержать дыхание, чтобы Мишка не услышал в моём голосе слёз, перерастающих в надрывную истерику, — вдруг испугается.

Ужас сдавил сердце железными лапами — увидим ли мы ещё нашего папу?

7 июля 1941 года

Война продолжается. Слушаем по радио бесконечные сводки. «Все атаки противника... отбиты с большими для него потерями... Противник... контратаками наших войск был разбит и отброшен...» Наши соседи и знакомые начали получать «похоронки», маленькие листочки, извещающие о смерти солдата. Почтальонша всё чаще проходила по квартирам, отдавала их дрожащими руками и срывающимся голосом говорила: «Это вам». Война возложила на эту хрупкую девушку непосильную ношу — роль палача. Погиб чей-то отец семейства, чей-то брат, муж, сосед, просто незнакомый человек... Что может быть ужаснее, чем знать о горе и не иметь никакой возможности помочь людям? Что может быть ужаснее смерти? Что может оправдать её?

Получили письмо от отца. Огромная радость: он жив и здоров. На данный момент это единственное, чего можно желать. Получение письма теперь стало для нас чем-то вроде праздника. Неважно — прислали письмо тебе или соседу по дому. Даже если один, пусть едва знакомый тебе человек жив — это счастье. Письмо от папы пришло 6 июля, во время боёв Советской Армии с группой армий «Север» под Псковом. Папа писал рассеянным кривым почерком. Такой же заботливый, родной... Он ничуть не изменился, мы узнавали его в каждой строчке, каждая буква дышала им. О чём писал папа? О том, какие хорошие ребята служат с ним, какой красивый город Псков и как он без нас скучает. В папином письме не было ни страха, ни тревоги, ни жалоб. Странно, но он писал так, будто ничего не произошло, что он не находится сейчас за сотни километров от дома под прицелом у смерти.

9 июля 1941 года

По радио объявили, что Псков взят немцами. Что стало с папой? Жив? Ранен? Взят в плен? Умер?... Мы ничего не знаем ни о судьбе отца, ни о нашей судьбе...

Говорят, что людей объединяют отнюдь не счастье и безмятежная жизнь, а горе. Удивительно, как может восстать человек против общей беды! Заработали заводы, выпускающие военную продукцию, в школах девочки на уроках труда вышивают кисеты под махорку с робкими надписями: «Бойцу от ученицы такой-то школы» — и аккуратно выводят свои инициалы.

Город живёт, город борется.

А немцы всё ближе и ближе подбираются к Ленинграду, окружают...

8 сентября 1941 года

Сегодня был захвачен город Шлиссельбург. Кольцо блокады замкнулось. Ленинград оказался в огненном, непробиваемом кольце, обрубившем все связи с внешним миром. Доставка продовольствия, воды, средств к жизни становится невозможной. А у немцев одна цель — стереть Ленинград с лица земли. Населённая местность, открывающая ворота в Союз, не нужна рейху. Куда лучше безжизненная пустыня, в которой можно разбить военный лагерь! Все мы, ленинградцы, обречены на смерть — от бомбы, от пули, от холода или от голода.

Народ ещё не верит в реальность всего происходящего, но в душах людей уже поселилось скользкое, шипящее, ядовитое чувство, подползающее к самому сердцу, входящее в него и впрыскивающее свой жгучий, пронизывающий и парализующий яд в каждую клетку — страх. Диагноз прост: его величество страх запустил свои когти в душу и укоренился своими костяными мохнатыми лапами в ней, заставляя разум подчиняться слепым бездушным инстинктам, главный из которых — инстинкт самосохранения. А вслед за страхом накинута его лучшая подруга — паника.

На улицах творится нечто невообразимое. Образовались огромные очереди! Народ сметает с прилавков еду, медикаменты, буквально за несколько часов из сберкасс были изъяты все сбережения. Быстрее, больше, сколько только можно унести! Даже рыбий жир разобрали в аптеках за несколько минут.

Мы с мамой обошли уже, кажется, полсотни очередей, продукты уже не умещались в сумках, оттягивали руки, но нужно брать ещё и ещё, ведь неизвестно, сколько продлится блокада. Может, неделю, может, месяц, может, год... Ясно одно: продуктов надо запастись как можно больше.

10 декабря 1941 года

Зима выдалась лютая.

Запасы провизии даже при самом скромном расходе начали подходить к концу.

Конечно, какая-то доля провианта всё-таки поступает в город. Был даже налажен авиамост, но он не мог доставлять потребное количество продовольствия. Спасением стала «Дорога жизни» — Военно-автомобильная дорога № 101. Грузы прибывали к маяку Осиновец. Установлен чёткий рацион: 250 граммов в сутки на рабочего (мамин паёк) и 125 иждивенцам и детям (мне и Мише). Организм бунтует: мало! Ему ведь не объяснишь, что город окружён, и людям, которые привезли хлебушек, пришлось рисковать жизнью ради наших 125 граммов, щедро дополняемых по меньшей мере пятьюдесятью граммами от порции мамы. Мало, особенно для ребёнка. Мише приходится несладко. Он старается не жаловаться, даже почти не плачет — знает, что мама расстроится, если он будет капризничать, ведь он теперь единственный мужчина в семье. Но бомбёжки наводят на него смертельный ужас: в глазках вспыхивает огонёк, он сворачивается в подёргивающийся живой комочек, напоминая загнанного в клетку несчастного зверька. Звук разрывающихся бомб становится всё чётче и ближе. Сердце готово разлететься на сотни мельчайших кусочков. Слух улавливает тихое всхлипывание брата.

— Эй! Ты чего? Не хнычь, как маленький, Мишка! — улыбаюсь я, укутывая брата одеялом.

— Мариша! Я ничего! Не страшно! Ни капельки! Мариша! Как же голодно! Как же громко! Но в нас ведь не упадёт? Не упадёт? — всхлипывает Миша, прижимаясь лицом к моей шее, и я слышу его тяжёлое частое дыхание, чувствую, как в судорожном всхлипе подёргивается его остренький подбородок. А что я могу? Только обнять его, прижать к себе, погладить и успокоить, хотя сама готова разразиться истерикой, ведь сердце беспрерывно отбивает в груди пулемётную очередь.

15 декабря 1941 года

Чтобы хоть немного унять приступы голода, мы стали чаще пить горячий чай. Конечно, пользы от него не так уж и много, зуд в животе не унимается, но кипяток даёт чувство тепла, которого так не хватает. Ветер прошибает оконные рамы, просачивается через тряпье и одеяла, которыми они заложены, и студит кожу. Шубы, в которых мы ходим даже дома, не спасают, хотя в помещениях в них теплее. Мороз пробирает до костей, говорят, даже были случаи полного обморожения, поэтому из предосторожности приходится надевать на себя кучу одежды, подпоясывать брата платком и только потом идти на улицу. Наши «прогулки» — чисто делового характера: нарубить сучьев для обогрева и набрать воды.

Последняя процедура особенно страшна. Приходится идти до маяка на заимку, где черпают воду и стирают бельё. Разыгралась метель. Ветер утробно завывает в трубах, снег залетает в комнату. Воды совсем не осталось. Заимка находится недалеко, и я решаюсь идти, пока дом не замело.

— Мне страшно! Не оставляй меня! — захныкал брат.

После долгих раздумий решила взять Мишку с собой. Ветер срывает шапку с головы, мотает полы шубки, бьёт в лицо колкими снежными комочками, норовит вырвать ведро. Заимку почти совсем замело. Стащив платок с рукавицы, пробую лёд — твёрдый, значит, можно ползти. Волоком тащу с собой ведро, борясь с напором густого холодного воздуха, бью голубоватый лёд в проруби — вода уже успела затянуться толстой шершавой корочкой. Пробить рукой не выходит, пробую ведром. Корка хрустит, покрывается паутинкой трещинок и... не поддаётся. В отчаянье налегаю на неё локтями. Страшно — можно провалиться. Усилие... И сотни иголок разом пронзают мои локти. Получилось! Зачерпываю ведром воду — это надо сделать быстро, ведь лохматые края проруби уже начинают стягиваться в желании срастись. Вдруг сзади раздаётся треск и крик.

Миша! Нет! Очевидно, он побежал по льду за мной и провалился под лёд. Вытянув ведро на край проруби, ползу к рваной ране на льду, из которой то и дело высовывается Мишкина голова.

— Дай руку, — кричу я ошалело, пытаюсь ухватить брата. В какой-то момент мне даже удаётся схватить его за пальто, но брыкающийся Мишка ускользает из моих рук, как рыбка. Медлить нельзя! Выливаю воду из ведра и подаю его брату, и пока он пытается ухватиться за дужку, вытягиваю его из проруби.

«Слава Богу!» — как от сердца отхлынуло. Но расслабляться рано. Стаскиваю с себя шубу и оборачиваю трясущегося брата, мысленно благодаря Бога за старый папин ватник, который надеваю под шубу, висящую на мне безразмерным балахоном. И бегу, бегу, бегу со всех ног, прорезая холодную завесу мороза. Не помню, как добралась до дома, передела чуть живого брата в сухое и растёрла водкой. После всех этих процедур синие Мишкины губы порозовели, руки и ноги вновь задвигались, и только редкая судорога холода пробегала по маленькому тельцу. А к вечеру начался глубокий удушющий кашель. Ни растирания, ни мамина доза хлеба не помогли — Мишка уже бредил, не узнавая ни меня, ни маму. Мама говорила, что начинается воспаление лёгких и без врача не обойтись. А где его найти? К ночи Мишкин кашель перерос в хрип, в груди ребёнка, казалось, что-то разрывалось и клочкотало. Соседи сидели с нами:

кто-то принёс воды, кто-то отдал половину пайка, а у кого-то даже нашлось полфлакона рыбьего жира и ещё четверть бутылки каких-то вонючих капель. Я ни на шаг не отходила от Миши, до боли сжимающего мою руку во время очередного приступа кашля. Тело брата било из стороны в сторону — было больно смотреть.

16 декабря 1941 года

К утру Мише стало лучше: он попросил воды и велел не будить маму, уснувшую в кресле после утомительной смены на заводе. В открытых ясных глазах Миши уже не было боли, но смотрели они как-то утомлённо, измотанно, совсем по-взрослому.

— Мариша! Я так тебя люблю!.. — шепчет брат, и из его глаза на мой рукав скатывается горячая большая слеза. — Болит! — морщится Миша, показывая пальцем на грудь.

— Потерпи, Мишенька! Потерпи, милый! Ты прости! Прости меня! Не уберегла! Да ты не бойся! Видишь — тебе лучше стало! Ты поправишься! Обязательно поправишься! И война кончится! Непременно! Мы поедem... куда-нибудь... в Псков... к папе. Там тепло, там солнышко, цветы цветут. Помнишь, папа писал? Хорошо! Ты только борись, слышишь? Миша! — Слёзы душат и больно сдавливают горло, заставляя меня всхлипывать и плакать, утирая платком солёную воду, вновь проступающую на моих щеках.

— А папа скоро приедет?

— Скоро, Мишенька, скоро, он уже едет к нам...

«Похоронку» на отца мы с мамой утаили от Миши, решили: подрастёт немного, тогда скажем.

— Станцуй мне... — шепчет Миша.

— Сейчас, — мой голос дрожит. — Где же мои туфельки? Как ты их называл? Балетные? Балетные туфельки! Где же они? В шкафу? Да, в шкафу! — Я металась по комнате, словно пойманная птица, ищущая лазейку, в которую можно было бы упорхнуть.

В спешке я натягиваю пуанты.

— Хочется спать, — шепчет Миша.

— Нет! — кричу я. — Спать нельзя, борись. Спать нельзя! Смотри на меня! Смотри!

В истерике я начинаю крутиться и танцевать, что-то истошно крича и умоляя брата не закрывать глаза. В мгновение ока комната закружилась, и передо мной поплыли чёрные ленты и полосы. Но я кричу и не останавливаюсь. Тело превратилось в пружину, которую невозможно остановить.

— Жарко! — взмолился Миша.

Я бегу к брату и обхватываю его за плечи рукой. Веки брата внезапно потяжелели и поползли на глаза, рука, сжимавшая мою, безвольно упала на кровать. Грудка брата чуть дрогнула, и послышался хриплый тяжёлый выдох... Вдоха не последовало.

Я чувствую себя загнанной в угол. Воздуха не хватает! Я сползаю с кровати на пол и плачу. Нет, я не заплакала — забыла металлическим утробным воем, задыхаясь от слёз. Бью себя в грудь, колочу руками об пол. Кто-то оттащил меня в угол комнаты. Как во сне, я слышу мамин плач. Тело прошибает огненный холод, прожигающий до костей. Смутно соображая, начинаю понимать, что на меня вылили воду, поэтому сейчас

влага пронизывает моё тело тысячами иголок. Обессиленная и изнеможённая, я падаю на пол. Всё вокруг начало чернеть. Комната поплыла. И всё казалось, что я танцую, кружусь, лечу, лечу, лечу в темноту...

22 декабря 1941 года

Говорят, время лечит. Ложь! Просто ты перестаёшь постоянно думать о смерти дорогого тебе человека, привыкаешь к мёртвой тишине в комнате. Рана затягивается, но, увы, не лечится. Время не может вернуть человека, заменить другим. Нужно свыкнуться с мыслью, что его нет, а от этого ещё больнее. Страшнее всего то, что именно я виновна в смерти брата. Ах, если бы я только знала!!! Зачем я только повела его на заимку! Я себе этого не прощу... Мишка... Я никогда его не забуду... Так странно говорить о брате в прошедшем времени! Комната ещё хранит детский запах. Кажется, вот-вот он прибежит домой, прижмётся румяной щёчкой и довольно заурчит от удовольствия. Но никто не придёт: дверь закрыта, ставни заколочены.

Мама очень тяжело восприняла это (я всё ещё не могу говорить слово «смерть»). Она не обвиняет меня, но её взгляд стал холоден и скользок, словно острое лезвие ножа, вонзающегося в сердце. Ещё живая, мама, казалось, ушла в другой мир: может подолгу молчать и смотреть в одну точку, не ходит на работу, ничего не ест. Она отгородилась от боли холодной капсулой бездумья, залепила рану на сердце отрешённостью. В последнее время она почти не встаёт с постели: лежит, безвольно прижав руки к груди, и плачет. Лишь изредка хрипловатый сухой кашель наполняет комнату сероватым ободком желтеющей пыли. Она перестала бороться, она сдалась, ушла от боли... Вместе с Мишкой из нашего дома ушла воля к жизни — если умер он, то умрём мы все.

23 декабря 1941 года

А мороз просто звереет. Проходя по лестнице, я заметила деда Гришку, лежавшего прямо на полу. До войны сосед имел сильное пристрастие к алкоголю, что становилось причиной бесконечных ссор и скандалов деда со старухой-женой. Каждые выходные она нещадно гоняла мужа по двору, пришлёпывая веником, мокрой половой тряпкой — одним словом, всем, что только попадалось под руку, приговаривая: «Так тебе! Негодник! Алкаш старый! Козёл ты рогатый! Напился и рад! Люди добрые, когда же кончатся мои мучения!» Было так забавно смотреть на них! Надо бы разбудить его, чтобы шёл домой. Жалко всё-таки деда Гришку, крепко ему за такой позор от жены достанется. И где же он только изловчился «беленькую» достать?! Лучше бы хлеба достал! Тормошу его за рукав: «Вставай, дед Гриш! Домой иди! Полно валяться!» Сосед лежит, как ни в чём не бывало. Ну и набрался! Я со всей силы дёрнула его за шиворот в надежде перевернуть старика на другой бок. Сначала обжигающая духота, затем ледяной холод водопадом проливаются на меня, заставляя застыть в полубморочном состоянии от увиденного. Зрочки деда Гриши потонули в глубокой черноте, на лицо опала белым снегом ледяная бледность смертельной маски.

31 декабря 1941 года

На выдачу хлеба сегодня я иду одна. Мама окончательно слегла от долгих голодовок и переживаний. Запах рыхлого мягкого хлеба отдавал

ёлкой и ещё чем-то едим, но привередничать нет сил — от голода подкашиваются ноги, кружится голова. На полную его дозу у меня нет права — здесь и мамина доля. Но как режет живот волна голода!

«Светлова! Venez ici s'il vous plaît!»², — слышу я знакомый властный голос. Я не видела мадам Мейхер с последнего занятия в мае. Студия была закрыта на ремонт, и у нас образовались безвременные каникулы. Я спешу подойти к учительнице. К моему удивлению, мадам почти не изменилась: одежда такая же чистая, волосы аккуратно убраны под шапку, а перчатки плотно облегают сильно похудевшие руки. Блокадный огонь клеймил её только иссиня-чёрными кругами под глазами.

— Возьми это! Спрячь — могут украсть! — прошептала мадам, передавая замазанный газетный свёрток.

Я искренне обрадовалась подарку, не представляя, что же может скрываться под куском газеты.

— У тебя мать болеет? — осторожно спросила мадам.

— Да, — неловко выдыхаю я.

— Мне жаль. Я слышала о твоём брате. Знаешь, я хочу сказать тебе одну вещь... Если будет совсем невмоготу, если покажется, что ты никогда не сможешь отпустить умершего — напиши историю. Пусть короткую — в несколько слов. Заставь себя пережить тяжёлый момент снова, пропусти через свою душу и отдай боль бумаге.

— Спасибо, но не знаю, смогу ли... — шепчу я, борясь с подкатывающей духотой слёз.

— Мой сын умер, когда ему едва исполнилось десять лет. Он утонул в Неве. Я думала, что никогда не смогу смириться с этим. Чуть не сошла с ума, ушла из Мариинского театра, была готова бросить балет. Мне было очень тяжело, даже когда я стала преподавать. Я написала о нём... — В глазах Изольды Михайловны блеснули слезы.

Я не смогла найти слов для ответа. Опешив, я даже не успела поблагодарить преподавательницу за подарок. Опомнилась, когда Мейхер удалялась от меня, старательно выдирая ноги из снежного болота.

Не устояв от соблазна узнать о содержимом газетного свёртка, я отворачиваю замазанный уголок.

Невероятно! На газете — аккуратный ломтик хлеба!

Домой меня несут крылья благодарности. Ещё бы, ведь будет настоящий пир! Я уже предчувствую, как вопьюсь зубами в мягкую серовато-коричневую корку блокадного хлеба. Наверное, никакому подарку я не радовалась настолько искренне!

Чуть приоткрыв дверь, я уже захлёбываюсь от радости:

— Мама, я принесла...

Голос обрывается на начале фразы. Мама лежит на середине комнаты. Она мертва.

7 января 1942 года

Бушевала настоящая метель. Снежные пули ранили лицо, оставляя на коже огненные следы льда. Я шла вдоль набережной, отчаянно хватаясь

² Подойдите сюда, пожалуйста.

за фонарные столбы, отсчитывая по ним дорогу. Мне надо было получить свой паёк. Ноги подкашивались от голода. Раскалённый свинец нещадно перемешивал всё в животе в дикую бурлящую лаву, которая, казалось, рвёт кожу изнутри. Я болею. Голову сковывает железная боль. Ежесекундно бросает то в жар, то в холод. Слабость страшная. Каждый шаг, кажется, последний. Руки и ноги то и дело стягивает судорогой. Порыв ветра, хлестнувший по ногам тяжёлой снежной плетью, безжалостно кидает меня в сугроб. Зачерпнув дрожащей рукой снег, я подношу его ко рту. Может, боль в горле заглушит голод? Силы, кажется, отхлынули от каждой моей жилки.

А небо далеко-далеко. Кружатся разноцветные фантики снежинок, переливаясь бликами и узорами. Падают, падают. И, кажется, время замерло, любясь ими. Так безразлично и легко им в своих ледяных шубках. Вот бы мне стать снежинкой! Ничего не чувствовать и растаять весной. Боль подступила к горлу, стягивая его солёным шарфом.

Не могу больше! Всё! Не хочу жить! Ради чего мне нужно встать? Ради чего подниматься каждое утро? Никого не осталось! Я одна! Одна! Одна... Только бы это случилось скорее! Замерзать, наверное, больно!

Где-то послышались шаги, уверенные и твёрдые шаги.

— Эй! Есть кто живой? Отзовись! — скомандовал грубоватый мужской голос.

Я хочу положить мокрую варежку в карман (от неё ещё холоднее), нащупываю там какой-то гладкий, приятный на ощупь материал. Мои балетные туфельки! Что-то во мне переломилось. Я не могу умереть! Не имею права! Не могу опустить рук, чтобы смерть моей семьи стала напрасной жертвой. Я должна бороться! Я ещё жива! Я хочу жить! Жизнь, конечно, штука сложная, но смерть ничем не лучше! Я должна жить ради своей семьи! Теперь на мне большая ответственность — жить за четверых! Я буду жить!

И какая-то неведомая сила толкает меня вперёд, зажигает что-то во мне, наполняет силой мои разгорячённые дрожащие руки. Я переворачиваюсь на живот и ползу на звук. Ползу так, как только могу, забыв о голоде и метели, обо всём на свете. Опереться на правый локоть — подтянуться, опереться на левый — подтянуться, правой—левой, правой—левой, толчок ногами и сначала. Снег забивается под ногти, залепляет глаза липкой ватой, кусает за ноги. Не останавливаться! Ещё быстрее!левой, правой, левой, правой! У меня появилась цель — жить. Несмотря ни на что! Я же русская! Я же сильная! Не зря же Изольда Михайловна отдала мне свой паёк. Значит, она в меня верила! И вдруг всё вокруг окрасилось в белое, поплыло, посветлело и, наконец, выцвело совсем.

17 января 1942 года

Очнулась я в госпитале. Меня спас водитель с «Дороги жизни» — Фадеев Тихон Тимофеевич. Вспоминал потом:

— Слышу, всхлипывает кто-то: то ли ребёнок, то ли кошка, шут разберёт в такую метель! Ты, внучка, ко мне подползла и отрубилась. Думаю — околочурилась. Ан нет, дышит! Живая! Вовремя привезли! В больнице тебя два дня холили, пока в себя не пришла. Зелье девка! В мороз, больная, голодная, а поползла. Сильная девка!

Тихон Тимофеевич после моего чудесного спасения стал настоящим героем среди других шофёров. Старик не забывал обо мне: навещал, присылал еду. Благодаря Фадееву я впервые в жизни увидела апельсин. Круглый, оранжевый, гладкий, как шарик, поначалу этот фрукт не вызвал у меня доверия, но под корочкой, как оказалось, скрывается настоящая вкуснятина, янтарный сок так и брызжет в рот! Поговорить с Тихоном Тимофеевичем было одно удовольствие. Этот милый старик знал много весёлых историй, сказок, фронтовых баек и даже частушек. Поглазеть на моего спасителя собиралось всё отделение. Тихон Тимофеевич сначала стеснялся, а потом начал закатывать концерты с песнями и плясками. Поплакаться ему было не стыдно, ведь шофёр никогда не ругал, а пытался выслушать, успокоить, надоумить советом. От медицинских сестёр я узнала о том, что Фадеев похоронил четверых сыновей одного за другим, что живёт он где-то в Тульской области и одним из первых начал работу на «Дороге жизни». О судьбе Тихона Тимофеевича, следуя его собственным рассказам, можно было заключить лишь то, что с жёнкой ему очень повезло. Авдотья Макаровна Фадеева — очень добрая и работающая женщина. Она написала мне письмо, в котором предлагала переехать в их село, стать им дочкой. Мы теперь, как семья.

Я почти совсем излечилась. Скоро меня эвакуируют в тыл.

1 марта 1942 года

Я уезжаю в тыл. Говорят, чтобы отпустить нечто дорогое для сердца и невыносимое памяти, нужно написать об этом на бумаге. Так я и делаю. Хочу забыть обо всём, что случилось со мной в блокадном Ленинграде, но забывать не имею права, поэтому пишу, чтобы оставить воспоминания такими же яркими, как в день, когда события были пережиты. В тылу я не задержусь долго. Исполнится семнадцать, и я уеду в госпиталь работать. А когда кончится война (она обязательно кончится, я верю), буду жить в Тульской области с бабой Дуней и дедом Тихоном.

Из вещей я взяла только пуанты. Однажды в госпитале я хотела попробовать танцевать, но, увы, мои ноги выросли из балетных туфелек. Пуанты стали символом моей прежней жизни, моего беззаботного детства, отпустить которое я не в силах.

Когда-нибудь после войны небо снова станет лазорево-голубым, люди, такие как мои родители, снова будут радоваться жизни, цена каждое мгновение, дети, такие как Мишка, будут играть и веселиться, не боясь, что в их дом может упасть бомба.

Я очень изменилась, ведь только в нехватке чего-то, пусть даже самых простых вещей, мы более полно можем ощутить их ценность и значимость. В моей жизни ещё будет счастье — я всё для этого сделаю. Я же сильная!

* * *

Как попал этот дневник на старый питерский чердак? И какая судьба была у той девочки? Не успела эвакуироваться и погибла под бомбёжкой? Или пошла нянечкой в госпиталь, как мечтала? Наверное, я не узнаю, да и никто не узнает... Столько лет прошло! Но странное дело — не даёт мне покоя эта старая тетрадь. И бывает, особенно вечерами, слышится мне шёпот, укрытый в старых страницах...

ПИМЕНОВ

I.

А доль магазинной витрины медленно шла молодая пара, с интересом рассматривая выставленные сувениры...

— Ой, Алёшенька, смотри! Какая милая статуэточка! — звонко воскликнула Екатерина Семёновна, молодая изящная женщина с блестящими глазами и восторженной улыбкой.

Подойдя ближе к витрине, она восхищённым взглядом смотрела то на дорогую фарфоровую балерину в пачке, грациозно вскинувшую ножку, то на своего мужа, Алексея Степаныча Пименова.

— Мне кажется, она будет красиво смотреться на столике, который подарил нам на свадьбу твой дядя. Ведь правда? Давай её купим!

Пименов, скромно улыбнувшись, купил статуэтку и подарил жене...

Со дня их свадьбы прошло чуть больше месяца, на протяжении которого Екатерина Семёновна разбирала подарки, посещала театральные премьеры и делала различные покупки... Кроме того, она уже почти три недели брала уроки танцев у известного в городе педагога Емельяна Мартыновича Задубровского. Это был высокий, моложавый, амбициозный человек с внешностью и манерами изящного аристократа. Известность он получил главным образом благодаря харизме и умению подать себя с внешним блеском и оригинальностью. Многие ученики, коллеги и друзья Задубровского видели в нём огромный талант и дорожили знакомством с такой уникальной личностью.



Александр Александрович Фёдоров родился в 1986 году в посёлке Сергиевском Коломенского района.

Разносторонняя личность, по роду деятельности никак не связанная с печатным словом. Окончил психологический факультет Коломенского государственного педагогического института. Работает руководителем музыкального кружка в Доме культуры родного посёлка. Основал музыкальную группу «Свободное мнение», с которой даёт концерты и записывает альбомы. Занимается тяжёлой атлетикой. Мастер спорта по классическому русскому жиму.

Но ещё со школьных лет Александр начал увлекаться литературой, пробуя писать стихи и небольшие рассказы.

В 2014 году вышла его первая книга «Мечта продолжает жить», в которой собраны сочинения разных лет и жанров.

В «Коломенском альманахе» публикуется впервые.

Рассказ

Екатерину Семёновну интересовали не столько сами занятия и танцевальные упражнения, сколько волнительное ощущение причастности к чему-то возвышенному и, как ей казалось, непостижимому для большинства обыкновенных людей. Поэтому, всякий раз заходя в танцевальный зал, она чувствовала себя прекраснее, утончённее и мудрее. Екатерина Семёновна самозабвенно разучивала танцевальные движения, мечтая о большой сцене, признании многочисленных поклонников и ещё о чём-то ярком, воздушном и далёком... Этими мечтами подпитывались её силы и энтузиазм. Многие вокруг восхищались её успехами и утверждали, что такой редкий талант в сочетании с молодостью и упорством в скором будущем обязательно засияет пленительным блеском и наверняка покорит множество тысяч сердец своей неповторимостью. И Екатерина Семёновна, слушая восторженные похвалы и комплименты, начинала верить, что стремится к высокой, благородной цели, ради которой она, если будет необходимо, сможет пожертвовать чем угодно... Ощущение того, что она способна принести себя в жертву искусству, внушало ей уверенность в собственной избранности и оригинальности.

Её муж, Алексей Степаныч Пименов, был обычным молодым человеком со скромной улыбкой и добрым взглядом. Он работал конструктором на городской мебельной фабрике, где ежедневно с утра до вечера придумывал новые стулья, столы, кресла, диваны, шкафы и тумбочки... Работа ему нравилась, хотя приносила весьма скромный доход, которого едва хватало на двоих. Возвращаясь после трудового дня, Алексей Степаныч по обыкновению кротко улыбался, радостно приветствовал жену и садился с ней ужинать. За столом интересовался, как она провела день, что разучивала вчера на занятиях и какой спектакль планирует посетить... С добродушным заинтересованным лицом слушал её рассказы. После ужина целовал жену и садился в кресло с книгой или газетой.

Каждое воскресенье Алексей Степаныч ходил в церковь на утреннее богослужение. Без жены. Поскольку обычно она возвращалась из театра или с занятий далеко за полночь и, садясь на кровать, утомлённо приносила:

— Уфф... Алёшенька, как я устала. Но если бы ты знал, насколько мне приятна такая усталость!.. Утром меня не буди, хочу хорошенько выспаться. Завтра опять ждёт трудный день...

Просыпаясь рано утром, Пименов с доброй улыбкой смотрел на сладко спавшую жену и тихо собирался в церковь.

После литургии он с радостным, светлым настроением ехал за город к родителям, чтобы узнать, как у них дела, и завезти нехитрые гостинцы.

В сущности, Алексей Степаныч был самым обыкновенным, ничем не примечательным человеком без каких-либо ярких особенностей. Его смиренное, добродушное выражение лица, тихая, размеренная речь и спокойные, сдержанные движения явно контрастировали с яркой, эмоциональной и артистической натурой его жены. И она, рассказывая подругам о своём муже, задумчиво говорила:

— Его скромность и простота меня удручают. Но знаете... Видимо, правильно подмечено, что противоположности притягиваются...

II.

У Алексея Степаныча была маленькая однокомнатная квартира, которую подарили родители. Там они с женой и жили.

Стены на кухне и в комнате были оклеены светлыми однотонными обоями, из-за чего пространство как бы расширялось. С той же целью Пименовы сняли внутренние двери, а окна постоянно оставляли распахнутыми настежь и закрывали лишь при непогоде. Мебели в квартире было немного. Стол с несколькими стульями на кухне. Небольшая кровать, маленькая тумбочка и журнальный столик в комнате. Узкий деревянный шкаф в прихожей.

В принципе, это была весьма уютная квартирка со своими удобствами и недостатками.

Родители Екатерины Семёновны жили в другом городе и не могли часто навещать дочь. Сама она после замужества лишь однажды позвонила им по телефону и звонким голосом рассказала, что танцевальное искусство вовсе не мешает ей наслаждаться счастливой семейной жизнью...

Поскольку Екатерина Семёновна не работала, она могла позволить себе спать до полудня и, проснувшись, подолгу лежать в кровати, придумывая занятия на день. Поднявшись и вкусно позавтракав, она принималась листать модные журналы или приводила в порядок свои платья. После приглашала к себе подруг или сама отправлялась в гости. Кофе и разговоры об общих знакомых — вот привычный порядок таких визитов. После обеда Екатерина Семёновна шла в магазин. Покупала немного продуктов и какую-нибудь милую безделушку. Придя домой, встречала мужа, они ужинали, и она вновь уезжала на уроки танцев или в театр.

Пименов всегда дожидался жену, сидя в своём кресле. Каждый раз он встречал её скромной улыбкой и добрым, сонным взглядом.

Эта история всё больше напоминала чеховскую «Попрыгунью».

III.

В Вербное воскресенье, побывав в церкви и съездив к родителям, Алексей Степаныч со светлым, радостным настроением возвращался домой. Он знал, что сегодня его жена не собиралась в театр, и занятий танцами по воскресеньям у неё не было. Оставшуюся часть дня ему хотелось провести с ней вдвоём. Он держал в руках освящённую вербу и букет белых хризантем, с радостью представляя, как подарит жене цветы и после вкусного ужина отправится с ней гулять по вечернему городу... От этих мыслей на душе было приятно и весело.

Погода стояла ясная и тёплая. В воздухе ощущалась пьянящая свежесть и лёгкость. На молодых берёзах под ярким весенним солнцем задорно щебетали воробьи. Всё вокруг располагало, призывало к радости, доброте и счастью...

Зайдя в квартиру, Пименов застал на кухне жену и троих незнакомых гостей. Они сидели за накрытым столом, пили вино, ели конфеты и что-то увлечённо обсуждали. Алексей Степаныч кротко улыбнулся, поприветствовал и присел возле окна. Его жена, чуть захмелевшая и румяная от вина, приподнялась со стула и радостно воскликнула:

— А вот и Алёшенька пришёл! Мой дорогой защитник и кормилец! Она засмеялась и поцеловала его.

— Знакомся, это мои друзья, будущие мастера танца: Виктор Михалыч и его жена Елизавета Петровна. А вот мой талантливый и заботливый наставник Емельян Мартынович...— она остановила нежный, восхищённый взгляд на сидевшем рядом с ней Задубровском.

Заметив хризантемы, Екатерина Семёновна восторженно вздохнула, взяла букет и игриво произнесла:

— Мои любимые цветы! Алёшенька, ну какой же ты милый!

Она вновь взглянула на Задубровского и широко улыбнулась:

— Мне хочется ещё раз поблагодарить своего педагога за те старания, которые он вкладывает в свою капризную ученицу! Емельян Мартынович, вы изумительный человек, и я счастлива, что знакома с вами!

Она манерно протянула Задубровскому букет хризантем и кокетливо засмеялась. Танцовщик, несколько не смутившись, взял цветы, самодовольно улыбнулся и томно произнёс:

— Спасибо! Мне приятно учить вас...

Гости разошлись с наступлением ночи. Проводив друзей, хмельная и довольная Екатерина Семёновна села на кровать и утомлённо произнесла:

— Уфф, Алёшенька... Как я устала. Но какие же они умные, редкие люди! Я постоянно узнаю от них столько нового и полезного... А почему ты весь вечер просидел молча? Я думала, тебе будет интересно пообщаться с такими талантами. Неужели ты не замечаешь их уникальности?

Пименов скромно улыбнулся:

— Я вовсе не отрицаю их таланта и не имею ничего против их занятий. Просто наши интересы слишком разные, чтобы пытаться обсуждать их в случайной беседе... Но если эти люди действительно преданы своему делу, я искренне уважаю их выбор.

— Но Алёшенька... Ты каждый день только работаешь и читаешь. Ведь это так скучно... — сказала Екатерина Семёновна с жалобным лицом.

— Я думаю, у людей в жизни бывают самые разнообразные взгляды, цели, предпочтения. Каждый человек сам чувствует, что ему ближе и важнее. Лично я вполне доволен тем, что имею и чем занимаюсь. А особенно радуюсь, когда ты бываешь рядом со мной!

Поцеловав жену, Пименов помолился и лёг спать...

IV.

В начале июня на фабрике, где работал Алексей Степаныч, начались проблемы. Заказов поступало очень мало. Пошли разговоры о скором банкротстве. Многих рабочих сократили. Оставшимся приходилось справляться с увеличенной нагрузкой за прежнюю зарплату. Теперь, приходя с работы уставший и смиренный, Пименов садился с женой ужинать, утомлённо улыбался и говорил:

— Тяжеловато, Катенька... Ну, ничего, потерпим. Потерпим...

Как-то вечером, возвращаясь домой после тяжёлого дня, Пименов ощутил жуткую усталость и какое-то болезненное утомление. Ему хо-

телось поскорее прилечь. Он подбадривал себя мыслями, как обнимет жену, вкусно поужинает и пораньше ляжет спать. Думая об этом, веселел и радостно улыбался.

В квартире Алексей Степаныч услышал знакомый мужской голос и звонкий смех жены.

— Выше... Ещё выше, Катя! Ну, тянись!.. Такие изящные ноги должны покорять своей красотой! Вот так!.. Теперь разворот и подскок. Добавь грации! Прекрасно, умница моя! Повтори ещё...

Алексей Степаныч вошёл в комнату. Поздоровался. Задубровский скользнул по нему взглядом, сдержанно кивнул головой. Увидев мужа, Екатерина Семёновна повернулась к нему и восторженно проговорила:

— Алёшенька! Представляешь, Емельян Мартынович предложил мне участвовать в городском танцевальном фестивале! И даже вызвался провести со мной дополнительные занятия. Причём бесплатно! Приходится репетировать даже дома... Какой же он отзывчивый и щедрый человек!

Пименов устало улыбнулся:

— Хорошо. Я пока посижу на кухне.

— Тогда заодно приготовь нам крепкого чаю! — попросила жена.

Закончив занятие поздно вечером, Екатерина Семёновна и Задубровский более часа воодушевлённо обсуждали за чаем достигнутые успехи и заманчивые перспективы своего творческого союза. Она звонко смеялась, а Емельян Мартынович вальяжно улыбался и томно повторял: «Какая вы талантливая!» И было явно, что они общались бы бесконечно долго, но присутствие кого-то лишнего, постороннего и малозаметного постоянно напоминало им о неприличном, двойственном положении, в которое они себя поставили. И от этого они оба чувствовали досадную неловкость.

После чая Екатерина Семёновна долго и тепло прощалась с Задубровским и договаривалась встретиться на следующий день. Вернувшись на кухню, посмотрела на утомлённого мужа, робко сидевшего возле окна. С разочарованием подумала: «Какой же он, однако, скучный, неинтересный человек. Как я смогу жить с ним дальше, если уже сейчас понимаю, что перестая его любить? А впрочем, любила ли я его хоть когда-нибудь? Мне нравятся его доброта и безотказность, но ведь для любви этого мало. Похоже, противоположности так и не притянулись. Ах, как ужасно это осознавать...»

V.

...Август стоял жаркий и сухой. Душные городские улицы изнывали от зноя и жаждали освежающей влаги. Пару раз проходили мелкие, малозаметные дожди, капли которых, едва достигнув земли, мгновенно испарялись.

Участие в городском танцевальном фестивале не принесло Екатерине Семёновне ожидаемых результатов, и она решила на какое-то время прервать занятия. Прекратила встречаться и с Задубровским. Лишь изредка созванивались по телефону.

Театральные спектакли она теперь посещала гораздо реже, поскольку, по её словам, «перестала погружаться в атмосферу действия и разучилась сочувствовать главным персонажам». Одним словом, к театру явно остыла.

Поскольку теперь свободного времени у Екатерины Семёновны стало значительно больше, она решила посвятить его декорированию своих нарядов. Поначалу просто подшивала разноцветные лоскутки и яркие пуговицы. Затем стала приобретать в магазине недорогую декоративную ткань и разную тесьму, которыми умело украшала платья, кофты, юбки. Друзья Екатерины Семёновны, глядя на её работу, восторженно удивлялись и называли волшебницей. Действительно, за какое бы платье она ни взялась, каждый раз получалось нечто изящное и оригинальное.

Алексей Степаныч свыкся с плотным рабочим графиком и с прежним старанием продолжал конструировать мебель. Работа фабрики начала постепенно стабилизироваться.

Теперь по вечерам Пименов выходил с женой на улицу, и они вместе гуляли до полуночи по паркам и бульварам. Медленно бродили по длинным извилистым улицам. И Пименов, улыбаясь, ласково называл свою жену ночной красавицей. Когда возвращались к дому, обычно садились на лавочку и, обнявшись, долго любовались серебристыми звёздами и яркой луной. На улице стояла спокойная, приятная тишина. В вечернем воздухе пахло цветами и свежей землёй. Алексей Степаныч и его жена мечтательно смотрели в высокое бескрайнее небо, и у обоих на душе было светло, отрадно и безмятежно...

Однажды Пименов, вернувшись с работы, увидел в зале огромный букет роз, стоявший в хрустальной вазе, которую он подарил жене на Восьмое марта. Екатерина Семёновна, как обычно, сидела у окна и что-то увлечённо шила. На столике в живописном беспорядке лежали разноцветные лоскутки и всяческие ленточки. Увидев мужа, она с какой-то искусственной, натянутой улыбкой сказала: «Добрый вечер», а потом сообщила, что в театре премьера, которую она долго и с нетерпением дожидалась, и ей пора собираться.

Через мгновение в комнате раздался телефонный звонок. Бросив шитьё, Екатерина Семёновна подбежала к телефону и что-то коротко ответила. Сняла с плечиков любимое вечернее платье, которое только недавно закончила декорировать шифоновыми розами и шёлковым кантом. Нарядилась. Причесалась. Нанесла макияж.

Пименов смотрел с молчаливой задумчивостью. В каждом её жесте, взгляде, слове он замечал какую-то скрытность и напряжённость.

Через полчаса Екатерина Семёновна взяла свою сумочку и, предупредив мужа, что вернётся поздно, вышла из квартиры.

Алексей Степаныч устало сел в кресло и закрыл глаза. На душе было тревожно. Оставшись один в маленькой квартире, он вдруг почувствовал себя потерянным, ненужным и забытым. Комната показалась ему тёмной и холодной. Пименову хотелось почитать любимую книгу, но какая-то странная тоска сковывала его и лишала спокойствия. В голову лезли неприятные воспоминания и подозрения. На сердце опустилась тяжесть. Алексей Степаныч вдруг вспомнил, как в детстве у него украли новый

велосипед, который ему подарили родители. Почему-то именно сейчас он так неожиданно подумал об этом. И горечь вновь кольхнула в его душе...

Он открыл глаза, через силу встал с кресла и взял с тумбочки книгу. Пименов надеялся, что чтение поможет ему избавиться или хотя бы отвлечься от мрачных мыслей. И на самом деле, скоро почувствовал, как его душа постепенно наполняется спокойствием, светом и добротой, а горькие воспоминания уносятся прочь...

VII.

Всю следующую неделю Пименов был задумчив и молчалив. Он, как и прежде, с утра до вечера работал на фабрике, затем, приходя домой, ужинал и читал. Но теперь занимался делами как бы механически и без интереса. Даже привычная скромная улыбка исчезла с его лица. За ужином перестал интересоваться у жены, как она провела день, будто опасаясь узнать что-то неприятное или заподозрить её во лжи.

Она же постоянно куда-то уезжала и где-то пропадала иногда до самого утра. И за всеми своими занятиями и разъездами как будто вовсе перестала замечать своего мужа. Казалось, Екатерина Семёновна затаила на него какую-то обиду, хотя никаких явных поводов для этого не возникало.

Если вечером они оставались дома вдвоём, то уже не выходили гулять, а молча занимались каждый своим делом.

В конце августа у Алексея Степаныча был день рождения. Ему исполнилось тридцать пять лет. Ранним утром он, как обычно, отправился на работу. Вечером в весёлом, праздничном настроении вернулся домой. Он мечтал, как вновь пойдёт гулять с женой по вечернему городу, а затем зайдёт с ней в кафе и закажет большой торт-мороженое и капучино. И он был готов многое простить своей жене, забыть обо всех досадах и недоразумениях и в который раз сказать ей, как сильно он её любит. В свой день рождения ему хотелось думать о чём-нибудь хорошем и приятном, а остальное оставить в прошлом.

Когда Пименов зашёл в квартиру, Екатерины Семёновны там не оказалось. Стрелки настенных часов приближались к полуночи. Его жена всё не появлялась. В душе Алексея Степаныча вновь появилась какая-то горечь. В сердце возникло неприятное волнение. Радостное настроение исчезло и сменилось утомлением и тоской. Через час Пименов уснул, так и не дождавшись жены.

VIII.

Первые осенние дни оказались прохладными и дождливыми. Небо было постоянно затянуто хмурыми тучами, и солнце еле проглядывало через плотную серую пелену. Деревья шумно раскачивались на ветру, будто пытаются стряхнуть с себя воду от непрерывно моросивших дождей. На дорогах каждый день стояли лужи и появлялись разнообразные мокрые следы.

В один из таких пасмурных дней Екатерина Семёновна неторопливо возвращалась домой по мокрой дороге. Рядом с ней шёл Задубровский. Он с улыбкой что-то рассказывал. Она в ответ звонко смеялась. Оба были веселы и разговорчивы от только что выпитого в ресторане вина. Было около двух часов дня.

Заходя в квартиру, Екатерина Семёновна удивилась, что входная дверь не заперта. Она с тревогой подумала, что её муж сейчас почему-то оказался дома, хотя в это время он обычно был на работе. И если вдруг теперь он застанет её с Задубровским, то ей, скорее всего, придётся рассказать всю правду. От этих мыслей она внезапно ощутила слабость и растерянность, потому что поняла, что ей не хватит духу признаться в обмане.

Из комнаты вышел незнакомый мужчина в потёртом рабочем костюме. Вскользь поздоровавшись с Екатериной Семёновной и Задубровским, торопливо прошёл на кухню. Там смочил полотенце водой и вернулся в комнату. Екатерина Семёновна с беспокойством и тревогой проследовала за ним.

В комнате оказалось ещё четверо незнакомцев. Двое мужчин, одетых в старые, поношенные рабочие костюмы, что-то вполголоса обсуждали у открытого окна. Двое других, мужчина и женщина в белых халатах, с сосредоточенными лицами склонились над кроватью и коротко переговаривались. Рядом стояли капельница и широкий медицинский чемодан. В комнате пахло лекарствами и чем-то, напоминавшим запах древесных опилок.

Подойдя ближе, Екатерина Семёновна увидела своего мужа. Он неподвижно лежал с отсутствующим взглядом и каким-то не своим, застывшим лицом.

— Алёшенька... Алёшенька! — с ужасом воскликнула Екатерина Семёновна, кинувшись к Пименову, который продолжал молчать. — Что с ним? — спросила она неестественным, сдавленным голосом.

Мужчина в белом халате выпрямился, устало вздохнул.

— Ишемический инсульт... Состояние весьма тяжёлое, — он поправил очки и утомлённо посмотрел на Екатерину Семёновну. — А вы, наверное, жена? Вот, ребята, которые с ним работают, привезли его сюда, — он взглянул на мужчин в рабочих костюмах. Один подошёл ближе и сказал:

— На фабрике он вдруг зашатался и сразу упал. Ну, мы его подняли, повезли домой. Вызвали врачей. Пробовали вам сообщить, но не смогли дозвониться... Конструктор он отличный. Только, похоже, нагрузку слишком большую на себя взвалил. Он, конечно, талантливый, но беречь себя совсем перестал. Да и никто его не берёт. Вот и доигрались...

Затем женщина в белом халате что-то долго объясняла Екатерине Семёновне, но та уже ничего не понимала и не чувствовала. Она даже не слышала, как к ней подошёл Задубровский, шепнул, что ему нужно торопиться на важную встречу, и тихо вышел из квартиры. Екатерина Семёновна стояла, словно в забытьи, и растерянно смотрела на мужа, который молча лежал и глядел не на неё, а куда-то в пустоту. Ей почему-то вспомнились его кроткая улыбка, добрый взгляд и душевная скромность. Только теперь она поняла, что никогда этого не ценила.

Екатерина Семёновна ощутила в душе грязную, липкую тяжесть, от которой уже никак не избавиться и ничем не отмыться. Все её увлечения,

цели и успехи вдруг показались мелким, никчёмным баловством и пустой прихотью. «К чему мне понадобились все эти танцы, платья? — думала она. — Зачем мне нужен Задубровский, когда судьба подарила настоящему честного, искреннего и отзывчивого мужа? Ах, Алёшенька, как же я виновата перед тобой! И как жестоко заблуждалась...» В памяти Екатерины Семёновны внезапно всплыли вечерние разговоры за ужином, когда Алексей Степаныч с интересом узнавал об её занятиях и успехах. И ведь он всегда так внимательно её слушал! А сама она даже ни разу не поинтересовалась его увлечениями, настроением и самочувствием...

Она часто видела Пименова сидевшим за книгой, и ей захотелось узнать, что же он читает. Екатерине Семёновне вдруг стало стыдно, что она так мало знает о предпочтениях мужа. Она подошла к тумбочке. Взяла книгу, которую Пименов обычно читал по вечерам. Это было святое Евангелие. Екатерина Семёновна вновь взглянула на Алексея Степаныча и с волнением подумала: «Как поздно я начала его узнавать...»

IX.

Вечером Пименова перевезли в больницу. Палата была двухместная, просторная. Екатерина Семёновна постоянно находилась рядом.

Каждое утро она сидела у постели мужа и печально на него смотрела. По вечерам пыталась читать журналы или подолгу задумчиво стояла у окна. Около полуночи ложилась на соседнюю койку и с трудом засыпала...

В палату заходила молодая разговорчивая медсестра. Она ставила Пименову капельницы, измеряла давление и пыталась подбадривать его жену забавными шутками. Наведывался врач — высокий пожилой мужчина в очках. Он молча осматривал больного, что-то записывал в своих бумагах, часто кашлял и через несколько минут уходил.

Один раз Пименова навестил давний приятель, который трудился с ним на мебельной фабрике. Просидев в палате полчаса, он искренне почувствовал, оставил большой пакет с фруктами, тяжело вздохнул и ушёл.

Алексей Степаныч по-прежнему лежал неподвижно с неестественно застывшим лицом. Разговаривать он не мог, поэтому в палате царил унылая тишина.

За окном прерывисто моросил дождик, будто изредка выжимаемый из небольших клочков туч. На улице, как и в палате, было грустно, тускло и молчаливо. Здания, деревья и кусты тихо стояли под серым небом и навевали тоску. Время текло медленно и однообразно.

Так миновало несколько дней...

Двадцать первого сентября, в праздник Рождества Пресвятой Богородицы, тучи рассеялись, и в небе показалось долгожданное солнце. Его лучи ласково осветили улицы и бульвары. Деревья тихо шелестели пожелтевшими листьями. Где-то вдалеке раздавалось оживлённое карканье ворон.

Екатерина Семёновна, уставшая и сонная, сидела возле мужа и молча читала журнал. Она не понимала ни одного прочитанного слова. Была погружена в свои грустные мысли. Думала, что где-то наверняка существует светлая, праведная, радостная жизнь без подлости и злобы. И что такая

жизнь находится очень близко, совсем рядом с ней. Но только как до неё добраться и по какой дороге можно к ней прийти?

Екатерина Семёновна отложила журнал и посмотрела на мужа, который тихо дремал. В её душе зазвучали клятвы и признания в искренней и верной любви, в духовном взрослении и в счастливой жизни, которая ждёт их в скором будущем. По её утомлённому лицу потекли слёзы. «Господи, как я виновата... Как тяжело согрешила... — думала она. — Я готова отдать все свои силы, чтобы искупить этот грех и вернуть мужу здоровье. И я верю, что смогу спасти наше счастье! Господи, я верю, что смогу...»

Незаметно наступил вечер. В палате было тихо и уныло. Казалось, время здесь остановилось и уснуло. Предметы и стены будто утопали в тёмном тумане, который постепенно заполнял всю палату. Сквозь этот туман Екатерина Семёновна смутно увидела, как Пименов медленно поднялся, подошёл к ней и, посмотрев на неё радостным взглядом, скромно и добродушно улыбнулся...

ПРЕМИЯ ИМЕНИ ЛАЖЕЧНИКОВА

**Редколлегия «Коломенского альманаха» учреждает
новый литературный конкурс на соискание
Премии им. И. И. Лажечникова.**

Премия будет вручаться раз в год лучшему автору альманаха, независимо от того, в каком жанре создано произведение. Иван Иванович Лажечников был одарён многими талантами. Он известен и как исторический романист, и как поэт, и как историк-краевед. Поэтому право быть удостоенными нашей награды имеют представители всех направлений.

В жюри входят члены редколлегии альманаха: они не могут претендовать на звание победителя.

Премия вручается только **единожды**.

Желаем успеха всем авторам «Коломенского альманаха»!

Редколлегия

Владимир Пронский

ДВА РАССКАЗА

ВЕСЕЛА ТРАВА ПАСТЕРНАК

А последние годы хозяйство Уласкиных оскудело. Из живности остались лишь куры. Но и с ними хватало забот. Анастасия Ивановна прежде трудилась бухгалтером в лесничестве, Алексей Петрович — учителем химии. Оба давно вышли на пенсию, и кур держали более по привычке. Кормили их по-научному, круглый год обогащая рацион минералами и клетчаткой, используя заготовленные Алексеем Петровичем речные ракушки и веники из крапивы и клевера. Зимой ракушки кололи на мелкие кусочки, веники запаривали или как есть, сухими, развешивали вдоль стен, и куры с необыкновенным удовольствием ошипывали их до голых прутьев.

Поэтому и начинали нестись с Рождества — на радость детям Уласкиных, частенько приезжавшим в гости из Москвы и Рязани. Младшее поколение охотно забирало с собой коробку-другую яичек. В городах очень любят именно такие, «деревенские».

Родители же яиц почти не ели, остерегаясь холестерина, нежелательного для пожилых людей. Хотя заботы о холестерине не угнетали, а вот камни в почках мучили. Особенно Анастасию Ивановну. Спасалась она отварами из пастернака. Каждое лето с избытком заготавливала его, пышными кустами росшего во дворе, сушила вместе с вениками Петровича.

Куры жили у них постоянно, а вот с петухами не везло. То от хорьков гибли, то под машины попадали, а на одного даже ястреб-тетеревятник напал. На глазах Петровича. Отдыхал



Владимир Дмитриевич Пронский родился в Рязанской области. Работал токарем, водителем, корреспондентом, редактором. Публиковался в журналах «Молодая гвардия», «Москва», во многих журналах, газетах, коллективных сборниках в России, в ближнем и дальнем зарубежье.

Владимир Пронский — автор многих книг повестей и рассказов, романа-трилогии «Провинция слёз». Постоянный автор «Коломенского альманаха». Лауреат премии имени А. С. Пушкина Московской писательской организации, Международной литературной премии имени Андрея Платонова. Член Союза писателей России.

Рассказ

старик у веранды, и вдруг из-за дерева скользнула серая тень, накрыла петуха... Тот тотчас засучил ногами в смертельной судороге. Увидев человека, желтоглазый ястреб взмыл ввысь, качнув на прощание ветви берёзы, словно и не было его. Потом, когда Петрович ощипывал погибшую птицу, то обнаружил одну-единственную сквозную ранку на шее от ястребиного когтя, через которую, видимо, петух испустил дух... И в очередной раз тогда куры остались без предводителя.

Из всего городка только, наверное, куры Уласкиных могли подолгу жить вдовами, как на птицефабриках. И если там они на сто процентов подневольные и для сердечных утех у них не имелось технической возможности, то уласкинские куры несли поражение в любовных правах от стечения житейских обстоятельств. Хозяевам бы завести цыплят и вырастить своих петушков, но им не хотелось на старости лет бегать за цыплятами по двору и огороду, особенно дородной Ивановне. Тем более что куры и без петухов приносили яйца. Но Анастасия Ивановна всё-таки жалела курочек. Поэтому частенько сидела на низком пенёчке, и хохлатки подбегали к ней, приседали, раскрылившись, и Ивановна легонько терзучила их, словно озорной петушок. Курам от этого было удовольствие. Поегозив под рукой хозяйки, они игриво отряхивались и, если бы могли улыбаться, то улыбались бы во весь куриный клюв от перепавшего счастья.

Алексею Петровичу не очень-то нравилось занятие жены.

— Чего ты к ним привязалась?! Ведомость на них составь — вместо зарплаты будешь лохматить! — не выдержав издевательств над курами, однажды насмешливо укорил он.

— Отстань, если ничего не понимаешь!

Петрович же всё понимал. Поэтому и не связывался с женой. Ведь свяжись — она сразу припомнит прошлогоднюю историю, когда он за четвертинку арендовал у соседа молодого петушка, подпустил его к своим курам, а тот, видно, по неопытности растерялся, всё норовил сбежать, особенно когда куры начали его нещадно клевать. Их поведение казалось необъяснимым. Петрович решил, что нужно какое-то время, чтобы петушок и куры взаимно привыкли и между ними пробились искра непобедимого чувства. Он даже привязал петушка за лапку, чтобы не убежал и не прятался.

Каково же было удивление Петровича вперемешку с досадой, когда к вечеру он обнаружил арендованного «жениха» невинно заклёванным. Хочешь не хочешь — пришлось заплатить соседу двести рублей.

Ивановна взъелась и при всяком подходящем случае, особенно когда он вставлял очередное замечание, укоряла мужа.

— Если ничего не понимаешь, — сердилась она, — так и не ходи к курам! А то желанный выискался?! Петуха принёс! Кто просил? Зачем он нужен, на зиму глядя?!

— Своих-то цыплят тебе лень завести!

— Не буду я на старости лет бегать за ними по двору да огороду.

— Зато и молодки были бы, и петушки. Не надо было бы соседям кланяться! — ворчал в ответ Петрович, хотя и понимал, что резон в словах жены есть, но резон близорукий, без дальновидного взгляда в будущее.

Алексею Петровичу делалось обидно: словно для себя одного старался. За ужином он обычно выпивал рюмку-другую водки, благодарно вспоминал коллегу Менделеева, составившего правильную формулу огненного напитка, но после случая с соседским петухом какое-то время не заикался о профилактике сердца и сосудов, которую врачи по телевизору советуют выполнять ежедневно. Месяц, наверное, давал встряску организму и невольно подрывал здоровье.

Со временем всё наладилось. История с петухом-наймитом малопомалу отдалилась. Когда же пришла пора заниматься огородом, то об этом и вовсе забыли. И о курах в том числе: они как жили вдовами, так и продолжали невинно чаврить. Если только иногда Ивановна вспомнит о них, особенно когда они чуть ли не за подол начинали нахально цепляться, обращая на себя внимание. И это продолжалось бы до бесконечности, если бы не случай.

Однажды Петрович не поверил своим глазам: отдыхая у веранды, увидел на двухметровом каменном заборе, отгораживающем двор от улицы, искрящегося на солнце сказочного петуха-богатыря! Окраса он был золотистого, с тёмно-вишнёвыми, почти жуковыми стрелами вдоль спины, переходившими в лиру хвоста длинными перьями изумрудного отлива. А шпоры-то, шпоры — как гнутые гвозди торчат! Не петух, а чудо! Откуда только такой взялся?! А гость походил туда-сюда по ограде, покачивая кустистым гребнем и рубиновыми серьгами, для порядка вытер клюв, показывая привычку к чистоплотности, звучно закукарекал, извещая о своём прибытии колонию притихших кур, испуганно поглядывавших снизу, словно на хищного ястреба, и тотчас спланировал во двор. Куры — врассыпную. Но стоило петуху сделать вид, что он нашёл для них что поклевать, и властно закокать, созывая к себе, как все они послушно окружили его, а самые бойкие и озорные сразу раскрылились, заслонив собой остальных. Ему же этого только и надо было: только за этим, наверное, и спикировал из поднебесья. Одна за другой куры после него отряхивались, а он и не собирался успокаиваться. Едва вспушил последнюю — образовалась новая очередь. Изумлённый Петрович крикнул жене:

— Настя, иди посмотри: чудо-то какое?!

Не сразу, но Ивановна курносо высунулась из кухни:

— Чего ещё?

— Чей-то петух к нам приبلудился.

Анастасия Ивановна вышла на веранду, посмотрела во двор, в котором пришелец уже чувствовал себя хозяином, сказала едко:

— За такого, видно, придётся все пятьсот платить! Тем более что одной породы с нашими. Чей это?

— Откуда же мне знать? Бесплатно достался. Не переживай!

— К соседям сходи.

— Да у них таких красавцев никогда не водилось!

Всё-таки наведаясь Алексей Петрович к одному соседу, другому — ни у кого петух не пропадал. А где ещё спросить — неведомо. Городок их населением не густ, а раскинулся обширно: улиц — несколько десятков. Разве все обойдёшь!

Вернулся Уласкин домой, устало доложил жене:

— Придётся гостя на довольствие взять! А там, глядишь, и хозяин найдётся. Не у каждого хватит сил легко отказаться от такого красавца! Анастасия Ивановна ничего не сказала, лишь вздохнула:

— И с этим чего-нибудь приключится, уж поверь мне.

Так и не понял Алексей Петрович настроения жены, но появлению петуха радовался. Словно приятель у него завёлся, с которым можно поговорить по-свойски.

Гость же к вечеру окончательно освоился. И хозяйки не испугался, когда та принесла корм, а лишь немного отступил. Сам первым к кормушке не подошёл, а, как и положено, позвал вновь обрётённых подруг и, поглядывая по сторонам, строго охранял их. Последним तो ропливо поклевал сам и уверенно повёл кур на насест, словно ходил этой тропой тысячу раз.

Появление петуха удивляло лишь в первые дни. А потом, занятые огородом, Уласкины к нему привыкли, как привыкают ко всякой обычной вещи. Назвала его Ивановна Федькой.

К концу мая Уласкины управились с огородом. А Федька вдруг опять обратил на себя внимание. Из ласкового и заботливого хозяина своего гарема день ото дня он превращался в деспота. Скосив оранжевый глаз и нетерпеливо черкнув крылом по земле, он выбирал жертву, и уж ничто не спасало её от крепких лап и крючковатого клюва. Прячась не прячась, убегай не убегай — дальше двора всё равно бежать некуда! — бесполезно. Как железными клещами вцепится: весь гребень в кровь исключёт и спину изломает. В конце концов, куры начали шараться от Федьки. Самые пугливые перелетали через забор, и потом их полдня отлавливали во дворах по всей улице. Какие похитрее — прятались за штабелем тёса. Одна так и вовсе пропала. Самые же безвольные сидели в тени берёзы: истерзанные, безразличные ко всему, они словно ожидали окончательной расправы.

— Ведь говорила тебе, — допекала мужа Ивановна, — как в воду глядела! И этот оказался непутёвым.

Алексей же Петрович не столько обижался на петуха, сколько не мог объяснить его поведение. Понятен был его первоначальный пыл, понятна и последующая размеренная жизнь. А теперь-то что случилось? Несколько дней Петрович мучился догадками, а однажды утром всё понял, когда Федька, едва выскочив из курятника, побежал к пастернаку и начал клевать листья с такой жадой, с какой человек дорывается до воды, выйдя из пустыни. «От пастернака буйствует петух! Обьелся весёлой травы, от которой всё петушиное в организме шевелится, вот и гоняется за курами почём зря!» — решил Алексей Петрович.

За завтраком спросил у хозяйки с подковыркой:

— Когда думаешь пастернак-то заготавливать?! А то ничего от него не останется!

— Кому он нужен...

— Не знаю, кому, но Федька очень пристрастился. Похоже — зависимым стал. Только соскакивает с насеста — сразу к твоим кустам! Сама же говорила, что пастернак мужскую силу удваивает! — улыбнулся Алексей Петрович.

— Откуда ему знать?!

— Узнал вот... Опытным путём... Видишь, как на него подействовал! Ивановна отложила ложку, выбралась из-за стола и — во двор. Вернулась побледневшая:

— Этот зверь почти всё ободрал, на весь год оставил без лекарства. Сегодня же уничтожь его. Смотреть не могу более!

Петровичу же от такого разговора стало не столько смешно, сколько грустно: и с петухом не хотелось расставаться, и терпеть нельзя. Но как такого красавца отправить в суп?!

Несколько дней уклонялся от расправы над Федькой, тот до стеблей ощипал кусты и без весёлой травы сделался тихим и неприметным. На глаза хозяевам старался не попадаться, словно знал их зловещую задумку.

Но это ему не помогло. В выходной прибыл младший сын Василий. Перед отъездом, коротко рассказав историю петуха, Ивановна попросила:

— Сынок, заруби его! От него одни несчастья. Просила отца, да его разве допросишься!

Но и Василий отказался казнить Федьку.

— К тёще в Коломну завезу! Её курам как раз петух нужен! А па-стернак у неё не растёт! — рассмеялся он.

— Вот и правильно. Увези этого разбойника, куда хочешь, лишь бы подальше.

Надо бы, конечно, дожждаться вечера, чтобы без шума снять Федьку с насеста, но сын спешил с отъездом и, вооружившись старым половиком, вместе с отцом начал теснить Федьку в угол двора. Петух потихоньку отступал, а когда отступать оказалось некуда, взвился перед ловцами, собираясь перемахнуть забор, из-за которого когда-то появился, но не рассчитал, стукнулся зобом о камни. Тогда попытался проскользнуть мимо мужчин. Хотя Василий был жилистый и ловкий, в отца, но Федьке удалось увернуться. Правда, сгоряча он не заметил сетку, воткнулся в неё головой и застрял, но сдаваться не собирался. Освобождаясь, отчаянно дёрнулся и напрочь сорвал гребень, залил двор алой кровью; боясь испачкаться, петуха более не пытались ловить. Тем более что Федька сам обречённо замер, словно прислушивался к себе, не понимая, что происходит. Пока прислушивался, на глазах сгорбился, распустил крылья и вскоре, навсегда изойдя кровью, повисшей на побледневших серьгах густыми сосульками, покорно повалился на бок. Ивановна убежала в дом, чтобы не смотреть на такую страсть.

Закурив, Василий сказал, кивнув на затихшего петуха:

— Отбегался завоеватель... Чего теперь с ним делать-то?

Петрович вздохнул:

— Надо воды вскипятить, чтобы ошпарить да ощипать. С собой возьмишь!

Кипятили воду молча, словно для окончательного завершения злодеяния. Когда же Федьку ошпарили в ведре, то веранда наполнилась душным запахом пера, а само оно легко сошло с петуха, и все увидели, что не такого уж он богатырского сложения, а обычный ощипанный кур: длинношей, длинноногий. И сразу сделали вид, что навсегда забыли огненного красавца, недавно владевшего двором. Торопливо

собрали сына в дорогу, уложив в машину коробку с яичками, пакет зелёного лука да банку консервированных огурцов. И о Федьке вспомнили. Вскоре, покачиваясь в багажнике «Форда», он ехал в столицу; завёрнутый в тряпицу и набитый крапивой, Федя совсем не чувствовал, как она изнутри жгла его.

После спешного отъезда сына Уласкины не могли говорить друг с другом, да и не осталось для этого слов. Несколько дней отмалчивались, чувствуя обоюдную вину. За это время на кустах пастернака набухли молодые листья, Анастасия Ивановна повеселела, а следом и Алексей Петрович мало-помалу растопил в себе солидарную отчуждённость. Но всё равно почти не вспоминали Федю: чего уж ворошить душу.

Но вскоре всё-таки вспомнили, когда увидели выводок цыплят и рядом с ними пропавшую курицу-наседку. Весь двор оказался усеян светло-коричневыми, пушистыми комочками, будто ранними опятами. Наседка квохтала, не переставая, словно обращала на себя внимание и говорила удивлённой хозяйке, первой заметившей их: «Не видишь разве, что мои детки голодные?!»

Анастасия Ивановна отправилась в кухню, мелко покрошила на картонке несколько яиц, понесла во двор. Ничего не сказав, жестом позвала за собой мужа.

Алексей Петрович вышел на веранду неохотно, а когда увидел выводок, широко распустился в улыбке. Да и было от чего. Крохотные цыплятки пока не имели жуковых стрел вдоль спины, но можно было не сомневаться: стать они возьмут от Фёдора, своего отца.

КУРИНЫЙ ВЕК

С утра в хозяйстве происходило что-то непонятное: приехавший хозяйкин сын убрал со двора в сени всё мало-мальски ценное, ненужное выбросил, а кур согнал в тесный катух, где когда-то стояли овцы, а теперь скособочился необычный ящик с щелью внизу и горбатился новый насест. Всё непривычное, некрасивое. Сразу жить расхотелось. Особенно старому петуху, много чего повидавшему в жизни. Хозяйке это, видимо, тоже не нравилось, поэтому и ходила она нерадостная и даже пожаловалась петуху, когда сын вышел со двора к машине:

— Вот, Петя, еду в город глаза лечить...

Петя надеялся, что хозяйка заберёт его и кур с собой. Но ошибся. Он понял это, когда её сын вернулся, высыпал в ящик мешок зерна и накидал полный угол снега. В последние годы в селе так делали часто, когда нужно было куда-нибудь уехать, а присмотреть за курами некому. Насыплют в кормушку зерна, снега навалят вместо воды — как хотите, так и живите. Увидев всё это, Петя вспомнил хозяйкины слова: «Еду глаза лечить» — и понял, что всё кончено. Потому что её надо будет ждать неделю или даже месяц. А если больше! А если ещё больше?!

Пока Петя размышлял, на пороге вновь появилась хозяйка. Она помахала перед собой сложенными в щепотку пальцами, сказала: «Храни

вас Господь», — и закрыла дверь, звякнув металлической задвижкой и замком. Петя осмотрел притихших кур, догадался, что и они всё поняли, но пока не подавали вида. А уж если они храбрятся, то ему и вовсе не подобает вести себя трусливо. Подумаешь — хозяйка уехала! И без неё жить можно, тем более что зимой куры яиц не несут и собирать их по гнёздам не надо. Подумал он о своих курах, и сердце чуть не разорвалось. Ведь получалось, он безропотно подчинился хозяйскому произволу, ничего не сделал, чтобы не оставлять их взаперти. А теперь что? — Теперь оставалось только терпеливо ждать.

До вечера к еде никто не притронулся.

На второй день поклевали чуть-чуть. Сильнее хотелось пить. Петя знал, что жажду утоляет снег, но с непривычки он показался обжигающим и колючим. Когда же терпеть не осталось сил, он позвал кур, ласково сказав им «ко-ко-ко», и первым хватанул из сугроба. За петухом и они потянулись. Только белые, которых хозяйка называла леггорнами, аристократически обособились и к снегу в тот день не притронулись.

Зато на третий день, едва услышав привычное «ко-ко-ко», первыми стали глотать влажную крупу, мотая от непривычки головами. Скоро напились досыта, замёрзли и принялись лениво клевать зерно. Пока клевали, оно помаленьку высыпалось из ящика-кормушки — чистое и вкусное.

К Петиному удивлению, все быстро привыкли к такой жизни. Да и как не привыкнуть, когда зима на дворе. Это не лето красное, когда солнышко почти сутки светит. Сейчас оно лишь ненадолго заглядывало в маленькое оконце, наполовину забрызганное известью, и быстро пропадало. В некоторые дни вовсе не появлялось. Тогда весь день в катухе было пасмурно и скучно: дремали, учились терпению и верили, что обязательно дождутся хозяйку и тёплых весенних дней, когда можно будет досыта нахвататься молодой травы. Петя знал, что зимой травы не бывает, и мечтал лишь о тёплой картошке с комбикормом. Это лакомство не прочь поклевать и его подруги, но он терпел, и они молчаливо терпели, не показывая признаков беспокойства. Даже и тогда промолчали, когда в одну из ночей кто-то долго царапался в соседнем катухе. Петя молчал, прогоняя неприятные подозрения... В молодости он попал в историю, из которой едва выбрался живым. Вот так же, как прошлой ночью, кто-то долго и настойчиво подбирался к насесту из-за двора, а утром несколько кур валялось на полу мёртвыми. Хозяйка позвала хозяина и сказала: «Это — хорёк, больше некому!» Тогдашнее происшествие их особенно не опечалило: во дворе стояли корова, поросёнок, овцы, разной птицы было десятка три-четыре. Но через год или два — теперь Петя точно не помнил — хозяин помер, а без него хозяйка всю живность перевела.

В эту осень оставила только кур и Петю с ними.

А теперь вот уехала, даже куры стали не нужны.

Петя не заметил, как истаял короткий день: ему показалось, что пролетел он быстрее обычного. А когда наступила темнота — опять доносилось противное царапанье. Потом оно смолкло, и он почувствовал в катухе прищельца. Вскоре стало невозможно дышать, и совсем рядом заверещала курица, забила крыльями. После этого на какое-то время

установилась тишина, и все услышали, как захрустели разгрызаемые кости. Иногда этот хруст прерывался фырканием и последующим настороженным молчанием, словно тот, кто грыз кости, прислушивался... Это был самый страшный момент: казалось, что пришелец высматривает новую жертву.

Переживали не зря.

Вскоре раздался новый крик, перешедший в верещание и закончившийся вознёй на полу и хрустом костей.

За ночь это повторялось несколько раз.

Утром, когда наконец-то рассвело, Петя заметил на полу мёртвых куриц с обгрызенными головами. Среди них оказалось несколько леггорнов, которых жалеть не хотелось. Этим баловней хозяйки сам он любил только в первый год, пока они были молодками, а потом к ним остыл. Леггорны это поняли и начали гулять с соседским петухом. Петя измену, конечно, замечал, но делал вид, что это его не касается. Ему нравились другие: пёстрые и рябые — такие, как он сам. Особенно любил петух трёх коричневых хохлаток, которых, ухватившись клювом за хохолок, очень удобно топтать... В эту ночь одна из них погибла, и это более всего огорчило Петю. Он удивлялся на своих куриц, словно не замечавших погибших подруг, как цыплята, радовавшихся пришедшей оттепели и начавших по-весеннему «какакать» — привлекать внимание своего повелителя. Особенно веселились беззаботные леггорны. «Погодите, — обиженно думал Петя, — вот придёт ночь, тогда не так заквохчете!»

Но он ошибся: ночь пришла и ушла, а оставшиеся куры были целы. Это сразу все увидели и совсем развеселились. Даже мороз, пришедший следом за оттепелью, не пугал. Спихватились лишь к концу дня, когда захотелось пить и есть. Доклевали рассыпанное зерно, а новое почему-то из щели не текло. Хотели поклевать снега, но после оттепели он превратился в льдистую глыбу и не поддавался слабому клюву. Куры забрались на насест полуголодные, не зная, как жить дальше. Получалось: если не вернётся хозяйка, их ждёт голодная смерть. От таких мыслей навалилась апатия. Поэтому, наверное, все они без страха встретили пришельца, свободно, без устрашающего царапанья пробравшегося в катух. В эту ночь раздавалось верещание, хруст костей и жадное фыркание. Утром все увидели оставшихся леггорнов на полу, а Петя про себя отметил, что ещё одна любимая хохлатка лежит вместе с ними.

Весь наступивший день оставшиеся в живых молчали. Только к вечеру некоторые курицы пробовали клевать смёрзшийся снег и жадно подбирать мелкие крошки. Но они жажду не утоляли. Пить хотелось всё сильнее. Ночью это желание стало ещё острее. Никого уже не удивило и не испугало новое появление пришельца: о нём теперь никто не думал и его никто не боялся.

К утру уцелело четыре курицы.

Петя не умел считать, но и так видел, что оставшихся в живых совсем мало. Он им не радовался, потому что среди них не оказалось хохлаток, и все они были старше его.

В этот день им всё-таки повезло: Петя сумел отколупнуть небольшой

кусочек льдистого снега. Но вместо того, чтобы поделиться со своим хозяином, когда тот по привычке позвал «ко-ко-ко», — куры оттеснили его, а после, склонив головы набок, укоризненно смотрели рубиновыми глазами: мол, что так мало добыл?! От обиды Петя забрался на насест, забился в угол и до темноты не разговаривал с ними.

С темнотой опять прибыл таинственный зверёк.

Утром Петя остался один.

В этот день он не слетал с насеста, сидел в полусонном забытии, чувствуя, что потихоньку умирает. В сумерках раздались непривычные звуки, заставив встать. Он услышал во дворе приглушённый разговор. Решил, что вернулась хозяйка. Обрадовался. Хотел победно закукарекать. Но тут в оконце ударил яркий свет. Донёлся голос:

— Чего ты там?

— Опоздали — вот чего! Куры у бабки передохли...

— Тогда пошли в избу... Перестань светить!

Петя слышал, как по двору прошли два человека и начали возиться у задней двери, осторожно работая пилой... Гроыхнула откиннутая задвижка. Воры вошли в избу. Сколько там пробыли, Петя не знал. Уходили — что-то уронили.

— Чего разбил-то? — спросил один.

— Банка с вареньем накрылась...

— Эх... — вздохнул первый и обозвал второго словом, каким обычно называл Петю хозяйкин сын.

Пришельцы ещё недолго шарили по двору, и наступила тишина. От напряжения и страха Петя чувствовал себя совсем ослабшим. Кружилась голова. Он еле держался на насесте. Потом слабость прошла, и он задремал — и снилась ему весна, вспаханный огород, а на нём полным-полно розовых червяков... Потом сон сменился: он увидел хозяйку. Она принесла полную кормушку тёплой картошки с комби-кормом, налила в поилку много-премного воды и стала приговаривать: «Петя, Петенька, соскучился, мой хороший...»

Услышав привычный шорох, Петя очнулся... Вот зверёк обнюхал мёртвых кур, поточил когти о бревенчатую стену и неслышно подкрался. От его близости стало нечем дышать, Петя начал задыхаться, голова тошнотворно закружилась, и он почувствовал, как мягко проваливается в глубокою-глубокою яму.

ВЕЛИКАЯ ДАТА

В январе 2016 года исполнилось 650 лет венчанию святых Дмитрия Московского и Евдокии Суздальской! Таинство совершилось в княжеском дворце Коломны, в домовом храме Воскресения Словущего. То, что важное историческое событие произошло именно здесь, имеет глубокое основание.

По местному преданию, святой Димитрий родился в Коломенском крае, Коломна была его наследственным владением и «любимым градом», свою здешнюю великокняжескую резиденцию он неоднократно посещал и ради молитвы, и накануне великих деяний. В Третьяковской галерее до сих пор хранится храмовая икона Воскресения, пред которой молился благоверный князь Московский.

На месте древней деревянной церкви в конце XV века была выстроена нынешняя каменная. Но память о венчании и драгоценные реликвии перешли в новую святыню. Каменный Воскресенский храм, подобно прекрасной раке, укрыл и сохранил до наших дней бесконечно дорогое для коломенцев место на Соборной площади города.

Брак святых Дмитрия и Евдокии явил миру идеал православной семьи, прославленный многочадием, любовью и верой. Сегодня в прежней красе восстанавливается Воскресенская церковь. И коломенцы, вступающие в брак, теперь смогут прийти в храм, чтобы испросить благословения на правильный жизненный путь.

Замечательный скульптор, уроженец Коломны Владимир Потлов создал рельефную икону двух наших святых для того, чтобы украсить одну из ниш церкви Воскресения Словущего.

История и слава древнего града возвращается на Соборную площадь Коломны!



Поэзия





Графика Василины Королёвой



Диана Елисеевна Кан родилась в военном гарнизоне города Термеза Туркестанского военного округа. С 1983 года жила в Оренбурге. Окончила журналистский факультет Московского университета. С 1997 года живёт в городе Новокуйбышевске Самарской области.

Диана Кан — автор книг «Високосная весна», «Согдиана», «Междуречье» и других, а также многих публикаций в центральных и региональных изданиях России. Она — руководитель народного литобъединения в городе Новокуйбышевске. Член Союза писателей России.

Диана Кан — из тех авторов, которым удаётся в стихах на злободневные наблюдательные темы говорить не «языком плаката», а образно и эмоционально, как и подобает большому Поэту. Её строки — волнующи, предельно искренни, глубоко входят в душу, то тревожат её, то вселяют надежду, — как и многострадальное, выпавшее нам на долю Время.

Я ПОЮ С ВЕТРАМИ В УНИСОН

* * *

Пылит ли зной, метёт ли снег —
Виновник бездорожий —
Идёт по свету человек —
Калика переходжий.

Подлунный волчий мир — тюрьма
Рождённому для братства...
Странноприимные дома
Иных созвездий снятся.

Бредёт, преодолевая страх
И звёзды окликает.
И вязнет в снежных облаках
Его нога босая.

Откуда он, такой-сякой —
Отшельник и острожник,
Таинственный земной изгой,
Божественный безбожник?

...Россия — странная страна...
В трудах земных измаясь,
По небу странствует она,
О звёзды спотыкаясь.

* * *

...я усталым таким ещё не был...

Сергей Есенин

Ты любимым таким ещё не был...
И не будешь! Уж ты мне поверь!
Не с того ли сбежавший с неба
Ветер воет, как раненый зверь?..

Он не меньше любви был достоин
И в боях за любовь изнемог...
Неотмирный небесный воин,
Ставший пылью земных дорог.

Ветрозвонит январь, ветрозвонит.
С ветром спорить резону нет.
Не склонившись ни разу в поклоне,
Лишь поэтому он поэт!

Но, лишившись навек покоя,
Так любви страстно жаждал он,
Что когда повстречался с луною,
Ей отвесил небесный поклон.

...Все мы, все мы любви достойны,
И у каждого — свой кумир...
Не с того ль сотрясают войны
Наш подлунный жестокий мир?..

Не с того ли, мой друг, не с того ли,
Близко родственные ветрам,
Мы так страстно мечтаем о воле,
Что покой только снится нам?..

* * *

Когда хоронили Россию мою
Помпезно, согласно и чинно,
Поникшие в сбившемся ратном строю,
Рыдали поэты-мужчины.

Забросив свои боевые клинки,
Прощались с Россией навеки.
В плену безутешной сыновней тоски
В гробу закрывали ей веки.

Сиротской слезой орошали они
Родные ракиты-берёзы...
А я? Что же я?
Бог меня сохрани!
Я лишь утирала им слёзы.

«Хоть сабля востра, да мечу не сестра...» —
Уныло кривились мужчины,
Когда намекала я им, что пора
В бою поразвеять кручину.

И вновь поминальный гранёный стакан
Горячей слезой закусили.
И так порешили: лишь тот атаман,
Кто слёзней скорбит по России.

А что же Россия?
Поминки поправ,
Восстав из хрустального гроба,
Она сквозь кордоны кержацких застав
Сокрылась в былинных чащобах.

Ведомая светом скорбящих свечей,
Ушла, не попомнив обиды,
На звон потайных кладенцовых мечей
От скорбной своей панихиды.

А я? Что же я?
На распутье стою
И слёзы друзьям утираю...
Не лучше ль погибнуть в неравном бою,
Чем вживе погибнуть в родимом краю,
У гроба пустого рыдая?..

Хоть сабля востра, да мечу не сестра,
Но верному слову — сестрица.
И коли приспела лихая пора,
Пусть Вера Руси пригодится!

* * *

Над рюмками взлетевшая бутылка
Свой соколиный совершит полёт...

Собрат-поэт, ты жив ещё, курилка?
О суетном забудь, оно пройдёт.

Не нам считаться шрамами и раны
Не нам и не сегодня бередить...
Но после первой рюмки всё же рано
На пару трубку мира закурить!

Не курится — хоть тресни! — трубка мира.
Знать, не о том, не так мы говорим.
Пускай решит изменчивая лира,
Кому быть первым, а кому вторым.

Кончай рыдать и хоронить Россию!..
Мы все у Бога в праведной горсти.
И красною писательскою ксивой,
Как белым флагом, перестань трясти!

Ну, по второй? А то всё ноешь, ноешь...
Ну что, дружок, поделаешь с тобой?
Коль в бой пойду, ведь даже не прикроешь,
А будешь маркитанить за спиной!

По третьей намахнём и — распростимся...
Не по пути поэтам завсегда.
Моё, тобою проклятое, имя
Пускай тебя согреет в холода

Не мутною брагулькой на досуге —
Настоянным на родственной крови,
Смакуемым под причитанья вьюги,
Вином братоубийственной любви.

* * *

Царёвщина, примай-ка на постой!..
Ведь я готова гостевать по-царски.
Здесь зелень проросла сквозь сухостой,
И русский клён не побеждён канадским.

Горящая багрянцем октября,
Горчащая рябиною гроздью,
Царёвщина-царевщина моя,
Почто зарделась в царском взоре грозном?..

Ай ты гостям не рада? Не лукавь!..
Они ль не покуражились на славу?
И листьев позолоченная ржавь
Навек сроднилась с отсветом кровавым...

Здесь вьюги — дебютантки декабря
И февраля шальные фаворитки —
Имперские подарят соболя
Тебе, допрежь обобранной до нитки.

Здесь сквозь века обнимет речка Сок
Сокольных гор воздушную громаду.
И небосвод пронзительно высок:
Взмахни крылом и — обожжёшься взглядом.

Здесь я пою с ветрами в унисон,
Учусь у них быть вьюгой и подругой.
...И в небо, словно сокол, вознесён
Царёв Курган, парящий над округой.

* * *

Январской вьюги чувственные стоны.
Разбитого окна сквозной оскал.
Вновь вовремя явилась только полночь.
А ты опять — ты снова! — опоздал.

И не надеясь, видимо, на чудо,
(А ведь оно бывает иногда!)
Услышать предпочёл: «Иди отсюда!»,
Хоть прозвучало: «Идиот, сюда!»

Я не просила твоего вниманья
Вдали от злой насмешницы-мечты —
В том городке, которого названье
И не пытался выговорить ты.

Однажды попытался и — запутался...
Чуть не сломал язык, махнул рукой...
И — прочь побрёл ухабистой улицей
По городку над Волгою-рекой.

По городку, что местными хабалками
В дым обкумарен смрадом сигарет.
По городку, где фонари фингалами
Веками зверовато смотрят вслед.

По городку, где вьюжная метелица
Вскипает в подворотнях, как змея...
По городку, где очень слабо верится
В небесный смысл земного бытия.

По городку, где в списках ты не значишься
И значиться не будешь никогда...
...И городок вослед тебе таращится
Окном, разбитым вдрызг и навсегда.

* * *

...Морская канула в моря...

Марина Цветаева

Кровавые рябины справа.
Плакучие берёзы слева.
Твердят: «Марина, Вы не правы!» —
Тебе, Марина-королева!

Пеннорождённая морская —
В стихии тесной пресноводной
Обречена была такая
На смерть, чтоб снова стать свободной!

Ты канула... О, если б в море!
Прощай, прикамское приволье!
Но это горе — всё ж не горе,
Лирическое своеволие!

Не горе, что не пожелала
Дурной эпохе стать служанкой.
А горе, горе, что не стала
Елабужанкой и волжанкой.

А горе то, что не воспела —
Как только б ты сумела! — Волгу
За всех, кто за избытком дела
Века ей верен втихомолку.

Неизречённые напевы
Шального волжского прибоя,
Отвергнутая королева,
Ты унесла навек с собою.

* * *

Кто мы? Что мы? С кем мы? Где мы?
Как нам жить и быть теперь?..
Белокурый юный демон
Кофе мне принёс в постель.

Всё случившееся — в силе.
Всё у нас не как у всех:
Всю-то ночь проговорили
О стихах — и смех, и грех!

Нда, неладно что-то с нами...
Впрочем, может, хорошо:
Так мы увлеклись стихами,
До греха и не дошло!

Я, наверное, жестока.
Но не более, чем он.
Я люблю Сапфо и Блока,
Он — в Есенина влюблён.

Среди классиков не тесно
Нам — совсем наоборот!
Разобраться бы с небесным,
А земное подождёт!

* * *

Улица сутулится под ветром.
Горбится под ливнем старый мост...
Ну, а я бегу, считая метры
До того, что невзначай сбилось.

Зонт мой нераскрывшийся, что дальше?
Я не пожалею ни о чём,
Вымокнув под самым настоящим,
Самым майским проливным дождём.

Друг, меня предавший, ну и как ты?
Не печалься, что продешевил!
Нынче у меня достанет такта
Сделать вид, что ты меня прости!

Рыжий, словно око светофора,
Кот, глядящий ночью в лица звёзд,
Привязался, чтоб отстать нескоро —
Прихвостень, бродяга и прохвост!

...На сыром ветру роняя блёстки
Всем случайным-неслучайным вслед,
Ты дожись меня на перекрёстке,
Долгожданный мой зелёный свет!

* * *

Что ты смотришь с надменной насмешкой,
Теребя белопенную ветвь?
Ну, рассмейся в лицо мне — не мешкай! —
Черноглазая дерзкая стервь.

Что тебе чья-то тихая нежность?
Не смутила пока что слеза
Щёк твоих первозданную свежесть
И колючие звёзды-глаза.

Всем ты в радость и всё тебе в тягость.
Без вины виноватых прости!
Ты ж моя ненагляда-загляда —
Это зеркало явно не льстит!

Разбивай покорённые души.
Рот змеиной усмешкой улыжь...
Только золото звонких веснушек
По ухабам чужим не рассыпь!

Сбереги для родного простора
И веснушки свои, и грехи,
И смешки, и словечки, что скоро —
Скоро вызреют в чудо-стихи.

Что мне твой скоротечный румянец,
Пламень губ, что сгорает дотла?..
Что мне хохота протуберанец,
Разбивающий вдрызг зеркала?..

В окруженье цветов белопенных
Ты покуда — никто и ничья,
Сколь заглядчива — столь же мгновенна,
Звездоокая юность моя!



Александр Орлов

Александр Владимирович Орлов родился 21 октября 1975 года в Москве. Окончил Московское медицинское училище № 1 им. И. П. Павлова, Литературный институт им. А. М. Горького и Московский институт открытого образования. Работал ортопедом в Челюстно-лицевом госпитале для ветеранов Великой Отечественной войны, разнорабочим, начальником отдела и заместителем генерального директора в строительной компании. Последние годы работает учителем истории в столичной школе. Является редактором журнала «Основы Православной культуры в школе».

Автор стихотворных книг «Московский кочевник» (2012), «Белоснежная пряжа» (2014), «Время вербы» (2015).

Лауреат Всероссийского конкурса малой прозы имени А. Платонова 2011 года и Всероссийского конкурса прозы и поэзии имени Ф. Глинки 2012 года, посвящённого победе русского народа в Отечественной войне 1812 года.

Живёт в Москве.

ГОРОДА РОССИИ

КОЛОМНА

В. М.

В солнцеликом июне
Благочинно и скромно
В полуночной парсуне
Красовалась Коломна.

Восходящая слава,
Подивись и окрепни,
Звёзды слева и справа,
Рядом церковь на Репне.

Замерцала дорога,
Словно сахар в пастилке,
И в печали немного
Я застыл на развилке.

«Голосую», курю
У разрушенной будки,
Видно, встречу зарю
В опустевшей маршрутке.

* * *

Из гиблых туч на величавость вышек,
Предательски бледна и холодна,
От злости истощавшая луна
Глядит надменно, как Марина Мнишек.

И каждый ей разбуженный спросонок,
И блеск снегов, что умер в нищете,
И капли на раскрашенном щите,
И хлипкий день — растерзанный ворёнок, —

И чёрный кот с прищуром ведуна —
Узнают, что осталось полминуты,
И в обречённость завезённой смуты
Ворвётся православная весна.

МУРОМ

Спадает пасмурный отщеп
На город Муром,
И смотрит благоверный Глеб
В раздумье хмуром,

Как молчаливы и просты
Все муромчане,
Как ополчились на кусты
Заката грани.

Как обретает у мощей,
Скрестив ладони,
Души спасительный елей —
Вдова в поклоне.

Как проезжают поезда,
Маршрутки, фуры...
И как Спасителя звезда
Затмила Муром.

* * *

Как ливень дерзок, грешен, точен,
Как очищает, разбивая снег и лёд,
И как в жестокой схватке раздаёт
Который день всем тысячи пощёчин.

Он злобно оседает в сером стукте.
Он собирается и из последних сил
Всех, кто его любил и поносил,
Он хлещет отрешённо и по-русски.

Он безрассуден, ты его не зли.
Он знает все задумки и ужимки.
В руках сестры на отсыревшем снимке
Он плачет возле храма у Нерли.

* * *

Помню, учили меня быть надёжным и смелым.
Всё поменялось с тех пор, но иду я к тебе,
Роща, где дед закопал навсегда парабеллум,
Центр села, где висел его брат на столбе.

Кажется мне, я иду по киноварному полю,
Прадеда кто-то уводит к расстрельному рву.
Сон не обманешь: он рвётся пытливо на волю,
Я его власть только с первым лучом оборву.

Снова под утро тревожат скупые просветы,
Наши свиданья с родней обречённо редки.
Грозным Смоленском в стальное подымье одеты
Мельница, сад и наш дом у истока реки.

ДОРОГОБУЖ

Александру Сергеевичу Орлову

Со дна июньских тёплых луж
Тянуло мёдом, льном и кожей,
И вечер, вежливый прохожий,
Нас пригласил в Дорогобуж,

Где дождь, задумчив и покоен,
Кропил торговые ряды,
И большегрузные следы,
И дух усопших маслобоен,

Полки канатной конопли
И залежи пластичной глины,
Мещанских домиков руины
И плинфы кривичей в пыли,

И колченогих стариков
У перекошенной ограды,

Их опалённые награды
За Сандомир и Кишинёв.

Дождь лил, слоняясь по дворам.
Передохнул в тиши сарая,
Кусты и грядки освежая, —
Ушёл к блестящим куполам,

Где жизнь доверчива, мудра,
Щедра, смиренна и упряма,
Сокрыта от Москвы и гама,
Где дремлет солнце возле храма
Петра и Павла,
Павла и Петра.

БЕЛОСНЕЖНАЯ ПРЯЖА

Дух земли будоража,
Пробуждая от сна,
Белоснежная пряжа
В полумрак вполетена.

Белоснежная пряжа
Выползала из тьмы,
И не верилось даже,
Что расстанемся мы.

В золотистой фашине
Остроглазых лучей,
Покружив на вершине,
Окунувшись в ручей,

Воспарила над яром,
Проплыла надо мной
И в осиннике старом
Стала млечной тропой.

По узорчатой пряже
Мы идём в полусне,
Взгляды облачной стражи
На тебе и на мне.

И не верится даже,
Что в сердца вполетена
Белоснежная пряжа...
Я один, ты одна.

ВОЛОК НА ЛАМЕ

Вновь набухшие почки
Прижимаются к раме,
В дождевой оболочке
Город Волок на Ламе.

В изумрудном зачатке
Зарождение тепла,
В первомайском порядке
Солнца ждут купола.

На Соборную горку
Поднимусь налегке,
Луч упал на подборку
И залип на строке.

И покажется — некого
Поминать в эти дни:
У села Дубосеково,
Как живые, они.

РЖЕВ

*И никто перед нами
Из живых не в долгу,
Кто из рук наших знамя
Подхватил на бегу...*

Александр Твардовский

Кто справа был, а кто был слева —
Сейчас уже не вспомнить мне, —
Когда в окопной тишине
В лесах израненных у Ржева
Мы тосковали о войне.

От смерти землю очищая,
Срезая жизни бурый пласт,
Мы верили: нас не предаст
Погибших слава фронтовая.
Войны и мира в ней контраст.

Мы — собиратели мощей.
Мы — той же богатырской плоти.
Вы павших имена прочтёте
Не в глубине седых полей —
В сердцах людей — на обороте.

СТАРИЦА

Расписная косынка,
Свет в глазах не померк.
Не старушка — тростинка, —
А брала Кёнигсберг.

Говорит: «Знаешь, сколько
В равелинах ребят:
И Серёжа, и Ольга,
И Егорыч лежат...

После минного взрыва
Меня вынес майор», —
И пошла горделиво
На обедню, в притвор.

Память годы полощет,
Превращая в дымок.
В этой яростной мощи
Всей Руси оселок.

* * *

Когда уводят солнце подсилки
По мшистым неисхоженным дорогам,
Мне надо рассказать тебе о многом,
Коснувшись взглядом омута реки.

Ты видишь: нестареющая гладь
Из века в век притягивала взгляды,
Менялись и поверья, и обряды, —
Тебе и мне в ней тоже пропадать.

Ты знаешь: неохота признаваться,
Но каждый ядовит, как бересклет,
И в красные доспехи приодет,
И каждый узнаёт в закате братца.

Что дальше суждено тебе и мне?
Ты видишь: свет доверчивый и дальний
Восходит к полнолунию из крещальни,
И звёзды засверкали в полынье,

А значит, подоспевшая пора
Нас призовет, и каждый будет вечен,
И нас забудут в ежедневной сече,
Когда сольются Калка и Угра.

ИЗБОРСК

В пыгливом Изборске,
В изгибах лучей,
В изменчивой горстке
Пылающих дней
Кровавая груда
Покрыла захаб,
Приверженец чуда
От вспышки ослаб.
И брёл в котловину,
Где Трувора крест
Ведёт на вершину
Из брошенных мест.
Где ветер спасенье
Желает вернуть,
Где славят крещение
Словене и чудь.

* * *

Июнь, дружинник, держит наготове
В разбухших тучах слёзы трёх волхвов.
В течение минут, а не часов
Они прольются в Суздале и Пскове.

Пройдут покорно в дождевом порядке
Вначале Март, потом Апрель и Май.
Волхвов ушедших с грустью поминай:
Их дни угасли, высохли осадки.

Припомни: Март метели проводил,
От колдовства сугробы почернели,
Апрель гадал на отзвуке капли,
Бросал влюблённых в огневой распыл.

Май предвещал, что в порыжелой куне,
Что прячет археолог в пятерне, —
Древнейшее сказанье о весне,
И видел нас на Рюгене в июне,

Где пенится закатная черта
И морщатся меловые утёсы,
Где самые кипящие вопросы,
Как волны, затихают у борта.

Где в недрах погребального холма
Под идолом священным Святовита,

Руянами от глаз людских укрыта
Снегов царица — русская зима.

СИМОНОВО

Мой город колоколен
В преддверии весны
Просолен, покоен,
В нём улицы грязны.

Обмяк покров вчерашний
На вечной слободе,
В бойницах древней башни,
На скованной воде.

А в храме, у свечей,
С покрывом аналой.
Покойно, тихо, пыльно...
И мощи пред стеной.

Молитвами Осяби
Здесь каждый обогрет.
Здесь оседают хляби,
И грозен Пересвет.

И под резным покровом
Две схимы, Русь одна,
Как в поле Куликовом,
Затворникам верна.

БЕРКУТ

Вставай же, Русь! Уж близок час!..
Фёдор Тютчев

Змеиная власть обезглавлена, свергнута,
И в первых кровавых рассветных лучах
Я вижу над Русью воскресшего беркута —
Парящим распятым в святых небесах.
Державная птица в служивом дозоре.
Под клёкот победный с крещёных высот
Враждебной, пугливой, клокочущей своре
Священную ярость расправы несёт.
Ощерились звери — противно их трогать,
И мир в ожидании схватки умолк.
В добычу вонзая заточенный коготь,
Оседлый защитник исполнит свой долг.

Анна Андропова



Анна Михайловна Андропова — уроженка Киева. Окончила факультет журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова. Работала в агентстве печати «Новости» (ныне РИА «Новости»), старшим редактором журнала «Атомная энергия».

Пишет стихи, сказки, прозу, переводит с украинского.

Анна Андропова любит красоту русской природы и в своих стихах передаёт её переменчивость, находя необычные образы и сравнения. Дыхание её поэзии свежо, как благодатный, чистый воздух осени, который завораживает читателя очарованием этого немного грустного, но по-своему прекрасного времени года.

Живёт в Москве.

НА ПЕРЕПУТЬЕ ЛЕТА И ЗИМЫ

ПРЯДУ КУДЕЛЬ СТИХОТВОРЕНИЙ

Пряду кудель стихотворений,
Шуршит словес веретено.
И нить надежд, узлы сомнений
Сплетаю рифмами в одно,
Чтобы потом волшебной вязью
Пред чьим-то взором пробежать
И веточки набухшей властью
И поразить, и удержать.

БЕЗ ТЕПЛА

До сентября, стремглав заосенелые,
Озябли ночи, задождили дни.
И лета очи грустные, несмелые —
За веки прячутся, как ни мани.
Ещё с опавшим золотом справляется
Метла, и зелена дерев листва,
Но без тепла душа в печаль срывается,
В комочек сжалась и жива едва.

НА ПЕРЕПУТЬЕ ЛЕТА И ЗИМЫ

На перепутье лета и зимы
Размыт сентябрь, в туманы погружённый,
Задумчиво и чуть замороженно
Ступает в сень осенней кутерьмы,
Где в молоке — замедленном экране —
Сонат предвечных льётся листопад,
И ветер кружит листья невпопад,
Они ложатся на сырой асфальт,
Как будто знали, где упасть заранее.
И это действие так меня волнует,
Весь этот вечной жизни ритуал,
Как будто кто меня сюда позвал
И надо мною листьями колдует.

СКОРО ОСЕНЬ

И будет осень весело бежать,
Бросая листья на асфальт гербарием,
И будет память тяжело вздыхать,
В коробку пряча летние сандалии.
И будет ветер кронами шуметь
И собирать звонкоголосых в стаи,
И будем вслед, прощаясь, им смотреть,
И до весны печаль нас не оставит.

ОСЕННИЕ МОТИВЫ

Уже срывает ветер листья
И укрывает шубой лисьей
Берлоги, норы, всё вокруг.
Уж птицы двинулись на юг,
Их клин шелками неба вышит,
И журавлиный клёкот слышен:
«Прощайте, братцы, до весны!
Не все домой вернёмся мы...»
И люди машут вслед, вздыхая,
Обрядам осени внимая,
Грустя о жизни быстротечной,
Надеясь на весну, конечно.

БАБЬЕ ЛЕТО

Не сентябрь — загляденье просто! —
Переливы сияющих рос!
Бабье лето — желанная гостья —
С золотистым отливом волос.
Утопая в тепле истомлённо,
Позабыв все сомненья души,
Признаётся в любви рдяным клёнам
Бабье лето в прозрачной тиши.

У НОЯБРЯ...

У ноября сереет полог неба,
Заладил дождь, как будто на века,
И воробьи галдят у крошек хлеба,
Что накрошила под окном рука.

У ноября зонты скрывают лица,
В глазах печаль до самых до краёв.
Как будто, что должно было случиться, —
Свершилось, только мы ещё живём.

У ноября деревья потемнели —
Застыл во сне графитовый пейзаж,
И пробегают мимо наши тени,
Как чёрно-белых фото вернисаж.

ДЕНЬ НАМАЕТСЯ ЕЩЁ

Польхнула вмиг заря —
Размалинилась,
Под морозец ноября
В тучах вывелась.
Облака — кипит пожар,
Выплеск зарева!
И полоской бирюза —
Лета марево.
Чуть пониже солнца трон
Раскаляется.
Будет точно ветрогон —
День намается.

ПАХНЕТ ОСЕНЬ ЯБЛОКАМИ ЗИМНИМИ...

Пахнет осень яблоками зимними,
Да холодными косыми ливнями,
Да листвою прелой, неживой,
Да твоим прощанием со мной...
Под дождём по парку листопадному
Я бежала к милу-ненаглядному.
Только мил-дружочек не пришёл,
Он другую милую нашёл...
Я ждала, а вороны всё каркали
Надо мною, одинокой в парке том,
Иль смеялись вместе с мил-дружком
Надо мной, промокшей в парке том.

ВЧЕРА ЗА ОКНАМИ ФЕВРАЛЬ...

Вчера за окнами февраль
Весну разглядывал тревожно,
Кричали птицы запыленно,
Зимы дописана скрижалё.
Хоть нынче липкая пурга,
Февраль снегами поиграет:
Повьюжит, лужи залатает —
Пусть покуражится пока.
Как ни крути — зима прошла,
Ведь Сретенье через неделю.
Февраль в себя уже не верит —
Весна подснежником взошла.

УТРО МОРОЗНОЙ ВЕСНЫ

Трамвай везёт на крыше утро,
Разгорячённое зарёй,
И встречный ветер шалопутный
Играет гривой золотой.
Как дети, утро обожает
Лететь по рельсам далеко! —
Зарю к окошечку сажает
И машет с крыши нам рукой.

ФЕВРАЛЬ УХОДИТ

Февраль уходит, разомлевши,
Подставив солнышку бока
И видя, как в сиянье вешнем

Сугробы морщатся слегка.
И хоть ночами вспоминает
Февраль про вьюгу и мороз,
Да небо знает, точно знает:
Он это вовсе не всерьёз.
Ему на Север путь ложится,
За ним уж посланы ветра...
Но непонятное творится —
Спешит в солярий он с утра.

МАЙСКИЙ ДОЖДИК

То ли дождь, то ли голубь по крыше
Пробежал за голубкой чужой.
То ли день умывался так слышно,
В мае он вырастает большой.

Небо серой набычилось тучей,
Гонит молнии властной рукой.
И не знаю, какой нужен случай,
Чтоб душа не заняла тоской,

Чтобы майской листве первозданной
Улыбнулась в сиянье весны...
Брызнул дождик на свечи каштана,
На сирени цветущие сны.

И не сможешь ты дома остаться —
Побежишь под дождём искупаться.

ЗАКАТ ИЮньСКИЙ

Закат июньский ветви лижет,
Политый ливневым ведром.
Прозрачны листья ветер нижет
На бубны шумные ветров.
Цветут пионы, пахнут липы,
Толпятся тучи над рекой,
И где-то там кукует сипло
Кукушка птицей заводной.
А я в лесу вдыхаю лето
И наполняюсь райским светом...

ПАМЯТИ АВДЕЕВА



Авдеев Лёва улыбнётся
на звонкий розовый восход,
и вместе с ним — кусочек солнца
в любую комнату войдёт.

И длится жизнь — какое счастье! —
фотографическим щелчком,
чтоб на закате возвращаться
домой — немножко под хмельком.

Но снимков — отлетела стая...
— Коломне, Лёва, не хватает
тепла в озябшем ноябре.

Лишь иногда — сквозь морок зыбкий,
блеснёт лучом твоей улыбки
кусочек солнца на заре.

СОЛНЦЕ ДУШИ ЛЬВА АВДЕЕВА

21 ноября 2015 года исполнилось 70 лет со дня рождения нашего товарища, одного из авторов «Коломенского альманаха», чьи фотографии не единожды украшали страницы сборника, Льва Борисовича Авдеева.

В юные годы взяв в руки фотоаппарат, больше Лев с объективом не расставался. Долгое время работал в городском фотоателье, сделав, в общем-то, рутинную работу радостной для всех, кто замирал перед его объективом в ожидании «птички».

А в 46 лет круто повернул свою жизнь, перейдя работать в газету «Известия Коломенских народных депутатов», затем — в «Коломенскую правду», где проработал без малого 15 лет.

Газета раскрыла ещё одну грань творческого дарования Льва — он стал писать. Его язык отличали собственный стиль, лёгкость, оригинальность. Он был мастером короткой формы. В каждой из его маленьких, ёмких заметок, репортажей, лирических зарисовок была своя изюминка, которая заставляла читателя искать на страницах газеты фамилии Авдеев, Борисов или Львов — псевдонимы, которыми он иногда подписывался.

Лев был разносторонним человеком. Увлекался живописью, музыкой, в особенности кино. Довелось и самому сниматься — в массовке, во время службы в армии.

Хорошо знал историю Коломны, в особенности — Щурова, где родился и вырос.

Как часто Лев, без редакционного задания, брал в руки свой старенький плёночный фотоаппарат и уходил пешочком за новыми сюжетами.

— Пойду поброжу.

Даже без скоростной цифровой техники умел схватить момент, поймать движение, да так, что нигде ничего не смазано, а события и эмоции — вот они!

По его снимкам прослеживаются лица, смена поколений. На них — история Коломны, какой её больше не увидит никто и никогда.

Но главным достоинством Льва были его открытая душа, неизменная улыбка, жизнерадостность и исходящий от него солнечный свет.

Этот свет продолжает светить сквозь года...

Виктор Мельников



Виктор Семёнович Мельников родился в Казахстане, но «милым пределом» для него стала подмосковная Коломна. В этом городе он не только написал свои лучшие произведения — Мельников основал «Коломенский альманах», настоящий творческий Дом для писателей, поэтов, художников, публицистов Коломны.

До сих пор читатели воспринимали Виктора Мельникова только как прозаика. Но оказалось, что в глубине души его таился поэтический огонёк, шло творчество, которое автор не торопился открывать миру. Однако затаённая мелодия всё равно прорывалась в прозе: в лирических описаниях, портретах, картинах природы. А в этом номере альманаха зазвучала во всеулышание.

СИЛУЭТЫ

ВОСПОМИНАНИЯ О ДВЕНАДЦАТОМ ГОДЕ.

Две сотни лет... Какие перемены
Видала ты, родимая земля!..
Закат кровавой тенью лёг на стены
Коломенского древнего кремля.

То полыхает невдали столица,
Иль вся страна войной обожжена? —
Лажечникову юному не спится,
Хотя в усадьбе дремлет тишина.

У образов — лампадок самоцветы,
В угрозу вражью — верится с трудом.
Но вопреки отцовскому запрету
Наследник покидает отчий дом!..

...Вся жизнь промчалась — будто сновиденье,
Запечатлелась на страницах книг.
В час призраков невидимую тенью
Блуждает у кремля седой старик.

В морщинах лоб... Печален отчего-то.
Там, за чертой, — он молится за всех.
Его гнетут грядущие заботы —
Так неспокоен двадцать первый век!

Провидит в нашей жизни — перемены
И оттого тревожится не зря:
Опять закат коломенские стены
Окрасит алым, как придёт заря...

ПУШКИНСКИЙ ТРИПТИХ ВЕСНА В МИХАЙЛОВСКОМ

Небо светлеет с зарёй.
Луг — будто нитью расшит.
По небу лёгкой мечтой
Облако-ангел летит.

День просыпается, тих,
И расплетается мгла.
Веет неведомый стих
Лёгким движеньем крыла.

В окна струится рассвет,
Даль перед взором — близка.
Музе певучей в ответ
Вольно струится строка!

А лепестки, словно снег,
С вишни осыплются вниз...
Слиты мгновенье и век:
Время... цветение... жизнь.

ОЛЕНЬКА КАЛАШНИКОВА

В имени теплятся свечи.
Над лугом, притихшим вдали,
Стал ветер свежее и резче,
Туманы уже отошли...

Но радость, как день, убывает,
Морщинка легла вдоль чела,
И снова кольнёт, оживая,
Любовь, что как будто прошла.

Те звёзды сияли недолго
Сиреновой юной весной.
Она, черноглазая Ольга,
Была лишь его крепостной.

Но метку на сердце оставил
Ожог непонятных светил...
И сын их единственный, Павел,
Недолго на свете пожил.

А Ольге — желанной, любимой —
С немилым-то жить каково?
И вздрогнул Поэт... Словно дымом
Подёрнулись очи его...

А листья, как дни, улетали,
Кричали над ним журавли.
Но в памяти вспыхивал сталью
Осколок далёкой любви.

И в час его жизни прощальный,
Пред тем, как душа отбыла,
Тот образ, покорный, печальный,
Неслышно вздохнул у чела...

ЧЁРНАЯ РЕЧКА

Невесёлый бег коней.
Лес чернеется вдали...
Бьются мысли — всё о ней:
Натали, Натали...

Рядом чёрный человек —
Боль лихая и беда.
Отогнать — иль лечь на снег
Навсегда, навсегда.

Жутко грянул пистолет,
Александр на снег упал.
Что же выстрел твой, Поэт,
Запоздал, запоздал?

— Что, Данзас, нахмурил бровь?
Вот и всё?.. Кончен век?..
Застывая, каплет кровь
Алой вишенкой на снег.

ЛЕРМОНТОВ. ПОСЛЕДНЯЯ ДУЭЛЬ

Пролётка спешит, как судьба, по отлогому склону,
То вниз, то взлетая по горной дороге кривой.
Июльский нахмурился день пред грозой раскалённой,
И сыплют деревья, как осенью, жёлтой листвою.

И солнце багряное с неба спускается ниже.
Как яростно ал, будто щит боевой, его круг!
А кони спешат... С каждым шагом становится ближе
Гора роковая с названием вецим: Машук.

Уж всё решено... И намечено место дуэли,
Огонь его жизнь оборвёт, будто слабую нить.
Как страшно, что мчится свинец к точно заданной цели,
Как больно, что нам этот путь не дано изменить!

И боль польхнула в груди окровавленным комом,
И ангелы душу его к облакам понесли.
И охнул июль над землею заоблачным громом,
Как звук Бородинского боя в далёкой дали.

А дождь поливал... Неподвижный, покинутый всеми,
Лежал онемевшей России великий Поэт.
Рыдало в горах почерневшее небо, и Время
Над ним зажигало бессмертья немеркнущий свет.

ВЕЧНЫЙ ПАМЯТНИК

*И на скале, замкнувшей зыбь залива,
Судьбой и вётрами изваян профиль мой.
М. Волошин. «Коктебель»*

Ах, Россия... Судьбой положено:
Дышит будущее — во мгле.
И сияет профиль Волошина
Ветром времени — на скале.

Век двадцатый... Заря кровавая...
Но мужал его крепкий стих.
Знал Поэт своё дело правое —
И молился за тех и других.

Польхали огнём пожарища,
Алой кровью текла вода.
А стихи его знали — «товарищи»,
И читали их — «господа».

Он не прятался в мутной замяти,
Не стрелял по своим во мгле,
И за то ему — Вечный Памятник
Дан Природою на земле.

Мчит Россия конём взъерошенным,
Окровавлен трёхцветный флаг.
Горько смотрит профиль Волошина,
И молчит гора Карадаг.

НА ВЕЛОСИПЕДЕ ПО КОЛОМНЕ

Сияют очки, как на солнце колёса,
Звонок дребезжащий не смолкнет никак.
На велосипеде, как ветер, пронёсся
Весёлый, игривый, задорный Пильняк.

Весна и знамёна над бурной Россией,
Эпоху, как плёнку, не пустишь назад.
И рыжим костром его кудри лихие
Летят... Гимназисток робеют глаза.

А он только ловит смущённые взгляды,
За шутками слыша девчоночий смех,
Бугрит мостовая... Да, видно, так надо:
Такой у него — и России — разбег!

Напишет строкой необычной, как время,
И канет во времени — юный, живой.
Запомнят его вековые деревья
Да старьёй булыжник седой мостовой.

А где-то под залпами падают люди.
И горькая выпала доля ему.
О, сколько в России талантов убудет —
Сгорит и провалится в вечную тьму!

Над ними на кладбищах шепчут деревья,
Молитва под небо летит, высока...
А в древней Коломне клубятся поверья
И птицей проносится тень Пильняка!

АХМАТОВА В СТАРКАХ

Тишиною наполнился вечер
У церковных обветренных стен.
Благодатью заветной отмечен
Древний берег, что чужд перемен.

И как будто видением странным
На закате вечерней порой
Снова бродит Ахматова Анна
Москворецкой высокой тропой.

Жар сменился дыханием росным,
И собрались над волнами вод
Вековые песковские сосны,
Словно рать — в Куликовский поход.

В этом летнем покое окрестном
Ты, пожалуй, поверишь едва,
Что в чуме бесконечных арестов
По ночам догорает Москва.

А во флигеле княжеском — снится:
Жаркий полдень у Пятницких врат,
И Маринкиной башни темница,
И рябой пильняковский Арбат...

И ложится в напевную память
В перехлест наших дней и веков
Ароматное пряное пламя —
Обагрённый шиповник Старков!

ВАЛЕРИЮ КОРОЛЁВУ

I

Были радости, были беды
В перестроечной кутерьме.
Наши дружеские беседы
Часто видятся мне во сне.

Мы, Валера, летим с тобою —
Догонять журавлиный клин...
В небо вешнее, голубое
Ты ушёл без меня — один.

Ты — в обители вечной, новой, —
По земле там не тосковал? —
Помнишь крепкий чай «трёхслоновый» —
Как он души нам согревал!

Захожу я в своё жилище,
Не спеша зажигаю свет.
Будто сердце кого-то ищет,
Друга ждёт... А его уже нет.

А раскроешь твои страницы,
Точно дверь в окоём живой —
И надежда сверкнёт зарницей —
Словно слышу я голос твой.

Недокуренной сигаретой
Вешний вечер вдали погас...
Будто взглядом твоим согретый,
Жду улыбку знакомых глаз.

Эх, Валерий... Года лихие,
И неведомо, что нас ждёт...
Ты молись, молись за Россию —
Может быть, Господь и спасёт.

II

Я помню: май за окнами расцвёл.
Плыла заря, по-летнему алая.
А ты, мой друг, в небытие ушёл —
До первого не дожил юбилея.

Текла беседа. Души грела нам.
Казалось: мы летаем над Россией.
Но ты один поднялся к небесам,
Да и остался в их далёкой сини.

Стал вешний день на сумерки похож,
А ты ушёл в цветущем ярком мае.
Всё вижу: вот — в фуфаячке идёшь,
Тоску полей всем сердцем принимая.

Какая даль нам виделась во мгле,
Какие встанут впереди рассветы? —
Как без тебя родной твоей земле,
В твоих твореньях много раз воспетой?

АБАКУМОВСКИЙ ФЕВРАЛЬ

Умыта ветром солнечная даль,
А снег — как холст разостлан придорожный.
Сегодня — абакумовский февраль,
Нам словно улыбнулся сам художник.

Шумят ветра у птиц над головой,
Тревожа дали трепетными снами.
И кажется, что Мастер — здесь, живой,
Коломною проходит вместе с нами.

Его рябины снова ждут весны,
Озябшие персты на солнце грея,
И будут жить, на холст нанесены,
Не увядая, вечно не старея.

Асфальт подсохший солнцем разогрет,
Ручьёв и птиц струятся отголоски.
Что ж, Абакумов был большой поэт
Провинциальной красоты неброской.

Мазки его — что ливень грозовой:
Когда прольётся благодать на землю,
Наш город глянет звонкой красотой
С его холста, церковным гимнам внемля.

Не торопитесь от его картин
В тот мир, где сердцу суетно и пусто.
Весь этот праздник создал он один,
Но нет его... И днём весенним грустно...



Карина Сейдаметова

Карина Константиновна Сейдаметова родилась на волжской земле, в городе Новокуйбышевске Самарской области. Именно здесь впитала живительную силу «Волжской Вольницы», жигулёвских красот. Предки поэтессы по бабушкиной линии — уральские казаки, по линии деда — крымские татары.

В 2014 году окончила Литературный институт им. М. Горького. Автор поэтических сборников «Лазурь», «Позимник», «Соборный свет», а также многих публикаций в журналах «Наш современник», «Роман-журнал XXI век» и других. Член Союза писателей России. Основные темы творчества — Русский Север, казачество, восточные мотивы и православные традиции.

Живёт в Коломне.

СОН-ТРАВА

* * *

Новокуйбышев. Бабушка Анна.
Душный август... Прости-прощевай,
Край охранный мой, обетованный,
Вспоминай обо мне, вспоминай!..
Край наследный мой — мир соколиный,
Мой неожиданно-негаданный рай.
Домик в листьях отцветшей малины,
Блик остатнего солнца вбирай!
Может, мнится мне, как барабанят
По залатанной кровле дожди
Иль меня окликает бабаня
Дробным сердцебиеньем в груди?..
Иль туман-атаман Стенька Разин
Снова губит княжну на реке?..
Край соколий, не чувствуешь разве,
То заря-кровяница в строке
Иль студёная Волга-водица
Всё целует заплаканный клён?..
...Ночью что только нам не приснится!
Тихий мой новорожденный сон...
Это чувство вины запоздалой
(Вспоминай меня, край, иногда!) —
Осознать ценность родины малой,
Покидая её навсегда.

* * *

«Август яблоком пахнет. Август хлеба припас.
Зазвенел по округе спелый Яблочный Спас
Белозарной грозой, виноградной лозой,
Раннеутренней ознобью, росной слезой.

Августовская жатва — на столе разносол,
Урожай, как на царский имперский престол.
Если солнце согреет, вода охладит,
Август — месяц щедрот, на плоды даровит!

Не — зевай и голодным до зимней поры
Ты не будешь, собирая трёх Спасов дары.
Не печалуйся в август, оглядывай льны,
Если осень близка — далеко до весны...»

...У народных пословиц премудрость своя:
Издалёка земная вела колея
К ним глубокий ручей, устремлённый в поток
Изначальных речей, русской мысли исток.

* * *

Это всё ничего... осторожной зимой
Пить в вагоне простуженный чай разговоров,
Если каждый глоток возвращает домой
В безвозвратно утраченный юности город.

Но его не нагнать в скоростных поездах,
И тогда упадёт, будто лоб на ладони,
Подорожное небушко на провода,
Покачнётся звезда в путеводном поклоне.

И на станции Н-ской под вскрик проводниц
Я взбегу на перрон и вдохну этот воздух,
Взбудораженный гомоном буженных птиц,
В понимающем небе — и слёзном, и звёздном...

* * *

Декоративные левкои
В чужом виднеются окне...
Москва, оставь меня в покое!
Покой... Он отмечтался мне!
В лесных оврагах медуница
И богородичный чабрец...
А здесь повсюду: лица, лица.

Модернизация, прогресс.
Хвалёны и холёны дамы,
Достопочтенны господа.
Над древним капищем реклама
Нарисовалась без стыда.
Срамною девкою уронит
Неона слёзки во дворы.
О, город горестных ироний,
Уставший от своей игры!..
О, город пробивных иллюзий,
Погрязший в сладости утех,
Ни в чём не виноватый «лузер»
Равно у «этих» и у «тех».
От пресыщенья вечно хмелен,
Презрев свой знаменный распев...
Уж лучше б ты гулял Емелей,
Желанья все перехотев!
Забывший медуницы нежность,
Ромашки скромной простоту.
...Я никогда не буду прежней,
Но это — плата за мечту!

* * *

Что внукам своим мы однажды ответим —
Ответ не готов и не нов...
Что помнят забывшие, бывшие дети
«Лихих девяностых» годов?

Взрослея до срока, подростки-подранки,
Под стадный разгром площадей
Мы помним, как двигались русские танки
На русских угрюмых людей.

На сумеречном рубеже-парапете
Последних иллюзий чертог:
Что вспомнят однажды вчерашние дети? —
Над городом пепельный смог.

Предательски памяти вспышки мелькают.
О, где ты, отважный герой?
Ужели не важно, ты Авель иль Каин,
Идущий на братский убой?

* * *

Качели, замершие в воздухе.
Что это: выдох или вдох?

Для передышки или роздыха —
Переворот, переполох...
Минувшее сомкнулось с будущим,
Ни слёз не ведая, ни зла,
И Родина, примерив рубище,
Стальной розой проросла.
И — строились идеи-крепости,
Искали перемен ветра,
Отринув незавидной крепости,
Обломки прежнего «вчера».
И всё-таки: кто мог раскачивать
Летящие из века в век
Качели Родины растраченной,
Что это был за человек?!
Мы сами породили новое,
В железно-страшный век летя,
Войны разгневанно-пунцовое
Жестокосердное дитя.
И пройдено немало, вроде бы.
Но сколько призрачных обид!..
Ветра качельные над Родиной.
...И небо Родины кровит...

* * *

Заовражъя сечь, в поле диком
Страшно так, что от боли скулы
Сводит, это грозы великой —
Нашей русской грозы посулы,
По ромашкам не нагадаю:
Смертным, нам, не потребна правда.
Волк, попавший в шакалью стаю,
Приготовься к забаве — травле.
Будут пальцев белеть костяшки.
Будет Русь от смуты больная.
Прошлым знамя алеет тяжко,
Прошлое — это страна родная?
На Болотной и на Манежной
Да на Пушкинской и Тверской
Гупо-глухо, ненужно-нежный
В век бунтарский и бунтовской,
В этом веке раздрай шакалит.
Поле дикое: заовраг.
Не суди же, когда зашкалит
На Руси ворон, морок, враг.
Мы из молний, грозы и стали.
Наш булат разрубает тьму.
Только как мы такими стали —
Хоть убей меня, не пойму!

* * *

Разворошил пчелиное гнездо.
Случайно, но, признайся, не наивно!..
Вдали от говорливых городов
В лесу дичился рой пчелиный дивный.
Эх, думки бы твои облагородить
Восходом и обжечь пчелиным ядом.
Иль на губах медком любви горчить
От жгучих трав, растущих беспощадно.
Губительно вторжение чужака,
Пусть даже в своих умыслах не злого...
Ведь в сотах жизнь рождалась на века
И стыла воском, и стекала словом.
Зачем чужой покой разворошил,
Встревожил, обездомил, обездолил?..
Мятежный рой пчелиный закружил,
По-своему карать он пришлых волен.
Жужжит-крушит всё на пути своём,
А мы вместо того, чтоб повиниться, —
Тягучий мёд любви с тобою пьём,
И нам его вовеки не напиться.

* * *

Чем грустнее родная сторонushка,
Тем к ней бережней наша любовь...
А пойдём закликать жаворонushек —
Явь столетий, крылатую новь.
Мы веснянку поём, но весна ещё
Не спешит на сторонку мою.
Лишь одни воробьишки всезнающе
Хороводятся в здешнем краю.
Погоди, скорым-скоро в проталинках
Расшалится марток-зимобор,
А пока все бока о завалинку
Лютень — снежный котейко обтёр.
Через причеты и выкликания
Растолкнётся весна у ворот,
И заклички, заплачки, предания
Нам несуетно-присно шепнёт.
Пробуждайся, родная сторонushка!
Чем теплей ты, тем сердцу милей.
Ты лети, ты лети, жаворонushка,
Над обрядовой Русью моей!

* * *

Е. Ш.

Этот день по-разному предстаёт
Предо мной — то яркой цветной колибри,
То дождём, лелеющим небосвод,
То асфальтом, что ветром досуха выбрит.
Не всегда под копирку расписан быт:
Ни угроза грозы и ни града жало,
Что вода дождевая в себе таит,
Нам ничьей победы не предвещало.
Этот день мы встречали поодаль, врозь.
Только дождь, показательно маршируя,
Шёл вдали, шёл касательно, шёл насквозь,
Моноotonно. Собранно. Не ревнуя...
На плацу из мирных времён и ссор,
На бульжной промокшей дороге рядом,
Дождь всё время глядел на меня в упор,
Словно главнокомандующий парадом.
А меня уводила опять тоска,
И я шла проигрывать ночь в бильярдной,
Оставляя шансы штабным войскам
Отнимать победы у авангарда.

* * *

*Если мы не всегда властны исполнить наше обещание,
то всегда в нашей воле не давать его.*

Пьер Буаст

А я развеян ветрами...

Гарсия Лорка

Обещанья мужские недорого стоят —
Легковесней пуха, прочней пера!
Ничего, мой хороший, ломать — не строить,
Знать, боярышнику вызреть пришла пора...
Правды — ни на грош: не сентябрь — истома.
Драгоценный мой, не продешеви:
Увлечениями ветренными влекомые
Недалече бегают от любви!
Не случайно сказано: «смерть — полушка»,
Отцветает и отгорает влёт!
И зардевшейся барынькой-хохотушкой
Осень (златозарная побирушка!),
Все плоды пособрав в подола, придёт
И упрямо посмотрит — молча, мороча,
Обметая равнины красой-листвой.

Мокнуть под дождём нету больше мочи,
...Раскидал боярышник своё узорочье —
Раскидало по осени нас с тобой.
Оправдаться неужто достанет духа?
Но, не веря обещаниям и дарам,
Пожелаю себе ни пера ни пуха,
А тебя посылаю ко всем ветрам!

СОН-ТРАВА

Близко к сердцу ретивому! Ближе — не принимай:
Вертопраховы правды, речей леденистый наст
Промелькнут по весне, убежав из апреля в май.
Прорастёт сон-трава через почву и через нас.

Чернозём пробивая велением высших сил,
Нам неведомых до холодов затяжных остуд.
...Небесами, наверно, что Бог на руках носил,
Были эти цветы, а теперь на земле растут.

Из-под снега, что землю нагую собой укрыл,
Выйдя к солнцу на свет из погибельнейших тенёт,
Сон-трава лепестками похожа на росчерк крыл
Серафимовски хрупких — в поклон до земли согнёт!

И, немолчны, услышишь пророческие слова:
«Не грусти... Отпусти... Жить позволь и сама живи».
...Сон-трава прорастает, всегда и во всём права,
Сон-трава прорастает во имя земной любви.

* * *

*Совсем не знак бездушья — молчаливость.
Гремит лишь то, что пусто изнутри.*

Вильям Шекспир

Прости моё безмолвие... Прости меня!
Октябрь. Листопад. Огонь и ярь...
Такая грусть в твоём нездешнем имени!
Как беспощаден к людям календарь!

Ведь заглядевшись в небо ртутно-серое,
Твою любовь, как боль, я приняла.
И хоть в добро давно уже не верую,
Ты не ищи в моём молчанье зла.

В земном расчёте нет небесной выгоды,
Подводных обличительных камней.
Пускай ветра твои обиды выдуют,
И внове приведут тебя ко мне.

И недомолвок облака-отметины
Разгонят во далёко-не видать.
Я на твои слова душой ответила,
Вот только не осмелилась сказать.

Сквозь частые дожди и ожидания,
Что дарит нам природа напогляд —
Любовь пробьётся сумрачным сиянием,
Каким богат золотный листопад.

* * *

Белый сокол, чёрный ворон —
Два исчадия войны.
Кто нам друг и кто нам враг? —
Нам, просившим тишины.

Даль туманную заснежит.
Полночи и полдня взвесь.
Тошно жить и злобу нежить,
Ведь судьбины не отвести!

В светлой жизни, мрачной смерти —
Розы не свежее ран...
Вона как крылами вертят,
Смерьте гнев, гордыню смерьте,
Белый сокол, чёрный вран!

Чтоб в бою и на гулянье,
Побеждая непокой
Постоянством, покаяньем,
За терпенье — воздаянием,
Брезжил свет в душе людской!



Ксения Нагайцева

Ксения Анатольевна Нагайцева родилась в Коломне. Училась в 9-й и 12-й школах. Параллельно — в музыкальной школе имени А.А. Алябьева по классу фортепиано. В 2013 году окончила Московский государственный лингвистический университет. Окончила воскресные курсы литературного мастерства при Московской городской организации Союза писателей России.

Стихи пишет с детских лет. Имеет множество наград, в том числе Гран-при литературного конкурса за фантастическую повесть «Пятое измерение». Выпустила две книги стихов: «Я влюблена была...» (2010) и «Земля на листьях...» (2015). Занимается поэтическими переводами на испанский язык. Печаталась в еженедельнике «Литературная газета», в альманахе «Золотое руно», в международном журнале «Золотая площадь». Член Союза писателей России.

ТЫ ПОВЕРИШЬ

* * *

Мой город ясен и так тонок,
Как очертания строки.
И солнца падает осколок,
Как будто бы с твоей руки.

Ты интересен мне, как эти
Преодолевшие закат
С берёз свисающие плети
На крыши раскалённый скат.

И с веток яблони, срываясь
И на лету теряя вес,
Друг с другом не соприкасаясь,
Усугубляют интерес.

Ты привлекателен, как город,
Где словно клеткою бумаг
Асфальт, бульжниками вспорот,
Не чувствовал твой лёгкий шаг,

Где поездов гул так же слышен,
Как ветер в воющей трубе,

И будоражит спелость вишен,
Как будто знает о тебе.

Ты был вчера ещё так близко.
Сегодня — мы разлучены.
И, как предсмертная записка,
Стихи правдивы и точны.

Но день вчерашний не окончен:
Чуть разомлевший от жары,
Он яблочной тоскою сочен,
И портит кровь, как комары.

Лишь потому у ручки двери
Такая видится мне дрожь,
Что вопреки разумной вере
Ты, кажется, сейчас войдёшь.

* * *

Но бесценно всё то, что случилось сейчас.
И я чувствую это до кончиков пальцев,
Словно сердца влюблённого каждая часть
Забирает себе это имя страдальца.

И берёт на себя все твои имена,
Не придуманные — настоящие,
И возрастают вверху белых звёзд семена,
Никогда и нигде ни о чём не скорбящие.

Но проходят года, и проходит число,
Возвращая судьбу на привычное место.
И спускается сверху ночное весло
В город топкий и вязкий, как чёрное тесто.

Не явился никто мне по зову трубы
Этой осенью, скрывшей чужую нетленность.
Белых звёзд семена прорастают в дубы,
Придавая любому моменту — бесценность.

* * *

Не принята одним, к другому я бежала,
И на обиды не осталось сил.
И насмехаться над собой не запрещала,
Когда он равнодушием губил.

А тот, второй, стал также безразличен
И даже зол в морозности своей,
И от другого — стал лишь только
Тем отличен,
Что был приятен гордости моей.

Бросалась, словно птица
В жёсткой клетке,
Ломая оперение крыла,
И, в памяти порывшись чёрной сетке,
Любовных оправданий не нашла.

Но память всё никак не отпускала
И продолжала дальше заставлять
Того, которого я так обожествляла,
Другому иногда предпочитать.

* * *

так сладок этот голос для меня,
и памяти мельчайшая крупца
хранит его нетронутым, и я
питаюсь им, как раненая птица:
по слогу, слову, словно — по зерну,
глотками,
каплями неутолимой жажды.
всего его по голосу верну,
раскаившись не трижды и не дважды,
есть много голосов вокруг, но лишь
услышу этот голос, всех вин слаще,
кому покорны шум, покой и тишь
— кто в прошлом был любим
и в настоящем.

и в будущем начнётся новый день,
когда заговорит со мной... и ранит,
промчится словно призрак,
словно тень,
и вот тогда души во мне не станет!

* * *

Сегодня ночью он мне кажется,
Как будто чувствую его,
И сердце с беспокойством свяжется,
Не понимая ничего.

Уйдёт бродить одно по городу,
Искать его высокий дом,
Отдав тепло ночному холоду.
Не остановится на том:

Пойдёт по страшным чёрным улицам
Искать укравшего его
И от волнения ссутулится,
Не находя там никого.

И спросит мимо проходящие
Другие встречные сердца:
— Где тот, чьи речи шелестящие
Возможно слушать без конца?

Где человек, чей взгляд печальный
Стал волновать и страстью жечь?
От встречи с ним, меня смущающим,
Кто мог тогда предостеречь?

И заблудившись ночью скованно,
Сдержав рыдание своё,
Упало сердце, болью сломано,
Уже как будто не моё.

* * *

Люблю! и не вижу границ и запретов.
Для счастья не может быть узких границ,
А в воздухе тают весенних секретов
Обрывки, бросаемы стаями птиц.

Дышу, нарыдавшись, и всё понимаю.
И пусть до сих пор не коснувшись плеча,
Он всё ещё думает, что я не знаю,
Что он уже знает, как страсть горяча.

Что я выжидаю с упорным вниманьем,
Как будто бы губка, впитав каждый жест,
Потом продолжаю жить воспоминаньем
И рада тому, что столь сладок мой крест.

И утром прохладным, домой возвращаясь,
Когда переулки пусты и тихи,
Я слушаю, как окрылённость, сбиваясь,
Читает о нём золотые стихи.

И сердце от трепета нежного тает,
И льётся весны первозданная лесь.
Я всё ещё думаю, что он не знает,
Что мне нужно знать только то, что он есть.

* * *

Впервые в жизни прозвучало
Оцепенение в словах,
И вижу, как затрепетало
Прощанье — солью на губах,
И треугольник проявляет
На синеватом рукаве,
И взгляд так бешено блуждает
По этой чёрной голове.

Впиваясь в каждый жест, ужимку,
В его способность покорять,
Готова каждую морщинку
Нежнее солнца целовать.

Но он спокоен и не знает,
И наблюдать осталось мне,
Как луч лиловый жарко тает
На обожаемой спине.

Потом лететь сквозь чьи-то лица,
В глубины города бежать,
Ладоням дать в пальто укрыться
И приказать им не дрожать,
О безысходность спотыкнуться
И, опьянев, в Нескучный сад
Зачем-то вечером вернуться,
И долго плакать у оград.

* * *

Мой дом покинут мною до утра,
И за ночь эту может так случиться,
Что наша заснежённая дыра
В столицу всей вселенной
Превратится,
И может так случиться, что рука
Твоя моей намеренно коснётся,
И двух теней безликих с потолка
Разъятие в единство обернётся.

Но, видимо, провинция вновь лжёт,
И в памяти ноябрьских уловок
Ни с кем меня опять подстережёт
На красном перекрёстке остановок,
Куда бы приходила неспроста,
И всё ещё стремлюсь в любую осень.
Отныне моё имя — нищета,
Которую ноябрь всё же бросил.

* * *

Любовь моя за несколько часов,
Составивших возлюбленную ноту,
Берёт тебя под бережный засов,
Впадая в предвечернюю дремоту.

Любовь моя! за много городов,
Которые сейчас пересекаю,
На стане придорожных проводов
Я ноту эту жду и предрекаю.

Дремота перейдёт в тяжёлый сон,
А может — в оглушительную бодрость,
Но нотный станет стан,
Как долгий стон,
Дорожную растягивая робость.

Любовь моя! дремота глубока
Среди дорог,
Разлукой измождённых,
И нота, что ты взял, так высока
Для сложных песен
Или усложнённых,
Но пальцы очень быстры и легки:
«Недосягаемой»
Твоя зовётся степень,
И нетерпение ложится на виски,
И жалит нота,
Как полночный слепень,
И тянется разлука на пути,
Возлюбленную нотой отвечая:
Люби меня, люби и не грусти.
Любовь моя, я бешено скучаю!



Михаил Михайлович Болдырев родился в 1950 году в посёлке Погиби Сахалинской области. В 1971 году окончил Сахалинское мореходное училище. Работал на судах рыболовного и торгового флота. С 2009 года живёт в Коломне.

Стихи пишет давно. Основное направление в творчестве — лирика.

В новых стихах Михаила Болдырева — неспешные раздумья о минувшем, впечатления от своих путешествий, любование красотой неяркой нашей среднерусской природы. Автор принимает жизнь, как она есть, — не приукрашивая ничего, не романтизируя излишне. Для Болдырева хорошо любое время года. Но больше всего — искренне, влюблённой душою — он рад приходу Осени.

АКВАРЕЛЬ ВДОХНОВЕНИЯ

НЕВЫСКАЗАННОЕ

Туман знобит поля глухие,
Небесно светят васильки.
«Как недолюблена Россия», —
Прошепчут ветру колоски.
Как недоласкана от века
Твоя исконная краса,
И потому псалтырь по рекам
Читает грустная звезда.
Строжатся образа святые,
Где пахнет порохом пальто,
Где, кровью сдобрив мостовые,
Любить учили подлецов.
И пусть кому-то в масть Европа,
А тем Америка — восторг,
Лежит в затерянном окопе
Под Ельней русский паренёк.
И всё, что он нам не поведал,
Недоласкал, недолюбил, —
Сияет солнечною медью
Над безымянностью могил.

МОЕЙ ОСЕНИ

Поэты в грусть тебя оденут,
Художник — в яркую парчу,
А ты, обманщица богемы,
Прижмёшься к моему плечу.
И знаю я, что будет тайна,
Когда в тумане от реки
Взметнутся к небу лёгкой стаей
С призывным свистом кулики.
А ты, с глазами рыжей масти,
На яблочный налив шепнёшь,
Что за ноябрьским ненастьем
Ты на окне моём умрёшь.
Но знаю я твои причуды,
С цыганской ловкостью обман,
Когда под вьюги пересуды
Вино твоё налью в стакан,
Ты будешь рядом тенью лёгкой,
В окне качнёшь звезды свечу,
И снова, ловкая плутовка,
Прижмёшься к моему плечу.

254

МИХАИЛ БОЛДЫРЕВ

ПРИГОВОР

Мне гореть на костре твоём, Осень,
За крамолу и вольницу слов.
Ветер свой приговор произносит
С медной песней цепких оков.
Ты мне брось это небо на плечи,
Душу греет холодная синь,
Я тобой был с любовью повенчан,
Что плутает среди грустных осин.
И глядит одиночества прорубь
В мои хрупкие, звонкие сны,
Где клюёт зёрна радости голубь
Из ладоней лукавой весны.
Потому я, с душою бродяги,
Промотал твой купеческий скарб
И разбойной, вьюжной ватаге
Был любимый и преданный брат.
Мне гореть, не жалея о прошлом.
Мне гореть, его робко любя.
Я, как жребий, судьбою подброшен
Над осенней песней огня.

СТИХ ОЖИДАНИЯ

Зима напишет белые стихи,
А мне читать их в толчее бессонниц.
Заплачут в них забытые грехи
По-волчьи у заснеженных околиц.

И голоса в морозном полусне
Вспугнут озябшую ворону.
Забудет месяц на моём окне
Свою холодную корону.

И будет так — неповторимо:
В изломах улиц — таинство времён,
Где я брожу уставшим пилигримом,
Стихом твоим укрывшись, как плащом.

И вижу я за новым поворотом,
Как звонка грусть неузнанных мадонн:
Фонарь, склоняясь, с покорностью холопа
Им отдаёт по вечерам поклон.

Твой стих, Зима, классически изыскан,
Но топчут люди чуткие листки.
И подворотня, словно скандалистка,
Облает их за приступы тоски.

С ЛЁГКОЙ ГРУСТЬЮ

Как ложились под косы луга
В изумрудном тумане рассвета!
Золотые кивали стога,
Оседлав раздобревшее лето.
На покосе кричал мне отец:
«Эй, гулёный, — пятки подрежу!
Ой, смотри, полуночник, стервец —
Из-за девок тебя порежут!»
Только вечером — клёши-штаны,
Сдвинув кепку, чтоб выглядеть круто,
На глазах у заречной шпаны
Уводил я на речку Анюту.
И, несмело обняв за плечо,
Я читал ей Шекспира сонеты,
И звезда трепетала свечой
На серёжках у сельской Джульетты.
И когда, возвращаясь домой,
Бился в кровь я за девочку эту —
За мою стояли спиной
Все влюблённые насмерть поэты.

ПРОСТИ, ПАРИЖ

Я влюблён в эту лёгкую тишь,
Что над музыкой дней уходящих.
Растрепались дожди про Париж,
Где поэт — это значит пропащий.
Там девицы с бульвара Клиши
Зарифмуют любовь мимоходом,
И в потёртую шляпу души
Бросит мелочь рука сумасброда.

Только что мне унылый ваш трёп —
Не нужны мне парижские шашни,
Когда вечер ложится на лоб
Молчаливых коломенских башен,
Когда сердце бьётся в стихах,
Словно узник, закованный в клетке,
И припрятал на случай монах
Для души уходящей монетки.

Я влюблён в эту лёгкую тишь,
Что хранят по церквушкам иконы.
Ты, Париж, я надеюсь, простишь:
Знать, не быть у тебя мне с поклоном.

НЕ СТОЯЩИЙ ГРОША

Когда зимы растает след,
Тепло вдохнут на солнышке берёзы,
С небес спускается поэт,
Уставший от холодной прозы.

И город будет радостно глядеть,
Как он идёт вдоль улиц, не спеша,
И на листках тоскующих газет
Черкнёт стишок, не стоящий гроша.

И, что-то напевая про весну,
Он сядет без оглядки в электричку,
Чтоб поломать метельную тоску,
Как отсыревшие ломают спички.

ИЗ ИЮЛЬСКОЙ НОВЕЛЛЫ

Там недосказанную нежность
Для нас таит вечерний сад:
Сквозь веток лёгкую небрежность
Струится на крыльцо закат.
По тропке девушка спустилась
К реке, халатик скинув с плеч,
И тело робко золотилось,
Как образ от сиянья свеч.
И, словно ангел, скинув крылья,
Она вошла в истому вод.
И нет прекраснее идилий:
Июль, река — и в ней плывёт
Апофеоз любви и страсти,
Ночей грядущих грешный зов.
И нить жемчужин на запястье
Сверкает тайной летних снов.

ПО ТРОПИНКЕ К ЛЕРМОНТОВУ

Ветер, вечер, дождь нагринул...
— Господа, пора начать! —
Секундант, а может, дьявол
Стал судьбой повелевать.
Жизнь свелась к незримой грани —
Тоньше лезвия клинка,
Никого смерть не обманет:
Ни царя, ни мотылька.
Помнишь? — Бросили монетку:
Решка — едем в Пятигорск.
Эх, сломалась бы карета! —
Всё, глядишь бы, улеглось.
Не уляжется... В затылок
Смотрят зависть с клеветой,
С ядовитостью улыбок
И со светской мишурой:
Больно дерзок малый этот,
Непочтительно остёр...
И придумают поэту,
Подло, смертный приговор.
Ты же знал, ты сердцем чуял,
Вороной туманя взгляд,
Как враги, в душе ликуя,
Над тобою загадят.
Будут, охая притворно,
Рассыпать посмертно лезть,

Только им страшной позора
Строк твоих священных месть.
Вечер, ветер хлопнул дверью,
За порогом мокнет мгла...
Повенчалась Русь с дуэлью
И тебя не сберегла!

СТИХИ НА МОЛЬБЕРТЕ

*Памяти народного художника
М. Абакумова*

Опять весна твои украла краски,
Сбежала в Старый город на пленэр,
А значит, день не пролетит напрасно,
И просветлѐн до каждой ветки сквер.
Изгиб реки — счастливая подкова,
А по лазури — лебедем собор.
И всё твоё, и всё, как прежде, ново:
Восторг садов и разопрѐвший бор.
Опять весна, опять её забавы:
Лугов заокских брызнет акварель,
И девушек, загадочно лукавых,
Весѐлых улиц кружит карусель.
И кажется — ты вышел ненадолго
Из мастерской с улыбкой встретить день,
Где светится невестой-недотрогой
По-абакумовски небесная сирень.



Наталья Красюкова

Наталья Николаевна Красюкова родилась в городе Коломне. Окончила филологический факультет Коломенского государственного педагогического института. Стихи Натальи Красюковой лиричны, музыкальны, наполнены искренним чувством. Новая подборка её стихов — о любви, возвышенной и тревожной.

Наталья — дипломант Международного фестиваля им. М. Ю. Лермонтова «Осень в Тамани» (2010), лауреат Всероссийского фестиваля авторской песни, прозы малых форм «Господин Ветер» (2010) и др.

Публиковалась в журналах «Москва», «Студенческий меридиан». Постоянный автор «Коломенского альманаха».

Живёт в Коломне.

И БЫЛА СКАЗКА

* * *

Шагни босиком на песок африканского пляжа,
На смуглую кожу пролей позолоту лучей.
Пусть синей собакой у ног твоих маленьких ляжет
Волна океана, носившая древний Ковчег.

Смотри, как усталость следов заполняется солью,
Как блещет на солнце осколками звёзд перламутр.
И та же вода, что была над землёй Мезозоя,
Ждала тебя тысячу лет и нашла тебя тут.

Есть люди, у них за душой — ничего, кроме света.
Их песни просты, как изгибы кокосовых пальм.
Всё глубже уходит вода, омывая планету,
Ты будешь искать и однажды найдёшь меня там.

Дыши океаном, пока не отыщется берег,
Где лунные блёстки лежат на песке в полусне.
Я знаю, что может быть всё, если ты ещё веришь
В язычество древней воды, мой родной Одиссей.

* * *

Растёт у месяца живот,
Апрель на середине.
Мне так тебя недостаёт,
Что я слегла с ангиной.

Поговорить — и то нельзя,
Нет голоса. И всё же
Тыходишь, словно бы озяб,
А сам горишь под кожей.

У возвращенья твоего
Нет времени и места.
И я не верю в волшебство,
Но вдруг — взлетаю с кресла!

* * *

Март пополам. И не сны, а одна окоlesiца.
Мне от тебя ни слова уже два месяца.
Да и самой писать — как-то не пишется,
Словно слова между нами стали вдруг лишними.
Словно бы кто-то решил, что сказка домучена,
Что по отдельности будет гораздо лучше нам.
Я обрезаю косы — как наше прошлое,
И под периной не чувствую больше горошины.

* * *

Что на плечах твоих? То не монгольская пыль
Стёрла с узоров цвета на походном плаще.
Я наклоняюсь к тебе, как под ветром ковыль,
Только ещё покорней, ещё горячей.

Долго ли будешь помнить измятой травы
Неуспокоенный и одурманивший нрав?
Что тебе слышится в звуке тугой тетивы,
Звёзды спускающей тлеть на степной рукав?

Что тебя гонит скитаться, менять коней,
Жадно топтать придорожный сухой бурьян,
Чтобы опять возвращаться к моей тишине
И, как ребёнок, держаться за сарафан?

* * *

Разбери по цветам задохнувшийся звук листопада,
Размотай до последней петли мой волшебный клубок.
Я тебя подожду, но тебе возвращаться не надо,
Чтоб не скреживать больше ни рук, ни окольных дорог.

Всё, что хочешь сказать, я услышу задолго до звука —
Будет яблоко плавно описывать блюдечный круг.
Жаль, не я на болоте была, когда выстрел из лука
Перенёс по случайной дуге мимо жизнь твою вдруг.

* * *

Лето начнётся внезапно и очень скоро:
Тополь уже выпускает из почек горечь,
И, растворяя в зелёном ознобе город,
Ветер на первой траве проверяет почерк.

После грозы, опьянев от цветущей вишни,
Новые песни придумают люди и птицы.
В окна раскрытые ночь напролёт будет слышно,
Как лепестковый снег на траву ложится.

Вы приезжайте сюда как можно скорее,
Без обещаний, условий и псевдонимов.
Может быть, в дом на подошвах ещё успеем
Горечь от почек перенести тополиных.

* * *

На Сретенье — не встретились.
Бог ли отвёл? Гололедица?
Мой календарь — как летопись:
Всё-то тебе не едется.

Тянешь до дня рождения?
Я расстилаю простыни.
Видишь, я жду, я прежняя,
Всё ведь теперь по-взрослому...

Помнишь, как ты, соскученный,
Письма писал мне с Севера?
Щёки твои колючие,
Руки твои загорелые

Снились до поздней осени.
И до Покрова, кажется,
Я всё стелила простыни.
Спать, хоть одной, но надо же.

* * *

Не утончённая, проще, я лишь исхудавшая,
Но, как Луне, возвращается прежняя цельность.
Я не оставляю себе даже прошлого нашего,
Имя которого стало писаться отдельно,
Чтобы легко, не касаясь вчерашнего родинок,
Воду живую и мёртвую тихо минуя,
Не исхудавшей, а снова цветущей и стройной
В башне уснуть и проснуться — от поцелуя.

* * *

Ангина... и запах мёда,
И быстрый горячий глоток...
Осенняя непогода
Заполнит больничный листок.

И будут в окне немывтом
Сырые узоры лип
Качаться и долго сыпать
Свой лиственный жёлтый всхлип.

Спи, город, вспотевший простудой,
В пижаме рассвета и сна.
А я перемою посуду,
Как будто совсем не больна.

* * *

Что же я о встречах да разлуках
Исписала вечера, истратила?
Думала, что просто разлюблю, как
Неудачника-завоевателя...

А теперь не в счёт ни дни, ни месяцы —
Даже цвет не важен глаз и запонок.
Жаль, что в бесконечности не вмястятся
Все переплетенья наших запахов.

Далеко ли, близко — в неизвестности
Расстояние кажется невыносимым.
Оторвись от тела и поверхности —
Только так почувствуешь, срослись ли мы.

* * *

До моей глухоты ли
Ты так долго брёл,
Что года прикармливали
Всех дорог узлы?
Как ни выгляну за светом —
Пахнет ночь ноябрём.
Не летай ко мне ястребом,
Мою речь услышь.

За льняной занавескою
Сыплет снег. А мы,
Словно глина, растрескались,
Да огонь погас.
И ни строчки, ни буквы
Поперёк зимы.
Только горюшком луковым
Всё несчастья из глаз.

Перечтёт, не поленился,
Всех отыщет заря.
А заплаканной девице
Будет в руку сон.
И уже ясноокая,
Под крылом ноябрю,
Успокоится соколом,
Потеряв горизонт.

* * *

Чем соблазнял? Салатом из огурцов!
В кухне, где до меня точно так же застенчиво,
Видя на безымянном твоё кольцо,
Были другие, тебя обожавшие женщины.

И не скрывая уже деликатных причин,
Вдруг на руках уносил до холодной простыни:
«Ну покричи, малышка, ещё покричи!»
Я просыпалась с тобой всегда безголосая.

Дальше — Москва, сто километров от
Чашки, которой губами вместе касались.
За день до звонка, как обычно, скрутит живот —
Значит, наскучили толпы влюблённых красавиц.

«Время не важно, — ты объясняешь, шутя, —
Ведь для меня никогда ничего не рвётся».
И пропадаешь с апреля до октября,
Мутной тревогой мне заслоня солнце.

Сколько ещё это будет идти вот так?
Просишь смирения, прощенья — как новой жизни.
Под огурцы допивая таманский коньяк,
«Мы не чужие, мы не чужие», — скажи мне...

ХРОНИКА

ПОГРУЖЕНИЕ В МИР МУЗЫКИ

Пятилетний опыт работы Коломенской детской музыкальной школы № 2 по обучению музыке детей с интеллектуальной инвалидностью был представлен на I Международной конференции по проблемам обучения детей-инвалидов игре на скрипке и альте.

Она проходила в городе Логроньо провинции Ла Риоха (Испания). Детская музыкальная школа № 2 Коломны совместно с Коломенским детским домом-интернатом для умственно отсталых детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с 2011 года работают над новым образовательным проектом: «Обучение детей с интеллектуальной инвалидностью игре на скрипке и музыкальной грамоте». Директор Коломенской детской музыкальной школы № 2 Ирина Ильина представила на конференции презентацию «Осуществление начального музыкального образования для детей, имеющих интеллектуальную инвалидность, в городском округе Коломна», где говорилось о том, что дети-инвалиды хотят и должны иметь возможность ходить в школу, учиться и играть вместе с остальными детьми. Осуществляя такие социально значимые проекты, педагоги делают детей с ограниченными возможностями более счастливыми, погружая их в мир музыки и искусства. Одним из важных мероприятий конференции стала мастер-класс преподавателя из Коломны Юлии Зубковой, где она показала методы работы в обучении игры на скрипке, имеющие коррекционно-развивающую направленность. Такие методы помогают обогатить внутренний мир ребёнка, расширить его представления о своих возможностях.

Надежда Николаева



Надежда Константиновна Николаева родилась в Москве. В 1972 году окончила Московский институт нефтехимической и газовой промышленности им. Губкина. Более двадцати лет проработала геофизиком в Экспедиции Первого центрального геофизического треста. После её ликвидации перешла на преподавательскую работу в Современную гуманитарную академию.

Стихи пишет с детства. Поэзия Надежды Николаевой наполнена светом, оптимизмом. Она образна, колоритна, предельно искренна. В самых простых вещах автор видит — и открывает читателю — необыкновенное, в привычном — возвышенное.

РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА

МНЕ ПОВЕЗЛО РОДИТЬСЯ

Иголочки дождя
К нам сыплются в окно,
И льнут они к стеклу,
Как маленькие льдинки.
Осенняя погода!
А в доме так тепло,
И сохнут у огня
Промокшие ботинки...
Уютно в тишине
Здесь слушать непогоду
И старый домик свой
Из детства вспоминать:
Вспорхнули из дождя
Мои ребячьи годы,
У своего окна
Стою, чтоб помолчать...
И вижу, как бежит
Девчонка-озорница —
Портфель в её руке,
Как сальто в облаках!
Ах, до чего же мне
В ней повезло родиться,
С той радостью — летать —
В восторженных глазах!

О МАМЕ

А моя мама любила броши...
И пахла вкусно — индийским чаем,
И «Беломор» курила тоже,
Справлялась как-то со мной — отчаянной!

А моя мама носила косы
И никогда не знала стрижки,
Общалась просто, без всякой позы,
А я же в детстве росла... мальчишкой...

А моя мама была снабженцем:
Олифа, краски, металл, прокатка...
И усмиряла словечки с перцем!
А я мечтала всегда... о папке...

А моя мама меня любила —
До одури, почти до обморока,
А я её... боготворила...
Теперь-то знаю, что стала... облаком...

ДЕРЕВЯННЫЕ СТУПЕНЬКИ

Деревянные ступеньки,
Двухэтажный наш барак...
Здесь скрываюсь в переменку
Я — зачинщица всех драк.

Мимолётом замечаю
Лучик солнца на стене,
Радуюсь! Чему — не знаю,
Но скорей всего — весне!

Не догоните, мальчишки!
И не ведаю я бед...
В мамой скроенном пальтишке...
Мне всего-то — десять лет...

И СНОВА ВЕСНА

Первый день весны встречаем:
Солнце звонче бубенца!
И от края и до края
Синь небесная чиста...

Ободрённый, обнадёжен
Дух нечаянных смотрин,
Конь буланый растреножен,
Поскакал по кромке льдин...

Эй, залётным своевольем
Обгоняй мороза тень!
Упоительным раздольем
Ты дыши, грядущий день...

ТЫ МЕНЯ ЗАБЕРИ, УКРАДИ

Ты меня забери, укради
У заката на краешки льдин,
И увидит лишь Вечер один:
Госпожа я, а ты — Господин!

Он волнение и робость простит:
Знает сам, как случиться могло,
Что в морозные зимние дни
Мне по-летнему стало тепло!

Для тебя нежной тайною стать,
Всё, что было не так, позабыть
И глазами неслышно сказать:
Не закончилось время любить!

Прикоснулись! Ты чувствуешь миг? —
Это волны друг с другом сошлись,
И в момент, когда мир весь притих,
Вихрем в небо они унеслись!

ОРХИДЕИ ЛИЛОВЫЕ

Орхидеи лиловые...
А луна — ворожит:
Серебристой подковою
Старый дом сторожит.
Там окошки слепые
Берегут от потерь,
Только б люди лихие
Не ломались в ту дверь.
Только б в ставни поутру
Не стучалась беда...
Орхидеи лиловые...
Как сквозь пальцы — года...

СУТКИ

Утро улыбкой взойдёт,
Свежим дыханьем коснётся,
Светом прозрачным зальёт
Мир, что душою зовётся...

День мне подарит цветы:
Розы... Шипы обрезаю!
В нём только я, только ты,
Ласточек новая стая...

Вечер, встречая, лизнёт
Псом, не жалеющим дружбы,
Звук моих быстрых шагов
Гаснет в потоке минувшем...

Ночь... Как она холодна!
Зябко поёжились плечи...
В небе вдруг вспыхнет звезда,
В доме... задуются... свечи...

СИГАРЕТНЫЙ ДЫМ

Сигаретный дым —
Выдохни колечко!
Пусть растает с ним
Непокой сердечка,

Пусть уйдёт на миг
Боль твоя и слабость,
Превратится в крик —
Отразится в радость...

Слёзы там, внутри,
Пусть подсушит вера,
Просто посмотри:
Зеленеют скверы...

И снуёт в ветвях
Беззащитно птаха.
На каких правах
Перед ней нам плакать?

ВРЕМЯ БУДТО ЗАСТЫЛО

Время будто застыло:
Не осень, не лето...
Лишь закатные тени
Резче чертят межи.
И во мне, как в природе,
Что-то тайно открылось,
И за дверцею сердце
Беззащитно дрожит.
Очертило нам Солнце
Круг, ярчайший до боли,
Из него здесь не выйти,
Можно только — не быть.
От зарубок по жизни
Остаются мозоли,
А от поздней любви
Очень хочется жить.

А ЗА ОКНАМИ НОЧЬ

А за окнами — ночь,
Мне туда выходить...
Не люблю темноту:
Я — не дома!

И прошу эту мглу:
Провода обесточь,
Дай добраться
К реке до парома...

С каждым годом короче
К переправе маршрут,
С каждым годом
Длиннее, что — сзади,

Как бы не сплеховать,
Не споткнуться бы тут,
А иначе ты жил
Чего ради?

СЛОЯМИ

Слоями путь лежит, слоями —
Накопленная жизнью грусть...
Всё то, что там случилось с нами, —
Не баламуть, не баламуть...

Пусть и лежит — хрустально — слёзно:
Свои там бьются родники...
Что было рано — будет поздно? —
Не береги... Не береги...

А свет — он есть и снова брезжит,
Струится новою волной —
Как новый мир, как мир безбрежный,
Хранимый раненой судьбой...

КРУГОВОРОТ

Этот мир наш земной —
Многоярусный кладезь...
Сколько там родников!
И фонтанами — радость,
Что в туманы плывёт,
Испаряясь, над нами.
Нам догнать бы её
За горами, долами...
Удержать и испить
В чудный миг просветленья
И слезами излить,
Воскрешая забвеньё...

БЕЛОГРИВЫЙ КОНЬ ВЗЛЕТАЕТ

Белогривый конь взлетает
Из воздушной пены.
Сверху землю озирает,
Вырвавшись из плена.

Не спеши судить, ретивый,
Ты земную долю:
Есть и здесь, где разгуляться —
По чистому полю!

Есть и здесь, где освежиться —
В росах искупавшись!
Есть и здесь, где помолиться —
К роднику припавши...



Лидия Михайловна Пышкина родилась и живёт в Коломне. Училась в специальной школе-интернате. Работала радиомонтажницей на учебно-производственном предприятии Всероссийского общества слепых.

Печаталась в журналах «Наша жизнь», «Советский школьник», в сборниках «Второе зрение», «Живой огонь», в «Коломенском альманахе».

Автор трёх книг стихов: «Черёмуховый омут» (1996), «Медное колечко» (1998), «Простите все, любившие меня» (2007).

Невозможно представить коломенскую поэзию без стихов Лидии Пышкиной. В них соединился профессионализм с описанием живой российской действительности. Никакой литературщины, никакой лозунговой актуальности. Прекрасное равновесие между формой и содержанием поэтического текста.

МАМИНА ПЕСНЯ

ДОБРОЕ СЕЛО

Там, где тишина звенит от зноя,
Где всегда спокойно и тепло, —
Как котомка за моей спиной,
Приютилось доброе село.
Я ушла оттуда поневоле
В суматошный городской уют,
Потому душа кричит от боли,
Если где-то петухи поют.
Я уже обвыклась в этом мире,
Он со мной во сне и наяву,
Но в благоустроенной квартире
До сих пор бездомной я живу.

МАМИНА ПЕСНЯ

Годы, знай, летят себе упрямо,
Жизнь идёт сквозь время напролом.
Мне бы песню — ту, с которой мама
Начинала праздник за столом.
И за ней душевно и спокойно
Запевала вся моя родня:

«Над рекою-Доном скачут кони,
бубенцами свадебно звеня».

Оттого ль, что эти кони скачут
Пред вечерней степью голубой,
Оттого ли, что казачка плачет
Над своею горестной судьбой, —
Только так — и сладко, и тревожно —
Обмирает сердце и дрожит,
Словно колокольчик придорожный,
Что расцвёл себе у поля ржи.

И в душе, на доньшке на самом,
Притаилось счастье у меня
Просто потому, что рядом — мама,
И поёт, поёт моя родня...

ЯНВАРСКИЙ ЧАЙ

Михаилу Мещерякову

Январь бунтует... Он, наверно, прав.
И засыпает снегом мой балкон.
А я пью чай из жарких летних трав,
И мне зима сегодня — не закон.

Бормочет что-то радио в тиши,
И наконец молчит мой телефон.
Сегодня этот вечер — для души,
И для стихов ещё, наверно, он.

Мороз грозитя покрепчать с утра.
Ну что же, если срок его пришёл.
А я пью чай из жарких летних трав,
И мне сегодня просто хорошо.

* * *

Намела зима большого снегу,
День стоит и холоден, и чист.
И глядит в окно моё, как в небо,
Прошлогодний одинокий лист.
Натерпелся он от вьюги снежной
И едва живой лишь для того,
Чтоб шершавым пёрышком надежды
Биться возле сердца моего.

ГОРОДСКАЯ ЧЕРЁМУХА

Царица сёл и дебрей сказочных,
Хозяйка хвойных теремов,
За что и кем ты так наказана —
Цветёшь среди городских домов?
Но не печалится красавица —
Цветы возносит в небеса.
Асфальт под солнцем рядом плавится,
Звонят трамваев голоса.
Она дождинку с веток сбросила,
Как будто слёзыньку с ресниц,
И спелой ягодой по осени
Накормит щедро стаю птиц.
Растёт себе, где предназначено,
И не ропща, и не спеша,
Большая, чистая, прозрачная —
Моя российская душа.

* * *

Черёмух запах снова ночь тревожит,
Опять им, белоцветным, не до сна.
Весна и осень в чём-то очень схожи,
Но только это — всё-таки весна.
Пусть дождь идёт, холодный и унылый,
И бесприютно мокнет тишина,
И кажется, что осень наступила,
Но за окном — в черёмухах — весна.

ПЯТНИЦКАЯ БАШНЯ

В Пятницких Воротах
всадники не скачут,
Не гремят подводы
в разные концы.
На прощанье чьи-то
женщины не плачут,
Жалобные песни
не поют слепцы.
Пятницкая башня,
сколько же ты помнишь
Нищих и богатых,
мирных и врагов...
На твою вершину
вновь восходит полночь
С тихих, с москворецких
древних берегов.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ПРИХОДЯТ ДОЛГОЖДАННЫЕ СЛОВА



Тревожат сердце запахи и звуки,
Черёмуховый снится аромат.
То тишина распахивает руки,
То вдруг вдали трамваи зазвенят.

А для Поэта — всё на свете ново:
И осень, и сияние весны,
И удаётся переплавить в Слово
Своей души восторженные сны.

Из глубины — из потаённой самой,
Где память детства до сих пор жива, —
Из той непозабывтой песни мамы
Приходят долгожданные слова.

Татьяна Башкирова

Неразрывно связано с коломенской поэзией имя Лидии Пышкиной. В её стихах — тишина звенит от зноя, осень пахнет мочёной антоновкой, весенняя черёмуха струит своё дыхание...

На страницах её книг раскрывается удивительный мир звуков, запахов, ощущений. И волнует и радует он читателя.

С юбилеем тебя, Лида! И пусть почаще в твою дверь стучится Муза с новыми стихами!

Коллектив редакции



Алеся Дмитриевна Глинка родилась в Коломне в 1997 году (ровесница «Коломенского альманаха»!). Писать стихи начала с 13 лет. Неоднократная участница фестиваля «Цветы Девичьего поля», победительница международных Достоевских чтений (номинация «Литературное творчество»). Учится на факультете иностранных языков в Государственном социально-гуманитарном университете.

Её стихи, близкие жанру «фэнтези», отличаются мелодичностью, смелостью образов и чувством стиля. Они вносят в коломенскую поэзию необычную и свежую ноту.

СКАЗКИ ВОЛЧЬЕЙ ПЕРЕПРАВЫ

* * *

Послушай, волчонок! Ты слышишь, как ветер поёт?
Ты знаешь, там тени лесные танцуют во мгле.
И песни поют о дне, что для них не придёт,
И гимны слагают холодной, уставшей тьме.
Ты слышишь, волчонок? В чащобу зима пришла,
Пушистая, белая, словно твой тёплый бочок.
Ты слышишь, волчонок, как просит она тепла?
А впрочем, мне кажется. Это опал листок.

Послушай, волчонок... А впрочем, ты только уснул.
Усни. Будет мною навеян чудесный сон.
Чудесный лес, укутанный в снег, прикорнул.
Чудесный лес — для Белого зверя чудесный дом.

* * *

Ты слышишь? Нет, это не ветер завыл за стеной,
То — наши стенания, призраки наших утрат.
То призраки братьев, теней, не нашедших покой,
Что серой стеною у окон закрытых стоят.

Ты чуешь? От крови волков не укрыться вовек,
Она не сотрётся и сотнями предков-людей.
А ты всё не веришь, твердишь нам, что ты — человек,
Признать не желая неизбежность правды теней.

Мы — тени волков, и наш край — заповеданный Лес.
Ты слышишь наш вой — оглянись, отвечай на него!
Мы — тени волков, наши судьбы — священная вещь,
Ведь зов нашей крови и верность — превыше всего.

* * *

В ночи разожгу огонь,
Призову восемь буйных ветров,
Заговор прочитаю на сон,
Чтоб никто не услышал слов.
Среди пряных, дурманных трав
Лунной пряжи клубок распушу.
Загустеет туман, как взвар,
Путь останется лишь по лучу.

Видишь, вспыхнул ночной костёр.
Ты иди в заповедный край.
Там, среди бескрайних лесов,
Я развею твою печаль.
Я замкну обережный круг
И касанием сброшу боль.

Только ты среди древних рун
Вряд ли зов прочитаешь мой.

* * *

Мы распродали всё — верность, честь и былую славу,
Разменяв на гроши. Ничего больше нет за душой.
Мы — не дети богов, потеряли на имя право,
Был растоптан наш стяг, а тела обратились травой.

И во что превратились мы? Я растратила дар и слово,
Шкура брошена за сундук, заклинанья горят в огне.
Ты ушёл, пошатнув мой мир и почти поломав основы.
На пороге лежит амулет, мною подаренный по весне.

* * *

Мама, я не волчонок —
Давно не ношу я шкуру.
А ты всё зовёшь спросонок,
Отца вспоминаешь хмуро.

Мама, меня ведь нету,
Давно — не живой и не мёртвый.
На зов не могу ответить —
Всё там же, в крови простёртый.

Мама, прошу, не терзайся,
Себя не кляни, не надо.
Майскому волку в сугробах маяться,
Чуять сети в осенних засадах.

Мама, я ведал с рождения —
Наше время быстро закончится.
От тебя уходил с сожалением,
Оставляя тебя в одиночестве.

Мама, не плачь, пожалуйста,
Уж теперь-то я буду рядом.
Такие, как я, в тенях прячутся,
Укрываются снегопадом.

* * *

Здравствуй, мой князь,
Но лучше — прости и прощай.
Надежда погибла —
Я верить устала снам.
В душе моей ветер седой
Песни веет, прядёт печаль.
Я верить тебе устала,
Устала внимать словам.

А ты всё манишь меня
Обещанием скорых встреч,
Просишь лишь подождать:
«В этой жизни исправим всё!»
Но над миром, увы — метель,
Только холода колкий меч.
В моей комнате — дым тоски.
И никто сюда не придёт.

* * *

А в лесу заповедном — туман,
Да над капищем пепел — взвесью.
Вспомни, как польхал огонь,
Да как дым удушал людей.
Там, где жили когда-то мы,
Серый ветер выводит песню.
Позабыв имена богов,
Мы не слышим крови своей.

* * *

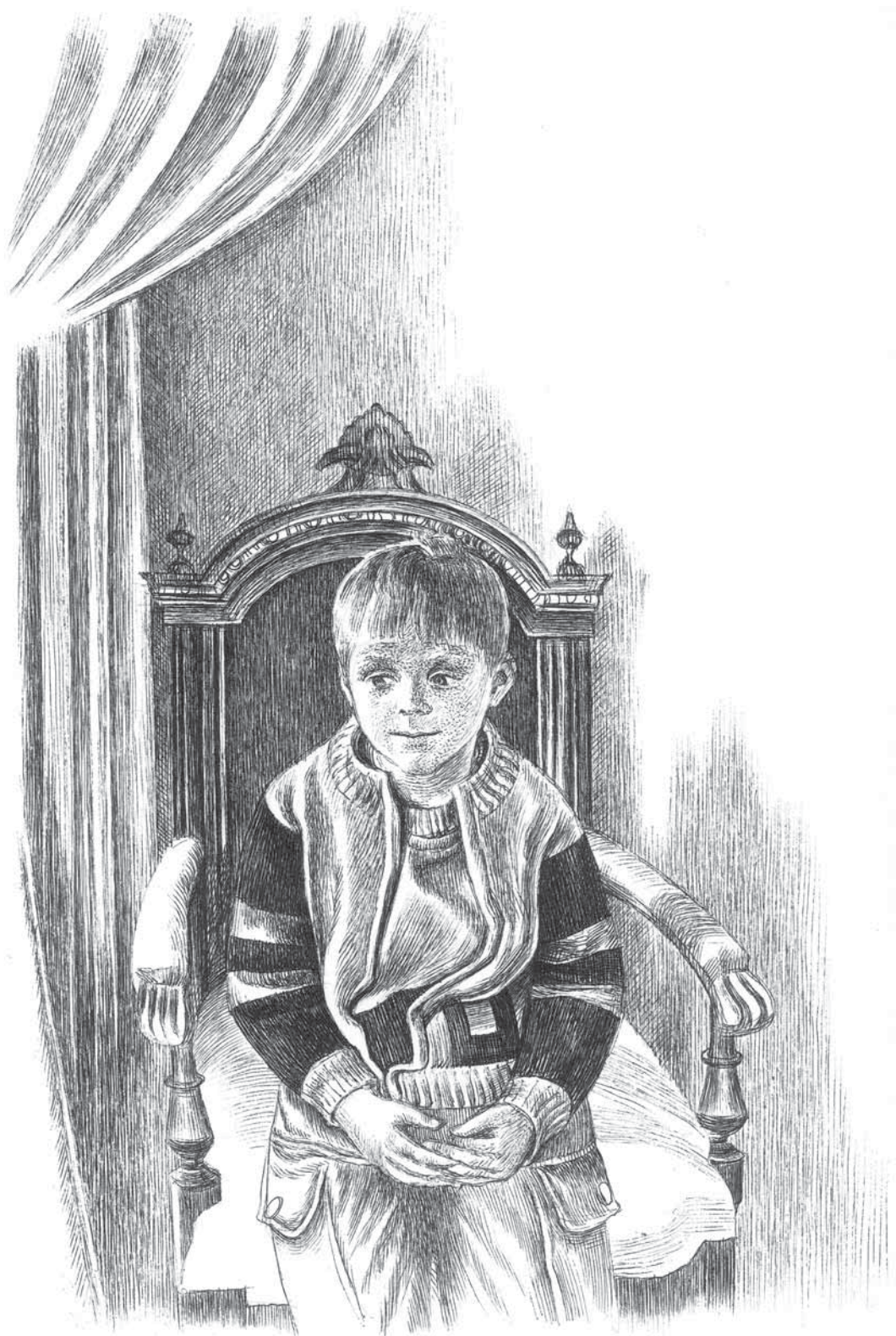
Год замкнулся, и шкура уже приросла.
Научились не верить словам и чують,
Беспристрастно судить и смотреть на дела,
На людей своё время не тратить впустую.

Драгоценней всего теперь — верность и честь,
Прочь ступай, коль не можешь всё молвить честно.
Вспоминаются прошлые клятвы... А месть
Потеряла свой смысл. Значит, станет в дороге легче.



Театр





Графика Василины Королёвой



Галина Константиновна Горчакова родилась в Ленинграде. Вскоре с родителями переехала в Горький. Окончила историко-филологический факультет Горьковского государственного университета. Работала в многотиражной газете Горьковского политехнического института, на Горьковской областной студии телевидения, заведовала отделом в газете «Коломенская правда», была заместителем директора—главного редактора Коломенского информационного агентства. Заслуженный работник печати Московской области. Награждена памятной медалью и дипломом Московской городской организации Союза писателей России.

Очерк

Галина Горчакова

ТЕАТР КАК ЗЕРКАЛО И ТРИБУНА

Записки доброжелательного зрителя

В обживалась в Коломне, когда на сцене Коломенского народного театра тепловозостроителей (КНТТ, именно так он тогда назывался) шли «Три сестры» Чехова, «Ревизор» Гоголя, «Уроки музыки» и «Три девушки в голубом» Петрушевской, «Виктория» Червинского, «Зинуля» Гельмана. С одной стороны, классика, сыгранная без скидок на любительский театр и провинцию, с другой — современнейшие пьесы, которые тогда были на слуху у читающей и театральной публики.

Театр живёт преемственностью поколений

О ранней истории Коломенского народного театра, которому в этом году исполняется 90, писано уже не раз, и ничего нового я не добавлю, да к тому же и пишу-то я вовсе не исследование, а всего-навсего заметки театрального зрителя, то есть описываю собственные впечатления, умещающиеся в тридцать с хвостиком лет.

Биографию свою театр ведёт от 9 сентября 1926 года, когда состоялся первый спектакль — комедия «Княгиня Капучидзе». Второй спектакль был серьёзным и заставлял зрителя размышлять — взяли пьесу Горького «На дне». В предвоенные годы ставили не только драматические произведения,



«Амилькар, или Человек, который платит». Малая сцена, 2015 г.

но и оперы: классические «Евгений Онегин», «Царская невеста» и даже «Тихий Дон» современника И. Держинского. Были таланты, что и говорить! Историю театра делали несколько поколений, и в каждом были свои лидеры. В первом — отдавшие сцене более 50 лет И. Н. Бурмистров и О. В. Бурмистрова, Н. А. Маковский, В. В. Немов, А. В. Равская.

Послевоенные годы справедливо считаются золотым веком КНТ. В это время в театр пришли московские режиссёры А. С. Лавут и М. Л. Рошаль. Премьеры были удачными, их показывали на сцене Центрального дома работников искусств, на Центральном телевидении, любительский коллектив добирался даже до сцены МХАТа: на всесоюзный конкурс представил «Бронепоезд 14–69» Вс. Иванова. Так что ему по праву в 1961 году было присвоено звание народного, одному из первых в стране.

Первой премьерой в новом звании стала пьеса «Начало жизни» Константина Финна. Об этом авторе сейчас помнят, наверное, только филологи, был он типичным представителем литературы соцреализма, свято верил в воспитательную роль искусства и искренне стремился вести за собой читателя и зрителя. Но делал это с юмором, весело и изобретательно. Пьеса была свеженькая, только что написанная, герои — молодые целинники, характеры которых крепили в жизненных испытаниях. То есть налицо гражданственность, которой театр не будет изменять ни при каких обстоятельствах. Между прочим, примерно тогда советский театр начал интересоваться частной жизнью человека, а Алексей Арбузов написал свою «Иркутскую историю».

В октябре того же 1961 года начали готовить пополнение для труппы. Студия при самодеятельном театре — это было новшество не только для города, но и для страны. Педагогов пригласили из ведущих театральных вузов — ГИТИСа, театрального училища им. Б. В. Шукина («Шуки»). Первый набор — 46 человек в возрасте от 15 до 28 лет, что, безусловно, говорит о популярности и авторитете театра у жителей. Событие примечательное, ведь студийцы этого набора составили поколение актёров,

которое отличается хорошей школой и творческим азартом. Это Геннадий Абросимов, Сергей и Лариса Зацепины, Светлана Землянская, Надежда Карасёва, Виктор и Валентина Карпухины, Николай Крапивин, Вячеслав и Надежда Кругловы, Любовь Козлова, Михаил Макеев, Надежда Пронкина, Александр Попков, Алексей Рошин, Сергей Терентьев, Татьяна Сазонова, Татьяна Смольянинова, Юлия Шафранская и другие. «Продолжение легенды», спектакль первого выпуска студии, дважды снимало Центральное телевидение (в 1968 и 1969 годах, видимо, успели до того, как автор повести Анатолий Кузнецов эмигрировал). Время творческой зрелости этого поколения приходится на семидесятые-восьмидесятые годы.

В 1975 году, это был пятидесятый сезон театра, главным режиссёром стал Николай Крапивин, тоже выпускник театральной студии. Он тогда вернулся из армии, позади был десятилетний актёрский стаж в КНТТ, а также спектакль «Доходное место», который он поставил с подачи А. С. Лавута. С режиссёрским анализом этого спектакля Крапивин и поступал в «Шуку». Ректором тогда был, между прочим, авторитетнейший Борис Захава.

К 80-м годам в активе у Крапивина уже были первый вариант «Вассы Железновой» Горького, «Трамвай “Желание”» Уильямса, вампиловские «Провинциальные анекдоты» и «Утиная охота». «Охоту», кстати, он и до сих пор считает лучшей вещью КНТ тех лет. А чего стоило им всем её поставить! Разрешена она была на тот момент только МХАТу и театру им. Ермоловой, партийная цензура супила брови: почему за положительный образец выдаётся изовраженный главный герой?

Текст пьесы достали у машинистки ВТО и начали делать спектакль о том, как жизнь загоняет в угол неординарного человека. На всех этапах работу контролировала комиссия из горкома КПСС. Показали два спектакля, разумеется, закрытых. Наконец худсовет «Охоту» принял. Но тут Олег Ковригин, московский скульптор, оформлявший спектакль, вывесил в горкоме листок с надписью: «Ура! Мы победили!» Наехала обкомовская комиссия, и дальнейшие показы были запрещены. Вернуть спектакль на сцену помог авторитет мхатовцев Олега Ефремова, Андрея Мягкова и Леонида Монастырского, а также Владимира Андреева из ермоловского театра... Вслед за тем Крапивина приняли в члены СТД и в творческую лабораторию к Валентину Плучеку.

Начало восьмидесятых годов — разгар застоя. Но какая драматургия была тогда! Авторы «новой волны» (Л. Петрушевская, В. Славкин, В. Арро, А. Казанцев) интересовало противостояние личности и среды, причём не столько внешнее, сколько подспудное, существующее в душе человека. В обществе зрел конфликт, который разразился всем нам известными событиями, и театр, превращаясь в общественную трибуну, предоставлял возможность высказаться, излить копившиеся противоречия. Когда в КНТТ в возраст творческой зрелости вошли воспитанники Лавута и Рошала и, я бы сказала, «оттепели», театр на долгие годы застоя остался средством заявить свою гражданскую позицию, которая в то время заключалась в подчёркнутой отстранённости от идеологии лжи и двойной морали. И пьесы выбирали соответствующих авторов: Розова, Арбузова, Вампилова, Петрушевской.

Малая сцена

В сезон 1982/83 года у КНТТ завелась малая сцена, под неё оборудовали комнату № 10 во Дворце культуры тепловозостроителей, до того просто подсобное театральное помещение. Возможно, это была дань высокой театральной моде, столица-то рядом. Но Крапивин и его единомышленники сразу оценили огромное преимущество малой сцены: происходящее на ней становится ближе зрителям, с которыми у актёров возникает прямой эмоциональный контакт. Помню, на одном из фестивалей у нас в Коломне я сидела в первом ряду, и актёр в рязанской «Кроткой», выбрав почему-то именно меня, присел у моих колен и, глядя мне прямо в глаза, стал рассказывать, как ему, мучителю, на свете тяжело жить... Я думала, у меня сердце не выдержит. Хотелось погладить его по голове, сказать что-нибудь утешительное... И самое примечательное, накануне я «Кроткую» видела со Смоктуновским — во МХАТе, на большой сцене.

Конечно, малая сцена одновременно усложняла жизнь и режиссёра, и актёров. Но сложностей в КНТ никогда не боялись, наоборот, они словно придавали всем творческой энергии. Перед пятакком, на котором разворачивалось театральное действие, усаживались поначалу 33 зрителя. В дальнейшем зал увеличили, убрав одну из стен. Первым спектаклем на малой были «Уроки музыки». С ними тоже связана история. Пьесу «не рекомендовали к постановке», ибо в лицемерии и двойной морали персонажей цензура видела, не без оснований, намёк на государственную идеологию. Начали репетировать после того, как Галина Николаевна Матвеева, бывшая тогда заместителем редактора «Коломенской правды», позвонила своей университетской сокурснице и та согласилась на постановку. Людмила Петрушевская и хлопотала за КНТТ в высоких кабинетах, приезжала она и на премьеру. Потом была статья в «Литературной газете» — к полному триумфу коллектива.

284

ГАЛИНА ГОРЧАКОВА



«Дети солнца». Малая сцена, 2013 г. Мелания — Инна Харитонова,
Елена Николаевна — Светлана Широкова

В перестроечном вихре

90-е годы начинались в творческом плане вполне успешно. В это время свет увидели «Генералы в юбках» Ж. Ануя, «Лес» А. Островского. В «Лесе» на малую сцену КНТТ трижды выходил превосходный Несчастливцев с Малой Бронной — тогда ещё заслуженный артист России Олег Вавилов. Выпустили «Вишнёвый сад», хотя деньги на него пришлось собирать с миру по нитке.

Перестроечные вихри оставили не лучший след в жизни театра, на 1996 год, например, Николай Крапивин ставил себе задачу восстановить прежний штат, существовавший в течение 35 лет: вернуть художника, завпоста, осветителя, машиниста сцены; стабилизировать, насколько возможно, финансы; укрепить техническую базу. Одежда сцены, старый чёрный бархат, был ровесником театра, служил аж с 1925 года. И тем не менее в сентябре 1997 года, в начале 72-го сезона, на сборе труппы было около 60 человек.

Насколько тяжело давались творческие успехи, можно судить по тому, как горько Николай Крапивин сетовал накануне 75-летия театра, в 2001 году: «В разгар застоя в стране было 2600 народных театров. Теперь самостоятельность как отряд идеологической поддержки той эпохи стала не нужна. Распалось движение народных театров, каждый коллектив брошен на произвол судьбы. Как говаривал гоголевский герой: “Если умрёт, то и так умрёт, если выздоровеет, то и так выздоровеет”. Трудно, очень трудно... Мы обязаны подчиняться законам, которые диктует рынок. Атмосфера денег может разрушить хрупкую ауру самодеятельного театра. Самодеятельным актёрам, мужчинам в особенности, чтобы выживать, приходится много работать. Собрать всех на массовые репетиции или на спектакли сложно. Однако охота пуще неволи. К счастью, энтузиасты, идеалисты, подвижники ещё не перевелись в столь прагматичное время».

Уж не знаю, в доказательство или в противовес этим словам в конце 90-х эффект разорвавшейся бомбы произвёл «Эквус» по пьесе П. Шеффера. Это был настоящий сеанс психоанализа в народном театре, во время которого пытались понять, почему подросток, больше всего в жизни любивший лошадей, выколол им глаза. Пьесу достали в литчасти МХАТа, где её перевели с английского специально для Смоктуновского. Театр опять прикоснулся к животрепещущей теме. Ибо врач-психиатр, пребывая в возрасте подведения предварительных итогов, вдруг начал себя спрашивать: а как жить — надо? И кто более счастлив — этот жаждущий и страшющийся освободиться от непосильного груза вины подросток или они, те, кто притерпелся к рутине жизни, в которой нет страданий, но нет и высших целей. Главное достижение, считает Крапивин, — с «Эквуса» в театр пошёл перестроечный молодой зритель.

Удерживаться на плаву — нелёгкая задача. Удержаться помогали, создавая театру финансовую базу, помимо обедневшего Дворца культуры, генеральный спонсор «Протэкс-Центр», городская администрация и местные предприниматели. «Пока стоим на распутье, — рассуждал Крапивин. — Сегодня чистое искусство без коммерции, без поддержки зрителей прогорает, но и коммерция без искусства не выживет. Где искать золотую середину?»

И театр середину эту ищет, что заметно по репертуару тех лет. В афише «Лизистрата» — переписанный Леонидом Филатовым аристофановский сюжет о том, как женщины в борьбе за окончание войны предъявили мужчинам ультиматум, отказав им в сексе. КНТ ни разу не соскользнул в пошлость, обычную для театров того времени. Юрий Зимовец ставит для малой сцены «Ботинки на толстой подошве» П. Гладилина — семейную драму: разрыв, развод и привычные, выработанные совместной жизнью ценности, которые держат, не отпускают человека... Вслед за тем Крапивин также на малой сцене выпускает «Любовь и боль». У В. Сигарева пьеса называется «Любовь у сливного бачка», с этим, явно эпатажным, названием и прошла премьера в КНТ, но зрителей оно покорило, пришлось смягчить. Коломенский зритель, кстати, в своём отношении к авторскому названию был не одинок, кое-где в российских городах пьеса шла как «Сантехнический роман». Сигарев, с его тягой к абсурду, фарсу и чернухе (выражение тех лет), изобразил взаимоотношения поэтессы и сантехника. Смеётся весь спектакль, а в конце делается грустно, жаль плохо приспособленную к жизни интеллигентку, грезящую о большом чувстве и выдумавшую себе любовь к сантехнику, жаль и бедолагу из совершенно другого мира. Понять друг друга им не дано.

Все эти спектакли имели яркую форму, были смешными, расчёт шёл на любой уровень восприятия — и глубокий, и поверхностный. «Важно, чтобы мы были интересны и нужны коломенскому зрителю, а он, кажется, у нас есть, наш дорогой, любимый и постоянный, — размышлял в то время главный режиссёр. — Средняя цифра посещаемости за три последних десятилетия — примерно три тысячи зрителей в год». Насколько непроста была тогдашняя жизнь для народного театра, говорит и то, что два года не объявляли набор в студию.

Все эти невзгоды выпали на долю и следующего актёрского поколения: Алексей Васильев, Мариэтта Гаврилина, Галина Данилина, Александр Кожин, Алексей Климанов, Владимир Макин, Алексей Лебедев, Ирина и Сергей Маркины, Ирина Рождественская, Наталья Сударкина, Игорь Трафлялин, Александр Тактаев, Ольга Трифонова, Вячеслав Шарапов, Светлана Широкова и другие. И оно с честью их выдержало.

Десятилетие прошло — символ веры остался

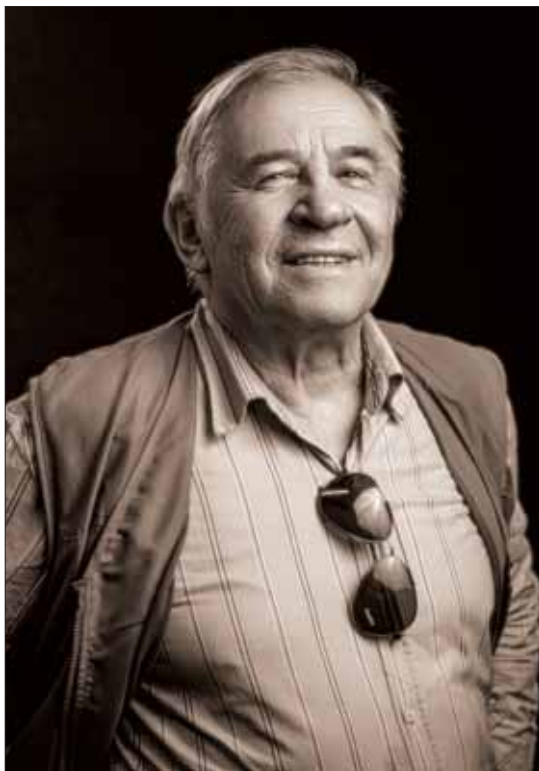
К 80-летию театра поставили «Волки и овцы» А. Островского. Театр уже утерял из названия упоминание о тепловозостроителях, а это значит окончательно и бесповоротно лишился финансовой поддержки заводского профсоюза, поскольку на заводе поспешили избавиться от непроизводительных объектов. Спектакль явился как бы продолжением «Талантов и поклонников», поставленных на малой сцене в сезоне 1997/98 года. То был спектакль-размышление о судьбе театра, актёров в эпоху почитания золотого тельца... Какие же темы поднимать, если даже руководство Союза театральных деятелей ушло тогда в бессрочный отпуск? Что лучше — быть бедным, но честным человеком и прозябать в провинциальном театре или продать себя меценату и быть звездой в престижном? Актёры в «Талантах и поклонниках» были в основном те же, что и в «Лесе», Крапивин словно

задумал примерить романтический «Лес» на новые рыночные условия. Театр, богема, деньги... Почти все персонажи пели и владели гитарой. По замыслу, на сцене должно было рекой течь шампанское, его и зрителю хотели подавать, но за недостатком средств пришлось от этой идеи отказаться. Получилась история про актрису, сменившую благородные принципы на... А вот на что? На выгоду? На любовь? И вообще, драма это или комедия? И по ком звучал финальный смех?

«Волки и овцы» завершали юбилейную декаду из восьми спектаклей. Роль Мурзавецкой исполняла Надежда Круглова — характерно, выпукло, вкусно. И зрительская оценка была высока: «Наш народный театр — это второй дом Островского».

В репертуаре КНТ сейчас 13 спектаклей. Премьеры последних лет — «Дети солнца» (2013), «Правда хорошо, а счастье лучше» и «Время и семья Конвей» (2014), «Амилькар, или Человек, который платит» (2015). Новое поколение актёров заявляет о себе смело, обнадёживающе. Девяностолетие решили отметить «Делом» А. Сухово-Кобылина и «Скрипкой, бубном и утюгом» Н. Коляды. Как видим, театр не изменяет своему кредо: и в классике, и в произведениях современных авторов находит оголённый общественный нерв. А в 91-м сезоне поставят «Любовь и смерть Марины Мнишек» Н. Кондаковой, пьесу, взятую со страниц «Коломенского альманаха», рассказывающую о коломенском эпизоде в жизни знаменитой авантюристки.

Штрихи к творческому портрету



Николай Крапивин

Однажды мне приснился страшный сон. Будто главный режиссёр КНТ Николай Крапивин, вызванный куда-то в культурные верхи, попросил меня (!) выпустить их премьеру — спектакль по пьесе Булгакова. И я хоть и во сне, но на собственной шкуре испытала нелёгкую долю человека, взвалившего на себя весь огромный воз театра: от взаимных людских симпатий и антипатий до постановочных мелочей. Когда я (во сне) поняла, что не предусмотрела такую «малость», как доступность зрелища (действие шло где-то в такой глубине, что зрители могли наблюдать только изредка проходящих по авансцене персонажей), я испытала жуткие нервные перегрузки.

Анатолий Эфрос, помнится, говорил, что режиссёр должен иметь такие лёгкие, чтобы вдуть в странички текста, как в воздушный шарик, свою философию, своё видение, чтобы на сцене была живая жизнь.

Своё видение... Я попросила Крапивина вспомнить спектакли, которые он считает этапными для себя. Среди них он назвал «На всякого мудреца довольно простоты» А. Островского (1977): «В нём отразились брежневские времена: чем грубее лесть, тем больше шансов вылезти в люди... Пробовали себя в стилистике Вахтанговского театра, этой идеей заинтересовался, приезжал на репетиции М. Рошаль». Спустя десять лет в «Ленкоме» в творческой лаборатории Марка Захарова, открытой для подмосковных режиссёров, разбирали эту постановку. Спектакль шёл 13 лет.

«Ревизор» (1984). В этом спектакле впервые соединились ветераны, коллектив Лавута, и выпускники студии. Оказался он долгожителем — был показан более двадцати раз.

«Двенадцатая ночь» (1987) памятна тем, что впервые, по выражению режиссёра, «пробовали поиграть Шекспира, повеселиться», и тем, что оформил спектакль Владимир Талалай, тогда главный художник Московского ТЮЗа, который потом придумал сценографию ещё для десяти премьер КНТТ.

«Мещанин во дворянстве» Мольера (1996/97). К этому времени появилась обида на зыбкость примитивных торгашей. «Хотелось понять, к чему пришли, в чём смысл и законы новой жизни, какие опасности и соблазны подстерегают, какие человеческие качества востребованы новой жизнью», — вспоминает Крапивин. Вроде бы лучше пьесы, чем «Мещанин», чтобы рассказать о новых русских, об их смешном стремлении выглядеть круто, просто не придумать. Но Крапивин хотел, чтобы Журден, разумеется, смешной в своих притязаниях, вызывал и наши невольные симпатии. «Потому что он смотрит на художника с надеждой, а не с недоумением, как новый русский торговец. Его наивность и легковёрность подкупают», — объяснял своё видение режиссёр.

Руководствуясь строками Буало: «Твои забавнейшие шутки / Учёной лекции мудрей», он задумал спектакль-карнавал и жанр вслед за Мольером определил как комедию-балет. Танцевальные номера поставила руководитель одного из хореографических коллективов дворца Наталья Воронова. Музыка, которая усиливала ощущение игры, театральности, розыгрыша, шутки, написали Владимир Макин и Юрий Иванов. Однако нехватка денег отодвинула премьеру на год. К счастью, спектакль всё-таки вышел и выдержал в одном сезоне четыре представления при полном зале.

Этапными для театра и режиссёра были, безусловно, «Эквус» (1998) на большой сцене и «Мой бедный Марат» (1999) на малой.

Как работает Крапивин? Он может выпустить недопечённую премьеру, по опыту зная, что та допечётся в процессе. Но, выпуская спектакль после длительного перерыва, он обязательно репетирует, что-то меняет и таким образом не даёт ему застыть. Выбирать пьесу, как любому режиссёру, ему приходится, учитывая не в последнюю очередь «технологические», как он говорит, моменты: скажем, количество в труппе «девочек и мальчиков»... И с этой задачей он прекрасно справляется, например, в «Восьми любящих женщинах» (2011 г.) Как хороший режиссёр, он всегда думает о своей труппе, о своих лидерах. И актёры это ценят.

В последнее время он радуется зрителей собственными актёрскими работами: в «Детях солнца» — Назар Авдеевич, в «Чайке» — Сорин. Такой разный и такой полнокровный, живой.

Сергей Зацепин

Я бы назвала Зацепина настоящим человеком театра. Он безоговорочно предан сценическому искусству и премьер безусловный, с весьма богатой актёрской биографией. В «Трамвае “Желание”», например, играет грубый натиск животной энергии (Стенли), а в «Утиной охоте», наоборот, вялость души (Зилов), и то, и другое убедительно. Есть даже такой спектакль, где он исполняет сразу четыре роли, одна из которых — Калошница, подставка для обуви («Ботинки на толстой подошве»). Однако в моей памяти свежее, пожалуй, Лопехин из «Вишнёвого сада» и господин Журден из «Мещанина во дворянстве».

«Вишнёвый сад» ставился в середине 90-х на него, актёра, к тому времени имевшего сценический стаж более 30 лет. Верный своему кредо, театр был на гребне общественной жизни: если наша интеллигенция не может приспособиться к изменяющейся России, надо показать образцы. Играл Зацепин нового русского, каким он, по разумению КНТ, должен быть: Лопехин не прагматик, не хищник, а человек, убеждённый в том, что любая жизнь требует обновления, вишнёвый сад тоже. И одели Лопехина в белый костюм, символизирующий начало обновления. Словом, он играл крик души: «Русские мужики, если можете, спасите Россию!»

Зрителю предлагали понять, что в Лопехине — стержневая суть современных русских людей, которые, делая больно, Россию спасают.

Режиссёрскими работами он был известен в городе ещё в пору студенческого театра эстрадных миниатюр, созданного в пединституте, там он поставил «Самоубийцу» Эрдмана, «До третьих петухов» Шукшина, «Великий Будда, помоги им» Казанцева. В 2009-м в КНТ отважился на «Чайку» Чехова. Говорю «отважился», потому что меня, например, всегда смущало то, как сам Чехов определял жанр своих пьес. «Чайка» — комедия... Не для того ли, чтобы происходящее в спектакле (как говорил Окуджава, «все наши глупости и мелкие злодейства») представилось нам на фоне Вечности грустной комедией, Зацепин оправил пьесу в символистско-поэтическую раму, безусловно проникнувшись треплевским «люди, львы, орлы и куропатки...»?

*«Вишнёвый сад», 1994 г. Лопехин —
Сергей Зацепин*



В последние год-два он выдал крепкие ансамблевые спектакли «Дети солнца» по Горькому и «Амилькара, или Человек, который платит» по Жамиаку.

Свою любовь к театру Сергей Зацепин объяснял так: «Страсть к лицеведению так же естественна, как все рефлексы человека. Человек проживает одну жизнь, а театр даёт возможность прожить много. У меня больше полусотни ролей, столько жизней я прожил. Это даёт что-то мне самому, а с другой стороны, я пытаюсь оплодотворить роль какими-то своими возможностями. Время диктует совершенно иное отношение к образу, который ты уже играл. Я люблю кино, но кино сняли — и на всю жизнь, а спектакль каждый раз другой. Театр жив и будет жить всегда, поскольку люди нуждаются в общении с другими творцами. Кто-то любит размышлять вместе с театром, кто-то жаждет развлечься. Каждый театр ищет своего зрителя. Мы, народный театр, имеем возможность играть лучший мировой репертуар. Это замечательно. Первый мой спектакль, «Продолжение легенды», — это вообще уникальное явление. Когда мы попали на общественный просмотр в будущую Таганку и посмотрели, как у них, рукой махнули: мы ещё в прошлом году это у себя сделали — форма, режиссура, зонги, минимум декораций».

Лариса Зацепина

Когда школьница Лариса пришла поступать в театральную студию, Абрам Семёнович Лавут, прослушав и басню, и прозу, и стихи, с сожалением сказал: «В этом году девочек не берём». Но совет педагогов решил всё-таки сделать исключение. В театре Ларисе нравилось всё. Она с удовольствием сидела под лавкой в своей самой первой роли, а потом быстро «сделала карьеру» — доросла до роли горничной. Репетировала, но по семейным обстоятельствам не сыграла Наталью в «Вассе». И вдруг сразу

Бланш в «Трамвае “Желание”». Сыграть отрицательное обаяние не так-то просто... Режиссёр объяснял роль так: крайне неприятная эта Бланш, но за что же с ней так?

Вообще-то Крапивин видел её поначалу в характерных ролях, но довелось ей сыграть и аристократку Раневскую из «Вишнёвого сада» (именно этот спектакль был выбран для её бенефиса в 2000 году), и простодюдинку Фелицату из «Правда хорошо, а счастье лучше», и «простую советскую женщину» Граню из «Уроков музыки», роли и драматические (например, Кручинина — «Без вины виноватые»), и комические («Любовь и боль»). Нянька Фелицата — одна из

«Вишнёвый сад», 1994 г. Раневская — Лариса Зацепина



последних сыгранных ею. Она сама захотела именно эту роль, Крапивин предоставил ей право выбора. «Самое интересное, — говорит Лариса, — вот такой резкий и неожиданный скачок от Раневской до полной противоположности. Роль сразу пошла, с первых репетиций. Станиславский считал, что актёру надо зазеркнуться — найти зерно роли. У Фелицаты такое зерно — говор, не знаю, откуда он у меня взялся, я его услышала, когда читала пьесу».

Юлия Шафранская

Как говорят актёры КНТ, знавшие её, Юлия Владимировна была личностью знаковой. Человеком, творческим во всех проявлениях. Если в спектакле было два состава исполнителей, лучше играла именно она. Когда о чём-либо рассказывала, увлекалась сама, в лицах представляя то, что читает, что посмотрела, и тем заражала собеседника. А если сама поверит во что-то, убедит и других. Придумала, например, расписать школу, где она преподавала изобразительное искусство, — обрела единомышленников и помощников. Долгое время украшали школьную лестницу самодельные витражи. Идейная коммунистка, во время перестройки она обратилась к церкви — и сделала это так же страстно, как делала всё. Вот такой яркий, без полутонов, человек.

Я побывала однажды на её уроке. Класс в рабочее состояние после буйной перемены она ввела тем, что запела: «Есть только миг между прошлым и будущим...» И весь класс подхватил. А дальше урок покатился как по маслу в заданном русле. Что значит артистичная личность.

Ролей у Юлии Шафранской много, но более всего памятна мне Гурмыжская в «Лесе». Многие запомнили её в роли Вассы. Кажется, она — лучший вариант для амплуа властной женщины, и я даже заподозрила, не себя ли играет. Тем более что у учителей властность профессиональная... Однако хорошо знавшие её коллеги утверждают, что в жизни она была совсем другой. И «звёздности», будучи в театре на первых ролях, не проявляла.

До сих пор в афише театральной студии «Золушка», поставленная ею по Е. Шварцу. Спектакль этот идёт вот уже 36 лет, на нём выросло не одно поколение актёров и юных зрителей. Наверное, он уже не такой в точности, каким его задумывала Юлия Владимировна, но постановочный принцип в театре сохранили. В своё время она оформила несколько спектаклей: «Девочка и апрель», «Доходное место», «Любкина свадьба», «Мадемуазель».

Юлия Шафранская преподавала изобразительное искусство по системе народного художника России Б. Неменского





Юрий Зимовец известен как художник-оформитель не только в театральных кругах

Юрий Зимовец

Первая встреча с художником у театра произошла на спектакле «Вишнёвый сад» (1994). Вспоминают, что он сразу покорила труппу вопросом: «Какой цвет у вишнёвого сада?» — «Белый, конечно...» — «Нет, вишнёвый, то есть красный. Уходит красная эпоха, приходит новый русский», — заявил художник, имея в виду отнюдь не чеховские времена. Цвет передавал главную мысль: всё уже перезрело и нуждается

в обновлении. И на афише «Вишнёвого сада» Зимовец переплёл красные, словно кровеносные сосуды, ветви дерева, ведь разлом проходит по человеческим сердцам.

Этот принцип: сценография должна передавать главную идею, главный образ спектакля — Зимовец исповедует всегда. В «Мещанине» занавес раздвигался, и в глаза бросалось золото. Четыре золотые плоскости на шарнирной конструкции, главный элемент декорации, образовывали то зал, то коридор, то западню, что усиливало шум и суматоху на сцене, а управляли ими одетые в золотые туники студийцы. Золотые прожектора, золотое кресло г-на Журдена, наконец, золотой клавишник, в начале спектакля надвигающийся на зрителя из глубины сцены. Золото стало ещё одним персонажем, пусть и неодушевлённым. Золото, имеющее власть над людьми, обрекающее их то на глупые, то на подлые поступки... Театральный прожектор в карнавальной полумаске, равнодушно висящий под потолком, в момент посвящения в маммуши опускался, и вконец ополоумевший Журден являлся нам монстром, у которого вместо головы огромный светящийся диск, — получалось этакое злоеццо инкогнито. Оформительские решения Зимовца всегда выводят действие на некий обобщающий, философский уровень.

Алексей Климанов

Он пришёл в народный театр из студии в 1998 году. И сразу сыграл главную роль в спектакле «Эквус». Дебют сногшибательный. Пробовались на роль подростка Алана четверо, и выбор Крапивина оказался безошибочным. Алексей играл боготворчество, причудливо воплощающее извечное стремление взрослеющей личности самоутвердиться в этом чуждом мире. Чуждом не потому, что враждебном, а просто ещё не вполне понятном. Стремление поклоняться и дозвель одновременно. Эквус, Иисус — даже

«Эквус», 1999 г. Алан — Алексей Климанов

в звучании имён слышится ему нечто сходное... Но почему не Иисус? Зрителю и предстояло это понять.

Это была игра на износ, на оголённых нервах. Скажем, сцена, когда психоаналитик спрашивает Алана, получилась ли у него первая попытка сексуального общения. «Да! Да! Да!» — закричал он с каким-то невыносимым отчаянием, и я ему... не поверила. Но ведь это же надо было сыграть! После спектакля, проморгавшись от слёз, я спросила: «Алёша, ты живой ещё?»

Этот нерв пригодился ему и в роли Незнамова («Без вины виноватые»). В «Топазе» М. Паньоля ему пришлось предстать перед зрителем полностью обнажённым (со спины), и с колосников на него падали купюры... Образ хоть и конъюнктурный (в том смысле, что в те поры Москва во всю мочь эксплуатировала и обнажёнку, и мат), но сильный.

В «Моём бедном Марате» А. Арбузова, показанном в 2005 году на V Московском областном фестивале-конкурсе любительских театров, его увидели педагоги-щепкинцы и взяли сразу на третий курс. Сейчас он работает в Москве в Лианозовском театре, где он и актёр, и оформитель, и завпост, а также снимается в телесериалах.

* * *

Завершая свои заметки, хочу хотя бы упомянуть о ролях, которые запомнились, и об их исполнителях: Мамаева — Лидия Якунина, Манефа — Эмилия Яблокова («На всякого мудреца довольно простоты»); Улита — Татьяна Сазонова, Пётр — Вячеслав Шарапов («Лес»); Завуч — Лирин Пономарёва («Виктория»); Мальволио — Владимир Макин, Мария — Галина Данилина, Шут — Алексей Рощин («Двенадцатая ночь»); Зинуля — Мариэтта Гаврилина; Солёный — Алексей Лебедев («Три сестры»); Гаев — Александр Попков, Шарлотта — Надежда Пронкина («Вишнёвый сад»); Сантехник — Александр Тактаев («Любовь и боль»); Мигаев — Михаил Makeев («Таланты и поклонники»); Заречная — Надежда Сливкина («Чайка»), Протасов — Аркадий Тарусин («Дети солнца»); Кэрол — Анастасия Колпащикова («Время и семья Конвей»).

А вообще КНТ-2016 — это крепкий ансамбль, что для театра гораздо важнее, чем наличие самых ярких звёзд. Чтобы можно было вслед за Г. Товстоноговым повторить: «Каждая роль — это победа, а в целом — актёрское пиршество».

Возможно, мои впечатления субъективны, и весьма, но ведь зритель имеет на это право.



ПАМЯТЬ КРЕПЧЕ, ЧЕМ ГРАНИТ

Мемориальный комплекс и памятник Герою России Александру Маслову торжественно открыли на территории школы, названной его именем, в Проводниковском сельском поселении.

— Вклад многих людей в создание мемориала огромен и неоценим, и для нас это событие — настоящий праздник, — сказал глава района Андрей Ваулин, вручая благодарственные письма строителям и спонсорам.

Среди почётных гостей праздника были дочь героя Ирина Гурная, заслуженный лётчик СССР, Герой России, генерал армии Пётр Дейнекин, автор бюста Александра Маслова — президент Российской академии художеств Зураб Церетели.

— Внимательно посмотрите, как дочь похожа на отца, — воскликнул Зураб Константинович. — Только добрые и сильные люди, настоящие рыцари, оставляют самые лучшие качества своим потомкам, которые продолжают их дело, патриотическое и героическое. По его словам, бюст героя был выполнен на основе сохранившихся фотографий, а сам скульптор счёл необходимым и правильным проделать всю творческую работу безвозмездно.

Предшествовал созданию мемориала многолетний кропотливый труд многих энтузиастов, и первым среди первых был писатель и журналист Эдуард Харитонов, который на протяжении нескольких десятков лет возвращал из небытия незаслуженно забытое имя героя. Теперь именем Маслова названы школа и улица, действует пришкольный музей и как финальный аккорд — встал на века в напоминание потомкам о героическом лётчике мемориальный комплекс.

Зураб Церетели подчеркнул, что он всегда готов служить высокой цели — прославлять подвиги героических личностей, от Петра I до наших дней. Нагляднее всего это можно сделать только через искусство.

Историческая справка

26 июня исполнилось 75 лет с того дня, когда на четвёртый день войны самолёт капитана Маслова не вернулся с боевого задания и был объявлен пропавшим без вести. Только многие годы спустя стало известно: подбитый самолёт экипаж направил на скопление вражеской техники и героически погиб.



Ольга Владимировна Вечеровская родилась в городе Горьком (ныне Нижний Новгород). Вскоре с родителями переехала в Коломну. Окончила филологический факультет Коломенского педагогического института, защитила кандидатскую диссертацию по творчеству М. Булгакова. Профессией избрала журналистику, готовила сюжеты для программы «Забывтый полк» на канале ТВ-6, с первым призывом молодых журналистов и инженеров начинала коломенское телевидение, работала в городских и региональных газетах, на радио. Увлёкшись изготовлением кукол, принимала участие не только в городских выставках прикладного искусства, но и в выставке «Куклы России», проходившей на ВДНХ. Работы её находятся в частных коллекциях в России и за рубежом.

Очерк

В ЧЁМ СИЛА ТЕАТРА КУКОЛ?

Аорису Щербакову, замечательному театральному художнику, исполнилось 80! Когда же это мы виделись в Коломне, в какой его приезд на родину, лет, наверное, пятнадцать назад? Он появился у нас в квартире, живой, подвижный, энергичный, полный творческих замыслов, и вовсе не выглядел пожилым. Когда дело дошло до моих кукол, в то время интересных больше замыслом, чем мастерством изготовления (это теперь я уже постигла многие секреты кукольников), мы сразу забыли о возрастной разнице.

На полочке стеллажа тогда стояли персонажи из «Мастера и Маргариты»: Иешуа, Воланд, Понтий Пилат, Марк Крысобой, Бегемот и Коровьев, Гелла... Было немножко страшно показывать их мэтру кукольного театра, а Борис Андреевич, внимательно изучив каждую, вдруг сказал: «А что если нам вместе сделать спектакль по “Мастеру и Маргарите”? Вот с твоими, Ольга, куклами?» Заманчивой этой идее не суждено было сбыться — слишком далеко живёт художник, в Барнауле, да и слишком занят был тогда в театре. Но его предложение все эти десять лет подогревало, наверное, моё увлечение куклами.

Немалую часть жизни Борис Андреевич прожил в Коломне. Хаживал в детскую кукольную студию при заводском Дворце культуры, кое-что рисовал для народного театра. Мама была профессиональной швейей, и ей доводилось делать костюмы к спектаклям. Борис уже в детстве любил смотреть, как из разноцветных лоскутов, ленточек и бусин получалось нечто необычное.



*Борис Щербаков с марионеткой
клоуном Муслей*

Окончив машиностроительный техникум, работал на Коломзаводе. А ещё рисовал, оформлял цеховую стенгазету.

Однажды он показал свои театральные работы именитым художникам в Песках, и те единодушно присоветовали поступать на театральное отделение. Так же считали тогдашние режиссёры народного театра Рощаль и Лавут. Легко сказать поступай, ведь он уже учился на вечернем в институте, собирался стать инженером, менять же профессию, по общему мнению, было и поздно, и неразумно. Но вопреки всему он поступил-таки в Московское художественное училище памяти 1905 года. Как случилось, что, учась уже на старшем курсе, он

выбрал кукольный театр? «Это театр метафоры, театр инсказанья, — объясняет Борис Щербаков. — Это театр художника, где я придумываю и делаю и пространство, и персонаж, и пластику его поведения, динамику движения, разрабатываю и световую партитуру. Даже в музыку вникаю — как в балете». Словом, художник кукольного театра заведует всем пространством сцены. Своим главным учителем он называет Александра Тышлера, который ему сказал: «Твой театр не драма, твой театр — балет или театр кукол».

Затем были Высшие режиссёрские курсы при ГИТИСе, практика в Государственном Центральном театре кукол С. В. Образцова. «На эскизе Образцов писал, что должна кукла уметь, а я делал механику, тут пригодились и умения, приобретённые в авиамоделном кружке. Нужно сделать чисто, прочно, легко, ведь актёр держит куклу продолжительное время, и она не должна быть тяжёлой», — вспоминает он те времена. Образцов предложил ему остаться. Соблазн был велик, всё-таки артист с мировым именем, прославленный театр. Но быть только кукольным мастером Щербакову казалось мало, он хотел стать постановщиком. Выслушал Образцов его объяснения и посоветовал ехать за Урал, там, дескать, будет развиваться самобытный кукольный театр. И оказался прав. Не Брянск, не Тамбов, не Орёл, куда давали распределения, а Сибирь вырвалась в новаторы.

В 1967 году Б. А. Щербаков уехал в Свердловск и стал художником театра драмы. А уже в следующем году его пригласили на должность главного художника Кемеровского областного театра кукол. «В Барнауле в это время работал Матвей Бабушкин — режиссёр, который входил в де-

сятку лучших по Союзу, — рассказывает Борис Андреевич. — Он видел мои спектакли и позвал в свой город. Вскоре театр поехал на гастроли по краю, и меня с собой взяли. Когда я попал на Телецкое озеро, сразу сказал: «Всё, ребята, жить надо на Алтае». С тех пор и живёт в Барнауле. В 1969–1971 годах он — главный художник Алтайского краевого театра кукол. Работа в творческо-производственном комбинате Алтайского отделения Художественного фонда РСФСР давала разнообразные возможности. Борис Андреевич участвовал в постановках театров Красноярска, Кемерово, Новосибирска, Новокузнецка, Фрунзе, Ярославля, Тольятти, Ростова-на-Дону, Хмельницкого... В Рязани он поставил сказку «Шайтан — кожаное ухо», за которую получил государственную премию. Симферопольский театр показывал спектакль, который готовился с участием Щербакова, в Канаде. «Горжусь, что делал у Бориса Мессерера кукольный спектакль «Жили-были дед и баба», — говорит художник, — что мои куклы хранятся в Государственном музее истории литературы, искусства и культуры Алтая».

А в музее образцового театра живёт, как предпочитает говорить сам Щербаков, одна из любимых его кукол — Кузнечик из спектакля «Он рад зелёной песенке». С ним тоже своя история приключилась, которая, между прочим, свидетельствует о требовательности художника к себе. «Идёт репетиция, и я вижу, что не попал в природу кукольного мира в спектакле. Выпадает мой Кузнечик. Переделать! Срочно! С первым трамваем приезжал в театр, сам пилил, строгал, на станке точил, сам шил...» Сделал буквально перед самым спектаклем. Уже дети в зале, а он просит задержать начало... Потом актриса, игравшая Кузнечика, его обняла: «Старик, это великолепно!»

297

Человек со счастливой судьбой

Борис Андреевич неподражаемо рассказывает о своей профессиональной жизни, так рассказывать могут только люди, влюблённые в своё дело, счастливые своей судьбой. Однажды пригласили его художником-постановщиком на спектакль, пьесу для которого автор ещё только писал, но персонажи уже просматривались. Одно удовольствие слушать его рассказ: «Барсучонок — маленький пацан, лет пяти. Глаза горят, на всё удивляется — мир такой необыкновенный. Утка — бабушка, толстенная такая. Улиточка, которая мечтает путешествовать, у неё есть платок, им шкипер махал и уронил, из него можно сделать парус. И ещё такой персонаж — Угрму — меняла, боится света, живёт в норке. В человеке есть что-то такое, тёмное, ночное, с приходом солнца оно тает. Этого Угрму никто не видел. Какой он? У меня долго не получался. Вариантов пятнадцать сделал, пока не вышло то, что самому понравилось. Драматургия этой пьесы рождалась у меня на глазах, мы даже с режиссёром спорили, оставить персонаж, не оставить...»

Общий язык, взаимопонимание с режиссёром — великая вещь, идеальный случай. Режиссёр драматического театра из г. Фрунзе, пригласивший к сотрудничеству, читал ему пьесу по телефону. Закончил, молчит. Как делать, задумался художник, в каком ключе? Сразу не понятно.



А тот и посоветовал: «Сожги две свечи, посмотри на оплывы и делай». Каково? А они друг друга поняли. Если художник инфантильный, что скажет режиссёр, то и делает, — он плохой, равнодушный, ему надо уходить из кукольного театра, считает Щербаков. Сам ушел три раза после конфликта с режиссёрами. Не возвращался.

Из ничего, из гвоздика и лаптя

Театр для самых маленьких начинается с простых сказок: «Репка», «Колобок»... Казалось бы, столько книжных иллюстраций создано на эти сюжеты, не один мультфильм снят, что тут ещё выдумаешь? Но вот что говорит сам мастер: «Я не знал, как Лиса съест Колобка. Вот еду в поезде — напротив девочка сидит и мороженое слизывает, и оно так потихонечку у неё уменьшается. “Эврика!” Потом одна маленькая зрительница сказала: “Он катился, катился и стёрся”. Фантазия у постановщика должна быть неистощимой. Был случай, у Бориса Андреевича в кукольном театре живой актёр на канате спускался в центр зала. Билеты на этот спектакль было не достать. О многом могут рассказать и раскадровочки, которые Щербаков, как режиссёры мультфильмов, делает, придумывая спектакль, и потом сохраняет.

Сколько кукол сделал за свою жизнь Борис Андреевич! Самая миниатюрная — Дюймовочка, ростом всего 12 сантиметров. Как сделать так, чтобы её видно было из последнего, восемнадцатого, ряда зрительного зала? Укрупнить? Но персонажи спектакля должны быть масштабны друг другу, а Крот и так не маленький — 65 сантиметров. Сидел на репетиции, смотрел: да, маловата Дюймовочка. И всего-то — увеличил слегка головку и глаза. И зрители даже из восемнадцатого ряда её полюбили.

А самая большая — 12-метровая кукла для уличных шествий, которую ведут сразу несколько актёров. У него есть куклы-посвящения, например актрису Лию Ахеджакову он изобразил в виде забавной ведьмы. Клоун Муся — это портрет друга, артиста цирка Алексея Сергеева.

— Кукла — инструмент очень древний, известный со времён язычества. Человек родился и начинает играть, изобретать для себя какой-то особый мир, в котором у предметов другие свойства и роли... Кукла может научить размышлять, разговаривать.

В его комнате есть и народные куколки-обереги. Научила его делать их бабушка. По мотивам таких куколок Борис Андреевич мастерил и своих театральных персонажей. А мочало присылали на Алтай из средней России.

Борис Щербаков удивляет умением из обыденных предметов создать оригинальных, характерных персонажей. Смешного зайца для спектакля «Лесные часы» он связал крючком, из дерева вытачивал волков, зайцев,



Куклы из спектакля «Жили-были дед и баба»

лошадок и человечков. «И когда на наших глазах буквально из ничего, из гвоздика, ложки и листа бумаги он моментально делал для ребятяшек великолепную куклу или фрагмент декорации, мы вместе с ними, открыв рот, заворожённо смотрели на это волшебство, — делился со зрителями на юбилейной выставке Щербакова Игорь Коротков, директор Государственного музея истории литературы, искусства и культуры Алтая. — Подобное же волшебство он создавал и для театра. Кажется, что такое его куклы к спектаклю “Жили-были дед и баба” — просто лапоть с перевёрнутой ложкой... Но в них просматривается и судьба, и характер!»

Самыми любимыми куклами для него всегда были марионетки, говорят, именно он привёз их в Сибирь. А началось всё со спектакля «Красная Шапочка», который он поставил в детском саду, куда ходила его дочка Юлия. Всех персонажей изготовил сам, причём всё до мелочей продумал, чтобы слабые детские руки с куклами справились.

Творить помогает мечта

Несколько лет вынашивал планы о спектакле «До третьих петухов» по Шукшину. С писателем они встретились у общего друга-художника за бутылочкой коньяка. Тот представился просто Васей. Подарил книжку, и когда Борис Андреевич прочитал, сказал: «Это про меня». Узнал, что композитор Владимир Зубицкий, живший тогда в Италии, написал оперу «До третьих петухов». Но на дворе был 1981 год, и в Киевском театре оперы и балета ставить её не разрешили. Щербаков с Зубицким встречались, оба загорелись идеей кукольной оперы. Потом художник заболел, и дальше эскизов дело, кажется, не пошло.

Сценография
ТЕАТРА КУКОЛ

"Мульти" - ассоциация слову А. Сегрену

Борис
ЩЕРБАКОВ
КОЛОМЕНСКИЙ

Идея русскости

Хоть и утверждал Борис Андреевич, что его театр — балет или кукла, но потянуло испробовать свои силы и в ином творчестве. К сотрудничеству пригласил его руководитель Великолукского оркестра «Сибирь» Евгений Борисов. Начинать с афиш, а потом возникла идея создать оркестр-театр. Борис Андреевич разрабатывал и костюмы, и сценографию концертных и театральных программ, от драматической поэмы «Пер Гюнт» до кантаты «Кармина Бурана». По его проекту для оркестра была создана оригинальная звонница — символ «Сибири» и символ России, олицетворявшие, по общему признанию, идею русскости. Все, кто с ним работал, поражались его творческой жажде, желанию сделать для людей что-то очень яркое, радостное и востребованное.

До чего Щербаков предан театру, говорит и такой случай. Как-то к нему пришли ветераны афганской войны и попросили создать в Бийске театр для детей. Всякий театр начинается с идеи.

Волшебный мир Лукоморья воплотил в своих эскизах Борис Андреевич, мир, помогающий разбудить у ребёнка воображение и фантазию. И всё это щедрый талант, словно мудрец и искусник Дроссельмейер из сказки Гофмана, сделал бесплатно.

У каждого Мастера должны быть ученики. В Новоалтайском художественном училище Борис Щербаков вырастил восемь художников театра.

Память детства — память сердца

У меня хранится буклетик, на обложке которого написано: Борис Щербаков-Коломенский. Как он сам говорит, ни о чём не приходилось жалеть, но в Коломну хотел перебраться всегда, здесь живут его родственники, друзья-художники и просто друзья. Однако не всегда получается так, как мы хотим. Да и Барнаул, наверное, стал ему родным.

В семьдесят лет Щербаков сам удивлялся своему возрасту, хотя относился к нему философски: «Неожиданно, знаете, как-то... Но что тут поделать — кому-то двадцать, кому-то сорок, кому-то, как мне, семьдесят». Ныне здоровье уже не то — ноги не слушаются, вот и на юбилейную свою выставку, которая проходила в Государственном музее истории литературы, искусства и культуры Алтая, не попал. Поздравления принимали его супруга Надежда Александровна и дочь Юлия.

И в мастерскую болезнь не пускает. Но Борис Щербаков превратил в рабочий кабинет свою спальню: там стоит длинный стол, заваленный рукописями, газетными вырезками, книгами, фотоальбомами, эскизами.

Наивность внучки и мудрость бабушки

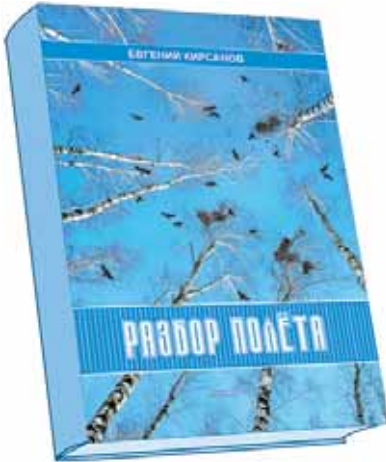
Есть в Барнауле детский театр «ТиМ», занимается в нём более 100 ребят от 5 до 17 лет. Некоторое время художника у них не было, оформляли спектакли сами, как умели. Во время подготовки премьеры «Фефела III» счастливый случай свёл их с Борисом Андреевичем, который сделал костюмы и декорации. По его словам, это была очень интересная работа. Сотрудничество продолжилось, и вскоре художнику привезли награды за оформление спектакля «Сестра моя русалочка» — из Сочи и из Владивостока. Борис Андреевич вообще любит работать с детьми, потому как свято верит, что способность к творчеству заложена в каждом ребёнке. Однажды он позвал в свою мастерскую мальчишек со двора и стал показывать, как смастерить кукол из неказистых материалов — дощечек, проволочек, лоскутков... А вышло — учил их открывать удивительный мир, который невидимо существует вокруг нас.

Вот и детскому камерному театру «Древо», созданному при центре социальной помощи, сделал девять кукол для спектакля «Колобок». Играть должна была девочка, родившаяся с недоразвитыми ручками, приходилось придумывать, как она будет держать куклу единственным пальчиком на каждой руке. А потом был «Весёлый мышонок», который помог детям с ограниченными возможностями здоровья ощутить радость созидания.

— Я посвятил своё творчество детям, — говорит добрый художник Борис Щербаков. — Это зритель бескорыстный, он искренне верит в предлагаемые обстоятельства. А у меня принцип: совмещать наивность внучки и мудрость бабушки. Вот в чём сила театра кукол...



ЭСТАФЕТА ПРОДОЛЖАЕТСЯ



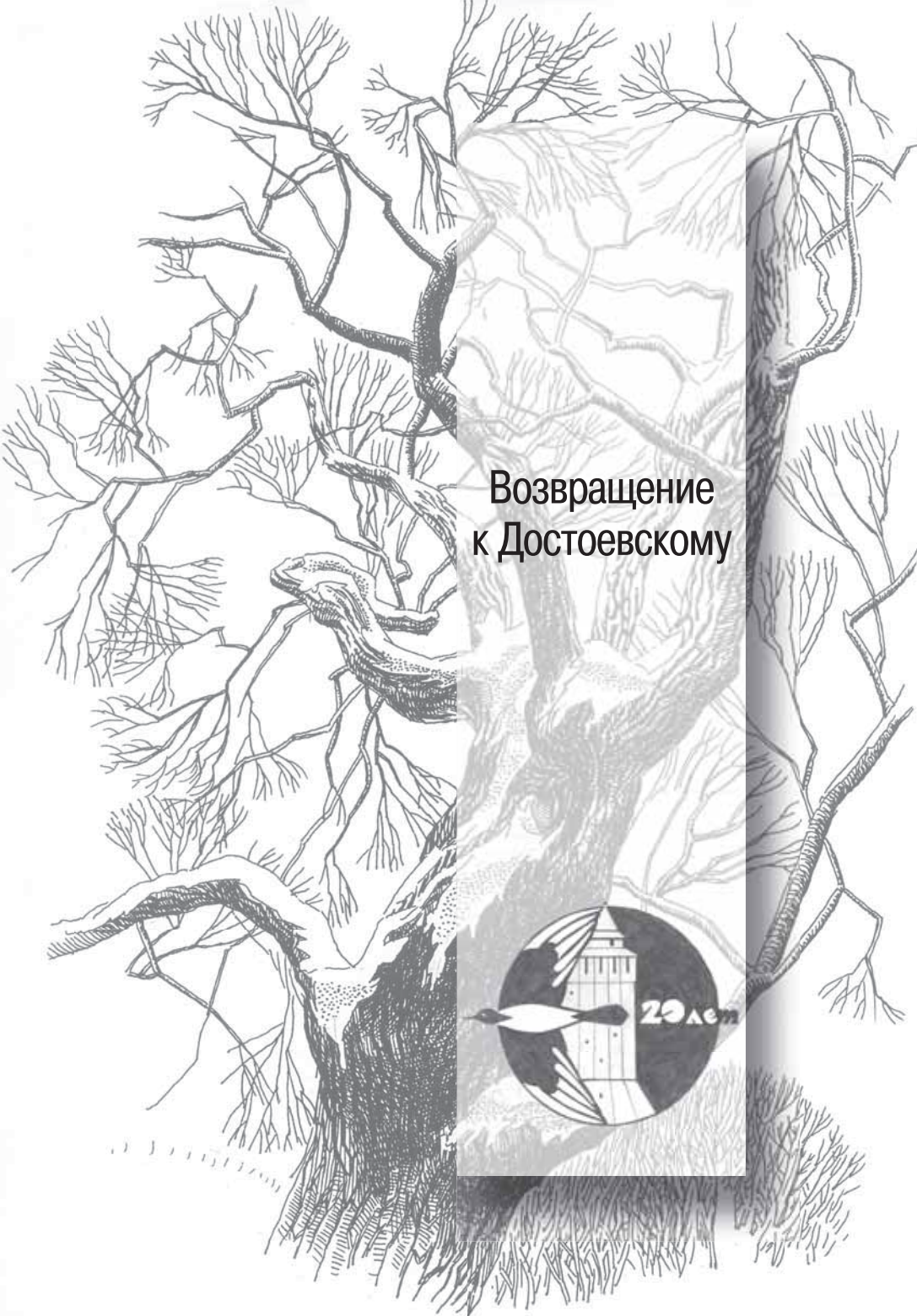
Новая книга Евгения Кирсанова — «О времени и о себе» и, как всегда, с присущим поэту юмором — мягким, человечным, жизнеутверждающим. Евгений с годами не стареет душой. Он умеет поддерживать в своём читателе чувство веры в лучшее — не хандрить и не ныть, умеет заставить человека в наше нелёгкое и тревожное время поверить в себя.

*Ждут друзья нас и родные,
Дело ждёт, подруги ждут.
Ждёт усталая Россия,
Вдруг потребуетя
Труд?*

А такое время непременно настанет. И Евгений не только пишет об этом, но и сам подаёт пример: до сих пор трудится в пединституте и, кроме того, много работает с начинающими авторами, помогает им. Да и не только с начинающими... Он наделён незаурядным поэтическим чутьём, и это помогает ему проникнуться пониманием любого, пусть даже очень непохожего на него автора.

Вот так входить в людские души, тактично, бережно, никого не обидев... Это умение передалось Евгению от отца — поэта-фронтовика Александра Фёдоровича Кирсанова. Но тогда жизнь была проще. А в наше смутное, нелёгкое время очень трудно подчас понять, где «свои», а где — «чужие». Многие отказались от отцовских святынь, подпевая «денежным» людям, состоятельным...

Но не таков Евгений Кирсанов. Сын солдата, он и в стихах своих — солдат: не солжёт, не слукавит, не предаст!



Возвращение
к Достоевскому

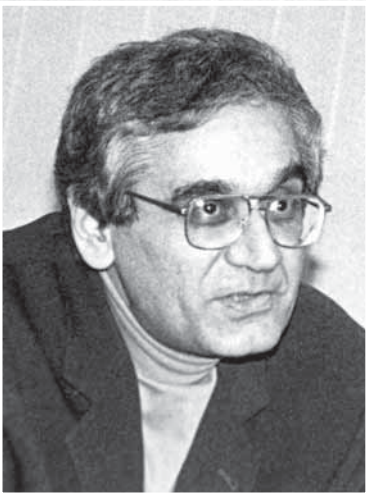




Графика Василины Королёвой

Владимир Викторович

ДОСТОЕВСКИЙ: ОТ ПОЛИТИЧЕСКИХ СТИХОВ К ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПРОЗЕ



Владимир Александрович Викторович родился в 1950 году в городе Горьком (Нижегм Новгороде), где окончил филологический факультет университета.

Доктор филологических наук, профессор кафедры литературы Государственного социально-гуманитарного университета (Коломна). Автор многих работ по истории русской литературы и журналистики. Вице-президент Российского общества Ф. М. Достоевского. Последние двенадцать лет руководит проектом по возрождению усадьбы Достоевских Даровое. Исследование публицистики Достоевского — одно из направлений его научной деятельности.

Эссе

23 января 1854 года политкаторжанин Фёдор Достоевский был освобождён из Омского острога и отправлен рядовым в Сибирский седьмой линейный батальон, расквартированный в Семипалатинске. «Почти целый месяц» передышки между острогом и армией он живёт в Омске в доме инженера К. И. Иванова, «очень симпатизировавшего» изгнаннику («был мне как брат родной»). Именно тогда, в этот первый просвет, он пишет исповедальное письмо Н. Д. Фонвизиной, признаётся, что ощущает приближение «к кризису... всей жизни... будто созрел для чего-то».

20 октября 1853 года обнародован высочайший Манифест о начале войны с Турцией. 15–16 марта 1854 г. войну России объявили Великобритания и Франция. «Наказать Россию» готовились Австрия, Швеция, Дания, Сардиния... Наиболее откровенно суть европейской политики в «восточном вопросе» несколько лет назад сформулировал император Австрии Франц Иосиф в письме своей матери: «Наше будущее — на востоке, и мы загоним мощь и влияние России в те пределы, за которые она вышла только по причине слабости и разброда в нашем лагере. ...мы доведём русскую политику до краха. Конечно, нехорошо выступать против старых друзей, но в политике

нельзя иначе, а наш естественный противник на востоке — Россия». Это писал правитель страны, недавно спасённой (в очередной раз!) русской армией, что же говорить о привычно недоброжелательной Англии и жаждущей реванша Франции.

27 марта Достоевский в письме к брату Михаилу сетует, что лишён права проситься в действующую армию. Тогда-то из-под его пера выходит стихотворение, напоминающее по жанру, стилю, пафосу знаменитую инвективу Пушкина «Клеветникам России». Именно оно, несмотря на известное художественное несовершенство, открывает новую эпоху творчества Ф. М. Достоевского, демонстрируя «перерождение убеждений» бывшего петрашевца.

На европейские события в 1854 году

С чего взялась всесветная беда?
Кто виноват, кто первый начинает?
Народ вы умный, всякой это знает,
Да славушка пошла об вас худа!
Уж лучше бы в покое дома жить
Да справиться с домашними делами!
Ведь, кажется, нам нечего делить
И места много всем под небесами.
К тому ж и то, коль всё уж поминать:
Смешно французом русского пугать!

Знакома Русь со всякою бедой!
Случалось ей, что не бывало с вами.
Давил её татарин под пятой,
А очутился он же под ногами.
Но далеко она с тех пор ушла!
Не в мерку ей стать вровень даже с вами;
Заморский рост она переросла,
Тянутся ль вам в одно с богатырями!
Попробуйте на нас теперь взглянуть,
Коль не боитесь голову свихнуть!

Страдала Русь в боях междоусобных,
По капле кровью чуть не изошла,
Томясь в борьбе своих единокровных;
Но живуча святая Русь была!
Умнее вы, — за то вам книги в руки!
Правее вы, — то знает ваша честь!
Но знайте же, что и в последней муке
Нам будет чем страданье перенести!
Прошедшее стоит ответом вам, —
И ваш союз давно не страшен нам!

Спасёмся мы в годину наваждений,
Спасут нас крест, святыня, вера, трон!

У нас в душе сложился сей закон,
Как знаменье побед и избавлений!
Мы веры нашей, спроста, не теряли
(Как был какой-то западный народ);
Мы верую из мёртвых воскресали,
И верую живёт славянский род.
Мы веруем, что Бог над нами может,
Что Русь жива и умереть не может!

Писали вы, что начал ссору русской,
Что как-то мы ведём себя не так,
Что честью мы не дорожим французской,
Что стыдно вам за ваш союзный флаг,
Что жаль вам очень Порты златорогой,
Что хочется завоеваний нам,
Что то да сё... Ответ вам дали строгой,
Как школьникам, крикливым шалунам.
Не нравится, — на то пеняйте сами,
Не шапку же ломать нам перед вами!

Не вам судьбы России разбирать!
Неясны вам её предназначенья!
Восток — её! К ней руки простирать
Не устают мильоны поколений.
И властвуя над Азией глубокой,
Она всему младую жизнь даёт,
И возрожденье древнего Востока
(Так Бог велел!) Россией настаёт.
То внове Русь, то подданство царя,
Грядущего роскошная заря!

Не опиум, растливший поколение,
Что варварством зовём мы без прикрас,
Народы ваши двинет к возрожденью
И вознесёт униженных до вас!
То Альбион, с насилием безумным
(Миссионер Христовых кротких братств!),
Разлил недуг в народе полуумном,
В мерзительном алкании богатств!
Иль не для вас всходил на крест Господь
И дал на смерть свою Святую плоть?

Смотрите все — он распят и поныне,
И вновь течёт Его святая кровь!
Но где же жид, Христа распявший ныне,
Продавший вновь Предвечную Любовь?
Вновь язвен Он, вновь принял скорбь и муки,
Вновь плачут очи тяжкою слезой,
Вновь распростёрты Божеские руки

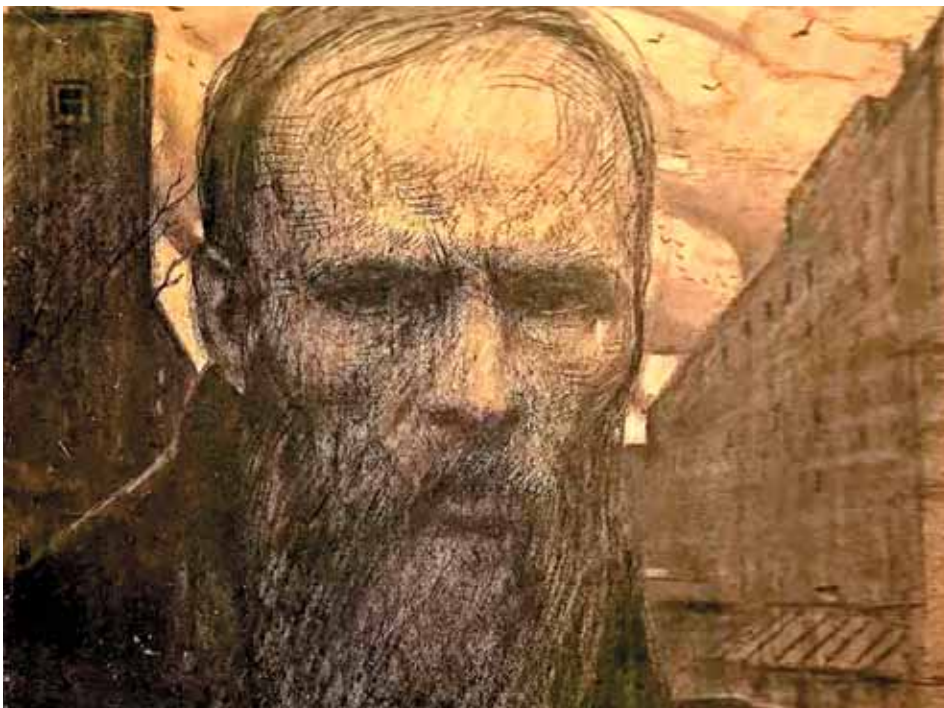
И тмится небо страшною грозой!
То муки братьий нам единовѣрных
И стон церковей в гоненьях беспримерных!

Он телом Божьим их велел назвать,
Он сам, глава всей веры православной!
С неверными на церковь воевать,
То подвиг тѣмный, грешный и бесславный!
Христианин за турка на Христа!
Христианин — защитник Магомета!
Позор на вас, отступники креста,
Гасители Божественного света!
Но с нами Бог! Ура! Наш подвиг свят,
И за Христа кто жизнь отдать не рад!

Меч Гедеонов в помощь угнетѣнным,
И в Израили сильный Судия!
То царь, Тобой, Всевышній, сохранѣнный,
Помазанник десницы Твоея!
Где два иль три для Господа готовы,
Господь меж них, как Сам нам обещал.
Нас миллионы ждут царѣва слова,
И наконец Твой час, Господь, настал!
Звучит труба, шумит орѣл двуглавый
И на Царьград несѣтся величаво!

Начальник III Отделения Л. В. Дубельт не дозволил публикацию политического преступника, и стихотворение залегло в архиве; лишь в 1883 году, после смерти писателя и гибели «царя-освободителя», оно было напечатано в приложении к «газете-журналу» «Гражданин», редактором которого десять лет назад был автор стихов.

Какую реакцию вызвала эта публикация у «прогрессивной» части интеллигенции, говорят следующие факты. В 1889 году бывший союзник Достоевского, тоже «политический», поляк Шимон Токаржевский заканчивает книгу «Семь лет каторги», где в ядовитых красках изображает Достоевского: «в его натуре заложено было стремление отнять у каждого народа... всё великое, прекрасное и благородное, с целью доказать парадоксальную мысль о превосходстве русского народа над народами всего света». Источником ослепляющей ненависти Токаржевского вряд ли были стѣршиеся в памяти разговоры с Достоевским сорокалетней давности (в процитированных словах узнаётся типично-злостный перевѣртыш утверждаемой Достоевским «всечеловечности» русского народа). В тенденциозном описании мемуариста автор «Бедных людей» выглядит мелкотравчатым шовинистом, с бранью кидающимся на бедного поляка, однако в «Записках из подполья» самого Достоевского мы, напротив, видим, как он отнёсся к своему оппоненту как к «славному молодому человеку». Непосредственный источник озлобления Токаржевского, судя по всему, не в полузабытых каторжных спорах, он обнаруживает себя в следующем примечании мемуариста: «Недаром же он (Достоевский),



Автор портрета — И. Глазунов

по отбытии каторги и определении в военную службу, когда началась Крымская кампания, написал из Семипалатинска стихотворение, в котором до небес прославил Николая I и усиленно хлопотал о напечатании его в газетах. Быть может, он надеялся таким путём снискать уменьшение наказания, а может быть, мечтал за дифирамб получить и награду» («Исторический вестник», 1908, № 4, с. 192–193). Прочитать стихотворение Токаржевский мог только в 1883 г., впечатления от него, видимо, и сформировали карикатурное изображение Достоевского якобы «по памяти».

Заметим, в свою очередь, что соратники Токаржевского, укрывшиеся от российской юстиции в дружественной Турции, в 1853–1854 гг. радостно приветствовали агрессию Европы. Выступление Достоевского, конечно же, было им «не по шерсти».

В 1835 г. известный учёный Л. П. Гроссман в «Литературном наследстве» публикует ценные архивные материалы (в том числе два других «политических» стихотворения романиста), сопровождая их своей статьёй под звучным двусмысленным заголовком «Гражданская смерть Ф. М. Достоевского». Приведу обобщающее суждение: «Стихотворение “На европейские события” полностью выражает новое, по сравнению с концом 40-х годов, политическое исповедание Достоевского. Его можно было бы определить как некий церковно-монархический империализм (“Спасут нас крест, святыня, вера, трон!”). Основа русской международной политики, согласно этой концепции, в христианстве».

Согласимся, что есть в этом суждении исторически точные координаты, вот только главная ось их выводит к идейно преступному, на

языке эпохи, понятию «империализм», да и «христианство» означало вредную утопию.

По-своему глубокое понимание высказано и в другом наблюдении Гроссмана: «Направление это, отвечавшее основным воззрениям Достоевского, *сложившимся в детстве и молодости* (курсив мой. — В. В.), стало отныне органическим и бессменным фундаментом всей его литературно-философской активности... Но первое выражение они нашли в неожиданной стихотворной форме его сибирских гимнов». Указание на семейные корни консерватизма писателя само по себе кажется несомненным и поныне, вот только следующая классово-идеологическая инвентаризация «застряла» в своей эпохе: «происходит возврат Достоевского “к народному корню”, т. е. к религиозно-патриотическим заветам того московского семейного круга, в котором согласно переплетались верноподданнические воззрения крупного купечества и мелкого дворянства». Ярлыки эпохи классовой борьбы, увы, загораживают собою верные догадки учёного. Мы вслед за ним полагаем, что «фундамент» закладывался всем укладом московско-даровского бытия («я происходил из семейства русского и благочестивого»), заговорившего в «сибирском гимне».

Оценка стихотворения Достоевского, прозвучавшая «с той стороны», в обстоятельной парижской биографии писателя, в 1947 г. составленной К. Мочульским, удивительно, но мало чем отличается от предшествующей кондово-советской. Здесь и «вымученные вирши», и «верноподданнические чувства, рассчитанные на немедленную “монаршию милость”», и, как апофеоз, — буквальный повтор гроссмановской формулы «церковно-монархический империализм».

Комментарии к стихотворению, когда оно печаталось в академическом 30-томном полном собрании сочинений писателя, естественно (это был 1972 год) клонились к «прогрессивной» точке зрения и к «функциональному» объяснению: Достоевский, мол, «преследовал прежде всего цель убедить правительственные сферы в своей “благонадёжности”, чтобы вновь открыть себе дорогу в жизнь и литературу». Эта точка зрения практически без изменений перекочевала в комментарий последнего «полного академического» Достоевского (2014 год). В обоих авторитетных изданиях (а также в энциклопедическом словаре 2008 г. «Достоевский: сочинения, письма, документы») акцент делается на «вынужденном», «искусственном» значении политических ямбов Достоевского. Действительно, ссыльный писатель через их публикацию надеялся получить право дальнейшего печатания своих произведений, право, необходимое ему как воздух. Кто, мол, осудит его за это, даже если он пойдёт на сделку с властью имущими и потрафит им (Гроссман так и определяет: «*хвалебная ода*»). Сторонники этой точки зрения забывают одно обстоятельство: Достоевский после многолетнего молчания впервые намеревался выйти на публику, и заново зазвучавшее слово знаменитого и «пострадавшего» писателя, он это прекрасно понимал, не могло не обратить на себя общее внимание. Достоевский вполне мог предугадать и реакцию «прогрессивной общественности»: она, в лютой ненависти к царствующему деспоту (Николаю I), с вожделием ожидала поражения России, тому есть множество свидетельств. На этом фоне

публикация стихотворения, на которую решился Достоевский, была мужественным поступком *публичного исповедания веры*. Обвинения же в ангажированности впоследствии его таки не миновали. Писатель имел право с чистой совестью публично ответить на них: «Может быть, я... надеялся выиграть где-нибудь en haut lieu <в высших сферах>? Но когда и кто может сказать про меня, что я заигрывал или выигрывал в этом смысле в каком-нибудь lieu, то есть продавал своё перо» («Дневник писателя» 1873 г., глава «Нечто личное»).

Но вернёмся к стихам Достоевского. Оригинальное их перепрочтение в 1986 и 2004 гг. предпринял И. Л. Волгин. Поставив низкие баллы Достоевскому-поэту, он тем не менее разглядел у него хитроумную деконструкцию высокого одического стиля: то была, мол, всего-навсего «демонстрация приёма», «автор намеренно собрал все цветы одической речи», «Достоевский создаёт своего рода литературные “обманки”. Это действительно “очень плохие” стихи, но зато прекрасные жанровые имитации», которые «обретали пародийный оттенок». Представляя Достоевского этаким литературным шалуном, кажется, «заигрался» сам исследователь (в духе модной тотальной карнавализации).

Попытки серьёзной интерпретации «оды» (на самом деле, это жанровое определение, навязанное Гроссманом, вряд ли работает, не лучше ли говорить: инвектива) предприняли в последнее время В. Н. Захаров и Г. В. Федянова. «В стихотворении, — пишет В. Н. Захаров, — выражено представление о России как об опоре и надежде Православия», «мотив помощи угнетённым единоверцам», балканским славянам, подчёркивает Г. В. Федянова. Всё это верно, но несколько общо. Следует признать, что политические стихи Достоевского до сих пор не прочитаны «до конца», т.е. не получили внятного реального исторического комментария, несмотря на републикации в составе научно комментированных изданий. Некоторые места остаются «тёмными» для современного читателя. Остановимся на них.

С чего взялась всесветная беда?
Кто виноват, кто первый начинает?
Народ вы умный, всякой это знает,
Да славушка пошла об вас худа!

«Беда» началась со спора за ключи от межконфессионального храма Рождества Христова в Вифлееме: Турция, под нажимом Франции, передала ключи в исключительное ведение католиков, чем нанесла оскорбление православным грекам, прежде владевшим ключами. «Народ вы умный» — французы. «Худая славушка» — вероятно, из-за череды революций и захватов власти. Так, следуя примеру одноимённого дядюшки, Наполеон III установил авторитарный полицейский режим, а 2 декабря 1852 г. провозгласил себя императором, разумеется, «с согласия народа».

Писали вы, что начал ссору русской,
Что как-то мы ведём себя не так,
Что честью мы не дорожим французской,
Что стыдно вам за ваш союзный флаг,

Что жаль вам очень Порты златорогой,
Что хочется завоеваний нам,
Что то да сё... Ответ вам дали строгой,
Как школьникам, крикливым шалунам.

Речь идёт о переписке Наполеона III и Николая I, сразу же попавшей во все газеты. Обвинение России в развязывании европейской войны было абсолютно беспочвенным (как бы теперь сказали, фейковым): Е. В. Тарле в фундаментальной истории Крымской войны убедительно доказал, что Николай I хотел «разобраться» только с Турцией, но никак не рассчитывал на войну с Европой и до последнего, обманутый лукавством европейских дипломатов, не верил в возможность такой войны. Луи Наполеон в своём послании к Николаю утверждал, что блистательная Синопская победа русского флота над турецким («Порта златорогая» — Турция, Золотой Рог — бухта в черте Константинополя-Стамбула) «затронула знамя» союзных войск Франции и Англии, т.к. одержана была на море, контролируемом союзниками. «Получила удар наша военная честь», — пышно выразился французский император. О стремлении русских к «завоеваниям» на все лады трубила европейская печать, Наполеон-малый только повторил этот расхожий аргумент. «Ответ строгой» русского царя был бескомпромиссным: «Что бы Вы ни решили, Ваше Величество, но не увидят меня отступающим перед угрозами. Я имею веру в Бога и в моё право, и я ручаюсь, что Россия в 1854 году та же, какой была в 1812».

312

Следующие две строфы — переход от Франции к Англии, и Достоевский идёт на решительное расширение темы — говорит о роли России вообще на Востоке, прежде всего в Азии. Нетрудно увидеть здесь зародыш геополитических идей, которые Достоевский в полную силу и пророчески развернёт в «Дневнике писателя», особенно в предсмертном выпуске 1881 года, где предложит «новый принцип» развития русской цивилизации: «Азия наш исход, там наши богатства».

О действиях Англии на подконтрольном азиатском континенте в стихотворении сказано с отчётливым намёком, до сих пор не раскрытом комментаторами:

Не опиум, растливший поколение,
Что варварством зовём мы без прикрас,
Народы ваши двинет к возрожденью
И вознесёт униженных до вас!
То Альбион, с насилием безумным
(Миссионер Христовых кротких братств!),
Разлил недуг в народе полуумном,
В мерзительном алкании богатств!

Достоевский намекает на так называемые Опиумные войны в Китае 1840–1850-х гг., подстрекаемые англичанами, в том числе под прикрытием миссионерской деятельности: ради экономического закабаления древнего народа была по существу организована эпидемия наркомании. Западных братьев стихотворец приравнивает за это к «жиду, Христа

распявшему ныне». Спровоцированную европейцами Крымскую войну Достоевский также предлагает рассматривать в христианском контексте.

Русский царь, как и его предшественники на троне, считал себя обязанным покровительствовать православным народам Балканского полуострова, угнетённым мусульманской Портой («муки братий нам единомерных/ И стон церквей в гоненьях беспримерных!»), тогда как европейские державы видели в том лишь политику захвата новых земель. Достоевский настаивает на религиозном смысле сложившейся исторической коллизии, когда христианина пошёл убивать «христианин — защитник Магомета». В этом контексте важен ещё один оставшийся нерасшифрованным намёк:

Мы веры нашей, спроста, не теряли
(Как был какой-то западный народ)...

«Какой-то западный народ», скорее всего, Албания, обменявшая под владычеством Турции Христа на Магомета. «Передовое мясо» воинствующего ислама в центре Европы ещё покажет себя, т.к. смена веры, о которой говорил Достоевский, в исторической перспективе стала миной замедленного действия.

Меч Гедеонов в помощь угнетённым,
И в Израили сильный Судия!

Гедеон — библейский герой, один из суровых, непримиримых «судий», которых Бог время от времени давал Израилю для очищения падающих нравов и спасения от внешних врагов. Гедеон разбил войско мадианитян, но прежде он разрушил жертвенник Ваала, которому стали поклоняться израильтяне, забыв свою веру («Книга судей Израилевых», гл. 6–8). Достоевский сравнивает с Гедеоном Николая II, это сравнение «академическим» комментаторам представляется вынужденным и едва ли не лицемерным: ведь Николай II подверг петрашевцев слишком суровому наказанию (инсценировка смертной казни, каторга, солдатчина, лишение всех прав). Между тем последующие обращения Достоевского к этой исторической фигуре свидетельствуют, что он не затаил зла на своего гонителя. Формула «и в Израили сильный Судия» выражает его новое отношение к самодержавной власти, её назначению.

Где два иль три для Господа готовы,
Господь меж них, как Сам нам обещал.

Выражение Иисуса: «Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то, чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного, ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них» (Мф. 18, 19–20).

Звучит труба, шумит орёл двуглавый
И на Царьград несётся величаво!

Двуглавый орёл, герб православной Византии, падшей под натиском турок-мусульман, стал гербом Руси при Иване III, так что созданный Достоевским образ имеет смысл возвращения Константинополю (Царь-граду) исконного исторического значения столицы православия. Идею эту Достоевский наиболее полно развернёт на страницах «Дневника писателя» 1876–1877 гг. Его постулат «Константинополь — рано ли, поздно ли, должен быть наш» оказался наиболее «проблемным» (пророчество или утопия?) и горячо обсуждаемым (осуждаемым).

Прочитав стихи брата, Михаил Достоевский написал ему без обиняков: «Стихи не твоя специальность». Но тот уже упредил: «Может быть, я успею написать очень скоро одну статью о России, патриотическую». Отбросив, как шелуху, стихотворную форму, мысль перетекла в более органичное для автора русло, сохранив бурлящее течение «политического памфлета». Статья о России тогда не была дописана, Достоевский с сожалением остановился на полпути: «...вряд ли позволили бы мне начать моё печатание с памфлета, несмотря на самые патриотические идеи... Сильно занимала меня статья эта! Но я бросил её». Впрочем, брошенных «сильных» замыслов не бывает, они так или иначе найдут себе выход. Что и случилось с «патриотическими идеями» семипалатинского мыслителя в солдатской шинели.

В письме А. Н. Майкову 18 января 1856 г., то есть когда писалась статья о России, Достоевский дал оценку стихам адресата, навеянным событиями Крымской войны (напечатанным в периодике, а затем включенным в сборник «1854-й год»). «Читал Ваши стихи и нашёл их прекрасными; вполне разделяю с Вами *патриотическое* чувство нравственного освобождения славян. Это роль России, благородной, великой матери, святой нашей матери. Как хорошо окончание, последние строки в вашем “Клермонтском соборе”! Где Вы взяли такой язык, чтоб выразить так великолепно такую громадную мысль? Да! разделяю с Вами идею, что Европу и назначение ее *окончит Россия*. Для меня это давно было ясно».

«Давно» — т.е., очевидно, в сороковые годы, когда не только в славянофильском кружке или у Тютчева вызревала идея о славянской и всемирной миссии России. Последние строки «Клермонтского собора», надолго запомнившегося Достоевскому: «нас отныне Бог избрал творить его святую волю <...> из России ледяной ещё невиданное выйдет Гигантов племя». В стихотворении Достоевского «На европейские события в 1854 году» не исключено влияние майковского «Клермонтского собора» (напечатанного в первом варианте в журнале «Отечественные записки», 1854, № 3, цензурное разрешение 3 марта). Роль России в «европейском концерте», вероятно, была основной темой и не дошедшей до нас первой политической статьи Достоевского.

Отметим ещё, что выступление России против Турции трактовалось Достоевским-стихотворцем исключительно в христологическом ключе («Вновь язвен он, вновь принял скорбь и муки... То муки братий нам единоверных»). Перед нами первый акт христологии писателя, особенно очевидный на фоне православно-патриотической риторики многочисленных поэтических откликов на Крымскую войну. Устойчивое мнение, что Достоевский следовал здесь «формулам и клише русской периодической печати», «готовым идеологическим клише», требует пересмотра. Как

нетрудно заметить, тема найдёт продолжение в «Дневнике писателя» 1876–1877 гг., когда вновь с убийственной монотонностью повторится расстановка сил между восточнохристианским — с одной стороны, и западнохристианским и мусульманским миром — с другой.

Тогда, в 1853–1856 гг. идея «освобождения славян» не прозвучала в полную силу: Россия с неимоверными усилиями держала оборону на собственных рубежах. Поражение в войне заставило того же Майкова уже в конце 1856 г. критиковать собственную поэтическую версию событий как «мечты о России, рисование того, что должно бы быть, при закрытых глазах на то, что есть». В этом отношении более адекватным смыслу происходящих событий оказалось не опубликованное тогда, но распространявшееся во многих списках послание А. С. Хомякова «К России» (1854), призванной «на брань святую» за братьев, и в то же время полной «всякой мерзости»:

О, недостойная избранья,
Ты избрана! Скорей омой
Себя водою покаянья...

Парадоксальное соединение мотивов избранности и покаяния («говения») повторится затем в публицистике Достоевского 1876–1877 гг. «Русская идея», таким образом, была ориентирована не только на идеал, но и на отступившую от него реальность. Конкретизация этой диалектики как в литературном, так и в общественно-политическом контексте составила наиболее проблемную часть так называемого Восточного вопроса у Достоевского.

* * *

Начало 1860-х гг. — первая кульминация объединительного, соборного духа Достоевского: он выступает одним из создателей почвенничества, программы воссоединения образованного общества с народом. Реальную, не утопическую возможность «слияния сословий» предоставила сама эпоха реформ, прежде всего крестьянской. Почвенничество явилось на свет в тот краткий начальный период, когда значительную часть русского общества объединила потребность перемен. Так исторически сложилось кратковременное национальное согласие, «всеобщее духовное примирение». Почвенники почувствовали в этом исторический шанс для России. Достоевский в программе журнала «Время» предлагал даже вспомнить прецедент, реально состоявшийся «случай соединения — двенадцатый год».

Основание для консолидации Достоевский находил в духовном строе национального бытия: «В русском характере замечается резкое отличие от европейского... способность всепримиримости, всечеловечности». Этот «инстинкт всечеловечности» формировался всем ходом русской истории, добавляет Достоевский, — «ещё с славянских времён». Лексический ряд «славянин», «славянский» в словоупотреблении Достоевского в 60-е годы указывал в основном на родовое происхождение «русско-го». В этой связи происходит некая реабилитация слова сравнительно

с функционированием его в лексиконе писателя сороковых годов. «На нашей памяти, — самокритично признаётся публицист “Времени”, — как мы бранили себя славянами за то, что не могли сделаться теперешними европейцами. Неужели же нельзя сознаться теперь, что мы тогда говорили вздор?»

Славянская натура, по Достоевскому, исторически сложилась более открытой, доверчивой, примиряюще-терпимой к «чужому». Эту женственную мягкость, пластичность можно было осудить как бесформенность, безличность, но Достоевский увидел здесь особого рода преимущество. На бытовом уровне ему симпатизирует некая атрофия мстительности: «действует славянская природа наша, которой всего бы только поскорей выругаться, да тем и покончить (а чего доброго, так даже тут же и помириться)». В плане всемирно-историческом Достоевский уповает на «новый, братский, всемирный союз, начала которого лежат в гении славян».

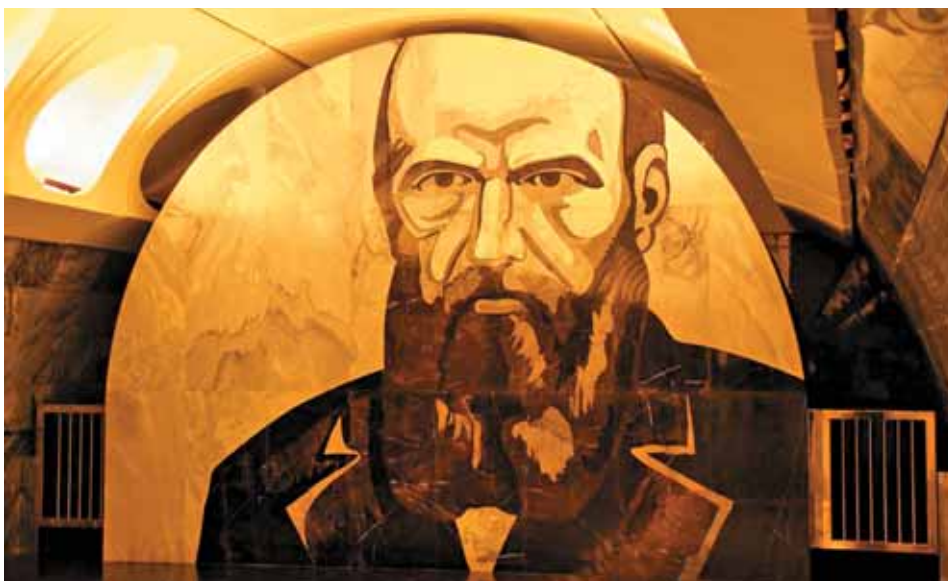
Приведённые цитаты взяты из «Дневника писателя» 1877 г., но такого рода взгляды кристаллизовались уже в начале шестидесятых годов. Подводя итог трёхлетней (1861–1863) деятельности журнала «Время», Достоевский чётко сформулировал сложившееся у него убеждение: «русская земля скажет своё новое слово, и это слово, может быть, будет новым словом общечеловеческой цивилизации и выразит собою цивилизацию всего славянского мира». Как видим, Достоевский питал определённые надежды на «славянский мир», полагая его наиболее последовательным выразителем «общечеловеческой цивилизации».

8 сентября 1863 г. Достоевский пишет брату из Турина: «Скажи Страхову, что я с прилежанием славянофилов читаю и кое-что вычитал *новое*». 18 сентября уже самому Страхову из Рима: «Славянофилы, разумеется, сказали *новое слово*, даже такое, которое, может быть, и избранными-то не совсем ещё разжёвано». Судя по записным книжкам этого времени, Достоевский особенно внимательно изучает религиозно-философские труды Хомякова. Важный этап формирования историософских взглядов Достоевского – знакомство с книгой Н.Я. Данилевского «Россия и Европа». Прочитав первые четыре главы книги Данилевского, Достоевский 18 (30) марта 1869 г. пишет Страхову: «Да ведь это — будущая настольная книга всех русских надолго... Она до того совпала с моими собственными выводами и убеждениями, что я даже изумляюсь, на иных страницах, сходству выводов; многие из моих мыслей я давно-давно, уже два года, записываю, именно готовя также статью и чуть не под тем же заглавием, с точно такую мыслью и выводами». Действительно, даже раньше, чем за два года, в записных тетрадях Достоевского появляются заметки, опережающие некоторые идеи Данилевского. Так, в набросках «политической статьи» 19 августа 1864 г. Достоевский фиксирует мысль, с которой впоследствии начал свою книгу Данилевский: «Entente cordiale. Поплатилась покамест Дания. Но на Восточном вопросе они согласны против России». Именно сопоставление Шлезвиг-Голштейнского и Восточного вопросов наводит Данилевского на мысль о разделении России и Европы не только политическом, но и цивилизационном, как двух различных культурно-исторических типов. Сходное соображение (в основе которого лежали идеи ранних славянофилов) Достоевскому пришлось

в голову за пять лет до чтения книги Данилевского: «Наша цивилизация и европейская. Не хотим европейской. Всё различие: Вера, Будущее ...Падение идеала в Европе». Конгениальны у Достоевского и Данилевского некоторые политические прогнозы и комбинации, в частности, рекомендация русским дипломатам играть на разногласиях европейских держав, не вмешиваясь в них до времени. В главном же своём долгосрочном прогнозе Достоевский по существу формулирует фундаментальные положения, на которых держится и концепция Данилевского: «Прежнее построение Европы искусственно-политическое всё более и более падает перед стремлением к национальным народным построениям и обособлениям... Построиться иначе — может быть, главная задача 19-го века. Тогда-то и возможны будут правильные международные отношения, и догадаться, может быть, народы, что не следует мешать друг другу и интриговать друг против друга. Потому что каждая нация, живя для себя, в то же время, уже тем одним, что *для себя* живёт, — для других живёт. (NB. Каждая нация принесёт свою часть развития в общенародное целое и проч.)».

Идея национальной политики, изложенная Данилевским, с энтузиазмом поддержана и подхвачена Достоевским. В этом смысле книга «Россия и Европа» для автора «Дневника писателя» и в 70-е годы останется «правильной» и «превосходной». Однако уже с самого начала наметились и существенные расхождения. Под концепцию русской национальной политики как борьбы с Европой Данилевский подводит теоретическую базу — учение о культурно-исторических типах. Так, современная цивилизация являет собой противоборство двух культурно-исторических типов, германо-романского и славянского. Племенное их различие порождает не только общественно-политические, но и религиозно-духовные коллизии. Славянскому «четырёхосновному» типу в книге Данилевского оказано несомненное предпочтение: он более способен к синтезу всех предшествующих завоеваний цивилизации, он соприроден христианству. Достоевский в шестидесятые годы и позднее достаточно далёк от исключительного этнологического подхода (напротив, разделяя его с Данилевским люди с первоначальным, как и у него, естественнонаучным образованием — Н. Н. Страхов, К. Н. Леонтьев).

В 1864 г., когда Достоевский вновь работает над «политической статьёй», слово «славянский» он вообще не употребляет. Противостояние Европы и России в конечном итоге сводится к иной дилемме: «социализм и христианство», «лучиночки и братство». Наброски статьи «Социализм и христианство» являются пролегоменами ко всему последующему творчеству писателя и публициста. Утрата западной индивидуалистической цивилизацией христианских начал констатируется и в книге Данилевского, но для него это уже вторичный признак сформировавшегося германо-романского этноса. Его взгляд на значение религии в истории в основном прагматичен: «средство» славян с христианскими ценностями представляется ему лишь дополнительным аргументом в пользу данного культурно-исторического типа. Герой романа «Бесы» Шатов, в одном из эпизодов почти цитирующий Данилевского, заслуживает справедливый упрёк оппонента: «Вы Бога низводите до простого атрибута народности».



Художник И. Николаев. Панно с портретом Достоевского на станции метро «Достоевская» в Москве

Своё «сомнение» и «страх» Достоевский выразил уже в цитированном письме к Страхову 18 (30) марта 1869 г.: «Я всё ещё не уверен, что Данилевский укажет в полной силе окончательную сущность русского призвания, которая состоит в разоблачении перед миром русского Христа, миру неведомого и которого начало заключается в нашем родном православии». Впоследствии, уже прочитав всю книгу, Достоевский сетует в письме к А. Н. Майкову 9 (21) октября 1870 г., что автор «России и Европы» не дотянул до мысли «об исключительно-православном назначении её <России> для человечества», ныне «потерявшего Христа». Заметим кстати, что и самое понятие человечества, столь важное для Достоевского в его размышлениях о судьбе России, отвергается Данилевским как пустая абстракция: есть автономно развивающиеся культурно-исторические типы и нет органически соединяющего их *целого*. На этом «разрыве» играет Данилевский, что и понятно: его сверхзадача лежит в сфере политической прагматики и во многом (но не во всём) близка Достоевскому в плане формирования национальной политики России ввиду близорукого европоцентризма российской внешнеполитической доктрины. Однако Достоевский, в отличие от Данилевского, старается не потерять «общечеловеческой» перспективы. Крайности прагматизма (в политике, говорит Данилевский, «не может быть другого правила, как око за око, зуб за зуб») Достоевскому особенно чужды, и он скорее склоняется к тому, что Вл. Соловьёв позднее назовёт «христианской политикой».

В конце 1870 г. на пороге нового этапа взаимоотношений России и Европы Достоевский, вслед за Данилевским, признаёт значение надвигающегося Восточного вопроса и выстраивает целую программу действий, диктуемую печальным опытом Крымской войны: «мне кажется, нам нечего бояться даже и внешних политических потрясений, например

европейской войны за славян, хотя дело страшное: мы одни, а они-то все. Дают теперь нам обстоятельства года два или три наверного мира — поймём ли наше положение? Приготовимся ли? Настроим ли дорог и крепостей? Заведём ли ещё хоть миллион штук оружия? Станем ли твёрдо на окраинах, и решатся ли у нас на реформу в подушном наборе и рекрутчине? Вот чего надо, а прочее, то есть русский дух, единение — всё это есть и будет...»

* * *

1875 год принёс новое обострение славянского вопроса. В июне началось восстание в Герцеговине, а в начале августа — в Боснии. Петербургский славянский комитет, членом которого был Достоевский, обратился в министерство иностранных дел с просьбой разрешить благотворительные сборы в пользу герцеговинцев. 25 августа было получено высочайшее разрешение. Параллельно в Париже был образован Международный комитет помощи повстанцам, однако материальная помощь из западноевропейских стран скоро стала иссякать. Напротив, помощь из России нарастала по мере обострения Балканского кризиса. Важную роль сыграла энергическая поддержка со стороны русской православной церкви, императорской семьи (прежде всего императрицы и наследника). Общественный вождь движения И. С. Аксаков отметил другую важную составляющую: «Две трети пожертвований внёс... бедный, обременённый нуждою, простой народ».

В 1876 г., когда восстали Болгария, Сербия, Черногория, когда стали известны ужасные подробности турецких зверств в Болгарии, накал славянских симпатий в России достиг наивысшего градуса. Повсеместно в храмах служились молебны, звучали проповеди в защиту единоверцев. На Балканы пошли эшелоны с добровольцами. Началось — подчеркнём это — широкое общественное движение в поддержку братьев-славян. Россия, да и никакая другая страна, ещё не знала такой силы общего порыва, рождённого чувствами сострадания и справедливости. Политики и всегда любили козырять этими чувствами, но никогда политические движения из них не произрастали. В России 1876 года формировалась новая историческая реальность, и Достоевский был именно тем человеком, который оказался конгениален этой новой реальности.

В июньском выпуске «Дневника писателя» 1876 г. автор в первый раз подробно остановился на сущности так называемого Восточного вопроса. В ближайшие полтора года этот вопрос всецело завладеет «Дневником писателя». «Мы стоим накануне “последней развязки”», — таково ощущение Достоевского, возможно, единственного, кто так воспринял надвигающиеся события. Наконец-то, полагал он, «Россия осмелится сказать своё новое слово в общечеловеческом деле». Славянская идея, как её формулирует писатель, это «жертва, потребность жертвы, даже собою за братьев, и чувство добровольного долга сильнейшему из славянских племён заступиться за слабого, с тем, чтоб... основать впрямь великое всеславянское единение во имя Христовой истины».

Слова эти вняты и по душе всякому, кто принял в себя Христа. Достоевский, однако, хочет быть понятым и людьми неверующими, в том

числе и «резвомыслеящими», кто превыше всего ставит расчёт выгод. Для них он подбирает иные, рациональные аргументы: «Но, однако, в чём выгода России? Выгода России именно, коли надо, пойти даже и на явную невыгоду, на явную жертву, лишь бы не нарушить справедливости. Не может Россия изменить великой идее, завещанной ей рядом веков и которой следовала она до сих пор неуклонно. Эта идея есть, между прочим, и всеединение славян, но всеединение это — не захват и не насилие, а ради всеслужения человечеству. ...в этом самоотверженном бескорыстии России — вся её сила, так сказать, вся её личность и всё будущее русского назначения».

«Великодушие» — возможно, самое частотное слово в славянской публицистике Достоевского, идущее ещё от лирики А. Н. Майкова периода Крымской войны и тогда же, в письме Достоевского к Майкову, отмеченное как глубочайшая народная черта. «Победить великодушием» — так звучит кратчайшая из его максим. Основание её лежит в племенных свойствах исторически сложившегося национального характера, но не только и даже не столько. Существует, по Достоевскому, более глубокая и сильная корневая система — религиозная.

В июльско-августовском «Дневнике писателя» 1876 г., соблюдая некоторую осторожность, автор передаёт вымышленному герою — «парадоксалисту» — самые интимные свои чувства и надежды. Парадоксалист признаётся, что не очень-то жалуется в Восточном вопросе внезапно явившуюся «любвеобильность» русского общества: «Я боялся, чтоб с нас всё это братство вдруг как-нибудь не соскочило». Страх alter ego Достоевского оказался не напрасным. Но не колебания так называемого общественного мнения и тем более официальной конъюнктуры вселяют надежду в парадоксалиста. Образовалось — «внезапно» (за этим ироническим словечком скрылась неуверенность говорящего, затем преодоленная) — некое ожидаемое и взыскуемое Достоевским единство нации, «согласие-то это наше всеобщее». Образовалась, вернее, открылась фундаментальная основа этого спасительного для России и славянства единения. «Вся земля русская вдруг заговорила и вдруг своё главное слово сказала. Солдат, купец, профессор, старушка божия — все в одно слово. И ни одного звука, заметьте, об захвате, а вот, дескать: “на православное дело”. Да и не то что гроши на православное дело, а хоть сейчас сами готовы нести свои головы. И опять-таки, заметьте, что эти два слова: “на православное дело” — это чрезвычайно, чрезвычайно важная политическая формула и теперь, и в будущем. Даже можно так сказать, что это формула нашего будущего».

Как видим, два истока представшей перед Россией задачи выделяет Достоевский: это «великая идея, завещанная ей рядом веков», т.е. полученное ею наследие Византии, православная вера, а затем, что не менее важно, сохранение этого наследия в народном сознании. «В простом, многомиллионном народе нашем и в царях его, идея освобождения Востока и церкви Христовой не умирала никогда. Движение, охватившее народ русский прошлым летом, доказало, что народ не забыл ничего из своих древних надежд и верований». Что касается «царей», Достоевский в отдельной главе апрельского «Дневника писателя» 1877 г. «Мнение „тишайшего” царя о Восточном вопросе» приводит двухвековой дав-

ности эпизод слёзного сокрушения царя Алексея Михайловича по поводу страдания единоверцев под мусульманским игом. Увы, дальше слёзного сокрушения в Восточном вопросе в конечном итоге не пошёл и Александр П. Что же касается народных чаяний, то и здесь суждение Достоевского может быть, да и многократно было оспорено. Среди современников самым сильным его противником, пожалуй, выступил Л. Н. Толстой, устами своего героя (Левина в «Анне Карениной») заявивший, что в массе своей русский народ «не имеет ни малейшего понятия» о Восточном вопросе и потому все разговоры о «воле народа» не более чем спекуляция политиков.

Достоевский болезненно воспринял скептицизм Толстого, признанного «учителя общества», и посвятил ему более половины июльско-августовского «Дневника писателя» 1877 г. «Не воля народа обозначилась, — уточнял он важнейший момент спора, — а великое сострадание его, во-первых, во-вторых, ревность о Христе, а в-третьих, собственное как бы покаяние его, вроде как бы говения...» Способность русского народа к покаянию, воспитанная веками православной веры, составляет, по Достоевскому, одну из фундаментальных черт национального характера. В этом и прежде всего в этом писатель видит залог великого будущего для России. Славянский вопрос, как он полагает, явился едва ли не промыслительно. Полтора десятилетия, прошедших после освобождения крестьян, принесли народу «увеличившееся пьянство, умножившихся и усилившихся кулаков, кругом себя нищету, на себе нередко звериный образ... И вот вдруг раздаётся голос об угнетении христиан, об мучениях за церковь, за веру... — всё это потрясло народ. ...со стороны народа было как бы всеобщее умилённое покаяние, жажда принять участие в чём-то святом, в деле Христовом, за ревнующих о кресте его, — вот всё, что было».

Картина, нарисованная Достоевским, тонким знатоком русского народа, убедительнее позитивистского в своей основе скептицизма Толстого. «Очистительное и покаянное дело» совершалось на глазах творца величайших — очистительных и покаянных — страниц русской литературы, но свой своя не познаша. Что же говорить о «чистых» позитивистах вроде А. Н. Пыпина, с удовольствием повторившего скептические толстовские доводы насчёт непросвещённости народа. Верность угаданной Достоевским истины можно подтвердить многими свидетельствами русской прессы того времени. Приведу лишь одно, зато принадлежащее наблюдателю честному и чуткому, к тому же не разделяющему политических взглядов Достоевского. В корреспонденции «Из Белграда» Глеб Успенский передаёт реплику русского старика-добровольца из крестьян по поводу собравшейся в Константинополе конференции европейских государств: «А что же христианство-то смотрит?» Просвещённый журналист встаёт в тупик: «Поистине я глубоко смутился от этого простого вопроса... освещённого искреннейшим гневом живых, умных, выразительных глаз. И что я мог *серьёзно* ответить этому серьёзно проникнутому делом человеку, этой неломанной, нетёсанной Святой Руси? “Что же христианство-то смотрит?” Этот поистине грозный вопрос и сейчас звучит в моих ушах». Любопытно, что корреспондент предвидит реакцию «просвещённых» читателей: «таких стариков нет», — и сам далее



*Памятник Ф.М. Достоевскому в селе Даровое.
Фото Александра Дудкина, 2015 г.*



ПРОРОКИ - ОТЕЧЕСТВО

С. С. Пестель

чуть ли не впадает в тон Достоевского: «Русский человек не верит, т.е. отвык ценить свою собственную мысль... чтобы... простой мужик мог рассуждать и поступать».

Позиция Успенского хотя бы самокритична, и потому он не может не подтвердить объективную истину, содержащуюся в «славянской идее» Достоевского. Однако в либерально-интеллигентской среде выступления писателя чаще всего оценивались по-другому. Характерный эпизод описан в воспоминаниях Г. К. Градовского. Достоевский в разговоре с ним настаивал: «У России две великие задачи: христианская православная и славянская... Россия умалится, изменит самой себе, если усомнится в своей миссии, умоет руки, подобно Пилату». От подобных речей, признаётся Градовский, у него отпала охота участвовать в «дальнейших прениях»: «в воздухе слышалась мистическая струя... Запахло кровью». Вот, собственно, два главных предубеждения либерального сообщества, с которыми пришлось столкнуться Достоевскому: «мистика» и «кровь».

В марте 1877 г. Достоевский констатирует важнейший из «пораженческих» факторов славянского движения: «Высшая просвещённая часть народа, интеллигенция его, как у нас, так и на Востоке (в славянских странах. — *В. В.*), мало-помалу стала к идее православия равнодушнее, стала даже отрицать, что в этой идее заключается обновление и восхождение в новую, великую жизнь как для Востока, так и для России. В России, например, в огромной части её образованного сословия перестали и даже как бы отучились видеть в этой идее главное назначение России, завет будущего и жизненную силу её». Последствия не заставили себя ждать. «Явились идеи экономические характера западного, явились новые учения политические, явилась новая нравственность, стремившаяся поправить прежнюю и стать выше её». В этих условиях и в этом-то состоянии духа русская интеллигенция и «не поверила» искренним православным побуждениям своего народа. Пацифистские настроения взошли на этой почве, ценностно истощённой.

Духовную катастрофу интеллигентного героя, попавшего в славянский котёл, опять же честно и объективно передаёт Глеб Успенский в рассказе «Не воскрес». Его герой Долбёжников умом понимает, что вся эта добровольческая «история», в которую он ввязался, исходит «из глубины народа», где «в холоде и бедности живут же вот какие-то идеи, спасающие общество от гибели». Однако идеи эти не спасают его, Долбёжникова, и потому в Сербии он видит только смерть и кровь, «которая якобы кого-то освежает» (стрела, пущенная в адрес Достоевского). Герой Успенского здесь подаёт руку толстовскому Левину. Чуть позже, вернувшись с русско-турецкой войны, трагическую душевную сумятицу русского интеллигента, утрату ценностных ориентиров передаст в своих рассказах Всеволод Гаршин.

Исповедуемая Достоевским очистительная нравственная сила народной войны ещё более ушла в тень, когда после официального вступления России в войну с Турцией на неё обрушилась череда поражений. Сказались те беды, которых так боялся Достоевский (не хватило не только двух-трёх лет, но и шести): неподготовленность армии, слабость технического вооружения, стратегии и тактики. Несчастный штурм Плевны 30–31 августа 1877 года унёс жизни 43 тысяч русских и 3 тысяч румын,

при том что турки потеряли только 3 тысячи. Громадных потерь стоили перестройка «на ходу» всей русской военной стратегии и последовавшие наконец победы. Смешанные чувства, владевшие русским обществом — на грани национальной славы и трагедии, — выразил в своих полотнах художник Верещагин («Шипка-Шейново. Скобелев под Шипкой», «Побеждённые. Панихида», 1878–1879).

Русские войска, в который раз продемонстрировав беспримерный героизм, подошли к «воротам Царьграда». Наступил «момент истины» для всей русской и славянской истории. Так, во всяком случае, понимал дело Достоевский, аккумулировавший логику истории и современных событий в лозунге «Константинополь должен быть наш». Не для захвата и не для удовлетворения политических амбиций, — не устал повторять автор «Дневника писателя», справедливо опасаясь не быть понятым своим и будущим веком, — а для восстановления единства православных сил, готовых послужить всему человечеству. Утопия ли это? На соседних страницах того же «Дневника писателя» разворачиваются историософские коллизии «Сна смешного человека». Мы понимаем: горе нам, если мы посмеёмся над «смешным человеком». Но ведь «Константинополь должен быть наш» — писала та же рука.

В литературе вопроса, особенно в советский период, сложилось мнение, что Достоевский вольно или невольно поддерживал политику русского самодержавия в Восточном вопросе. При этом предполагалось, что самая эта политика была вполне однозначной и непротиворечивой. Многочисленные исследования российских историков последних десятилетий открывают картину куда более сложную. Не было единства, и уж особенно по поводу Константинополя, в самых высших правительственных кругах. Имела место проевропейская политика сдержек и компромиссов А. М. Горчакова, однако настойчиво заявляла себя и политика активных прославянских действий Н. П. Игнатьева. Был поддерживавший Горчакова Александр II, заранее давший Европе обещание не брать Константинополя, но были и сочувствующие Игнатьеву государь-наследник и великий князь Николай Николаевич, главнокомандующий армией. Достоевский если и выражал чью-то политическую линию, то, конечно же, не горчаковскую «арию» в «европейском концерте». Победа горчаковской партии часто трактуется как возобладание трезвого реализма над несбыточными утопиями. В исторической перспективе, когда развернулись все последствия принятого политического решения, стала яснее близорукость «реалистов» и дальнорукость «утопистов».

Взяв Константинополь, Россия рисковала ввергнуться в европейскую войну с непредсказуемым результатом (следует отметить не такой уж и плохой для России баланс сил на европейской арене, о чём писал и Достоевский). Более спокойной и предсказуемой для правящей российской элиты показалась трусливая политика компромиссов. Добровольно отказавшись сыграть свою роль до конца, Россия тем самым теряла историческое лицо. Самоотверженность «за други своя» народа и его армии кончилась банальной европейской делёжкой, крохи которой достались и Российскому государству. Кто знает, сколько весят обманутые народные чаяния на весах истории? Начавшуюся вскоре деморализацию русской армии, унижительно остановленной политиками у открытых во-

рот Константинополя, описывают очевидцы. Предвидя такой поворот событий, Достоевский предупреждал: если народ «увидит новые смуты и новый разлад, то будет слишком потрясён, и, может быть, глубоко отзовется и на нём, и на всём быте его всякий новый исход дела... Одним словом, этот страшный Восточный вопрос — это чуть не вся судьба наша в будущем».

Нравственные потери, кажущиеся не столь важными рядом с так называемыми материальными затратами, в исторической перспективе оказываются куда более разрушительными. Требуется осознать, что потеряла тогда Россия под стенами Константинополя. «Просыпалась великая идея, вознёсшая, может быть, сотни тысяч и миллионов душ разом над косностью, цинизмом, развратом и безобразием, в которых купались до того эти души», — утверждал автор «Дневника писателя». Лучшая школа для нации закрывалась.

Функции этой школы переходили к русской литературе. Неслучайно в «Дневнике писателя» рядом с Восточным вопросом поднимается вопрос об «Анне Карениной» как *факте* всемирного значения. В перерывах между войнами, в своей парадоксальной манере замечал Достоевский, очистительную и духовно-подъёмную роль берёт на себя искусство. Так на смену Славянскому проекту у Достоевского выступал Пушкинский проект созидания национальной культуры. Не убедив современников проповедническим словом, писатель не сложил, а только сменил на время оружие: он перешёл на поле художественного «проектирования». Из недр Славянского проекта выступало здание величайшего христианского романа «Братья Карамазовы».

Собственно говоря, и Славянский-то проект Достоевского заключался в созидании первичных, т.е. духовных основ русского общества. Помощь братьям-славянам, восстановление попорченной веры — эти духоподъёмные цели ещё способны были поднять с колен и саму Россию. «Нации живут великим чувством и великою, всех единящею и всё освещающею мыслью. России дано было познать это «величайшее счастье в жизни наций». Оно было недолгим не по вине народа, ещё пока «ревнующего к “делу Божию”», что вселяло надежду и давало Достоевскому столь необходимую точку опоры. Проект, не состоявшийся в данных исторических обстоятельствах, ещё мог состояться в долгосрочной перспективе.

* * *

В 1830 г. Пушкин записал, обращаясь к современному историку: «Не говорите: *иначе нельзя было быть*. Коли было бы это правда, то историк был бы астроном и события жизни человечества были бы предсказаны в календарях, как и затмения солнечные». Далее приводится пример: из XVIII века были предсказаны «камера французских депутатов и могущественное развитие России», но никто бы не мог предсказать явление на историческую сцену Наполеона. Короче говоря, можно было угадать (Пушкину нравилось именно это слово), даже гениальному угадчику, лишь общий вектор действия, но не конкретные его ходы, повороты, сроки.

В связи с этим соображением находится у Пушкина другая важная мысль: «Россия никогда ничего не имела общего с остальной Европою;

...история её требует другой мысли, другой формулы». Вопрос, что это за «другая формула». Недавно была предложена небезосновательная расшифровка: «Россия призвана изживать историческое зло, закрывая от него Европу и принимая удар на себя» (*И. Сураг. Пушкин и назначение России*// Новый мир, 2005, № 6). Что и говорить, формула в таком исчислении (от Пушкина же и идущая) работает исправно применительно ко многим поворотным этапам истории: спасение Европы от татаро-монгольской орды, от всемогущества Наполеона и Гитлера и, наконец, российская «прививка от коммунизма». Но значит ли это, что «другая мысль» русской истории имеет лишь отрицательную ценность? Тем более что собственный «проект» Пушкина при этом аттестуется как «надсословная монархическая утопия, основанная на христианских ценностях». Слово «утопия» одно из наиболее востребованных в современном научно-публицистическом обиходе и, так сказать, уже без берегов. Вопрос, надо ли называть утопией предположение, которое реально не состоялось, но, объективно говоря, могло состояться.

Возвращаясь к цитированной выше заметке Пушкина о втором томе «Истории русского народа» Н. Полевого, обратим внимание на начальную ключевую фразу, в свете которой идут все последующие соображения поэта и историка: «Величайший духовный и политический (замечательное сочетание, предвещающее явление Достоевского. — *В. В.*) переворот нашей планеты есть христианство. В сей-то священной стихии исчез и обновился мир». За восемь лет до этого в «Заметках по русской истории XVIII века» Пушкин, сетуя на пренебрежение к духовному сословию, с глубоким чувством и столь же глубоким пониманием восклицает: «Жаль! ибо греческое вероисповедание, отдельное от всех прочих, даёт нам особенный национальный характер».

От характера не уйдёшь, но нивелировать его, особенно угнетая центры памяти, вполне возможно. Славянский проект Достоевского, к слову сказать, и был рассчитан на пробуждение генетических стереотипов в целом народе (помните, «на православное дело»). Достоевский в них поверил, а вот Толстой, увы, нет, и в этом разладе духовно-интеллектуальных сил нации заключалась, может быть, главная наша беда. Достоевский прекрасно понимал всю остроту общественной ситуации и всю силу сопротивления предлагаемому проекту: «тут действительно будет нечто особое и неслыханное; это будет не одно лишь политическое единение и уж совсем не для политического захвата и насилия... Нет, это будет настоящее воздвижение Христовой истины, сохраняющейся на Востоке... Это будет именно соблазн для всех сильных мира сего и торжествовавших в мире доселе..., даже не понимающих, что можно серьёзно верить в братство людей, во всепримирение народов, в союз, основанный на началах всеслужения человечеству, и, наконец, на самом обновлении людей на истинных началах Христовых».

Всё сказанное можно подверстать под рубрику «хилиазм» и успокоиться. Не на то рассчитывал автор «Дневника писателя». Этот жанр, придуманный Достоевским, вообще рассчитан был на пробуждение в современном, как бы теперь сказали, продвинутом читателе чего-то такого, что оказалось «задвинуто» прагматическим веком на задворки сознания. И что в начальном выпуске «Дневника писателя» 1876 г. на-

звано: «золотой век в кармане». Он, этот золотой век, «эта мощь есть в каждом из вас, — уверяет автор, — но до того глубоко запрятанная, что давно уже стала казаться невероятною». Говоря другими словами, которые Достоевский из осторожности не употребляет, образ Божий есть в каждом, только записан каким-то другим изображением. Работа, которую производит Достоевский своим «Дневником писателя», напоминает труд реставратора. Практический же совет его прост: достаньте золотой век, залежавшийся в вашем кармане, и пустите его в оборот.

Глобальность Славянского проекта Достоевский постоянно призывает, т.е. сводит на уровень отдельного человека. Это анекдот о «молчаливом человечке», что откладывал деньги из скромного жалованья и выкупал на волю крепостных рабов, это мужик Марей с поразительной «материнской улыбкой», это Фома Данилов, мученик за веру, это «общечеловек» доктор Гинденбург, в одиночку разрешивший «еврейский вопрос», это, наконец, «новые русские женщины», на долю которых выпадет «спасительное обновление русского общества». Позитивный ряд публицистики Достоевского не выглядит многочисленным на фоне описанной им же общей смуты в семье и обществе, но он-то и позволяет глобальным предначертаниям утвердиться на реальных жизненных основаниях. Проективная природа «Дневника писателя» перетекает затем в роман «Братья Карамазовы». Во время работы над ним автор заявляет: «Если удастся, то сделаю дело хорошее: *заставляю сознаться...* что христианство есть единственное убежище Русской Земли от всех зол».

Достоевский «заставил сознаться», возможно, и не такое уж большое количество своих читателей, но именно они чуть позже сформировали новое качество общественного сознания, получившего название русского религиозного ренессанса. Славянский проект вновь возродился в их трудах. В статье «Лик и личины России», опубликованной в январе 1917 г., Вяч. Иванов поставил задачу «углубить смысл коренного различия, полагаемого Достоевским между жизнестроительством, основанным на вере в Бога, и безбожным». Исходом первого, по убеждению мыслителя-поэта, и должна стать «борьба за Царьград». Очень скоро уже на новых развалинах этого проекта и вместе с тем на развалинах старой России состоятся диалоги «На пиру богов» (1918) С. Н. Булгакова. Один из героев, либеральный Дипломат, прокляв проект, предаст анафеме и самого Достоевского, «рокового для России человека», который «богоносца-то сочинил». Логика героя проста: если в революцию народ пошёл не за «лучшими умами нации», а за большевиками, которые «обещают “жрать”, а не крест на Софии», следовательно, правы всё-таки большевики в своих воззрениях на народ. Впрочем, у Булгакова в его платоновских диалогах есть и другой герой, Писатель, продолжающий, в духе Достоевского, верить, что народ «до этого революционного заповя... бывал христоролюбив и светел, жертвенен и прекрасен». Взамен цинического реализма Писатель предлагает иную версию революционных событий: «Россия духовно отравлена именно через уклонение от своего исторического долга. ...народ наш поклонился красной тряпке и золотому тельцу».

Читатель булгаковских диалогов должен сам избрать, кто ему ближе, но совершенно очевидно, что «симфоническая» истина ведёт автора не

просто к реабилитации Достоевского, но к *расширению* его идей в новом историческом контексте. Эту непростую и не лишённую срывов и падений работу ума и души Булгаков продолжает, оказавшись в Константинополе вместе с русскими эмигрантами как будто по какой-то злой иронии истории. Так, впрочем, не думает сам Булгаков, усматривающий провиденциальный смысл в неудаче всех предшествующих попыток вернуть христианам царьградскую Софию, этот «вселенский, абсолютный храм вселенского творчества и вселенской Церкви». Времена для этого, полагает он, ещё не пришли, но ведь и «история не кончена», а потому следует прислушаться к мудрому старообрядческому поверью, «что София будет восстановлена в конце мира».

О временах и сроках спорить трудно, но вот уже и на наших глазах началась новая историческая эпоха, зашёл новый разговор «на пиру богов» — и вновь замаячили контуры Славянского проекта Достоевского. Бомбардировки Белграда при «самосберегающем» молчании России — падение во тьму и Запада, и Востока, пиррова победа политики над моралью. Многое (если не всё) и сегодня упирается опять-таки в Россию, в её позицию, в её *возможности*. Прислушаемся к Достоевскому: «Мы ...всегда верили в нравственность вечную, а не условную на несколько дней».

Что же касается возможностей... Чаадаев, пишущий второе философическое письмо, когда «на Босфоре и на Ефрате прогремел гром наших пушек» (очередная победа русского оружия, завершившаяся не взятием Константинополя, а заключением Адрианопольского мира 1829 г.), заключал из сего факта: «Дело в том, что значение народов в человечестве определяется лишь их духовной мощью и что то внимание, которое они к себе возбуждают, зависит от их нравственного влияния в мире, а не шума, который они производят».

Как бы соглашаясь с этой максимой, Достоевский параллельно «славянской идее» предъявил миру... «Анну Каренину», гениально доказующую, что люди *могут* жить по законам «нравственности вечной». «Если у нас есть литературные произведения такой силы мысли и исполнения (на ту же чашу весов Достоевский вскорее положит и своих «Братьев Карамазовых». — *В. В.*), то почему у нас не может быть *впоследствии* и *своей* науки, и своих решений экономических, социальных... Всё остальное есть вопрос истории, обстоятельств, условий времени».

* * *

А что же славянское-то братство и его всечеловечность? Самые слова эти ныне отдают нестерпимо-горькой утопией не меньше, чем «Константинополь будет наш». Впрочем, Достоевский уже стоял у начала тех процессов, которые теперь обрели катастрофические размеры. 138 лет назад им были сказаны пророческие слова: «По внутреннему убеждению моему, самому полному и непреодолимому — не будет у России, и никогда ещё не было, таких ненавистников, завистников, клеветников и даже явных врагов, как все эти славянские племена, чуть только их Россия освободит, а Европа согласится признать их освобождёнными! ...Начнут же они, по освобождении, свою новую жизнь

именно с того, что выпросят себе у Европы, у Англии и Германии (США ещё не проявились. — *В. В.*), например, ручательство и покровительство их свободе... с того, что внутри себя, если не прямо вслух, объявят себе и убедят себя в том, что России они не обязаны ни малейшею благодарностью, напротив, что от властолюбия России они едва спаслись... Может быть, целое столетие, или ещё более, они будут беспрерывно трепетать за свою свободу и бояться властолюбия России; они будут заискивать перед европейскими государствами, будут клеветать на Россию, сплетничать на неё и интриговать против неё». Естественно, возникал вопрос, зачем же было тогда России брать на себя тяжкую, кровавую ношу освобождения «братушек». Ответ Достоевского исполнен высшей исторической мудрости, с трудом понимаемой и поныне: «Если нации не будут жить высшими, бескорыстными идеями и высшими целями служения человечеству, а только будут служить одним своим “интересам”, то погибнут эти нации несомненно, окаменеют, обессилеют и умрут. А выше целей нет, как те, которые поставит перед собой Россия, служа славянам бескорыстно и не требуя от них благодарности, служа их нравственному (а не политическому лишь) воссоединению в великое целое. Тогда только скажет всеславянство своё новое целительное слово человечеству...» («Дневник писателя», 1877, ноябрь).



*Усадебный дом в имени Достоевского — Даровое.
Фото Александра Дудкина, 2015 г.*

МУЖИК МАРЕЙ



Фёдор Михайлович Достоевский (1821–1881) — неотъемлемая часть нашей «зарайской истории». В Даровом, под Зарайском, находилось имение его отца, где семейство проводило летние сезоны. Юный Фёдор многожды проезжал через Коломну и Коломенский край, видел и посещал наши святыни.

Для коломенцев его воспоминания о Даровом особенно дороги. Ведь наш город связан с Зарайском тысячами нитей со времён глубокого средневековья. Не случайно сегодня преподаватели и студенты Коломенского ГСГУ шефствуют над Даровым!

Рассказ «Мужик Марей» помещён в «Дневнике писателя» и нечасто публикуется в качестве отдельного произведения. Меж тем он поистине бесценен для всех читателей, чей взор направлен «окрест Коломны».

Рассказ

И о все эти professions de foi¹, я думаю, очень скучно читать, а потому расскажу один анекдот, впрочем, даже и не анекдот; так, одно лишь далёкое воспоминание, которое мне почему-то очень хочется рассказать именно здесь и теперь, в заключение нашего трактата о народе. Мне было тогда всего лишь девять лет от роду... но нет, лучше я начну с того, когда мне было двадцать девять лет от роду.

Был второй день светлого праздника. В воздухе было тепло, небо голубое, солнце высокое, «тёплое», яркое, но в душе моей было очень мрачно. Я скитался за казармами, смотрел, отсчитывая их, на пали крепкого острожного тына, но и считать мне их не хотелось, хотя было в привычку. Другой уже день по острогу «шёл праздник»; каторжных на работу не выводили, пьяных было множество, ругательства, ссоры начинались поминутно на всех углах. Безобразные, гадкие песни, майданы с картёжной игрой под нарамами, несколько уже избитых до полусмерти каторжных, за особое буйство, собственным судом товарищей и прикрытых на нарах тулупами, пока оживут и очнутся; несколько раз уже обнажавшиеся ножи,— всё это, в два дня праздника, до болезни истерзало меня. Да и никогда не мог я вынести без отвращения пьяного народного разгула, а тут, в этом месте, особенно. В эти дни даже начальство в острог не заглядывало, не делало обысков, не искало вина, понимая, что надо же дать погулять, раз в год, даже и этим отверженцам, и что иначе было бы хуже. Наконец в сердце моём загорелась злоба. Мне встретился

¹ Исповедания веры (франц.)

поляк М-цкий, из политических; он мрачно посмотрел на меня, глаза его сверкнули и губы затряслись: «Je hais ces brigands!»² — проскрежетал он мне вполголоса и прошёл мимо. Я воротился в казарму, несмотря на то, что четверть часа тому выбежал из неё как полоумный, когда шесть человек здоровых мужиков бросились, все разом, на пьяного татарина Газина усмирять его и стали его бить; били они его нелепо, верблюда можно было убить такими побоями; но знали, что этого Геркулеса трудно убить, а потому били без опаски. Теперь, воротясь, я приметил в конце казармы, на нарах в углу, бесчувственного уже Газина почти без признаков жизни; он лежал прикрытый тулупом, и его все обходили молча: хоть и твёрдо надеялись, что завтра к утру очнётся, «но с таких побоев, не ровён час, пожалуй, что и помрёт человек». Я пробрался на своё место, против окна с железной решёткой, и лёг навзничь, закинув руки за голову и закрыв глаза. Я любил так лежать: к спящему не пристанут, а меж тем можно мечтать и думать. Но мне не мечталось; сердце билось беспокойно, а в ушах звучали слова М-цкого: «Je hais ces brigands!» Впрочем, что же описывать впечатления; мне и теперь иногда снится это время по ночам, и у меня нет снов мучительнее. Может быть, заметят и то, что до сегодня я почти ни разу не заговаривал печатно о моей жизни в каторге; «Записки же из Мёртвого дома» написал, пятнадцать лет назад, от лица вымышленного, от преступника, будто бы убившего свою жену. К стати прибавлю как подробность, что с тех пор про меня очень многие думают и утверждают даже и теперь, что я сослан был за убийство жены моей.

Мало-помалу я и впрямь забылся и неприметно погрузился в воспоминания. Во все мои четыре года каторги я вспоминал бесперерывно всё моё прошедшее и, кажется, в воспоминаниях пережил всю мою прежнюю жизнь снова. Эти воспоминания вставали сами, я редко вызывал их по своей воле. Начиналось с какой-нибудь точки, черты, иногда неприметной, и потом мало-помалу вырастало в цельную картину, в какое-нибудь сильное и цельное впечатление. Я анализировал эти впечатления, придавал новые черты уже давно прожитому и, главное, поправлял его, поправлял бесперерывно, в этом состояла вся забава моя. На этот раз мне вдруг припомнилось почему-то одно незаметное мгновение из моего первого детства, когда мне было всего девять лет от роду, — мгновенье, казалось бы, мною совершенно забытое, но я особенно любил тогда воспоминания из самого первого моего детства. Мне припомнился август месяц в нашей деревне: день сухой и ясный, но несколько холодный и ветреный; лето на исходе, и скоро надо ехать в Москву опять скучать всю зиму за французскими уроками, и мне так жалко покидать деревню. Я прошёл за гумна и, спустившись в овраг, поднялся в Лоск — так назывался у нас густой кустарник по ту сторону оврага до самой роши. И вот я забился гуще в кусты и слышу, как недалеко, шагах в тридцати, на поляне, одиноко пашет мужик. Я знаю, что он пашет круто в гору и лошадь идёт трудно, и до меня изредка долетает его окрик: «Ну-ну!» Я почти всех наших мужиков знаю, но не знаю, который это теперь пашет, да мне и всё равно, я весь погружён в моё дело, я тоже занят: я выламываю себе ореховый хлыст, чтоб стегать им лягушек; хлысты из орешника так красивы, и так

² «Ненавижу этих разбойников!» (франц.)

непрочны, куда против берёзовых. Занимают меня тоже букашки и жучки, я их собираю, есть очень нарядные; люблю я тоже маленьких, проворных, красно-жёлтых ящериц, с чёрными пятнышками, но змеек боюсь. Впрочем, змейки попадают гораздо реже ящериц. Грибов тут мало; за грибами надо идти в березняк, и я собираюсь отправиться. И ничего в жизни я так не любил, как лес с его грибами и дикими ягодами, с его букашками и птичками, ёжиками и белками, с его столь любимым мною сырым запахом перетлевших листьев. И теперь даже, когда я пишу это, мне так и послышался запах нашего деревенского березняка: впечатления эти остаются на всю жизнь. Вдруг, среди глубокой тишины, я ясно и отчётливо услышал крик: «Волк бежит!» Я вскрикнул и вне себя от испуга, крича в голос, выбежал на поляну, прямо на пашущего мужика.

Это был наш мужик Марей. Не знаю, есть ли такое имя, но его все звали Мареем, — мужик лет пятидесяти, плотный, довольно рослый, с сильною проседью в тёмно-русой окладистой бороде. Я знал его, но до того никогда почти не случалось мне заговорить с ним. Он даже остановил кобылёнку, заслышав крик мой, и когда я, разбежавшись, уцепился одной рукой за его соху, а другою за его рукав, то он разглядел мой испуг.

— Волк бежит! — прокричал я, задыхаясь.

Он вскинул голову и невольно огляделся кругом, на мгновенье почти мне поверив.

— Где волк?

— Закричал... Кто-то кричал сейчас: «Волк бежит»... — пролепетал я.

— Что ты, что ты, какой волк, померещилось; вишь! Какому тут волку быть! — бормотал он, ободряя меня. Но я весь трясся и ещё крепче уцепился за его зипун и, должно быть, был очень бледен. Он смотрел на меня с беспокойною улыбкою, видимо боясь и тревожась за меня.

— Ишь ведь испужался, ай-ай! — качал он головой. — Полно, родный. Ишь малец, ай!

Он протянул руку и вдруг погладил меня по щеке.

— Ну, полно же, ну, Христос с тобой, окстись. — Но я не крестился; углы губ моих вздрагивали, и, кажется, это особенно его поразило. Он протянул тихонько свой толстый, с чёрным ногтем, запачканный в земле палец и тихонько дотронулся до вспрыгивавших моих губ.

— Ишь ведь, ай, — улыбнулся он мне какою-то материнскою и длинною улыбкой, — Господи, да что это, ишь ведь, ай, ай!

Я понял наконец, что волка нет и что мне крик: «Волк бежит» — померещился. Крик был, впрочем, такой ясный и отчётливый, но такие крики (не об одних волках) мне уже раз или два и прежде мерещились, и я знал про то. (Потом, с детством, эти галлюцинации прошли.)

— Ну, я пойду, — сказал я, вопросительно и робко смотря на него.

— Ну и ступай, а я те вослед посмотрю. Уж я тебя волку не дам! — прибавил он, всё так же матерински мне улыбаясь, — ну, Христос с тобой, ну ступай, — и он перекрестил меня рукой и сам перекрестился. Я пошёл, оглядываясь назад почти каждые десять шагов. Марей, пока я шёл, всё стоял со своей кобылёнкой и смотрел мне вслед, каждый раз кивая мне головой, когда я оглядывался. Мне, признаться, было немножко перед ним стыдно, что я так испугался, но шёл я, всё ещё очень побаиваясь волка,

пока не поднялся на косогор оврага, до первой риги; тут испуг соскочил совсем, и вдруг откуда ни возьмись бросилась ко мне наша дворовая собака Волчок. С Волчком-то я уж вполне ободрился и обернулся в последний раз к Марее; лица его я уже не мог разглядеть ясно, но чувствовал, что он всё точно так же мне ласково улыбается и кивает головой. Я махнул ему рукой, он махнул мне тоже и тронул кобылёнку.

— Ну-ну! — слышался опять отдалённый окрик его, и кобылёнка потянула опять свою соху.

Всё это мне разом припомнилось, не знаю почему, но с удивительной точностью в подробностях. Я вдруг очнулся и присел на нарах и, помню, ещё застал на лице моём тихую улыбку воспоминания. С минуту ещё я продолжал припоминать.

Я тогда, придя домой от Марее, никому не рассказал о моём «приключении». Да и какое это было приключение? Да и об Марее я тогда очень скоро забыл. Встречаясь с ним потом изредка, я никогда даже с ним не заговаривал, не только про волка, да и ни об чём, и вдруг теперь, двадцать лет спустя, в Сибири, припомнил всю эту встречу с такою ясностью, до самой последней черты. Значит, залегла же она в душе моей неприметно, сама собой и без воли моей, и вдруг припомнилась тогда, когда было надо; припомнилась эта нежная, материнская улыбка бедного крепостного мужика, его кресты, его покачиванье головой: «Ишь ведь, испужался, малец!» И особенно этот толстый его, запачканный в земле палец, которым он тихо и с робкою нежностью прикоснулся к вздрагивавшим губам моим. Конечно, всякий бы ободрил ребёнка, но тут в этой уединённой встрече случилось как бы что-то совсем другое, и если б я был собственным его сыном, он не мог бы посмотреть на меня сияющим более светлую любовью взглядом, а кто его заставлял? Был он собственный крепостной наш мужик, а я всё же его барчонок; никто бы не узнал, как он ласкал меня, и не наградил за то. Любил он, что ли, так уж очень маленьких детей? Такие бывают. Встреча была уединённая, в пустом поле, и только Бог, может, видел сверху, каким глубоким и просвещённым человеческим чувством и какою тонкою, почти женственною нежностью может быть наполнено сердце иного грубого, зверски невежественного крепостного русского мужика, ещё и не ждавшего, не гадавшего тогда о своей свободе. Скажите, не это ли разумел Константин Аксаков, говоря про высокое образование народа нашего?

И вот, когда я сошёл с нар и огляделся кругом, помню, я вдруг почувствовал, что могу смотреть на этих несчастных совсем другим взглядом и что вдруг, каким-то чудом, исчезла совсем всякая ненависть и злоба в сердце моём. Я пошёл, вглядываясь во встречавшиеся лица. Этот обритый и шельмованный мужик, с клеймами на лице и хмельной, орущий свою пьяную сиплую песню, ведь это тоже, может быть, тот же самый Марей: ведь я же не могу заглянуть в его сердце. Встретил я в тот же вечер ещё раз и М-цкого. Несчастный! У него-то уж не могло быть воспоминаний ни об каких Мареех и никакого другого взгляда на этих людей, кроме «Je hais ces brigands!» Нет, эти поляки вынесли тогда более нашего! (Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений: в 30 т. Л., 1981. Т. 22. С. 46–50)

Примечания (22; 344–345)

<...> А. М. Достоевский, вспоминая о любви крепостных крестьян к нему и его братьям в их детские годы, писал: «Сцена, с таким талантом описанная впоследствии братом Фёдором Михайловичем в “Дневнике писателя” с крестьянином Мареем, достаточно рисует эту любовь! Кстати о Марее (вероятно, Марке); это лицо не вымышленное, а действительно существовавшее. Это был красивый мужик, выше средних лет, брюнет с солидной чёрною бородою, в которую прибавилась уже седина. Он считался в деревне большим знатоком рогатого скота, и когда приходилось покупать на ярмарках коров, то никогда не обходилось без Марея» (Достоевский А. М. [Воспоминания. Л., 1930], стр. 58–59; Достоевский в воспоминаниях [современников. М., 1964], т. I, стр. 70–71). На основании указаний в тексте эпизод датируется 1831 г. (Гроссман, Биография [Гроссман Л. П. Достоевский. М., 1965], стр. 19). Марей — просторечная форма имени Марий (Н. А. Петровский. Словарь русских личных имён. М., 1966, стр. 151; ср.: Салтыков-Щедрин. [Собрание сочинений: в 20 т.], т. XVII, стр. 434). Среди крепостных, принадлежавших Достоевским, крестьянина по имени Марий не было. По указанию А. М. Достоевского и по устным рассказам, записанным в 1925 году от крестьян бывшего поместья Достоевских, прототипом Марея можно считать крестьянина села Дарового Марка Ефремова, которому в 1835 году было 48 лет (В. С. Нечаева. В семье и усадьбе Достоевских. М., 1939, стр. 67).

К этому же эпизоду из жизни Достоевского восходит в «Подростке» одна сцена из младенческих лет Софьи Андреевны, сохранившаяся в памяти Макара Ивановича Долгорукого: «А то раз волка испугалась, бросилась ко мне, вся трепещет, а и никакого волка не было» (наст. изд., т. XIII, стр. 330; т. XVII, стр. 386).

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

НОВАЯ ВЕСНА ХУДОЖНИКА ГРИНИНА



Шестидесятый год распускается под окном **Евгения Гринина** его майская сирень. С юных лет он был очарован картинами цветущей Коломны. Хотелось запомнить, запечатлеть эту красоту!

Семь лет постигал Евгений азы художества в студии у Н. И. Бодрягина. Но была мечта достигнуть вершин творчества, стать профессиональным живописцем. Тернистым и долгим оказался путь к этой мечте. Институт окончил, когда исполнилось 42 года. А поддержкой в пути стали желание трудиться, здоровое самолюбие и непреодолимая любовь к творчеству. Оставаясь учеником и другом Михаила Георгиевича Абакумова,

Евгений сумел преодолеть художественное обаяние нашего знаменитого мэтра, торжественный пафос его полотен.

Пейзажи Гринина передают не только мощь, но и таинственную тишину, и проникновенный лиризм коломенских просторов. Мастер не замыкается в рамках живописи. Он создаёт, например, и пастели, придавая этой старинной технике неожиданный размах. А что говорить о его заслугах на ниве «Коломенского альманаха»! Для этого достаточно взять в руки любой номер нашего издания.

Художник живёт непрестанной работой. И некогда думать о возрасте, когда вспыхивает за окном живая, благоуханная и трепетная коломенская сирень!

Дорогой Евгений Сергеевич! Поздравляем тебя с новой весной! Пусть Господь дарует тебе силу здоровья, силу духа и силу творчества, которую только Он — Творец — и может нас наделять!

Коллектив редакции

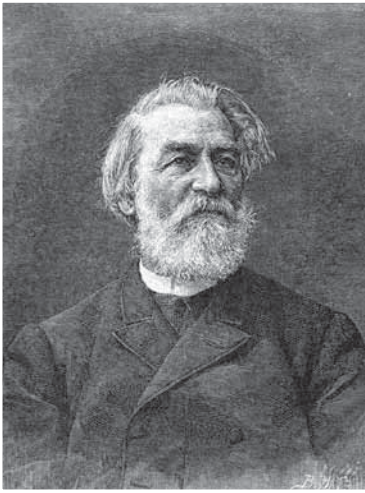
Наше
наследие





Графика Василины Королёвой

Дмитрий Григорович



«К Коломенскому краю имеет отношение творчество типичного русского литератора XIX века Дмитрия Васильевича Григоровича (1822–1900). Многие годы он провёл недалеко от Коломны в родовом имении — в деревне Дулебино. Здесь создал свои лучшие произведения: повести «Деревня» и «Антон Горемыка», рассказы из народного быта «Четыре времени года», «Мать и дочь», «Смедовская долина», романы «Рыбаки» и «Переселенцы». В этих сочинениях можно найти чудесное описание природы нашего края, пейзажи Оки, долины реки Смедвы, упоминания многих сёл и деревень округи. Писатель не раз бывал в Коломне. Здесь, на втором этаже кирпичного дома рядом с церковью Никиты Мученика (ныне улица Посадская, 36), жила его дочь Мария Дмитриевна Черемисинова. Дмитрий Васильевич наезжал к ней зимой, по праздникам».

*А. Кузовкин, И. Маевский.
«Коломна в лицах». М., 1996*

Рассказ

СМЕДОВСКАЯ ДОЛИНА

И од именем «Смедовской лоштинки» поселяне западной и гористой части К*** уезда разумеют небольшую долину, соединяющую две старые водяные мельницы, построенные на самом берегу речки Смедвы. От одной мельницы до другой считается вёрст пять. Но если оставить просёлок, который проходит где-то верхом, спуститься в долину и идти берегом, следуя течению речки, — пройдёшь, без сомнения, вёрст восемь или девять, прежде чем достигнешь до второй мельницы. Смедва, по мере приближения своего к Оке, в которую впадает она за второй мельницей, становится уже и врезывается постепенно глубже и глубже в свои берега. Как бы сознавая скорую кончину свою и сожалея о ней, она изгибается на всевозможные лады, изламывается под самыми острыми углами, стараясь пробежать по возможности большее пространство и налюбоваться вдосталь на живописные холмы, которые смотрятся в её светлые воды. И в самом деле, побывав раз между этими весёлыми, улыбающимися холмами, чувствуешь к ним непреодолимое влечение. Скаты долины, то крутые и покрытые яркою листвою орешника, из которой выбегают кое-где кудрявые, тёмно-зелёные дубки, то выступающие длинными глинистыми языками, усыпанными камнями и перерезанными овражками; то появляющиеся выемками, вроде амфитеатра, и плотно затканые мелким голубоватым кустарником, — следуют на всём протяжении своём прихотливой линии, которую описывает

речка. В ином месте долина расширяется, открывая луг, исполосованный серебряной лентой; мягкая, сочная и лоснящаяся зелень этих лугов подерживается круглый год весенним разлитием Смедвы и стоком дождевой воды с соседних холмов; кое-где высятся серые, остроконечные наметы сена, сберегаемые для зимы; тут же, невдалеке, пасутся спутанные лошади; нередко увидите вы белую, костлявую клячу, которая спит, положив кудлатую голову на красноватые жерди, окружающие сено, между тем как жеребёнок, повернувшись к ней спиной и вытянув узенькую шейку, заливается звонким ржаньем, в полном убеждении, что потерял мать. В ином месте бока долины сходятся так близко, так тесно сжимают речку, что длинные ветви перекосившихся вётел и орешников, покрывающих берег, переплетаются между собой, образуя над водою решётчатые, фантастические своды.

Природа средней полосы России редко представляет совокупление местности, которая бы в общей сложности могла назваться великолепной панорамой; всё ограничивается обыкновенно несколькими лощинами, обросшими лесом и оживлёнными ручьём, или бесконечной гладью полей и лугов с разбросанными кое-где деревушками. Вся прелесть этих видов заключается не столько в общем их очертании, сколько в деталях и тех мелких эпизодах, которые попадают на каждом шагу, но со всем тем редко группируются в одну гармоническую картину.

Смедовская долина усеяна такими эпизодами. Особенно живописной казалась мне всегда левая сторона её: она подымается крутым, полу-круглым хребтом, покрытым кудрявой, роскошной зеленью, и высоко планирует над левой стороною. Тут открываются поминутно светлые расщелины, старые овраги, обросшие нежной травкой и цветами, исполосованные длинными тенями осин и берёз, между стволами которых сверкают на солнце угловатые камни и белый плитняк, служившие когда-то дном потока; попадаются обвалы, обнажающие пёстрые пласты песка, глины и охры; крупные и мелкие корни полуоторванных, висящих в воздухе кустов сползают на эти обрывы косматой бахромой, набрасывая кое-где зубчатую, чёрную тень. Пространство между краем берега и подошвою ската пересекается беспрестанно ключами; то тихо и почти незаметно пробираются они в длинной, густой траве или лозняке, из которого наши рыбаки плетут верши; то звонко журчат между камнями, скатывая их в виде маленьких плотин, снова разрушая свою работу, и вдруг исчезают под кустом или провалившимся, полусгнившим мостиком, то разливаются они на довольно большое пространство, делятся на бесчисленное множество тоненьких рукавов, образуя бесчисленное множество островков, покрытых изумрудной тиной, золотыми макушками куриной слепоты или сплошной голубой скатертью мелких незабудок... Одним словом, я не знаю ничего живописнее этого места.

Узенькая тропинка, изгибающаяся по левой стороне Смедовской долины, составляет любимую мою прогулку; часто без всякой видимой цели я отправляюсь из Хлыщёвки (так величают первую мельницу) и направляюсь к Емельяновке, второй мельнице, где Смедва впадает уже в Оку. В Емельяновке славное молоко и превосходный чёрный хлеб, который кажется ещё превосходнее после восьми вёрст прогулки; истребив того и другого в достаточном количестве, я располагаюсь обыкновенно на

скамье подле плотины, болтаю с дюжими батраками и не менее дюжим хозяином мельницы и смотрю, как опускается солнце за тёмные сосновые леса по той стороне Оки; смотрю, как на реку выбегают тоненькие лодочки рыбаков, как зажигаются огоньки в чуть видных деревушках... Затем я прикутываюсь теплее в шинель и возвращаюсь в Хлыщёвку противоположной стороною долины. Кругом уже всё стихло и смолкло, кроме ручьёв, которые катятся в Смедву; изредка крикнет коростель или дикая утка, притаившаяся в береговой осоке; сладко прислушиваюсь я к чуть внятной лаю собаки, к мерному звяканью в караульную доску, к отдалённому шуму запоздалой крестьянской тележки, скачущей где-то по пыльному просёлку; гляжу не наглядясь на тёмные берега реки, обрамлённые крутыми скатами долины, посеребрёнными полным месяцем, который медленно плывёт по тёмно-синему звёздному небу.

Раз как-то, в конце июля, часов около шести пополудни, я шёл по той самой тропинке, о которой сказал выше. Солнце заметно уже склонилось к западу, так что тропинка, ручьи и весь левый скат окутывались тенью; со всем тем было, однако ж, очень жарко; правая сторона долины, облитая косыми лучами солнца, сообщала, казалось, теплоту самым тенистым частям противоположного берега; тонкий запах шиповника, кашки, медуницы и других полевых цветов, смешиваясь с запахом сырой почвы и тонких лужаек, окаймляющих ручьи, разливался в воздухе с приближением вечера. Круглые, величественные облака, сверкающие как перламутр или кованое серебро, медленно бродили по небу, открывая бесконечные перспективы с синим, прозрачным дном; с каждой секундой долина принимала новые оттенки; густой, местами тёмно-зелёный, местами тёмно-синий колорит тенистой стороны отделяла её резче и резче от пылающего неба и белых облаков; левая сторона окрашивалась между тем пурпуром, и не было, казалось, точки, которая не находилась бы в движении; жёлтая тень оврагов быстро бежала по откосу, превращаясь в розовую и фиолетовую; смолистые стволы деревьев превращались в золото и ярко сверкали между листьями, бросавшими коричневые, сквозные тени. Ветер не трогал ни одним листком, или, лучше сказать, его вовсе не было. Картина оживлялась бесчисленным множеством стрижей — маленьких птичек вроде ласточек; вырываясь из своих кругленьких норок, которыми пробуравлены крутые берега Смедвы, они зигзагами резали воздух; изредка, в вышине показывался коршун; вытянув неподвижно зубчатые крылья свои и управляясь одним хвостом, он водил плавные круги над долиной.

Я был уже на половине пути, когда слуха моего неожиданно коснулось протяжное мычание и хляск копыт по влажной почве, возвещавшие, что неподалёку, за каким-нибудь откосом, находилось стадо. И в самом деле, сделав двадцать или сорок шагов, я увидел стадо, расположившееся по обеим сторонам широкого ручья, шумно вырывавшегося из кремнистого углубления, обросшего высоким орешником, дикой малиной, душистым зорником; хмель и ежевичник переплетали их тонкие прутья; ветка хмеля, упавшая одним концом в воду, трепетно вздрагивала, сбрасывая свои жёлтые цветочки в струйки ручья, быстро изгибавшиеся между плитняком. Крутой скат долины углублялся в этом месте на довольно значительный полукруг и был как будто приплюснут сверху; последнее обстоятельство позволяло двум-трём лучам солнца проникать в углубление, пронизывать

сочную листву, превращая иной лист в сплошное золото, тогда как другой сквозил и принимал яркий цвет изумруда; стадо лежало в тени, и только в одном месте луч солнца сквозил по рёбрам пёстрой коровы и случайно захватывал белую голову её соседки, которая, подогнув под себя ноги и вперив изумлённый взор в какой-то неизвестный предмет, молчаливо жевала жвачку.

Пастух сидел неподалёку на камнях, прикрытых коричневыми лохмотьями сермяжного полукафтаны; он представлял тип тех сухопарых, костлявых старичков, которым нет никакой возможности определить с точностью лета. Черты его исчезали в бесчисленном множестве тонких морщинок, усыпавших его лицо и даже шею, — смуглую, шероховатую, как древесная кора; волосы старика, коротко обстриженные на макушке в виде шапочки, спускавшиеся длинными неправильными космами на лоб и затылок, были между тем черны, как у молодого парня. В редкой, чахлой бороде пастуха сильно пробивалась седина. По одной стороне его лежала плетёная берестовая котомка, и рядом с ней порыжевшая шляпа с тёмно-бурым платком и продолговатой тавлинкой из берёзовой коры. По другой стороне виднелось несколько связок лык, колодка с начатым лаптем и воткнутым в него кочадыком. Старик прервал свою работу, чтобы приняться за полдник, состоявший из огромного сукроя чёрного хлеба, который он пережёвывал с большим трудом, перенося поминутно откушенный кусок с одной щеки в другую; он ел, однако ж, с большим аппетитом; против него, у самых ног, сидела маленькая шершавая собачонка, с исполинскими бровями; она не спускала глаз с хозяина и каждый раз, как тот подносил кусок ко рту, свешивала голову то в одну сторону, то в другую, немилосердно болтая в то же время хвостом.

Я подошёл ближе. Заслышав шаги, собака быстро приподнялась с места и с видом крайней озабоченности побежала вперёд; не подозревая встретить меня за соседним кустом, она вихрем откинулась назад и, метаясь как полоумная вокруг пастуха, залилась неистовым лаем, причём шерсть её стала дыбом и заходила во все стороны.

— Сизой! Сизой! — закричал старик, потрясая в воздухе рукой, вооружённой хлебом. — Сизой!.. экой шальной какой, право, шальной! Цыц! Говорят! Вот я те, погоди!.. Ничего, батюшка, ничего, — подхватил он, обращая ко мне доброе лицо своё, — ступай, не бойся: не тронет; она не злоющая, не кусается...

Сизой заливался с возрастающей энергией. Я подошёл к пастуху и попросил кусок хлеба для собаки.

— Э-э-э, батюшка, нет, от чужого не возьмёт, ни за что не возьмёт! Хоть ты голодом мори её, не возьмёт! Уж такая-то нравная собачонка, такой-то жидёнок, что и-и-и... Сизой! Сизой! Вишь шавель какая! Цыц, котёнок! О-о-о, погоди, погоди, постой, вот я те порасхожу! — заключил старик, нагибаясь к земле и делая вид, что схватывает палку.

Сизой остановился, поглядел недоверчиво на хозяина, медленно перешёл ручей, принял наблюдательную позу и, убедившись наконец, что рука пастуха ощупывала только землю, разразился новым лаем.

— Вот поди ж ты, даром что пёс, а всё смыслит! — сказал старик, ослабляя беззубые дёсны свои и лукаво прищуриваясь, — ведь вот знает же, что не трону... Такой вороватой собачонки, кажись, я и не видывал...

Привычлива больно; в стаде с ней и товарища не надуть: другой раз в лугах либо на пару коровы разбегутся, особенно из молодых, небывалых в стаде; укажи только: Сизой! Глянуть не успеешь — всех в кучу согнал. Такая-то, право, смышлёная, даром что от земли не видишь!..

Сказав это, старик, приложив ладонь ко лбу в виде зонтика, оглянул стадо, погрозил ещё раз Сизому, сел на камень и снова принялся за полдник. Я расположился подле него на траве, и мы разговорились. Из слов старика оказалось, что он нанимался пастухом в деревушке, находившейся верстах в трёх от Емельяновской мельницы.

— Сам-то я не оттолева, — промолвил он, — я из Крапиловки: вот как в город-то едешь, вправо видна белая церковь... большое село такое на самом берегу Оки... Да ты, я чай, Крапиловку-то знаешь?

Я отвечал утвердительно.

— Приволье у нас большое — не то, что здесь, — продолжал словоохотливый старик, — лесу ли, пашни ли, всего много; да и земля-то не здешней чета... вишь, одни крутояры да глина, — промолвил он, указывая на противоположный скат долины, позолочённый солнцем, — А луга-то какие? У нас лугом-то идёшь, идёшь... версты четыре пройдёшь, а всё конце ему нет! Супротив нашей Крапиловки и места такого не найдёшь — всем взяла. Вот разве что насчёт народа... ну, наш поплоче будет здешнего...

— Чем же?..

— Бедовый! Такой-то народ, и-и-и, Боже упаси! Вестимо, коли наш брат отошёл от пашни да пристал к этим фабрикам, добра ждать нечего. Без малого в двадцать лет так перебаловались все, что житья не стало. Да вот, примерно, хошь бы мой парнюха, — один только и есть, — звали его Мишаха — Михайло — не было бы фабрик, не было бы и горя! Баловал, баловал да и добаловался; сам, почитай, пропал да и бабёнку свою погубил; а всё народ сбил с толку...

— Что ж с ним такое случилось?

— Что случилось: сам в бурлаки пошёл, вот уж второй год скоро будет, а меня на старости лет пустил чуть не по миру... Кабы не он, так я рази стал бы так-то наниматься в чужих людях? У меня в Крапиловке-то свой дом есть... Да, — прибавил он после молчка, — было времечко, не чаял, не гадал, что будет он у меня так-то стоять пустёхонек; на всё, знать, воля Божья: сколько ни живи, не знаешь, где найдёшь, где потеряешь...

Старик покачал головой и остановился. Он бросил остаток хлеба Сизому, который лежал, вытянув голову на передние лапы, уложил колодку и лапоть в котомку, засунул лыки за пояс, понюхал табак и стал приготавливаться в дорогу. Натянув на плечи полукафтаны, он опустился на колени у берега ручья, распахнул ладонью руки воду и припал к ней губами; утолив жажду, он перекрестился, надел шляпу и кликнул собаку:

— Сизой, время домой идти... ась? Ну, что, глупый, хвостом-то размахался? Вестимо пора; вишь, солнышко-то где, и не видать отселева... ступай, сделай-ка вот там распорядок!.. — заключил пастух, указывая рукою на двух-трёх коров, гулявших в отдалении у реки.

Сизой полетел стрелой. Немного погодя стадо поднялось с места и, рассеявшись по кустам, начало взбираться по крутому скату долины. Пастух перебрался за спину котомку, взял палку, и мы пошли следом по узенькой

тропинке, местами заслонённой орешником. С этой минуты Сизой уже исчез из виду; до нас долетал лишь голос его, раздававшийся то тут, то там, смотря по тому, в какую сторону направлялось стадо.

Вскоре мы достигли вершины ската; тропинка сливалась незаметно с широким просёлком, изрытым глубокими колеями, который тянулся по одному направлению с долиной; очутившись на нём, с трудом верилось, однако ж, чтобы поблизости могли находиться какие-нибудь признаки живописного местопребывания; справа, с той стороны, откуда мы поднялись, горизонт замыкался кустами; слева расстилались неоглядные глинистые и худо обработанные поля; перед нами клубилось облако пыли, поднятое стадом и зарумяненное косыми лучами солнца.

Некоторое время мы шли молча. Я думал о том, как бы завести разговор о сыне и снохе старика. Иногда бывает так, что ничтожнейший намёк на какое-нибудь событие возбуждает самый сильный интерес; в другое время слушаешь с невозмутимым равнодушием происшествие, действительно заслуживающее внимания; не знаю, происходит ли это вследствие более или менее хорошего расположения духа или по другим причинам, — знаю только, что два-три слова, сказанные стариком по поводу его сына, возбуждали сильнейшим образом моё любопытство. Я хотел уже приступить к расспросам, как вдруг, совершенно неожиданно, старик предупредил меня; болтливый, как все старики, долго жившие в одиночестве, он, видимо, радовался встрече с собеседником; быть может, бедняк по целым дням никого не видал, кроме Сизого.

— Так ты говоришь, знаешь Крапиловку-то? — сказал он, вероятно, с целью возобновить беседу.

— Как же! Не раз даже приводилось бывать.

— Когда ж ты там был? — спросил он, устремив на меня нетерпеливые глаза.

— Нынешней весной...

— Да, в эту пору у нас привольное житьё! — с живостью перебил старик, — особливо, коли ты застал водополье — и, чай, видел, как наши-то по реке погуливают; ведь вот круглый год сидят за станом да челноком постукивают, а как разольётся морем-океаном наша Ока, вёрст на семь от берега до берега, так, небось, работу-то пустую побросают: кто за бредень, кто за вершу, кто за что горазд... Как фабрик этих у нас не было, все мы, от мала до велика, этим рукоделом промышляли; у каждого, бывало, своя лодка; а кто позажиточнее, так по две, либо по три... И то сказать надо, в те поры и рыбы-то было как-то побольше: бывало, день-деньской всё на воде да на воде; ину пору ночь-то в лодке проспшишь; житьё было знатное, не то что здесь; ну, что тут: буераки, крутояры, глина, — промолвил он таким тоном, как будто Смедовская долина была степь и отстояла от Оки на целую тысячу вёрст.

Старик прошёл молча несколько шагов, потом обратился ко мне совершенно неожиданно и сказал:

— А я так вот уж давно в Крапиловке-то не бывал... зимой, от масляной будет два года.

— Что ж так?

— Да так, охоты нет! — отвечал он, тряхнув головой с каким-то особенным выражением. — Иной раз, как словно и потянет тебя: «сходи да

сходи», а придёшь — вот хошь бы в прошлую святую — придёшь, такая-то тоска припадёт к тебе, — лучше бы и не ходил! Промеж чужих людей живёшь, глаз-то тебе никто не колет, а как придёшь к своим, так словно каждый тебя позорит... Вестимо, после того, что в нашей семье прилучилось, не только на людей, да и на дом-то на свой зазорно смотреть... А всё наш народ виною, особливо вот эти фабричные ребята... у-у-у, Боже упаси! Кабы не они, мой бы Мишаха-то жил бы о сю пору в дому, жил бы ладно и безобидно с женой... да и я бы на старости лет, вместо того, чтобы стадо гонять, нянчился бы с ихними ребящёнками, в свободное время ловил бы рыбу в Оке, — и жили бы мы, лиха не чая.

— Что ж такое сделал твой Михайло, что тебе совестно из-за него показаться в Крапиловке? — спросил я.

— А что сделал?.. Вестимо, недоброе дело; да он что: только в бурлаки пошёл да годик потосковал; а вот жалче всего его бабёнку: та совсем пропала, загубил её, лучше бы ей не родиться...

Я стал упрашивать пастуха рассказать мне во всех мелочах и подробностях историю его сына. Старик недолго отнекивался; он, может статься, сам был очень рад высказать то, что в продолжение многих лет не находило случая высвободиться из груди его.

— Этому теперь лет пяток будет, — начал он, — жил я тогда своим домком; хозяйки у меня не было: померла ещё смолоду. Оставила она меня одного с Мишуткой. В ту пору наш народ стал впервые заводиться станами да брать работу на фабриках. Вот и говорят мне: «Дядя Савелий, — говорят, — что ты своего Мишутку держишь в доме? Отпусти его пряжу или шпули мотать: ведь он мал, мал, а в год-то всё добудет тебе рублишков десять... отпусти его!» Хоть и нужда, признаться, была, а такие слова куда пришлись мне не по сердцу. Как, думаю себе, — примерно вот так-то сам с собой раздобариваю, — как, и деды наши, и отцы наши, и прадеды наши были рыбаками, фабричным делом не промышляли, и дело-то, думаю, самое пустое, да и сам-то я весь свой век с бреднем либо с вершей возился, а парнюху моего так бы и отпустить на фабрику! Нет, думаю, погодите, мол: супротив нашего рыбацкого рукомесла не найдёшь другого; привык я к нему сызмаленьку; да и рука у меня счастливая; нет, думаю, не пушу Мишутку, ни за что не пушу на фабрику, пропадай они совсем с их деньгами. Стал я так-то думать, а они опять приступали: «Отпусти да отпусти, лов, — говорят, — год от году плоше да плоше, да и то сказать надо, помощь в нём невесть какая...» Время было в те поры больно тугое, вижу, все у нас, не токмо взрослые — и малые сидят за работой, что, думаю, должно быть уж такие времена пришли; думал, думал да и свернул на ихнее: отдал Мишутку на фабрику богатому соседу — Карпом звали. Стал он у меня шпули мотать. Что говорить напраслину? На первых порах я в нём худого ничего не видал: парнишка был со смыслом, толковый такой; стал он у меня подрастать, живёт год на фабрике, живёт другой, посадили его за стан; ещё годика два прошли... Ну, тут уж пошло совсем не то. Глядишь, мой парнюха-то с девками забавляется, то в трубочку покуривает, то подерётся с кем... Знамо, человек молодой, что увидал, то и самому надо делать! Недаром говорят: за добром идти, что за кладом: три версты пройдёшь да умаешься, а худое-то под рукой лежит; вокруг него народ всё избалованный —

и табашники, и пьяницы, и сволочь всякая фабричная... чем бы к добру настаивать, сами потачку дают! Мне опосля говорили: «Чего ж ты сам-то смотрел!» Чего смотрел, чего смотрел... Чего мне смотреть! Я нешто мало говорил? Иной раз и за вихор возьмёшь, — да впрок не пошло; вестимо, детище-то своё — не чужое: одна рука бьёт, а другая гладит; о-ох, спохватился я, да уж поздно: вижу, совсем избаловался мой Мишак. Вот то-то, глупая-то дурость моя... Что ты станешь делать!.. Вот, батюшка, как я тогда сказал тебе, этому будет назад лет пять. Мишке моему было годов осемнадцать. Сижу я раз под вечер, приходит ко мне Карп Иванов, а Мишка жил уж не у него, у другого хозяина, — приходит, и давай выговаривать: «Уйми, — говорит, — дядя Савелий, парня, ой, уйми, — говорит, — проведаль я, бегаёт он за моей девкой; мотри, не было бы худо!» — «Вестимо, — мол, — Карп Иванович, хорошее ли это дело... я, — говорю, — потачки ему не дам!» Потолковали да и разошлись. В тот же вечер рассказал я всё Мишке: куда тебе! И руками и ногами! отпирается; знать, говорит, не знаю, ведать, говорит, не ведаю, бабы, говорит, натолковали, да и всё тут! И так, бесстыжий, так вот в глаза прямо и смотрит. Я ему веру и дал, и жил я, ничего не чаял, пока не прилучился грех... Что ты станешь делать!.. Прибежал Карп, прибежала жена его, подняли крик, содом такой. «Что, братцы, — говорю я им, — криком дела не поправишь; мы, — говорю, — с вас ничего не просим; отдайте нам девку, отдайте, — говорю, — по крайности хоть сраму на себя не примете...» Покричали, покричали да потом и положили. Сыграли свадьбу и перевезли молодую в мой домишко. Мишутка мой как словно притих; деньденьской работает, из дому не вызовешь; в одну зиму три основы справил. Я, признаться, не ждал большого добра от нашей молодой, а вышло другое: баба вышла такая, что лучше, кажись, и не надеть: смирная, покорная, и уж так-то полюбился ей мой парень, так полюбился, что только и норовит, как бы ему угодить в чём. Ей полюбился мой Мишутка, а она мне добре по нраву пришлась: такая-то была добрая да ласковая бабёнка. Прожил я с ней зиму и так привык, что коли, бывало, уйдёт куда, ждётся не дождёшься: «Куда ушла, — мол, — наша Параша», — только и на уме. К исходу весны родила она дочку. Хозяйство наше было не велико, а как хозяйка-то слегла на время, — и совсем некому стало заправлять домом. Зазвали мы на ту пору батрачку править домом: была она старая девка и проживала на фабрике у Карпа... О-ох, такая была, такая, что и-и... да кто её знал прежде!.. опосля только сведали... Вот, батюшка, с того самого времени, как поступила она, всё пошло у нас не так, как было прежде... И что за человек такой была эта Лукерья, так Боже упаси! Мутит, дурит и не уймёшь ничем; скажешь слово — беда, разлюбуется, и пошла, пошла, хошь из дому вон беги. Завладела всем домом, а пуще того завладела Мишкой... И диковинное это дело! Старая, кривая, а ведь вот влезла же ему в душу: обошла она его, либо другое что, а только души в ней не чаял. Что ни день, ссоры да крик. Чем бы за жену вступиться, Мишка во всём потакает Лукерье... Я и давай выживать её из дому. Как выжил, пошло ещё хуже: встренется с ней на улице либо в другом месте, натребесит, наплетёт она ему невесть что на жену; придёт он домой — и давай, и давай... Уж я и говорил-то ему, и страдал-то всячески — нет! ничего не берёт. Вижу, Параша моя стала сохнуть; ночи не

спит, невесть что бормочет, днём ни с кем ни слова не молвит... И дожили мы до горя, до такого горя, что и вспомянуть так тяжело!.. Взяла это она раз ночью (дело было летнее), взяла своего ребёнка и сбежала с ним невесть куда... На другое утро, хватъ-похватъ, нет Параши, да и полно! Искали, искали, думали: утопилась либо другое что; в городе объявили, — нигде не нашли; так и пропала. Прошёл год — ни слуху, ни духу. Много принял я горя в этот год. Кажинный день вспоминал я нашу бабёнку и больно жалел о ней; жалел также и о внучке; тошней того было смотреть на Мишку. Привязался он к этой Лукерье, — словно околдовала она его, словно зельем каким к себе приворожила; хошь бы раз вспомянул о жене! Точно её и не бывало! Ходил он по-прежнему на фабрику да только жил-то не по-прежнему: стал зачастую хмельным зашибаться; вестимо, вино — враг человеку; что ни выработает, всё пропьёт либо прокантует. Всему научила фабричная жизнь, а пуще того — Лукерья. Совсем сгиб мой Мишаха; я уж и рукой махнул: вестимо, думается, где мне, старику, совладать с ним! Так было до того времени, как случай привёл нам проведать про жену его и ребёнка. Вот как это было. Приезжает к нам, в Крапиловку, под осень купец с красным товаром. Карп Иванов, отец Параши, приводился ему как-то с родни. Заночевал у него купец — человек был старый и кредитный — заночевал да и рассказывает: «Грех, — говорит, — на душу не приму, заподлинно не знаю, а сдаётся мне, видал я вашу Парашу», — говорит, где встретил и где примерно видел, — и место рассказал, где примерно найти её. Дошла эта весть и до Мишки. Вначале ему как словно и нуждушки нет, задурил ещё пуще; потом как словно притих на время. Вот я и говорю ему: «Миша, — говорю, — дурью позасорил ты голову, худым товаром ты торг повёл... рано ли, поздно ли, — говорю, — Господь тебя покарает», — говорю да смотрю на него. Молчит. Опять на день либо на два пропадёт: пьянствует без просыпу, словно горе какое у него на душе. Другой раз неделю целую из дому не выходит. Пить не пьёт, хлеба в рот не берёт; упрётся локтями в стол, сидит — с места не тронется. Сидит он так-то раз да и говорит мне: «Батюшка, — говорит, — за что я погубил её!» — «Кого, — говорю, — погубил?» — «Парашу погубил, — говорит, — каюсь, — говорит, — пред людьми и перед Господом!..» И стал он тут припомянуть своё прежнее житьё-бытьё: как полюбились ему Параша и что она ему в ту пору говорила, — слова, кажись, единого не пропустил... Да вдруг, батюшка, как ударится оземь и давай плакать. «Нет, — говорит, — силушки моей нет, совесть замучила... пойду, — говорит, — я к ней, пойду да приведу домой. Жизнь опостылела мне, покаюсь, — говорит, — пред людьми и перед Господом!!» Я до смерти обрадовался; слава Те, Господи, думаю; помолились мы Богу, а на другой день Михайло мой пошёл в дорогу. Шёл он без малого неделю, — шёл словно в потёмках: вестимо, дороги-то хорошо не знал, да и в мошне-то всего один полтинник. Ну, и нашёл он её... О-ох! и вымолвить страшно. Сам опосля мне всё поведал. Вот, батюшка, как дело было: убежала она от нас в другую губернию и нанялась батрачкой в доме у одного богатого мужичка. Страха, что ли, боялась она, а только и выдай себя за вдову! Жила так-то у них полгода и всем полюбились, а пуще того хозяйскому сыну. Что ты станешь делать? Как сделали это дело — не ведаю; а только взяли да и поженились! Ведь

вот какой великий грех вышел! Как проведал Мишаха мой обо всё этом, «так, — говорит, — и грохнулся оземь. Сколько пролежал, не помню». Встал и давай караулить. Выждал; видит, идёт она на речку; он к ней. «И злобы, — говорит, — в ту пору не было у меня никакой; как увидел, словно, — говорит, — отлегло от сердца; и она, — говорит, — словно вздрогнула; стоит, а сама так вот вся и трясётся...» Стал он ей выговаривать: «Знаю, — говорит, — всё про тебя, всё, — говорит, — знаю; я твой погубитель, я стану ответ держать за тебя пред людьми и перед Господом, не поминай, — говорит, — что прошло, пойдём со мной!..» Она не пошла. И говорит это она ему: «Губи меня, — говорит, — губи, коли хочешь, а я с тобой не пойду!» Пришёл мой Михайло назад в Крапиловку, — пришёл весь ободранный, и лица на нём нету. Весь этот день ходил как шальной, слова не молвил. Так пробыл он целую неделю; потом опять запил, загулял, и, кажись, конца этому не было. Пьянствовал, пьянствовал, да и расскажи своим товарищам фабричным про жену свою. А те его надоумили: «Поддай, — говорят, — на неё бумагу...» Он и подал; а как проведал, что жену привезли да посадили в наш острог, чуть с ума не свихнулся; напала на него хвороба-горячка. В это время я не раз в острог наведывался к Параше. Как ни придёшь, бывало, плачет либо молится... И велика грешница; великий грех приняла на душу, а всё жаль. Судили её, судили и повезли в Москву для пересылки. Михайло лежал в больнице; я остался дома один как перст. Тоска такая на меня напала. Ноет моё сердце да и полно: словно змея какая повилась вокруг и сосёт его... Дай, думаю, пойду-ка я в Москву; погляжу-ка ещё раз на Парашу да прошусь с ней. Сборы не Бог весть какие были: взял хлебца, перекрестился да и пошёл. Москва, сам ведаешь, не больно от нас далеке. Пришёл туда я в самые Святки. Спрашиваю, как мне повидаться с ней, с Парашей-то! «Такое-то, — мол, — и такое дело прилучилось». — «Понаведайся, — говорят, — в тюрьму, туда, — говорят, — сродственников-то пускают». Сказали, как и куда пройти. Дорогой купил ей на последние крест; оставалось всего три гроша; что их жалеть, думаю, — купил ей сайку. Прихожу, спрашиваю, а её уж сдали на Воробьёвы горы, в пересыльный замок. «Воскресенье утром, — говорят, — отправлять будут». Дождался воскресенья — и туда; как теперь помнится... сам иду, а сердце-то у меня так вот и ломит, так и ломит... Прихожу. Большущие дома такие настроены, кругом заборы да загородь, стоят везде часовые. Я к ним. «Маленько, — говорят, — запоздал, теперь нельзя, молебствие идёт, а вот обойди, — говорят, — кругом, увидишь ворота, там и жди... скоро поведут, и поведут в те ворота...» Такие добрые, приветливые... «Спасибо, — мол, — братцы, что не отогнали, добром промовили...» Как сказали они, так и сделал. Ощупал пазуху: крестик тут и сайка тут; стою и жду. Влево от меня берёзовая роща, так вот вся и шумит... Ветер был добре велик. По правую руку вся Москва видна; место высокое, — куды против здешнего! В те поры плохо было только видно: снег валом валил да и время было пасмурное. Вот, слышу, загремели ворота! вывели ссыльных; смотрю, и Параша моя тут: белёхонька как извести, лица нету, стоит, сердечная, словно убитая. Я пододвинулся ближе, а тут священник стоит; я к нему: «Батюшка, — говорю, — вот, — говорю, — пришёл проститься... крестик, — говорю, — принёс... вон та, — говорю, — бабёнка-то, что подле

подводы-то... заставь за себя Богу молиться...» Взял он у меня крестик... а саячки не посмел отдать: так и осталась за пазухой. Подняла Параша голову, увидала меня да так вот, батюшка... так... так вот... так и залилась, и залилась. «Батюшка, — говорит, — батюшка... о-ох, помолись за меня, грешную...» — да дальше-то уж и не выговорит ничего. Надел священник на неё мой крест, перекрестил её и стал уговаривать; потом отошёл, обратился ко всем да и говорит им; а они стоят все в ряд, по обоим сторонам солдаты; отошёл да и говорит: «Дети, — говорит, — помолитесь Богу и проститесь с родной землёй... проститесь в последний раз с Москвою...» И чего уж, кажись, батюшка, ведь вот тут невесть какого народу не было; другой и душегубец либо разбойник какой, а как сказал он им это слово, так вот все навзрыд и залились; и меня самого слеза пробилла. Тут забили в барабаны, и пошли они в дальнюю дорогу... В тот же день пошёл я домой. Михайло мой в это время как словно маленько поправился; мало-помалу совсем стал на ноги. Да не впрок пошло ему здоровье. Весну целую ходил без дела и лето также. «Охоты, — говорит, — ни к чему нет», — да и всё тут; что ты станешь с ним делать! Ходил он так-то, почитай, всё лето, по осень опять загулял; курил, курил да и закабалился в бурлаки; будет этому скоро два года. А всё ведь, батюшка, коли поглубже плыть в этом деле, — всё ведь фабричная жизнь виновата... Эх, кабы не послушался я тогда нашего народа, повёл бы парня по отцовскому ремеслу, так вестимо не то бы и было: наша рыбацкая жизнь простая, — не то, что ихняя — фабричная!.. Остался я так-то один-одинёшенек. Добре тоска одолела меня. К тому и зазорно было как-то глядеть на своих-то: опостылела мне Крапиловка, да и дом-то опостылел совсем; землю свою сдал я соседу, а сам пошёл внаймы к чужим людям... В Крапиловку, почитай что, теперь и не заглядываю; как заглянешь туда, сам спокоешься; ходишь, ходишь потом, — словно камень на сердце лежит у тебя... Лучше и не ходить... Бог с ними!..

— А что ж случилось с Лукерьей? — спросил я после минуты молчания, — неужто она о сю пору живёт в Крапиловке?

— Нет, батюшка, давно пропала... померла прошлую весну; послали её, слышь, в погреб: оступилась да и подвихни себе ногу... нога болела, болела, пухла да и сгубила её... Во всём, сказывали мне, спокаялась, во всех лихих делах своих!..

Старик снова замолк и потупил голову.

Мы прошли с четверть версты, не сказав друг другу ни слова. Во всё это время Сизой шёл подле. Изредка махал он хвостом и забегал вперёд, чтобы устремить на хозяина жёлтые зрачки свои, заслонённые вкривь и вкось шершавыми бровями. Он, видимо, был почему-то не в духе: но мрачное расположение Сизого не было, однако ж, продолжительно. Как только стадо свернуло с дороги влево по направлению к деревне, где занимался пастух, Сизой залился звонким лаем и, распушив хвост, полетел делать распорядок, как говорил дядя Савелий. Густое облако пыли, не сквозившее уже от солнечных лучей, которые только что потухли на горизонте, скрыло от меня и стадо, и Сизого. Вскоре я потерял из виду и самого дядю Савелия.

Я удвоил шаг, чтобы скорее дойти до мельницы. В воздухе чувствовалась уже свежесть, которая свидетельствовала, что Ока не очень далеко;

дорога начинала опускаться; бока долины понижались, расходились амфитеатром и сглаживались с дальней местностью. Немного погодя на огненном, постепенно бледнеющем небе обозначилась фиолетовая, слегка зарумяненная линия горизонта; ещё несколько шагов вперёд — и я увидел Оку; там выступили луга с последним заворотом Смедвы; ближе всего, почти под ногами, возносились тёмные, неправильные группы вётел; кое-где сквозь сучья проглядывало багровое небо; тут же, между стволами вётел, чернела плотина, и на одном конце её рисовался причудливый профиль мельницы с прилепленным к боку амбаром, спуском для воды и колёсами; на боку лежала опрокинутая лодка. Вётелы со своими огненными просветами, плотина со своими шестами, тварными, растянутым бреднем и самая мельница целиком перекидывались в широком, сверкающем пруде; на поверхности его, гладкой как розовое зеркало, играла рыба и появлялись затем кружки, которые расширялись и зазубривали дрожащими серебреными нитками то место, где отражалась мельница. Окрестность между тем темнела, и в ясном, постепенно синеющем небе начинали зажигаться звёзды. До слуха доносились какие-то неясные, замирающие звуки... Наконец всё смолкло и окуталось тенью... В окне мельницы мелькнул огонёк и заиграл в воде вместе со звёздами...

Минуту спустя я стоял уже на плотине и бросал прощальный взгляд на Смедовскую долину.

ХРОНИКА

УРОКИ АНГЛИЙСКОГО

Творческое объединение профессиональных писателей Коломны, культурный центр «Лига» и, конечно же, факультет иностранных языков нашего университета организовали необычную встречу.

В «Лиге» состоялась виртуальная презентация цикла сонетов Шекспира о Смуглой леди в переводах Романа Славацкого. Это переложение 28-ми стихотворений довольно необычно. Почти никто из переводчиков до сих пор не пытался сохранить авторскую строфику. Меж тем рифмовка у Шекспира совершенно произвольна, по-дилетантски непосредственна, хотя драматический гений стирает эти «неправильности» своей лирической мощью.

Встреча потому так и называлась: «ГЕНИАЛЬНЫЙ ДИЛЕТАНТ — новый взгляд на сонеты Шекспира».

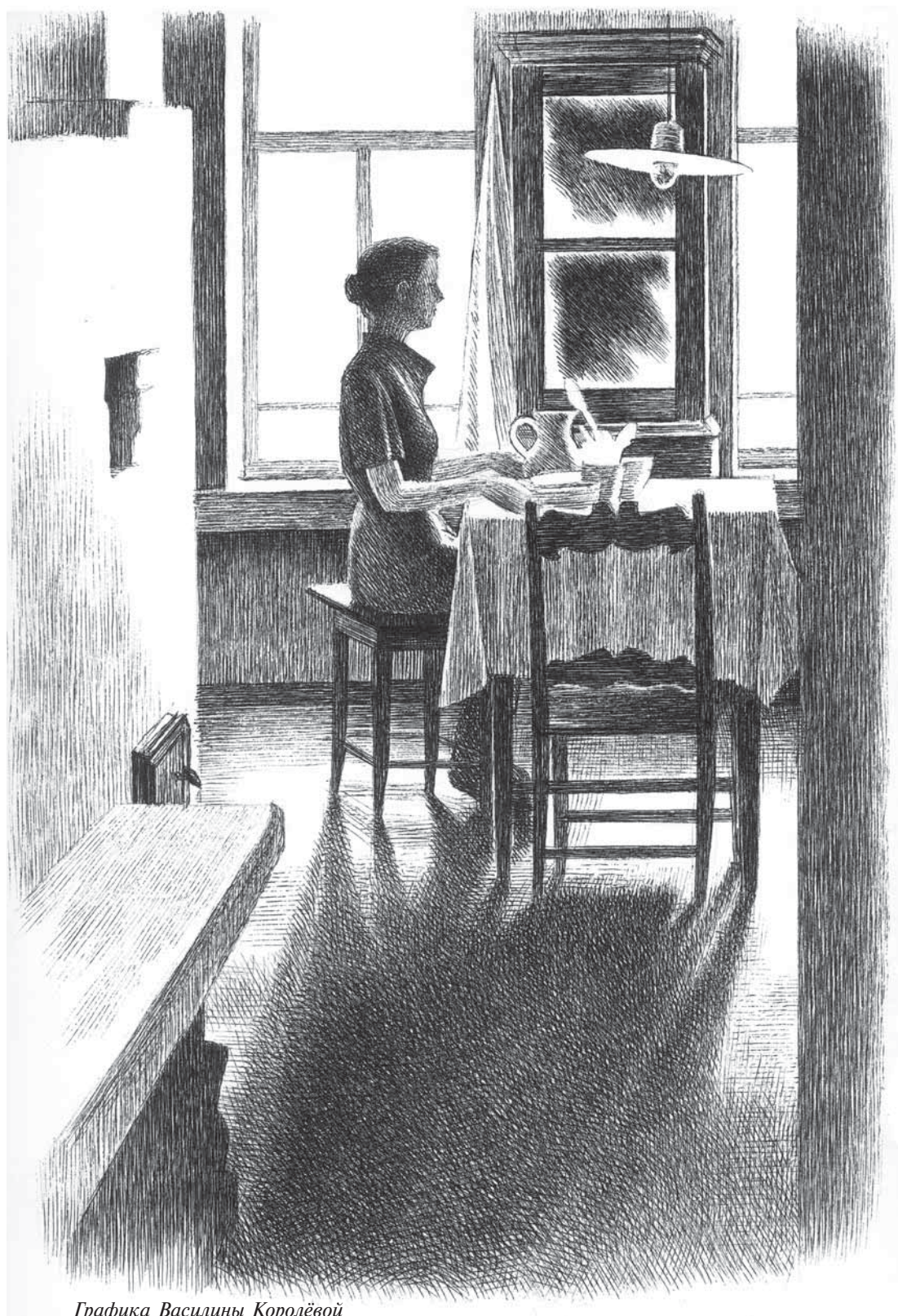
Студенты читали стихи по-английски, а Славацкий — по-русски, сопровождая чтение анализом шекспировской поэтики и русской переводческой традиции.

Встреча прошла в рамках подготовки к важной памятной дате. 23 апреля 2016 года будет отмечаться 400-летие со дня кончины великого драматурга.



Родимая
сторона





Графика Василины Королёвой

Евгений Ломако

НАСЛЕДИЕ БЛИСТАТЕЛЬНОГО ВЕКА



Евгений Львович Ломако родился 1 августа 1974 года в Коломне. Окончил технологический факультет Коломенского пединститута (ныне ГСГУ). Кандидат исторических наук. Лауреат Макариевской премии. С 2009 года — заведующий отделом историко-культурного музея-заповедника «Коломенский кремль». Автор монографии «Русский провинциальный город екатерининской эпохи: Коломна второй половины XVIII века», ряда брошюр по истории города, путеводителей и наборов открыток, более ста статей в научных сборниках, федеральных и региональных журналах и альманахах, местных средствах массовой информации. Один из авторов и создателей электронной энциклопедии «Коломна», выдержавшей уже четыре выпуска. Награждён Почётным знаком «За отличие в труде», юбилейным знаком «Коломне 835 лет» и другими общественными медалями.

Краеведческое исследование

А 1771 году на карте Коломны появилось общегородское Петропавловское кладбище. Решение о его создании было принято не по инициативе городских властей, а во исполнение сенатского указа от 11 ноября 1771 года «О предосторожности от заразительной болезни», который положил начало созданию общегородских некрополей во многих городах России. Эпидемия «заразительной болезни» — моровой язвы, как тогда называли чуму, бушевала в тот год по всей стране. Болезнь, занесённая, по видимому, из причерноморских стран, где шла русско-турецкая война, началась в ноябре 1770 года в московской Лефортовой слободе, а к августу 1771 года в Москве умирало до тысячи человек в день. Коломну чума тоже не обошла стороной, упоминание о ней мы можем найти, в частности, в дневниках тверских купцов Блиновых: «В 1771 году месяца августа и сентября был мор в Москве, в Коломне и в Ераславле и в прочих». Однако чума 1771 года, в отличие от Москвы, по свидетельству Г. Ф. Миллера, «не произвела в этих местах сильного опустошения. В Коломне от неё умерли 59, а из коломенских жителей, бывших в Москве, 37 человек. Из ямщиков умерли не более 5: двое мужчин, две женщины, один ребёнок, причём всех их можно считать за один случай. Говорят, что это была одна семья, вымершая вместе». Заражение, скорее всего, «привёз» глава семьи, занимавшийся извозом.

Алексей Фёдоров: «У ПЕТРА И ПАВЛА»



Зимний вечер



*Вид на часовню Петропавловского
кладбища*



*Богадельня
на Петропавловском кладбище*



*Зима
на Петропавловском
кладбище*

*Колокольня и церковь
Петра и Павла*



*Южные ворота на Петропавловском
кладбище*



*Колокольня Петропавловского
кладбища*

*Петропавловское
кладбище в 1950-х годах,
в церкви юношеская
спортивная школа*



Правительство принимало активные меры для борьбы с эпидемией. Одной из таких мер и являлся вышеназванный указ Сената, который предписывал: *«По указу Ея Императорского Величества, Правительствующий Сенат... Приказали: 1. понеже по полученным в Сенат рапортам явствует, что во многих городах заразительная болезнь оказывается... в ящую с сей стороны предосторожность приказать Губернаторам, чтоб по городам при церквах никого не хоронили, а отвели бы для того особы кладбища за городом на выгонных землях, где способнее, и построя при оных на первый случай, хотя небольшие деревянные церкви, огородили кладбища забором или плетнем...»*.

В Коломну указ был доставлен 28 ноября 1771 года, а уже 1 декабря власти города определили места под два городских кладбища. Одно из них, размером 70 на 70 сажень (1 сажень = 2,1 м), решено было создать на выезде из города в сторону Астрахани, где находился так называемый убогий дом, под которым понималась изба или амбар при «скудельнице» — месте, куда свозили тех, кто умер «плохой смертью» (самоубийцы, некрещёные младенцы, бродяги и пр., кто не мог быть похоронен на приходских кладбищах). Второе место размером 30 на 30 сажень отвели в Запрудной слободе около озера Бельского. Обосновывали необходимость создания второго кладбища тем, что в весеннее половодье и осеннюю распутицу трудно было доставлять тела умерших на другой конец города. Но скорее всего, создание отдельного кладбища в Запрудной слободе было вызвано не столько природными препятствиями, сколько стремлением раскольников иметь своё кладбище. За этим явно стояла фигура Ильи Акимовича Ложечникова, что подтвердилось дальнейшими событиями.

Монахов предписывалось погребать в Голутвине монастыре, а монахинь — в Бобреневе.

Появление общегородского кладбища в Коломне явилось зримым знаком преодоления слободского разделения города. Горожане постепенно переставали ощущать себя жителями отдельной слободы или прихода. Всё более укоренялась мысль, что житель города — это прежде всего коломенец.

Но, несмотря на указ от 11 ноября, даже в метрических книгах 1785 года отмечены факты погребения на землях, принадлежавших тем или иным церквям. Захоронения за городом на отведённых местах при кладбищенской церкви Петра и Павла специально отмечены в приходе церкви Живоначальной Троицы в Ямской слободе, что связано в первую очередь с его многочисленностью и близостью к городскому кладбищу. Помимо церкви в Ямской слободе, наиболее крупными приходы были в церквях Архангела Михаила, Борисоглебской, Богоявленской, Воскресенской крепости. Самыми малочисленными считались приходы церковью Симеона Богоприимца (что, видимо, и послужило одной из причин её упразднения после пожара 1792 года) и Успения в Брусенском монастыре.

Необходимость в общегородском кладбище диктовала сама жизнь. Например, в 1778 году убыль населения в Коломне составила 41 человек. В этот год в Ямской слободе разыгралась настоящая трагедия, вызванная вспышкой оспы, унёсшей жизни 40 детей в возрасте от 10 месяцев до 6 лет. Что касается других приходов, там оспа тоже была в числе «лидирующих» заболеваний. Наименее затронутыми этой эпидемией оказались приходы церковью Архангела Михаила (несмотря на близость к Ямской

слободе) и Покровской. Серьёзной обстановкой с этим заболеванием была в приходах кремлёвских церквей, в ряде церквей на посаде. И хотя верховные власти страны большое внимание уделяли защите от этой болезни, в частности введением оспопрививания в России, в уездных городах этот опыт долго не находил применения. Екатерина II показала личный пример — в 1768 году сделала прививку оспы себе и наследнику. Это событие считалось настолько значимым, что в память о нём была выбита медаль. Однако и спустя столетие проблема оспопрививания стояла весьма остро. В губерниях и уездах были организованы оспенные комитеты, призванные способствовать распространению оспопрививания. Коломна не являлась исключением: известно, что в 1857 году членом оспенного комитета был избран священник церкви Николая Гостиного Константин Протопопов.

Итак, место для кладбища выбрано, но для погребения по православному обряду необходима церковь при кладбище. Возведение её не могли начать несколько лет: горожане неохотно жертвовали деньги на строительство. Епископ Феодосий, видя нерадение коломенских граждан, укорял их, указывая, что в других городах даже пашенные солдаты поставили церкви на кладбищах. Поскольку дело не двигалось, он предписал перенести малоприходную деревянную церковь Алексея, человека Божия, на кладбище, *«ибо в городе и уезде нет другой для того служения более подходящей»*. Консistorия подтвердила решение епископа. Существуют свидетельства, что перед этим намеревались перенести на кладбище с торговой площади деревянную церковь Симеона Столпника, поскольку в непосредственной близости от неё построили в 1775 году каменный храм Иоанна Предтечи с приделом Симеона Столпника. Однако ни тот, ни другой проект не был осуществлён. Вполне возможно, что Симеоновская церковь могла пострадать от пожара с 7 на 8 октября 1775 года, который затронул как раз коломенский торг и уничтожил 267 лавок, а также амбары и одну харчевню. А за Алексеевскую церковь могли вступить прихожане, что они и продемонстрировали в конце 1790-х годов, когда добились решения о её перестройке на камне.

В это же время жители Запрудной слободы развили достаточно активную деятельность. Их интересы представляли первогильдейские купцы И. А. Ложечников, Фёдор и Семён Семёновичи Панины, Лазарь Герасимович Попов, которые, ссылаясь на неудобство и на то, что на их кладбище находятся захоронения родителей, просили разрешения построить деревянную церковь во имя Боголюбской иконы Пречистой Богородицы. Жителям Запрудной слободы разрешили построить церковь, но без особого причта, с отправлением службы в ней священником Борисоглебской церкви. В 1774 году в Запрудах И. А. Ложечников с товарищами построил деревянную церковь при кладбище. Но *«при построении оной целию их было не благочестивое к храму Божию усердие, но по пристрастности к раскольничьему суеверию единственно злоумышленный происк, чтобы сим способом избежать сообщения с погребаемыми на отведённом же по другую сторону города кладбище при Петропавловской церкви умирающими православными христианами...»* Следствием конфликта, затянувшегося на десятилетия, стало распоряжение духовной консистории в 1786 году погребать жителей Запрудной слободы на общегородском Петропавловском, а не на запрудненском кладбище. Умерших раскольников надлежало хоронить на особом

месте, а построенную церковь — упразднить, о чём должен был объявить прихожанам церкви Бориса и Глеба церковный староста Аксён Ермолаевич Кочергин. Но семья Ложечниковых, употребляя всё своё влияние, на протяжении ряда лет находила способы сохранить эту церковь. Вопрос о её упразднении и дальнейшем сломе вставал ещё в конце 1790 года.

Во второй половине 1770-х годов был решён вопрос о строительстве церкви на общегородском кладбище. Городской магистрат настоял на оставлении Алексеевской и Симеоновской церквей на своих местах, заверив в 1775 году, что купечество из неокладных сборов желает построить каменную церковь святых апостолов Петра и Павла. Вполне вероятно, что определённую роль сыграл намечавшийся визит Екатерины II в Коломну 14–15 октября 1775 года, и у купцов появился лишний повод показать своё усердие в благоуукрашении города: ведь императрица посетила Богоявленский Голутвин монастырь и не могла не обратить внимание на строящийся храм.

Строительство церкви Петра и Павла было закончено в 1779 году. Здание в стиле барокко, с двусветным четвериком на белокаменном цоколе, выглядело очень нарядным. Весь облик храма говорил о том, что жизнь не кончается со смертью, а продолжается и после завершения земного пути. Четверик украшен рустом, пилястрами, нарядными наличниками и карнизом, над которым возвышается купол с круглыми окнами и световым барабаном, увенчанным единственной главкой. С западной стороны к церкви был пристроен небольшой престол во имя Андрея Первозванного, в котором службы велись в зимнее время. Близ храма в середине 1770-х годов на средства купца Ивана Демидовича Мещанинова (племянника богатейшего коломенского купца Ивана Тимофеевича Мещанинова) построена каменная двухэтажная богадельня, архитектурное убранство которой (плоские узорные наличники, зубчатый карниз, русты на углах) перекликалось с деталями церкви. В богадельне призревались бедные люди из купеческой и мещанской среды, а затем и увечные воины. Церкви принадлежал также двухэтажный каменный дом, стоявший на кладбище. Вверху находилось помещение для церковного сторожа, внизу — для могильщиков.

С самого начала коломенцы стремились к тому, чтобы достойно погребать своих родных и близких на новом месте. Коломенский краевед В. А. Ярхо обнаружил в журнале «Русский архив» заметки о коломенских древностях, которые собирали представители семьи Губерти. Среди этих записей есть и эпитафия с могильного камня на Петропавловском кладбище, описывающая страшную трагедию, разыгравшуюся в приходе церкви Воскресения внутри града. Благодаря метрическим книгам удалось установить, что 19 января 1785 года была убита целая семья иерея Успенского собора Григория Иванова. Жертвами убийц стали Ирина (27 лет) с тремя малолетними детьми — Ксенией (7 лет), Григорием (5 лет), Саввой (3 года) — и девица Степанида (13 лет)¹:

¹ Сравнение имён и возраста убитых в тексте эпитафии с данными метрической книги говорит в пользу их полной идентичности. Можно предположить, что автором эпитафии мог быть В. М. Протопопов, прибывший в Коломну несколько позднее после этой трагедии. В скобках приведена реконструкция Е. Л. Ломако.

Под сим камнем [покоится раба Божия Ирина,
 служащая] Успенского собора протоиерея Григория
 Иванова злыми людьми [убиенная] с тремя [чадами]
 и з дочерью Ксениею [и девицею Степанидой]
 И надпись, воздохнув, плачевную прочти.
 Се здесь девица спит и мать с тремя чады,
 До смерти варваром убиты без пощады.
 Вся грудь, гортань, [г]лаза и каждый тела член
 Рукой злодейскою у них окровавлен.
 Невинна в ранах кровь теперь еще дымится
 Злодея дерзкого наружу вывесть тщится.
 Да преклонится [здесь] каждого глава,
 Внимая плачевные страдальцев сих слова.
 Не чая крайних зол, спокойно мы сидели,
 Вдруг варвары на нас, как тигры, налетели.
 Вонзили острый нож в гортань, в главу, во грудь...
 Творец, врагу и нам судья в сем споре будь!
 И се вещает мать детей и дней лишена
 [И] я за грехи достойно умерщвлена,
 Но юные мои невинные птенцы,
 Каких презренных дел явились вы творцы?
 [К]ого обидели, кому чем нагубили,
 Не тем ли, [что] меня с горячностью любили?
 За что дерзнул злодей на них свой меч поднять?
 [За что] их кровь невинну проливать?
 О Боже всех щедрот и всякие ограды!
 Се зришь несчастну мать и с нею ея чады.
 Для их невинности мои грехи прости,
 Убийце злобному за нашу смерть отмсти.
 А вы, что оную плачевну надпись зрите,
 Творца небесного усердно помолите,
 Чтоб мать несчастную и нежных чад [е]я,
 Причастных сотворил святыни Своея!
 Лежит здесь Ксения с Григорием и Саввой,
 Несчастнейшая мать несчастнейших детей,
 Убита [без]жалостно от рук лихих людей.
 Еще с ней купно спит совсем лишена вида
 Трех на десять лет, девица Степанида.

Шли годы, и менялось внешнее оформление захоронений на новом погосте. Постепенно всё более распространёнными становились склепы, которые не только свидетельствовали о богатстве, но и служили благодарной памятью о добрых делах коломенских благотворителей, среди которых — Миляевы, Кисловы, Тупицыны, Шевлягины. В непосредственной близости от церкви покоились родственники митрополита Московского и Коломенского Филарета: прадед — священник Афанасий, дед — протоиерей Фёдор, отец святителя — протоиерей Михаил Фёдорович Дроздов, два брата — священник Николай и иерей Никита, племянники. Непода­лёку — могила Алексея Николаевича Яковлева, генерала от артиллерии,

начальника артиллерии Кронштадта. На надгробиях Петропавловского кладбища можно было прочитать имена людей самых разных профессий, среди которых и видные представители интеллигенции Коломны: педиа-тр А. И. Блинов, врач-невропатолог П. А. Вертоградов, преподаватель русского языка и литературы М. Д. Запольский, врач-терапевт Иродов, начальница приюта для детей-сирот воинов М. И. Кноп, директор школы № 7 С. К. Кудрявцев, уездный врач, общественный деятель М. А. Лозовский, учитель физики С. Д. Смирнов, стоматолог З. Т. Халдожевская, учитель истории В. Шокорев, архитектор Ф. В. Шумов и многие другие. По некоторым данным, в Коломне в 1821 году был погребён участник Итальянского и Швейцарского походов, кавалер ордена Святого Георгия 4-го класса, герой войны 1812 года, генерал-майор П. А. Филисов, который до последних дней командовал пехотной дивизией. Привлекала внимание модель паровоза, установленная на могиле инженера Коломзавода И. И. Башкина — изобретателя инжектора к паровозу. Есть документальное свидетельство о могиле родственника скульптора А. С. Голубкиной, которая создала для захоронения небольшой мраморный рельеф — лик Спасителя.

В западной части некрополя находился католический участок. В юго-западной части кладбища после революции 1917 года появились захоронения советских и партийных деятелей, среди которых — революционер, один из организаторов комсомола в Коломне Н. И. Бессонов и красный командир, активный участник революционных событий Н. В. Мешков, именем которого ныне названа улица у западной стены Петропавловского кладбища. Неподалёку находилась могила красноармейца П. Г. Чернышева, не покинувшего свой пост и погибшего во время пожара на складах боеприпасов в Подлипках.

Отпевали усопших в церкви Петра и Павла. Коломенские священнослужители исполняли требы в ней по понедельно, поскольку своего причта при церкви не было. Для увеличения денежного содержания коломенцы совершали в церковную казну вклады различного свойства; в 1818 году, например, купцом Ф. И. Бочарниковым храму была предоставлена лавка. К 1832 году обветшала трапезная, и купеческая жена Домника Кислова, испросив благословение митрополита Московского и Коломенского Филарета (Дроздова), разобрала и выстроила её вновь с увеличением длины. При храме существовало братство во имя святителя Николая под руководством о. Иоанна Фаминцева. Оно оказывало помощь нуждающимся ученикам Коломенского духовного училища в 1880-е годы.

В 1888 году была заложена надвратная колокольня в память о чудесном спасении императорской семьи. К осени 1890 года колокольня, выстроенная на средства коломенского купца И. И. Шкарина, была завершена. Она имела три яруса, а над её аркой находились золочёные бронзовые фигуры трубящих ангелов, напоминающих о Страшном суде. Автором проекта выступил двоюродный брат Ф. М. Достоевского московский архитектор Владимир Дмитриевич Шер (наиболее известная его постройка — здание первой мощной электростанции Москвы, ныне выставочный зал «Новый Манеж»).

Колокол весом в 701 пуд водрузили на колокольню в 1891 году. Он был изготовлен на знаменитом заводе Н. Д. Финляндского, на котором

отливались все крупные колокола России. Завод трижды удаивался разрешения изображать герб Российской империи на своих изделиях. Колокола завода Финляндского звонили на храме-памятнике Рождества Христова в Болгарии на Шипке, в Париже, Каннах, Сан-Франциско, Токио, Афоне, Иерусалиме, в Санкт-Петербурге, Москве, Кронштадте... Близ Коломны их звон раздавался в селе Озёры и в Константинове под Рязанью. Особым был заказ для храма Христа Спасителя: для него отлили 14 колоколов общим весом 4008 пудов. Вот такая получается переключка: в Болгарии сражался Коломенский полк, а храм Христа Спасителя облицовывался протопоповским мрамором (его иногда называют коломенским). Деньги на отливку колокола пожертвовали Василий Миляев, староста храма Иван Иванович Шкарин, купчиха Елизавета Яковлевна Шевлягина и другие. Колокол, как и все изделия завода Финляндского, был богато украшен, а надпись на нём гласила: *«В благочестивое царствование государя императора Александра Александровича, святительство высокопреосвященнейшего Иоакима, митрополита московского и коломенского, при старосте Иване Шкарине, помощнике его Василии Бурцеве и при священнике Иоанне Фоминцеве»*. По прибытии колокола на станцию Коломна ямщик заломил очень высокую цену за его перевозку, несоизмеримую с расстоянием. И тогда коломенцы, используя брёвна, доставили колокол к церкви вручную. Когда его подняли на колокольню, в течение трёх дней каждый желающий мог звонить в него.

Спустя столетие после открытия кладбище оказалось плотно заполненным захоронениями. К 1890-м годам территорию расширили, и было решено обнести некрополь новой оградой.

Инициаторами сооружения оград, начавшегося в 1891 году, выступил иерей Иоанн Фоминцев, которого поддержали коломенские купцы отец и сын Бурцевы и ещё ряд благотворителей. Строительство оград велось под наблюдением московского архитектора Фёдора Васильевича Рыбинского. В 1908 году ограда, включившая в себя и надвратную колокольню, была закончена. Чтобы ограда не казалась тяжеловесной, архитектор разделил её на прясла, в которых чередуются глухие арки и сквозные проёмы. По её углам находились три шатровые часовни, из которых сохранилось две: во имя св. Николая Чудотворца — в память спасения жизни наследника цесаревича Николая (будущего императора Николая II) от угрожавшей ему опасности в Японии, и во имя преподобного Сергия — в память избавления города от холерной эпидемии 1848 года (о жертвах мора напоминала и мемориальная доска на южной стене кладбища). Третья часовня находилась недалеко от памятного знака артиллеристам — гаубицы — и была снесена в середине 1970-х годов. Ограда опоясывала всю территорию кладбища и помимо входа со стороны колокольни имела арочные ворота на южной стороне. Отдельная каменная стена, построенная В.Л. Поллером, отделяла еврейское кладбище, находившееся за восточной оградой.

Проект ограды разработал Дмитрий Евгеньевич Виноградов. Ему же принадлежит и постройка нового трапезного храма, средства на которую выделил коломенский купец Василий Миляев. Постройка трапезной велась с 1902 по 1908 год. Храм — яркий образец псевдорусского стиля:

узорная кирпичная резьба, колонны с эффектным завершением в виде кокошников. Декоративные главки — по три с каждой стороны — венчали середину южного и северного фасадов, а седьмая главка помещена над западным входом. Вместе с тем это было вполне современное здание, и при более внимательном ознакомлении понимаешь, что все украшения — это не что иное, как «рубашка», накинутая на стены храма. Современники отмечали, что храм имел удивительную акустику, одну из лучших среди церквей Коломны, которая позволяла менять силу звука в зависимости от места, где находился поющий. Трапезная включила престолы священномученика Василия Анкирского (с левой стороны) и памяти Всех Святых (справа); ряд исследователей полагает, что он был посвящён апостолу Андрею Первозванному.

После революции 1917 года безбожные власти неоднократно пытались закрыть кладбищенскую церковь Петра и Павла. В эти годы службу в ней нёс сын священника Брусенского монастыря Алексия Лебедева — отец Николай, арестованный и погибший в 1936 году. Родной брат отца Николая — священномученик, епископ Шлиссельбургский Григорий (Лебедев). В состав Собора новомучеников и исповедников Российских был включён и диакон Петропавловского храма Григорий Самарин, скончавшийся в 1940 году от воспаления лёгких в лагере в Хабаровском крае на станции Известковая.

Коломенцы продолжали хоронить своих родственников на Петропавловском кладбище вплоть до начала Великой Отечественной войны. Церковь действовала, невзирая на неоднократные попытки её закрытия. Последнее захоронение на кладбище состоялось в конце 1941 года. Свой последний приют здесь нашли жертвы налёта фашистских бомбардировщиков 8 декабря: директор транспортной конторы Коломторга А. Н. Нефёдов и кассир Ю. А. Шабалина. Для похорон потребовалось специальное разрешение властей, поскольку кладбище было официально закрыто. Известно, что редкие захоронения случались и позже.

После закрытия храма Петра и Павла в 1943 году его иконы и росписи были утрачены, в церкви устроили склад, а затем разместили спортшколу. В 1950-е годы была снесена надвратная колокольня.

4 июля 1957 года состоялось перезахоронение останков гимназиста В. Маркова, погибшего при разгоне демонстрации в 1905 году недалеко от Петропавловского кладбища. Его прах перенесли в братскую могилу на площади Двух революций, где в 1958 году был открыт обелиск. А небольшая стела, установленная в 1975 году неподалёку от часовни Николая Чудотворца, увековечила память о разгоне декабрьской демонстрации 1905 года.

21 марта 1962 года в «Коломенской правде» было опубликовано решение исполкома Коломенского городского Совета *«О строительстве нового парка пионеров»*: *«В связи с истечением двадцатилетнего срока после последнего захоронения на бывшем кладбище, расположенном в кварталах улицы Октябрьской революции, Мешкова и Красногвардейской и в соответствии с генеральным планом города Коломны, разработанным институтом Мособлпроект, исполком Коломенского городского Совета решил:*

1. Обязать зав. похоронным бюро т. Минину в месячный срок снять с могил надгробия и передать их владельцам согласно имеющейся регистрации.

2. Поручить горкомхозу (зав. т. Богонатов) и горono (зав. т. Муругов) произвести работы по благоустройству бывшего кладбища силами учащихся школ и общественности города.

3. Поручить управлению главного архитектора города разработать эскизный проект будущего парка в срок до 1 апреля 1962 года.

4. По истечении месячного срока после опубликования данного решения в местной печати никакие претензии по § 1 приниматься не будут».

Мало кто успел спасти надгробия с родных могил, большинство было варварски уничтожено. Памятники разбивали бульдозерами, пускали на хозяйственные нужды. В 1970-е годы были снесены двухэтажный дом причта и богадельня XVIII века. В то же время восторжествовал и некий здравый смысл: на месте Петропавловского кладбища решили заложить Мемориальный парк. Весной 1968 года территория некрополя стала приобретать облик, знакомый нам сегодня. План благоустройства парка разрабатывался под руководством главного архитектора города В. А. Пьянкова. В июне 1968 года был утверждён проект мемориала славы «От коломенцев землякам, павшим в Великую Отечественную войну 1941–1945 гг.» скульптора Д. Б. Рябичева и архитектора Л. В. Мисожникова. В день открытия Мемориального парка 25 октября 1970 года в Коломне был зажжён Вечный огонь — частичка пламени с могилы Неизвестного солдата в Москве. Чуть в стороне от основного мемориала установлена скульптура «Скорбящая Юность».

Со временем в Мемориальном парке появились и другие символы народной памяти: установлена гаубица, напоминающая об артиллерийских частях и соединениях, сформированных в Коломне в годы войны; ветеранами артиллерийских полков и соединений под руководством генерал-майора артиллерии в отставке Анатолия Ивановича Малофеева посажены 34 рябины, образовавшие Аллею артиллеристов; создана Аллея коломенцев — Героев Советского Союза; открыт бронзовый бюст Бориса Ивановича Шавырина — выдающегося специалиста в области миномётного и реактивного вооружения. В последние два десятилетия установлены мемориальные знаки: Крест на месте захоронения родственников уроженца Коломны митрополита Московского и Коломенского Филарета, «Памяти гражданам, пострадавшим от незаконных политических репрессий» и «Пострадавшим в результате взрыва Чернобыльской АЭС и других радиационных катастрофах», а также открыт памятник «Коломенцам, погибшим в локальных войнах и военных конфликтах».

Смысловым центром Мемориального парка стал открытый 26 августа 1977 года в здании церкви Петра и Павла Музей боевой славы, который за прошедшее время несколько раз основательно менял свою экспозицию. Последняя реконструкция здания музея была завершена к 8 мая 1995 года, и музей вновь принял своих посетителей. Новый этап в истории музея и Петропавловского кладбища — Мемориального парка начался 2 июня 2009 года. Согласно распоряжению администрации городского округа Коломна Московской области за № 138—р/1—7 здание церкви Петра и Павла было передано Русской Православной Церкви в лице местной православной религиозной организации прихода церкви Первоверховных Апостолов Петра и Павла г. Коломны. Фонды Музея боевой славы были переведены на временное хранение в главное фондохранилище Коломенского краеведческого музея.

В это же время принимается решение о начале строительства нового здания для Музея боевой славы. Строительство было объявлено народной стройкой, что имеет прямые параллели с 1970 годом, когда добровольные взносы коломенцев составили почти половину от требуемых затрат на создание памятника погибшим в годы Великой Отечественной войны и на благоустройство территории. Музей боевой славы был открыт 7 мая 2010 года — в канун празднования 65-летия Победы. Ведущим при разработке экспозиции оставалось понимание значимости музея как городского центра патриотической работы, как «визитной карточки» военной истории города и его вклада в общенародную славу России. На главной улице города — Октябрьской революции — гордо, как развевающееся красное знамя, символизирующее победу над фашизмом и напоминающее о людях, отдавших свою жизнь за Родину, развернулся фасад музея. В дни праздников, при открытии «Вахты Памяти» Музей боевой славы разговаривает с окружающими нотой «ре» второй октавы — именно такого тональности 250-килограммового колокола, размещённого на арке, рядом с входом в музей. В бронзе на колоколе отлиты слова: «Живи и помни. 9 мая 2010. Колокол отлит в ознаменование Победы в Великой Отечественной войне».

Петропавловское кладбище — наследие блистательного XVIII столетия — мы не смогли уберечь. А ведь это уникальное место Коломны — небольшая территория современного Мемориального парка в 6,7 гектара вместила в себя столетия коломенской истории. И может, стоит сейчас, в год 245-летия основания общегородского коломенского некрополя, задуматься о продолжении работы научного сотрудника Музея боевой славы С. М. Прохорова, установившего имена и места захоронения более 330 коломенцев, погребённых на Петропавловском кладбище. Это наш долг перед памятью предков, тех, благодаря кому мы имеем возможность жить и творить. «Это нужно — не мёртвым! Это надо — живым!»

В статье, помимо авторских, использованы материалы исследований А. И. Кузовкина, А. Б. Мазурова, Н. А. Рощиной, С. И. Самошина, Р. В. Славацкого, В. С. Тимофеева, В. А. Ярхо.



Нисон Семёнович Ватник родился 22 июля 1948 года в Кишинёве. В 1966 году поступил на исторический факультет Коломенского педагогического института, который окончил с отличием в 1970 году. С 1970 по 1978 год работал учителем истории и заместителем директора Парфентьевской средней школы Коломенского района. В 1978 году перешёл на работу в Коломенский педагогический институт (ныне Государственный социально-гуманитарный университет — ГСГУ), последовательно занимал должности ассистента, старшего преподавателя, доцента, заведующего кафедрой истории (1991–2006 гг.). В настоящее время — доцент кафедры отечественной и всеобщей истории ГСГУ, кандидат исторических наук.

Нисон Семёнович Ватник — автор (соавтор) более 115 научных и научно-методических работ. Среди них — монография «Подмосковье из века в век: очерки истории Московского края», очерки «Путешествия вокруг Москвы», энциклопедия «Московская область: история, экономика, культура», «Детская энциклопедия», учебное пособие «Страницы истории Подмосковья», «Летопись Подмосковья» и другие.

Краеведческое исследование

КОЛОМЕНСКИЙ ГИМНАЗИСТ — БУДУЩИЙ УЧЁНЫЙ

Ёмья этого человека мало известно коломенцам. Между тем Александр Николаевич Пробатов — выдающийся ихтиолог, чей жизненный путь является яркой иллюстрацией героической и трагической истории России XX века. Перипетии его не могут не удивлять неожиданностью и обнаруживают в нём натуру сильную, целеустремлённую, страстную. Особость Пробатова точно подметил писатель Феликс Светов, близко знавший учёного: «Это один из самых интересных и сложных людей, которых мне довелось встретить». И действительно, только неординарная личность смогла выстроить свою судьбу скорее вопреки, чем благодаря обстоятельствам: выжить в Первую мировую и Гражданскую, будучи сыном расстрелянного в 1918 году священника, получить образование в знаменитой Тимирязевской академии, а затем посвятить почти полвека изучению ресурсов Мирового океана, заслужив в итоге уважение научного сообщества и признание государства.

Впервые имя Александра Пробатова мне встретилось двадцать лет назад в дипломном сочинении выпускника исторического факультета Коломенского педагогического института А. Бирюкова (ныне Алексей Михайлович — доцент Государственного социально-гуманитарного университета — ГСГУ). В этой работе, основанной на архивных документах, автор рассматривал историю



*Александр Николаевич Пробатов
(1900–1972 гг.)*

Коломенской мужской гимназии, а Пробатова упоминал, рассказывая о добровольном уходе нескольких гимназистов в действующую армию осенью 1914 года, т.е. в самом начале Первой мировой войны. Вновь эта фамилия попала в архиве, когда в 2004 году я подбирал материалы о социальном поведении учащихся Центральной России в 1914–1917 годах и их позднейших судьбах.

Новые (и результативные!) направления поиска обозначились, когда познакомился с дочерью Александра Пробатова

Натальей Александровной и Николаем Дмитриевичем Никольским — внучатым племянником. Так на рабочем столе появились книги Михаила Пробатова (сына А.Н.) и Феликса Светова (брата Иды Григорьевны — жены А.Н.), мемуары учёных-коллег А.Н. Пробатова, энциклопедические и периодические издания: географические, отраслевые, православные, а также выписки из документов Центрального государственного архива Москвы и архивов Южного федерального и Калининградского государственного технического университетов. Тем не менее не всё удалось выяснить в полной мере, и поэтому представляемый читателю краткий очерк, скорее, есть карандашный набросок, некая совокупность штрихов, чем полноценный исторический портрет с присущим ему многоцветьем деталей и погружением в психологию персонажа.

Александр Николаевич Пробатов родился 2 июня 1900 года в селе Темирево Тамбовской губернии (ныне это — Пителинский район Рязанской области). Он был старшим ребёнком в семье местного священника Николая Александровича Пробатова и его супруги Варвары Александровны (в девичестве Алгебраистовой). В 1906 году семья переехала в село Агломазово Шацкого уезда Тамбовской губернии (ныне — Сасовский район Рязанской области). Здесь в 1913 году семейство прибавилось двойней: родились Сергей и Мария. В Агломазове о. Николай проповедовал в Богоявленском храме, руководил церковным хором, преподавал в построенной его заботами церковно-приходской школе.

По сословному обычаю, духовное служение являлось наследственным. Но в XIX веке эта традиция была нарушена. У детей «лиц духовного звания» стало популярным получать светское среднее и высшее образование. Как следствие, «поповичи пошли в науку». Вот и сын о. Николая не повторил путь родителя, окончившего Касимовское духовное училище и Тамбовскую духовную семинарию, а предпочёл классическую мужскую гимназию Министерства народного просвещения.

На первый взгляд, выбрать место учёбы было несложно — ближайшие гимназии находились в Рязани и Пензе, куда по железной дороге от станции Сасово (ближайшей к Агломазово, примерно в 20 верстах) можно добраться за несколько часов. Но дело в том, что для небогатых



сельских священников восьмилетнее содержание ученика вне дома было весьма обременительным. Требовалось оплатить учёбу, форму, учебники, канцелярские принадлежности, питание, квартиру и пр. Правда, семейные расходы значительно уменьшались, если сын проживал у родственников или знакомых. Старший брат о. Николая, Василий Александрович Пробатов, трудился законоучителем в Коломне, совершая, кроме того, по воскресеньям службы в городских храмах. К нему-то и отправился постигать науку юный племянник.

Протоиерей Василий Пробатов был известен своей образованностью и широким кругозором. Окончив, как и брат, Касимовское духовное училище и Тамбовскую семинарию, он продолжил учёбу в Московской духовной академии (1887–1891 гг.). О высоком качестве подготовки в стенах старейшей в России академии можно судить по даже краткому перечню именитых профессоров того времени. Это автор двухтомного труда «История русской церкви» Евгений Евстигнеевич Голубинский, известный гебраист и библиист Павел Иванович Горский-Платонов, признанный специалист по истории церкви Николай Фёдорович Каптерев, выдающийся историк Василий Осипович Ключевский, духовный писатель и богослов Митрофан Дмитриевич Муретов, историк русского раскола и публицист Николай Иванович Субботин. Фундаментальные богословские и общегуманитарные познания студента Пробатова заметили, и после окончания обучения он некоторое время работал секретарём у Фёдора Дмитриевича Самарина — видного общественного и церковного деятеля, публициста, активного поборника земского школьного образования.

Но молодого человека больше привлекало церковное служение. Поэтому в августе 1893 года он прошёл рукоположение и стал законоучителем Коломенской мужской, а позднее — и женской гимназии.

Наш город вошёл в жизнь тамбовского уроженца не случайно — здесь проживала семья его молодой супруги Анны, дочери коломенского священника Николая Вележева.

По свидетельству Н. Д. Никольского, биографа о. Василия, таланты Василия Александровича были многогранны. Он профессионально занимался переводами религиозно-философских книг, а на склоне лет выполнил стихотворные переложения всех 150 псалмов, всех четырёх Евангелий, многих молитв и песнопений. На семейных праздниках он постоянно радовал близких стихотворными поздравлениями. А об его успехах на педагогическом поприще свидетельствует большое уважение и признательность учеников, не забывавших Учителя вплоть до кончины в 90-летнем возрасте (1956 г.). Имея от природы сильный голос, свой певческий дар он являл не только во время богослужений, но

и в светской жизни, с удовольствием исполняя русские и украинские народные песни.

Попутно заметим, любителем пения был и Александр Николаевич. В подтверждение приведём свидетельство академика Никиты Николаевича Моисеева, коллеги по Ростовскому университету: «Часто бывали у Пробатовых, особенно, когда он приглашал петь русские песни... Слушать, как пел Пробатов, я очень любил. У них очень неплохо получалось пение в два голоса с И. И. Воровичем (известным математиком, позднее академиком РАН. — *Н. В.*), у которого был тонкий слух несостоявшегося музыканта».

Мы намеренно столь подробно остановились на биографии о. Василия. Ведь напряжённая учёба юного Александра в Коломенской гимназии не предполагала частые и продолжительные посещения родительского дома — только на время рождественских, пасхальных и летних каникул (каникул). Поэтому неудивительно, что основные заботы о племяннике — и бытовые, и воспитательные — легли на плечи семьи коломенских Пробатовых, хотя подросток жил на съёмной квартире. Если учесть огромное значение детских и юношеских впечатлений в формировании личности человека, то можно с уверенностью говорить о серьёзном влиянии Василия Александровича на становление взглядов и характера подростка. И речь не только о примере энциклопедических знаний законоучителя, но и «органическом неприятии» им лживости, умения твёрдо отстаивать своё достоинство, высказывать собственное мнение и быть независимым от фигур, «власть предрежащих». Эти качества характера о. Василия (заметим, далеко не безопасные для любой карьеры) ярко проявились в его конфликте с гимназическим начальством, который развернулся на виду всего города (и, разумеется, Александра). К сожалению, завершилось всё не в пользу протоиерея — он был уволен из обеих гимназий (правда, в конце 1913 года получил место смотрителя Коломенского духовного училища, находящегося в подчинении Московской епархии). Примечательно, что позиция большинства коломенских учащихся и преподавателей оказалась противоположна официальной, что они демонстративно и выразили, преподнеся опальному учителю «прощальный адрес» от имени педагогов женской гимназии.

Как протекала учёба гимназиста Пробатова, архив ответа не даёт. Отдельный фонд Коломенской мужской гимназии отсутствует. Поэтому детальная реконструкция течения первых школьных лет: даты поступления (вероятно, август 1908 года), текущих и экзаменационных оценок, поведения и др. — пока объективно затруднена. Однако блестящая административная, научная и преподавательская карьера Александра Николаевича позволяет сделать вывод об основательности полученных в гимназии знаний и свидетельствует о стремлении и умении их постоянно добывать и совершенствовать.

1914 год изменил привычный, не менявшийся годами уклад ученической жизни. Начавшаяся в августе «германская» война вызвала в русском обществе взрыв патриотических настроений. Свою лепту в поддержание победного духа вносили и газеты, которые постоянно рассказывали о подвигах лихих разведчиков-казаков и героизме русских солдат и офицеров. Всё это решающим образом повлияло на поведение учащихся. Подростки

бежали на фронт, «по разрешению родителей» записывались добровольцами в действующую армию.

Не стала исключением и Коломна. Перемены в её облике красочно описывает писатель И. С. Соколов-Микитов в рассказе «Гимназистки». «Война вдруг изменила, преобразила город, всколыхнула привычное бытё-жителиё... По бульвару и Пушкинской нынче гуляла новоиспечённые прапорщики в ремнях и новеньких погонах; проходили, семена ножками, сёстры милосердия в чёрных монашеских косынках. Первое время всё это... казалось занимательным и модным. Гимназистки сходили с ума, мечтая о косынках милосердных сестёр; гимназисты готовились добровольцами на фронт».

Из донесения А. Ф. Лебедева, директора Коломенской гимназии, известно, что трое гимназистов-добровольцев в октябре 1914 года отправились на «театр военных действий». Об Александре Пробатове в документе сказано следующее: он «поддерживал сообщение во время боёв между отдельными частями действующей армии, был контужен и как оказавший существенные услуги борьбе с врагом был награждён орденом Святого Георгия Победоносца; в марте (1915 г. — *Н. В.*) Пробатов возвратился из армии на Родину».

Подробности этих событий в автобиографической повести «Я — беглый» приводит Михаил Пробатов. Прочитируем важный для нас её фрагмент: «Всего о моём отце не расскажешь... Он был ровесник века, 1900 года рождения. В 1914 году сбежал из дома на фронт. В августе, когда наши были окружены в Восточной Пруссии, он был вестовым командира пехотного полка. Он стоял под огнём рядом с полковником на КП. Закричали: “Ложись!” — все бросились на землю. Снаряд взорвался, штаб осыпало комьями грунта и камнями. Все встали, а отец продолжал лежать, закрыв голову руками.

— Эх, взял я грех на душу, — сказал полковник. — Мальчишку надо было отправить домой...

Неожиданно отец встал, поискал фуражку, выколотил её о колено и взял под козырёк:

— Никак нет, Ваше Превосходительство! Я здоров и могу исполнять службу.

— Что ж ты не встал? — облегчённо смеясь, спросил полковник.

— Виноват, испугался, Ваше Превосходительство.

Полковник тут же достал из шкатулки Георгиевский крест и приколот отцу на гимнастёрку. Этот крест я часто разглядывал в детстве».

Как видим, М. Пробатов и директор гимназии расходятся в обстоятельствах появления Александра Пробатова на фронте.

Спустя столетие сложно установить, в какой воинской части и как долго находился молодой воин. Неясно также, когда и кто (если не было побега!) разрешил ему записаться добровольцем в армию. По всей вероятности, это успел сделать отец до начала служения в походной церкви Марии Магдалины 1-го Бахмутского полка. Его поступок оценим особо. Решив в 1914 году духовно помочь воинам, священник оставил в селе жену-инвалида с двумя годовалыми детьми. Но, возможно, разрешение оформили мать или о. Василий.

В любом случае решительность и храбрость 14-летнего гимназиста сегодня вызывают понимание и восхищение. В этой связи почётным вы-

глядит упоминание его имени (с описанием участия в боевых действиях) в статье «Прощайте, дорогие родители, я еду оборонять Россию», опубликованной в № 8 журнала «Родина» за 2013 год. Из романа Ф. Светова «Опыт биографии» следует, что полученная контузия не прошла бесследно, и юноша оказался на излечении в госпитале. Столь необычный раненый солдатик не остался незамеченным. Светов пишет, что «В госпитале ему приносила конфеты императрица Александра Фёдоровна».

Последующие два года жизни Александра Пробатова удалось восстановить лишь фрагментарно. Итак, возвратившись в марте 1915 года в Коломну, он продолжил учёбу. Но столь быстрое и героическое взросление обусловило желание оставить гимназию и получить военное образование. Он поступил в кадетский корпус в Петрограде (в какой из действовавших четырёх — не выяснено). Завершить учёбу не удалось — грянули революционные события октября 1917 года, кадетские корпуса были упразднены, и юноше пришлось возвратиться в Агломазово.

Здесь уместно привести литературную версию событий жизни А. Пробатова 1914–1917 годов, которую излагает Ф. Светов устами Веры — персонажа своего романа «Отверзи ми двери». Приведём интересующую нас сюжетную линию, в элементах совпадающую с исторической («пробатовской»). Отец Веры, выходец из семьи тамбовского священника села Темирево, сбежал на фронт, где отличился и был награждён Георгием. В столичном лазарете на него обратила внимание «государыня Александра Фёдоровна», которая приказала определить юношу в кадетский корпус. Таким образом он — «сын сельского попа» — попал в Первый московский Императрицы Екатерины II кадетский корпус. В октябре 1917 года ему пришлось пережить осаду корпуса большевиками. Передавая рассказанное её отцом перед смертью, Вера описывает, как «детки лучших русских фамилий... той глухой осенью закрылись в Лефортове со своими винтовочками» против пушек. Спас их добрый «дядька из солдат», который вывел десяток оставшихся кадетов «каким-то ему только и ведомым ходом, погоню с них содрал, кого смог передел» и помог покинуть город (любопытно, что в романе приведён даже маршрут движения беглецов по московским улицам).

Приведённая версия для нас важна, во-первых, как свидетельство впечатления, которое произвели на Ф. Светова долгие беседы с А. Н. Пробатовым (по словам писателя, «рассказчик он великолепный, язык его настоящий, сочный — он знает ему цену»). А во-вторых, обозначением «московского следа» в судьбе кадета Пробатова (что не подтверждено ни документами, ни воспоминаниями и, скорее всего, является художественным вымыслом).

Как известно, социальные противоречия, копившиеся десятилетиями, вылились в России в кровопролитную Гражданскую войну 1918–1922 гг. В числе многих её жертв — отец Александра Пробатова, Николай Александрович, расстрелянный 11 декабря 1918 года при подавлении красногвардейским отрядом выступления местных крестьян, недовольных мобилизацией в Красную Армию. В вину о. Николаю вменили напутственный молебен крестьянам, решившим разогнать новую власть в уездном Шацке, после которого священник произнёс: «Благословляю вас на борьбу с гонителями Церкви Христовой». Предупреждённый о приближении крас-

ногвардейцев, священник отослал жену с младшими детьми в соседнее село Калиновец, где в церкви служил брат жены. Александр же остался с отцом и сам оказался на шаг от смерти. В передаче Ф. Светова, местные мужички буквально вымолили его на месте расстрела бунтарей на берегу реки Цны: «Мальчишка, щенок, никогда ни в чём не замешан...» (Об о. Николае Пробатове, причисленном к лику Святых новомучеников и исповедников российских, повествует очерк церковного историка игумена Дамаскина (Орловского).)

Похоронив отца в одной могиле с другими жертвами, Александр покидает Агломазово. По словам М. Пробатова, он «бежал на Дон и воевал с красными в составе казачьих войск генерала Мамонтова» (речь, видимо, идёт о 4-м Донском казачьем корпусе). Конечно, уход 18-летнего Александра в Белую армию отчасти объясним его семейной трагедией, но надо иметь в виду, что приметой времени было активное участие молодёжи (крестьянской, рабочей, учащейся, студенческой) в Гражданской войне, причём с обеих сторон. Поэтому для достоверности исторической картины гражданского противостояния той эпохи логично дополнить хорошо известные литературные и кинематографические образы комсомольцев-добровольцев и молодых красных героев (например, Аркадия Голикова (Гайдара), Виталия Бонивура и др.) теми юношами, кто находился «по ту сторону» и сражался за свою «белую идею». Молодые офицеры, юнкера, кадеты, студенты и гимназисты входили в состав Алексеевского партизанского полка, сформированного в Добровольческой армии в первые месяцы 1918 года. Именно такую молодёжь упоминает Б. Пастернак в романе «Доктор Живаго», описывая идущих в атаку на партизан цепи «белых»: «Это были мальчишки и юноши из невоенных слоёв столичного общества и люди более пожилые, мобилизованные из запаса. Но тон задавали первые, молодёжь, студенты — первокурсники и гимназисты, восьмиклассники, недавно записавшиеся в добровольцы... Служение долгу, как они его понимали, одушевляло их восторженным молодечеством, ненужным, вызывающим... Пули партизан почти поголовно выкашивали их».

Достоверно неизвестно, в каком звании, где и как служил бывший кадет, хотя тот же М. Пробатов называет своего отца «белогвардейским офицером». При анализе описанного им уверенного поведения отца в критической ситуации — в защите в конце 1940-х годов посёлка рыбзавода на Сахалине от нападения сбежавших заключённых и стоическом отношении к полученному тогда ранению, складывается убеждение, что Александр Николаевич обладал немалым боевым опытом, и явно не рядового воина. О том же косвенно свидетельствует его, уже взрослого, презрительное отношение к штатному пистолету «ТТ» («оружие очень плохое, ненадёжное»), которое характерно для всех привыкших обращаться с безотказными револьверами или винтовками. И ещё немаловажная деталь. Видимо, военная служба (как и гимнастическая подготовка в кадетском училище) оказалась полезной для физического развития юноши. Не случайно М. Пробатов, сам активно занимавшийся боксом, с гордостью вспоминал, «что ни разу не видел человека, с которым... отец не мог бы справиться вручную», и, даже будучи в возрасте за 60 лет, тот «легко руками завязывал стальную монтировку».

Поражение Белой армии в Гражданской войне не сделало Александра Пробатова изгнанником. О причинах такого выбора сейчас можно только догадываться. Возможно, повлияли мысли о судьбе больной матери, сестре и брате. По свидетельству же Н.Д. Никольского, офицеры-сослуживцы убедили Александра, что дело «белых» безнадежно, и посоветовали юноше не отступать с ними к Дону. В итоге он остался на Родине.

Утаив «опасные» эпизоды биографии, в апреле 1924 года сумел окончить рыбохозяйственное отделение Сельскохозяйственной академии им. К.А. Тимирязева. Неизвестно, что содержится в документах, поданных при поступлении в Петровскую сельскохозяйственную академию (так до 1923 года называлась «Тимирязевка»), но в автобиографии, составленной спустя тридцать лет, при устройстве в Ростовский университет, Александр Николаевич указал и социальное происхождение — «из духовного сословия», и судьбу отца-священника — «репрессирован в 1918 г.», и сроки нахождения в «Тимирязевке» — 1918–1924 гг. (явно избыточные — видимо, чтобы скрыть службу у Мамонтова).

Во время учёбы Пробатов обеспечивал себя сам, работая заведующим прокатным пунктом сельхозинвентаря, помощником агронома. Всё это уже тогда выдаёт в нём человека незаурядного, волевого, уверенного в себе, что подтвердилось дальнейшей жизнью.

Пережитое неизбежно наложило отпечаток на его характер. Предоставим слово Феликсу Светову. «Я очень любил Александра Николаевича, порой он был мне отцом, во всяком случае, старшим братом, меня восхищала в нём истинность характера нелёгкого, иногда неконтролируемого... Меня поражала натура — сильная, способная к глубокой, даже изощрённой тонкости и деликатности, безо всяких видимых переходов становящаяся безудержно грубой, одним махом обрубающая самые близкие контакты, с темнотой и жутью, поднимавшейся со дна души». Интересную деталь в предпочтениях отца подмечает М. Пробатов: тот с удовольствием вспоминал «всю деревенскую работу» и даже с бригадой плотников рубил баню в посёлке рыбзавода.

Последующие почти полвека деятельности А.Н. Пробатова реконструированы по сведениям из мемуаров, «Энциклопедии Сахалинской области», архивных данных и обзоров по истории вузов, где преподавал учёный. С конца 1920-х годов он в качестве научного сотрудника Тихоокеанского института рыбного хозяйства (Владивосток) руководил ихтиологическими экспедициями на реке Амур, в Беринговом и Охотском морях. Позднее — работал в Архангельске, преподавал в вузах Перми и Краснодара, где получил звание профессора и степень доктора биологических наук. В качестве заведующего кафедрой зоологии позвоночных в Пермском университете он много сделал для формирования местной школы ихтиологов. С пермским периодом жизни Александра Николаевича связан примечательный факт: по словам Н.А. Пробатовой, когда в университет приехал выдающийся зоолог и географ академик Лев Семёнович Берг, то он остановился не в гостинице, а на квартире Пробатова — своего благодарного ученика.

В 1941 году, записавшись в народное ополчение, Александр Николаевич попытался повторить юношеский поступок. Но вместо фронта был направлен на работу по основной специальности в Батуми. В 1943

году возглавил Азово-Черноморский НИИ морского рыбного хозяйства в Краснодаре.

В 1943–1947 годах Пробатов руководил Карской научно-промысловой экспедицией, итоги которой имели огромное значение для научного изучения и хозяйственного освоения Севера СССР. Он пользовался большим доверием и личным расположением знаменитого полярника Ивана Дмитриевича Папанина — начальника Главсевморпути. В 1947 году Пробатов (беспартийный!) стал директором Сахалинского отделения Тихоокеанского НИИ рыбного хозяйства и океанографии. Здесь его начальственные полномочия далеко выходили за пределы собственно науки и переработки рыбы: на подведомственной территории он исполнял административные обязанности, имел право временной регистрации рождения, смерти и брака, мог заключить человека под стражу.

Не вдаваясь в научные подробности его сложной и разносторонней деятельности на Севере и Дальнем Востоке, приведём несколько эпизодов (в изложении М. Пробатова), наглядно характеризующих Александра Николаевича.

Первый эпизод относится к временам Карской экспедиции. Однажды, когда на зимовке кончились продукты, а пурга исключила доставку самолётом, в палатку к Александру Николаевичу пришли трое рабочих.

«— Начальник, с голоду сдохнем тут все, — сказал один из них. — Хочешь не хочешь, а надо кого-то схарчить. Ты легко его актируешь. Покойник-то будет не один, точно.

Отец задумался.

— Похоже, по-другому не получится, ребята, ваша правда, — ответил он. — Идите пока к себе. Мы тут подумаем, кого удобней списать.

Рабочие ушли. Отец взял карабин и вышел из палатки. Он моментально перерезал концы, на которых крепилась палатка, и рабочих, а их было десять человек против четверых научных, накрыло тяжёлым брезентом. Послышалась матерная ругань.

— Ребята, поругайтесь напоследок, — сказал отец. — Я никого не съем, обещаю. Но перестреляю вас всех до одного.

— Начальник, не стреляй! Не стреляй, мы не станем...»

Второй (сахалинский) эпизод касается участия Александра Николаевича в судьбе Толика — двенадцатилетнего сына рыбзаводского бондаря Брагина, запойного пьяницы. Брагин регулярно избивал жену, которая пила не меньше его, но за Толика всегда заступалась. А потом она исчезла, наверное, просто не выдержала и сбежала на материк. Брагин стал бить Толика ежедневно, но и тот, по примеру матери, сбежал из дома. Несколько дней поисков в тайге ничего не дали. Затем выяснилось, что ребёнок скрывается в поселковой бане. Его привели в дом Пробатовых, отмыли, накормили и переодели.

Когда же за ним пришёл перепуганный бондарь, произошло следующее:

«— Ну ладно, сынок, — сказал бондарь, — побегал и довольно. Айда домой.

— Чего я там не видал?

— Хватит, — сказал отец (Александр Пробатов. — *Н. В.*). — Про этого пацана забудь. А не хочешь, так я тебя под суд отдам. А не нравятся —

выходи во двор. Я тебя покалечу, — в некоторых случаях отец бывал просто страшен.

— Начальник, а закон?

— Какой тебе закон? Ты — крыса. Тебя убить богоугодное дело».

История эта вскоре получила продолжение — семья Пробатовых усыновила мальчика.

Эпизод третий («сталинский») показателен в контексте отношения Александра Николаевича к «отцу народов». Вот как пишет об этом М. Пробатов. «Помню странные дни, наступившие после 5 марта 1953 года. Там, где мы жили в то время (на Сахалине. — *Н. В.*), немногие горевали по поводу смерти Сталина. Но напуганы были все. Отец настроено распоряжился, чтоб над каждой избой висел траурный флаг. А над нашей избой флаг был алого шёлка, его сделали из маминого кашне. Помню, как гудели на рейде пароходы, гудел рыбозавод, гудел остановившийся напротив посёлка поезд узкоколейки.

— Что ж теперь будет, Александр Николаевич? — спросила бабушка.

— Как что? Интеллигенцию станут сажать, что ж ещё? Но... С другой стороны, вы знаете, я говорил с рыбаками, и у меня впечатление, что люди уже на грани. Возможны перемены...

Тогда отец часто уходил на берег к палаткам, в которых жили завербованные на путину, только что освободившиеся ээки. Он подолгу сидел там, курил махорочные сигарки и слушал. Он слушал, а люди говорили, говорили. Они тогда не могли наговориться. Они рассказывали. Они спрашивали, но он только отрицательно мотал головой. Никто ничего не знал».

374

НИСОН ВАТНИК

Не обладая достоверными источниками, сложно спустя десятилетия определить отношение А. Н. Пробатова к действовавшей власти (правда, по словам Н. Д. Никольского, почтения к ней он не испытывал, помня расстрел отца и собственное белогвардейское прошлое). Мало проясняет и повесть «Я — беглый», хотя по её тексту и разбросаны некоторые намёки. Приведём несколько. Так, Александр Николаевич откровенно презирал в людях «невежество и холуйство», вне зависимости от чина и должности ответственного лица. Он саркастически (разумеется, в кругу близких) отзывался о служаках из НКВД. А возвратившись на Сахалин из Москвы с орденом Ленина (1951 г.), во время торжественного застолья произнёс тост, обращённый к своим недоброжелателям, ожидавшим известий о его смещении или аресте: «Мы все здесь уголовные преступники. Я надеюсь дожить до того времени, когда всех нас будут судить... Ну, что ты уставился? — вдруг спросил он своего заместителя, сидевшего от него по левую руку. — Не удалось тебе? Думаешь, сейчас меня за эти слова потянут. Дурак ты. Не по зубам тебе я. Но когда-нибудь, когда-нибудь... Меня, а не тебя судить будут. За что? Этого я тебе не растолкую, потому что ты холуй». Добавим к сказанному, что даже высшая государственная награда за вклад в изучение рыбных ресурсов Тихого океана не помешала начальству снять Пробатова с работы за требование запретить промысел молодежи сельди в водах Сахалина и Хоккайдо, который неминуемо вёл к утрате ценнейших рыбных ресурсов.

Конечно, главным делом А. Н. Пробатова была наука. Именно здесь он в полной мере себя реализовал. С октября 1953 года, закончив директорствовать в Сахалинском НИИ, он преподавал в Ростовском государ-

*Мемориальная доска А.Н. Пробатову
на здании КГТУ*

ственном университете. А с 1957 года и до конца жизни (17 марта 1972 года) работал в Калининграде, где заведовал кафедрой ихтиологии и сырьевой базы Технического института рыбной промышленности и хозяйства (ныне — Калининградского государственного технического университета — КГТУ). В период его заведования расширилось содержание учебных дисциплин: в них включили вопросы морского и океанического промысла. Студенты-практиканты получили возможность участвовать в промысловых атлантических экспедициях. Сам Пробатов руководил многими экспедициями, и их результаты принесли ему признанный приоритет в области научной подготовки рыбопромыслового освоения новых районов Мирового океана. Огромен его личный вклад в пополнение институтского Ихтиологического музея уникальными экспонатами.

Признанием выдающихся научных заслуг учёного является мемориальная доска на здании КГТУ с надписью: «Пробатов Александр Николаевич. 1900–1972. Доктор биологических наук, профессор, руководитель первых океанических научных экспедиций». Его именем названо научно-исследовательское судно Сахалинского НИИ рыбного хозяйства и океанографии. Наряду с орденом Ленина, он был награждён орденом «Знак Почёта», медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне», знаком «Отличник рыбной промышленности».

По свидетельству Н.Д. Никольского, Александр Николаевич не забывал мест своей юности. Он неоднократно приезжал в Коломну, навещая родных, в первую очередь дядю — Василия Николаевича, благо наш город близок к Воскресенску, где, покинув Агломазово, долгие годы проживали мать и сестра. В Воскресенске находится и место его вечного упокоения. По ряду причин имя А.Н. Пробатова остаётся малоизвестным для коломенцев, и, видимо, пришло время воздать должное его памяти в городе, где в 1914 году он сделал тот первый самостоятельный шаг, с которого начиналась длинная дорога взрослой жизни.

Р.С. Как порой непредсказуемо переплетаются судьбы людские, книги, города... Вот и Михаил Пробатов оказался связан с Коломной — и работой, и творчеством. По словам композитора и исследователя российских железных дорог Алексея Борисовича Вульфо́ва, «очень талантливый человек», поэт и писатель Михаил Пробатов одно время жил в Коломне и трудился корреспондентом местной многотиражки. В очерке «Вспоминная Коломна», опубликованном в «Коломенском альманахе», Вульфóв приводит стихотворение М. Пробатова, которое его «очень привлекло и тепло взволновало — до состояния радости!»:



Далеко безумная Москва,
Мирно дремлет зимняя Коломна.
В снежные одета кружева
За сугробами церквушка скромная.

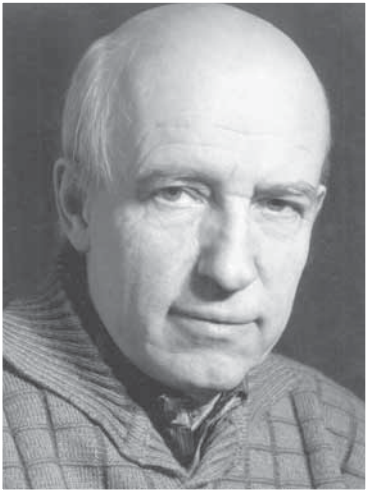
Я пройду заснеженной дорожкой,
Поклонюсь старушке на пути.
Постою на паперти немножко:
«Здравствуй, Боже! Можно мне войти?»

Прочитанное (а всё происходило в 1988 году) удачно совпало с впечатлениями Алексея Борисовича от недавней поездки в Голутвин: «Это только что я видел в дороге — и зимнюю Коломну, и “церквушку скромную”, которая плыла за окном электрички, и бабушек, которые неторопливо брели по городу по заснеженным дорожкам... Музыка сама легла, почти без моего участия. Как будто всегда существовала». Молодой композитор сразу сочинил на это стихотворение хор, «который потом слышал Георгий Васильевич Свиридов». И далее, завершая краткий сюжет о Михаиле Пробатове, Вульфов пишет: «Я люблю его стихи, написал на некоторые из них музыку. Пока — не исполненную...» Увы, Михаил Александрович Пробатов скончался в сентябре 2014 года во Франции, куда уехал к детям.



Научно-исследовательское судно «Профессор Пробатов»

ИЗ КРЕСТЬЯН — В ПОТОМСТВЕННЫЕ ДВОРЯНЕ



Анатолий Иванович Кузовкин — краевед, заслуженный работник культуры РСФСР (1988 год), Почётный гражданин Коломны, член Союза журналистов СССР (ныне РФ) с сентября 1969 года, член Союза писателей России с января 2000 года. Родился 18 августа 1939 года в Москве. Осенью того же года семья переехала в Коломну, и вся последующая жизнь А. И. Кузовкина связана с нашим городом, за исключением трёх лет службы в армии на Южном Урале — в Челябинске и Копейске. После увольнения из армии в 1961 году поступил в Коломенский педагогический институт на историко-филологический факультет. После окончания работал в штате редакции газеты «Коломенская правда» литературным сотрудником, ответственным секретарём, корреспондентом. С редакцией «Коломенской правды» по сей день сотрудничает по договору как редактор историко-краеведческого приложения «Край родной». В 1986 году был одним из организаторов Коломенского клуба краеведов, бессменный первый заместитель председателя совета клуба.

За большую творческую жизнь издал более семидесяти книг, брошюр и буклетов о Коломенском крае и коломенцах.

А. И. Кузовкин является лауреатом Московской областной премии имени А. П. Чехова «Служение общему благу» (2012 год).

Краеведческое исследование

На первой странице популярной ежедневной газеты «Московские ведомости» от 1 октября 1894 года в чёрной траурной рамке было напечатано оповещение: «Тайный советник Пётр Ионович Губонин скончался в Москве 30 сентября, в 8 часов утра, о чём жена и дети покойного с душевным прискорбием извещают родных и знакомых. Панихиды будут в 11 часов утра, 4 часа дня и 8 часов вечера в собственном доме, на Пятницкой. О дне отпевания будет объявлено особо».

А через номер, 3 октября (по новому стилю 15 числа), та же газета на третьей полосе опубликовала обширный некролог. Начинаясь он так: «Не стало Петра Ионовича Губонина! В лице покойного русское общество лишилось выдающегося деятеля в области русской промышленности и щедрого благотворителя. Имя его хорошо известно всей России, и весть о кончине его, без сомнения, отзовется тяжёлою грустью на сердце каждого, кому дороги истинно русские люди, посвящающие все свои силы на служение родному краю. Пётр Ионович вышел из народа и только благодаря своим личным качествам, своему выдающемуся уму и чрезвычайной энергии достиг высокого общественного положения, приобрёл громадное состояние и увековечил своё имя в истории железнодорожного дела, а также в истории русского просвещения и благотворения».

Этот удивительный человек родился в семье крепостного крестьянина



Пётр Ионович Губонин

деревни Борисово Коломенского уезда. Большую роль в судьбе Петра Губонина сыграл его дед Алексей. Крепостной кустарь помещика Бибикова в совершенстве владел искусством насечки мельничных жерновых камней. Барину он платил оброк. Деньги зарабатывал, обслуживая многочисленные мельницы Коломенского уезда. Своему ремеслу обучил и внука. Петру удалось окончить лишь три класса сельской школы. Он рано начал трудиться. Дед был доволен: внук оказался смыслёным пареньком, вникал в тонкости сложного промысла и познал его.

Когда Петру исполнилось семнадцать, Алексей Губонин отвёз внука в Москву к своему дальнему родственнику Яковлеву, который содержал несколько артелей каменщиков.

Пётр Губонин оказался хватким, расторопным человеком, и стареющий Яковлев, отметив эти и другие необходимые в его деле качества, назначил молодого человека приказчиком. А когда умирал, завещал Петру все инструменты и приспособления. А ими можно было вооружить несколько сот каменщиков и выполнять трудоёмкие работы по подъёму и передвижению тяжестей большого веса.

Дело у молодого предпринимателя пошло. Вскоре под его начало переходит камнетёсный завод и лавка по продаже жерновов. А в 23 года Пётр Губонин становится самостоятельным подрядчиком каменных работ.

Чем он занимался, перечислять довольно долго. Назову лишь самые значительные его дела. П. И. Губонин участвовал в строительстве мостов, железнодорожных магистралей (Орловско-Витебской, Лозово-Севастопольской, Уральской, Балтийской и других), различного назначения зданий, набережных, Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге и там же конки. Он был основателем Брянского рельсопрокатного завода (ныне это АО «Брянский машиностроительный завод»). В Голубовско-Богодуховских каменноугольных копях он разрабатывал минеральные ископаемые. Давал деньги на расширение Коломенского машиностроительного завода.

П. И. Губонин имел тесные деловые отношения со своими земляками-коломенцами, владельцами машиностроительного завода братьями Струве. В этом отношении показательны московские события весны 1870 года.

За полтора часа сгорел Москворецкий мост. А в то время он был основным мостом, по которому шло сообщение Замоскворечья с торговой частью города. Городской голова предпринял энергичные меры. Был организован бесплатный перевоз жителей через реку на лодках, за два дня сооружён пешеходный мост.

Но надо было решать задачу кардинально. Избранная думой Особая комиссия решила как можно скорее восстановить Москворецкий мост. С этой целью она обратилась к опытным и благонадёжным подрядчи-

*Храм Христа Спасителя.
Дореволюционная открытка*

кам: инженеру-полковнику А. Е. Струве и коммерции советнику П. И. Губонину. Перед ними была поставлена задача: «Все меры направить к тому, чтобы открыть движение по мосту к 15 марта 1871 года».

Пётр Ионович, понимая важность стройки, направил на восстановление моста триста опытных плотников и каменщиков. Из своих каменоломен в Подольском уезде Губонин бесперебойно поставлял камень, который обрабатывали на месте. К августу мостовые и береговые устои были полностью восстановлены, отреставрированы волнорезы.

Но неожиданно дело застопорилось. Не поступил металл из Европы: пароход не мог выйти из порта из-за франко-прусской войны.

Тогда А. Е. Струве предложил изготовить необходимые конструкции на своём Коломенском заводе. Городская дума согласилась. Работы возобновились.

Однако теперь вмешалась стихия. В ноябре по Москве-реке прошёл разрушительный осенний паводок. За двое суток вода поднялась очень высоко и с неимоверной силой ринулась вниз по течению реки, снося всё на своём пути. Не устоял временный мост, оказались разрушены и другие переправы. По воде неслись барки, лодки, плоты, брёвна, доски, сено и многое другое, разбивая по пути всё, что встречалось.

Лишь после того как стихия утихомирилась, рабочие вернулись к строительству, начав с восстановления разрушенного.

В декабре с Коломенского машиностроительного завода начали поступать металлические конструкции моста. Рабочие приступили к монтажу. В работе были задействованы свыше 450 клепальщиков и слесарей.

Подрядчики почти уложились в сроки. 20 марта 1871 года в 8 часов 30 минут на мосту отслужили молебен, и пешеходы уже могли использовать для передвижения его правую (если смотреть от храма Василия Блаженного) часть. Спустя пять дней торжественно открыли эту же часть моста. Присутствовали высокие гости во главе с московским генерал-губернатором князем В. А. Долгоруковым и главные строители: Струве и Губонин. А 15 мая того же года торжественно открыли и вторую половину моста.

Москворецкий мост — это важнейшее транспортное сооружение города — исправно действовал почти семьдесят лет. Его разобрали в ноябре 1937 года, когда рядом построили новый, больших размеров Москворецкий мост.

Активная, плодотворная работа П. И. Губонина дала возможность составить многомиллионное состояние. Все деньги он вкладывал в новые дела и благотворительность. Громадную сумму — 170 тысяч рублей — вы-





Москворецкий мост. Дореволюционная открытка

делил для устройства политехнической выставки и созданного на её основе постоянно действующего музея. Дал деньги на строительство в Москве храма Христа Спасителя, за свой счёт отремонтировал Петропавловский собор. Своим существованием ему обязано Комиссаровское техническое училище в Москве, техническое училище с мастерскими в Борисоглебске, духовная семинария в Твери, приют в Санкт-Петербурге. И это далеко не все его добрые дела, куда он вложил свой капитал.

Пётр Ионович купил в Крыму, в Гурзуфе, 100 десятин земли и за сравнительно короткий срок сумел преобразовать это место. Он сделал из посёлка европейский курорт. Проложил водопровод, устроил русло для горной речки, возвёл семь красивых комфортабельных гостиниц и построил десять многоместных дач с мебелью и обслуживанием. Его дома для приезжих и по сей день служат людям. В 1887 году на берегу моря Губонин заложил церковь в греко-византийском стиле. Храм был освящён 24 августа 1891 года во имя Успения Богородицы. При нём действовала церковно-приходская школа. Служащим имения бесплатно оказывалась медицинская помощь.

Украшением курорта стали великолепный парк и фонтаны.

В Гурзуфе П. И. Губонин занялся виноделием. И в этом деле достиг успеха. В книге Н. Д. Телешева можно прочитать, что любимым вином Антона Павловича Чехова был знаменитый «Губонинский» клярет из гурзуфских виноградников. Писатель угощал им в своём ялтинском доме самых дорогих гостей.

Своеобразной компенсацией за предпринимательскую деятельность и щедрую благотворительность явилось возведение П. И. Губонина высочайшим Указом в дворянское достоинство, в чин действительного статского советника (равносильного в военной службе чину генерала), награждение тремя серебряными и двумя золотыми медалями, орденами Св. Станислава III, II и I степени, Св. Анны III, II и I степени, Св. Владимира IV, III и II степени и орденом Белого Орла. Кроме того, он был на-

*Комиссаровское
техническое училище.
Фото начала XX века*



граждён многими иностранными орденами.

Интересное документальное свидетельство, имеющее отношение к П. И. Губонину, приводится во втором томе книги А. А. Бобринского «Дворянские роды, внесённые в общий гербовник Всероссийской империи». Она вышла в Санкт-Петербурге в 1890 году. На страницах 723–724 сообщается: «В Именном Его Императорского Величества Высочайшем указе, данном Правительствующему Сенату в 21-й день декабря 1872 года, изображено: “В воздаяние пожертвований коммерции советника Губонина с 1870–1872 г. на устройство и обеспечение бывшей в сем последнем году политехнической выставки в Москве, и во внимание к стремлению его своими трудами и достоянием содействовать общественной пользе, Всемилостивейше соизволяем на возведение его, Губонина, в потомственное Российской Империи дворянское достоинство”. 25 декабря 1875 года Губонин Всемилостивейше произведён за отличие в действительные статские советники, а 19 февраля 1876 года Всемилостивейше повелено сыновьям его, действительного статского советника Петра Губонина, Сергею и Николаю, рождёнными до возведения отца их в 1872 году в потомственное дворянство, предоставить

381

ИЗ КРЕСТЬЯН — В ПОТОМСТВЕННЫЕ ДВОРЯНЕ



Гурзуф. Дореволюционная открытка



*Эти дома деревни Борисово дошли до нас из девятнадцатого столетия.
Фото А. Кузовкина*

права потомственного дворянства. В 1878 году июня 14 дня действительному статскому советнику Петру Губонину с потомством на дворянское достоинство пожалован диплом с изображением герба, за Высочайшим Его Императорского Величества подписанием, с коего копия хранится в департаменте Герольдии». Девиз дворянского рода Губониных был «Не себе, а Родине!». Эти знаменательные слова, как нельзя лучше характеризующие Петра Ионовича Губонина, предложил поместить на фамильном гербе сам император Александр II.

После смерти П. И. Губонина во многих газетах появились статьи, посвящённые ему, человеку, хорошо известному в России. Инженер А. Петлин вспоминал, как Пётр Ионович на вопрос одного из близких людей о непонятном его стремлении к «постройкам, не приносящим выгоды», ответил: «У всякого, брат, своя слабость: кто любит карты, кто вино, кто барынь. Дай мне построиться. Ведь я тысячи людей этим кормлю». И далее рассказывает, каким был П. И. Губонин: «Будучи весьма религиозным человеком, достигши чина тайного советника и имея орден

382

АНАТОЛИЙ КУЗОВКИН



*Журналистка З. С. Пожетных на Борисовском кладбище у могилы Губониных.
Фото А. Кузовкина.*

Памятник на могиле отца П. И. Губонина — Ионы Михайловича Губонина и его родственников. Фото А. Кузовкина



Белого Орла, Пётр Ионыч оставался всё тем же русским самородком как в своей жизни, так и в костюме — картуз и сапоги бутылками составляли его исключительный костюм. Пётр Ионыч гордился своим русским происхождением, был в высшей степени отзывчив, скромн и прост в обращении». Об этом же можно прочесть в книге П. Бурьшкина «Москва купеческая»: «...Губонин не захотел быть “мещанином во дворянстве”, в чине тайного советника он ходил в картузе и сапогах бутылками и надевал звезду на долгополый сюртук».

В последние годы Пётр Ионович страдал тяжёлой формой сахарной болезни. Вместе с пошатнувшимся здоровьем начали давать сбой и его дела: не все из его предприятий стали прибыльными.

Умер П. И. Губонин в Москве, вернувшись туда из Петербурга, где решал неотложные дела. А похоронили видного предпринимателя и благотворителя в Гурзуфе, как он завещал. Прах Петра Ионовича покоился в нижнем помещении под сводами храма во имя Успения Богородицы, которой он построил. На мраморной доске надгробия была надпись: «Милому и доброму Петру Ионовичу от товарищества “Нефть”. Незабвенному и глубокоуважаемому Петру Ионовичу — от признательных гостей “Гурзуфа”. Хозяину от благодарных служащих. От правления Общества конно-железных дорог С.-Петербурга...». В 1895 году скончалась супруга П. И. Губонина Марина Савостьяновна. Последнее упокоение она нашла рядом с мужем в Гурзуфе.

В 1930-е годы храм во имя Успения Богородицы был разрушен. Могилы четы Губониных не сохранились.

В тёплый солнечный день 28 мая 2008 года вместе с сотрудницей газеты «Благовестник» Зоей Семёновной Пожетных я приехал в село Шкинь Коломенского района. Рейсовый автобус сделал последнюю остановку недалеко от шкиньской церкви Сошествия Святого Духа. Удивительное по красоте сооружение восходит к образцам базиликальных храмов и очень напоминает собор Александро-Невской лавры в Санкт-Петербурге. Построена она в 1794–1800-х годах по заказу владельца села генерал-майора Гавриила Ильича Бибикова (1746–1803). Ему же принадлежала и расположенная по соседству, на левом берегу речки Северки, деревня Борисово, в которой родился Пётр Ионович Губонин.

Мы полюбовались храмом. В западной его части с двух сторон от центрального входа стоят невысокие однотипные башни-колокольни. Необычайно эффектно восточная часть церкви — полуротонда алтаря,

обнесённая колоннадой. По всей вероятности, в сооружении этого удивительного по красоте здания, которое явилось бы украшением и губернского города, участвовали и бибиковские крестьяне из Шкини и Борисова, в том числе предки П. И. Губонина.

По мосту через бурлящую речку мы перешли на противоположный берег. Вдоль него протянулась улица деревни Борисово с одним рядом домов. Их немного. В основном они старенькие. Некоторые, по всей вероятности, были построены ещё в девятнадцатом столетии.

Не спеша прошли вдоль тихой сельской улицы. Встретили лишь трёх человек. Поинтересовались, живут ли сейчас в Борисове Губонины. Услышали, что сельчан с такой фамилией нет.

Заглянули на небольшое сельское кладбище. Увидели в основном кресты и однотипные надгробия. Внимательно вчитываясь в надписи на памятниках и крестах, медленно продвигались в глубь погоста. И вдруг увидели высокий, из розового гранита памятный знак, не похожий ни на один из установленных на кладбище. Подходим ближе. Чуть потускневшие от времени золотые буквы. С трудом разбираем надпись: «Господи! Прими духъ его с миромъ. Подъ симъ камнемъ погребено тело крестьянина села Шкинъ деревни Борисово Иона Михайловича Губонина. Родился 1803 года (далее неразборчиво). Скончался 1856 года (далее неразборчиво)».

На остальных гранях памятника помещены другие имена Губониных. По всей вероятности, это семейное захоронение. Можно предположить, что памятник на могиле отца поставил Пётр Ионович, потому что материал, из которого он изготовлен, дорогой, доставлен издалека.

Наверняка Пётр Ионович приезжал в родную деревню. Может, не часто, но по таким поводам, когда собираются все родственники, чтобы проводить в последний путь усопшего близкого человека...



Лилия Нисоновна Соза родилась в Коломне. В 1993 году окончила исторический факультет Коломенского педагогического института. С 1998 года работает в КГПИ (ныне Московском государственном областном социально-гуманитарном университете), где последовательно занимала должности старшего лаборанта, ассистента, старшего преподавателя, доцента. В 2006 году защитила кандидатскую диссертацию по теме «Коломна как тип уездного промышленного города второй трети XIX — начала XX века». В настоящее время — доцент кафедры отечественной и всеобщей истории ГСГУ. Кандидат исторических наук.

Лилия Нисоновна Соза — лауреат Всероссийского конкурса на лучшую научную книгу 2012 года, автор 38 научных и научно-методических работ. Среди них — монография «Пореформенная Коломна: на пути к промышленному городу» (2012).

Краеведческое исследование

1914-й... ВОЕННОПЛЕННЫЕ В КОЛОМНЕ

Аойна является трагедией в жизни любого государства, народа и каждого человека. Таковой была и Первая мировая, которая принесла невиданные ранее людские потери: более 10 миллионов погибших, умерших от ран и болезней. Но к числу жертв справедливо отнести и попавших в плен — более 8,5 миллиона воинов враждующих армий. Плен — источник моральных и физических страданий, серьёзное испытание на выживание вдали от Родины, в незнакомой, чуждой среде. Размышляя о разрушительной силе войны, один из героев романа «Огонь» известного французского писателя, журналиста и общественного деятеля с горечью заметил: «Материал войны — это мы. Война состоит только из плоти и души простых солдат. Это мы образуем... реки крови, все мы и каждый из нас незаметен: ведь нас великое множество...»

Волею судеб 2,3 млн. солдат и офицеров Четверного союза (Германия, Австро-Венгрия, Турция, Болгария) оказались в русском плену. Их размещение по стране было неравномерным. Основные места постоянного пребывания находились в Петроградском, Московском, Казанском, Омском и Иркутском военных округах. Военнопленными ведали специальные отделы штабов фронтов, округов и Главного управления Генерального штаба (ГУГШ).

Правовой статус побеждённого противника определялся «Положением о военнопленных» от 7 (20) октября

1914 года, основу которого составили основные принципы Гаагской конвенции 1907 года «О законах и обычаях сухопутной войны». Положение представляло собой подробные правила по содержанию, перевозке, определению в пункты постоянного водворения, трудовому использованию. Согласно документу с военнопленными надлежало обращаться как с законными защитниками своего отечества, человеколюбиво. Свобода вероисповедания не должна быть стеснена. Собственность, кроме оружия, лошадей, военных бумаг, оставалась неприкосновенной. Военнопленных (за исключением офицеров) можно было привлекать к разным казённым и общественным работам, сообразно чинам и способностям. Эти работы не должны были быть изнурительными и иметь отношение к военным действиям. Военнопленным разрешалось носить их форменную одежду (без воинских отличий), бельё, обувь. Они подлежали действию российских военных постановлений, уставов, распоряжений и были подсудны военным судам.

По российскому законодательству, пленным должны были создаваться те же условия жизни, что и русским военнослужащим. То есть в вопросах транспортировки, проживания, довольствия, медицинского обслуживания все они приравнивались к соответствующим чинам русской армии.

В Московском военном округе конвойные функции по отношению к военнопленным выполняла 15-я Московская местная бригада. Подконтрольные территории — Московская, Владимирская и Нижегородская губернии. При распределении в пункты постоянного размещения, как правило, учитывали национальность. Так, города Вязники, Переславль-Залесский, Иваново-Вознесенск, Шуя, Калязин, Балахна стали местом сосредоточения немцев и венгров. Славян и датчан поселили в Беженце, Суздале, Юрьеве-Польском, Нижнем Новгороде, Арзамасе. В регистрационном лагере в Павловском Посаде Московской губернии собрали исключительно пленных славян, преимущественно нижние чины.

Первые упоминания, которые удалось найти, о военнопленных в Коломенском уезде содержатся в отчёте уездного исправника и относятся к 1916 году. К этому времени здесь насчитывалось 893 порабощённых военнослужащих германской и австро-венгерской армий, при значительном преобладании последних (98%).

Согласно архивным сведениям, численность пленных менялась, их переводили в другие уезды и губернии. Национальный состав был достаточно разнообразен. В списках значились мадьяры, румыны (католики, православные), словаки, венгры, австрийцы, поляки, хорваты, чехи, немцы, евреи, итальянцы, украинцы.

Солдат Четверного союза использовали в сельском хозяйстве, на железнодорожных станциях. Коломенская земская и городская управы привлекали их для местных нужд.

В 1915 году, 28 февраля, были Высочайше утверждены «Правила об отпуске военнопленных на сельскохозяйственные работы». Земским управам до передачи рабочей силы в отдельные хозяйства предписывалось обеспечить их содержание и оказывать медицинскую помощь. Да и впоследствии не обделять вниманием. Контролировать, чтобы должным образом кормили, по возможности наравне с нижними воинскими чинами. Выделяли необходимую одежду и обувь. Следить за санитарным состо-



Открытка времён Первой мировой войны

янием. Нанять конвоиров. Общее руководство охраною военнопленных вверялось чинам местной полиции.

Спустя год, в апреле 1916-го, МВД, опираясь на опыт применения этих Правил и мнения заинтересованных министерств (военного и земледелия), подготовило и направило на места «Правила выполнения сельскохозяйственных работ военнопленными». Соблюдение вторых Правил в целом возлагалось на Московское губернское по земским и городским делам присутствие, а на местах — на уездные полицейские управления. Примечательно, что Правила были напечатаны на немецком и русском языках и доведены до сведения пленных и их хозяев (нанимателей). В документе говорилось, что «пленные обязаны начинать и кончать свои работы одновременно с русскими работниками, должны работать в дни своих праздников и в воскресенье вместе с остальными работниками». Однако на деле вместо воскресенья пленным давали выходной в один из будних дней, по усмотрению сельского хозяина (помещика).

За небрежное отношение к работе и непослушание Правила предусматривали наказание — арест «на хлеб и воду до 7 дней». Арест можно было заменить «принудительными работами по праздникам, в то время, когда остальные рабочие отдыхают, считая по 2 часа такой работы за каждый день ареста».

В документе прописывалось, что «пища военнопленных не должна быть лучше пищи русских работников в том же хозяйстве», точнее — «одинакового качества».

Кроме того, сельские хозяева были обязаны платить за работу. Размер платы устанавливался Земскою управою. Из этих денег не менее половины следовало выдавать на руки с отметкой о выданной сумме в рабочей книжке. Остальная часть поступала в распоряжение Земства на покрытие издержек по содержанию военнопленных.



Группа австрийских военнопленных в Петрограде

В 1916 году в стране усилился продовольственный кризис. Поэтому австрийцев, словаков, румын в Коломне использовали преимущественно в сельском хозяйстве. Там трудилось примерно 45% военнопленных (393 чел.). Согласно предписанию Московского губернатора от июля 1916 года уездным исправникам следовало «рекомендовать Земским управам образовать из находившихся в их распоряжении военнопленных подвижные команды для полевых работ... ввиду недостатка рабочих рук в крестьянских хозяйствах, препятствующего своевременному и успешному окончанию полевых работ».

Отчёты коломенских станowych приставов (стан — административно-полицейская территория внутри уезда) сохранили поимённые списки землевладельцев и крестьян, пожелавших взять пленных для сельскохозяйственных работ. Хозяева направляли в Земскую управу соответствующие ходатайства. Кроме того, нужно было обязательно оформить в уездном полицейском управлении особую «подписку». Так, крестьянин села Протопопово И. Л. Летников в подписке обязывался содержать пленного в отдельном от прочих рабочих помещениях, «иметь за ним строжайший надзор и не допускать никаких отступлений от существующих правил по содержанию и охранению от побега, заболеваний и смерти..., содержать, одевать и обувать на свой счёт». В свою очередь, земство пересылало сводные просьбы-заявки и расписки в соответствующие военные инстанции.

В числе нанимателей значились персоны, известные как в городе, так и уезде. Например, управляющий имением Б. М. Сеникова при селе Колыберево П. И. Лапин пожелал взять для работ 10 военнопленных, управляющий имением «Товарищества мануфактуры Щербакова сыновей» И. И. Состанцев в Коломенском уезде Суховской волости — 10, инженер Н. Н. Доброхов в Бояркинской волости — 5, потомственный почётный гражданин А. И. Никольский в селе Бояркино — 2, потомственная дворянка Е. А. Голосова в селе Павлово Федосинской волости — 3. Всего

в 1916 году 126 землевладельцев пожелали взять 245 военнопленных. В начале 1917 года военнопленные находились в имении Балина (9 плен-ных), Львова (7), Энгельгарта (4), Серикова (4) и др. Примечательно, что в имении князя Ливена, в котором трудились 9 военнопленных, был устроен лазарет для русских солдат.

Наряду с землевладельцами труд пленных использовали горожа-не. Пленных пожелали взять коломенцы С. П. Половинкин (4 чел.), В. И. Абрамов (4 чел.), И. М. Мазжухин (3 чел.), Т. Ф. Пашутин (3 чел.), Н. Е. Кислов (2 чел.), А. И. Клоков (2 чел.) и другие.

В 1916–1917 годах при сохранении массового применения труда плен-ных в сельском хозяйстве значительно расширилось его использование в важнейших отраслях промышленности, в том числе угле- и горнодо-бывающей. В «Правилах об отпуске военнопленных для работ в частных промышленных предприятиях», Высочайше утверждённых 17 марта 1915 года, в частности, определялся обязательный перечень документов для оформления. Промышленники должны были указать, на каких работах будут задействованы люди, какие железнодорожные станции служат пунктами назначения, сколько нужно человек, звания и фамилии. Как всегда, все расходы по содержанию военнопленных ложились на плечи предприятий, а надзор за соблюдением частными предприятиями Прави-л — на местную губернскую власть при содействии фабричной и горной инспекции и полиции.

Общество «Коломна–Сормово» в 1916 году использовало военно-пленных, в частности, на Кулебакском горном заводе (Нижегородская губерния) и Мариупольской верфи (в Приазовье). Весной 1917 года необходимость в рабочих руках на Кулебакском заводе была настолько острой, что Общество ходатайствовало перед Министерством торговли и промышленности прислать пленных для торфяных работ. Ведомство «дало наряд» Московскому военному округу на 900 пленных.

Однако прибытие задерживалось. Завод неоднократно просил как мож-но быстрее отправить пленных на разъезд Навашино, поскольку «сезон работ уже начался».

Тогда же правление Общества обратилось в Главное артиллерийское управление с просьбой предоставить Кулебакскому горному заводу не позднее 15 апреля не менее 1000 военнопленных для добычи торфа и вы-полнения строительных работ на заводе и заводской железной дороге. При этом особо указывалось, что завод исполняет заказы исключительно для государственной обороны и, кроме того, является «поставщиком матери-алов КМЗ (Коломенскому машиностроительному заводу. — Л. С.) с его снарядным отделом, работающим всецело на оборону».

В результате ведомство «нашло возможным предоставить 900 пленных и только для торфяных работ ввиду их неотложности». Что касается 1000 человек, то вопрос пока оставался открытым, но министерство обещало изыскать возможность.

В июне 1917 года Алексей Павлович Мещерский (директор-распо-рядитель «Коломны–Сормово») вновь направил в горный департамент Министерства торговли и промышленности прошение спешно предоста-вить Кулебакскому заводу 400 пленных для разгрузки вагонов и судов. Как и прежде, отмечалось, что завод является поставщиком снарядной

стали и участвует (совместно с КМЗ) в исполнении срочных заказов для Главного артиллерийского управления, Главного военно-технического управления и Главного управления кораблестроения. О значимости труда военнопленных свидетельствует тот факт, что на заводе ввели особую должность — «приёмщик пленных» (им стал К. С. Валинский).

Такого же рода потребность испытывала и Мариупольская временная верфь коломенского завода. В телеграмме от 12 июля 1916 года на имя уполномоченного по распределению военнопленных содержалось ходатайство Общества назначить 100–150 человек на сборку и спуск двух минных транспортов, строящихся по заказу Главного военно-технического управления. Требовались клепальщики, молотобойцы, котельщики, трубопроводники, медники и чернорабочие. Используя прецедент, в телеграмме отметили, что военнопленные уже были задействованы на Кулебакском горном заводе.

В результате на Мариупольскую верфь отправили 150 болгар, что подтверждалось телеграммой уполномоченного министра торговли и промышленности в ноябре 1916 года.

К сожалению, информация о нахождении военнопленных на собственном Коломенском машиностроительном заводе в селе Боброво Коломенского уезда пока не выявлена.

В начале 1917 года в Коломенском уезде 252 пленных (28,7% от общего количества) было занято в горнодобывающем деле. В селе Колыберево на цементном заводе Центрального акционерного общества трудились 98 человек — румын. На промышленных предприятиях уезда работали 140 пленных (16%). На текстильном производстве — «Товарищество озёрской мануфактуры соединённых фабрик С. Моргунова и братья Щербаковы» в селе Озёры находились 102 военнопленных. Для работ на бумаго-прядельной, ткацкой и отделочной фабрике В. А. Арацкого в то же село в феврале 1917 года прибыли 18 пленных немцев и 12 венгров (в возрасте от 21 до 45 лет), из коих имелось «два старших унтер-офицера — Якоб Дерд и Самуель Калман». На суконном производстве купчихи Жучковой в сёлах Северском и Лукерьино трудились 10 австрийцев. Тридцать венгров добывали топливо для бумаго-красильно-отделочной фабрики «Товарищества Тимофея Кацепова и Сыновей».

Архивные документы сохранили список пленных, прибывших на производство во второй половине 1917 года, в августе. Вот имена некоторых: Иштван Хриц, Антон Сабо, Яныш Влан, Николаш Бона, Андраш Баранцо, Яныш Фишер и другие, пленённые в 1914–1915 годах.

Каждый имел краткую характеристику. Например: рядовой Марко Маерич, 30 лет, родом из Загреба, хорват, попал в плен в июне 1915 года на Днестре, направлен на цементный завод из регистрационного лагеря в Павловском Посаде, характеризуется здоровым и годным к работам.

Использовали пленных также на железнодорожных работах на станциях Пески, Хорлово и Голутвин Московско-Рязанской железной дороги (в основном на ремонте путей). В Песках и Хорлове из 25 пленных большинство составляли мадьяры Ганноверских полков (Янош Шаро, Андраш Шнайдер, Янош Мадзак, Ялек Шинк, Имрес, Текеши и др.).

Неквалифицированный труд военнопленных применяли и органы городского и уездного самоуправления.



Колонна пленных австрийцев в сопровождении конвоира на улицах Петрограда

Коломенское земское управление вело учёт прибывших в город и уезд, составляло списки. В конце 1916 года 57 пленных в Коломне находилось у огородников. Ещё 60 человек трудились по 5–10 человек в одну смену без отдыха в течение восьми часов на сушильных заводах. Кроме того, военнопленные работали в конном обозе, пожарном депо и даже кредитном обществе. Некоторых усаживали на козлы в качестве ломовых извозчиков. В начале 1917 года три человека числились при городской управе, а двенадцать были заняты на земских работах.

Размещали бывших солдат и офицеров вражеской армии по хозяевам. Никакой регистрации по домовым книгам у домовладельцев и крестьян не производилось, предприятия вели собственный учёт прибывших и убывших. Тем не менее в документах уездного исправника обнаружили списки пленных, размещённых в частных домах. Так, в доме Чугунова по Владимирской улице проживали Адольф Козак, Эндрег Дукас, Юсеф Кавина, а в доме Мещанинова по Никольской улице — Иван Вильчко, Антон Дюрjak, Рудольф Грегел.

Согласно «Положению о военнопленных», заболевшие получали врачебную помощь по общим правилам для российских войск. Поэтому их отправляли на излечение наравне с соответствующими русскими чинами в ближайшие военные и гражданские лечебные заведения. В Коломенском уезде — в земскую или городскую больницы, врачи которых проводили освидетельствование и давали заключение о годности к работе. По сведениям уездного исправника, в начале 1917 года в городской больнице и лазаретах на лечении находились 19 пленных. Документы сохранили имя только одного из них — поляка Антона Гирша, работавшего на сушилке овощей. Гирш «страдал туберкулёзом лёгких и часто ходил на совет в больницу», где получал от врача помимо лечения «удостоверение о посещении» (для предъявления на работе).

Продовольственный кризис 1916 года продолжал углубляться. В связи с этим главнокомандующий Московской губернии Татищев издал

постановление. Владельцам торговых заведений запрещалось продавать военнопленным продовольствие. Еду можно было купить только на базарах в установленные дни. Виновные в нарушении могли подвергнуться тюремному заключению до трёх месяцев или штрафу до 3 тыс. рублей. Вводились строгие меры наказания в отношении трактирщиков, которые допускали военных в свои заведения.

Подобное распоряжение в январе 1917 года поступило и от коломенского уездного исправника приставам города Коломны, которые должны были взять расписки от содержателей трактиров и чайных лавок о «недопущении ни под каким предлогом в свои заведения пленных». Кроме того, на владельцев трактиров за несоблюдение постановления «возлагалась ответственность перед судом».

Несомненно, не все находившиеся в плену были готовы переносить тяготы и лишения своего положения. Архивы сохранили многие примеры уклонения от работ. Так, 27 февраля 1916 года Франц Филлер был арестован на семь суток, поскольку вмешивался в распоряжения огородника-владельца Лукичёва и склонял других пленных не выходить на работу. В январе 1917 года коломенский уездный исправник сообщал об отказе трёх бывших военнослужащих австрийской армии: Поля Адама, Иштвана Ола и Ижека Ола — работать у огородника А. Ф. Боровкова. В результате «означенные подверглись аресту на хлебе и воде на 7 суток». Зачастую уклонение от работ узники объясняли нездоровьем. На фабриках «Товарищества озёрской мануфактуры соединённых фабрик С. Моргунова и братья Щербаковы» подобные случаи были не редкостью. Например, в донесении пристава 2-го стана сообщается, что пленного мадьяра Антона Тиша, румынов Алеско Колоуса и Деодора Клампова также посадили под замок, так как они уклонялись от работ, заявив себя больными. А «проведённый врачебный осмотр показал, что указанные лица являлись абсолютно здоровыми». В рапорте пристав информировал уездного исправника о протесте австрийца Георга Барана против ареста трёх его товарищей, работавших на тех же фабриках озёрской мануфактуры. Непокорный австриец «уговаривал других военнопленных прекратить работу и не приступать до тех пор, пока не будут освобождены арестованные». Подстрекателя взяли под стражу.

Серьёзное дознание на цементном заводе полицейский надзиратель провёл по поводу отказа от работ хорвата Ватрослава Копетании. Хорват объяснил, что «он по специальности кузнец, и в плену работал на заводе в кузнице, и от работ никогда не отказывался». Теперь же от него требовалось «прочистить водоприёмник, для чего необходимо было спуститься по верёвочной лестнице и работать на полу в воде», чего он не хотел. Копетания демонстративно покинул завод и ушёл в казармы. На следующий день отказался выйти в карьер. Исполняющий директор завода инженер В. И. Роллер заявил, что поведение иностранца «дискредитирует власть всего завода в глазах русских рабочих, а отказ от работ отдельных пленных крайне развращающе действует на всех остальных, от чего сильно страдает дисциплина». Поэтому к хорвату нужно применить высшую меру дисциплинарного наказания. И её применили.

Военнопленные неоднократно бежали. Так, в октябре 1916 года из казармы при станции Пески скрылся Юзеф Стафонов. Зачастую в бега

ударялись те, кого отпускали лечиться в Коломенскую городскую больницу. Как было не воспользоваться временной свободой! Так, в январе 1917 года в казармы при станции Пески не вернулся Франц Баинаки. Пристав четвёртого стана Коломенского уезда отправил в Егорьевское полицейское управление рапорт, где требовал принять меры по розыску. Указывал приметы: «выше среднего роста, брюнет, небольшие усы, лицо чистое, нос обыкновенный, говорит по-русски плохо, одет в австрийскую форму солдата, серую шинель, такие же шаровары, тужурку, кепи, обут в чёрные валеные сапоги». Тогда же с земской сушилки скрылся мадьяр Янош Красованский, страдавший душевной болезнью. В рапорте станового пристава уездному исправнику указывалось, что никакой вооружённой охраны на сушилке не было, а пропавший Гирш уходил в больницу, «как обычно, без охраны».

Среди беглецов встречались и злостные нарушители. Так, Франц Филлер скрылся, едва его выпустили из-под ареста за подстрекание товарищей не выходить на сельхозработы к Лукичёву. Объявляя розыск, исправник сообщал приметы: «одет в чёрную суконную шинель австрийского образца без погон, чёрные бумажные брюки, на голове серая кепи не военного образца, из вещей — чёрное одеяло».

Чтобы пресечь побег, канцелярия Московского губернатора в июле 1916 года издала предписание усилить надзор за пленными со стороны полиции. Полиция должна была следить, «чтобы пленные в свободное от работ время не оставались без охраны и без надобности не выходили за границы занимаемого ими помещения». В случае малейшего нарушения «военнопленных надлежало подвергать строгим взысканиям, соразмеряясь с качеством поступка». Однако указанные меры не смогли предотвратить побег. В январе 1917 года канцелярия Московского губернатора была вынуждена признать крайне слабый надзор за пленными и указала на «необходимость учреждения временных полицейских стражников по окарауливанию пленным, исходя из соображения целесообразности, чтобы на одного стражника приходилось не более 10 военнопленных».

Наряду с властями в усилении контроля были заинтересованы и владельцы промышленных заведений. Заведующий производством фабрики «Товарищества мануфактур Тимофея Кацепова и Сыновей» отправил уездному исправнику прошение о «выдаче разрешения на право покупки трёх револьверов и 25 штук патронов к каждому». Такая просьба была вызвана отсутствием должной охраны: на 30 пленных приходилось трое сторожей, «вооружённых ружьями центрального боя, крайне неудобными».

Близкие и родственники военнопленных постоянно пытались выяснить их судьбы. Им помогали отделения Красного Креста как воюющих, так и нейтральных стран. Например, Дании и Швеции. В Петрограде при американском посольстве существовало Бюро помощи для неприятельских подданных.

В России действовало Центральное справочное бюро о военнопленных, находившееся при Российском обществе Красного Креста. Оно собирало сведения о местонахождении порабощённых, их перемещении, освобождении на честное слово, обмене, побегах, поступлении в госпиталь, смерти и др. Но прямых контактов представителей нейтральных

государств с уездными властями по вопросам местонахождения и судеб военнопленных МВД не допускало и их запросы требовало «оставлять без ответов», перенаправляя в МВД для отсылки в Центральное бюро.

Возвращение военнопленных Четверного союза в свои страны началось после подписания Брест-Литовского мирного договора в марте 1918 года и завершилось спустя шесть лет. Однако покинули Россию далеко не все. Одни, и таких было немало, вовлечённые в революционные события 1917 года и Гражданской войны или же создавшие семьи, пожелали принять российское (советское) подданство. Другие же, скончавшиеся от ран и болезней, навсегда остались в русской земле.

Причиной пережитых людьми страданий была война, о которой Анри Барбюс устами одного из своих героев с горечью сказал: «Война — это чудовищная сверхъестественная усталость, вода по пояс, и грязь... Заплесневевшие лица, изодранные в клочья тела и трупы... Да, война — это бесконечное единообразие бед, прерываемое потрясающими драмами, а не штык, сверкающий, как серебро, не петушиная песня рожка на солнце!»

ХРОНИКА

ЗЕМЛЯ ДОСТОЕВСКОГО В ОПАСНОСТИ

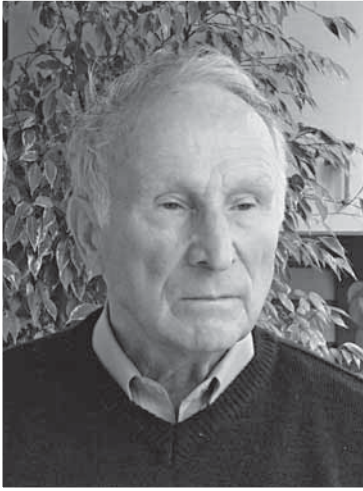
Довольно своеобразно отметили Год литературы в Зарайском районе Московской области. В Даровом, имени Достоевских, где прошли детские годы будущего гения, прямо посреди места, нежно любимого писателем, вырос «новорусский коттедж»...

Пустующей земли вокруг немерено. Что, не нашлось места? Обязательно было вклиниваться в заповедную красоту русской истории? Такое вторжение тем более болезненно, что от мемориальных построек остался лишь маленький флигель и, самое главное — парк, сад, пруды, окрестности, почти такие же, как в пору расцвета имения. В этих крылатых кронах и таинственных тропинках, в прекрасных панорамах и во Въездной аллее до сих пор живут тени Прошлого.

И теперь в исторический природный ландшафт, особенно чуткий и нуждающийся в защите, грубо вторгается нахальный уродец... Вряд ли стоит ожидать по этому поводу беспокойства от местной администрации. А вот Министерству культуры РФ стоило бы побеспокоиться. Ф.М. Достоевский — фигура мирового масштаба, может быть — самый известный в мире наш соотечественник.

Перспектива строительства «коттеджного посёлка» прямо в усадебном пространстве Дарового — это позорище на весь свет. Давайте не будем позориться!

ЖИЛЬЦЫ ДОМА ЛАЖЕЧНИКОВА



Владимир Сергеевич Тимофеев родился в Коломне 12 апреля 1938 года. Окончил семилетнюю школу № 3 и среднюю вечернюю школу № 2. Три года проходил срочную военную службу в рядах Советской армии. Долгое время работал в Коломенском РПС. Много лет возглавляет ветеранскую организацию ПО «Коломенский райпотребсоюз». Активный внештатный корреспондент газеты «Коломенская правда». Около пятнадцати лет его статьи, корреспонденции, очерки печатаются в «Крае родном» — ежемесячном историко-краеведческом приложении к газете. Автор книги «О минувшем, памятном» (2013).

В. С. Тимофеев награждён знаком «Почётный ветеран Подмосковья».

Краеведческое исследование

А старом центре Коломны, напротив самой высокой в городе колокольни церкви Иоанна Богослова, находится усадьба Лажечниковых. Её почтовый адрес: улица Октябрьской революции, 192а. Здесь действует филиал Коломенского краеведческого музея.

Мне этот дом небезразличен вдвойне. Во-первых, он связан с именем замечательного земляка, первого русского писателя-романиста Ивана Ивановича Лажечникова, который осенью 1812 года тайно от родителей бежал из этого дома на войну с захватчиками-французами. А во-вторых, здесь я прожил немало трудных и радостных дней.

Ныне на этой территории многое изменилось. А мне, когда бываю тут, вспоминается былое, то время, когда в этом доме жил.

В двухэтажный кирпичный особняк вело крыльцо с несколькими ступеньками из белого камня. Украшали его четыре колонны, которые держали большой навес. Наружная дверь была двустворчатая, внутренняя — с одной створкой, обитой войлоком. Широкая деревянная лестница с ажурными балясинами, поддерживающими перила, вела на второй этаж.

Поблизости от этого здания стоял деревянный дом. Мы его называли амбар. Говорили, что давным-давно это был каретный сарай. В его широкие ворота свободно могли проехать лошади с повозками. А на высоком чердаке хранилось сено.

У тротуара вдоль улицы Октябрьской революции в 50-е годы прошлого столетия стояли четыре палатки: сапожная,



Рисунок дома Лажечникова, художник Даниил Борисович Даран (1894–1964 гг.)

две продуктовые и справочная. Между палатками был деревянный забор и имелся проезд для транспорта.

С нескрываемым интересом слушал я однажды рассказ дяди Миши Некрасова, жена которого работала в одной из палаток, про историю, связанную со старинной усадьбой. Он говорил не о писателе Лажечникове, наверное, и не знал, что Иван Иванович жил здесь в детстве и юности. Дядя Миша вспомнил, что в годы Первой мировой войны в этом доме размещался госпиталь. Раненые, которые могли ходить, отдыхали во фруктовом саду, а он был внушительных размеров. Кому трудно было передвигаться, сидели на большом балконе с узорчатым металлическим ограждением.

В годы советской власти дом Лажечниковых стал общежитием для курсантов коломенской совпартшколы и для обслуживающего персонала. В нём в начале 1930-х годов квартировал и мой отец Сергей Никитич Тимофеев. По окончании совпартшколы он некоторое время работал в избе-читальне села Туменского, а потом в городских организациях.

С закрытием совпартшколы здание передали под жильё. Так наша семья оказалась прописанной в этом доме.



Главный дом усадьбы. 1960-е гг.



Флигель. 1960-е гг.



Борис Егорович и Степанида Ивановна Грачёвы с внуками. Фото 1952 г.

Всего проживало в нём четырнадцать семей, половина из них — многодетные.

Хорошо запомнились Грачёвы. Их уважали за помощь, отзывчивость. Глава семейства Борис Егорович работал поваром в столовой совпартшколы, а располагалась она чуть пониже почты, на этой же улице. Потом заведовал овощехранилищем промышленного торга. Его жена, Степанида Ивановна, занималась домашним хозяйством. Семья была большая. Дети взрослые. Жили они на первом этаже. В квартире из всех удобств была лишь холодная вода. Деревянная перегородка и русская печь, единственная в доме, разделяли жилплощадь. Отопление было дровяное. В красном углу у них висели иконы. Степанида Ивановна была верующая женщина.

Некоторые подробности о своей родне мне поведала ветеран педагогического труда Инесса Павловна Макарова:

«В семье Грачёвых было три сына и дочь. Они со временем устраивали свою жизнь, расходились по своим углам. Так, старший, Иван, жил с семьёй в Москве, работал в МВД. Па-

Павел Борисович (сидит), Андрей Борисович и Инесса Грачёвы





Анастасия Сергеевна Тимофеева с сыном Виктором и снохой

вел был шофёром. Андрей, окончив учительский институт, с середины 1930-х годов и до 1942 года работал директором школы № 3 и преподавал историю. Учился заочно в юридическом институте в Москве. В жёны он взял учительницу истории той же школы Антонину Сергеевну Васильеву. В Великую Отечественную войну в армию его не взяли из-за инвалидности. Екатерина, моя будущая мама, по окончании курсов счетоводов работала в кинотеатре, потом на овощной базе».

Весть о нападении фашистской Германии на нашу страну быстро разнеслась по дому. У многих в квартирах было радио. Но всё равно соседи стучали друг другу в дверь и сообщали страшную весть.

Наш двор находился как бы на передовой позиции, возле площади Двух революций. Мы, пацаны, были свидетелями всего, что на ней происходило.

В первые недели после начала войны жителей Запрудов, Городищ, Сандырей провожали на фронт под разливы гармоней. Затем музыка смолкла. То ли все гармонисты ушли воевать, то ли не до неё стало — сводки с фронта не радовали. Девтора с восторгом смотрела на проходившие по площади воинские части, а потом мы распевали те песни, с которыми солдаты шли через город. Особенно полюбилась нам «Дальневосточная, смелее в бой!».

Враг всё ближе подходил к Москве. Теперь женщины нашего дома часто стали собираться возле лавочки, стоявшей у амбара, бывшего каретного сарая. Всё чаще на этих «собраниях» звучало слово «эвакуация». Эвакуировали коломенские заводы, и вместе с ними из Коломны уезжали рабочие. Что это значит? Неужели и до нас немец дойдёт? Успокоить их умела Анна Шмакова. Это она была заводилой в доме, когда отмечали сообща советские праздники, организовывала другие мероприятия. Муж её состоял в Коломенском истребительном батальоне. Ему было поручено выполнять ответственное задание — со второго яруса колокольни церкви

*Виктор Тимофеев (слева)
и Юрий Поликушин*

Иоанна Богослова наблюдать за небом в юго-западном направлении. Если замечал приближение вражеских самолётов, сразу же сообщал по связи на командный пункт гражданской обороны, который находился в бомбоубежище под флигелем бывшей усадьбы Лажечникова. Оттуда по радио на весь город передавался сигнал воздушной тревоги. Наши «бомбоубежища» были очень простыми: по распоряжению горисполкома в огородах и садах жители вырыли ямы, окопы. Наша семья имела такое убежище недалеко от дома, в бывшем фруктовом саду. Если по какой-либо причине мамы не было дома, а звучал сигнал тревоги, старший брат Виктор снимал с вешалки возле входной двери в квартиру сумку с документами и припасённым хлебом, и мы бежали в укрытие.

Великая Отечественная война отозвалась горем в семьях Шкиперовых, Лебедевых, Архангельских, проживавших в этом бывшем купеческом доме. Коснулась она и нашей. В 1942 году моего отца, Сергея Никитича Тимофеева, призвали в армию. В марте сорок четвёртого мама, Анастасия Сергеевна, получила извещение, что он пропал без вести. Жили мы в одной комнате на втором этаже шестером — мама и её пятеро детей: дочь и четыре сына.

Позже мама вспоминала: «Смотрела на вас, малолетних, и думала: поставлю ли детей на ноги?» Хлеб и другие продукты мы получали по карточкам как иждивенцы. Выручало руководство райпотребсоюза (там до войны работал отец), помогало одеждой, обувью, продуктами. А в послевоенное время выдавало нам путёвки в пионерские лагеря.

Старшим из детей был Виктор, 1931 года рождения. Он был примером для младших братьев и сестры в поведении, учёбе. Учился на пятёрки и четвёрки. По окончании неполной средней школы № 3 поступил в машиностроительный техникум. После завершения учёбы намеревался устроиться работать на Коломзавод. Был физически крепким парнем, занимался конькобежным спортом. Однажды его с другом Юрием Поликушиным (он жил на Бобрёвской улице) вызвали в военкомат и предложили после окончания техникума поступить в военно-морское училище в городе Выборг. Парни согласились. Отучились там и в 1952 году стали офицерами военно-морского флота.

Мой брат Виктор получил назначение для прохождения службы на Черноморский флот, в город Севастополь. Там женился. Родились у них



399



Зинаида Сергеевна Тимофеева (Журба)

дочь и сын. К сожалению, капитан 3-го ранга В.С. Тимофеев рано умер. Похоронен в Севастополе.

Сестра моя, Зинаида, окончив семь классов школы № 1, поступила работать счетоводом-кассиром на тароремонтную базу райпотребсоюза. Продолжила учёбу, но уже в вечерней школе № 2. Получив среднее образование, поступила в Московский институт мясной и молочной промышленности.

В 1955 году Зинаида Тимофеева по рекомендации инструктора Коломенского райкома партии Николая Бонифатьевича Горшкова и после собеседования с секретарём РК КПСС Василием Ивановичем Конотопом была утверждена инструктором Коломенского районного комитета комсомола.

Райком ВЛКСМ размещался рядом с нашим домом, во флигеле бывшей усадьбы Лажечниковых. Вход в него был с улицы Октябрьской революции. К тому времени в этом одноэтажном кирпичном строении под № 104 половину жилплощади освободили от жильцов. Здесь разместили райком комсомола, впоследствии — семенную лабораторию. Секретарём РК ВЛКСМ работал Анатолий Сергеевич Горячев. У райкома комсомола машины не было, а по делам необходимо было выезжать в дальние сёла и деревни. Выручал В.И. Конотоп, присылал свою «эмку».

В 1956 году Зинаида вышла замуж за выпускника Коломенского артиллерийского училища Анатолия Ивановича Журбу. И многие годы вместе с ним пришлось провести в военных городках Советского Союза. Лишь после того как подполковник А.И. Журба вышел в запас, в 1980 году семья возвратилась в Коломну.

Два брата моложе меня. Анатолий по окончании восьми классов школы № 26 решил идти работать. Выбрал СМУ-74, которое занималось проводкой природного газа в Коломне и в соседних Луховицах. Учился в вечерней школе. Отслужил три года в армии. Вернувшись в Коломну в 1962 году, продолжил работу и поступил учиться на заочное отделение педагогического института, на индустриально-педагогический факультет. Получив диплом, работал научным сотрудником в ВНПО «Радуга». Много лет, до ухода на пенсию, трудился инженером-механиком швейного объединения. Вместе с женой, педагогом, воспитали сына, который пошёл по стопам матери.



Анатолий Сергеевич Тимофеев

Борис Тимофеев, получив специальность механика по холодильным установкам (окончил учебный комбинат в Перловке, под Москвой), некоторое время работал в Коломенском продторге. Активно участвовал во многих мероприятиях, проводимых в школе № 9. Любил поэзию, великолепно читал стихи Сергея Есенина. Не один сезон проработал в труппе Рязанского театра юного зрителя. Однажды вместе с театром выступал на сцене Кремлёвского Дворца съездов.

Наша мама Анастасия Сергеевна Тимофеева за воспитание пятерых детей была удостоена государственной награды — «Медали материнства» II степени.

Беспечным наше детство назвать нельзя. Мама воспитала в нас уважительное отношение к труду.

Чтобы как-то помочь нашей семье, сосед Борис Егорович Грачёв предлагал маме разную работу на овощной базе, в том числе связанную с торговлей. Она выезжала в Москву на машине с овощами...

Однажды произошёл случай, который поверг маму в смятение. Заболевший сынишка Толя, которому не было и семи лет, попросил ночью святой воды. От кого он услышал о святой воде — загадка. Мама решила обратиться к тёте Стеше Грачёвой. Но уже полночь. Как быть? Стоит ли будить соседей? И всё же постучала в дверь. Баба Стеша не ворчала, что её разбудили, налила в чашку святой воды. Мама была уверена, что от неё сынишка пошёл на поправку.

Мне врезался в память ещё один эпизод, имеющий отношение к семье Грачёвых. В 1945 году вернулся с войны Павел. Было ему 36 лет. Холостяк. Родные знали, что он встречается с учительницей начальных классов из деревни Америкево Ольгой Александровной Поляковой. Но Павел о создании семьи не заводил разговора. В один из летних дней 1946 года у родителей собрались коломенские родственники, приехал из Москвы Иван с женой. Да так все надели на Павла (почему тянет со свадьбой?), что он не выдержал и заявил: «Завтра будем играть свадьбу». На следующий день жильцы дома были свидетелями радостной картины. Во двор въехала грузовая машина — полуторка, в кузове которой стояли молодые — Ольга Александровна и Павел Борисович Грачёвы. Приехали они сюда из загса. Со временем их семья пополнилась двумя детьми. Сын Николай Павлович Грачёв станет директором треста столовых.

Запомнилась семья Александры Георгиевны Ширякиной. Она когда-то работала комендантом совпартшколы. Вернувшийся с фронта её сын Михаил Васильевич поступил работать шофёром в аэроклуб. Возил на легковой машине начальника аэроклуба, дважды Героя Советского Союза Василия Александровича Зайцева. Не раз приходилось видеть прославленного лётчика идущим по двору к Михаилу Васильевичу. Через какое-то время уходили вдвоём.



Его сестра Клавдия Васильевна Ширякина вышла замуж за фронтовика Александра Юшина. У них родилась дочь, которую назвали Леной. Она окончила педагогический институт. Елена Александровна Юшина — ветеран педагогического труда, отличник народного просвещения, учитель высшей квалификационной категории, стояла у истоков создания в 1986 году в школе № 14 музея «История коломенского комсомола». Руководила им по 2014 год.

За год до Великой Отечественной войны освободилась одна из квартир. Иван Фирсов с семьёй сменил местожительство. В 1942 году узнали, что он стал работать начальником отдела кадров соевого завода. Кое-кого из бывших соседей он пригласил на работу на завод. Попросилась и моя мама. А он в ответ: «Настя, на кого ты оставишь пятерых детей, уходя работать на целую смену?» При случае всегда угощал нас, ребят, соевыми сырками.

В освободившуюся квартиру въехала семья Василия Семёновича Сурина — бухгалтера патефонного завода. У него и его жены Анны было трое детей. Старший сын Альберт был компанейским мальчишкой. Вячеслав вёл себя со сверстниками сдержанно. Даже в летние дни проводил часы за учебниками. В струнном оркестре Дворца культуры Коломзавода научился играть на гитаре. По окончании средней школы поступил в Московский авиационный институт. Поговаривали, что был в составе команды космонавтов. Но мы его фамилии так и не услышали. А со смертью родителей и совсем потерялся. Изабелла Сурина окончила Рязанский радиотехнический институт. Вышла замуж. Её муж, инженер-конструктор КБМ Константин Константинович Залеснов, был увлечён краеведением. Разработал много разных тем. Его большая заслуга в том, что ему удалось обнаружить документы, удостоверяющие точную дату рождения писателя Ивана Ивановича Лажечникова. В Москве в Центральном государственном историческом архиве разыскал метрические книги церковей города Коломны и Коломенского уезда. В приходе церкви Бориса и Глеба было записано, что в сентябре 1790 года у коломенского купца Ивана Ильина сына Ложечникова (фамилия предков писателя писалась через «о») сын Иоанн крещён 23 дня. А в биографических очерках назывались годами рождения и 1792-й, и 1794-й.

В небольшую свободную комнату осенью 1941 года поселили семью Быковых: тётю Раю с тремя дочерьми. Они успели эвакуироваться из города Наро-Фоминска. Тётя Рая по специальности была медсестрой. Она устроилась работать в горбольницу. Со временем мы узнали, что она оказывала медицинскую помощь и пленным немцам, которые располагались в помещении храма Иоанна Богослова.

Запомнился мне переполох, случившийся в нашем доме в одну из сентябрьских ночей 1942 года. Стемнело. Мы легли спать. И вдруг за окном так громыхнуло, что задрожали стёкла. От следующего удара запахнулись балконная и входная двери. «Живо собирайтесь!» — крикнула мама, схватила документы и быстро выпроводила нас в коридор. Темно. Соседи недоумевают, что произошло. Анна Шмакова не растерялась: командным голосом приказала всем спуститься на лестницу первого этажа. Спустились. Сидим, прижавшись друг к другу. Неожиданно с улицы запахнулась дверь. По голосу в вошедшем узнаём Андрея

Борисовича Грачёва. Вместе с мамой он поднялся в нашу квартиру. Позже мама рассказала: «Андрей Борисович осмелился выйти на балкон. И я выглянула в сторону Подлипок. Там стояло красное зарево. Слышались разрывы».

Грачёв с мамой вернулись, и Андрей Борисович предложил всем спуститься в подвал дома. Там и просидели до утра, пока всё не стихло.

Оказалось, что за хутором Лайс взлетели на воздух пороховые склады, там же хранились и боеприпасы. Говорили, что была совершена диверсия.

Мы, пацаны, имели свой интерес к этому событию: искали осколки от снарядов и находили...

После войны состав жильцов дома Лажечникова немного поменялся. Распрощавшись с соседями, ушла тётя Настя. Говорили, что она бывшая монахиня Брусенского монастыря. А её жилплощадь заняла Ксения Фёдоровна, фамилию её запомнил. Слышал, что она являлась родной сестрой тёти Насти. Работала в горбольнице.

О том, что житель нашего дома Владимир Павлович Лебедев принимал участие в Великой Отечественной войне, ребята узнали случайно. В один из летних жарких дней мы увязались за взрослыми на Москву-реку к «Блюдечку». Накупавшись, разлеглись на травке. Взрослые заговорили о войне. Помню, как Владимир Павлович, заикаясь, сказал, что воевал в танковом экипаже. «Однажды во время наступления немецкий снаряд угодил в танк. Меня ранило, контузило, но смог выбраться из танка». Мы, ребята, не знаю почему, засмеялись: по всей вероятности, не поверили сказанному — уж очень облик нашего соседа не вязался с нашими представлениями о танкистах, да и никогда не видели его при каких-либо наградах. Ни одной медальки. А он, ещё больше заикаясь от волнения, произнёс: «Что, не верите?» Быстро приподнял рукой висящие чуть ли не до колен трусы (их почему-то называли семейными), и мы увидели на бедре большой шрам. «А заикаться я стал от полученной контузии», — тихо закончил Владимир Павлович. После услышанного все ребята нашего двора с большим уважением стали относиться к скромному, вроде бы ничем не выделявшемуся до той поры человеку.

Конец сороковых — начало пятидесятых годов запомнились походами по ягоды и грибы в Морозовский и Семибратский леса. Эта «тихая охота» всегда была удачной. Со старшими парнями те, кто помоложе, отправлялись купаться на Москву-реку.

В тёплые летние ночи ребята нашего двора любили спать на траве в саду за домом. Я просился у мамы тоже провести ночь в саду. На что она резонно замечала: «Тебе что, балкон хуже сада? Места много, ложись, где хочешь. Постель на балконе». И действительно, балкон, расположенный с южной стороны дома, куда выходила дверь из нашей комнаты, был очень просторный.

Ещё одной примечательной особенностью старинного особняка был обширный подвал. В одной половине после капремонта, проведённого в середине 1950-х годов, стали жить две семьи. А в другой были погреба, где у каждой семьи имелся свой отсек. Стены были такой толщины, что в зимнее время там отлично сохранялся картофель, не промерзали бочки с квашеной капустой, с огурцами, помидорами, хранились другие продукты.

Спустя годы жильцов дома Лажечникова (это его сейчас так называют, а для нас тогда это был просто наш дом) расселят, предоставив квартиры в разных местах города. Иногда мы, бывшие соседи, случайно встречаемся и радуемся этой возможности поговорить, вспомнить былое.

Вспоминаю одну из последних встреч с Павлом Борисовичем Грачёвым (прожил он долгую жизнь, вместившую 93 года). Тогда, в 2002 году, наш дом был ещё на реставрации. Павел Борисович признался, что скучает по старому дому, и, расчувствовавшись, произнёс: «Мне-то уж годков много, а вы помоложе, наверняка доживёте до светлого дня, когда сможете вновь войти в наш дом, который превратится в музей Лажечникова».

Сбылись слова Павла Борисовича. Дожили мы до этих дней, когда по Дому Лажечникова водят экскурсии и гиды рассказывают о его строителях, о знаменитом писателе и о судьбе красивого дома.

ХРОНИКА

ПЕРВЫЕ КОРОЛЁВСКИЕ

Седьмого октября 2015 года в Центральной городской библиотеке им. В. В. Королёва состоялись Первые открытые литературные чтения, посвящённые творчеству Валерия Васильевича Королёва.

Со своими докладами и воспоминаниями выступили Елена Парамонова, Наталья Маркелова, Виктор Мельников, Роман Славацкий, Анатолий Кузовкин, Татьяна Фарисенкова, Ирина Васильева, Светлана Ким, Зульфия Юрьева, а также друг семьи Королёвых — Александр Дергачёв.

Выступления позволили по-новому взглянуть на произведения писателя, на его выдающуюся роль в истории коломенской литературы.

Было прочитано приветственное письмо литературного и театрального критика Капитолины Кокшенёвой.

Участники конференции с большой радостью узнали, что в библиотеке в скором времени откроется мемориальная комната Валерия Королёва, где будут полно представлены материалы, повествующие о нашем замечательном земляке.

Было предложено в библиотеке «Коломенского альманаха» опубликовать книгу рассказов Валерия Королёва.

ЗАМЕТКИ ПРОЕЗЖЕГО КОРНЕТА



Валерий Альбертович Ярхо родился в Коломне в 1964 году. С молодых лет увлекается историей Коломны. Достиг значительных успехов в поисках старинных документов. Один из ведущих мастеров «архивного детектива». Многократно публиковался в российской прессе. Постоянный автор «Коломенского альманаха». Его перу принадлежат монографии «Три времени Щурова» и «Поповская доля». Награждён медалью И. И. Лажечникова.

Краеведческое исследование

Аоруду Коломне стихи посвящались неоднократно. Писали их люди самые разные: от дилетантов-графоманов до настоящих титанов рифмы и слога. Среди прочих поэтических вершин, долин и впадин, до поры никому не ведомый, притаился «цикл» стихов о Коломне, написанных в начале 80-х годов XIX столетия, что называется, «на злобу дня», в жанре газетного фельетона.

Стишки эти выпорхнули из-под пера тогда ещё только начинавшего большую карьеру в газетном мире Владимира Гиляровского. Репортёр работал на господина Пастухова, издателя газеты «Московский листок».

Что за человек был Пастухов, видно из следующей истории. Будучи приглашён в числе других столичных газетчиков в канцелярию московского градоначальства, на вопрос о политическом направлении «Московского листка» издатель, кротко потупив глазки, ответил попросту: «Слава Богу, кормимся, ваше превосходительство».

Ещё один штришок к характеристике издания: бумага для «Московского листка» подбиралась специально такая, чтобы годилась для свёртывания сигарок и для других бытовых нужд. Так газету охотнее покупали представители низших слоёв городского общества. Содержание страниц соответствовало практичности их использования в дальнейшем.

Надо сказать, в купеческой и мещанской Коломне пастуховский «Листок»



Молодой Гиляровский

был самым популярным изданием. Его охотно покупали. А несколько жителей и часто здесь бывавшие по своим делам москвичи снабжали разными коломенскими новостями. Наиболее популярными были заметки, подписанные «Проезжий корнет» и «Свой человек». Под этими псевдонимами и скрывался Владимир Гиляровский, имевший в коломенском крае особенные интересы.

Немало пошатался по белу свету «непутёвый» сын вологодского полицейского пристава Володенька! К вящему огорчению родни, прибился он к театральному миру, подвизаясь в разных труппах. Занятие это не приносило больших доходов,

а потому молодой человек был вынужден халтурить, «сбивая» рублишки, где только получалось. Погоня за заработком привела его к антрепренёрше Шкамороде, вывозившей сборные труппы на гастроли в ближайшую к Москве провинцию.

Труднее всего «театральным людишкам» было пережить Великий пост. Театральные постановки, наряду с иными увеселениями, в Москве запрещались. В обход правила антрепренёры устраивали «чтения пьес со сцены в костюмах». Вывозя сидевших без работы театральных корифеев на гастроли в Серпухов, Богородск, Орехово-Зуево, Коломну и иные места, мадам Шкаморода хорошо зарабатывала сама и давала заработать актёрам.

Брали в такие поездки не всех. Мадам опасалась связываться с трагиками, которым «по амплуа» полагалось быть пьяницами и буянами. Однажды трагик Волгин-Кречетов на гастролях в Коломне после спектакля, напившись пьян, устроил дебош за кулисами театра, которым являлся зал в гостинице Фролова, переломал декорации и театральный реквизит. Владельцы зала подали на Шкамороду в суд, и ей пришлось возмещать убытки. Наученная горьким опытом, Шкаморода впредь предпочитала покладистых и неопасных комиков, формируя репертуар из весёленьких комедий и водевильчиков, которые нравились любой публике, а потому давали хорошие сборы.

В 1875 году Владимир Гиляровский дважды ездил в Коломну в труппе Шкамороды. Он исполнял обязанности суфлёра, получая по десять рублей за спектакль с оплатой всех расходов. Это были дивно выгодные условия! У иных антрепренёров актёры и те получали по пятёрке за выход, а суфлёры и прочая обслуживающая братия работали фактически за еду и водку. Не такова была Шкаморода! Об этой театральной деятельности те, кто имел с нею дело, вспоминали с нежностью многие годы спустя.

Раскатывая с театральной труппой, суфлёр Гиляровский, как он написал в своих воспоминаниях, «приобрёл много интересных знакомств». И в «Московский листок» пришёл, уже имея «контакты». Имел он полезные знакомства и в Коломне, где чувствовал себя как рыба в воде.

Место «репортёрской охоты» Гиляровского отчасти определяла летняя резиденция его семейства. В 80-х годах семья Гиляровского снимала дачу по Казанской железной дороге: сначала в Краскове, потом в Быкове. Начинающий репортёр совмещал приятное с полезным, объезжая на поезде ближайшую округу в поиске местных сенсаций и всяких «жареных» тем. Четырнадцать остановок от Краскова было до Егорьевска и столько же до Коломны. Вот и патрулировал Проезжий корнет эти два уезда, успевая возвратиться к семье вечерним поездом. Покуда «Листок» не оброс собственной корреспондентской сетью на «местах», такие рейды очень выручали редакцию. А нам сегодня они дарят редкий случай узреть в прошлом такое, о чём никогда не расскажет ни один учебник истории.

Издатель «Московского листка» был человеком малообразованным, но неглупым. Он как-то очень по-своему любил поэзию, а кроме того, знал, как популярны куплеты. Поэтому требовал от репортёров стихотворных излияний, своего рода квинтэссенцию материала. В зависимости от нужды, стихи ставили либо в начале фельетона, либо в финале как стихотворный эпилוג.

Впрочем, иногда стихи сами были фельетоном, к которому короткой строкой приписывалось событие, послужившее причиной к их написанию. Наконец, стихами заменяли пространные описания, сжато предваряя впечатления автора. Издатель Пастухов особо ценил Гиляровского за умение писать «стишки на случай» и с удовольствием их печатал.

Проза молодого журналиста ещё не достигла уровня Дяди Гиляя, а вот стихи не лишены были остроумия и даже известной виртуозности.

Вот одно из пиитических сочинений. Начало стихотворения — забавная пародия на хрестоматийное стихотворение Фёдора Глинки «Москва» («Город чудный, город древний...»). Гиляровский подметил, что коломенцы очень гордились своими историческими параллелями с первопрестольной, бывшей «столичностью». Перепев знакомые торжественные строки на провинциальный манер, он добился дополнительного комического эффекта. Вот какой предстала Коломна перед взором читателя «Московского листка» № 124 за 1881 год.

Город скучный, город древний,
Но не чудный, а чудной,
И лишь только от деревни
Отличается стеной.

Город сонный, без сомненья,
Жизнь спокойна в нём, легка,
И Коломна от движенья,
От прогресса далека.

Здесь не видно оживленья,
Всю неделю город спит,
И лишь только в воскресенье
Принимает новый вид.

Там другим все увлекаются,
Знать театра не хотят,
Делом важным занимаются,
Всё «винтят», «винтят», «винтят»!

«Картинка с природы» зафиксировала Коломну такой, какой она показалась автору: косной, погружённой в провинциальную дрёму.

А к 80-м годам Коломна и впрямь уснула! Прежде через коломенский порт за навигацию проходило до пяти тысяч судов. Их тянули вверх по Москве-реке конными упряжками. В городе перегружали десятки тысяч пудов соли, хлеба, кожи, солонины и другие товары.

В Коломну приезжало множество народу, в том числе иностранцев, закупавших товары для продажи в Европе.

Важнейшими статьями торговли были связанные со скотопромышленностью. Всё то, что теперь получают из нефти, тогда добывали из животных жиров. С десятков семейных фирм в Коломне, работавших на конъюнктуру мирового промышленного рынка, делали миллионные обороты, поставляя в Англию топлёное говяжье сало.

Другие коломенские дельцы получали огромные доходы от торговли солониной — тогда это был единственный вид консервов. Из-под Воронежа пригоняли гурты скота и забивали на бойнях. Нынче на этом месте — хлебозавод, железнодорожные пути станции Коломна и гаражный кооператив между трамвайными остановками «Дворец культуры» и «Городская больница».

Говядину солили в бочках и в основном поставляли по казённым подрядам для армии и флота. Там же, над оврагом, стояли салотопенные заведения, продукция которых предназначалась «за море, в Великую Британию».

Где крутились большие деньги, процветала и розничная торговля. И вот всё это сгнуло!.. Сначала ушли торговцы скотом. Перебрались в город Козлов Тамбовской губернии с его многочисленными винокурными заводами. Там скот было дешевле выпαιвать перед забоем бардой, оставшейся после выгонки спирта.

Хлебную и соляную торговлю прикончила железная дорога, прошедшая через город в начале 60-х годов. Перевозки по рекам «упали», многие старые фирмы прекратили своё существование. Разорились и те, кто возил товары и пассажиров «гужом». И даже ямщики, всегда державшиеся особицей, в 50-х годах всею слободой записались в коломенское мещанство. Поневоле пришлось им отказаться от своих, из веку полагавшихся привилегий.

Ну, а как ушли дела, люди и деньги, город стал «задрёмывать».

Новая жизнь ярко пульсировала в Голутвине, в образцовой колонии возле машиностроительного завода братьев Струве... Но это была не Коломна. Это считалось «в трёх верстах за городом, в уезде». Поэтому и писал



*Главная улица Коломны – Астраханская, ныне Октябрьской революции.
Открытие начала XX в.*

Гиляровский о заснувшем городе, а уездом как-то мало интересовался. Не его это была тема и не пастуховская. Нужно было писать «по мещанству» и «купечеству» — вот он и старался.

409

Испепеляющее спасение

Поздней осенью 1881 года жители Коломны получили неожиданный подарок. «Не было бы счастья, да несчастье помогло». Всё вышло в точности по поговорке. В восьмом часу вечера 10 октября неизвестно от каких причин вдруг загорелась фабрика «Товарищества российско-американской клеёночато-мануфактуры».

Громадный трёхэтажный корпус сгорел дотла вместе с оборудованием, материалами и запасом готового товара. Когда дым пожарища развеялся, горожане впервые за много месяцев вздохнули полной грудью, испытав настоящее облегчение.

Технология производства клеёнки заключалась в пропитке льняных, джутовых и бумажных тканей водоотталкивающими составами. Дважды лаками и мастиками из олифы с сиккативом из борнокислого марганца и окиси цинка, а также раствором каучука на скипидаре, бензоле или нефтяном эфире. Неизвестно, какими резонами владельцам фабрики удалось убедить городские власти устроить производство клеёнки в самом центре Коломны, но едва фабрика открылась (в начале 1881 года), коломенцам приходилось «дышать через раз».

Не успели горожане как следует отдышаться и позлорадствовать насчёт убытков «клеёночников», как по городу пополз тревожный слухок: представители товарищества начали обивать пороги начальственных кабинетов, чтобы возобновить производство на старом месте.

Озабоченные такой перспективой, противники клеёночного проекта принялись возводить бастионы юридической обороны. Заняться этим было кому. После принятия закона о частных поверенных число адвокатов в городе увеличилось необыкновенно. Взыскания по бессрочным обязательствам, защита в мировых судах, мелкие уголовные дела, ходатайства и представительство интересов в казённых и частных учреждениях открывали ловкому человеку отличные возможности хорошего честного заработка.

Среди коломенских ходатаев и частных поверенных только один окончил университет, ещё один имел диплом межевого института. Остальные не окончили даже гимназического курса, поскольку гимназия в Коломне открылась только в 1874 году.

Горя желанием оказать услугу местным властям и повысить профессиональный престиж, вся эта рать самозваных законников бросилась изучать фабричный и строительный уставы. Её усилиями в броне российских законов обнаружился каверзный изъян, та самая лазейка, которая позволила «Товариществу российско-американской мануфактуры» устраивать свои дела.

Дело в том, что закон запрещал открывать «в населённой части городов» фабрики и заводы, производящие или использующие аммиачные соли, хлористые вещества, перегоняющие жировые вещества, производящие бумагу, краски и... клеёнки! Чтобы открыть такое заведение, нужно было получить разрешение местных властей. В Москве, как и в других губернских городах, «добро» давала комиссия городской Управы в составе полицмейстера, членов мануфактурного совета, фабричной управы, архитектора, инженера-технолога от совета торговли и мануфактур, частного врача и торгового смотрителя.

Кто должен распоряжаться на этот счёт в уездных городах, в статьях уставов и законе не было сказано ни полслова. Не предусмотрен такой случай. А коли нет того, кто даёт разрешение, так и спрашивать некого: строй фабрику и работай!

Однако же палочка оказалась о двух концах — пропуск в законе можно трактовать в пользу обеих сторон. Противники возобновления клеёночной фабрики задействовали такое мощное оружие, как общественное мнение. В газетах замелькали статьи, что за девять месяцев «фабричные миазмы» совершенно отравили старинный город. К тем же начальственным порогам, которым кланялись заводчики, потянулись коломенские ходатаи. Их хлопоты возымели успех, и вновь открыть мануфактуру не позволили.

Тогда члены товарищества, желая возместить потери, попытались продать фабричные руины городу. По старым законам, воинский постой обещивался за счёт тех городов, где пребывали войска. В то время в Коломне решался вопрос о постройке новых казарм для расквартирования находившихся в городе армейских формирований. Вот фабриканты и предложили местной городской Думе приобрести горелый остов за 30 тысяч рублей, чтобы перестроить в казармы. Огонь принёс владельцам фабрики убытку на 124 тысячи 787 рублей, а страховка «Северного страхового общества» покрыла только 104 тысячи; таким образом, «клеёнщики» хотели напоследок ещё получить тысяч 10 «навара».

Но не такой складки люди заседали в коломенской Думе, чтобы с них можно было содрать денежки за обгорелые стены. Владимир Гиляровский, славший репортажи из Коломны, так и написал: «Коломна не Москва — здесь не надуют!» А дальше следовали такие вирши:

Не сошла ещё с ума
Коломенская Дума —
Здесь, ей-ей, не простаки.
Хоть у нас полна сума,
Всё же этакая сумма
Не пойдёт на пустяки!

Да-с, господа,— так не пойдёт! Ведь не в виде же пенсии отваливать деньжищи учредителям фабрики за ту вонь, которой они отравили весь город.

Судя по тому, что в анналах городской истории не осталось вообще никаких следов пребывания фабрики «Товарищества российско-американской мануфактуры» на коломенской земле, всучить останки своего предприятия тороватым коломенским отцам города пришлым мануфактурщикам так и не удалось.

Театральные суд да дело

Театральная тема для Гиляровского, можно сказать, была «особая статья». Этот мирок, его уклад были для него знакомы, привычны, и никаких секретов для него не имелось. Многих людей театра он знал лично. В Коломне же ему и самому приходилось бывать на гастролях, и с заезжими актёрами сложились вполне доверительные отношения.

На рубеже веков при машиностроительном заводе, «в уезде», возвели здание рабочего театра, а в городе так и не удосужились. Обходились залом в гостинице Фролова, тем самым, где устроил погром хмельной трагик Волгин-Кречетов.

Здание гостиницы на Житной площади близ церкви Иоанна Богослова (ныне ул. Октябрьской революции, д. 200) долгие годы было единственным «кирпичным домом о трёх этажах» в Коломне. И. П. Фролов строил его в 1860–1862 годах с расчётом, что номера будут занимать состоятельные господа коммерсанты. Но 20 июля 1862 года открылось движение по коломенскому участку железной дороги Москва — Саратов. Дела в городе стали приходить в упадок. Состоятельные коммерсанты приезжали всё реже, и гостиница Фролова, поначалу принимавшая десятки богатеньких постояльцев, стала пустеть. Помещения начали отдавать в аренду. В том числе — хорошо оборудованный зрительный зал со сценой и всеми театральными необходимостями, помещавшийся в третьем этаже.

Постоянной труппы в городе не сложилось. Гастролёры надолго не задерживались. Коломенцы театр не особенно жаловали. То ли репертуар был неподходящим, то ли игра актёров оставляла желать лучшего, да только здешняя публика на спектакли ходила неохотно, а это худо сказывалось на сборах.

Содержателем антрепризы в конце 1881 года был некто З-н (имя его осталось сокрыто этим сокращением). Уж на какие только штуки он ни пускался, а всё без толку! В воскресенье 13 декабря 1881 года давали драму Каратыгина «Еврей, или Слава и позор», для вящей приманки указав в афише, что пьеса новая. Положа руку на сердце, стоит сказать, что знаменитый столичный трагик и литератор ничего нового написать не мог, так как умер в 1853 году. Объявленный новым спектакль в четырёх актах Василий Андреевич Каратыгин в своё время переделал из пятиактной пьесы в стихах французского автора В. Сежуара, ставившейся на парижской сцене много лет. Но это так, к слову, а главное заключалось в том, что фокус не удался, и на приманку сомнительной новизны публика не клюнула, отчего спектакль и дал всего-то 15 рублей сбора.

Сделав ставку на классику, 15 декабря, в бенефис артистки Матвеевой, давали «Каменного гостя». Афишу приперчили следующими рекламными посулами: «Соч. А. Пушкина, в четырёх действиях — бегство из ссылки; безумная ревность; поклон каменного гостя; тяжёлое пожатие каменной руки». Но и этот спектакль не оправдал надежд! Тогда антрепренёр с остатками кассы рванул из города.

В предутренних сумерках 30 декабря 1881 года он прокрался к железнодорожной станции, сел на четырёхчасовой утренний поезд и убыл в Москву, бросив на произвол судьбы не только труппу, но и собственную семью.

З-на поймали. Актёры подали на скрывшегося принципала в мировой суд. Там интересы ответчика защищал светило коломенской адвокатуры г-н Львов. Он выстроил линию защиты на попытке доказать вину самих актёров: играли плохо, потому спектакли не имели успеха у публики и театр не давал сборов. Однако Львов напрасно потратил богатое красноречие. Мировой судья постановил взыскать с г-на З-на в пользу актёров 300 рублей. Таких денег у З-на не было, и он предложил в качестве платы уступить актёрам... театр.

За неимением иных вариантов истцы согласились. В их собственность отошли декорации, костюмы, запасы грима и прочие театральные причиндалы, включая занавес.

Вступив во владение реквизитом, члены труппы самостоятельно отрепетировали комедию «Нынешняя любовь» в четырёх действиях и водевиль «Ямщики». Но злой рок продолжал преследовать театр во фроловском доме — в день спектакля ни одного билета продано не было!

Проезжий корнет так осветил дальнейшие события.

«Уже вечером, совсем уже перед назначенным к началу часом, в театр явился толстый купец — текстильный фабрикант из села Озёры — а с ним ещё двое: некто, являвший собой яркий тип купеческого сына, и рослый молодец в гимназической форме. Все трое были явно подшофе, но вели себя пристойно, и, купив билеты на самые лучшие места, по 5 рублей за кресло, сели в ожидании начала. Так как кроме этой странной компании в зрительном зале никого не было, державшие совет за кулисами новые собственники театра решили спектакля не играть. Тем временем из зала донеслись требования начала и подобие жиденьких аплодисментов.

Когда купцу и его молодым спутникам было объявлено, что спектакль не состоится, они стали доказывать, что хоть их и трое, но они тоже публика,

и право имеют. Им пояснили, что уплаченные 15 рублей не окупают затрат на постановку, но уж коли им так хочется, то пусть внесут ещё 20 рублей в кассу, и представление будет немедленно начато. Коммерсант предложил 7 рублей, потом согласился ещё прибавить трёхину:

— Пуццай будет вам красненький билет! — благодушно сказал он, пояснив свой не лишённый благородной щедрости порыв: — Уж больно ребят потешить хочу!

Однако измученные постоянным финансовым кризисом артисты «красненькой» не соблазнились и играть не желали. Тогда фабрикант предложил угостить актёров, занял в гостинице отдельный номер, потребовал туда водки и закусок. Компания принялась основательно угощаться, а приглашённых актёров, которым поднесли по рюмке и дали закусить, попросили позабавить:

— Ну чего вы, право, ломаетесь? Расскажите чего-нибудь или там спойте... Вот «Хуторок» спойте!

И что же делать? Пришлось актёрам пить водку и петь «Хуторок», чтобы только отвязаться от «меценатов».

Видя столь бедственное положение служителей искусств, некто В. решил поддержать их, предложив:

— Вы прокормитесь до Масленицы, а там я трупку возьму, положу жалование.

Новый импресарио стал активно готовиться к работе, формируя репертуар. Он всюду скупал и доставал пьесы, не брезгуя при этом случайными поступлениями. Один коломенский «курятник» — торговец курами — часто бывая по делам в Москве, по поручению В. купил за три рубля пьесу «Сестра Тереза». Переписывать пьесы взялись бесплатно подчинённые В. писаря».

413

Добрый, но не очень богатый господин В. собирался выстроить на Житной площади Коломны большой тёплый балаган, назвав его «Народный театр». Он обратился за разрешением в городскую Управу. Но, как оказалось, время было выбрано крайне неудачно.

Балаганные гулянья

Традиционно ближе к Масленице на Житной площади Коломны возникал целый городок, застроенный качелями да каруселями, цирковыми шапито и другими увеселительными заведениями. Непременно бывал кукольный театр с неизменным Петрушкой. Для всякого рода забавников и потешников блинная неделя была горячей порой, когда зарабатывали «верный кусок хлеба» на многие дни вперёд.

До 1880 года получение разрешения для постройки на Житной площади балаганов было простой проформой. Однако же всё переменялось, когда городским головой стал Степан Иванович Петров. То ли его поразил стрелой амур, то ли попутал бес корыстолюбия, однако господин Петров решил ввести монополию на масленичные балаганы, а привилегию, дававшую исключительное право веселить публику, широким жестом даровал некой мадам Ф., молоденькой орловской помещице. Мадам же выстроила всего один невзрачный балаган, но дорогу конкурентам перекрыла.

Больше всех от нововведения пострадал содержатель цирка Герман, который зимой 1881 года привёз в Коломну свою труппу. Все попытки «как-то договориться», чтобы поставить шапито на площади, потерпели крах.

— Прежде чем ехать сюда, надо было справиться, а уж потом везти людей, лошадей и всё остальное. Дальновидные люди так свои дела ведут! — хладнокровно отвечал герру Герману Петров.

После неудачной гастрольной поездки содержатель цирка объявил себя банкротом, и пример его разорения, став притчей во языцех в цирковых кругах, заставил остальных готовиться к поездке в Коломну более основательно.

Обжѣгшиеся годом ранее, содержатели балаганов, качелей и каруселей, вслед за цирковыми директорами, загодя, ещё в январе месяце 1881 года, пошли в коломенскую городскую управу за вождеденными разрешениями. Всей компанией «били челом» почтеннейшему Ивану Степановичу. Прежде чем дать ответ, господин Петров справился у секретаря канцелярии:

— Получали ли ответ от госпожи Ф. из Орла?

— Точно так-с, уже получили-с.

— И каков же он?

— Они просят по примеру прошлого года оставить площадь за ней.

— Ну, вот видите! Значит, дело решѐнное — не могу я удовлетворить вашу просьбу.

Так и не разрешил. Даже качели поставить не дозволил, хотя хозяин их прежде на Масленице работал в Коломне 11 лет кряду. Взроптавших было балаганщиков сторож управы «честью попросил на выход», и закручинившаяся депутация служителей народных развлечений подалась восвояси.

И всё же балаганщики нашли способ добиться своего. Уж как им это удалось, история умалчивает. Только к Масленице на площади красовались три новеньких балагана и появились качели с каруселями.

Наплыв публики в балаганы был велик! Музыка грохочет с утра до ночи. Публика летает на качелях. Дети кружатся на каруселях. Народ надрыгает животики, хохоча над проделками Петрушки. А в гостинице Фролова, «в номере, где годом раньше передрались купцы», демонстрировали крестьянскую девочку необычайной толщины. Уникальный ребёнок, согласно представленным импресарио документам, имея от роду 10 лет, весил 12 пудов (192 кг). Живой экспонат — страшного размера девочка — смиренно сидела на месте и... играла на гармонике. На лице её сияла слабоумная улыбка, а в глазах не было ни проблеска мысли. Поглазеть на это чудо приходила масса народу. Кто-то нашёл, что двенадцатипудовая девочка невероятно похожа на одну местную купчиху, и разошедшийся слух вызвал ещё больший ажиотаж вокруг этого аттракциона. Чтобы убедиться, имеет ли место заявленное сходство или всё это чепуха, многие приходили в номер к толстухе по нескольку раз, исправно платя за визит. Мнения разделились, и возникло даже нечто вроде заговора, целью которого было заманить купчиху в номер толстой гармонистки, чтобы сличить оригинал с копией, и даже принимались пари, но план не сработал.

Как всегда на Масленицу, по городу носились нарядные санки, запряжённые лучшими лошадьми. Сырная неделя итожила сезон зимних свадеб,

и среди катающихся было много молодожёнов. Экипажи новобрачных можно было отличить по лентам, которыми перепоясывали себя кучера свадебных санных поездов.

Стихами Проезжего корнета это выражено так:

Свадьбы и катанья,
Город весь кипит.
Пьянство, ликованье,
Музыка гремит.
Общее веселье,
Нету тишины,
Кутежи, похмелье,
И блины, блины...

Один только охваченный благородным порывом театральный меценат не сумел найти подход к задурившему градоначальнику. Идея, которая питала так много надежд, лопнула с неприятным треском.

Клубная жизнь

После того как театральная группа Коломны «приказала долго жить», последней надеждой культурной публики остался «Общественный клуб». Городские дамы попытались «перехватить Фортуну» если не талантами, то личным обаянием. В городе существовал театрально-музыкальный кружок любителей, время от времени дававший спектакли в разных городских залах. Кружок поставил благотворительный спектакль. Места в зале продавали по три рубля. Но посмотреть пришли всего несколько человек.

Дело усугубил скандал, в эпицентре которого оказались член правления клуба Шевлягин и одна из актрис прогоревшей труппы.

Если на спектакли горожан дармовым калачом было не заманить, то театральные актрисы представители мужской половины коломенской аристократии ценили весьма и весьма! Сильнейшую конкуренцию в борьбе за расположение коломенских Дульциней местным Дон-Гуанам составляли господа офицеры квартировавшего в Коломне уланского полка. Во время традиционного воскресного дефиле разряженного коломенского бомонда вдоль Брусенской улицы щеголеватые «сыны Марса» молодецкато проносились верхами взад и вперёд по старинному городу. Штатские кавалеры проигрывали им по всем статьям. Даже те горожане, у кого были лучшие, чем у улан, лошади, прокатываясь верхом или в коляске, не могли похвастаться ловкостью и подтянутостью кавалеристов. В конце концов, у штатских просто не было уланских мундиров!

Терпя неудачу в привычных местах городского флирта, коломенские любители «попользоваться насчёт клубнички» целиком переключились на актёрок местной труппы. В мире за кулисами поленькие кошелёчки состоятельных поклонников всегда ценили много выше стройных станов и пустоватых карманов молодецкато вертопрахов.

Амурной звездой 1881 года стала актриса С., стрелы обаяния которой разили сердца представителей купеческого сословия. И, как говорят стишки Гиляровского:

Но сильнее всех был ранен
Из купцов один — Шевлягин.

Господин Шевлягин был членом правления местного «Общественного клуба». Совсем потеряв голову от страсти, он, дабы потрафить пассив, пригласил на семейные вечера в местном «Общественном клубе»... цыган и цыганок!

Это был явный моветон! В знак протеста почтенные матроны и девицы объявили клубу бойкот. А без дам стало невозможно проводить танцевальные вечера. Перо Проезжего корнета тотчас же в стихотворной форме «отщёлкало» Шевлягина.

Милейший член,
Стыдитесь стен.
Смешон и глуп
Поступок ваш.
Решили в клуб
Приличный наш
Цыган позвать
И разогнать
Тем наших дам.
О, стыд и срам!

(«Московский листок», 1882 год, № 37)

Вход на клубные музыкальные и танцевальные вечера был платным — по рублю с персоны. Хорошие обороты делали буфет и платный гардероб, а лакеи получали щедрые «чаевые». Лишившись всего этого, коломенский клуб, понеся значительные убытки, держался только за счёт любителей бильярда и усердных картёжников, которым без музыки и многолюдства было даже удобнее сражаться за зелёным сукном игорного стола.

Полный сбор зал в «Общественном клубе» сделал 29 января, когда давала концерт заезжая труппа итальянцев. Народу набилось множество. За место брали по рублю. После концерта, выходя из клуба, один коломенский купец заметил:

— Вот ведь — рубль отдал, а ни гвоздя не понял!
— Так зачем приходил-то? — спросил его приятель.
— Да чтобы все думали, что по-итальянски знаю! — не моргнув глазом, ответил ценитель оперного пения.

Следующий спектакль 2 февраля дала труппа московских артистов, игравшая драму «Дочь века».

Проезжий корнет продолжал насмешничать:

«Лучшими были мадам Кувшинникова (Сталь-Старинская) и г-жа Карасёва (Таманцева). В последнем акте показал себя г-н Свешников, ис-

полнявший роль сына мадам Таманцевой. Остальные были милы, но ничего особенного не явили, поскольку их совершенно «забил» суфлёр, обладавший явными задатками трагика. Он так увлёкся, что в своей будке разыгрывал свой спектакль, выступая во всех ролях сразу. Публика видеть его не могла, зато прекрасно слышала».

По окончании драмы, уже на выходе из клуба, известный коломенский трактирщик заявил, ни к кому не обращаясь, но утверждающим тоном:

— А всё-таки в балаганы завтра пойду!

— В балагане не в пример лучше! — вторил ему хор голосов.

Праздники нищих

Когда сразу после масленичного разгула наступал Великий пост, всюду в Коломне воцарялась тишина. В трактирах умолкали музыкальные машины и органы, в театрах и цирках не давали представлений, не устраивались балы и иные шумные собрания. Гиляровский не обошёл вниманием и эту сторону коломенской жизни.

«Тишина в городе стоит мёртвая. Заметно прибавилось нищих, которых по традиции любят коломенские купцы, занимающиеся благотворительностью. У многих зажиточных горожан назначены специальные дни — вроде светских журфиксов — когда каждому обратившемуся за подаванием выдаётся по пятаку, а то и по гривеннику. В такие “дачные дни” коломенские кабаки и трактиры, любимые нищей братией, бывают полнѐхоньки. Там всё пожертвованное вскоре переходит в кассы кабатчиков и трактирщиков, задающих умопомрачительные оргии. Это касается и “специальных” нищих, и профессиональных попрошайек».

417

ЗАМЕТКИ ПРОЕЗЖЕГО КОРНЕТА

В этой пёстрой толпе попадались порой весьма колоритные фигуры. Так, весной 1881 года под Коломной, на берегу Москвы-реки, разбил дерюжные шатры небольшой цыганский табор. Это были настоящие кочевые ромалы. Не знали они с оседлыми соплеменниками: кузнецами, коновалами и лошадиными барышниками, издавна жившими в коломенской Ямской слободе.

Загадка происхождения и кочевой образ жизни этого удивительного народа породили убеждение, что цыгане происходят от древних египтян. Оттого за ними закрепилось прозвище «фараоново племя». Кочевье у Москвы-реки охраняли несколько здоровенных собак-овчарок. Но это было скорее излишней предосторожностью, поскольку красть у двух странствующих семей было совершенно нечего. Да и слухи, всегда окружавшие «египтян», отбивали охоту без особенной нужды приближаться к шатрам. Из всего города один только неуёмный репортёр Гиляровский решился сходить к цыганам, чтобы просто посмотреть, как они живут.

Житьишко было совсем скверное! Пригласив «барина» к костру, кочевники особенно ничего не скрывали. Считались они мещанами Бобровского уезда Воронежской губернии, но из всех документов у них было только «отношение» бобровской мещанской управы, в которой мещанину Боброву предлагалось явиться для уплаты податей и получения паспорта.

Да ещё имелаась бумажка, позволявшая двухмесячное проживание в Коломенском уезде.

Для цыган Бобровых Великий пост был совсем не в диковину — они вынужденно постились едва ли не круглый год. Питались большей частью жидкими пустыми шами или похлёбкой, в которой «крупинка за крупинкой гоняется с дубинкой», да ещё пекли в золе картошку, которая часто заменяла им хлеб. В Коломну пришли побираться, считая, что город для этого очень подходящий.

— Лучше местного купечества людей не найти! — говорил старый цыган. — Иной хоть и поломается перед тобой, себя потешая, и «фараоном египетским» обзовёт, а всё равно потом даст не менее пятак. А то и гривенник отвалит.

По их житью такие подавания были большими деньгами. Да ещё цыганки хорошо подрабатывали, гадая на рыночной площади, а потому Бобровы собирались остаться в Коломне до лета, прежде чем тронуться дальше. На большее они не претендовали.

Весело веселье — тяжело похмелье

Во время поста 1881 года особо отличились купцы Фёдор Семёнович Шанин, Василий Архипович Бабаев да Пётр Иванович Конакин. Они посетили популярный в городе трактир Шварёва у Житной площади (на углу нынешних улиц Октябрьской революции и Зайцева, перед выходом на площадь Двух революций). Не боясь оскоромиться, спросили они водочки, так как в народе царило убеждение, что водка — продукт «не жирный», из тех, что «и монаси приемлют». Опасность и соблазн таились в закуске, но тут уж купцы все правила соблюдали до тонкости, специально спросив постного.

В том же трактире, где обосновалась компания «постников», крутился разорившийся купец Добычин, поджидающий тех, кто мог бы его угостить. Узрев претерпевшего финансовую катастрофу, Шанин, Бабаев и Конакин позвали давнего знакомого к своему столу, потчевали водкой и кормили. Когда основательно подпили, купцы решили «себя потешить». Потребовали у полового ножницы и, повалив пьяньего старика на пол, отхватили его седую бороду. Долго смеялись над Добычиным, находя выходку очень остроумной.

Несчастный Добычин ходил жаловаться на обидчиков участковому мировому судье. Но управы на богатых торговцев и фабриканта кабацкий побирушка не нашёл.

Над стариком надругались безбожно,
Чтоб хвалиться всем этим потом.
Это смешно.
Ну, а скоромного съест невозможно
Даже кусочка Великим постом.
Это грешно,—

тут же отозвался репортёр Гиляровский.

Старика это ничему не научило. На Сырной неделе 1883 года те же купцы в том же трактире зазвали на угощение всё того же Добычина, подговорив его «на спор» пить водку чайными стаканами. Осилив четыре стакана, любитель дармового винца рухнул без памяти, а компания, послав за краской, которую один из купцов производил на собственной фабрике, выкрасила беспомятного пьянчугу под «дикого индейца в полной боевой раскраске», чучело которого они видели в музее чудес Гасслера, гастролировавшего в городе.

Почти до середины Великого поста Добычин ходил в цветных разводах. Всё это время он служил темой для пересудов и нравоучительных назиданий, будучи наглядной демонстрацией пагубности страсти к горячительным напиткам на чужой счёт.

Как в романе

Двое зажиточных горожан: коллежский секретарь Михаил Васильевич Зубцов и московский мещанин Павел Александрович Лавров, владельцы собственных домов, 17 марта 1882 года одновременно получили письма, подписанные страшным именем атамана Чуркина. Оба послания подбросили во дворы, где их и подобрала слуги. Письма были написаны одной рукой и содержали одинаковое требование отнести в указанное место двадцать рублей ассигнациями. Автор настоятельно рекомендовал господам Зубцову и Лаврову держать язык за зубами, а в случае неисполнения требований грозил подпалить дома.

Возможно, адресатов вымогателя было и больше, но в полицию обратились только Зубцов и Лавров, у которых хватило на это духу. На такое тогда могли решиться немногие, потому что имя знаменитого атамана в то время было у всех на слуху.

Самая яркая звезда разбойничьего эпоса Подмосковья — Василий Васильевич Чуркин — был уроженцем Гуслиц, глухого края на границах Московской, Рязанской и Владимирской губерний, сплошь населённого старообрядцами. Деревня Барская, в которой жили Чуркины, входила в Запонорскую волость, известную также под местным названием Заход. Места искони считались разбойничьими, и прежде Чуркина в заходских деревнях родилось немало уголовных знаменитостей.

Во млады лета Васька работал в красильной мастерской ткацкой фабрики Балашова в деревне Куровской и понемногу подворовывал. В первый раз попался на краже со взломом, и Владимирский окружной суд в 1870 году отмерил ему 2 года 8 месяцев тюрьмы, откуда он сбежал, и с той поры скрывался. Ещё раньше Василия стал разбойничать его старший брат Степан. Попал на сибирскую каторгу, бежал. Вот к нему и его приятелям молодой беглый вор и прибился. После того как Степана укатали в каторгу второй раз, а старый атаман Егор Филатов, тяжело заболел, отошёл от дел, Васька собрал свою шайку.

Обычно ядро разбойничьей организации составляли 3–5 человек, скрывавшихся от властей. Летом жили в лесных землянках. На зиму забирались в дальние деревни, куда никакое начальство годами не заглядывало, и люди жили по своим неписаным законам. По старо-

му обычаю, разбойники и воры никогда не «работали» там, где жили, а чужие молодцы в такие деревни не совались. Иметь в деревне «своих воров», которые были щедры с теми, кто давал приют, считалось выгодным делом.

Вокруг нелегалов собиралась компания помощников, которых называли «осёдлыми». Это были те же бандиты, только ещё имеющие возможность жить дома, легально, при собственных документах. Они были наводчиками при подготовке грабежей и краж, агентами, следившими за действиями полиции, связными между членами шайки, поставщиками в лесные убежища всего необходимого.

Главный доход разбойникам приносило вымогательство. Слово «рэкет» уголовникам той поры было неизвестно. А потому употребляли другое иностранное словечко: «контрибуция». Со всех мало-мальски зажиточных обитателей округа взималась ежемесячная дань в размере от 5 до 25 рублей, смотря по достаткам. Тому, кто затруднялся деньгами, дозволялось вносить вином и съестными припасами. В роли сборщиком контрибуции выступали оседлые, передававшие записки с требованием выплат сельским фабрикантам, трактирщикам, зажиточным крестьянам и получая по ним дань. Отказывавшихся платить карали поджогами, угоняли скот, разоряли фабрики. Тех же, кто смел искать защиты у законной власти, разбойники убивали, «чтобы другим неповадно было». А развращённая взятками полиция бездействовала.

К тому времени, когда коломенские домовладельцы получили послания от Чуркина, гуслицкий атаман стал уже легендарной личностью. После целой череды арестов и побегов Васька года четыре скрывался в Москве, занимаясь воровством и мошенничеством. После того как террористы-революционеры из «Народной воли» сильно обеспокоили полицию и жандармов, всюду стали вводить «строгости». Пошли всякие проверки да дознания. «Нелегальным» стало опасно жить в больших городах. Решив отсидеться в родных местах, Чуркин покинул Москву, однако в Гуслицах не уберётся. То ли в его отсутствие кто-то занял место разбойничьего короля, то ли полицию основательно перетряхнули, да только в начале 80-х годов знаменитого атамана, прятавшегося в Запонорье, арестовали. Стерегли его крепко и по суду отправили, «куда Макар телят не гонял».

Когда весной 1882 года в Коломне появились записки «от Чуркина», местные полицейские решили, что Васька опять сбежал и прячется где-то в окрестностях. Место, куда господин Зубцов должен был отнести деньги, взята под наблюдение. И около девяти часов вечера полицейская засада захватила двух молодчиков, арестовав их аккуратно в тот момент, когда они доставали деньги.

К удивлению представителей власти, вымогателями оказались великовозрастные сыновья почтенных родителей: сын статского советника Николай Петрович Иноземцев и коломенский мещанин Прокофий Лукьянов. На допросах оба показали, что Иноземцев подготовил письма, Прокофьев же подписался за грозного атамана. А додумались они до всего этого, начитавшись популярного романа «Разбойник Чуркин», в 1882 году частями выходившего на страницах газеты «Московский листок». И решили они сами взымать контрибуции, чтобы разжиться деньгами на гульбу.

Соблазненное молодец на подражание Чуркину сочинение принадлежало перу редактора газеты «Московский листок» Пастухова. Он состряпал целый литературный сериал по мотивам подлинного «дела», которое у богородского полицейского исправника Афанасьева «одолжил» пронырливый Владимир Гиляровский. Популярность сериала о Васке Чуркине вызвала множество подражаний, так что теперь уже трудно разобрать, какой Чуркин настоящий, а какой «эрзац».

В истории создания «литературного Чуркина» сыграла свою роль и Коломна. Господин сочинитель собирал здесь истории о гуслицких разбойниках. В городе о них знали не понаслышке: брат Васки сиживал под следствием в местном тюремном замке, кое-кто из местных бывал в оседлых, а иные платили контрибуции.

К тому времени, когда коломенские молодцы из порядочных семей решили «сработать под Чуркина», атамана, отбывавшего ссылку в Верхотурье, зарезали в пьяной драке. Впрочем, говорят, это был его очередной трюк: распустив слух о своей гибели, Василий скрылся и прожил где-то в Сибири до глубокой старости. Правда это или нет — теперь уж не определить. А нынче Василий Чуркин стал частью специфического гуслицкого фольклора, персонажем сказок, легенд и песен, в которых он предстаёт колдуном, способным обернуться кем угодно и сбежать из любого заточения.

С той поры минуло не так много времени, а имя молодого балбеса Иноземцева снова попало на страницы газет в разделах «Происшествия» и «Хроника». Вечером 9 июня 1882 года сын статского советника 25-летний Николай Петрович Иноземцев явился на квартиру свояка, мещанина Николая Карпова, у которого временно поселилась супруга Иноземцева Раиса Павловна. Она покинула беспутного мужа, склонного к разного рода пакостям с явным криминальным оттенком. Не исключено, что последней каплей, переполнившей чашу терпения Раисы, стала история с подмётными письмами.

Арест мало повлиял на норы Иноземцева. И всего три месяца спустя после скандала с «чуркинскими» посланиями Николаша учинил на квартире шурина безобразный скандал. Разговор с супругой закончился ссорой, перешедшей в ругань. Распалившийся сын статского советника набросился на многострадальную Раису Павловну с сапожным ножом. Первый удар пришёлся в руку, когда она пыталась прикрыться от ножа, а когда несчастная бросилась в соседнюю комнату, он настиг её в дверях и саданул ещё разок в спину. Когда кровь, хлынувшая фонтаном из ран, залила пол в комнате, в доме Карпова поднялся переполох. Иноземцев сумел скрыться. Раненую повезли в больницу. Врачи нашли полученные Иноземцевой раны опасными. Полиция объявила мужа-садиста в розыск, но чем это дело кончилось, из газетных статей не усматривается.

Корнет уехал насовсем

Пристальным интересом жизнь в Коломенском уезде у Владимира Гиляровского пользовалась года с два, покуда он набирал популярность среди московских читателей. Позже Проезжий корнет бывало что и за-

глядывал за сто вёрст от столицы, но звался он уже по-иному и писал без ярких подробностей. А стихи на актуальные темы вовсе забросил. Как всё в этом мире, эпоха Проезжего корнета имела своё начало и свой конец.

И тем не менее... В старых газетах пером Гиляровского запечатлено зыбкое, словно бы в некачественном зеркале, отражение реалий того времени. Хоть и с трудом, но рассмотреть желаемые подробности этого давнего уже прошлого вполне можно. Главное в репортёрских заметках — их подлинность, бесхитростная натуральность, которая ценнее самых изящных и сложно выписанных сюжетов. Сегодня это большой дефицит для историков, и каждая такая находка считается везением для исследователя.

БИБЛИОТЕКА

АХМАТОВСКАЯ ТРОПА ПРОДОЛЖАЕТСЯ



19 декабря 2015 года в КЦ «Юность» состоялось подведение итогов третьего сезона творческого конкурса «Ахматовская тропа». Он был посвящён Колонне 30-х годов — такой, какую видела её Ахматова во время памятного визита в июле 1936-го.

Это было сложное время, но и время достижений — создания новой Колонны, строительства и культурного роста. Работы участников конкурса отразили историю города во всё её многообразии: через историю, архитектуру, личные вещи, воспоминания...

Были вручены призы победителям и дипломы.

Кроме того, состоялась презентация книги «Диалог с поэтом» — второго выпуска из серии «Ахматовская тропа».

Здесь помещены стихи, исследования, творческие работы победителей прошлого сезона — 2014 года.

Прозвучали слова благодарности в адрес куратора этого замечательного проекта — Галины Николаевны Матвеевой.

Украшением вечера стал показ танцев 30–40-х годов. Эта милая ностальгическая деталь перенесла зрителей в недавнее, но уже — Прошлое...

Конкурс продолжается. Темой «Ахматовской тропы–2016» станет киноискусство.

КОЛОМЕНСКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

Знаменательные и памятные даты 2016 года

1 января 1961 года в Коломне родился Виталий Валентинович Хитров — генеральный директор благотворительного фонда «Коломенский кремль», фотохудожник.

2 января. 95 лет со дня рождения заслуженного деятеля науки Российской Федерации, доктора филологических наук, профессора КГПИ Георгия Васильевича Краснова (1921—2008). На счету Краснова свыше 200 печатных работ. Основной круг научных интересов — русская литература XIX века. Георгий Васильевич — автор книг о Пушкине, Некрасове, Л. Толстом, о сюжетологии.

7 января. 80 лет назад в Коломне родился Константин Константинович Залеснов (1936—2015) — инженер-конструктор Конструкторского бюро машиностроения, краевед. После многолетних поисков в архивах ему удалось установить истинную дату рождения писателя Ивана Ивановича Лажечникова. Печатался в «Коломенском альманахе».

17 января 1936 года в Коломне родился Вячеслав Николаевич Соловьёв — создатель и бессменный руководитель ВИАТа-67.

18 января 1366 года в Коломне в храме Воскресения Словущего состоялось венчание великого московского князя Дмитрия Ивановича (будущего Донского) и суздальской княжны Евдокии.

19 января 1991 года в одном из зданий бывшего Брусенского монастыря (пер. Советский, д. 31) после капитального ремонта открылся выставочный зал «Лига». Действовал в этом корпусе 22 года.

24 января. 75 лет назад в Коломне родился Юрий Николаевич Киров (1941—2006) — заслуженный учитель школы РСФСР, поэт. Печатался в «Коломенском альманахе».

24 января 1951 года в Коломне родился Евгений Михайлович Ферапонтов — живописец, член Союза художников России.

2 февраля. 125 лет назад умер поэт, автор ставшей народной песни «Не брани меня, родная» Алексей Ермилович Разорёнов (1819—1891). Родился в деревне Малое Уварово Коломенского уезда (ныне района).

4 февраля 1941 года родился певец, народный артист СССР Владислав Иванович Пьявко — воспитанник Коломенского артиллерийского училища.

5 февраля. 165 лет со дня рождения русского издателя-просветителя Ивана Дмитриевича Сытина (1851—1934), в биографии которого немалую роль сыграли коломенский купец и пребывание в нашем городе.

16 февраля 1931 года родилась Валентина Аркадьевна Мартемьянова (Орлова) — член Союза журналистов (с 1966 г.) и Союза писателей СССР (с 1977 г.), известная переводчица с чешского. В Коломне прошли её детские годы, здесь она училась в школах № 3, 7, 26. После окончания славянского отделения филологического факультета МГУ была распределена в Государственное издательство художественной литературы (Гослит) и трудилась там 35 лет. За это время отредактировала более 80 томов произведений чешских и словацких писателей и поэтов, как классиков, так и современников.

17 февраля 1936 года в селе Нижнее Хорошово Коломенского района родился Александр Сергеевич Сироткин — член Союза художников России. Работал художником-постановщиком в Омском театре кукол. В течение 16 лет был главным художником Таганского района Москвы. Участник многих художественных выставок.

20 февраля 1946 года в Коломне родился Валерий Борисович Петров — член Союза журналистов России. Автор книги «Огни на реке» (2014) о коломенских речниках. Осуществил литературную запись воспоминаний генерального конструктора ракетных комплексов С. П. Непобедимого, вышедших под названием «Оружие двух эпох» (2008).

21 февраля 1996 года действующее в Коломне Московское епархиальное духовное училище решением Священного Синода преобразовано в Коломенскую духовную семинарию.

21 февраля. 135 лет назад в селе Богородское Коломенского уезда родился Тимофей Андреевич Калашников (1881—1964) — художник. Один из организаторов Калужского отделения Союза художников СССР, член первого правления. С 1939 по 1947 год — председатель Калужского товарищества «Всекохудожник».

23 февраля 1986 года в средней школе № 14 открылся музей истории Коломенского комсомола.

2 марта. 70 лет назад в Коломне родился Анатолий Васильевич Вилов (1946—1994) — член Союза журналистов СССР. Работал редактором многотиражной газеты завода тяжёлого станкостроения, а в последние годы был главным редактором еженедельника «Рыбак Мурмана». Автор книги о рыбаках.

17 марта (5 марта по ст. ст.). 175 лет назад в Коломне родилась Анна Дмитриевна Мысовская (1841—1912) — поэтесса, переводчица.

19 марта 1966 года вступило в строй учреждение культурно-спортивного назначения, которое со временем стало официально называться Дворцом культуры и спорта, а в народе — «шавыринским» дворцом. После расширения и реконструкции составной частью вошёл в здание нынешнего конькобежного центра Московской области «Коломна».

19 марта 1941 года в Коломне родился Вадим Алексеевич Новиков — заслуженный деятель искусств Российской Федерации, профессор Московской консерватории.

20 марта 1941 года в Коломне родился Юрий Васильевич Лученко — народный артист России, лауреат Государственной премии Российской Федерации. Много лет работает в Москве в Российском академическом молодёжном театре.

21 марта 1981 года в городском выставочном зале (ул. Красногвардейская, 2) состоялась открытие первой выставки фотолюбителей Коломны «Край родной».

21 марта 1936 года в Коломне родился Юрий Михайлович Городничев — член Союза художников России.

29 марта. 85 лет назад в Коломне родился Геннадий Васильевич Киселёв (1931—2008) — доктор филологических наук, лауреат Государственной премии Белоруссии.

31 марта 1946 года родилась Александра Николаевна Жук — педагог, краевед. Была инициатором и создателем литературно-краеведческого музея в средней школе № 18 города Коломны.

2 апреля. 80 лет назад в Коломне родился Юрий Филиппович Рязанов (1936—1985) — заслуженный художник РСФСР. Работал в военной Студии имени Грекова. Лучшие произведения мастера находятся в крупных музеях страны.

2 апреля. 70 лет со дня рождения педагога, заслуженного работника культуры РСФСР Галины Андреевны Максимовой (1946—2006), бывшего руководителя образцовой детской хоровой студии «Костёр».

2 апреля. 70 лет со дня рождения педагога, заслуженного работника образования Московской области Марины Игоревны Зедгенизовой (1946—2009). Последние 15 лет работала директором Дома детского и юношеского туризма и экскурсий.

3 апреля. 145 лет со дня рождения учёного-животновода, коломенского земского деятеля Митрофана Митрофановича Щепкина (1871—1921), одного из организаторов в Коломне общественной библиотеки имени И. И. Лажечникова, затем — действительного члена правления библиотеки.

12 апреля 1956 года родился Николай Тимофеевич Воронин — генеральный директор ООО «Производственно-коммерческая фирма «ДОММ», председатель городской общественной палаты.

13 апреля 1991 года в Коломне создано общество «Девичье поле», со временем ставшее историко-культурным центром.

14 апреля. 105 лет назад родился Николай Николаевич Смеляков (1911—1995) — хозяйственный руководитель, государственный деятель, член Союза писателей СССР. В его книгах «Деловая Америка», «С чего начинается Родина», «Уроки жизни» немало страниц посвящено Коломне и коломенцам. На Коломенском машиностроительном заводе Смеляков вырос со старшего мастера чугунолитейного цеха до директора предприятия.

14 апреля 1931 года родился Анатолий Фёдорович Доньшин — член Союза дизайнеров России, поэт. 30 лет проработал во ВНИТИ. Избирался председателем правления Коломенского отделения Союза художников России. Умер 17 ноября 2015 года.

16 апреля 1581 года епископом Коломенским поставлен Иов. Впоследствии стал первым патриархом Московским и всея Руси.

19 апреля 1951 года в Коломне родилась Наталья Николаевна Дранева — заслуженный работник культуры Российской Федерации.

26 апреля 1986 года создан Коломенский клуб краеведов. Председателем совета клуба избран А. Е. Денисов.

В апреле 1926 года в Коломне открылась музыкальная школа.

В апреле 1996 года постановлением главы администрации г. Коломны музыкальной школе присвоено имя русского композитора А. А. Алябьева.

1 мая 1996 года в доме № 9 на улице Арбатской открылась частная арт-галерея «У Николы-на-Посаде».

16 мая 1941 года в Коломне родился Виталий Васильевич Максимов — заслуженный артист России.

26 мая 1956 года в Коломне родился Павел Васильевич Зеленецкий —

член Союза художников России. Репродукции с его картин печатались в «Коломенском альманахе».

29 мая 1956 года родился Евгений Сергеевич Гринин — член Союза художников России. Является главным художником «Коломенского альманаха».

5 июня. 115 лет со дня рождения члена Союза журналистов СССР Сергея Николаевича Смолина (1901—1964). Последние десять лет жизни работал редактором газеты «Коломенская правда».

11 июня. 110 лет назад в Коломне родился Пётр Петрович Климентов (1906—1975) — заслуженный работник культуры РСФСР.

17 июня. 125 лет назад в селе Нижнее Хорошово Коломенского уезда (ныне района) родился Сергей Васильевич Сарычев (1891—1965) — первый редактор газеты «Известия Коломенского Совета рабочих и солдатских депутатов» (ныне «Коломенская правда»).

25 июня 1946 года в Коломне родился Александр Алексеевич Горшков — заслуженный работник культуры РСФСР.

3 июля 1941 года в селе Маливо Коломенского района родился Пётр Павлович Королёв — артист ансамбля песни и пляски Московского военного округа.

7 июля 1966 года родился Михаил Яковлевич Арензон — журналист, учредитель и издатель Коломенского вестника «Ять».

16 июля 1936 года Коломну посетила поэт Анна Андреевна Ахматова. Её сопровождали друзья: С. В. Шервинский и Л. В. Горнунг.

5 августа. 95 лет назад в Коломне родился Иван Александрович Перваков (1921—1980) — заслуженный работник культуры РСФСР.

6 августа. 280 лет назад родился Пётр Фёдорович Жуков (1736—1782) — коломенский воевода, коллежский советник, библиофил-патриот.

9 августа 1961 года родилась Лариса Борисовна Рябкова — научный сотрудник краеведческого музея, краевед. Автор книг «Страницы истории Коломенского земства», «Коломенские благодетели», публикаций на краеведческие темы.

25—26 августа 2001 года впервые в истории страны в Коломне прошёл Собор российских кремлей.

27 августа 1931 года в Коломну прибыла бригада художников АХРа (Ассоциации художников России). Несколько недель живописцы и графики работали в цехах машиностроительного завода. В итоге в паровозомеханическом цехе открылась художественная выставка.

1 сентября 1976 года начались занятия в открытой детской художественной школе города Коломны.

1 сентября. 90 лет назад в деревне Колодкино Коломенского уезда (ныне района) родился Виктор Гаврилович Перфилов (1926—2013) — инженер-конструктор, краевед, автор нескольких книг о Коломне.

В сентябре 1941 года в Коломне побывал народный поэт Белоруссии Янка Купала. Находясь у друга, лесничего Чернореченского лесничества Н. И. Шиманского, написал стихотворение «Белорусским партизанам». Оно прозвучало набатным призывом народным мстителям бороться с немецко-фашистскими захватчиками.

8 октября. 130 лет назад в Коломне родился Сергей Иванович Травкин (1886—1967) — художник. Похоронен на кладбище № 1.

10 октября 1931 года родился Виктор Павлович Иванов — член Союза художников СССР/России. Живёт в селе Нижнее Хорошово.

21 октября. 160 лет назад (9 октября по ст. ст.) в Коломне родился Николай Михайлович Марков (1856—1900) — священник, писатель.

1 ноября 1961 года в Коломне родился Григорий Иванович Вихров — поэт, член Союза писателей России.

18 ноября. 105 лет со дня рождения педагога, музыкального работника и краеведа Андрея Павловича Радищева (1911—1997).

21 ноября. 105 лет назад в селе Озёры Коломенского уезда родилась Анна Павловна Доронина (1911—2004) — краевед, инженер. Автор многих работ по истории родного края.

22 ноября 1936 года в Коломне родился Владимир Борисович Орлов — заслуженный учитель Российской Федерации, член Союза писателей России.

30 ноября 1941 года в селе Чанки Коломенского района родилась Лидия Михайловна Пышкина — поэт, автор четырёх поэтических сборников.

2 декабря 1996 года по благословению митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия в Коломне впервые были проведены торжества, посвящённые памяти митрополита Московского и Коломенского Филарета (Дроздова).

5 декабря 1926 года в Коломне прошёл первый уездный конкурс гармонистов.

5 декабря. 90 лет со дня рождения заслуженного артиста РСФСР Виктора Харлампиевича Подовинникова (1926—1997). Последние годы жил в Коломне, здесь и похоронен.

6 декабря 1936 года в Коломне родилась Светлана Николаевна Чекарева — заслуженный работник культуры Российской Федерации.

11 декабря. 100 лет назад в Коломне родилась Лидия Владимировна Руденко (1916—1991) — заслуженный деятель искусств РСФСР, педагог по классу фортепиано.

18 декабря. 25 лет назад скончался известный коломенский поэт, член Союза писателей СССР Александр Фёдорович Кирсанов (1913—1991). Его именем названа одна из библиотек города.

20 декабря 1941 года родился Николай Николаевич Крапивин — главный режиссёр Коломенского народного театра, заслуженный работник культуры Московской области.

26 декабря. 150 лет со дня рождения Василия Александровича Пробатова (1866—1956) — протоиерея, проповедника, настоятеля Успенского собора в Коломне. Провёл огромную литературную работу: переложил в стихах все псалмы, Евангелия, многие молитвы и песнопения. Похоронен в Коломне на кладбище № 1.

Календарь подготовил Анатолий КУЗОВКИН

Издание выходит при поддержке
администрации городского округа Коломна
и коломенских меценатов

БЛАГОДАРИМ

Валерия Ивановича ШУВАЛОВА —

руководителя администрации
городского округа Коломна;

Николая Тимофеевича ВОРОНИНА —

генерального директора ООО ПКФ «ДОММ»;

Николая Николаевича СИДЕЛЁВА —

директора межрайонного автотранспортного
предприятия «Автоколонна 1417».
Филиал ГУП МО «Мострансавто»;

Сергея Семёновича ТУБОЛЕВА —

генерального директора ЗАО «Колнаг»;

Любовь Александровну ЧЕРНОВУ —

доктора филологических наук, профессора
кафедры русского языка ГСГУ;

Игоря Викторовича ЧИРКОВА —

индивидуального предпринимателя;

Валерия Семёновича КОССОВА —

генерального директора ОАО «ВНИКТИ»;

Сергея Сергеевича АНТИПОВА —

заместителя председателя Правления
Московской областной организации Союза
писателей России;

Сергея Сергеевича СЕРГЕЕВА —

председателя Правления
группы компаний «ТЕХНО-АС»;

АНО «Коломенский Посад»;

Редакционную коллегию журнала «РОМАН-ГАЗЕТА»;

Юрия Михайловича УГОЛЕВА —

генерального директора ООО «Экологическая
научно-производственная фирма «Новатор»;

Наталью Николаевну ДРАНЕЕВУ —

директора НОУ ДПО «Научно-учебный центр
“Знание-Коломна”»;

Евгения Владимировича ЗАХАРЧЕНКО —
генерального директора ООО «Прогресс»;

Эдуарда Насибулловича ТУМЕРКИНА —
директора ОАО «Ракурс»;

Игоря Валерьевича ШАХ-НАЗАРОВА —
директора ООО «Тираж»;

Татьяну Сергеевну ЛАПТЕВУ —
директора негосударственного образовательного
учреждения дополнительного образования
«Коломенский компьютерный центр»;

Галину Евгеньевну ШАРОНОВУ —
генерального директора
ГУП МО «Коломенская типография».



БЛАГОТВОРИТЕЛЯМ

*Чтобы творить добро и благо,
Нужны и деньги, и отвага,
Ещё, пожалуй, нужен вкус,
Чтоб на коломенских страницах
Творцы могли соединиться
В надёжный дружеский союз.*

*Пусть из Рога изобилья
Текут коломенские были,
Крепчает проза, льётся стих.
Чтоб Слова не скудели реки,
Чтоб мы прославили навеки
Благотворителей своих!*

Евгений Кирсанов



ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ИЗДАНИЕ
«КОЛОМЕНСКИЙ АЛЬМАНАХ»

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
В. С. МЕЛЬНИКОВ

ЗАМЕСТИТЕЛИ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
Р. В. СЛАВАЦКИЙ
А. А. САХАРОВ
В. В. УШАКОВА

РЕДКОЛЛЕГИЯ

А. П. Ауэр, Т. Ф. Башкирова (редактор отдела поэзии), **Н. В. Бредихин, Е. С. Гринин** (главный художник), **А. М. Дудкин, Т. И. Кондратова** (шеф-редактор гуманитарных проектов), **О. В. Кочетков** (референт главного редактора), **В. В. Королёва** (художник), **А. И. Кузовкин, Т. С. Лаптева, С. И. Патрикеев, И. Е. Ракша** (шеф-редактор аналитических проектов), **Е. Н. Солдатенкова, М. М. Сигал**

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ РЕДАКЦИИ

В. В. Артёмов — главный редактор журнала «Москва»
В. Н. Ганичев — председатель Союза писателей России
Ю. В. Козлов — главный редактор журнала «Роман-газета»
В. Н. Крупин — писатель
С. Ю. Куняев — главный редактор журнала «Наш современник»
В. В. Личутин — писатель
А. Б. Мазуров — ректор Государственного социально-гуманитарного университета
Н. В. Маркелова — начальник Управления по культуре и туризму администрации городского округа Коломна
В. И. Шувалов — руководитель администрации городского округа Коломна
Е. Ю. Юшин — секретарь Союза писателей России

В оформлении обложки использован фотоэтиюд Юрия Колесникова. Городская хроника, опубликованная в альманахе, представлена редакциями газет «Коломенская правда» и «Вопрос — Ответ».

На стр. 2 помещены награды альманаха — медаль имени И. А. Ильина и медаль И. И. Лажечникова.

Художники: **Е. С. Гринин, В. В. Королёва.**
Компьютерная вёрстка **Т. А. Титова.**
Корректоры: **А. Г. Васильева, В. В. Ушакова, Л. А. Вагина.**

140402, Московская область, г. Коломна, ул. Кирова, д. 163. Тел. (8-496) 618-70-71;
e-mail: melnikov-vs@yandex.ru

Электронная версия альманаха: www.kolomna.biblio.narod.ru

Подписано в печать 27.02.2014. Формат 70x100/16. Бумага офсетная № 1. Печать офсетная.

Усл.-печ. л. . Тираж 1000 экз. Заказ 1633.

Отпечатано в ГУП МО «Коломенская типография»

140400, Московская обл., г. Коломна, ул. III Интернационала, д. 2а